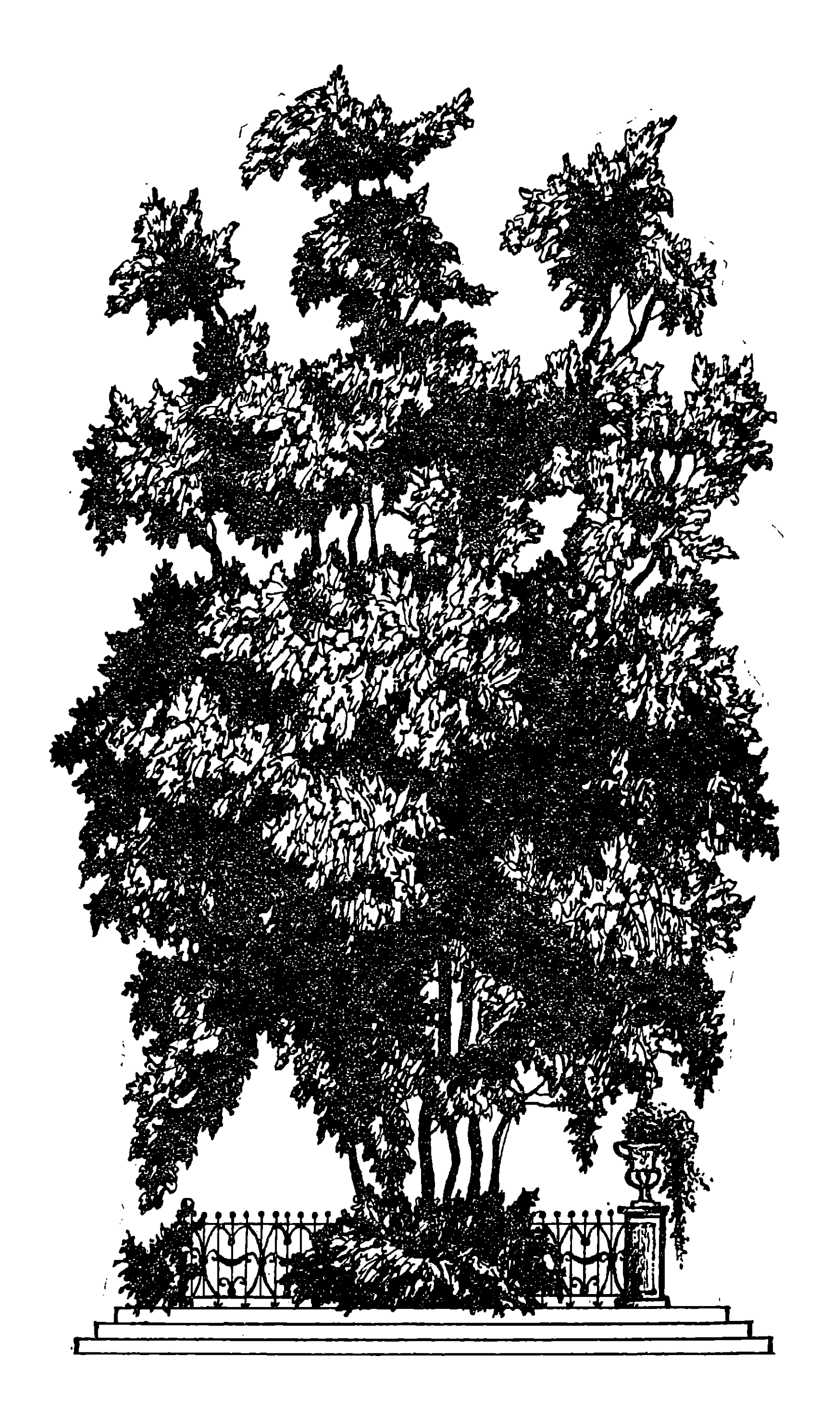
И.И. Дмитриев

СОЧИНЕНИЯ



И. И. Дмитриев



И. И. Дмитриев

СОЧИНЕНИЯ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1986

Составление и комментарии
А. М. Пескова и И. З. Сурат

Вступительная статья
А. М. Пескова

Иллюстрации и оформление
Н. Е. Бочаровой

Д $\frac{4702010100 - 1026}{080(02)-86}$ 1026—86

ПОЭТ И СТИХОТВОРЕЦ
ИВАН ИВАНОВИЧ ДМИТРИЕВ

В VII главе «Евгения Онегина» есть такой эпизод:

У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
И близ него, ее заметя,
Об ней, поправя свой парик,
Осведомляется старик.

«Пушкин, вероятно, имел в виду И. И. Дмитриева» [1],— комментировал последние строки Вяземский. В VIII главе еще раз появляется портрет старика:

Тут был в душистых сединах
Старик, по-старому шутивший:
Отменно тонко и умно,
Что нынче несколько смешно.

Осенью 1830 года, когда Пушкиным создавалась VIII глава «Евгения Онегина», Дмитриеву минуло 70 лет. Манеры конца «осьмнадцатого столетия», стиль утонченного остроумия и изысканной вежливости, которые сохранял Дмитриев, в 30-е годы казались архаичными — «несколько смешными» или, наоборот, излишне чопорными. В 30-е годы архаичными казались и стихи Дмитриева. Правда, для пушкинского поколения авторитет Дмитриева — «заслуженного поэта, покоящегося на лаврах» — представлял еще объективную реальность, которую невозможно не учитывать в собственных творческих поисках. Характерно, что Пушкин в черновике VIII главы «Евгения Онегина» среди литературных учителей своего поколения наряду с Державиным, Карамзиным и

[1] Русский архив, 1887, № 12, с. 577.

Жуковским вспомнил Дмитриева: «И Дмитрев не был наш хулитель» [1]. В. К Кюхельбекер, не благоговевший перед талантом Дмитриева («Он очень неровен»), тем не менее замечал: «...перечитывая Дмитриева, я беспрестанно вспоминал Дельвига: как часто и много мы с ним читали и перечитывали старика! И должно же сказать, что мы оба ему многим обязаны» [2]. Поколение Лермонтова и Белинского, вошедшее в литературу в 30-е годы, уже не могло бы так сказать. Для этого поколения поэзия Дмитриева — в лучшем случае факт исторического прошлого: «Два писателя встретили век Александра и справедливо почитались лучшим украшением начала оного: Карамзин и Дмитриев» [3].

Он родился в 1760 году (10 сентября [4]), когда на российском Парнасе первенствовали Ломоносов и Сумароков, а умер 3 октября 1837 года, пережив на несколько месяцев Пушкина, когда уже были общеизвестны имена Гоголя, Белинского. Лермонтова. Время его поэтической славы — конец XVIII — первая треть XIX века. Вместе со своим другом Карамзиным он почитался реформатором и установителем литературного языка, образователем поэтического вкуса. «Вкус, свойственный Карамзину в прозе, является свойством Дмитриева в стихах <...>. Дмитриев установил поэтический язык»,— писал В. А. Жуковский [5]. И Белинский в «Литературных мечтаниях» (1834) вторил установившемуся мнению о Дмитриеве: «Он был в некотором отношении преобразователь стихотворного языка, и его сочинения, до Жуковского и Батюшкова, справедливо почитались образцовыми» [6].

Дмитриев родился в Симбирской губернии, в старинной дворянской семье, культурной и богатой. В детстве обучался в частных пансионах Казани и Симбирска. В 14-летнем возрасте был отправлен родителями на военную службу в Петербург, в Семеновский полк. Тяготясь «скучной унтер-офицерской службой» [7], он не однажды испрашивал длительные, на год и более, отпуски, во время которых уезжал из столицы домой на Волгу. Между строев и караулов с 1777 года начал он сочинять первые стихи. Причем уже в ранний период его стихотворчества определились те пути, по которым он пойдет впоследствии. Во-первых, среди начальных

---

[1] Это сказано, впрочем, вопреки истине: Дмитриев как раз «был хулитель», и именно пушкинской поэмы «Руслан и Людмила». Пушкин нарочито искажает факты: здесь ему важно было подчеркнуть связь своего поколения с карамзинско-дмитриевской эпохой.

[2] Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979, с. 389; дневниковая запись от 26 сентября 1840 года.

[3] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах. М., 1976, т. 1, с. 80.

[4] Даты даны по старому стилю.

[5] Жуковский В. А. Эстетика и критика. М., 1985, с. 322—323.

[6] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 1, с. 86.

[7] См.: «Взгляд на мою жизнь», кн. 3. В дальнейшем цитаты из записок И. И. Дмитриева специально не оговариваются; при цитировании воспоминаний о Дмитриеве, помещенных в настоящем издании, в тексте статьи указана фамилия мемуариста.

опытов были стихи сатирические; во-вторых, Дмитриев «прилепился к ветреному Дорату», то есть образцом его стала легкая французская «салонная» поэзия. И в-третьих, уже в юношеские лета он особенное значение придавал «механизму стиха», «живости рассказа», «чистоте слога и гармонии». Но опубликованные опыты успеха не принесли. Однажды он услышал уничтожающий отзыв о своих стихах, после чего желание печататься в нем остыло. Слава Дмитриева началась с «Московского журнала», издававшегося в 1791—1792 годах Н. М. Карамзиным (с Карамзиным он был дружен к этому времени уже 8 лет). В 1790 году Дмитриев познакомился с Державиным и в его доме имел счастье видеть славных писателей предыдущих десятилетий — Д. И. Фонвизина и И. Ф. Богдановича, познакомился с В. В. Капнистом, Н. А Львовым, ввел в державинский круг Карамзина. Державин любил Дмитриева, ценил его поэтический вкус, предоставлял ему право на исправление погрешностей при издании своих стихов. Но отношения их не были ровными. Державин не всегда бывал доволен редакторской правкой Дмитриева («Что же? вы хотите, чтобы я стал переживать свою жизнь по-вашему?» — восклицал он [1]). Были у них столкновения и по служебной линии (это уже когда оба занимали высокие государственные посты).

В 1794 году Карамзин издал сборник своих произведений под названием «Мои безделки». Дмитриев последовал ему, в 1795-м выпустив «И мои безделки». В 1796 году Дмитриев издал «Карманный песенник, или Собрание лучших светских и простонародных песен», где опубликовал наряду со своими песни русских поэтов старших поколений — А. П. Сумарокова, Ю. А. Нелединского-Мелецкого, Г. Р. Державина и других. В 1798 году вышло собрание басен Дмитриева.

В 1796 году он вышел в долгожданную отставку, но неожиданно возвысился по статской службе. Был арестован по ложному доносу, затем торжественно прощен Павлом I и в 1797 году назначен товарищем министра в департамент уделов и обер-прокурором сената, хотя сам и желал более тихого места и подальше от столицы — быть цензором в Москве. В 1799 году после служебных неприятностей Дмитриев вышел в отставку. Он поселился в Москве у Красных ворот, стал вести неторопливую жизнь, общаясь прежде всего с людьми близкими — Н. М. Карамзиным, с бывшим сослуживцем по полку Ф. И. Козлятевым, с В. А. Жуковским, А. И. Тургеневым. Его авторская деятельность оживилась с началом карамзинского «Вестника Европы» (1802), в котором он публикует новые стихи. В 1803 году он издает первую часть своего собрания сочинений и переводов, в 1805-м — другие две части.

В 1806 году Дмитриев по желанию Александра I вернулся на службу в Сенат (Московский департамент), а в 1810 году переехал в Петербург, где был назначен членом Государственного совета и министром юстиции. Служебные повышения Дмитриева происходили без его к тому стремления. Карьера его никогда не

---

[1] Державин Г. Р. Соч. в 9-ти томах. СПб., 1880, т. 8, с. 704.

увлекала; чинов он не искал, высоких постов и награждений не испрашивал, мечтая о «спокойной независимости». Оба возвышения произошли по причине благосклонности к нему сначала Павла (которому хотелось как можно рыцарственнее оформить прощение Дмитриева), а затем Александра. Отказаться от царских милостей Дмитриев не мог; не последнюю роль сыграло здесь честолюбие, которое при всей склонности Дмитриева к «тихой жизни» ему было присуще. «Спокойная независимость» для Дмитриева — это не только уединение «свободного невидимки»: ему необходимо было общество, он любил быть окруженным людьми, выказывающими свое внимание и уважение к нему, и, никогда не стремясь к первым ролям (как в обществе, так и в литературе), любил, чтобы о его присутствии помнили и к мнению его прислушивались.

Обстоятельства заставили его расстаться с независимой «тихой жизнью». Впрочем, внутреннюю независимость Дмитриев сохранял и в придворных кругах, где держался достаточно обособленно, ни с кем не сближаясь, сохраняя прямоту взглядов и достоинство благородного человека, с презрением относящегося к интригам и искательству. Служба занимала много времени, тем более что он старался добросовестно и энергично исполнять свои обязанности. Как государственный чиновник Дмитриев подчеркнуто стремился быть чуждым придворным нравам, следовать букве закона и собственным принципам. Естественно, он вызывал неудовольствие многих. С прекращением Александром I личных аудиенций в 1812 году положение Дмитриева весьма пошатнулось, и после ряда оскорбительных для него служебных столкновений он подал в отставку. В 1814 году Дмитриев вернулся в Москву, где по проекту А. Л. Витберга ему был выстроен вблизи Патриарших прудов новый дом (прежний сгорел во время пожара 1812 года). В 1816 году Александр I назначил Дмитриева председателем Комиссии по оказанию помощи жителям Москвы, потерпевшим во время Отечественной войны.

Отвлеченный от занятий поэзией сенаторскими и министерскими обязанностями, а затем трехлетней работой в Комиссии по оказанию помощи московским жителям, Дмитриев почти перестал писать стихи. Правда, в 1810—1823 годах он четырежды издавал собрания своих сочинений, каждый раз внося поправки в публикуемые тексты (трехтомные собрания 1810, 1814, 1818 годов и двухтомное 1823 года). Самый крупный стихотворный труд Дмитриева 1820-х годов — «Апологи в четверостишиях», вышедший в Москве в 1826 году.

Последние 10 лет Дмитриев по-прежнему следил за литературной жизнью, но сам уже ничего не печатал. Он охотно принимал молодых московских литераторов, каждый день к нему кто-нибудь заезжал, но все же одиночество его тяготило. Любезных сердцу людей уже не было на свете (в 1826 году умер Карамзин, в 1830-м — В. В. Измайлов), другие, из младшего поколения, были далеко, и лишь переписка оживляла давнюю привязанность к Жуковскому, Вяземскому, А. И. Тургеневу. «Более и более он проводил вечера один, с книгами» (М. А. Дмитриев; собирание книг, портретов, гравюр было на протяжении всей жизни его постоянной страстью). В 1825 году Дмитриев завершил мемуары, названные им «Взгляд на мою жизнь».

«Взгляд на мою жизнь» — наиболее полное изложение событий его жизни. Но личность самого автора представлена здесь заведомо неполно. Вяземский замечал по поводу автобиографических записок Дмитриева: «...жаль, что он пишет их в мундире. По-настоящему должно приложить бы к ним *словесные прибавления*, заимствованные из его разговоров, обыкновенно откровенных, особливо же в избранном кругу». Дмитриев был «оригинальным и самобытным рассказчиком» (М. М. Попов). Современники вспоминали его остроумные устные новеллы, в которых важен был не только сюжет, но сам стиль повествования, правильный литературный слог устной речи, неповторимые интонации, мимика рассказчика.

Стихи Дмитриева теснейше связаны с культурой устной речи, с тем типом устного общения, который распространился в русском образованном обществе на рубеже веков, когда в число «утонченностей взыскательного общества» наряду с изящными комплиментами, изысканным остроумием, тонкостью выражения эмоций входят поэтические «безделки», размывающие границы литературы и быта: эпиграммы, мадригалы, надписи, дружеские послания, песни. Характерно, например, что эпиграммой теперь называют уже не только короткое сатирическое стихотворение, но вообще всякое, в том числе устное, остроумное словцо. И недаром современники так высоко ставили стихотворные «мелочи» Дмитриева: «...в надписях, эпиграммах и других мелких стихотворениях поэт наш открыл дорогу своим преемникам. До него не умели ни хвалить тонко, ни насмехаться остроумно» (П. А. Вяземский). «Мелочи» и «безделки» Дмитриева воспринимались современниками в контексте бытовой культуры устного экспромта, на фоне повседневного устного общения.

Важное качество светского человека — умение «в разговоре своем быть и забавным и важным», быть «неподражаемым» в «искусстве рассказать привлекательно и быстро анекдот или повесть, оживить своею изобретательностию общественные забавы, представить важное смешным или смешное важным, сказать приятным образом лестное слово» [1]. Особенное положение в светском быту принадлежало женщине. Занять душу женщины непринужденным разговором — одно из немаловажных достоинств светского человека. Соответственно и идеал светской женщины — это не кокетка или жеманница, а любезная, умная и чувствительная собеседница. В конце XVIII века «тонкость чувств, нежность сердца <...> делались мерилом цивилизованности общества, и их выражение становилось первейшей задачей литературы» [2]. Вкус «нежных слушательниц» (впрочем, не столько реальный вкус, сколько идеально мыслимый) становился мерилом достоинств литературного произведения. Разговорный язык «хорошего общества» — эталоном языка литературного. Писатель, желающий вы-

---

[1] Жуковский В. А. Собр. соч. в 4-х томах. М.— Л., 1960, т. 4, с. 394.

[2] См.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры.— В кн.: Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984, с. 528.

сказать «тонкие идеи» и «выражать приятно некоторые, даже обыкновенные, мысли» [1], должен писать так, как говорят.

Карамзин «начал писать языком, подходящим к разговорному языку образованного общества», вспоминал Дмитриев, упрощая, однако, ситуацию: в образованном обществе разговорным языком был язык французский («Милые женщины,— писал Карамзин, пленяют нас нерусскими фразами» [2]). И проблема «обогащения» русских слов «тонкими идеями», труд по «обрабатыванию собственного языка» для выражения «даже обыкновенных мыслей» и «обыкновенных чувств», умение светски непринужденно говорить и писать на русском языке оказались серьезнейшими вопросами культуры конца XVIII столетия.

Ориентация языка литературы на язык повседневного общения связана с общемировоззренческими изменениями последней трети XVIII века. В это время в сознании мыслящих людей складывается новое представление о том, что есть добродетельный человек. Это прежде всего тот, кто живет, совершая единичное, «частное» добро, умеющий тонко чувствовать, сострадать ближнему. Чувствительность становится критерием оценки личности. Чувствительное отношение к миру изменяло и принципы писательского самовыражения. Карамзинизм, утверждаясь в качестве новой литературной системы, отнюдь не игнорировал традиционную жанровую иерархию, сложившуюся в русской поэзии XVIII века (высокие — средние — низкие жанры). Но так как теперь главное в литературе — это «портрет души и сердца своего» [3], то первостепенными становятся уже не торжественная ода, в которой поэт, как бы отрекаясь от своего я, говорит голосом пророка, вещающего высокие истины и воспаряющего умом в восторге; не эпопея, в которой поэт поет о «важном, достопамятном приключении, в бытиях мира случившемся» [4]; не социально направленная стихотворная сатира, в которой поэт пишет «по должности гражданина, отбивая все то, что согражданам моим вредно быть может» [5]; а средние жанры — элегия, послание, любовная песня,— жанры, предназначенные для выражения прежде всего личных чувств автора. Именно в них важен «средний» слог, выражающий «обыкновенные чувства».

«Истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону: его дело наводить на все живые краски, ко всему привязывать остроумную мысль <...>, обыкновенное чувство украшать выражением, показывать оттенки, которые укрываются от глаз других людей» [6]. Карамзин писал это в 1797 году, когда он уже был известным писателем и когда, кроме собственного опыта, мог опереться на опыт своего друга Дмитриева.

---

[1] Карамзин Н. М. Избр. соч. в 2-х томах. М.— Л., 1964, т. 2, с. 185.

[2] Там же, с. 185

[3] Там же, с. 121.

[4] Херасков М. М. Избранные произведения. Л., 1961, с. 180.

[5] Кантемир А. Д. Собр. стихотворений. Л., 1956, с. 369.

[6] Карамзин Н. М. Избр. соч. в 2-х томах, т. 2, с. 144.

«Любезный мой Певец!»; «Муза Русская при рождении твоем сказала: *«Поэт!»;* «мой любезный Поэт и Стихотворец!» [1],— обращался в письмах к Дмитриеву Карамзин. *Поэт* и *стихотворец* здесь не одно и то же. Вяземский называл самого Карамзина поэтом «по содержанию стихотворений <...>, но не по внешней отделке» [2]. По «внешней отделке» современники присуждали первенство Дмитриеву. Воздействие его стихов приравнивалось к влиянию прозы Карамзина.

Славу ему принесли стихотворные сказки, басни, песни, сатиры, эпиграммы, надписи. Дмитриев стремился к созданию стихотворного аналога устного повествования, к «изящному изображению обыкновенного и повседневного» [3]. Но и *до* Дмитриева авторы басен, сказок, сатир стремились имитировать разговорную речь. На «непритворном», «естественном» языке чувств старались сочинять элегии, песни, мадригалы. О том, что в жанрах, посвященных личным переживаниям, надобно воплощение прежде всего собственных страстей, писал еще «законодатель» французского классицизма Буало. Сумароков, которому принадлежала честь утвердить в русской поэзии принципы классицизма, так переводил строки Буало, характеризующие поэта-элегика:

Но жалок будет склад, оставь и не трудись:
Коль хочешь то писать, так прежде ты влюбись! [4]

И песня в неменьшей степени, по мысли Сумарокова, предназначенная для выражения интимных переживаний поэта, требует «обыкновенного» слога и «простоты»:

Слог песен должен быть приятен, прост и ясен,
Витийств не надобно; он сам собой прекрасен;
Чтоб ум в нем был сокрыт и говорила страсть... [5].

Сумароков почитался своими современниками прежде всего певцом нежных чувств; считалось, что он открыл «все приятства, нежности и сладость нашего прекрасного языка» [6]. Даже Карамзин писал в 1802 году, что «многие стихи в его трагедиях нежны и милы» [7]. Но в целом отношение к Сумарокову у Карамзина и его последователей было холодным. Крайнюю позицию занял самый младший из последователей Карамзина — А. С. Пушкин. «Страшилась грация цинической свирели, //И персты грубые на лире костенели»,— оценивал он Сумарокова в послании «К Жуковскому» (1814). В этом стихотворении, откликающемся на литературные споры начала XIX века, Пушкин формулировал позицию сторонников «нового слога» — продолжателей Карамзина и Дмит-

---

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 50, 65, 31.

[2] Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984, с. 254.

[3] Вяземский П. А. Собр. соч. в 2-х томах, т. 2, с. 322.

[4] Сумароков А. П. Избр. произведения. Л., 1957, с. 118.

[5] Там же, с. 124.

[6] Санкт-Петербургский вестник, 1778, январь, с. 41.

[7] Карамзин Н. М. Избр. соч. в 2-х томах, т. 2, с. 170.

риева. Настоящий поэт у Пушкина тот, «кто в свет рожден с чувствительной душой», «кто тайно мог пленить красавиц нежной лирой», «кто смело просвистал шутливою сатирой», «кто выражается правдивым языком». Это обобщенная характеристика вообще поэта-карамзиниста. Но эта характеристика целиком подходит прежде всего к поэзии Дмитриева. Именно Дмитриев «учил искусству поэтически и правильно выражаться»[1]. Дмитриев первым сочинил «шутливую сатиру», поразившую современников изяществом остроумия («Чужой толк»), Дмитриев был «чувствительным» поэтом («Дмитрев нежный»,— называл его А. С. Пушкин в юношеском стихотворении «Городок»), «пленяющим» красавиц. Стихи Дмитриева появились не только «на учебных столах литераторов», но и «на уборных столиках светских женщин»[2]. В «остроумных, неподражаемых сказках» Дмитриева «поэзия в первый раз украсила разговор лучшего общества»,— писал Батюшков[3].

Дмитриева противопоставляли Сумарокову. «Мы очень богаты притчами,— рассуждал А. Ф. Мерзляков, прослеживая историю жанра басни в России.— Сумароков нашел их среди простого <...> народа; Хемницер привел их в город; Дмитриев отворил им двери в просвещенные, образованные общества, отличающиеся вкусом и языком»[4]. Противопоставление изящества дмитриевских стихов «грубости» прежней русской поэзии было общим местом в начале XIX века. Но сам Дмитриев, более чем кто-либо из карамзинского круга писателей, был консервативен по отношению к Сумарокову. В 20-е годы, когда уже никого нельзя было заподозрить в серьезных симпатиях к Сумарокову, Дмитриев записывал: «Сумароков и поныне в глазах моих поэт необыкновенный». С точки зрения Дмитриева, стихи Сумарокова отличаются и «вкусом и остроумием»; они создали «благозвучие в родном языке». Конечно, «легкость и разнообразие» Сумарокова были нарочито преувеличены Дмитриевым: в 20-е годы в русской литературе развивался романтизм, к которому Дмитриев относился скептически, и выдвижение Сумарокова, а также Хераскова в качестве образцов имело для него полемическое значение. Но не учитывать этого суждения при определении литературной позиции Дмитриева нельзя. Для него самого не существовало принципиального антагонизма между поэзией классицизма и его стихами. Не случайно он не однажды обращался к высоким лирическим жанрам, и его собрания сочинений открывались разделом «Лирические стихотворения» (лирикой в XVIII — начале XIX века по традиции называли одическую поэзию). Совершенно не напрасно современники называли его «классиком» (сейчас сказали бы: «классицистом»). «Как и Карамзин, он показал тайну употребления слова в прямом значении»[5],— писал Жуковский о Дмитриеве. Это перефразировка общеизвестных слов Буало о Малербе (в переводе Карам-

---

[1] Жуковский В. А. Эстетика и критика, с. 323.
[2] Вестник Европы, 1806, ч. XXVI, № 8, с. 278.
[3] Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе, М., 1977, с. 12.
[4] Литературная критика 1800 — 1820-х годов. М., 1980, с. 130.
[5] Жуковский В. А. Эстетика и критика, с. 323.

зина: «Малерб[1] <...> *узнал тайную силу каждого слова, поставленного на своем месте»*[2]). Владение тайной «точного» слова, «стоящего на своем месте», имел в виду и Батюшков, сравнивая Дмитриева с Буало: «Характер его дарования, красивость и точность. Он то же делает у нас, что Буало <...> у себя»[3]. По аналогии с развитием поэтики «точного» слова в литературе французского классицизма мыслилась современниками Дмитриева и его роль в создании русской поэзии нового типа.

Дмитриева называли «российским Лафонтеном». Так было не только потому, что большинство басен Дмитриева — вольные переложения произведений знаменитого французского баснописца, с которым он вступал в «соревнование» («переводчик *в стихах* — соперник»[4]). Так было и не только потому, что басни Лафонтена в России XVIII — начала XIX века считались образцовыми (Лафонтеном называли и Сумарокова, и Хемницера, и Крылова, независимо от индивидуальной манеры каждого из них). Лафонтен создал новый по сравнению со своими предшественниками тип басен, в котором «объективный» басенный морализм был вытеснен выражением личной точки зрения рассказчика.

Басня — жанр консервативный как по типу образности, так и по своей сюжетике. Люди, животные, птицы и насекомые, участвующие в басенных происшествиях, являются аллегорическим воплощением определенных нравственных качеств; басенный сюжет существует не сам по себе, а как «иллюстрация» к истине, которую резюмирует рассказчик в качестве морального вывода из своего повествования. Заведомый аллегоризм басенных персонажей настраивает читателя на двойное восприятие сюжета: важна и «зримая» картина действий героев и тот умозрительный смысл, который просвечивает в их поступках. Потому в баснях особенное значение имеет та точка зрения, с которой рассказывается басня, и важен голос самого рассказчика, расставляющего нужные акценты. Дмитриев вослед Лафонтену отказался в баснях от «лобовой» дидактики, от сатирической прямоты, от роли объективного судьи пороков. Его позиция — это позиция человека, абсолютной истины не знающего, а судящего обо всем со своей *частной* точки зрения. Личный житейский опыт здравомыслящего человека, а не система социально-нравственных правил образованного моралиста становится критерием оценки мира. Характерна в этом смысле басня «Мудрец и Поселянин», в которой необразованный Поселянин говорит, что он обучался «науке счастья» не по

---

[1] Франсуа Малерб (1555—1628) — поэт. С его именем во Франции связана выработка норм литературного языка. С Малерба, «очистившего» язык, Буало начинал в «Поэтическом искусстве» отсчет правильной, хорошей поэзии во Франции.

[2] Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984, с. 285.

[3] Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе, с. 421.

[4] Жуковский В. А. Собр. соч. в 4-х томах, т. 4, с. 410. Эта мысль связана с общераспространенной в европейской эстетике XVII — начала XIX века идеей «борьбы» и «состязания» переводчика с переводимым автором.

книгам, а благодаря честному сердцу, внимающему «законам натуры». Предлагая читателю моральный вывод из басни, Дмитриев не утверждает, а скорее удивляется глупостям или бесстыдству. Сам этот вывод иногда формулируется в вопросительной форме («Кот, Ласточка и Кролик», «Истукан и Лиса»), или выглядит как эмоциональное восклицание («Пчела и Муха»), или, теряя свою «всеобщность», мораль применяется автором к самому себе («Ах! часто и в себе я это замечал, // Что, глупости бежа, в другую попадал» — «Дон-Кишот»). А в иных баснях Дмитриев вовсе отказывается от вывода, «растворяя» его в самом повествовании («Дуб и Трость», «Лиса-проповедница», «История», «Прохожий»). Басенный сюжет утрачивает свой иллюстративный, умозрительный смысл, приобретая права самостоятельной новеллы. Важным становится само *рассказывание* забавного, анекдотического случая умным и ироничным человеком.

Отказ от прямолинейной назидательности, соприкосновение с поэтикой устной новеллы, «очищение» слога, замена объективного морализма на выражение личной точки зрения изменяло жанровую «чистоту» басни, насыщая ее мотивами других жанров. Это заметили уже современники. «В басне «Два Голубя» он дает нам лучшие образцы стихов элегии, а в «Дон-Кишоте» лучший образец стихов пастушеских»,— писал Вяземский.

В собраниях сочинений Дмитриев печатал свои стихи «по разделам», причем некоторые басни первоначально были им помещены в раздел «сказки», а некоторые сказки — в раздел «басни». В стихотворных сказках Дмитриева постоянно подчеркивается развлекательный характер повествования; рассказчик иронизирует и над героями, и над собственным рассказом. Говоря о страннователе, ищущем Фортуну, он иронически комментирует собственный стиль: «Попутный дунул ветр; по крайней мере кстате // Пришло мне так сказать, и он уже в Сурате!». *Сурат* (порт в Индии) появляется в сюжете не по логике действий героя, а потому, что так «вздумалось» автору. В «Причуднице» ирония распространяется и на самого рассказчика, «в восторге» вспоминающего о рассказах «драгунского витязя» Брамербаса и с притворным изнеможением восклицающего в финале: «Насилу досказал».

В иронических и намеренно лишенных «моралистики» сказках Дмитриева в еще большей степени, чем в его баснях, очевидна установка на имитацию устного рассказа. Особенно это характерно для лучших его сказок — «Причудница», «Модная жена», «Воздушные башни», где не только отчетливо выделены обращения к собеседникам («признаться вам»; «друзья мои любезны!»; «так слушайте меня»; «извольте знать» и т. п.), но даже общими штрихами может быть очерчена ситуация, в которой рассказывается сказка. В «Воздушных башнях» рассказчик «в гостях» сидит, «повеся нос», «все думают», что в его уме поэтические мечтания, а он признается, что вспоминает сказки, читанные в «детски леты», и предлагает рассказать одну из них. В «Воздушных башнях» обоснована и позиция рассказчика, желающего увлечь слушателей бесхитростной историей и не преследующего при этом никаких высоких целей:

Не лучше ль вам я угожу,
Когда теперь одну из сказочек скажу?

Я знаю, что оне неважны, бесполезны;
Но все ли одного полезного искать?
Для сказки и того довольно,
Что слушают ее без скуки, добровольно,
И может иногда улыбку с нас сорвать.
Послушайте ж...

Дмитриев-«сказочник» и Дмитриев-«баснописец» стали известны читающей публике одновременно с Дмитриевым — автором песен. Поэтика литературной любовной песни тесно связана с поэтикой элегии и идиллии. В эпоху распространения «чувствительности» элегия и идиллия не только сами по себе, как самостоятельные жанры, вышли с периферии литературы в центр, но заметно воздействовали на другие жанры (выше уже приводилось суждение Вяземского об элегических и идиллических стихах в баснях Дмитриева). Элегическая интерпретация несчастной любви во многом способствовала формированию сюжетов сентиментальной повести (примечателен подзаголовок повести Карамзина «Сиерра-Морена»: «Элегический отрывок из бумаг NN»). Герои сентиментальных повестей — «чувствительные поселяне» — сохраняли черты идиллических пастушков и пастушек. Многие песни Дмитриева, сочинявшиеся в период экспансии сентиментальной повести, в известной мере являются стихотворными параллелями этого прозаического жанра. Только в соответствии с канонами песенной поэтики (малый объем, «куплетность», 4-стопный хорей, «простота») у Дмитриева нет сюжета, нет пространных размышлений; любовным страданиям, о которых говорится в его песнях, он находит «легкий образ выражения» [1], предельно упрощая лексику и образность.

Песня — жанр «чувствительный», выражающий душевные переживания. Но вот что любопытно: если в иных баснях Дмитриев сознательно и открыто применяет басенную ситуацию к самому себе, то в любовных песнях (и особенно это видно на примере тех песен, которые он отобрал для издания последнего своего собрания сочинений [2]), Дмитриев реформирует «образ выражения», но не принцип отношения к тому, о чем он говорит. Если рассмотреть, например, «унылые» песни Дмитриева, то они построены на тех же мотивах и сюжетах, что и «унылые» песни Сумарокова, и персонажи многих его «унылых» песен, как и у Сумарокова — пастушки, и место действия — те же: речные берега, лес и т. д. Та личная точка зрения, которая очевидна в баснях, сказках, элегиях, посланиях, растворяется в песенных формулах.

Песни Дмитриева создали ему репутацию «нежного» стихотворца. Репутация эта поддерживалась «чувствительными» признаниями в других жанрах (посланиях, элегиях, «безделках» типа «Прохожий и Горлица», «Людмила»). Но образ «нежного Дмитриева» был лишь составной частью его литературной репутации. «Нежному певцу» сопутствовал простодушный рассказчик басен и сказок, остроумец, язвительный полемист, автор сатирических

[1] Литературная критика 1810 — 1820-х годов, с. 126.

[2] «Стонет сизый голубочек...»; «Видел славный я дворец...»; «Что с тобою, ангел, стало?..»; «Пой, скачи, кружись, Параша!..»; «Все ли, милая пастушка...»; «Ах! когда б я прежде знала...»; «Всех цветочков боле...».

стихов и экспромтов. Роль «дамского стихотворца»[1] не противоречила роли остроумного насмешника: совмещаясь в сознании читателя, эти поэтические роли создавали однозначно неопределяемый облик живого человека, пишущего о себе. Такое совмещение соответствовало самому стилю культуры конца XVIII — начала XIX века, когда выражение чувствований сердца соседствовало с игрой остроумия, а ограниченная светским вкусом исповедальность — с легкой шуткой и колкой насмешкой. Разрушение жанровых границ в поэзии, которому сам же Дмитриев и способствовал, вело к восприятию произведений, сочиненных им в разных жанрах, как стихов, выражающих единую душу автора.

Со времен «Московского журнала» Дмитриев почувствовал свое писательское значение и уже не переставал мыслить себя соратником Карамзина на поприще литературных преобразований. Он не осмыслял своего новаторства в теоретических выступлениях (его журнальные статьи не отличаются четкостью и систематичностью эстетических требований). Он редко вступал и в полемику, но зато эти редкие полемические выступления были весьма ощутимы для литературной жизни конца XVIII — начала XIX века. Стихотворная сатира «Чужой толк», направленная против «всеусердных» сочинителей торжественных од, и «Послание от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту» стали классикой литературной сатиры.

Многие полемические стихи Дмитриева написаны в защиту Карамзина. Сам Карамзин принципиально не отвечал своим зоилам, но Дмитриев почитал долгом ответить эпиграммой, пародией, басней. В 1792 году он пишет «Гимн восторгу», пародию на стихи Н. П. Николева; в 1793-м — эпиграмму на А. И. Клушина, выступавшего совместно с И. А. Крыловым против направления «Московского журнала», в 1795-м — эпиграмму на Н. М. Шатрова, позволившего себе иронизировать над названием сборника Карамзина «Мои безделки».

В 1803 году А. С. Шишков выпустил «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», в котором подверг критике «новый слог». Против Шишкова выступили сторонники Карамзина. Споры вокруг «нового слога» шли более чем полтора десятилетия. Дмитриев призывал Карамзина к полемике против Шишкова, сам одним из первых осмеял «славено-российские» тенденции в литературе (пародия на «Храм славы» П. Ю. Львова). Вокруг Дмитриева группируются в 1800-е годы младшие карамзинисты. Критические нападки на Карамзина вызвали у Дмитриева и несколько басен подчеркнуто полемического характера — «Змея и Пиявица», «Лебедь и гагары», «Орел и Змея», «Орел и Каплун». После выхода восьми томов «Истории государства Российского» Карамзина Дмитриев, возмущенный мелочной критикой карамзинского труда (в частности, М. Т. Каченовским), написал в поддержку друга басни «История» (1818), «Дети и мыльные пузыри» (1821). Умел Дмитриев отвечать и на несправедливую критику, направленную в его собственный адрес. Когда в 1806 году Каченовский на страницах «Вестника Европы» неучтиво задел Дмитриева упоминанием о его сенаторстве, Дмитриев, чрезвычайно тем раздраженный, ответил ядовито бранной эпиграммой «Ответ» («Нахальство, Ари-

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, с. 30.

старх, таланту не замена...»). Обиду он не забыл и позднее, вспомнив о ней в своих мемуарах.

Признание Дмитриева «действительным поэтом 1-го класса» (А. Ф. Воейков) создавало ему уважение со стороны разных литературных группировок. Особенно же ценим Дмитриев был «арзамасским братством». Так по названию литературного общества «Арзамас» принято называть круг карамзинистов, находившихся в личных дружеских отношениях и дружно выступивших в защиту «нового слога». Это В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, В. Л. Пушкин, Д. В. Дашков, П. А. Вяземский, К. Н. Батюшков, Д. Н. Блудов. С большинством из них Дмитриев поддерживал хорошие отношения, неизменно высоко отзывался о творчестве Жуковского, Батюшкова, особенно же любил стихи Вяземского.

Без Дмитриева невозможно представить русскую литературу начала XIX века. *Мнение* Дмитриева, высказанное в кругу двух-трех знакомых, или в письме, или в эпиграмме, быстро становилось общеизвестным. Знакомство с Дмитриевым для младших поэтов и литераторов в 1800—1820-е годы не только лестно (см., например, воспоминания М. Н. Макарова, С. П. Жихарева), но и подобно рекомендательному письму. Характерно, что, когда А. С. Норов обращался из Одессы в Москву к Вяземскому с просьбой проявить дружеское внимание к Адаму Мицкевичу, он писал: «Введите его, дорогой князь, в ваши круги и познакомьте также с Дмитриевым» (письмо от 9 ноября 1825 года) [1]. К мнению Дмитриева прислушивались. Не стремясь к роли законодателя вкуса, он невольно им становился в глазах современников. Признание его заслуг выразилось, помимо прочего, в специфической форме — стихотворном послании к нему с непременным сатирическим сетованием на современное состояние литературы (В. Л. Пушкин. «Письмо к И. И. Д.», 1796 [2]; А. А. Писарев. «Страсть к стихотворству», 1805 [3]; С. Н. Марин. «Сатира 2-я», 1808 [4]; П. А. Вяземский. «Послание к И. И. Дмитриеву...», 1819 [5]). «Любимец нежных муз, питомец Аполлона, // Блюститель истинный Парнасского закона!» называет в «Сатире 2-й» Дмитриева Марин: к Дмитриеву обращаются как к авторитетному судье, как к законной литературной власти.

Однако успешное соперничество с Дмитриевым И. А. Крылова на поприще басни, борьба романтиков с классиками и переоценка карамзинизма в литературе 1820—1830-х годов привели к постепенному пересмотру его репутации. А. С. Пушкин и Н. М. Языков печатают в 1826 году «Нравоучительные четверостишия» — цикл пародийных стилизаций его апологов. Д. В. Веневитинов в 1827 году сочиняет эпиграмму:

Я слышал, Камены тебя воспитали,
Дитя, засыпал ты под басенки их,
Бессмертные дар свой тебе передали,
И мы засыпаем на баснях твоих.

---

1 Мицкевич А. Сонеты. Л., 1976, с. 242.
2 Аониды, 1796, кн. 1, с. 92.
3 Северный Меркурий, 1805, № 2, с. 23.
4 Драматический вестник, 1808, № 23, с. 187.
5 Полярная звезда на 1823 год, с. 97.

Эпиграмма Веневитинова — даже не факт литературной борьбы, это признание архаичности как поэзии Дмитриева, так и той поэтической культуры, воспитанником которой он был и в условиях которой он снискал лавры «первоклассного отечественного писателя»[1]. У самого Дмитриева новые литературные явления часто вызывали негативную реакцию. «Отрицание принятых правил и вкуса» (письмо к Вяземскому от 6 ноября 1830 г.) вызывали его негодование. Но в П. А. Вяземском и А. С. Пушкине он видел достойных продолжателей литературного дела Карамзина, побуждал их к защите карамзинизма, высоко ценил произведения Пушкина 30-х годов. Личные отношения с А. С. Пушкиным у Дмитриева установились только в 30-е годы. Неблагосклонный отзыв Дмитриева в 1820 году о «Руслане и Людмиле» (см. письма к П. А. Вяземскому и А. И. Тургеневу от 19 сентября и 18 октября) долго был памятен Пушкину, и его отношение к Дмитриеву смягчилось лишь к 30-м годам в связи с борьбой «литературной аристократии» против враждебных ей группировок, в связи со специфическим «ретроспективизмом» творческой ориентации Пушкина. Пушкин использовал рассказы Дмитриева о Пугачевском восстании при работе над этой темой, собирался печатать в «Современнике» статью о стихотворении Дмитриева «Путешествие N. N. в Париж и Лондон...», в которой косвенно сравнивал «игривость шутки» Дмитриева с «забавами ума» Катулла и Вольтера. Воспоминания Дмитриева пригодились и для «Истории Пугачева» (1833) и для «Капитанской дочки» (1836). В Петре Андреевиче Гриневе — главном герое романа Пушкина — есть неуловимое уже для читателей следующих поколений сходство с Иваном Ивановичем Дмитриевым. Дмитриев и Гринев — почти ровесники (Гринев на 2 года старше); отцы записали своих сыновей в Семеновский полк; тот и другой в отрочестве отправлены на военную службу. Судьбы их в дальнейшем сложились различно, но в их характерах есть нечто общее, достойное примечания. Их роднит сам склад мышления, бесхитростная аксиоматичность и ясность моральных правил. Такие люди, как Дмитриев и Гринев, не были ни яростными крепостниками, ни политическими фрондерами. И то и другое было за пределами их понимания. Они могли попасть под суд по ложному доносу, но в конечном счете счастливо освободились. Затем они становились мирными помещиками, отцами многочисленных семейств, как Гринев, а при случае — министрами, как Дмитриев. Их можно было бы упрекнуть в узости кругозора, в отсутствии потребностей искать смысл жизни, в косности даже, но их нельзя было бы упрекнуть в бесчестности, в карьеризме, в безнравственности. Подчеркнутая честность и прямое благородство, доходящее до щепетильности, всегда отличали Дмитриева. М. А. Дмитриев вспоминал такой эпизод из жизни своего дядюшки: московского цензора, поэта С. Н. Глинку отправили под арест за разрешение к печати элегии, в которой высшим начальством был усмотрен намек на декабрьское восстание 1825 года. «Когда узнали в Москве, что Глинка на гауптвахте, бросились навещать его: в три-четыре дня перебывало у него человек триста с визитами. Дядя мой

---

[1] «Сын отечества», 1820, № XLIII, с. 115.

<...> один из первых навестил его. Не всякий бывший министр на это бы решился»[1].

Дмитриев гордился тем, что он честно выполнял свои сенаторские и министерские обязанности, не преследовал личных выгод, был чужд придворным интригам, «без покровителей, без происков, без нахальных требований счастлив был в чинах и отличиях».

Чинов и рифм он не искал,
Но рифмы и чины к нему летели сами,—

писал Карамзин о своем друге. Действительно, известность пришла к Дмитриеву как бы случайно, и хотя авторское самолюбие было развито в нем сильно и ему льстило положение «блюстителя Парнасского закона», а затем «патриарха» и «первоклассного писателя», нельзя сказать, чтобы он самоутверждался в поэзии как законодатель литературных правил и мод или стремился к первенству. Во главу литературного движения своей эпохи он выдвигал всегда Карамзина (в связи с чем и сложилась у последующих поколений легенда о Карамзине — учителе Дмитриева); сам же, по выражению современного исследователя, «предпочитал быть режиссером, а не актером литературного спектакля»[2]. При этом Дмитриев не мыслил свои занятия изящной словесностью главным делом своей жизни, и сказать, что поэзия была его единственной пламенной страстью или его «профессией», нельзя. Характерно воспоминание Вяземского: в 1812 году Дмитриев оскорбился предположением графа Разумовского о том, что он сочиняет стихи в звании министра. Литература была частью его повседневного быта, и его стихи прочно вошли в повседневный быт образованного общества. В той духовной атмосфере, когда изящная словесность была явлением, так сказать, «домашним», когда писатели многих своих читателей знали в лицо, а читатели были знакомы с читаемыми писателями, стихи Дмитриева неизбежно соотносились в сознании современников с реальным обликом поэта, с той его ролью, какая «игралась» им в свете, в кругу близких знакомых, на государственных постах. Немалое значение для понимания стихов Дмитриева (особенно в 1800—1810-е годы) имело и то, что рассказывалось о нем в обществе. Молодые литераторы нередко еще до знакомства с Дмитриевым воспринимали его сквозь призму его литературно-общественной репутации (см. воспоминания Ф. Ф. Вигеля, М. Н. Макарова).

Для поколения 30-х годов, уже потерявшего живую связь с той культурой, в условиях которой сложилась репутация Дмитриева, его былая популярность стала казаться преувеличенной современниками, а его манера держать себя («все в нем было размеренно, чинно, опрятно, даже чопорно, как в немце» — Ф. Ф. Вигель; «мой дядя был большой наблюдатель приличий и учтивости»—М. А. Дмитриев[3]) казалось проявлением душевного холо-

[1] Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, с. 109.

[2] Вацуро В. Э. Комментарии <к письмам И. И. Дмитриева>.— В кн.: Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980, с. 444.

[3] Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти, с. 98.

да и бесстрастия, что, с точки зрения человека 30-х годов, несвойственно истинным поэтам. «Дмитриев, ничем не увлекаясь, умел поладить с службою и литературою, взаимно помогая одним другому, и при уме осторожном, вкусе разборчивом, бесстрастии систематическом, сделался другом и советником всех <...> Литература была у него занятием между прочим, при службе, при светской жизни»,— писал в 30-е годы Н. А. Полевой [1]. Это и так и не так: в 30-е годы изменилось понимание того, что такое литература и что такое писатель. Дмитриев был писателем другой, уже не вполне понятной новым поколениям эпохи. Но его литературный опыт сыграл серьезную роль в развитии русской поэзии. Недаром, когда началась полемика вокруг первой главы «Евгения Онегина» (1825), критики, отыскивая аналоги этому новому явлению в литературе, указывали на шутливую поэму Богдановича «Душенька» и на «Модную жену» Дмитриева.

И хотя Дмитриев стал свидетелем заката своей славы, он имел все основания сказать о себе в автобиографических записках: «...едва ли кто из моих современников проходил авторское поприще с меньшею заботою и большею удачею».

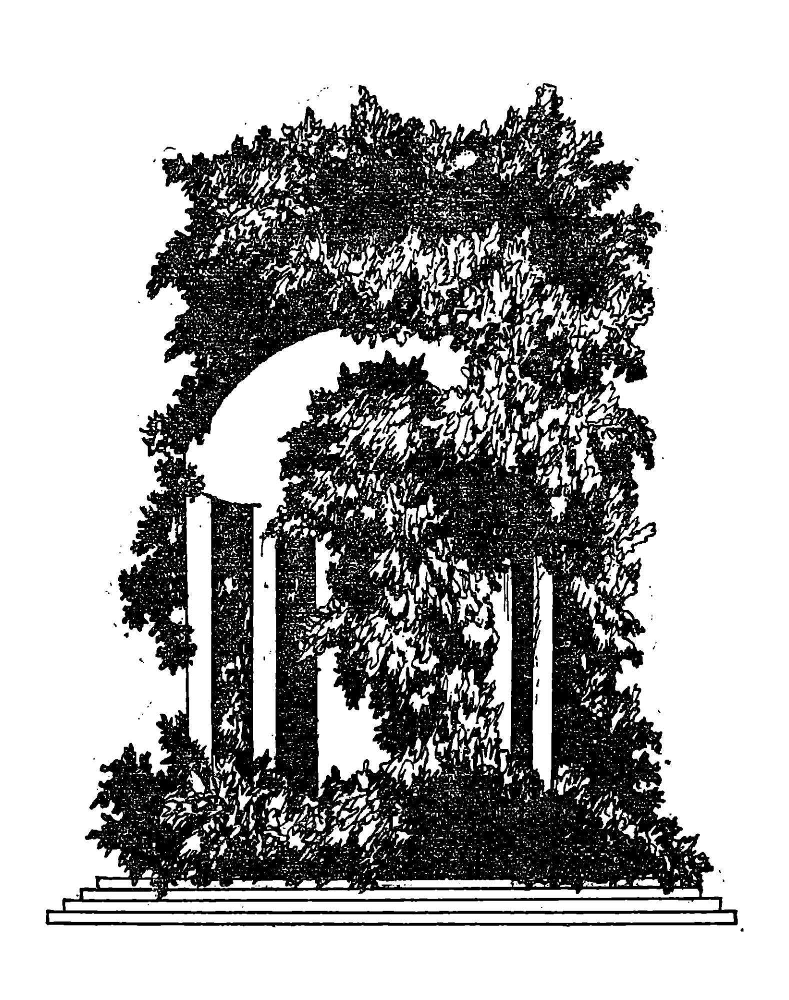
А. М. Песков

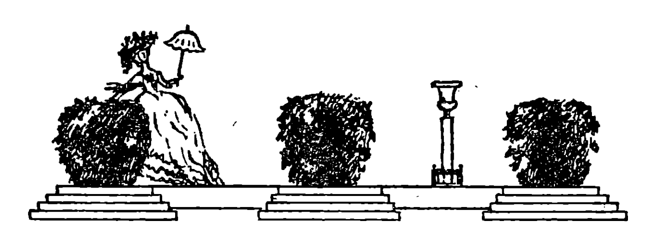


---

[1] Полевой Н. А. Очерки русской литературы. СПб., 1839 ч. 2, с. 463—464.

СТИХОТВОРЕНИЯ





Лирические стихотворения

ЕРМАК

Какое зрелище пред очи
Представила ты, древность, мне?
Под ризою угрюмой ночи,
При бледной в облаках луне,
Я зрю Иртыш: крутит, сверкает,
Шумит и пеной подмывает
Высокий берег и крутой;
На нем два мужа изнуренны,
Как тени, в аде заключенны,
Сидят, склонясь на длань главой;
Единый млад, другой с брадой
Седою и до чресл висящей;
На каждом вижу я наряд,
Во ужас сердце приводящий!
С булатных шлемов их висят
Со всех сторон хвосты змеины
И веют крылия совины;
Одежда из звериных кож;
Вся грудь обвешана ремнями,
Железом ржавым и кремнями;
На поясе широкий нож;
А при стопах их два тимпана
И два поверженны копья;
То два сибирские шамана,
И их словам внимаю я.

Старец

Шуми, Иртыш, реви ты с нами
И вторь плачевным голосам!
Навек отвержены богами!
О, горе нам!

Младый

О, горе нам!
О, страшная для нас невзгода!

Старец

О ты, которыя венец
Поддерживали три народа [1],
Гремевши мира по конец,
О сильна, древняя держава!
О матерь нескольких племен!
Прошла твоя, исчезла слава!
Сибирь! и ты познала плен!

Младый

Твои народы расточенны,
Как вихрем возмятенный прах,
И сам Кучум [2], гроза вселенны,
Твой царь, погиб в чужих песках!

Старец

Священные твои шаманы
Скитаются в глуши лесов.
На то ль судили вы, шайтаны [3],
Достигнуть белых мне власов,
Чтоб я, столетний ваш служитель,
Стенал и в прахе, бывши зритель
Паденья тысяч ваших чад?

---

[1] Татары, остяки и вогуличи (все подстрочные примечания, кроме переводов иноязычных слов, принадлежат И. И. Дмитриеву).
[2] Кучум из царства своего ушел к калмыкам и убит ими.
[3] Сибирские кумиры.

Младый

И от кого ж, о боги! пали?

Старец

От горсти русских!.. Мор и глад!
Почто Сибирь вы не пожрали?
Ах, лучше б трус, потоп иль гром
Всемощны на нее послали,
Чем быть попранной Ермаком!

Младый

Бичом и ужасом природы!..
Кляните вы его всяк час,
Сибирски горы, холмы, воды:
Он вечный мрак простер на вас!

Старец

Он шел как столп, огнем палящий,
Как лютый мраз, все вкруг мертвящий!
Куда стрелу ни посылал —
Повсюду жизнь пред ней бледнела
И страшна смерть вослед летела.

Младый

И царский брат пред ним упал.

Старец

Я зрел с ним бой Мегмета-Кула [1].
Сибирских стран богатыря:
Рассыпав стрелы все из тула
И вящим жаром возгоря,
Извлек он саблю смертоносну.
«Дай лучше смерть, чем жизнь поносну
Влачить мне в плене!» — он сказал —
И вмиг на Ермака напал.

---

[1] Царский брат, которого Ермак пленил и отослал к царю Иоанну Васильевичу; от него произошли князья Сибирские.

Ужасный вид! они сразились!
Их сабли молнией блестят,
Удары тяжкие творят,
И обе разом сокрушились.
Они в ручной вступили бой:
Грудь с грудью и рука с рукой;
От вопля их дубравы воют;
Они стопами землю роют;
Уже с них сыплет пот, как град;
Уже в них сердце страшно бьется,
И ребра обоих трещат;
То сей, то оный на бок гнется;
Крутятся, и — Ермак сломил!
«Ты мой теперь! — он возопил, —
И все отныне мне подвластно!»

Младый

Сбылось пророчество ужасно!
Пленил, попрал Сибирь Ермак!..
Но что? ужели стон сердечный
Гонимых будет...

Старец

Вечный! вечный!
Внемли, мой сын: вчера во мрак
Глухих лесов я углубился
И тамо с пламенной душой
Над жертвою богам молился.
Вдруг ветр восстал и поднял вой;
С деревьев листья полетели;
Столетни кедры заскрыпели,
И вихрь закланных серн унес!
Я пал и слышу глас с небес:
«Неукротим, ужасен Рача [1],
Когда казнит вселенну он.
Сибирь, отвергша мой закон!
Пребудь вовек, стоная, плача,
Рабыней *белого царя!*

---

[1] Главный остяцкий идол. Кучум, родившийся в магометанской вере, частию уговорил, частию принудил большую половину Сибири верить Алкорану.

Да светлая тебя заря
И черна ночь в цепях застанет;
А слава грозна Ермака
И чад его вовек не вянет
И будет под луной громка!»—
Умолкнул глас, и гром трикратно
Протек по бурным небесам...
Увы! погибли невозвратно!
О, горе нам!

Младый

О, горе нам!

Потом, с глубоким сердца вздохом
Восстав с камней, обросших мохом,
И сняв орудия с земли,
Они вдоль брега потекли
И вскоре скрылися в тумане.

Мир праху твоему, Ермак!
Да увенчают россияне
Из злата вылитый твой зрак,
Из ребр Сибири источенна
Твоим булатным копием!
Но что я рек, о тень забвенна!
Что рек в усердии моем?
Где обелиск твой?— Мы не знаем,
Где даже прах твой был зарыт.
Увы! он вепрем попираем
Или остяк по нем бежит
За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой,
Но будь утешен ты, герой!
Парящий стихотворства гений
Всяк день с Авророю златой,
В часы божественных явлений,
Над прахом плавает твоим
И сладку песнь гласит над ним:

«Великий! Где б ты ни родился,
Хотя бы в варварских веках
Твой подвиг жизни совершился;
Хотя б исчез твой самый прах;

Хотя б сыны твои, потомки,
Забыв деянья предка громки,
Скитались в дебрях и лесах
И жили с алчными волками,—
Но ты, великий человек,
Пойдешь в ряду с полубогами
Из рода в род, из века в век;
И славы луч твоей затмится,
Когда померкнет солнца свет,
Со треском небо развалится
И время на косу падет!»

1794

К ВОЛГЕ

Конец благополучну бегу!
Спускайте, други, паруса!
А ты, принесшая ко брегу,
О Волга! рек, озер краса,
Глава, царица, честь и слава,
О Волга пышна, величава!
Прости!.. Но прежде удостой
Склонить свое вниманье к лире
Певца, незнаемого в мире,
Но воспоенного тобой!

Исполнены мои обеты:
Свершилось то, чего желал
Еще в младенческие леты,
Когда я руки простирал
К тебе из отческия кущи,
Взирая на суда, бегущи
На быстрых белых парусах,
Свершилось, и блажу судьбину:
Великолепну зрел картину!
И я был на твоих волнах!

То нежным ветерком лобзаем,
То ревом бури и валов
Под черной тучей оглушаем
И отзывом твоих брегов,
Я плыл, скакал, летел стрелою —

Там видел горы над собою
И спрашивал: который век
Застал их в молодости сущих?
Здесь мимо городов цветущих
И диких пустыней я тек.

Там веси, нивы благодатны,
Стада и кущи рыбарей,
Цветы и травы ароматны,
Растущи средь твоих зыбей,
Влекли попеременно взоры;
А там сирен пернатых хоры,
Под тень кусточков уклонясь,
Пространство пеньем оглашали —
И два сайгака им внимали
С крутых стремнин, не шевелясь.

Там кормчий, руку простирая
Чрез лес дремучий на курган,
Вещал, сопутников сзывая:
«Здесь Разинов был, други, стан!»
Вещал и в думу погрузился;
Холодный пот по нем разлился,
И перст на воздухе дрожал.
А твой певец в сии мгновенья,
На крылиях воображенья,
В протекших временах летал.

Летал, и будто сквозь тумана
Я видел твой веселый ток
Под ратью грозна Иоанна;
И видел Астрахани рок.
Вотще ордынцы безотрадны
Бегут на холмы виноградны
И сыплют стрелы по судам:
Бесстрашный росс на брег ступает,
И гордо царство упадает
Со трепетом к его стопам.

Я слышал Каспия седого
Пророческий, громовый глас:
«Страшитесь, персы, рока злого!
Идет, идет царь сил на вас!

Его и Юг и Норд трепещет;
Он тысячьми перуны мещет,
Затмил Луну и Льва сразил!..
Внемлите шум: се волжски волны
Несут его, гордыни полны!
Увы, Дербент!.. идет царь сил!»

Прорек, и хлынули реками
У бога воды из очес;
Вдруг море вздулося буграми,
И влажный Каспий в них исчез.
О, как ты, Волга, ликовала!
С каким восторгом поднимала
Победоносного царя!
В сию минуту пред тобою
Казались малою рекою
И Бельт и Каспий, все моря!

Но страннику ль тебя прославить?
Он токмо в искренних стихах
Смиренну дань хотел оставить
На счастливых твоих брегах.
О, если б я внушен был Фебом,
Ты первою б рекой под небом,
Знатнейшей Гангеса была!
Ты б славою своей затмила
Величие Евфрата, Нила
И всю вселенну протекла.

1794

ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ

Примите, древние дубравы,
Под тень свою питомца муз!
Не шумны петь хочу забавы,
Не сладости цитерских уз;
Но да воззрю с полей широких
На красну, гордую Москву,
Седящу на холмах высоких,
И спящи веки воззову!

В каком ты блеске ныне зрима,
Княжений знаменитых мать!

Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать?
Венец твой перлами украшен;
Алмазный скиптр в твоих руках;
Верхи твоих огромных башен
Сияют в злате, как в лучах;
От Норда, Юга и Востока —
Отвсюду быстротой потока
К тебе сокровища текут;
Сыны твои, любимцы славы,
Красивы, храбры, величавы,
А девы — розами цветут!

Но некогда и ты стенала
Под бременем различных зол;
Едва корону удержала
И свой клонившийся престол;
Едва с лица земного круга
И ты не скрылась от очес!
Сармат простер к тебе длань друга
И остро копие вознес!
Вознес — и храмы воспылали,
На девах цепи зазвучали,
И кровь их братьев потекла!
«Я гибну, гибну! — ты рекла,
Вращая устрашенно око.—
Спасай меня, о гений мой!»
Увы! молчанье вкруг глубоко,
И меч, висящий над главой!

Где ты, славянов храбрых сила!
Проснись, восстань, российска мочь!
Москва в плену, Москва уныла,
Как мрачная осення ночь,—
Восстала! все восколебалось!
И князь, и ратай, стар и млад —
Все в крепку броню ополчалось!
Перуном возблистал булат!
Но кто из тысяч видим мною,
В сединах бодр и сановит?
Он должен быть вождем, главою:
Пожарский то, России щит!
Восторг, восторг я ощущаю!

Пылаю духом и лечу!
Где лира? смело начинаю!
Я подвиг предка петь хочу!

Уже гремят в полях кольчуги;
Далече пыль встает столбом;
Идут России верны слуги;
Несет их вождь, Пожарский, гром!
От кликов рати воют рощи,
Дремавши в мертвой тишине;
Светило дня и звезды нощи
Героя видят на коне;
Летит — и взором луч отрады
В сердца унывшие лиет;
Летит, как вихрь, и движет грады
И веси за собою вслед!

«Откуда шум?» — приникши ухом,
Рек воин, в думу погружен.
Взглянул — и, бледен, с робким духом
Бросается с кремлевских стен.
«К щитам! к щитам! — зовет сармата,—
Погибель нам минуты трата!
Я видел войско сопостат:
Как змий, хребет свой изгибает,
Главой уже коснулось врат;
Хвостом все поле покрывает».
Вдруг стогны ратными сперлись —
Мятутся, строятся, делятся,
У врат, бойниц, вкруг стен толпятся;
Другие вихрем понеслись
Славянам и громам навстречу.

И се — зрю зарево кругом,
В дыму и в пламе страшну сечу!
Со звоном сшибся щит с щитом —
И разом сильного не стало!
Ядро во мраке зажужжало,
И целый ряд бесстрашных пал!
Там вождь добычею Эреве;
Здесь бурный конь, с копьем во чреве,
Вскочивши на дыбы, заржал
И навзничь грянулся на землю,

Покрывши всадника собой;
Отвсюду треск и громы внемлю,
Глушащи скрежет, стон и вой.

Пирует смерть и ужас мещет
Во град, и в долы, и в леса!
Там дева юная трепещет;
Там старец смотрит в небеса
И к хладну сердцу выю клонит;
Там путника страх в дебри гонит,
И ты, о труженик святой,
Живым погребшийся в могиле,
Еще воспомнил мир земной
При бледном дней твоих светиле;
Воспомнил горесть и слезой
Ланиту бледну орошаешь,
И к богу, сущему с тобой,
Дрожащи руки простираешь!

Трикраты день воссиявал,
Трикраты ночь его сменяла;
Но бой еще не преставал
И смерть руки не утомляла;
Еще Пожарский мещет гром;
Везде летает он орлом —
Там гонит, здесь разит, карает,
Удар ударом умножает,
Колебля мощь литовских сил.
Сторукий исполин трясется —
Падет — издох! и вопль несется:
«Ура! Пожарский победил!»
И в граде отдалось стократно:
«Ура! Москву Пожарский спас!»

О, утро памятно, приятно!
О, вечно незабвенный час!
Кто даст мне кисть животворящу,
Да радость напишу, горящу
У всех на лицах и в сердцах?
Да яркой изражу чертою
Народ, воскресший на стенах,
На кровах, и с высот к герою
Венки летящи на главу;

И клир, победну песнь поющий,
С хоругви в сретенье идущий;
И в пальмах светлую Москву!..

Но где герой? куда сокрылся?
Где сонм и князей и бояр?
Откуда звучный клик пустился?
Не царство ль он приемлет в дар? —
О! что я вижу? Победитель,
Москвы, отечества спаситель,
Забывши древность, подвиг дня
И вкруг него гремящу славу,
Вручает юноше державу,
Пред ним колена преклоня!
«Ты кровь царей! — вещал Пожарский.—
Отец твой в узах у врагов;
Прими венец и скипетр царский,
Будь русских радость и покров!»

А ты, герой, пребудешь ввеки
Их честью, славой, образцом!
Где горы небо прут челом,
Там шумные помчатся реки;
Из блат дремучий выйдет лес;
В степях возникнут вертограды;
Родятся и исчезнут грады;
Натура новых тьму чудес
Откроет взору изумленну;
Осветит новый луч вселенну —
И воин, от твоей крови,
Тебя воспомнит, возгордится
И паче, паче утвердится
В прямой к отечеству любви!

Лето 1795

ГЛАС ПАТРИОТА НА ВЗЯТИЕ ВАРШАВЫ

Где буйны, гордые Титаны,
Смутившие Астреи дни?
Стремглав низвержены, попраны
В прах, в прах! Рекла... и где они?
Вопи, союзница лукава,

Отныне ставшая рабой:
«Исчезла *собиесков* слава!»
Ходи с поникшею главой;
Шатайся, рвись вкруг сел несчастных,
Вкруг древних, гордых, падших стен,
В терзаньях совести ужасных,
И век оплакивай свой плен!

А ты, гремевшая со трона,
Любимица самих богов,
Достойна гимнов Аполлона!
Воззри на цвет своих сынов:
Се веют шлемы их пернаты,
Се их белеют знамена,
Се их покрыты пылью латы,
На коих кровь еще видна!
Воззри: се идут в ратном строе!
Всяк истый в сердце славянин!
Не Марса ль в каждом зришь герое?
Не всяк ли рока властелин?
Они к стопам твоим бросают
Лавровы свежие венки.
«Твои они, твои! — вещают,—
С тобой нам рвы не глубоки;
С тобою низки страшны горы.
Скажи, скажи, о матерь, нам,
Склоня величественны взоры,
Куда еще лететь орлам?»

Куда лететь? кто днесь восстанет,
Сарматов зря ужасну часть?
Твой гром вотще нигде не грянет:
Страшна твоя, царица, власть!
Страшна твоя и прозорливость
Врагу, злодею твоему!
Везде найдет его строптивость
Препон неодолимых тьму;
Везде обрящутся преграды:
Твои, как медною стеной,
Бойницами прикрыты грады,
И каждый в оных страж герой;
Пределы царств твоих щитами,
А седмь рабынь твоих, морей,
Покрыты быстрыми судами,

И жезл судьбы в руке твоей!
Речешь — и двигнется полсвета,
Различный образ и язык:
Тавридец, чтитель Магомета,
Поклонник идолов калмык,
Башкирец с меткими стрелами,
С булатной саблею черкес
Ударят с шумом вслед за нами
И прах поднимут до небес!
Твой росс весь мир дрожать заставит,—
Наполнит громом чудных дел
И там столпы свои поставит,
Где свету целому предел.

1794

СТИХИ НА ВЫСОКОМОНАРШУЮ МИЛОСТЬ, ОКАЗАННУЮ ИМПЕРАТОРОМ ПАВЛОМ ПЕРВЫМ ПОТОМСТВУ ЛОМОНОСОВА

О радость! дайте, дайте лиру:
Я вижу Пинда божество!
Да возвещу в восторге миру
Славянской музы торжество
И новый блеск монаршей славы!
Талантам возвратились правы:
Герой, вельможа, судия!
Не презирайте днесь певцами:
Сам Павел их равняет с вами,
Щедроты луч и к ним лия.

Се глас его, глас благотворный,
Несется до морских валов,
При коих, жребию покорный,
Кидает мрежи рыболов.
«Возвысь чело! — ему вещает.—
Царь иго с плеч твоих снимает:
Твой предок Ломоносов был!»
О Павел! Ты единым словом,
Не потрясая мира громом,
Себя к бессмертным приобщил.

Падут надменны пирамиды
С размаху Кроновой руки;
Сотрутся обелисков виды;
Исчезнут Ксерксовы полки
И царства, ими покоренны;
Но дарования нетленны!
В потомстве, северный Орфей,
Вторый возникнет Ломоносов,
И поздный род узнает россов
О благости души твоей.

28 августа 1798

ПЕСНЬ НА ДЕНЬ КОРОНОВАНИЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПЕРВОГО

Поэт

И я питомец Аполлонов:
Так умолчу ль в сей важный час!
Судьба решится миллионов;
Взор мира обращен на нас,
И свыше громовержец внемлет:
Младый сподвижник восприемлет
Обет, который всех святей:
Быть стражем и отцом полсвета!
Утешь нас радугой завета,
О бог судеб! о царь царей!

Хор

Даруй твой суд царю младому,
Да будет другом правды он;
Любезен добрым, грозен злому,
Дальнейшего услышит стон;
Народов разных повелитель,
Да будет гений-просветитель,
Краса и честь своим странам!

Да будут дни его правленья
Для россов днями прославленья
И преданы от них векам.

Поэт

Монарх! под сими небесами,
На сем же месте, Иоанн
Приял геройскими руками
Венец, которым ты венчан.
Благоговей к своей порфире:
Ее носил великий в мире,
Сам Петр на мочных раменах!
Благоговей пред сей державой:
Она горит, блистает славой
Премудрыя, *одной* в женах!

Хор

Да ниспошлет бессмертна внуку
Свой дар сердцами обладать;
Да укрепит монаршу руку
Кормилом царства управлять!
О ветвь, о кровь Екатерины!
При ней корабль наш [1] чрез пучины
Отважно к счастию летел;
При ней россиянин, сын славы,
Вселенной подавал уставы
И жребием ее владел.

Поэт

Не изменимся и с тобою;
Тебе душа ее дана!
Я вижу, вижу пред собою,
Монарх! грядущи времена:
Россия в силе возрастает
И обелиски воздвигает
Во мзду заслуг своих сынов;
Гремят в ней Пиндары, Платоны,
О дни златые!.. Миллионы,
Несите сердце вместо слов!

[1] Корабль правления.

Хор

Гряди на трон России с богом,
Гряди, отечества отец!
Будь счастья нашего залогом
И утешением сердец!
Цари всемощны и священны:
Хотят — и смертные блаженны
И на земле вкушают рай!
Им небо власть *свою* вручило;
Всходи, о новое светило!
И благостью в веках сияй.

1801

РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ ГРОМА

Гремит!.. благоговей, сын персти!
Се *ветхий деньми* с небеси
Из кроткой, благотворной длани
Перуны сеет по земли!
Всесильный! с трепетом младенца
Целую я священный край
Твоей молниецветной ризы,
И весь теряюсь пред тобой!

Что человек? парит ли к солнцу,
Смиренно ль идет по земле,
Увы! там ум его блуждает,
А здесь стопы его скользят.
Под мраком, в океане жизни,
Пловец на утлой ладие,
Отдавши руль слепому року,
Он спит и мчится на скалу.

Ты дхнешь, и двигнешь океаны!
Речешь, и вспять они текут!
А мы... одной волной подъяты,
Одной волной поглощены!
Вся наша жизнь, о безначальный!
Пред тайной вечностью твоей
Едва минутное мечтанье,
Луч бледный утренней зари.

<1805>



<ПОДРАЖАНИЯ ОДАМ ГОРАЦИЯ>

<КНИГА III. ОДА I>

Служитель муз, хочу я истины воспеть
В стихах, неслыханных доныне:
Феб движет,— прочь, враги святыне!
А вы, о юноши!.. внимать, благоговеть!

Царям подвластен мир, цари подвластны богу,
Тому, кто с облачных высот
Гигантам в ад отверз дорогу,
Кто манием бровей колеблет неба свод.

Владей во всей земле ты рудами златыми,
А ты народов будь отцом,
Хвались ты предками своими,
А вы талантами, геройством и умом,—

Умрете все: закон судьбины непреложен;
Кто б ни был — мал или велик,
Пред смертью всяк равно ничтожен;
В сосуде роковом нет жребиям отлик!

За царскою ль себя трапезой насыщает,
Пернатым внемлет ли весной,
Ко сну ль главу на пух склоняет —
Злодей всегда зрит меч, висящий над собой.

Сон сладкий только дан оратаям в отраду:
Он любит их смиренный кров,
Тенистой рощицы прохладу,
Цветы и злак долин, журчанье ручейков.

Пусть грозный океан клокочет под валами,
Пусть буря черными крылами
При блеске молний восшумит —
Мудрец на брань стихий спокойно с брега зрит.

Один громадами стесняет рыб и давит,
Казною пропасти бутит
И на зыбях чертоги ставит —
Но где он от забот, печали будет скрыт?

Безумец! ты бежишь от совести напрасно:
Тиран твой сердца в глубине;
Она с тобою повсечасно
Летит на корабле и скачет на коне.

Что ж пурпур, аромат и мраморы фригийски?
К чему фалернское вино?
Почто взносить мне обелиски,
Когда спокойствия мне с ними не дано?

Нет! злату не бывать души моей кумиром;
Мои желанья: скромно жить,
Не с завистью — с сердечным миром,
И счастье в уголку собинском находить.

1794

<КНИГА I. ОДА III>

Лети, корабль, в свой путь с Виргилием моим,
Да сохранят тебя светила благотворны:
И Поллукс, и Кастор, и тот, кому покорны
Все ветры на водах, и та, котору чтим
Богиней красоты, всех радостей душою.
Лети! и принеси безвредно по волнам
Ты друга моего к Аттическим брегам:
Дражайшу часть меня я отпустил с тобою!
Конечно, твердою, дубовою корой,
Тройным булатом грудь была вооруженна
Того, в ком перва мысль родилась дерзновенна
Неверной поручать стихии жребий свой!
Ни дожденосные, зловещие гиады,
Ни африканский ветр, ни бурный Аквилон,
Ни Нот, не знающий пощады,
Не сделали ему препон.
И что они? какой род смерти был ужасен
Тому, чей смелый взор был неподвижен, ясен,
Когда зияла хлябь, горой вздымался вал,
Из волн чудовища скакали
И стрелы молний обвивали
Верхи Эпирских грозных скал?
Так, втуне от небес народы разделенны,
Обширные моря в предел им положенны!

Афетов дерзкий сын все смеет одолеть:
Хотел, и мог сии пространства прелететь;
Хотел, и святость всех законов нарушает,
И даже огнь с небес коварно похищает.
О святотатство, сколь твой гибелен был след!
По свету океан разлился новых бед,
И неизбежна смерть, но медленна дотоле,
Удвоила свой шаг и всех разит по воле!
Но только ли? Дедал, родившийся без крыл,
   Отважно к солнцу воспарил;
   Алкид потряс пределом ада!
   Где нашей дерзости преграда?
Мы, в буйстве даже в брань вступаем с божеством.
И Диев никогда не отдыхает гром.

1794

<КНИГА II. ОДА XVI>

Пловец под тучею нависшей,
Игралище морских валов,
Не зря звезды, ему светившей,
Покоя просит у богов.
К покою простирают длани
И Мидии роскошный сын,
И мужественный витязь в брани
Пространных Фракии долин.

При старости и жизни в цвете
Всегда в отраду нам покой,
Непокупаемый на свете
Ниже и пурпура ценой!
Нередко грусть и сильных гложет
В их позлащенных теремах,
И ревность ликторов не может
Отгнать от них заботы, страх.

Но кто же более проводит
В покое круг летящих дней?
Лишь тот, кто счастие находит
Среди семейства и друзей;
Приютной хижиной доволен,

Наследьем скромным от отца,
В желаньях строг, в деяньях волен
И без боязни ждет конца;

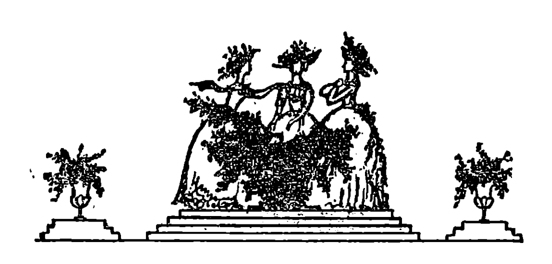
Чужд зависти, любостяжанья,
Днем весел, в ночь покойно спит!
Почто нам лишние желанья,
Коль смерть внезапу нас разит?
Почто от пристани пускаться
Во треволненный океан,
Бездомным сиротой скитаться
Под небосклоном чуждых стран?

Мать-родину свою оставишь,
Но от себя не убежишь:
Умолкнуть сердце не заставишь
И мук его не усмиришь!
Ни день, ни час не в нашей воле;
Счастливцев совершенных нет!
Так будем же в смиренной доле
Сносить равно и мрак и свет!

Ахилл толь рано жизнь оставит,
Титан два века будет жить;
Кто знает, чью из нас прибавит
Иль укоротит парка нить?
На пажитях твоих красивых
Пестреет стадом каждый луг,
И ржание коней строптивых
Разносит гул далече вкруг.

Тебя богатство, знатность рода
В червлену ризу облекли,
А мне фортуна и природа
Послали в дар клочок земли;
Таланта искру к песнопенью
На лад любимых мной творцов
И равнодушие к сужденью
Толпы зоилов и глупцов.

<1810>



Сатирические стихотворения

ЧУЖОЙ ТОЛК

«Что за диковинка? лет двадцать уж прошло,
Как мы, напрягши ум, наморщивши чело,
Со всеусердием все оды пишем, пишем,
А ни себе, ни им похвал нигде не слышим!
Ужели выдал Феб свой именной указ,
Чтоб не дерзал никто надеяться из нас
Быть Флакку, Рамлеру и их собратьи равным
И столько ж, как они, во песнопеньи славным?
Как думаешь?.. Вчера случилось мне сличать
И их и нашу песнь: в их... нечего читать!
Листочек, много три, а любо, как читаешь —
Не знаю, как-то сам как будто бы летаешь!
Судя по краткости, уверен, что они
Писали их резвясь, а не четыре дни;
То как бы нам не быть еще и их счастливей,
Когда мы во́ сто раз прилежней, терпеливей?
Ведь наш начнет писать, то все забавы прочь!
Над парою стихов просиживает ночь,
Потеет, думает, чертит и жжет бумагу;
А иногда берет такую он отвагу,
Что целый год сидит над одою одной!
И подлинно уж весь приложит разум свой!
Уж прямо самая торжественная ода!
Я не могу сказать, какого это рода,
Но очень полная, иная в двести строф!
Судите ж, сколько тут хороших есть стишков!

К тому ж, и в правилах: сперва прочтешь вступленье,
Тут предложение, а там и заключенье —
Точь-в-точь как говорят учены по церквам!
Со всем тем нет читать охоты, вижу сам.
Возьму ли, например, я оды на победы,
Как покорили Крым, как в море гибли шведы;
Все тут подробности сраженья нахожу,
Где было, как, когда,— короче я скажу:
В стихах реляция! прекрасно!.. а зеваю!
Я, бросивши ее, другую раскрываю,
На праздник иль на что подобное тому:
Тут найдешь то, чего б нехитрому уму
Не выдумать и ввек: *зари багряны персты,*
И райский крин, и Феб, и небеса отверсты!
Так громко, высоко!.. а нет, не веселит,
И сердца, так сказать, ничуть не шевелит!»

Так дедовских времен с любезной простотою
Вчера один старик беседовал со мною.
Я, будучи и сам товарищ тех певцов,
Которых действию дивился он стихов,
Смутился и не знал, как отвечать мне должно;
Но, к счастью — ежели назвать то счастьем можно,
Чтоб слышать и себе ужасный приговор,—
Какой-то Аристарх с ним начал разговор.

«На это,— он сказал,— есть многие причины;
Не обещаюсь их открыть и половины,
А некоторы вам охотно объявлю.
Я сам язык богов, поэзию, люблю.
И нашей, как и вы, утешен так же мало;
Однако ж здесь, в Москве, толкался я, бывало,
Меж наших Пиндаров и всех их замечал:
Большая часть из них — лейб-гвардии капрал,
Асессор, офицер, какой-нибудь подьячий
Иль из кунсткамеры антик, в пыли ходячий,
Уродов страж,— народ все нужный, должностной;
Так часто я видал, что истинно иной
В два, в три дни рифму лишь прибрать едва успеет,
Затем что в хлопотах досуга не имеет.
Лишь только мысль к нему счастливая придет,
Вдруг било шесть часов! уже карета ждет;

Пора в театр, а там на бал, а там к Лиону [1],
А тут и ночь... Когда ж заехать к Аполлону?
Назавтра, лишь глаза откроет,— уж билет:
На пробу в пять часов... Куда же? В модный свет,
Где лирик наш и сам взял Арлекина ролю.
До оды ль тут? Тверди, скачи два раза к Кролю [2];
Потом опять домой: здесь холься да рядись;
А там в спектакль, и так со днем опять простись!

К тому ж, у древних цель была, у нас другая:
Гораций, например, восторгом грудь питая,
Чего желал? О! он — он брал не свысока:
В веках бессмертия, а в Риме лишь венка
Из лавров иль из мирт, чтоб Делия сказала:
«Он славен, чрез него и я бессмертна стала!»
А наших многих цель — награда перстеньком,
Нередко сто рублей иль дружество с князьком,
Который отроду не читывал другова,
Кроме придворного подчас месяцеслова,
Иль похвала своих приятелей; а им
Печатный всякий лист быть кажется святым.
Судя ж, сколь разные и тех и наших виды,
Наверно льзя сказать, не делая обиды
Ретивым господам, питомцам русских муз,
Что должны быть у них и особливый вкус
И в сочинении лирической поэмы
Другие способы, особые приемы;
Какие же они, сказать вам не могу,
А только объявлю — и, право, не солгу —
Как думал о стихах один стихотворитель,
Которого трудов «Меркурий» наш, и «Зритель» [3],
И книжный магазин, и лавочки полны.
«Мы с рифмами на свет,— он мыслил,— рождены;
Так не смешно ли нам, поэтам, согласиться
На взморье в хижину, как Демосфен, забиться,
Читать да думать все, и то, что вздумал сам,
Рассказывать одним шумящим лишь волнам?
Природа делает певца, а не ученье;
Он не учась учен, как придет в восхищенье;
Науки будут все науки, а не дар;
Потребный же запас — отвага, рифмы, жар».

[1] Бывший содержатель в Петербурге вольных маскерадов.
[2] Петербургский портной.
[3] Петербургские журналы.

И вот как писывал поэт природный оду:
Лишь пушек гром подаст приятну весть народу,
Что Рымникский Алкид поляков разгромил
Иль Ферзен их вождя Костюшку полонил,
Он тотчас за перо и разом вывел: ода!
Потом в один присест: *такого дня и года!*
«Тут как?.. *Пою!..* Иль нет, уж это старина!
Не лучше ль: *Даждь мне, Феб!..* Иль так: *Не ты одна*
Попала под пяту, *о чалмоносна Порта!*
Но что же мне прибрать к ней в рифму, кроме черта?
Нет, нет! нехорошо; я лучше поброжу
И воздухом себя открытым освежу».
Пошел и на пути так в мыслях рассуждает:
«Начало никогда певцов не устрашает;
Что хочешь, то мели! Вот штука, как хвалить
Героя-то придет! Не знаю, с кем сравнить?
С Румянцевым его, иль с Грейгом, иль с Орловым?
Как жаль, что древних я не читывал! а с новым —
Неловко что-то все. Да просто напишу:
Ликуй, Герой, ликуй, Герой ты!— возглашу.
Изрядно! Тут же что? Тут надобен восторг!
Скажу: *Кто завесу мне вечности расторг?*
Я вижу молний блеск! Я слышу с горня света
И то, и то... А там?.. известно: *многи лета!*
Брависсимо! и план и мысли, все уж есть!
Да здравствует поэт! осталося присесть,
Да только написать, да и печатать смело!»
Бежит на свой чердак, чертит, и в шляпе дело!
И оду уж его тисненью предают,
И в оде уж его нам ваксу продают!
Вот как пиндарил он, и все, ему подобны,
Едва ли вывески надписывать способны!
Желал бы я, чтоб Феб хотя во сне им рек:
«Кто в громкий славою Екатеринин век
Хвалой ему сердец других не восхищает
И лиры сладкою слезой не орошает,
Тот брось ее, разбей, и знай: он не поэт!»

Да ведает же всяк по одам мой клеврет,
Как дерзостный язык бесславил нас, ничтожил,
Как лирикой ценил! Воспрянем! Марсий ожил!
Товарищи! к столу, за перья! отомстим,

Надуемся, напрем, ударим, поразим!
Напишем на него предлинную сатиру
И оправдаем тем российску громку лиру.

1794

ПОСЛАНИЕ ОТ АНГЛИЙСКОГО СТИХОТВОРЦА ПОПА К ДОКТОРУ АРБУТНОТУ

Иван! запри ты дверь, защелкни, заложи,
И, кто бы ни стучал, отказывай! Скажи,
Что болен я; скажи, что умираю,
Уверь, что умер я! Как спрятаться, не знаю!
Откуда, боже мой, писцов такой содом?
Я вижу весь Парнас, весь сумасшедших дом!
И там и здесь они встречаются толпами,
С бумагою в руках, с горящими глазами,
Всех ловят, всех к себе и тянут и тащат,
И слушай их иль нет, а оду прокричат!
Какой стеной, какой древ тенью защититься,
Чтоб этот скучный рой не мог ко мне пробиться?
Беспрестанно он копышется везде,
Гоняется за мной на суше, по воде,
Заползывает в грот, встречается в аллее,
Я в церковь, он туда ж! И, что всего мне злее,
Гонимый голодом и стужей с чердака,
Не даст спокойно мне и хлеба съесть куска!

То подлый стиховраль, в котором, без рожденья
Иль смерти богача, нет силы воображенья;
То крупный господин, слагатель мелочей,
То автор в чепчике, то бедный дуралей,
Который, быв лишен чернильницы, в замену
То автор в чепчике, то бедный дуралей,
То молодой судья, наместо чтенья прав,
Кропающий *экспромт*, до полночи не спав;
Все, все — кто возгордясь моими похвалами,
Кто ж недоволен мной — дождят в меня стихами!
И я ж еще другим обязан дать ответ,
Артуру, для чего охоты в детях нет
К судейству! все стихи мои тому виною!
А Корну, для чего он не прельщает Клою.

О ты, без коего не мог бы мир узнать,
Что станут на меня и за меня писать,
Спаситель дней моих! яви еще услугу
Ты ныне своему признательному другу:
Скажи, как с этой мне разделаться чумой?
Какое зелие глупцов отгонит рой?
И что опасней мне, их дружба или злоба?
Ах, видно, не иметь отрады мне до гроба!
Как друг, боюсь их од, как недруг — клеветы:
Там скука, здесь вражда, и все страдаешь ты!
Но кто там? — Кодр.— Конец с моею головою!
С стихами, как с ножом, стоит он надо мною.
Вообрази, мой друг, к чему я осужден!
Ты знаешь, что я лгать и льстить не сотворен!
Молчать мне — тяжело; назвать чистосердечно
Писателя в глаза вралем — бесчеловечно;
А слушать вздор его — тотчас изобличусь.
Какая мука! Что ж? взяв кроткий вид, сажусь,
Вздохнувши, перед ним, с учтивостью зеваю,
В молчании бешусь; но наконец бросаю
Все с автором чины и прямо говорю:
«За вашу вежливость ко мне благодарю.
Вы с дарованием, однако... подержите
Тетрадку вашу с год».— «Что вы сказать хотите?» —
Вскричал привыкший век пером своим чертить,
И по охоте врать, и по охоте жить;
Привыкший рифмовать вседневно с ранним светом,
Покояся еще под авторским наметом,
Которого мохры, не отлетая прочь,
Целуют нежные Зефиры день и ночь.
«Год целый!— повторил.— Так вам не полюбилась?
Тем большая во мне доверенность родилась:
Возьмите же ее и, что угодно вам,
Прибавьте, выкиньте, на все согласье дам».
— «Могу ль отрады ждать к моей суровой доле,—
Другой мне говорит,— две милости, не боле!
Во-первых, дружества, потом же сто рублей!»
— «А вы кто?» — «Я в числе Дамоновых друзей,
И с просьбой от него: вы с герцогом в союзе;
Склоните взор его Дамона к бедной музе?»
— «Но ваш почтенный друг сто раз меня бранил».
— «Ах, сколько ж он и слез раскаяния лил!

Уважьте просьбу вы, иль гнев его опасный:
Дамон издателем журнала *«Беспристрастный»*,
И к Курлову [1] столу бывает приглашен».
Что за пакетище! еще ли не взбешен?
Посмотрим: «Скудных сил се плод новорожденный.
Трагедия! Пока отец ее смиренный
Во мраке принужден от всех себя таить,
Благоволи отцом сиротки этой быть!»
Опять забота мне! За правду б он озлился;
Я промолчал. С другой он просьбою явился:
Отдать ее играть! Я ожил; с давних лет
Меж скоморохами и мною связи нет!
Трагедии отказ. Писатель раздраженный
Кричит: «Да гибнет весь актеров род презренный!
А я сейчас в печать трагедию отдам:
Пусть судит публика!.. Еще я с просьбой к вам:
Нельзя ли слова два сказать об ней Линтоту?»
Как! этому срамцу? И он свою щедроту,
Что не взял за печать, всем станет возносить!
«Ну, хоть поправьте же — вам скучно, может быть?
Но я (мне на ухо), что выручу, все с вами!»
Признаться, тут его обеими руками
Я обернул к дверям, промолвя: «Вот поклон
Тебе за твой дележ! Теперь же... просим вон!»

Мне часто говорят: «Уж быть беде с тобою!
Не тронь ты тех и тех, не схватывайся с тою!»
Какая нужда мне до глупости людей?
Пусть хвастает осел длиной своих ушей;
Что может сделать он?—«Что может он? лягаться!
Таков-то и глупец».— Я колок, может статься;
Но можно ль говорить о глупости слегка?
По крайней мере мне все сносней дурака.
Неустрашимый Кодр, где есть тебе примеры?
Весь свет против тебя: и ложи, и партеры
Со всех сторон бранят, зевают и свистят,
И шляпы на тебя и яблоки летят.
Ни с места! ты сидишь! Честь Кодру-исполину!
С каким трудом паук мотает паутину!
Смети ее, паук опять начнет мотать:
Равно и рифмача не думай обращать!
Брани его, стыди; а он, доколе дышит,

[1] Лондонский книгопродавец.

Пока чернила есть, перо, все пишет, пишет
И горд своим тканьем, нет нужды, что оно,
Дохни, так улетит,— враль мыслит: мудрено!

Но, впрочем, где ж моя вина перед глупцами?
Лишаю ль их утех моими я стихами?
Кодр меньше ль от того доволен сам собой?
Престал ли надувать Милорд подзобок свой?
Расстался ли Циббер с кокеткой и патроном,
Которому он льстил? Мор меньше ль франмасоном?
Не тот же ли Генлей оратор подлецов?
Не то же ль действие Филипсовых стихов
Над сердцем и умом ученого прелата?
А Сафо?.. «Боже мой! оставишь ли хоть брата?
Не страшно ли вражду навлечь таких людей?»
Страшнее во сто раз иметь из них друзей!
Дурак, бранив меня, смешит, не досаждает,
А ласкою своей беситься принуждает:
Один мне том своих творений приписал
И боле ста врагов хвалой своей ругал;
Другой, с пером в руках, моей став рыцарь славы,
Ведет с журналом бой; иной — какие нравы!—
Украв мою тетрадь, печатать отдает;
Иной же ни на час покоя не дает,
Везде передо мной с поклоном: *подпишися!*
А многие еще — теперь, мой друг, дивися,
Как часто с глупостью сходна бывает лесть,—
И безобразие мое мне ставят в честь!
«Ваш нос Овидиев; вы так же кривошея,
Как и Филиппов сын, а с глаз...»—Нельзя умнея!
Довольно уж, друзья! И так в наследство мне
Лишь недостатки их осталися одне.
Не позабудьте же, как слягу от бессилья,
Представить точно так лежавшего Вергилья;
А как умру, сказать, что так же, наконец,
Скончался и Гомер, поэзии отец.

Откуда на меня рок черный накачался?
Почто я с ремеслом безвыгодным спознался?
Какой злой дух меня пером вооружил?
О небо! сколько мной потраченных чернил!
Но льзя ль противиться влечению природы?
От самой люльки я в младенческие годы
Невинным голосом на рифмах лепетал.

О, возраст счастливый, в котором я сбирал
Цветы, не думав быть уколот их шипами,
И удовольствия не вспоминал с слезами!
Но, стихотворствуя, по крайней мере я
Не отравлял минут незлобного житья
Родителей моих. Моя младая муза,
Со добродетелью ища всегда союза,
Наставила меня ее лишь только петь,
В бедах и горестях терпение иметь,
Питать признательность, ничем не загладиму,
К тебе, о нежный друг! за жизнь, тобой храниму.

Но скажут: для чего ж в печать он отдает?
Ах, с счастием моим кто в слабость не впадет?
Вальс, тонкий сей знаток; Гренвиль, сей ум толь нежный,
Сказали мне: пиши, питомец муз надежный!
Тальбот, Соммерс меня не презрили внимать
И важный Аттербур улыбкой ободрять;
Великодушный Гарт был мой путеводитель;
Конгрев меня хвалил, Свифт не был мой хулитель,
И Болингброк, сей муж, достойный вечных хвал,
Друг старца Драйдена, с восторгом обнимал
В отважном мальчике грядущего поэта.
Цвети же, мой венок, ты бесконечны лета!
Я счастлив! я к тебе склонял бессмертных взгляд;
По ним и мой талант и сердце оценят!
Что ж после мне Бурнет и все ему подобны?

Ты помнишь первые стихи мои незлобны?
Тогда еще не смел порок я порицать,
А только находил утеху рисовать
Цветочки, ручеек, журчащий средь долины;
Обидны ли кому столь милые картины?
Однако ж и тогда Гильдон меня ругал.
Увы! он голоден, бог с ним! — я отвечал.

За критику моих стихов я не сержуся:
Над вздорною смеюсь, от правильной учуся.
Но кто наш Аристарх? кто важные судьи,
Которых трепетать должны стихи мои?
Обильные творцы бесплодных примечаний,
Уставщики кавык, всех строчных препинаний.
Терпеньем, памятью, они богаты всем,
Окроме разума и вкуса; между тем

И мертвым и живым суд грозный изрекают,
Сиянием чужим свой мрак рассеивают,
И съединением безвестных сих имен
С славнейшими дойдут до будущих времен;
Так в амбре червяков мы видим и солому.
Но, кроме критиков, уйду ли я от грому
Писателей, и чем себя от них спасать?
И дельно! для чего их цену открывать?
Но Тирса я хвалил, а недоволен мною
За то, что слишком Тирс доволен сам собою.
Хваля писателя, потребно нам открыть
Не то, каков он есть, но чем он хочет быть.
Увядшия красы портрет всегда несходен;
Ее и лоб и глаз, а говорит: негоден.
Один корячится, надувшись, дичь несет
И то высокостью поэзии зовет;
Другой рисовкою быть хочет отличаем;
Иной метафорой, и ввек непонимаем;
А этот, навсегда рассоряся с стыдом,
До самой старости живет чужим добром;
В год собственных стихов напишет нам с десяток,
И то, чтоб показать в таланте недостаток;
Обновы музе шьет из разных лоскутков,
Щечится, тратить скуп, а все из бедняков!
Скажи же, что они удачно выбирают,—
Какой поднимут вопль! Вот как певцов ругают!
Все в голос закричат: да и чего хотим?
И самый Аддисон прострелен будет им!—
Пускай же мрут они в безвестности презренной!

Но если я скажу, что автор есть почтенной:
Исполнен разума, умеющий равно
Как мыслить, так и жить, которому дано
В словах приятным быть, в творениях высоким
И ловкость съединять с учением глубоким;
Он к чести щекотлив, в изящное влюблен,
Рожден быть счастливым, для славы сотворен;
Но думает, как все властители Евфрата,
Что крепок скиптр в руках удавкой только брата;
Надмен к соперникам, но в сердце к ним ревнив;
Бранит с учтивостью, коварствует, хвалив;
Улыбкою грозит, лаская ненавидит;
Украдкою язвит, но явно не обидит,

Наукам должен всем, а гонит их в другом,
На Пинде он министр, в Виндзоре остряком;
Считает критику проступком уголовным,
Вертит и властвует народом стихословным
В сенатике своем, как друг его *Катон*...[1]
Смеетесь?— плачьте же: сей автор... Аддисон!
Ах! кто не поражен сим жалким сочетаньем
Столь малыя души с столь редким дарованьем!
На что притворствовать? Я сам самолюбив
И обществу скучать стихами не ленив!
Конечно, и мои различные творенья,
В листах и мокрые, лишь только из тисненья,
Гуляют в Лондоне у дрягилей в руках,
И пышный их титул приклеен на стенах
По многим улицам; но не боюсь улики,
Чтоб, в глупой гордости, хотел я сан владыки
Присвоить сам собой над пишущей толпой,
Чтоб новые стихи сбирал по мостовой.
Они родятся, мрут, а я об них не знаю;
На лица эпиграмм нигде не распускаю
И тайно ничего в печать не отдаю;
Ни желчи на дела правительства не лью
В кофейных, праздности народной посвященных;
Ни жребья не решу пиес новорожденных,
В партерах заводя и в ложах заговор;
И проза, и стихи, и самых муз собор —
Все мне наскучило, и все я уступаю
От сердца Бардусу.— Но, кстати, вспоминаю,
Как Феб средь чистых дев сияет с двух холмов,
Дебелый Меценат сидит в кругу льстецов
И услаждается курения их паром;
Святилище его, украшенно Пиндаром
С отбитой головой, отверсто лишь тому,
Кто пишет вопреки и сердцу и уму;
И каждый враль в него вступает без препоны.
От вкуса Бардуса там все берут законы;
И чтобы раз хотя попасть к его столу,
Иной по месяцу поет ему хвалу.
Таков-то Бардус наш! Однако ж кто поверит,
Чтоб тот, который все дары так верно мерит,
Так ловит, не нашел их... в Драйдене одном?
Но знатный господин с ученьем и умом

[1] «Смерть Катона», трагедия описываемого здесь автора.

Не завтра, так вперед вину свою познает:
Он голодом морит, по-царски погребает.

Вельможи! славьтеся хвалами рифмачей;
Дарите щедро тех, кто вас еще тупей;
Любите подлость, лесть, невежество Циббера,
Кричите, что ему не видано примера;
Пускай он будет *ваш* любимец и герой,
А добрый, милый Ге пусть остается *мой!*
Дай бог не знать и мне, как он, порабощенья!
О, если бы я мог, без рабства, обольщенья,
Почтенным быть всегда в почтенном ремесле,
Считать весь мир друзей в умеренном числе;
Для утешенья их употреблять все силы,
Читать, что нравится, а видеть, кто мне милы;
На знатного глупца с презрением смотреть
И с знатным иногда свидания иметь!
Чего мне боле? Я к большим делам не сроден;
Спокоен, без долгов, достаток мой свободен;
Читаю «Отче наш», пишу и по трудах
Я, слава богу, сплю, не бредя о стихах;
И жив иль нет Деннис, не думаю нимало.

«Не написали ль вы что нового?» — бывало,
Жужжат мне. Боже мой! как будто для письма
Я только и рожден! в вас, право, нет ума!
Ужель я не могу чем лучшим заниматься?
Пристроить сироту, о друге постараться!
«Вы были с Свифтом? Он мне встретился сейчас;
Уж, верно, что-нибудь готовится у вас?»
Божусь, что ничего; болтун и сам божится:
«Не верю!.. но ведь Поп в стихах не утаится!»
И первый злой пасквиль, достойный быть в огне,
Чрез два дни мой знаток приписывает мне!
Увы! и самый дар Виргилия несносен,
Когда, невинности смиренно вредоносен,
Злословит доброго и вводит в краску дев.
Пусть грянет на меня, не медля, божий гнев,
Коль скоро уязвлю, в словах или на лире,
Хотя единожды честного мужа в мире!
Но барин с рабскою и низкою душой,
Скрывающий ее под лентою цветной;
Но злой, готовящий ков пагубный, но скрытный
Таланту, красоте невинной, беззащитной;

Но Шаль, который всем, тщеславяся, твердит,
Что он мой меценат, что я его пиит,
Везде мои стихи читает и возносит;
Когда же кто меня от зависти поносит,
Тогда он промолчит, чтоб не нажить врагов;
Который на часу и ласков и суров,
И ежели не зол, так враль, всегда готовой
И тайну разболтать для весточки лишь новой,
И, злой давая толк мной выданным стихам,
Сказать: «*Он метил в вас*»— придворным господам.
Вот, вот мои враги! я вечный их гонитель,
Я бич, я ужас злых, но добрых защититель.

Страшись меня, Генлей! Как! этот часовой
Минутный червячок под пылью золотой?
Достойна ль бабочка быть в море потопленна?
Так раздави ж ногой ты червяка презренна,
Который, возгордясь, что ночью светит он,
Везде ползет, язвит и смрадом гонит вон;
Все в обществе цветы дыханьем иссушает.
С утра до вечера Генлей перелетает
От Пинда к Пафосу, как ветреный Зефир;
Но хладен близ красот, но глух к согласью лир.
Так выученный пес пред дичию вертится,
Теребит, но вонзить зубов в нее боится.
Вглядись в него: я бьюсь с тобою об заклад,
Какого рода он, не скажешь мне впопад!
Мужчина, женщина ль? не то и не другое,
Едва ль и человек, а так... что-то живое,
Которое всегда клевещет иль поет,
Иль свищет, иль хулу и на творца несет;
Пременчивая тварь: в кокетстве хуже дамы,
То философствует, то мечет эпиграммы,
Пред женщинами враль, пред государем льстец,
Сердечкин и нахал, и пышен, и подлец.
Таков прекрасныя был Евы искуситель,
Невинности ея и рая погубитель:
Взор ангела имел сей ядовитый змей,
Но даже красотой он ужасал своей;
Для видов гордости приветливым казался
И для тщеславия смиренно пресмыкался.

Но кто по чувствиям сердечным говорит,
Приветлив, а не подл, не горд, а сановит,

И знаем без чинов, без знатности и злата?—
Поэт: он ни за что не будет друг разврата.
Всегда велик душой и мыслями высок,
Ласкать самим царям считает за порок:
Он добродетели талант свой посвящает
И в самых вымыслах приятно поучает:
Стыдится быть врагом совместников своих,
Талантом лишь одним смиряет дерзость их;
С презрением глядит на ненависть бессильну,
На мщенье критики, на злость, вредом обильну,
На промах иногда коварства и хулы,
На ложную приязнь и глупые хвалы.
Пускай сто раз его ругают и поносят
И глупости других на счет его относят;
Пусть безобразит кто, в глаза его не знав,
В эстампе вид его иль в сочиненьи нрав,
И если не стихи, порочит их уроки;
Пускай не престают сплетать хулы жестоки
На прах его отца, на изгнанных друзей;
Пусть даже, наконец, доводят до ушей
И самого царя шишикалы придворны
И толки злых об нем и небылицы вздорны;
Пусть ввек томят его в плачевнейшей судьбе,—
О добродетель! он не изменит тебе;
Он страждет за тебя тобой и утешаем.
Но знатный мной браним, но бедный презираем!—
Да! подлый человек, кто б ни был он такой,
Есть подл в моих глазах и ненавидим мной:
Копейку ль он украл иль близко миллиона,
Наемный ли писец иль продавец закона,
Под митрою ли он иль просто в клобуке,
За красным ли сукном сидит иль в шишаке,
На колеснице ли торжественной гордится,
Иль по икру в грязи по мостовой тащится,
Пред троном иль с доской на площади стоит.

Однако ж этот бич, который всех страшит,
Готов на самого Денниса в том сослаться,
Что, право, он не столь ужасен, может статься;
Признался б и Деннис, когда бы совесть знал,
Что даже и враля он бедность облегчал.
Кричат: «Поп мстителен, Поп в гордости примером!»
А он столь горд, что пил с Тибальдом и Циббером!

А он столь мстителен, что и за целый том
Ругательств, на него написанных Попом,
Ни капли не хотел чернил терять напрасно!
В угодность милой, *Шаль* бранит его всечасно;
А он в отмещение желает всей душой,
Чтоб эта милая была его женой.
Но пусть Поп виноват и стоит осужденья:
За что ж бранить его виновников рожденья?
Кто смел обидчиком отца его назвать?
Злословила ль об ком его смиренна мать?
Не троньте ж, подлецы, вы род его почтенной:
Он будет знаменит, доколе во вселенной
Воздастся должная, правдивая хвала
За добрые стихи и добрые дела.

Родители его друг с другом были сходны:
И родом и душой не меньше благородны;
А предки их, любовь к отечеству храня,
Отваживали жизнь средь бранного огня.
Но что достаток их? — Не мздой приобретенный;
Законный: сей отец, мной вечно незабвенный,
Наследник без обид, без спеси дворянин,
Супруг без ревности и мирный гражданин,
Шел тихо по пути незлобивого века;
Он в суд ни одного не позвал человека
И клятвой ложных прав нигде не утверждал;
Он много о своих познаньях не мечтал;
Витийство все его в том только состояло,
Что сердце завсегда словами управляло;
Учтив по доброте, от опытов учен,
Здоров от трезвости, трудами укреплен,
Он знаком старости имел одни седины.
Отец мой долго ждал часа своей кончины;
Но скоро, не томясь, дух богу возвратил,
Как будто сладким сном при вечере почил.
Создатель! дай его признательному сыну
Подобно житие, подобную кончину,
То в зависть приведет и царских он детей.

Довольствуйся, мой друг, беспечностью своей,
А мне, лишенному спокойства невозвратно,
Мне с меланхолией беседовать приятно.

О! если бы могла сыновняя любовь
Хотя у матери согреть остылу кровь;
Прибавить жизни ей и на краю могилы
Поддерживать ее скудеющие силы,
Покоить, утешать до смертного часа́
И отдалить ее полет на небеса!

1798

СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД ЮВЕНАЛОВОЙ САТИРЫ О БЛАГОРОДСТВЕ

Скажи мне, По́нтикус, какая польза в том,
Что ты, обиженный и сердцем и умом,
Богат лишь прадедов и предков образами,
Прославивших себя великими делами,
Что видим их везде во храмине твоей?
Здесь Гальба без носу, Корванус без ушей;
А там в торжественной Эмилий колеснице,
С лавровой ветвию и копием в деснице;
Иль Курии в пыли, в лоскутьях на стене.
Что прибыли, что ты, указывая мне
Шестом иль хлыстиком на ветхие портреты,
Которы у тебя коптятся многи леты,
Надувшись, говоришь: «Смотри, вот предок мой,
Начальник римских войск,— великий был герой!
А это прадед мой, разумный был диктатор!
А это дедушка, вот прямо был сенатор!»
А сам ты, внучек, что? Герои на стенах,
А ты пред ними ночь всю пьянствуешь в пирах;
А ты ложишься спать тогда, как те вставали
И к бою со врагом знамена развивали.
Возможно ль Фабию гордиться только тем,
Что пред Ираклобым [1] взлелеян алтарем
И с жизнью получил званье Альборога,
Когда сей правнучек законный полубога
Честолюбив и горд лишь славой праотца,
А сам вялее, чем падуйская овца?
Когда он дряблостью прапрадедов бесславит,

---

[1] Эвандр в честь Геркулесу воздвигнул храм, препоруча смотрение над ним Фабианову роду, который почитал себя происходящим от сего полубога.

Когда его их шлем обыкновенный давит,
Коль тени самые дрожат героев сих
С досады, видя лик его между своих?
Надменный! титла, род — пустое превосходство!
Но дух, великий дух — вот наше благородство!

Будь Кассий, Павел, Друз, но буди по делам;
Показывай их дух, а не портреты нам!
Когда в тебе их ум, их дельность, добры нравы,
То консул ты иль нет — достоин вечной славы;
Ты знатен, и тогда с Силаном наравне
Ты честь отечеству и мил, бесценен мне;
Тогда возрадуюсь тебе, как Озириду! [1]
Но чтобы, истинным героям я в обиду,
Их недостойное исчадие почтил!
Не будет! я б себя тем вечно посрамил.
Что имя? Разве нет вседневного примера,
Что говорят, сойдясь с старухой: «Вот Венера!»—
А с карлой: «Вот Атлант!»— и кличут тигром, львом
Негодного щенка с обрубленным хвостом?
Рубеллий! трепещи гордиться предков чином:
Недолго и тебя прозвать нам Кимерином.

Ты столь возносишься породою своей,
Как будто сам и блеск и знатность придал ей.
«Я род мой, говоришь, с Цекропа начинаю;
А ты из подлости, из черни!»— Уступаю;
Честь предку твоему и должная хвала!
Однако ж эта чернь нам витию дала,
Защитника в правах безграмотна дворянства;
Однако ж эта чернь, скажу еще без чванства,
Дает блюстителей законов нам, судей,
Которы тщанием и тонкостью своей
Для пользы общества их узлы разрешают
Иль темный оных смысл нередко объясняют;
И ежели Евфрат среди своих брегов
Мятется и дрожит от имени орлов,

[1] Египтяне обожали Озирида в образе своего Аписа, или вола; когда они его находили, то все кричали в голос: «Радость! радость! нашли его!».

Когда вселенная покорствует римлянам —
То тем одолжены мы храбрым плебеянам.
А ты, скажи мне, чем отечеству служил
И что от древнего Цекропа сохранил?
Лишь имя... О бедняк! о знатный мой повеса!
Ты то же для меня, что истукан Гермеса:
Тот мраморный, а ты, к бесславию, живой —
Вот вся и разница у статуи с тобой.

Чем отличаются животны, как не силой?
Один конь быстр, горяч; другой ленивый, хилый;
Того, который всех на скачке передит,
Следами сыплет огнь и вихрем пыль крутит,
Мы хвалим, бережем и ежедневно холим;
А клячу за ничто продать на торг отводим,
Хотя б Гарпинова отродия была;
Равно и ты презрен, коль знатные дела,
Которыми твои прапрадеды сияют,
Лишь только нам твою ничтожность озаряют.
Достоинство других нам блеска не дает:
От зданья отними столпы — оно падет;
А скромный плющ растет без страха и не гнется,
Хотя и срубишь вяз, вкруг коего он вьется.

Итак, желаешь ли уважен быть, любим?
Знай долг свой: в брани будь искусен и решим,
В семействе друг, в суде покров, защитник правых,
И лжесвидетелей, кто б ни были, лукавых,
Забыв и род, и сан, и мощь их, обличай;
За истину на все бестрепетно дерзай,
Хотя бы Фаларид, подвигнут адским гневом,
Грозил тебе за то вола разженным чревом:
Нет нужды! Изверг тот, урод, не человек,
Кто думает продлить бесчестием свой век!
Пускай для них полет свой остановит время;
Но жизнь, должайша жизнь без чести тяжко бремя!
Так жизни ль жертвовать, сим нескольким часам,
Тем самым, для чего и жизнь любезна нам?
Рубеллий! тот уж мертв, кто казни стал достоин,
Хотя он и поднесь над устрицами воин,
Которых сотнями глотает на пирах,
Хоть всякий день еще купается в водах,
Настоянных цветов и амбры ароматом.

Когда же наконец ты хитростью, иль златом,
Иль и заслугами взойдешь на верх честей,
Став, например, главой обширных областей,
Не будь, не будь своим предместникам подобен,
Толико ж, как они, мздоимен, горд и злобен;
Не лей союзных кровь, смягчай их горьку часть
И в правосудии являй свою лишь власть;
Твори, что глас тебе законов возвещает,
И помни, что сенат в возмездье обещает:
Отлику или гром! Так, гром, которым он,
За слезы вдов, сирот, за их сердечный стон,
Сразил Нумитора с жестоким Капитоном,
Сих алчных кровопийц!.. Увы! что пользы в оном,
Коль Панса грабит то, что Натта пощадил?
Не долго ты, Керип, спокойствие хранил;
Неси скорей, бедняк, домашние уборы,
Весь скарб под молоток, пока не придут воры;
Продай все и молчи, а с просьбой не тащись,
Иль и с последними ты крохами простись;
Хотя и в старину не более щадили
Друзей, которых мы мечом усыновили,
Но им сносней была отеческая власть;
В то время было что у деток и украсть:
Дома их красились Мироновой работой,
Сияли золотом еще, не позолотой;
Где кисть Паразия, где Фидия резец
Оставили векам в изящном образец.
А Верресу соблазн! так, все сие богатство
Украдкой перешло... какое святотатство!..
Бесстыдна Верреса с Антонием в суда.
Несчастным сим принес мир более вреда,
Чем самая война! Но что похитишь ныне?
Заросшие поля, подобные пустыне,
С десяток кобылиц иль пары две волов...
Быть может, пастуха, отеческих богов,
Быть может, инде бюст — кумир уединенный;
Добыча бедная! но им урон бесценный,
Затем, что это их последнее добро!
Грабитель! смело грабь и злато и сребро
Трусливых родиян, коринфян умащенных —
Чего бояться их, всех в роскошь погруженных?
Но пощади жнецов, питающих наш град,
Столицу праздности, позорищ и прохлад!

Но галла ты не тронь, иберица также бойся;
И что взять в Африке? О! там, не беспокойся,
Давно уж Марий [1] был. Страшись, страшись привесть
В отчаянье людей, в которых сердце есть!
Ты можешь захватить и домы их и селы;
Но вырвешь ли из рук их щит, их меч и стрелы?
Булат, булат еще останется при них.

Но обратим к тебе, о Понтикус, наш стих.
Когда подвластные в тебе увидят друга,
Отца и судию; когда твоя супруга
Не будет города и веси обтекать,
Чтобы, как Гарпия, несчастных хлеб снедать,—
Тогда, хоть Пикусов будь внучек, я согласен;
Пожалуй, выбирай из повестей и басен
Любого в прадеды: пусть будет он Титан,
Хоть самый Промефей — почту твой род и сан.
Но если, ослепясь своим высоким саном,
Ты будешь не судьей — мздоимцем и тираном;
Когда ты ликторов секиры притупишь
И руки кровию союзных обагришь,
Тогда твой знатный род против тебя ж восстанет,
Он первый на тебя проклятьем страшным грянет,
И первой мерзости, ты коими покрыт,
Как яркий пламенник пред миром озарит:
Преступник чем знатней, тем более он винен!

Смотри, как Дамазин и гнусен и бесчинен:
Вдоль места, где его почиет предков прах,
Летит на шестерне, имея бич в руках!
Смотри, как званием возницы он гордится!
И кто же? консул сам! кто боле осрамится?
Конечно, в ночь его не сторожит никто;
Но месяц с небеси, но звезды видят то!
Увидим, погоди, и все, коль скоро минет
Срок консульству его; тогда он тогу скинет
И в белый день во всей предстанет славе нам,

[1] Сей Марий — не тот, который разбил тевтонов и кимвров,— был проконсулом в Африке. Сенат осудил его за грабительство в ссылку, но область, им разоренная, никакого более удовлетворения не получила; половина из похищенного у него сокровища описана была в казну, а другая осталась у Мария, и он, будучи в ссылке, жил еще великолепнее, нежели в своей губернии.

Возжами бья коней усталых по бокам;
Тогда он станет сам ходить уже за ними,
И клясться будет он богами не иными,
Как лишь Гипоною [1], висящей на стене
В конюшне у него! «Он молод,— скажут мне,—
И мы ведь были то ж». Я и не спорю, были!
Но с первой бородой себя переменили.
Срок буйства юных лет быть должен короток.
Согласен я и в том, что слишком тот жесток,
Который молодость ни в чем уж не прощает;
Но консула ль простить? того ль, кто посещает
Все подлые места, какие в Риме есть,
Тогда как молодость, порода, долг и честь
Зовут его на Рейн, на берега Дуная,
В Армению, на Нил, где, лавры пожиная,
Он мог бы заслужить бессмертия венец?
О Цезарь, где найдешь вождей ты наконец?
Ищи, ищи их впредь не в сонме отличенных,
Не в Остии — в местах, разврату посвященных;
Там, там ты их найдешь в толпе бродяг, рабов,
Между Цибелиных неистовых жрецов,
При бубнах на полу простертых и храпящих;
Всяк первый, всякий брат в вертепах сих смердящих.
И все там общее: стол, чаша и постель;
Забыть самих себя — есть главная их цель.
Когда б ты, Понтикус, узнал, что твой служитель,
Последний самый раб, попал в сию обитель,
Скажи мне, как бы с ним за это поступил?
Конечно бы его надолго заключил
В Луканию или в тосканские темницы! [2]
Что ж тем, которые бесчестят багряницы?
О век! что й бойцу вменяют в срам и студ,
Тем могут щеголять Воллезиус и Брут!

Кто родом был знатней Цетега, Катилины?
Казалось, не было завидней их судьбины!
Какой просторный был им к славе предков след!
Но что ж? в свирепости и галлов превзошед,
Они острят мечи и раздувают пламя,

---

[1] Гипона — богиня, покровительствующая конским заводам.
[2] Это были подземелья, называвшиеся у римлян ergastula; почти каждый римский владелец имел в поместье своем подземелье, куда он в наказание сажал своих невольников.

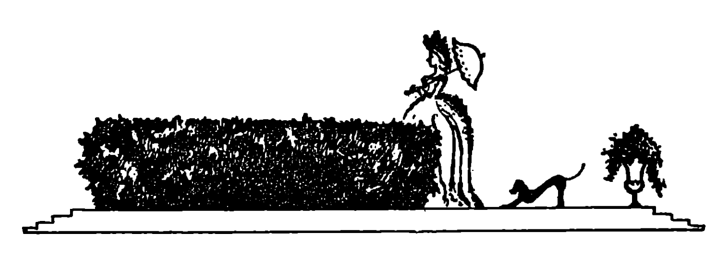
Чтоб ночью, развернув мятежническо знамя,
Разрушить, сжечь дома, и храмы, и весь Рим!
Но консул бодрствует, преграды ставит им;
Стрежет их все шаги, сограждан ободряет,
И словом, не мечом, республику спасает.
Кто ж этот, кто отвел от нас враждебный рок?
Марк Туллиус, пришлец арпинский, *новичок*! [1]
Но Рим его почтил не теми именами:
Он лавры Августа всегда кропил слезами,
А Туллия — отцом отечества нарек.
Кто ж, Понтикус, теперь твой знатный человек?
По мне, так лучше будь потомком ты Терсита [2],
Но с мужеством, с душой Ахилла именита!

<1803>



[1] Цицерон родился в местечке Арпинум. Римляне называли новичками всех тех, которые вышли в знатность сами по себе, а не по предкам.

[2] Это был безобразный и малодушный князь, упоминаемый в Илиаде.



Сказки. Басни. Апологи

Сказки

КАРТИНА

Уж ночь на Петербург спустила свой покров;
Уже на чердаках у многих из творцов
Погасла свечка и курилась,
И их объятая восторгом голова
На рифмы и слова
Сама собой скатилась.
Козлова ученик
В своем уединеньи,
Сидевший с Гением в глубоком размышленьи,
Вдруг слышит стук и крик:
«Где, где он? Там? А! Здесь?»— и видит
пред собою
Кого ж?— Князь Ветров шарк ногою!
«Слуга покорнейший! а я, оставя бал,
Заехал на *часок* за собственным к вам делом.
Я слышал, в городе вас все зовут Апеллом:
Не можете ли вы мне кистию своей
Картину написать? да только поскорей!
Вот содержание: Гимен, то есть бог брака,
Не тот, что пишется у нас сапун, зевака,
Иль плакса, иль брюзга, но легкий, милый бог,
Который бы привлечь и труженика мог,—
Гимен и с ним Амур, всегда в восторге новом,
Веселый, миленький, и живчик одним словом,
Взяв за руки меня, подводят по цветам,
Разбросанным по всем местам,

К прекрасной девушке, боготворимой мною —
Я завтра привезу портрет ее с собою,—
Владычица моя в пятнадцатой весне,
Вручает розу мне;
Вокруг нее толпой забавы, игры, смехи;
Вдали ж, под миртами, престол любви, утехи,
Усыпан розами и весь почти в тени
Дерев, где ветерок заснул среди листочков...
Да! не забыть притом и страстных голубочков —
Вот слабый вам эскиз! Чрез два, четыре дни
Картина, думаю, уж может быть готова;
О благодарности ж моей теперь ни слова:
Докажет опыт вам — прощайте!» И — исчез.
Проходит ночь; с зарей, разлившей свет с небес,
Художник наш за кисть — старается, трудится:
Что ко лбу перст, то мысль родится,
И что черта,
То нова красота.
Уже творец картины
Свершил свой труд до половины,
Как вдруг
Почувствовал недуг,
И животворна кисть из слабых рук упала.
Минута между тем желанная настала:
Князь Ветров женится, хотя картины нет.
Уже он райские плоды во браке жнет;
Что день, то новый дар в возлюбленной княгине;
Мила, божественна, при всех и наедине.
Уж месяц брака их протек
И Апеллесову болезнь с собой увлек.
Благодаря судьбину,
Искусник наш с постели встал,
С усердьем принялся дописывать картину
И в три дни дописал.
Божественный талант! изящное искусство!
Какой огонь! какое чувство!
Но полно, поспешим мы с нею к князю в дом.
Князь вышел в шлафроке, нахлучен колпаком,
И, сонными взглянув на живопись глазами:
«Я более,— сказал,— доволен был бы вами,
Когда бы выдумка была
Не столь игрива, весела.

Согласен я, она нежна, остра, прекрасна,
Но для женатого... уж слишком любострастна!
Не можно ли ее поправить как-нибудь?..
Какой мороз? моя ужасно терпит грудь:
Прощайте!» Апеллес, расставшись с сумасбродным,
Засел картину поправлять
С терпением, артисту сродным;
Иное в ней стирать, иное убавлять,
Соображаяся с последним князя вкусом.
Три месяца пробыв картина под искусом,
Представилась опять сиятельным глазам;
Но, ах! знать, было так угодно небесам:
Сиянье их совсем затмилось,
И уж почти ничто в картине не годилось.
«Возможно ль?.. Это я?—
Вскричал супруг почти со гневом.—
Вы сделали меня совсем уже *Хоревом*[1],
Уж слишком пламенным... да и жена моя
Здесь сущая Венера!
Нет, не прогневайтесь, во всем должна быть мера!»
Так о картине князь судил,
И каждый день он в ней пороки находил.
Чем более она висела,
Тем более пред ним погрешностей имела,
Тем строже перебор от князя был всему:
Уже не взмилились и грации ему,
Потом и одр любви, и миртовы кусточки;
Потом и нежные слетели голубочки;
Потом и смехи все велел закрасить он,
А наконец, увы! вспорхнул и Купидон.

1790

МОДНАЯ ЖЕНА

Ах, сколько я в мой век бумаги исписал!
Той песню, той сонет, той лестный мадригал;
А вы, о нежные мужья под сединою!
Ни строчкой не были порадованы мною.

---

[1] Действующее лицо в трагедии г. Сумарокова.

Простите в том меня: я молод, ветрен был,
Так диво ли, что вас забыл?
А ныне вяну сам: на лбу моем морщины
Велят уже и мне
Подобной вашей ждать судьбины
И о цитерской стороне
Лишь в сказках вспоминать; а были, небылицы,
Я знаю, старикам разглаживают лицы:
Так слушайте меня, я сказку вам начну
Про модную жену.

Пролаз в течение полвека
Все полз, да полз, да бил челом,
И наконец таким невинным ремеслом
Дополз до степени известна человека,
То есть стал с именем,— я говорю ведь так,
Как говорится в свете:
То есть стал ездить он шестеркою в карете;
Потом вступил он в брак
С пригожей девушкой, котора жить умела,
Была умна, ловка
И старика
Вертела как хотела;
А старикам такой закон,
Что если кто из них вскружит себя вертушкой,
То не она уже, а он
Быть должен наконец игрушкой;
Хоть рад, хотя не рад,
Но поступать с женою в лад
И рубль подчас считать полушкой.
Пролаз хотя пролаз, но муж, как и другой,
И так же, как и все, ценою дорогой
Платил жене за нежны ласки;
Узнал и он, что блонды, каски,
Что креп, лино-батист, тамбурна кисея.
Однажды быв жена — вот тут беда моя!
Как лучше изъяснить, не приберу я слова —
Не так чтобы больна, не так чтобы здорова,
А так... ни то ни се... как будто не своя,
Супругу говорит: «Послушай, жизнь моя,
Мне к празднику нужна обнова:
Пожалуй, у мадам Бобри купи тюрбан;

Да слушай, душенька: мне хочется экран
Для моего камина;
А от нее ведь три шага
До английского магазина;
Да если б там еще... нет, слишком дорога!
А *ужасть* как мила!»—«Да что, мой свет, такое?»
— «Нет, папенька, так, так, пустое...
По чести, мне твоих расходов жаль».
—«Да что, скажи, откройся смело;
Расходы знать мое, а не твое уж дело».
— «Меня... стыжусь... пленила *шаль;*
Послушай, ангел мой! она такая точно,
Какую, помнишь ты, выписывал нарочно
Князь для княгини, как у князя праздник был».
С последним словом прыг на шею
И чок два раза в лоб, примолвя: «Как ты мил!»
— «Изволь, изволь, я рад со всей моей душою
Услуживать тебе, мой свет!—
Был мужнин ей ответ.—
Карету!.. Только вряд поспеть уж мне к обеду!
Да я... в Дворянский клуб оттоле заверну».
— «Ах, мой жизненочек! как тешишь ты жену!
Ступай же, Ванечка, скорее».—«Еду, еду!»
И Ванечка седой,
Простясь с женою молодой,
В карету с помощью двух долгих слуг втащился,
Сел, крякнул, покатился.
Но он лишь со двора, а гость к нему на двор —
Угодник дамский, Миловзор,
Взлетел на лестницу и прямо порх к уборной.
«Ах! я лишь думала! как мил!»—«Слуга покорный».
— «А я одна».—«Одне? тем лучше! где же он?»
— «Кто? муж?» — «Ваш нежный Купидон».
— «Какой, по чести, ты ругатель!»
— «По крайней мере я всех *милых* обожатель.
Однако ж это ведь не ложь,
Что друг мой на него хоть несколько похож».
— «То есть он так же стар, хотя не так прекрасен».
— «Нет! Я вам докажу».—«О! этот труд напрасен».
— «Без шуток, слушайте: тот слеп, а этот крив;
Не сходны ли ж они?»—«Ах, как ты злоречив!»
— «Простите, перестану...
Да! покажите мне диванну:

Ведь я еще ее в отделке не видал;
Уж, верно, это храм! Храм вкуса!»—«Отгадал».
— «Конечно, и... любви?» — «Увы! еще не знаю.
Угодно поглядеть?» — «От всей души желаю».
О бедный муж! спеши иль после не тужи,
И от дивана ключ в кармане ты держи:
Диван для городской вострушки,
Когда на нем она сам-друг,
Опаснее, чем для пастушки
Средь рощицы зеленый луг.
И эта выдумка диванов,
По чести, месть нам от султанов!
Но как ни рассуждай, а Миловзор уж там,
Рассматривает всё, любуется, дивится;
Амур же, прикорнув на столике к часам,
Приставил к стрелке перст, и стрелка не вертится,
Чтоб двум любовникам часов досадный бой
Не вспоминал того, что скоро возвратится
Вулкан домой.
А он, как *в руку сон!*.. Судьбы того хотели!
На тяжких вереях вороты заскрипели,
Бич хлопнул, и супруг с торжественным лицом
Явился на конях усталых пред крыльцом.
Уж он на лестнице, таща в руках покупку,
Торопится свою обрадовать голубку;
Уж он и в комнате, а верная жена
Сидит, не думая об нем, и не одна.
Но вы, красавицы, одной с Премилой масти,
Не ахайте об ней и успокойте дух!
Ее пенаты с ней, так ей ли ждать напасти?
Фиделька резвая, ее надежный друг,
Которая лежала,
Свернувшися клубком,
На солнышке перед окном,
Вдруг встрепенулася, вскочила, побежала
К дверям и, как разумный зверь,
Приставила ушко, потом толк лапкой в дверь,
Ушла и возвратилась с лаем.
Тогда ж другой пенат, зовомый попугаем,
Три раза вестовой из клетки подал знак,
Вскричавши: «Кто пришел? дурак!»
Премила вздрогнула, и Миловзор подобно;
И тот, и та — о, время злобно!

О, непредвиденна беда!—
Бросаяся туда, сюда,
Решились так, чтоб ей остаться,
А гостю спрятаться хотя позадь дверей,—
О женщины! могу признаться,
Что вы гораздо нас хитрей!
Кто мог бы отгадать, чем кончилась тревога?
Муж, в двери выставя расцветшие два рога,
Вошел в диванную и видит, что жена
Вполглаза на него глядит сквозь тонка сна;
Он ближе к ней — она проснулась,
Зевнула, потянулась;
Потом,
Простерши к мужу руки:
«Каким же,— говорит ему,— я крепким сном
Заснула без тебя от скуки!
И знаешь ли, что мне
Привиделось во сне?
Ах! и теперь еще в восторге утопаю!
Послушай, миленький! лишь только засыпаю,
Вдруг вижу, будто ты уж более не крив;
Ну, если этот сон не лжив?
Позволь мне испытать».— И вмиг, не дав супругу
Прийти в себя, одной рукой
Закрыла глаз ему — здоровый, не кривой,—
Другою же на дверь указывая другу,
Пролазу говорит: «Что, видишь ли, мой свет?»
Муж отвечает: «Нет!»
— «Ни крошечки?»— «Нимало;
Так темно, как теперь, еще и не бывало».
— «Ты шутишь?»—«Право, нет; да дай ты мне взглянуть».
— «Прелестная мечта!— Лукреция вскричала.—
Зачем польстила мне, чтоб после обмануть!
Ах! друг мой, как бы я желала,
Чтобы один твой глаз
Похож был на другой!» Пролаз,
При нежности такой, не мог стоять болваном;
Он сам разнежился и в радости души
Супругу наградил и шалью и тюрбаном.
Пролаз! ты этот день во святцах запиши:
Пример согласия! Жена и муж с обновой!
Но что записывать? Пример такой не новый.
1791

СКАЗКА

Ну, всех ли, милые мои, пересчитали?
Довольно, право, ведь устали!
Послушайте меня, я сказку вам скажу;
Садитесь все вокруг, да чур... уж не жу-жу!
Однажды адский воевода,
Вы знаете, кто он?—
Угрюмый бородач, по имени Плутон,
Зовет к себе богов проворна скорохода,
Эрмия, и дает приказ:
«Ступай на землю ты в сей час
И выбери мне там трех девушек пригожих,
Или хоть вдовушек, лишь с фуриями схожих,
А эти уж стары, пора им отдохнуть!»
Меркурий порх — и кончил путь
Скорей, чем два раза мигнуть.
С минуту погодя и важная Юнона
Ирисе говорит с блистательного трона:
«Послушай, душенька, не можешь ли ты мне
Найти в подлунной стороне
Трех девушек прекрасных,
Невлюбчивых, бесстрастных
И целомудренных, как чистых голубиц?
Мне очень хочется привесть Венеру в краску...
Поверю ль я, что все смиренья носят маску
И нет упорных ей ни жен, ниже девиц!»
Ириса также порх, и по земному шару
Кидается и тут и там,
По кротким хижинам, по гордым теремам,
По кельям,— нет нигде толь редкого товару!
Взвилася бедная опять под небеса.
«Возможно ль! Что за чудеса?—
Увидевши одну, Юнона закричала.—
О непорочность! что ты стала?»
— «Богиня,— воздохнув, посланница рекла.—
Из рук находка утекла!
Сыскались было три, которы век не знали
И имени любви, но, ах, к моей печали,
Я поздно уж пришла: Эрмий перехватил!»
— «Ах он негодница! да кем он послан был?»
— «Плутоном».—«Как! и хрыч затеял уж измену?»
— «Нет, фуриям на смену».

1793

ИСКАТЕЛИ ФОРТУНЫ

Кто на своем веку Фортуны не искал?
Что. если б силою волшебною какою
Всевидящим я стал
И вдруг открылись предо мною
Все те, которые и едут, и ползут,
И скачут, и плывут,
Из царства в царство рыщут,
И дочери судьбы отменной красоты
Иль убегающей мечты
Без отдыха столь жадно ищут?
Бедняжки! жаль мне их: уж, кажется, в руках...
Уж сердце в восхищеньи бьется...
Вот только что схватить... хоть как, так увернется,
И в тысяче уже верстах!
«Возможно ль,— многие, я слышу, рассуждают,—
Давно ль такой-то в нас искал?
А ныне как он пышен стал!
Он в счастии растет; а нас за грязь кидают!
Чем хуже мы его?» Пусть лучше во сто раз,
Но что ваш ум и всё? Фортуна ведь без глаз;
А к этому прибавим:
Чин стоит ли того, что для него оставим
Покой, покой души, дар лучший всех даров,
Который в древности уделом был богов?
Фортуна — женщина! умерьте вашу ласку;
Не бегайте за ней, сама смягчится к вам.
Так милый Лафонтен давал советы нам
И сказывал в пример почти такую сказку.
В деревне ль, в городке,
Один с другим невдалеке,
Два друга жили;
Ни скудны, ни богаты были.
Один все счастье ставил в том,
Чтобы нажить огромный дом,
Деревни, знатный чин,— то и во сне лишь видел;
Другой богатств не ненавидел,
Однако ж их и не искал,
А кажду ночь покойно спал.
«Послушай,— друг ему однажды предлагает,—
На родине никто пророком не бывает;
Чего ж и нам здесь ждать?— Со временем сумы.

Поедем лучше мы
Искать себе добра; войти, сказать умеем;
Авось и мы найдем, авось разбогатеем».
— «Ступай,— сказал другой,—
А я останусь; мне дорог мой покой,
И буду спать, пока мой друг не возвратится».
Тщеславный этому дивится
И едет. На пути встречает цепи гор,
Встречает много рек, и напоследок встретил
Ту самую страну, куда издавна метил:
Любимый уголок Фортуны, то есть двор;
Не дожидаяся ни зову, ни наряду,
Пристал к нему и по обряду
Всех жителей его он начал посещать:
Там стрелкою стоит, не смея и дышать,
Здесь такает из всей он мочи,
Тут шепчет на ушко; короче: дни и ночи
Наш витязь сам не свой;
Но все то было втуне!
«Что за диковинка!— он думает.— Стой, стой
Да слушай об одной Фортуне,
А сам все ничего!
Нет, нет! такая жизнь несноснее всего.
Слуга покорный вам, господчики, прощайте
И впредь меня не ожидайте;
В Сурат, в Сурат лечу! Я слышал в сказках, там
Фортуне с давних лет курится фимиам...»
Сказал, прыгнул в корабль, и волны забелели.
Но что же? Не прошло недели,
Как странствователь наш отправился в Сурат,
А часто, часто он поглядывал назад,
На родину свою: корабль то загорался,
То на мель попадал, то в хляби погружался;
Всечасно в трепете, от смерти на вершок;
Бедняк бесился, клял — известно, лютый рок,
Себя,— и всем и всем изрядна песня пета!
«Безумцы!— он судил.— На край приходим света
Мы смерть ловить, а к ней и дома три шага!»
Синеют между тем Индейски берега,
Попутный дунул ветр; по крайней мере кстати
Пришло мне так сказать, и он уже в Сурате!
«Фортуна здесь?»— его был первый всем вопрос.
«В Японии»,— сказали.

«В Японии?— вскричал герой, повеся нос.—
Быть так! плыву туда». И поплыл; но, к печали,
Разъехался и там с Фортуною слепой!
«Нет! полно,— говорит,— гоняться за мечтой».
И с первым кораблем в отчизну возвратился.
Завидя издали отеческих богов,
Родимый ручеек, домашний милый кров,
Наш мореходец прослезился
И, от души вздохнув, сказал:
«Ах, счастлив, счастлив тот, кто лишь по слуху знал
И двор, и океан, и о слепой богине!
Умеренность! с тобой раздолье и в пустыне».
И так с восторгом он и в сердце и в глазах
В отчизну наконец вступает,
Летит ко другу,— что ж? как друга обретает?
Он спит, а у него Фортуна в головах!

1794

ВОЗДУШНЫЕ БАШНИ

Утешно вспоминать под старость детски леты,
Забавы, резвости, различные предметы,
Которые тогда увеселяли нас!
Я часто и в гостях хозяев забываю;
Сижу повеся нос; нет ни ушей, ни глаз;
Все думают, что я взмостился на Парнас;
А я... признаться вам, игрушкою играю,
Которая была
Мне в детстве так мила;
Иль в память привожу, какою мне отрадой
Бывал тот день, когда, урок мой окончав,
Набегаясь в саду, уставши от забав
И бросясь на постель, займусь *Шехеразадой* [1]
Как сказки я ее любил!
Читая их... прощай, учитель,
Симбирск и Волга!.. все забыл!
Уже я всей вселенны зритель
И вижу там и сям и карлов, и духов,

---

[1] Лицо из арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

И визирей рогатых,
И рыбок золотых, и лошадей крылатых,
И в виде кадиев волков.
Но сколько нужно слов,
Чтоб все пересчитать, друзья мои любезны!
Не лучше ль вам я угожу,
Когда теперь одну из сказочек скажу?
Я знаю, что оне неважны, бесполезны;
Но все ли одного полезного искать?
Для сказки и того довольно,
Что слушают ее без скуки, добровольно
И может иногда улыбку с нас сорвать.
Послушайте ж. Во дни иль самого Могола,
Или наследника его престола,
Не знаю города какого мещанин,
У коего детей — один был только сын,
Жил, жил, и наконец, по постоянной моде,
Последний отдал долг, как говорят, природе,
Оставя сыну дом
Да денег с сотню драхм, не боле.
Сын, проводя отца на общее всем поле,
Поплакал, погрустил, потом
Стал думать и о том,
Как жить своим умом.
«Дай, говорит,— куплю посуды я хрустальной
На всю мою казну
И ею торговать начну;
Сначала в малый торг, а там — авось и в дальный!»
Сказал и сделал так: купил себе лубков,
Построил лавочку; потом купил тарелок,
Чаш, чашек, чашечек, кувшинов, пузырьков,
Бутылей — мало ли каких еще безделок!—
Всё, всё из хрусталя! Склал в короб весь товар
И в лавке на полу поставил;
А сам хозяин Альнаскар,
Ко стенке прислонясь, глаза свои уставил
На короб и с собой вслух начал рассуждать.
«Теперь,— он говорил,— и Альнаскар купчина!
И Альнаскар пошел на стать!
Надежда, счастие и будуща судьбина
Иль, лучше, вся моя казна
Здесь в коробе погребена —
Вот вздор какой мелю!— погребена?.. пустое!

Она плодится в нем и, верно, через год
Пребудет с барышом по крайней мере вдвое;
Две сотни — хоть куда изрядненький доход!
На них.... еще куплю посуды; лучше тише —
И через год еще две сотни зашибу
И также в короб погребу,
И так год от году все выше, выше, выше,
Могу я наконец уж быть и в десяти
И более — тогда скажу моим товарам
С признательною к ним улыбкою: прости!
И буду... ювелир! Боярыням, боярам
Начну я продавать алмазы, изумруд,
Лазурь и яхонты и... и — всего не вспомню!
Короче: золотом наполню
Не только лавку, целый пруд!
Тогда-то Альнаскар весь разум свой покажет!
Накупит лошадей, невольниц, дач, садов,
Евнухов и домов
И дружбу свяжет
С знатнейшими людьми:
Их дружба лишь на взгляд спесива;
Нет! только кланяйся да хорошо корми,
Так и полюбишься — она неприхотлива;
А у меня тогда
Все тропки порастут персидским виноградом;
Шербет польется как вода;
Фонтаны брызнут лимонадом,
И масло розово к услугам всех гостей.
А о столе уже ни слова:
Я только то скажу, что нет таких затей,
Нет в свете кушанья такова,
Какого у меня не будет за столом!
И мой великолепный дом
Храм будет роскоши для всех, кто мне любезен
Иль властию своей полезен;
Всех буду угощать: пашей, наложниц их,
Плясавиц, плясунов и кадиев лихих —
Визирских подлипал. И так умом, трудами,
А боле с знатными водяся господами,
Легко могу войти в чины и в знатный брак...
Прекрасно! точно так!
Вдруг гряну к визирю, который красотою
Земиры-дочери по Азии гремит;

Скажу ему: «Вступи в родство со мною;
Будь тесть мой!» Если он хоть чуть зашевелит
Противное губами,
Я вспыхну, и тогда прощайся он с усами!
Но нет! Визирска дочь так верно мне жена,
Как на небе луна;
И я, по свадебном обряде,
Наутро, в праздничном наряде,
Весь в камнях, в жемчуге и в злате, как в огне,
Поеду избочась и гордо на коне,
Которого чепрак с жемчужной бахромою
Унизан бирюзою,
В дом к тестю-визирю. За мной и предо мною
Потянутся мои евнухи по два в ряд.
Визирь, еще вдали завидя мой парад,
Уж на крыльце меня встречает
И, в комнаты введя, сажает
По праву руку на диван,
Среди курений благовонных.
Я, севши важно, как султан,
Скажу ему: «Визирь! вот тысяча червонных,
Обещанные мной тебе за перву ночь!
И сверх того еще вот пять, во уверенье,
Сколь мне мила твоя прекраснейшая дочь,
А с ними и мое прими благодаренье».
Потом три кошелька больших ему вручу
И на коне стрелой к Земире полечу.
День этот будет днем любви и ликований,
А завтра... О, восторг! о, верх моих желаний!
Лишь солнце выпрыгнет из вод,
Вдруг пробуждаюсь я от радостного клика
И слышу: весь народ,
От мала до велика,
Толпами привалят на двор,
Кричит, составя хор:
«Да здравствует супруг Земиры!»
А в зале знатность: сераскиры,
Паши и прочие стоят.
И ждут, когда войти с поклоном им велят,
Я всех их допустить к себе повелеваю
И тут-то важну роль вельможи начинаю:
У одного я руку жму;
С другим вступаю в разговоры;

На третьего взгляну, да и спиной к нему.
А на тебя, Абдул, бросаю зверски взоры!
Раскаешься тогда, седой прелюбодей,
Что разлучил меня с Фатимою моей,
С которой около трех дней
Я жил душою в душу!
О! я уже тебя не трушу;
А ты передо мной дрожишь,
Бледнеешь, падаешь, прах ног моих целуешь,
«Помилуй, позабудь прошедшее!» — жужжишь...
Но нет прощения! Лишь пуще кровь взволнуешь;
И я, уже владеть не в силах став собой,
Ну по щекам тебя, по правой, по другой!
Пинками!» — И в жару восторга наш мечтатель,
Визирский гордый зять, Земиры обладатель,
Ногою в короб толк: тот на бок; а хрусталь
Запрыгал, зазвенел и — вдребезги разбился!
Итак, мои друзья, хоть жаль, хотя не жаль,
Но бедный Альнаскар — что делать! — разженился.

1794

ПРИЧУДНИЦА

В Москве, которая и в древни времена
Прелестными была обильна и славна,
Не знаю подлинно, при коем государе,
А только слышал я, что русские бояре
Тогда уж бросили запоры и замки,
Не запирали жен в высоки чердаки,
Но, следуя немецкой моде,
Уж позволяли им в приятной жить свободе;
И светская тогда жена
Могла без опасенья,
С домашним другом иль одна,
И на качелях быть в день светла воскресенья,
И в кукольный театр от скуки завернуть,
И в роще Марьиной под тенью отдохнуть,—
В Москве, я говорю, Ветрана процветала.
Она пригожеством лица,
Здоровьем и умом блистала;
Имела мать, отца;
Имела лестну власть щелчки давать супругу;

Имела, словом, все: большой тесовый дом,
С берлинами сарай, изрядную услугу,
Гуслиста, карлицу, шутов и дур содом
И даже двух сорок, которые болтали
Так точно, как она,— однако ж меньше знали.
Ветрана куколкой всегда разряжена
И каждый день окружена
Знакомыми, родней и нежными сердцами;
Но все они при ней казались быть льстецами,
Затем что всяк из них завидовал то ей,
То цугу вороных коней,
То парчево́му ее платью,
И всяк хотел бы жить с такою благодатью.
Одна Ветрана лишь не ведала цены
Всех благ, какие ей фортуною даны;
Ни блеск, ни дружество, ни пляски, ни заба́вы,
Ни самая любовь — ведь есть же на свету
Такие чудны нравы! —
Не трогали мою надменну красоту.
Ей царствующий град казался пуст и скучен,
И всяк, кто ни был ей знаком,
С каким-нибудь да был пятном:
«Тот глуп, другой урод; тот *ужасть* [1] неразлучен;
Сердечкин ноет все, вздыханьем гонит вон;
Такой-то все молчит и погружает в сон;
Та все чинится, та болтлива;
А эта слишком зла, горда, самолюбива».
Такой отзыв ее знакомых всех отбил!
Родня и друг ее забыл;
Любовник разлюбил;
Приезд к пригоженькой невеже
Час от часу стал реже, реже —
Осталась наконец лишь с гордостью одной:
Утешно ли кому с подругой жить такой,
Надутой, но пустой?
Она лишь пучит в нас, а не питает душу!
Пожалуй, я в глаза сказать ей то не струшу.
Итак, Ветрана с ней сначала ну зевать,
Потом уж и грустить, потом и тосковать,
И плакать, и гонцов повсюду рассылать
За крестной матерью; а та, извольте знать,

---

[1] Слово, употребительное и поныне в губерниях.

Чудесной силою неведомой науки
Творила на Руси неслыханные штуки! —
О, если бы восстал из гроба ты в сей час,
Драгунский витязь мой, о ротмистр Брамербас,
Ты, бывший столько лет в Малороссийском крае
Игралищем злых ведьм!.. Я помню, как во сне,
Что ты рассказывал еще ребенку мне,
Как ведьма некая в сарае,
Оборотя тебя в драгунского коня,
Гуляла на хребте твоем до полуночи,
Доколе ты уже не выбился из мочи;
Каким ты ужасом разил тогда меня!
С какой, бывало, ты рассказывал размашкой,
В колете вохряном и в длинных сапогах,
За круглым столиком, дрожащим с чайной чашкой!
Какой огонь тогда пылал в твоих глазах!
Как волосы твои, седые с желтиною,
В природной простоте взвевали по плечам!
С каким безмолвием ты был внимаем мною!
В подобном твоему я страхе был и сам,
Стоял как вкопанный, тебя глазами мерил
И, что уж ты не конь... еще тому не верил!
О, если бы теперь ты, витязь мой, воскрес,
Я б смелый был певец неслыханных чудес!
Не стал бы истину я закрывать под маску,—
Но, ах, тебя уж нет, и быль идет за сказку.
Простите! виноват! немного отступил;
Но, истинно, не я, восторг причиной был;
Однако я клянусь моим Пермесским богом,
Что буду продолжать обыкновенным слогом;
Итак, дослушайте ж. Однажды, вечерком,
Сидит, облокотясь, Ветрана под окном
И, возведя свои уныло-ясны очи
К задумчивой луне, сестрице смуглой ночи,
Грустит и думает: «Прекрасная луна!
Скажи, не ты ли та счастливая страна,
Где матушка моя ликует?
Увы, неужель ей, которой небеса
Вручили власть творить различны чудеса,
Неведомо теперь, что дочь ее тоскует,
Что крестница ее оставлена от всех
И в жизни никаких не чувствует утех?
Ах, если бы она хоть глазки показала!»

И с этой мыслью вдруг Всеведа ей предстала.
«Здорово, дитятко! — Ветране говорит.—
Как поживаешь ты?.. Но что твой кажет вид?
Ты так стара! так похудела!
И бывши розою, как лилия бледна!
Скажи мне, отчего так скоро ты созрела?
Откройся...» — «Матушка! — ответствует она.—
Я жизнь мою во скуке трачу;
Настанет день — тоскую, плачу;
Покроет ночь — опять грущу
И все чего-то я ищу».
— «Чего же, светик мой? или ты нездорова?»
— «О нет, грешно сказать».— «Иль дом ваш не богат?»
— «Поверьте, не хочу ни мраморных палат».
— «Иль муж обычая лихого?»
— «Напротив, вряд найти другого,
Который бы жену столь горячо любил».
— «Иль он не нравится?» — «Нет, он довольно мил».
— «Так разве от своих знакомых неспокойна?»
— «Я более от них любима, чем достойна».
— «Чего же, глупенькая, тебе недостает?»
— «Признаться, матушка, мне так наскучил свет,
И так я все в нем ненавижу,
Что то одно и сплю и вижу,
Чтоб как-нибудь попасть отсель
Хотя за *тридевять* земель;
Да только, чтобы все в глазах моих блистало,
Все новостию поражало
И редкостью мой ум и взор;
Где б разных дивностей собор
Представил быль как небылицу...
Короче: дай свою увидеть мне столицу!»
Старуха хитрая, кивая головой,
«Что делать,— мыслила,— мне с просьбою такой?
Желанье дерзко... безрассудно,
То правда; но его исполнить мне нетрудно;
Зачем же дурочку отказом огорчить?..
К тому ж я тем могу ее и поучить».
«Изрядно! — наконец сказала.—
Исполнится, как ты желала».

И вдруг, о чудеса!
И крестница, и мать взвились под небеса
На лучезарной колеснице,
Подобной в быстроте синице,
И меньше, нежель в три мига,
Спустились в новый мир, от нашего отменный,
В котором трон весне воздвигнут неизменный!
В нем реки как хрусталь, как бархат берега,
Деревья яблонны, кусточки ананасны,
А горы все или янтарны, иль топазны.
Каков же феин был дворец — признаться вам,
То вряд изобразит и Богданович[1] сам.
Я только то скажу, что все материалы
(А впрочем, выдаю я это вам за слух),
Из коих феин кум, какой-то славный дух,
Дворец сей сгромоздил, лишь изумруд, опалы,
Порфир, лазурь, пироп, кристалл,
Жемчуг и лалл,
Все, словом, редкости богатыя природы,
Какими свадебны набиты русски оды;
А сад — поверите ль? — не только описать
Иль в сказке рассказать,
Но даже и во сне его нам не видать.
Пожалуй, выдумать нетрудно,
Но все то будет мало, скудно,
Иль много-много, что во тьме кудрявых слов
Удастся Сарское Село себе представить,
Армидин сад иль Петергоф;
Так лучше этот труд оставить
И дале продолжать. Ветрана, николи
Диковинок таких не видя на земли,
Со изумленьем все предметы озирает
И мыслит, что мечта во сне над ней играет;
Войдя же в храмины чудесницы своей,
И пуще щурится: то блеск от хрусталей,
Сребристыя луны сражаяся с лучами,
Которые б почлись за солнечные нами,
Как яркой молнией слепит Ветранин взор;
То перламутр хрустит под ней или фарфор...
Ахти! Опять понес великолепный вздор!
Но быть уж так, когда пустился.

[1] Автор поэмы «Душенька».

Итак, переступя один, другой порог,
Лишь к третьему пришли, богатый вдруг чертог
Не ветерком, но сам собою растворился!
«Ну, дочка, поживай и веселися здесь! —
Всеведа говорит.— Не только двор мой весь,
Но даже и духов подземных и воздушных,
Велениям моим послушных,
Даю во власть твою; сама же я, мой свет,
Отправлюся на мало время —
Ведь у меня забот беремя —
К сестре, с которою не виделась сто лет;
Она недалеко живет отсюда — в Коле;
Да по дороге уж оттоле
Зайду и к брату я,
Камчатскому шаману.
Прощай, душа моя!
Надеюсь, что тебя довольнее застану!»
Тут коврик-*самолет* она подостлала,
Ступила, свистнула и вмиг из глаз ушла.
Как будто и не была.
А удивленная Ветрана,
Как новая Диана,
Осталась между нимф, исполненных зараз;
Они тотчас ее под ручки подхватили,
Помчали и за стол роскошный посадили,
Какого и видо́м *не видано* у нас.
Ветрана кушает, а девушки прекрасны,
Из коих каждая почти как ты... мила,
Поджавши руки вкруг стола,
Поют ей арии веселые и страстны,
Стараясь слух ее и сердце услаждать.
Потом, она едва задумала вставать,
Вдруг — девушек, стола не стало,
И залы будто не бывало:
Уж спальней сделалась она!
Ветрана чувствует приятну томность сна,
Спускается на пух из роз в сплетенном нише;
И в тот же миг смычок невидимый запел,
Как будто бы сам Диц за пологом сидел;
Смычок час от часу пел тише, тише, тише
И вместе наконец с Ветраною уснул.
Прошла спокойна ночь; натура пробудилась;
Зефир вспорхнул,

И жертва от цветов душистых воскурилась;
Взыграл и солнца луч, и голос соловья,
Слиянный с сладостным журчанием ручья
И с шумом резвого фонтана,
Воспел: «Проснись, проснись, счастливая Ветрана!»
Она проснулася — и спальная уж сад,
Жилище райское веселий и прохлад!
Повсюду чудеса Ветрана обретала;
Где только ступит лишь, тут роза расцветала;
Здесь рядом перед ней лимонны дерева,
Там миртовый кусток, там нежна мурава
От солнечных лучей, как бархат, отливает;
Там речка по песку златому протекает;
Там светлого пруда на дне
Мелькают рыбки золотые;
Там птички гимн поют природе и весне,
И попугаи голубые
Со эхом взапуски твердят:
«Ветрана! насыщай свой взгляд!»
А к полдням новая картина
Сад превратился в храм,
Украшенный по сторонам
Столпами из рубина,
И с сводом в виде облаков
Из разных в хрустале цветов.
И вдруг от свода опустился
На розовых цепях стол круглый из сребра
С такою ж пищей, как вчера,
И в воздухе остановился;
А под Ветраной очутился
С подушкой бархатною трон,
Чтобы с него ей кушать,
И пение, каким гордился б Амфион,
Тех нимф, которые вчера служили, слушать:
«По чести, это рай! Ну, если бы теперь,—
Ветрана думает,— подкрался в эту дверь...»
И, слова не скончав, в трюмо она взглянула —
Сошла со трона и вздохнула!
Что делала потом она во весь тот день,
Признаться, сказывать и лень,
И не умеется, и было бы некстате;
А только объявлю, что в этой же палате,
Иль в храме, как угодно вам,

Был и вечерний стол, приличный лишь богам,
И что наутро был день новых превращений
И новых восхищений;
А на другой день то ж. «Но что это за мир? —
Ветрана говорит, гармонии внимая
Висящих по стенам золотострунных лир.—
Все эдак, то тоска возьмет и среди рая!
Все чудо из чудес, куда ни поглядишь;
Но что мне в том, когда товарища не вижу?
Увы! я пуще жизнь мою возненавижу!
Веселье веселит, когда его делишь».
Лишь это вымолвить успела,
Вдруг набежала тьма, встал вихорь, грянул гром,
Ужасна буря заревела;
Все рушится, падет вверх дном,
Как не бывал волшебный дом;
И бедная Ветрана,
Бледна, безгласна, бездыханна,
Стремглав летит, летит, летит —
И где ж, вы мыслите, упала?
Средь страшных Муромских лесов,
Жилища ведьм, волков,
Разбойников и злых духов!
Ветрана возрыдала,
Когда, опомнившись, узнала,
Куда попалася она;
Все жилки с страха в ней дрожали!
Ночь адская была! ни звезды, ни луна
Сквозь черного ее покрова не мелькали;
Все спит!
Лишь воет ветр, лишь лист шумит,
Да из дупла в дупло сова перелетает,
И изредка в глуши кукушка занывает.
Сиротка думает, идти ли ей иль нет,
И ждать, когда луны забрезжит бледный свет?
Но это час воров! Итак, она решилась
Не мешкая идти; итак, перекрестилась,
Вздохнула и пошла по вязкому песку
Со страхом и тоскою;
Бледнеет и дрожит, лишь ступит шаг ногою;
Там предвещает ей последний час *ку-ку!*
Там леший выставил из-за деревьев роги;
То слышится *ау;* то вспыхнул огонек;

То ведьма кошкою бросается с дороги
Иль кто-то скрылся за пенек;
То по лесу раздался хохот,
То вой волков, то конский топот.
Но сердце в нас вещун: я сам то испытал,
Когда мои стихи в журналы отдавал;
Недаром и Ветрана плачет!
Уж в самом деле кто-то скачет
С рогатиной в руке, с пищалью за плечьми.
«Стой! стой! — он гаркает, сверкаючи очьми.—
Стой! кто бы ты ни шел, по воле иль неволе;
Иль света не увидишь боле!..
Кто ты?» — нагнав ее, он грозно продолжал;
Но, видя, что у ней страх губы оковал,
Берет ее в охапку
И поперек кладет седла,
А сам, надвинув шапку,
Припав к луке, летит, как из лука стрела,
Летит, исполненный отваги,
Чрез холмы, горы и овраги
И, Клязьмы доскакав высоких берегов,
Бух прямо с них в реку, не говоря двух слов;
Ветрана ж: ах!.. и пробудилась —
Представьте, как она, взглянувши, удивилась!
Вся горница полна людей:
Муж в головах стоял у ней;
Сестры и тетушки вокруг ее постели
В безмолвии сидели;
В углу приходский поп молился и читал;
В другом углу колдун *досужий* [1] бормотал;
У шкафа ж за столом, восчанкою накрытым,
Прописывал рецепт хирургус из немчин,
Который по Москве считался знаменитым,
Затем, что был один.
И все собрание, Ветраны с первым взором:
«Очнулась!» — возгласило хором;
«Очнулась!» — повторяет хор;
«Очнулась!» — и весь двор
Запрыгал, заплясал, воскликнул: «Слава богу!
Боярыня жива! нет горя нам теперь!»

---

[1] В старину их называли *досужими*. См. Ядро Росс. истории кн. Хилкова.

А в эту самую тревогу
Вошла Всеведа в дверь
И бросилась к Ветране.
«Ах, бабушка! зачем явилась ты не ране? —
Ветрана говорит.— Где это я была?
И что я видела?.. Страх... ужас!» — «Ты спала,
А видела лишь бред,— Всеведа отвечает.—
Прости,— развеселясь, старуха продолжает,—
Прости мне, милая! Я видела, что ты
По молодости лет ударилась в мечты;
И для того, когда ты с просьбой приступила,
Трехсуточным тебя я сном обворожила
И в сновидениях представила тебе,
Что мы, всегда чужой завидуя судьбе
И новых благ желая,
Из доброй воли в ад влечем себя из рая.
Где лучше, как в своей родимой жить семье?
Итак, вперед страшись ты покидать ее!
Будь добрая жена и мать чадолюбива,
И будешь всеми ты почтенна и счастлива».
С сим словом бросилась Ветрана обнимать
Супруга, всех родных и добрую Всеведу;
Потом все сродники приглашены к обеду;
Наехали, нашли и сели пировать.
Уж липец зашипел, все стало веселее,
Всяк пьет и говорит, любуясь на бокал:
«Что матушки Москвы и краше и милее?» —
Насилу досказал.

1794

ВОСПИТАНИЕ ЛЬВА

У Льва родился сын. В столице, в городах,
Во всех его странах
Потешные огни, веселья, жертвы, оды.
Мохнатые певцы все взапуски кричат:
«Скачи, земля! взыграйте, воды!
У Льва родился сын!» И вправду, кто не рад?
Меж тем, когда всяк зверь восторгом упивался,
Царь Лев, как умный зверь, заботам предавался,
Кому бы на руки дитя свое отдать:
Наставник должен быть умен, учен, незлобен!

Кто б из зверей к тому был более способен?
Не шутка скоро отгадать.
Царь, в нерешимости, велел совет собрать;
В благоволении своем его уверя,
Препоручил избрать ему,
По чистой совести, по долгу своему,
Для сына в менторы достойнейшего зверя.
Встал Тигр и говорит:
«Война, война царей великими творит;
Твой сын, о государь, быть должен страхом света;
И так образовать его младые лета
Лишь тот способен из зверей,
Который всех, по Льве, ужасней и страшней».
— «И осторожнее,— Медведь к тому прибавил,—
Чтоб он младого Льва наставил
Уметь и храбростью своею управлять».
Противу мненья двух Лисе идти не можно;
Однако ж, так и сяк начав она вилять,
Заметила, что дядьке должно
Знать и политику, быть хитрого ума,
Короче: какова сама.
За нею тот и тот свой голос подавали,
И все они, хотя себя не называли,
Но ясно намекали,
Что в дядьки лучше их уж некого избрать:
Советы и везде почти на эту стать.
«Позволено ль и мне сказать четыре слова?—
Собака наконец свой голос подала.—
Политики, войны нет следствия другова,
Как много шума, много зла.
Но славен добрый царь коварством ли и кровью?
Как подданных своих составит счастье он?
Как будет их отцом? чем утвердит свой трон?
Любовью.
Вот таинство, вот ключ к высокой и святой
Науке доброго правленья!
Кто ж принцу лучшие подаст в ней наставленья?
Никто, как сам отец». Тигр смотрит как шальной,
Медведь, другие то ж, а Лев, от умиленья
Заплакав, бросился Собаку обнимать.
«Почто,— сказал,— давно не мог тебя я знать?
О добрый зверь! тебе вручаю
Я счастие мое и подданных моих;

Будь сыну моему наставником! Я знаю,
Сколь пагубны льстецы: укрой его от них,
Укрой и от меня — в твоей он полной воле».
Собака от царя идет с дитятей в поле,
Лелеет, пестует и учит между тем.
Урок был первый тот, что он Щенок, не Львенок,
И в дальнем с ним родстве. Проходит день за днем,
Уже питомец не ребенок,
Уже наставник с ним обходит все страны,
Которые в удел отцу его даны;
И Львенок в первый раз узнал насильство власти,
Народов нищету, зверей худые страсти:
Лиса ест кроликов, а Волк душит овец,
Оленя давит Барс: повсюду, наконец,
Могучие богаты,
Бессильные от них кряхтят,
Быки работают без платы,
А Обезьяну золотят.
Лев молодой дрожит от гнева.
«Наставник,— он сказал,— подобные дела
Доходят ли когда до сведенья царева?
Ах, сколько бедствий, сколько зла!»
— «Как могут доходить?— Собака отвечает.—
Его одна толпа счастливцев окружает,
А им не до того; а те, кого съедят,
Не говорят».
И так наш Львеночек, без дальних размышлений
О том, в чем доброту и мудрость ставит свет,
И добр стал и умен; но в этом дива нет:
Пример и опытность полезней наставлений.
Он, в доброй школе той взрастая, получил
Рассудок, мудрость, крепость тела;
Однако же еще не ведал, кто он был;
Но вот как случай сам о том ему открыл.
Однажды на пути Собака захотела
Взять отдых и легла под тению дерев.
Вдруг выскочил злой Тигр, разинул страшный зев
И прямо к ней,— но Лев,
Закрыв ее собою,
Взмахнул хвостом, затряс косматой головою,
Взревел — и Тигр уже растерзанный лежит!
Потом он в радости к наставнику бежит
И вопит: «Победил! благодарю судьбину!

Но я ль то был иль нет?.. Поверишь ли, отец,
Что в этот миг, когда твой близок был конец,
Я вдруг почувствовал и жар и силу львину;
Я точно... был как Лев!» — «Ты точно Лев и есть, —
Наставник отвечал, облившися слезами. —
Готовься важную услышать, сын мой, весть:
Отныне... кончилось равенство между нами;
Ты царь мой! Поспешим возвратом ко двору.
Я все употребил, что мог, тебе к добру;
Но ты... и радости и грусти мне причина!
Прости, о государь, невольно слезы лью...
Отечеству отца даю,
А сам... теряю сына!»

1802

КАЛИФ

Против Калифова огромного дворца
Стояла хижина, без кровли, без крыльца,
Издавна ветхая и близкая к паденью,
Едва ль приличная и самому смиренью.
Согбенный старостью ремесленник в ней жил;
Однако он еще по мере сил трудился,
Ни злых, ни совести нимало не страшился
И *тихим вечером* своим доволен был.
Но хижиной его Визирь стал недоволен:
«Терпим ли, — он своим рассчитывал умом, —
Вид бедности перед дворцом?
Но разве государь сломать ее не волен?
Подам ему доклад, и хижине не быть».
На этот раз Визирь обманут был в надежде.
Доклад подписан так: *«Быть по сему; но прежде
Строенье ветхое купить».*
Послали Кадия с соседом торговаться;
Кладут пред ним на стол с червонными мешок.
«Мне в деньгах нужды нет, — сказал им простачок. —
А с домом ни за что не можно мне расстаться;
Я в нем родился, в нем скончался мой отец,
Хочу, чтоб в нем же бог послал и мне конец.
Калиф, конечно, самовластен,
И каждый подданный к нему подобострастен;

Он может при моих глазах
Развеять вмиг гнездо мое, как прах;
Но что ж последует? Несчастным слезы в пищу:
Я всякий день приду к родиму пепелищу;
Воссяду на кирпич с поникшей головой
Небесного под кровом свода
И буду пред отцом народа
Оплакивать мой жребий злой!»
Ответ был Визирю до слова пересказан,
А тот спешит об нем Калифу донести.
«Тебе ли, государь, отказ такой снести?
Ужель останется раб дерзкий не наказан?»—
Калифу говорил Визирь наедине.
«Да!— подхватил Калиф.— Ответ угоден мне;
И я тебе повелеваю:
Впредь помня навсегда, что в правде нет вины,
Исправить хижину на счет моей казны;
Я с нею только жить в потомках уповаю;
Да скажет им дворец: такой-то пышно жил;
А эта хижина... он правосуден был!»

<1805>



ЧЕРВОНЕЦ И ПОЛУШКА

Не ведаю, какой судьбой
Червонец золотой
С Полушкою на мостовой
Столкнулся.
Металл сиятельный раздулся,
Суровый на свою соседку бросил взор
И так с ней начал разговор:
«Как ты отважилась со скаредною рожей
Казать себя моим очам?
Ты вещь презренная от князей и вельможей!
Ты, коей суждено валяться по сумам!
Ужель ты равной быть со мною возмечтала?»
— «Никак,— с покорностью Полушка отвечала,—
Я пред тобой мала, однако не тужу;
Я столько ж, как и ты, на свете сем служу.
Я рубищем покрыту нищу
И дряхлой старостью поверженну во прах
Даю, хоть грубую, ему потребну пищу
И прохлаждаю жар в запекшихся устах;
Лишенна помощи младенца я питаю
И жребий страждущих в темнице облегчаю,
Причиною ж убийств, коварств, измен и зла
Вовек я не была.
Я более горжусь служить всегда убогим,
Вдовицам, сиротам и воинам безногим,
Чем быть погребену во мраке сундуков
И умножать собой казну ростовщиков,
Заводчиков, скупяг и знатных шалунов,
А ты»... Прохожий, их вдали еще увидя,
Тотчас к ним подлетел;
Приметя же их спор и споров ненавидя,
Он положил ему предел,
А попросту он их развел,
Отдав одну вдове, идущей с сиротою,
Другого подаря торгующей красою.

<1789>

ИСТУКАН ДРУЖБЫ

«Сколь счастлив тот, кто Дружбу знает!
Ах, можно ль с ней сравнить Любовь!
Та, я слыхала, нас терзает,
Тревожит сердце, дух и кровь;
А ты, о Дружба, утешаешь
И, как румяная заря,
Сердца в нас греешь, не сжигаешь,
Счастливыми навек творя».
Вчера так Лиза рассуждала
(Ей отроду пятнадцать лет),
Она сама еще не знала,
Что есть ли сердце в ней иль нет.
Пленясь прекрасною мечтою,
Желает всякий час иметь
Подобье Дружбы пред собою,
Чтоб больше к ней благоговеть.
«Сколь буду, говорит, я рада,
Имея образ, Дружба, твой!
В уединенном месте сада
Поставлен храмик будет мной,
А в храмике твой зрак священной;
Я — жрицей бы его была».
По сем с душою восхищенной
Невинность к резчику пошла.
Резчик ее представил взору
Богини точный истукан
Без прелестей и без убору,
Вид скромной и простой ей дан.
«Что вижу?— Лизонька вскричала.—
И тени прелестей тут нет,
С какими в сердце начертала
Любезной Дружбы я портрет!
Постой... я зрю дитя прекрасно,
Ах, это Дружество и есть!
Вот бог, которым сердце страстно!»
Потом, спеша его унесть,
«*Нашла! нашла!*»— она твердила.
Вотще художник ей гласил:
«Ведь ты Любовь, Любовь купила!»
Зефир сих слов не доносил.

<1791>

НАДЕЖДА И СТРАХ

Хотя Надежда ввек
Со Страхом не дружилась,
Но час такой притек,
Что мысль одна родилась,
Как в той, так и в другом,
Какая ж мысль смешная:
Оставить свой небесный дом
И на землю идти пешком,
Узнать — кого?.. людей желая.
Но боги ведь не мы, кому их осуждать!
Мы до́лжны рассуждать,
Умно ли делаем, согласно ли с законом,
Не нужно ль наперед зайти к кому с поклоном?
А им кого просить? Все перед ними прах.
Итак, Надежда захотела
И тотчас полетела;
Пополз за ней и Страх.
Чего не делает охота!
Они уж на земле. Для первыя ворота
Везде отворены;
Все с радостью ее встречают
И величают,
Как будто им даны
Майорские чины.
Напротив же того, ее сопутник бродит
И, бедненький, нигде квартиры не находит.
«Постой же! — Страх сказал.— Так, людям я назло,
Нарочно к тем ворвуся силой,
Которым больше мой не нравен вид унылой».
Сказал и сделал так.
Читатель, если не дурак,
То, верно, следствий ждет чудесных
Прихода сих гостей небесных,
И не ошибся он.
Лишь только на землю они спустились,
Вдруг состояния людские пременились:
Умолк несчастных стон;
Смиренна нищета впервые улыбнулась,
Как будто уже к ней фортуна оглянулась,

А изобилие, утех житейских мать,
Всечасно стало трепетать.
Какая же тому причина?
Мне сказывали, та, что случай иль судьбина,
Пускай последняя, Надежду привела
К искусну химику в убогую лачугу,
А спутника ее ко Плутусову другу
И дом заводчика в постой ему дала.

<1791>

ПЧЕЛА, ШМЕЛЬ И Я

Шмель, рояся в навозе,
О хитрой говорил Пчеле,
Сидевшей вдалеке на розе:
«За что она в такой хвале,
В такой чести у всех и моде?
А я пыхчу, пыхчу, и пот свой лью,
И также людям мед даю,
А все как будто нуль в природе,
Никем не знаемый досель».
— «И мне такая ж участь, Шмель! —
Сказал ему я, воздыхая.—
Лет десять как судьба лихая
Вложила страсть в меня к стихам.
Я, лучшим следуя певцам,
Пишу, пишу, тружусь, потею
И рифмы, точно их кладу,
А все в чтецах не богатею
И к славе тропки не найду!»

<1792>

БЫЛЬ

Чума и смерть вошли в великолепный град,
Вошли — и в тот же миг другой Эдемский сад,
Где с нимфами вчера бог Пафоса резвился,
В глубокий, смрадный гроб, в кладбище превратился.
Ужасно зрелище! Везде, со всех сторон
Печально пение, плач, страх, унылый звон;

Иль умирающа встречаешь, или мертва,
Младенец и старик — все алчной смерти жертва!
Там дева, юношей пленявшая красой,
Бледнеет и падет под лютою косой;
Там век дожившая вздох томный испускает,
И вздоху оному никто не отвечает;
Никто!.. полмертвая средь стен лежит пустых,
Где только воет ветр, и мыслит о своих
Сынах и правнуках, чумою умерщвленных.
В один из оных дней, вовеки незабвенных,
Приходит в хижинку благочестивый муж,
Друг унывающих, смиренный пастырь душ,
Приходит — и в углу приюты ветхой, бедной,
При свете пасмурном луны печальной, бледной,
Зрит старца, на гнилых простертого досках,
Зрит черно рубище, истлевше в головах,
Кувшин, топор, пилу, над дверию висящу,
И боле ничего... Едва-едва дышащу,
Он старцу тако рек: «Готовься, сыне мой,
Прияти по трудах и бедствиях покой;
Готовься ты юдоль плачевную оставить,
В которой с нуждою мог жизнь свою пробавить,
Где столько горестей, забот, печали, слез
В теченье дней твоих ты, верно, перенес».
— «Ах нет! — ответствовал больной
дрожащим гласом.—
Я тяжко б согрешил теперь пред смертным часом,
Сказав, что плохо мне и горько было жить.
Меня небесный царь не допускал тужить.
Доколе мочь была, всяк день я был доволен,
Здоров, пригрет и сыт и над собою волен,
Кормилицы мои — топор был и пила...
А куплена трудом и корочка мила!»
Исполнен пастырь душ приятна изумленья
Вещает наконец: «И ты без сожаленья
Сей оставляешь мир?» Болящий отвечал:
«Хоть белый свет и мил, но я уж истощал
И боле не смогу достать работой хлеба,
Так лучше умереть!» Он рек — и ангел с неба,
Спустяся в хижину, смежил ему глаза...
И канула на труп сердечная слеза.

<1792>

ПУСТЫННИК И ФОРТУНА

Какой-то добрый человек,
Не чувствуя к чинам охоты,
Не зная страха, ни заботы,
Без скуки провождал свой век
С Плутархом, с лирой
И Пленирой,
Не знаю точно где, а только не у нас.
Однажды под вечер, как солнца луч погас
И мать качать дитя уже переставала,
Нечаянно к нему Фортуна в дом попала
И в двери ну стучать!
«Кто там?» — Пустынник окликает.
«Я! Я!» — «Да кто, могу ли знать?»
— «Я! та, которая тебе повелевает
Скорее отпереть».— «Пустое!» — он сказал
И замолчал.
«Ото́прешь ли? — еще Фортуна закричала.—
Я ввек ни от кого отказа не слыхала;
Пусти Фортуну ты со свитою к себе,
С Богатством, Знатью и Чинами...
Теперь известна ль я тебе?»
— «По слуху... но куда мне с вами?
Поди в другой ты дом,
А мне не поместить, ей-ей! такой содом».
— «Невежа! да пусти меня хоть с половиной,
Хоть с третью, слышишь ли?.. Ах! сжалься
над судьбиной
Великолепия... оно уж чуть дышит,
Над гордой Знатностью, которая дрожит
И, стоя у порога, мерзнет;
Тронись хоть Славою, мой миленький дружок!
Еще минута, все исчезнет!..
Упрямый, дай хотя Желанью уголок!»
— «Да отвяжися ты, лихая пустомеля! —
Пустынник ей сказал.— Ну, право, не могу.
Смотри: одна и есть постеля,
И ту я для себя с Пленирой берегу».

<1792>

ЧИЖИК И ЗЯБЛИЦА

Чиж свил себе гнездо и, сидя в нем, поет:
«Ах! скоро ль солнышко взойдет
И с домиком меня застанет?
Ах! скоро ли оно проглянет?
Но вот уж и взошло! как тихо и красно!
Какая в воздухе, в дыханье, в жизни сладость!
Ах! я такого дня не видывал давно».
Но без товарища и радость нам не в радость:
Желаешь для себя, а ищешь разделить!
«Любезна Зяблица! — кричит мой Чиж соседке,
Смиренно прикорнувшей к ветке.—
Что ты задумалась? давай-ка день хвалить!
Смотри, как солнышко...» — Но солнце вдруг
сокрылось,
И небо тучами отвсюду обложилось;
Все птицы спрятались, кто в гнезды, кто в реку,
Лишь галки стаями гуляют по песку
И криком бурю вызывают;
Да ласточки еще над озером летают;
Бык, шею вытянув, под плугом заревел;
А конь, поднявши хвост и разметавши гриву,
Ржет, пышет и летит чрез ниву.
И вдруг ужасный вихрь со свистом восшумел.
Со треском грянул гром, ударил дождь со градом,
И пали пастухи со стадом.
Потом прошла гроза, и солнце расцвело,
Все стало ярче и светлее,
Цветы душистее, деревья зеленее —
Лишь домик у Чижа куда-то занесло.
О, бедненький мой Чиж! Он, мокрыми крылами
Насилу шевеля, к соседушке летит
И ей со вздохом и слезами,
Носок повеся, говорит:
«Ах! всяк своей бедой ума себе прикупит:
Впредь утро похвалю, как вечер уж наступит».

1793

ЖАВОРОНОК С ДЕТЬМИ И ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ

Пословица у нас: *на ближних уповай,*
А сам ты не плошай!
И правда; вот пример. В прекрасные дни года,
В которые цветет и нежится природа,
Когда все любится, медведь в лесу густом,
Киты на дне морском,
А жаворонки в поле,
Не ведаю того, по воле иль неволе,
Но самочка одна
Из племя жаворонков летала да гуляла!
И о влиянии весны не помышляла,
А уж давно весна!
Сдалася наконец природе и она,
И матерью еще назваться захотела:
У птичек много ли затей?
Свила во ржи гнездо, снесла яичек, села
И вывела детей.
Рожь выросла, созрела,
А птенчики еще не в силах ни порхать,
Ни корма доставать:
Все матушка ищи.— «Ну, детушки, прощайте!
Я за припасом полечу,—
Сказала им она,— а вы здесь примечайте,
Не соберутся ль жать, и тотчас голос дайте;
Так я другое вам пристанище сыщу».
Она лишь из гнезда, пришел хозяин в поле
И сыну говорит: «Ведь рожь и жать пора,
Смотри, как матера!
Ступай же ты, не медля боле,
И попроси друзей на помощь к нам прийти».
«Ах, матушка! лети, скорее к нам лети!» —
Малютки в страхе запищали.
«Что, что вам сделалось?» — «Ахти мы все пропали:
Хозяин был, он хочет жать,
Уж сыну и друзей велел на помочь звать».—
— «А боле ничего? — ответствовала мать.—
Так не к чему спешить: *день ночи мудренее;*
Вот, детушки, вам корм; покушайте скорее,
Да ляжем с богом спать!» Они того, сего
Клевнули,
Прижались под крыло к родимой и уснули.

Уж день, а из друзей нет в поле никого.
Пичужечка опять пустилась за припасом;
А селянин на рожь,
И мыслит: на родню сторонний не похож!
«Поди-ка, сын мой, добрым часом
Ты к дяде своему да свату поклонись».
Малютки пуще взволновались
И матери вослед все в голос раскричались:
«Ах! милая, скорей, родима, воротись!
Уж за родней пошли».— «Молчите, не пугайтесь!
Ответствовала мать,— и с богом оставайтесь».
Еще проходит день; хозяин в третий раз
Приходит во поле. «Изрядно учат нас,—
Он сыну говорит,— и дельно! впредь не станем
С надеждою зевать, а поскорей вспомянем,
Что всякий сам себе вернейший друг и брат;
Ступай же ты назад
И матери скажи с сестрами,
Чтоб на поле пришли с серпами».
А птичка, слыша то, сказала детям так:
«Ну, детки, вот теперь к походу верный знак!»
И дети в тот же миг скорей, скорей сбираться,
Расправя крылья, в первый раз
За маткой кое-как вверх, вверх приподниматься,
И скрылися из глаз.
<1793>

ДВА ГОЛУБЯ

Два Голубя друзьями были,
Издавна вместе жили,
И кушали, и пили.
Соскучился один все видеть то ж да то ж;
Задумал погулять и другу в том открылся.
Тому весть эта острый нож;
Он вздогнул, прослезился
И к другу возопил:
«Помилуй, братец, чем меня ты поразил?
Легко ль в разлуке быть?.. Тебе легко, жестокой!
Я знаю: ах! а мне... я, с горести глубокой,
И дня не проживу... к тому же рассуди,
Такая ли пора, чтоб в странствие пускаться?
Хоть до зефиров ты, голубчик, погоди!

К чему спешить? Еще успеем мы расстаться!
Теперь лишь Ворон прокричал,
И без сомнения — страшуся я безмерно! —
Какой-нибудь из птиц напасть он предвещал,
А сердце в горести и пуще имоверно!
Когда расстанусь я с тобой,
То будет каждый день мне угрожать бедой:
То ястребом лихим, то лютыми стрелками,
То коршунами, то силками —
Все злое сердце мне на память приведет.
Ахти мне! — я скажу, вздохнувши,— дождь идет!
Здоров ли то мой друг? не терпит ли он холод?
Не чувствует ли голод?
И мало ли чего не вздумаю тогда!»
Безумцам умна речь — как в ручейке вода:
Журчит и мимо протекает,
Затейник слушает, вздыхает,
А все-таки лететь желает.
«Нет, братец, так и быть! — сказал он.— Полечу!
Но верь, что я тебя крушить не захочу;
Не плачь; пройдет дни три, и буду я с тобою
Клевать
И ворковать
Опять под кровлею одною;
Начну рассказывать тебе по вечерам —
Ведь все одно да то ж приговорится нам,—
Что видел я, где был, где хорошо, где худо;
Скажу: я там-то был, такое видел чудо,
А там случилось то со мной,
И ты, дружочек мой,
Наслушаясь меня, так сведущ будешь к лету,
Как будто бы и сам гулял по белу свету.
Прости ж!» — При сих словах
Наместо всех *увы!* и *ах!*
Друзья взглянулись, поклевались,
Вздохнули и расстались.
Один, носок повеся, сел;
Другой вспорхнул, взвился, летит, летит стрелою,
И, верно б, сгоряча в край света залетел;
Но вдруг покрылось небо мглою,
И прямо страннику в глаза
Из тучи ливный дождь, град, вихрь, сказать вам
словом —

Со всею свитою, как водится, гроза!
При случае таком, опасном, хоть не новом,
Голубчик поскорей садится на сучок
И рад еще тому, что только лишь измок.
Гроза утихнула, Голубчик обсушился
И в путь опять пустился.
Летит и видит с высока
Рассыпано пшено, а возле — Голубка;
Садится, и в минуту
Запутался в сети; но сеть была худа,
Так он против нее носком вооружился;
То им, то ножкою тянув, тянув, пробился
Из сети без вреда,
С утратой перьев лишь. Но это ли беда?
К усугубленью страха
Явился вдруг Соко́л и, со всего размаха,
Напал на бедняка,
Который, как злодей, опутан кандалами,
Тащил с собой снурок с обрывками силка.
Но, к счастью, тут Орел с широкими крылами
Для встречи Сокола спустился с облаков;
И так, благодаря стечению воров,
Наш путник Соколу в добычу не достался,
Однако все еще с бедой не развязался:
В испуге потеряв и ум и зоркость глаз,
Задел за кровлю он как раз
И вывихнул крыло; потом в него мальчишка —
Знать, голубиный был и в том еще умишка —
Для шутки камешек лукнул
И так его зашиб, что чуть он отдохнул;
Потом... потом, прокляв себя, судьбу, дорогу,
Решился брести назад, полмертвый, полхромой;
И прибыл наконец калекою домой,
Таща свое крыло и волочивши ногу.

О вы, которых бог любви соединил!
Хотите ль странствовать? Забудьте гордый Нил
И дале ближнего ручья не разлучайтесь.
Чем любоваться вам? Друг другом восхищайтесь!
Пускай один в другом находит каждый час
Прекрасный, новый мир, всегда разнообразный!
Бывает ли в любви хоть миг для сердца праздный?
Любовь, поверьте мне, все заменит для вас.

Я сам любил: тогда за луг уединенный,
Присутствием моей подруги озаренный,
Я не хотел бы взять ни мраморных палат,
Ни царства в небесах!.. Придете ль вы назад,
Минуты радостей, минуты восхищений?
Иль буду я одним воспоминаньем жить?
Ужель прошла пора столь милых обольщений
И полно мне любить?

<1795>

ИСТУКАН И ЛИСА

Осел, как скот простой,
Глядит на Истукан пустой
И лижет позолоту;
А хитрая Лиса, взглянувши на работу
Прилежно раза два,
Пошла и говорит: «Прекрасна голова,
Да жаль, что мозгу нет!» — Безмозглые вельможи!
Не правда ли, что вы с сим Истуканом схожи?

<1795>

СТАРИК И ТРОЕ МОЛОДЫХ

Старик, лет в семьдесят, рыл яму и кряхтел.
Добро бы строить, нет! садить еще хотел!
А трое молодцов, зевая на работу,
Смеялися над ним. «Какую же охоту
На старости бог дал!» —
Один из них сказал.
Другой прибавил: «Что ж? еще не опоздал!
Ковчег и большего терпенья стоил Ною».
— «Смешон ты, дедушка, с надеждою пустою!—
Примолвил третий Старику.—
Довольно, кажется, ты пожил на веку;
Когда ж тебе дождаться
Под тению твоей рябинки прохлаждаться?
Ровесникам твоим и настоящий час
Неверен;
А *завтрем* льстить себя оставь уже ты нас».
Совет довольно здрав, довольно и умерен
Для мудреца в шестнадцать лет!

«Поверьте мне, друзья,— Старик сказал в ответ,—
Что *завтре* ни мое, ни ваше;
Что парка бледная равно
Взирает на теченье наше.
От провидения нам ведать не дано,
Кому из нас оно судило
Последнему взглянуть на ясное светило!
Не можете и вы надежны быть, как я,
Ниже на миг один... Работа же моя
Не мне, так детям пригодится;
Чувствительна душа и вчуже веселится.
Итак, вы видите, что мной уж собран плод,
Которым я могу теперь же наслаждаться
И *завтре*, может статься,
И далее... как знать — быть может, что и год.
Ах! может быть и то, что ваш безумец хилый
Застанет месяца восход
Над вашей, розами усыпанной... могилой!»
Старик предчувствовал: один, прельстясь песком —
Конечно, золотым,— уснул на дне морском;
Другой под миртами исчез в цветущи лета;
А третий — дворянин, за честь к отмщенью скор,—
Войдя с приятелем в театре в легкий спор,
За креслы, помнится... убит из пистолета.

<1795>

ЗАЯЦ И ПЕРЕПЕЛИХА

Как над несчастливым, мне кажется, шутить?
Ей-богу, я и сам готов с ним слезы лить;
И кто из нас, друзья, уверен в том сердечно,
Что счастлив будет вечно?
Послушайте! Я вам пример на то скажу.
С Перепелихою жил Заяц чрез межу;
Она и он во всем довольны;
Места владенья их привольны:
Лесисты, хлебные, воды не занимать,
И, словом, есть уж где побегать, попорхать,
Но льзя ли будуще узнать?
Вдруг лаянье вдали собачье раздалося,
И сердце кровию у Зайца облилося.

Вскочил — и ну бежать, прощай, любезный бор!
Охотники кричат: «Ату! ату! обзор!»
А дерзкая Перепелиха
Лепечет: «Я ведь не трусиха,
Давай за ними полечу
И ссоре их похохочу.
Ай, Заяц! ай, сосед! какие ж прытки ноги!
Ахти! уж и пристал! Сверни! сверни с дороги!
Куда ты мечешься? Сюда, сюда, косой!
Ну... поминай, как звали!
А хвастался передо мной.
Меня бы ни орел, ни ястреб не догнали,
Увидели б, как я черкнула... ай! ай! ай!»
И в когти к соколу попалась невзначай.

<1795>

ДВА ДРУГА

Давно уже, давно два друга где-то жили,
Одну имели мысль, одно они любили
И каждый час
Друг с друга не спускали глаз;
Все вместе; только ночь одна их разводила;
Но нет, и в ночь душа с душою говорила.
Однажды одному приснился страшный сон;
Он вмиг из дому вон,
Бежит встревоженный ко другу
И будит. Тот вскочил.
«Какую требуешь услугу? —
Смутясь, он говорил.—
Так рано никогда мой друг не пробуждался!
Что значит твой приход? Иль в карты проигрался?
Вот вся моя казна! Иль кем ты огорчен?
Вот шпага! Я бегу — умру иль ты отмщен!»
— «Нет, нет, благодарю; ни это, ни другое,—
Друг нежный отвечал,— останься ты в покое:
Проклятый сон всему виной!
Мне снилось на заре, что друг печален мой,
И я... я столько тем смутился,
Что тотчас пробудился
И прибежал к тебе, чтоб успокоить дух».

Какой бесценный дар — прямой, сердечный друг!
Он всякие к твоей услуге ищет средства:
Отгадывает грусть, предупреждает бедства;
Его безделка, сон, ничто приводит в страх,
Друг в сердце, друг в уме — и он же на устах!

<1795>

ДУБ И ТРОСТЬ

Дуб с Тростию вступил однажды в разговоры:
«Жалею,— Дуб сказал, склоня к ней важны
взоры,—
Жалею, Тросточка, об участи твоей!
Я чаю, для тебя тяжел и воробей;
Легчайший ветерок, едва струящий воду,
Ужасен для тебя, как буря в непогоду,
И гнет тебя к земли,
Тогда как я — высок, осанист и вдали
Не только Фебовы лучи пересекаю,
Но даже бурный вихрь и громы презираю;
Стою и слышу вкруг спокойно треск и стон;
Все для меня Зефир, тебе ж все Аквилон.
Блаженна б ты была, когда б росла со мною:
Под тению моей густою
Ты б не страшилась бурь; но рок тебе судил
Расти, наместо злачна дола,
На топких берегах владычества Эола,
По чести, и в меня твой жребий грусть вселил».
— «Ты очень жалостлив,— Трость Дубу отвечала;
Но, право, о себе еще я не вздыхала,
Да не о чем и воздыхать:
Мне ветры менее, чем для тебя, опасны.
Хотя порывы их ужасны
И не могли тебя досель поколебать,
Но подождем конца».— С сим словом вдруг завыла
От севера гроза и небо помрачила;
Ударил грозный ветр — все рушит и валит,
Летит, кружится лист; Трость гнется — Дуб стоит.
Ветр, пуще воружась, из всей ударил мочи —
И тот, на коего с трудом взирали очи,
Кто ада и небес едва не досягал,—
Упал!

<1795>

ОРЕЛ, КИТ, УЖ И УСТРИЦА

Орел парил под облаками,
Кит волны рассекал, а Уж полз по земли;
И все, что редкость между нами,
О том и думать не могли,
Чтоб позавидовать чужой на свете доле.
Однако говорить и мыслить в нашей воле,
И Устрица моя нимало не винна,
Что, глядя на того, другого,
Восстала на судьбу она.
«Возможно ль! — думает,— неужель никакого
Таланта не дано лишь только мне одной?
Дай полечу и я!.. Нет, это дар не мой;
Дай поплыву!» — Все и́дет хило.
«Хоть поползем».— Не тут-то было!
А что и этого досаднее сто раз:
Подкрался водолаз,
Который, видно, что подслушал,
Схватил ее, да в рот, и на здоровье скушал.

Вот так-то весь наш век
В пустых желаньях погибает,
И редкий человек
Доволен участью бывает.
«Изрядно, но... авось и лучшее найду!»
А смотришь: и нашел беду!

<1795>

ЛАСТОЧКА И ПТИЧКИ

Летунья Ласточка и там и сям бывала,
Про многое слыхала,
И многое видала,
А потому она
И боле многих знала.
Пришла весна,
И стали сеять лен. «Не по сердцу мне это! —
Пичужечкам она твердит.—
Сама я не боюсь, но вас жаль; придет лето,
И это семя вам напасти породит;
Произведет силки и сетки,

И будет вам виной
Иль смерти, иль неволи злой;
Страшитесь вертела и клетки!
Но ум поправит все, и вот его совет:
Слетитесь на загон и выклюйте все семя».
— «Пустое! — рассмеясь, вскричало мелко племя.—
Как будто нам в полях другого корма нет!»
Чрез сколько дней потом, не знаю,
Лен вышел, начал зеленеть,
А птичка ту же песню петь.
«Эй, худу быть! еще вам, птички, предвещаю:
Не дайте льну созреть;
Вон с корнем! или вам придет дождаться лиха!»
— «Молчи, зловещая вралиха! —
Вскричали птички ей.—
Ты думаешь, легко выщипывать все поле!»
Еще прошло десяток дней,
А может, и гораздо боле,
Лен вырос и созрел.
«Ну, птички, вот уж лен поспел;
Как хочете меня зовите,—
Сказала Ласточка,— а я в последний раз
Еще пришла наставить вас:
Теперь того и ждите,
Что пахари начнут хлеб с поля убирать,
А после с вами воевать:
Силками вас ловить, из ружей убивать
И сетью накрывать;
Избавиться такого бедства
Другого нет вам средства,
Как дале, дале прочь. Но вы не журавли,
Для вас ведь море край земли;
Так лучше ближе приютиться,
Забиться в гнездышко, да в нем не шевелиться».
— «Пошла, пошла! других стращай
Своим ты вздором!—
Вскричали пташечки ей хором.—
А нам гулять ты не мешай».
И так они в полях летали да летали,
Да в клетку и попали.
Всяк только своему рассудку вслед идет;
А верует беде не прежде, как придет.

<1797>

ШАРЛАТАН

Однажды Шарлатан во весь горланил рот:
«Ступай ко мне, народ!
Смотри и покупай: вот порошок чудесный!
Он ум дает глупцам,
Невеждам — знание, красоток — старикам,
Старухам — прелести, достоинства — плутам,
Невинность — преступленью;
Вот первый способ к полученью
Всех благ, какие нас удобны только льстить!
Поверьте, говорю неложно,
Чрез этот порошок возможно
На свете все достать, все знать и все творить;
Глядите!» — И народ стекается толпами.
Ведь любопытство не порок!
Бегу и я... но что ж открылось перед нами?
В бумажке — золотой песок.

<1797>

КОКЕТКА И ПЧЕЛА

Прелестная Лизета
Лишь только что успела встать
С постели роскоши, дойти до туалета
И дружеский совет начать
С поверенным всех чувств, желаний,
Отрад, веселья и страданий,
С уборным зеркалом,— вдруг страшная Пчела
Вокруг Лизеты зажужжала!
Лизета обмерла,
Вскочила, закричала:
«Ах, ах! мисс Женни, поскорей!
Параша, Дунюшка!» — Весь дом сбежался к ней;
Но поздно! ни любовь, ни дружество, ни злато —
Ничто не отвратит неумолимый рок!
Чудовище крылато
Успело уже сесть на розовый роток,
И Лиза в обморок упала.

«Не дам торжествовать тебе над госпожой!»—
Вскричала Дунюшка и смелою рукой
В минуту Пчелку поймала;
А пленница в слезах, в отчаяньи жужжала:
«Клянуся Флорою! хотела ли я зла?
Я аленький роток за розу приняла».
Столь жалостная речь Лизету воскресила.
«Дуняша!— говорит Лизета.— Жаль Пчелы;
Пусти ее; она почти не уязвила».

Как сильно действует и крошечка хвалы!

<1797>

ЖЕЛАНИЯ

Сердися Лафонтен иль нет,
А я с ним не могу расстаться.
Что делать? Виноват, свое на ум нейдет,
Так за чужое приниматься.
Слыхали ль вы когда от нянек об духах,
Которых запросто зовем мы домовыми?
Как не слыхать! детей всегда стращают ими;
Они во всех странах
Живут между людей, неся различны службы,—
Без всякой платы, лишь из дружбы;
Кто правит кухнею, кто холит лошадей;
Иные берегут людей
От злого глаза и уроков,
И все имеют дар пророков.
Один из тех духов
Был в Индии у мещанина
Хранителем его садов;
Он госпожу и господина
Любил не меньше, чем родных;
Всегда, бывало, их
Своим усердьем утешает
И в упражненьи всякий час:
То мирточки садит, то лучший ананас
К столу хозяев выбирает.
Хозяям клад был гость такой!
Но доброе всегда непрочно;
Не знаю точно,

Что было этому виной —
Политика или товарищей коварство,—
Вдруг от начальника приказ ему лихой
Лететь в другое государство;
Куда ж? сказать ли вам,
Сердца чувствительны и нежны?
Из мест, где счета нет цветам,
Из вечного тепла — в сугробы, в горы снежны,
На край Норвегии! Вдруг из индейца будь
Лапландец! Так и быть, слезами не поправить,
А только лишь надсадишь грудь.
«Прощайте, господа! Мне должно вас оставить!—
Со вздохом добрый дух хозяйвам говорил.—
Я здесь уж отслужил;
Наш князь указ наслал, предписывает строго
Лететь на север мне. Хоть грустно, но лететь!
Недолго, милые, уже на вас глядеть:
С неделю, месяц много.
Что мне оставить вам за вашу хлеб и соль,
В знак моего признанья?
Скажите: я могу исполнить три желанья».
Известен человек: просить чего?— изволь,
Сейчас готовы крылья.
«Ах! изобилья, изобилья!»—
Вскричали в голос муж с женой.
И изобилие рекой
На дом их полилося:
В шкатулы золотом, в амбары их пшеном,
А в выходы вином;
Верблюдов табуны,— откуда что взялося!
Но сколько ж и забот прибавилося с тем!
Легко ли усмотреть за всем,
Все счесть, все записать? Минуты нет покоя:
В день доброхотов угощай,
Тому в час добрый в долг, другому так давай,
А в ночь дрожи и жди разбоя.
«Нет, Дух!— они кричат,— возьми свой дар назад;
С богатством не житье, а вживе сущий ад!
Приди, спокойствия подруга неизменна,
Наставница людей,
Посредственность бесценна!
Приди и возврати нам счастье прежних дней!..»
Она пришла, и два желания свершились,

Осталось третье объявить:
Подумали они и наконец решились
Благоразумия просить,
Которое во всяко время —
Нигде и никому не в бремя.

<1797>

СОВЕСТЬ

Не тигр, а человек — и сын убил... отца!
Убил, но никому не ведомо то было;
Однако ж сердце в нем уныло,
Завянул цвет лица,
Стал робок, одичал и наконец сокрылся
В дремучие леса.
Однажды между тем как он бродил, томился,
Попалося ему в глаза
Воробышков гнездо; он подобрал каменья
И начал в них лукать.
Прохожий, видя то и выйдя из терпенья,
Кричит ему: «Почто невинных убивать?» —
«Как! — он ответствует, — легка ли небылица?
Проклятые кричат, что я отцеубийца!»
Прохожий на него бросает строгий взор;
Он весь трясется и бледнеет;
Злодейство на челе час от часу яснеет;
Винится, и вкусил со смертию позор.

О совесть! добрых душ последняя подруга!
Где уголок земного круга,
Куда бы не проник твой глас?
Неумолимая! везде найдешь ты нас.

<1798>

МАГНИТ И ЖЕЛЕЗО

Природу одолеть превыше наших сил:
Смиримся же пред ней, не умствуя нимало.
«Зачем ты льнешь?» — Магнит Железу говорил.
«Зачем влечешь меня?» — Железо отвечало.

Прелестный, милый пол! чем кончу я рассказ,
Легко ты отгадаешь;
Подобно так и ты без умысла прельщаешь;
Подобно так и мы невольно любим вас.

<1800>

ПЕТУХ, КОТ И МЫШОНОК

О, дети, дети! как опасны ваши лета!
Мышонок, не видавший света,
Попал было в беду, и вот как он об ней
Рассказывал в семье своей:
«Оставя нашу нору
И перебравшись через гору,
Границу наших стран, пустился я бежать,
Как молодой мышонок,
Который хочет показать,
Что он уж не ребенок.
Вдруг с ро́змаху на двух животных набежал:
Какие звери, сам не знал;
Один так смирен, добр, так плавно выступал,
Так миловиден был собою!
Другой нахал, крикун, теперь лишь будто с бою;
Весь в перьях; у него косматый крюком хвост;
Над самым лбом дрожит нарост
Какой-то огненного цвета,
И будто две руки, служащи для полета;
Он ими так махал
И так ужасно горло драл,
Что я таки не трус, а подавай бог ноги —
Скорее от него с дороги.
Как больно! Без него я, верно, бы в другом
Нашел наставника и друга!
В глазах его была написана услуга;
Как тихо шевелил пушистым он хвостом!
С каким усердием бросал ко мне он взоры,
Смиренны, кроткие, но полные огня!
Шерсть гладкая на нем, почти как у меня;
Головка пестрая, и вдоль спины узоры;
А уши как у нас, и я по ним сужу,
Что у него должна быть симпати́я с нами,
Высокородными мышами».

— «А я тебе на то скажу,—
Мышонка мать остановила,—
Что этот доброхот,
Которого тебя наружность так прельстила,
Смиренник этот... Кот!
Под видом кротости он враг наш, злой губитель;
Другой же был Петух, миролюбивый житель.
Не только от него не видим мы вреда
Иль огорченья,
Но сам он пищей нам бывает иногда.
Вперед по виду ты не делай заключенья».

1802

ЦАРЬ И ДВА ПАСТУХА

Какой-то государь, прогуливаясь в поле,
Раздумался о царской доле.
«Нет хуже нашего,— он мыслил,— ремесла!
Желал бы делать то, а делаешь другое!
Я всей душой хочу, чтоб у меня цвела
Торговля; чтоб народ мой ликовал в покое;
А принужден вести войну
Чтоб защищать мою страну.
Я подданных люблю, свидетели в том боги,
А должен прибавлять еще на них налоги;
Хочу знать правду — все мне лгут.
Бояра лишь чины берут,
Народ мой стонет, я страдаю,
Советуюсь, тружусь, никак не успеваю;
Полсвета властелин — не веселюсь ничем!»
Чувствительный монарх подходит между тем
К пасущейся скотине;
И что же видит он? рассыпанных в долине
Баранов, тощих до костей,
Овечек без ягнят, ягнят без матерей!
Все в страхе бегают, кружатся,
А псам и нужды нет: они под тень ложатся;
Лишь бедный мечется Пастух:
То за бараном в лес во весь он мчится дух,
То бросится к овце, которая отстала,
То за любимым он ягненком побежит,
А между тем уж волк барана в лес тащит;
Он к ним, а здесь овца волчихи жертвой стала.

Отчаянный Пастух рвет волосы, ревет,
Бьет в грудь себя и смерть зовет.
«Вот точный образ мой,— сказал самовластитель,—
Итак, и смирненьких животных охранитель
Такими ж, как и мы, напастьми окружен,
И он, как царь, порабощен!
Я чувствую теперь какую-то отраду».
Так думая, вперед он путь свой продолжал,
Куда? и сам не знал;
И наконец пришел к прекраснейшему стаду.
Какую разницу монарх увидел тут!
Баранам счету нет, от жира чуть идут;
Шерсть на овцах как шелк и тяжестью их клонит;
Ягнятки, кто кого скорее перегонит,
Толпятся к маткиным питательным сосцам;
А Пастушок в свирель под липою играет
И милую свою пастушку воспевает.
«Несдобровать, овечки, вам!—
Царь мыслит.— Волк любви не чувствует закона,
И Пастуху свирель худая оборона».
А волк и подлинно, откуда ни возьмись,
Во всю несется рысь;
Но псы, которые то стадо сторожили,
Вскочили, бросились и волка задавили;
Потом один из них ягненочка догнал,
Который далеко от страха забежал,
И тотчас в кучку всех по-прежнему собрал;
Пастух же все поет, не шевелясь нимало.
Тогда уже в царе терпения не стало.
«Возможно ль?— он вскричал.— Здесь множество волков,
А ты один... умел сберечь большое стадо!»—
«Царь!— отвечал Пастух,— тут хитрости не надо:
Я выбрал *добрых* псов».

1802

ЛЕТУЧАЯ РЫБА

Есть рыбы, говорят, которые летают!
Не бойтесь: я хочу не Плиния читать,
А только вам сказать,
Что и у рыб бывают
Такие ж мудрецы и трусы, как у нас;

Вот и пример для вас.
Одна из рыб таких и день и ночь грустила
И бабушке своей твердила:
«Ах, бабушка! Куда от злобы мне уйти?
Гонение и смерть повсюду на пути!
Лишь только я летать, орлы клюют носами;
Нырну в глубь моря, там встречаема волками!»
Старуха ей в ответ:
«Что делать, дитятко! Таков стал ныне свет!
Кому не суждено орлом быть или волком,
Тому один совет, чтоб избежать беды:
Держись всегда своей тропинки тихомолком,
Плывя *близ* воздуха, летая *близ* воды».

<1802>

КАРЕТНЫЕ ЛОШАДИ

Две лошади везли карету;
Осел, увидя их, сказал:
«С какою завистью смотрю на пару эту!
Нет дня, чтоб где-нибудь ее я не встречал;
Всё вместе: видно, очень дружны!»
— «Дурак, дурак! при всей длине своих ушей,—
Сказала вслед ему одна из лошадей,—
Ты только лишь глядишь на признаки наружны;
Диковинка ль всегда в упряжке быть одной,
А розно жить душой?
Увы! не нам чета живут на нас похоже!»

Вчера мне Хлоин муж шепнул в собраньи то же.

1802

ЗМЕЯ И ПИЯВИЦА

«Как я несчастна!
И как завидна часть твоя!—
Однажды говорит Пиявице Змея.—
Ты у людей в чести, а я для них ужасна;
Тебе охотно кровь они свою дают;
Меня же все бегут и, если могут, бьют;

А кажется, равно мы с ними поступаем:
И ты и я людей кусаем».
— «Конечно!— был на то пиявицын ответ.—
Да в цели нашей сходства нет:
Я, например, людей к их пользе уязвляю,
А ты для их вреда;
Я множество больных чрез это исцеляю,
А ты и не больным смертельна завсегда.
Спроси самих людей: все скажут, что я пра́ва;
Я им лекарство, ты отрава».

Смысл этой басенки встречается тотчас:
Не то ли Критика с Сатирою у нас?

<1803>

МЫШЬ, УДАЛИВШАЯСЯ ОТ СВЕТА

Восточны жители, в преданиях своих,
Рассказывают нам, что некогда у них
Благочестива Мышь, наскуча суетою,
Слепого счастия игрою,
Оставила сей шумный мир
И скрылась от него в глубокую пещеру:
В голландский сыр.
Там, святостью одной свою питая веру,
К спасению души, трудиться начала:
Ногами
И зубами
Голландский сыр скребла, скребла
И выскребла досужным часом
Изрядну келейку с достаточным запасом.
Чего же более? В таких-то Мышь трудах
Разъелась так, что страх!
Короче — на пороге рая!
Сам бог блюдет того,
Работать миру кто отрекся для него.
Однажды пред нее явилось, воздыхая,
Посольство от ее любезных земляков;
Оно идет просить защиты от дворов
Противу кошечья народа,

Который вдруг на их республику напал
И Крысополис их в осаде уж держал.
«Всеобща бедность и невзгода,—
Посольство говорит,— причиною, что мы
Несем пустые лишь сумы;
Что было с нами, все проели,
А путь еще далек! И для того посмели
Зайти к тебе и бить челом
Снабдить нас в крайности посильным подаянье
Затворница на то, с душевным состраданьем
И лапки положа на грудь свою крестом,
«Возлюбленны мои!— смиренно отвечала.—
Я от житейского давно уже отстала;
Чем, грешная, могу помочь?
Да ниспошлет вам бог! А я и день и ночь
Молить его за вас готова».
Поклон им, заперлась, и более ни слова.

Кто, спрашиваю вас, похож на эту Мышь?
Монах?— Избави бог и думать!.. Нет, дервиш.

<1803>

ОСЕЛ, ОБЕЗЬЯНА И КРОТ

Не диво ли? Осел вдруг ипохондрик стал!
Зарюмил, зарычал,
Зачем неправосудны боги
Быкам крутые дали роги?
А он рожден без них, а он без них умрет!
Дурак дурацкое и врет;
Он, видно, думал, что в народе
Рога в великой моде.
Как Обезьяну нам унять,
Чтоб ей чего не перенять?
Ну, и она богам пенять:
Зачем, к ее стыду, печали,
Они ей хвост короткий дали?
«А я и слеп! Зажмите ж рот!»—
Сказал им, высунясь из норки, бедный Крот.

<1803>

ДРЯХЛАЯ СТАРОСТЬ

«Возможно ли, как в тридцать лет
Переменилось все!.. ей-ей, другой стал свет!—
Подагрик размышлял, на креслах нянча ногу.—
Бывало в наши дни и помолиться богу,
И погулять — всему был час;
А ныне... что у нас?
Повсюду скука и заботы,
Не пляшут, не поют — нет ни к чему охоты!
Такая ль в старину бывала и весна?
Где ныне красны дни? где слышно птичек пенье?
Охти мне! знать, пришли последни времена;
Предвижу я тсее, природа, разрушенье!..»
При этом слове вдруг, с восторгом на лице,
Племянница к нему вбежала.
«Простите, дядюшка! нас матушка послала
С мадамой в Летний сад. Все, все уж на крыльце,
Какой же красный день!»— И вмиг ее не стало.
«Какая ветреность! Вот модные умы!—
Мудрец наш заворчал.— Такими ли бывало
Воспитывали нас? Мой бог! все хуже стало!»

Читатели! подагрик — мы.

<1803>

ПРИДВОРНЫЙ И ПРОТЕЙ

Издавна говорят, что будто царедворцы
Для польз отечества худые ратоборцы;
А я в защиту их скажу, что в старину
Придворный именно спас целую страну.
А вот как это и случилось.
Был мор; из края в край все царство заразилось;
И раб, и господин, и поп, лейб-медик сам —
Все мрет; а срок бедам
Зависел от ума Протея.
Но кто к нему пойдет? Кривляка этот бог
И прытких делывал без ног,
Различны виды брать умея.
Из тысячи граждан один был только смел,
Хотя он при дворе возрос и поседел,

Идти на всякий страх, во что бы то ни стало.
Увидя рыцаря, Протей затрепетал,
И вмиг — как не бывал,
А выползла змея красивая, скрыв жало.
«Куда как мудрено! —
Сказал с усмешкою Придворный.—
Я ползать и колоть уж выучен давно».
И кинулся герой проворный
Ловить Протея. Тот вдруг обезьяной стал,
Там волком, там лисою.
«Не хвастайся передо мною!
И этому горазд!» — Придворный говорил,
А между тем его веревкою крутил;
Скрутя же, говорить его легко заставил
И целую страну от мора тем избавил.

<1803>

МОЛИТВЫ

В преддверьи храма
Благочестивый муж прихода ждал жреца,
Чтоб горстью фимиама
Почтить вселенныя творца
И вознести к нему смиренные обеты:
Он в море отпустил пять с грузом кораблей,
Отправил на войну любимых двух детей
В цветущие их леты
И ждал с часа на час от милыя жены
Любови нового залога.
Довольно и одной последния вины
К тому, чтоб вспомнить бога.
Увидя с улицы его, один мудрец
Зашел в преддверие и стал над ним смеяться.
«Возможно ль,— говорит,— какой ты образец?
Тебе ли с чернию равняться?
Ты умный человек, а веришь в том жрецам,
Что наше пение доходит к небесам!
Неведомый, кто сей громадой мира правит,
Кто взглядом может все творенье истребить,
Восхочет ли на то вниманье обратить,
Что неприметный червь его жужжаньем славит?
Подите прочь, ханжи, вы с ладаном своим!

Вы истинныя веры чужды.
Молитвы!.. нет тому в них нужды,
Кто мудрыми боготворим».
— «Постой!— здесь набожный его перерывает.—
Не истощай ты сил своих!
Что богу нужды нет в молитвах, всякий знает,
Но можно ль нам прожить без них?»

<1803>

НИЩИЙ И СОБАКА

Большой боярский двор Собака стерегла.
Увидя старика, входящего с сумою,
Собака лаять начала.
«Умилосердись надо мною!—
С боязнью, пóшептом бедняк ее молил,—
Я сутки уж не ел... от глада умираю!»
— «Затем-то я и лаю,—
Собака говорит,— чтоб ты накормлен был».

Наружность иногда обманчива бывает:
Иной как зверь, а добр; тот ласков, а кусает.

<1803>

КНИГА «РАЗУМ»

В начале мирозданья,
Когда собор богов,
Не требуя себе ни агнцев, ни цветов,
Всех тварей упреждал желанья,
В то время — слух дошел преданием до нас —
Юпитер в милостивый час
Дал книгу человеку,
Котора заменить могла библиотеку.
Титул ей: «Разум» — и она
Самой Минервою была сочинена
С той целью, чтобы в ней все возрасты узнали
Путь к добродетели и счастливее стали;
Однако ж в даре том небесном на земли
Немного прибыли нашли.
Читая сочиненье,

Младенчество одни в нем видело черты;
А юность — только заблужденье;
Век зрелый — поздно сожаленье;
А старость — выдрала листы.

<1803>

РУЖЬЕ И ЗАЯЦ

Трусливых наберешь немало
От скорохода до щенка;
Но Зайца никого трусливей не бывало:
Увидя он Ружье, которое лежало
В ногах у спящего стрелка,
Так испугался,
Что даже и бежать с душою не собрался,
А только сжался
И, уши на спину, моргая носом, ждет,
Что вмиг Ружье убьет.
Проходит полчаса — перун еще не грянул.
Прошел и час — перун молчит,
А Заяц веселей глядит;
Потом, поободрясь, воспрянул,
Бросает любопытный взгляд —
Прыжок вперед, прыжок назад —
И наконец к Ружью подходит.
«Так это,— говорит,— на Зайца страх наводит?
Посмотрим ближе... да оно
Как мертвое лежит, не говоря ни слова!
Ага! хозяин спит — так и Ружье равно
Бессильно, как лоза, без помощи другова».
Сказавши это, Заяц мой
В минуту стал и сам герой:
Храбрится и Ружье уж лапою толкает.
«Прочь, бедна тварь!— Ружье молчанье прерывает.—
Или не знаешь ты, что я, лишь захочу,
Сейчас тебя в ничто за дерзость превращу?
От грома моего и Лев победоносный,
И кровожадный Тигр со трепетом бегут;
Беги и ты, зверек несносный!
Иль молнии мои тебя сожгут».
— «Не так-то строго!—
От Зайца был Ружью ответ.—

Ведь ныне умудрился свет,
И между зайцами трусливых уж не много.
Ты страшно лишь в руках стрелка, а без него —
Ты ничего».

Ничто и ты, закон! — подумает читатель, —
Когда не бодрствует, но дремлет председатель.

1803

БАШМАК, МЕРКА РАВЕНСТВА

«Да что ты, долгий, возмечтал?
Я за себя и сам, брат, стану», —
Грудцою наскоча, вскричал
Какой-то карлик великану.

— «Твои, мои — права одни!
Не спорю, что равны они, —
Тот отвечает без задору, —
Но мой башмак тебе не впору».

<1803>

МУДРЕЦ И ПОСЕЛЯНИН

Как я люблю моих героев воспевать!
Не знаю, могут ли они меня прославить;
Но мне их тяжело оставить,
С животными я рад всечасно лепетать
И век мой коротать;
Люблю их общество! — Согласен я, конечно,
Есть и у них свой плут, сутяга и пролаз,
И хуже этого; но я чистосердечно
Скажу вам между нас:
Опасней тварей всех словесную считаю,
И плут за плута — я Лису предпочитаю!
Таких же мыслей был покойник мой земляк,
Не автор, ниже чтец, однако не дурак,
Честнейший человек, оракул всей округи.
Отец ли огорчен, размолвятся ль супруги,
Торгаш ли заведет с товарищем расчет,
Сиротка ль своего лишается наследства —
Всем нужда до его советов иль посредства.

Как важно иногда судил он у ворот
На лавке, окружен согласною семьею,
Детьми и внуками, друзьями и роднею!
«Ты прав! ты виноват!»— бывало, скажет он,
И этот приговор был силен, как закон;
И ни один не смел ни впрямь, ни стороною
Скрыть правды пред его почтенной сединою.
Однажды, помню я, имел с ним разговор
Проезжий моралист, натуры испытатель:
«Скажи мне,— он спросил,— какой тебя писатель
Наставил мудрости? Каких монархов двор
Открыл перед тобой все таинства правленья?
Зенона ль строгого держался ты ученья
Иль Пифагоровым последовал стопам?
У Эпикура ли быть счастливым учился
Или божественным Платоном озарился?»
— «А я их и не знал ниже по именам!—
Ответствует ему смиренно сельский житель.—
Природа мне букварь, а сердце мой учитель.
Вселенну населил животными творец;
В науке нравственной я их брал в образец;
У кротких голубков я перенял быть нежным;
У муравья — к труду прилежным
И на зиму запас копить;
Волом я научен терпенью;
Овечкою — смиренью;
Собакой — неусыпным быть;
А если б мы детей невольно не любили,
То куры бы меня любить их научили;
По мне же, так легко и всякого любить!
Я зависти не знаю;
Доволен тем, что есть,— богатый пусть богат,
Я бедного всегда как брата обнимаю
И с ним делиться рад;
Стараюсь наконец рассудка быть под властью,
И только,— вот и вся моя наука счастью!»

<1805>

МУХА

Бык с плугом на покой тащился по трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.

«Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит: «Откуда? — мы пахали!»

От басни завсегда
Нечаянно дойдешь до были.
Случалось ли подчас вам слышать, господа:
«*Мы* сбили! *Мы* решили!»

<1805>

ЛИСА-ПРОПОВЕДНИЦА

Разбитая параличом
И одержимая на старости подагрой
И хирагрой,
Всем телом дряхлая, но бодрая умом
И в логике своей из первых мастерица,
Лисица
Уединилася от света и от зла
И проповедовать в пустыню перешла.
Там кроткие свои беседы растворяла
Хвалой воздержности, смиренью, правоте;
То плакала, то воздыхала
О братии, в мирской утопшей суете;
А братий и всего на проповедь сбиралось
Пять-шесть наперечет;
А иногда случалось
И менее того, и то Сурок да Крот,
Да две-три набожные Лани,
Зверишки бедные, без связей, без подпор;
Какой же ожидать от них Лисице дани?
Но лисий дальновиден взор:
Она переменила струны;
Взяла суровый вид и бросила перуны
На кровожаждущих медведей и волков,
На тигров, даже и на львов!
Что ж? Слушателей тьма стеклася,
И слава о ее витийстве донеслася
До самого царя зверей,
Который, несмотря что он породы львиной,
Без шума управлял подвластною скотиной
И в благочестие вдался под старость дней.

«Послушаем Лису! — Лев молвил. — Что за диво?»
За словом вслед указ;
И в сутки, ежели не лживо
Историк уверяет нас,
Лиса привезена и проповедь сказала.
Какую ж проповедь! Из кожи лезла вон!
В тиранов гром она бросала,
А в страждущих от них дух бодрости вливала
И упование на время и закон.
Придворные оцепенели:
Как можно при дворе так дерзко говорить!
Друг на друга глядят, но говорить не смели,
Смекнув, что царь Лису изволил похвалить.
Как новость, иногда и правда нам по нраву!
Короче вам: Лиса вошла и в честь и славу;
Царь Лев, дав лапу ей, приветливо сказал:
«Тобой я истину познал
И боле прежнего гнушаться стал пороков;
Чего ж ты требуешь во мзду твоих уроков?
Скажи без всякого зазренья и стыда;
Я твой должник». Лиса глядь, глядь туда, сюда,
Как будто совести почувствуя улику.
«Всещедрый царь-отец! —
Ответствовала Льву с запинкой наконец. —
Индеек... *малую толику*».

<1805>

ОСЕЛ И КАБАН

Не знаю, отчего зазнавшийся Осел
Храбрился, что вражду с Кабаном он завел,
С которым и нельзя иметь ему приязни.
«Что мне Кабан! — Осел рычал. —
Сейчас готов с ним в бой без всякия боязни!»
— «Мне в бой с тобой? — Кабан с презрением сказал. —
Несчастный! Будь спокоен:
Ты славной смерти недостоин».

<1805>



5. И. Дмитриев

СЛЕПЕЦ И РАССЛАБЛЕННЫЙ

«И ты несчастлив!.. дай же руку!
Начнем друг другу помогать.
Ты скажешь: есть кому мне вздох мой передать;
А я скажу: мою он знает грусть и муку —
И легче будет нам».
Так говорил мудрец Востока,
И вот его же притча вам.
Два были нищие, и оба властью рока
Лишенны были средств купить трудами хлеб;
Один был слеп,
Другой расслабленный; желают смерти оба;
Но горемыки здесь как дара ждут и гроба:
На помощь к ним и смерть нейдет.
Расслабленный конца своим страданьям ждет
На голой мостовой, снося и жар и холод,
Всего же чаще голод
И нечувствительность румяных богачей.
Слепец равно терпел, или еще и боле:
Тот мог, хотя вдали, в день летний видеть поле;
А для него уж нет и солнечных лучей!
Вся жизнь глубока ночь, и скоро ль рассветает,
Увы! не знает.
Одной собачкой он был искренно любим,
Ласкаем и водим;
И ту какие-то злодеи не украли,
А нагло от его веревки отвязали
И увели с собой.
Слепец случайно очутился
На том же месте, где расслабленный томился;
Он слышит стон его, и сам пускает вздох.
«Товарищ!— говорит.— Несчастных сводит бог;
Нам должно побрататься,
Иметь одну суму
И вместе горевать. Не станем разлучаться!»
— «Согласен,— отвечал расслабленный ему,—
Но, добрая душа! какою мы подмогой
Друг другу можем быть? Ты слеп, а я безногой!
Что ж будем делать мы? еще тебе скажу».
— «Как? —подхватил слепец.— Ты зряч, а я хожу;
Так ты ссужай меня глазами,

А я с охотою ссужусь тебе ногами;
Ты за меня гляди, я за тебя пойду —
И будем каждый так служить в свою чреду».

<1805>

ОТЕЦ С СЫНОМ

«Скажите, батюшка, как счастия добиться?»—
Сын спрашивал отца. А тот ему в ответ:
«Дороги лучшей нет,
Как телом и умом трудиться,
Служа отечеству, согражданам своим,
И чаще быть с пером и книгой,
Когда быть дельными хотим».
— «Ах, это тяжело! как легче бы?»—«Интригой,
Втираться жабой и ужом
К тому, кто при дворе фортуной вознесется...»
— «А это низко!»—«Ну, так просто... быть глупцом:
И этак многим удается».

<1805>

ДОН-КИШОТ

Надсевшись Дон-Кишот с баранами сражаться,
Решился лучше их пасти
И жизнь невинную в Аркадии вести.
Проворным долго ль снаряжаться?
Обломок дротика пошел за посошок,
Котомкой с табаком мешок,
Фуфайка спальная пастушечьим камзолом,
А шляпу, в знак его союза с нежным полом,
У клюшницы своей соломенную взял
И лентой розового цвета
Под бледны щеки подвязал
Узлами в образе букета.
Спустил на волю кобеля,
Который к хлебному прикован был амбару;
Послал в мясном ряду купить баранов пару,
И стадо он свое рассыпал на поля
По первому морозу;
И начал воспевать зимой весенню розу.
Но в этом худа нет: веселому все в лад,

И пусть играет всяк любимою гремушкой;
А вот что невпопад:
Идет коровница — почтя ее пастушкой,
Согнул наш пастушок колена перед ней
И, размахнув руками,
Отборными словами
Пустился петь эклогу ей.
«Аглая!— говорит,— прелестная Аглая!
Предмет и тайных мук и радостей моих!
Всегда ли будешь ты, мой пламень презирая,
Лелеять и любить овечек лишь своих?
Послушай, милая! там, позади кусточков,
На дереве гнездо нашел я голубочков:
Прими в подарок их от сердца моего;
Я рад бы подарить любезную полсветом —
Увы! мне, кроме их, бог не дал ничего!
Они белы как снег, равны с тобою цветом,
Но сердце не твое у них!»
Меж тем как толстая коровница Аглая,
Кудрявых слов таких
Седого пастушка совсем не понимая,
Стоит разинув рот и выпуча глаза,
Ревнивый муж ее, подслушав селадона,
Такого дал ему туза,
Что он невольно лбом отвесил три поклона;
Однако ж головы и тут не потерял.
«Пастух — невежда!— он вскричал.—
Не смей ты нарушать закона!
Начнем пастуший бой:
Пусть победителя Аглая увенчает —
Не бей меня, но пой!»
Муж грубый кулаком вторичным отвечает,
И, к счастью, в глаз, а не в висок.
Тут нежный, верный пастушок,
Смекнув, что это въявь увечье, не проказа,
Чрез поле рысаком во весь пустился дух
И с этой стал поры не витязь, не пастух,
Но просто — дворянин без глаза.

Ах, часто и в себе я это замечал,
Что, глупости бежа, в другую попадал.

<1805>

ЧЕЛОВЕК И КОНЬ

Читатели! хотите ль знать,
Как лошадь нам покорна стала?
Когда семья людей за лакомство считала
Коренья, желуди жевать;
Когда еще не так, как ныне,
Не знали ни карет, ни шор, ни хомутов;
На стойлах не было коней, ни лошаков,
И вольно было жить, где хочешь, всей скотине,
В те времена Олень, поссорившись с Конем,
Пырнул его рогами.
Конь был и сам с огнем,
И мог бы отплатить, да на бегу ногами
Не так проворен, как Олень;
Гоняяся за ним напрасно, стал он в пень.
Что делать? Мщение от века
Пружина важная сердец;
И Конь прибегнул наконец
К искусству человека.
А тот и рад служить: скотину он взнуздал,
Вспрыгнул к ней на спину и столько рыси дал,
Что прыткий наш Олень в минуту стал их жертвой:
Настигнут, поражен и пал пред ними мертвый,
Тогда помощника она благодарит:
«Ты мой спаситель!— говорит,—
Мне не забыть того, пока жива я буду;
А между тем... уже невмочь моей спине,
Нельзя ль сойти с меня? Пора мне в степь отсюду!»
— «Зачем же не ко мне?—
Сказал ей Человек.— В степи какой ждать холи?
А у меня живи в опрятстве и красе
И по брюхо всегда в овсе».
Увы! что сладкий кус, когда нет милой воли!
Увидел бедный Конь и сам, что сглуповал,
Да поздно: под ярмом состарелся и пал.

<1805>

ПЧЕЛА И МУХА

«Здорово, душенька!— влетя в окно, Пчела
Так Мухе говорила.—
Сказать ли весточку? Какой я сот слепила!

Мой мед прозрачнее стекла;
И как душист! как сладок, вкусен!»
— «Поверю,— Муха ей ответствует,— ваш род
Природно в том искусен;
А я хотела б знать, каков-то будет плод,
Продлятся ли жары?»—«Да! что-то будет с медом?»
— «Ах! этот мед да мед, твоим всегдашним бредом!»
— «Да для того, что мед...»—«Опять? нет сил терпеть...
Какое малодушье!
Я, право, получу от слов твоих удушье».
— «Удушье? ничего! съесть меду да вспотеть,
И все пройдет: мой мед...»—«Чтоб быть тебе без жала!—
С досадой Муха ей сказала.—
Сокройся в улий свой, бралиха, иль молчи!»

О, эгоисты-рифмачи!

<1805>

ГОРЕСТЬ И СКУКА

Бедняк, не евши день, от глада
Лил слезы и вздыхал;
Богач от сытости скучал,
Зеваючи средь сада.
Кому тяжелее? Чтоб это разрешить,
Я должен мудреца здесь слово приложить:
От скуки самое желанье отлетает,
А горести слезу надежда отирает.

<1805>

ТРИ ЛЬВА

Его величество, Лев сильный, царь зверей,
Скончался.
Народ советовать собрался,
Кого б из трех его детей
Признать наследником короны.
«Меня!— сын старший говорил.—
Я сделаю народ наперсником Беллоны».

— «А я обогащу»,— середний подхватил.
«А я б его любил»,—
Сказал меньшой с невинным взором.
И тут же наречен владыкой всем собором.

<1805>

ВОРОБЕЙ И ЗЯБЛИЦА

«Умолк Соловушка! Конечно, бедный, болен
Или подружкой недоволен,
А может, и несчастлив в ней!
Мне жалок он!»— сказал печально Воробей.
«Он жалок?— Зяблица к словам его пристала.—
Как мало в сердце ты читал!
Я лучше отгадала:
Любил он, так и пел; стал счастлив — замолчал».

<1805>

МЕСЯЦ

Настала ночь, и скрылся образ Феба.
«Утешьтесь!— месяц говорит.—
Мой луч не менее горит;
Смотрите: я взошел и свет лию к вам с неба!»

Пусть переводчики дадут ему ответ:
«Как месяц ни свети, но все не солнца свет».

<1805>

ДВЕ ЛИСЫ

Вчера подслушал я, две разных свойств Лисицы
Такой имели разговор:
«Ты ль это, кумушка! давно ли из столицы?»
— «Давно ль оставила я двор?
С неделю».—«Как же ты разъелась, подобрела!
Знать, при дворе у Льва привольное житье?»
— «И очень! Досыта всего пила и ела».
— «А в чем там ремесло главнейшее твое?»
— «Безделица! с утра до вечера таскаться;

Где такнуть, где польстить, пред сильным унижаться,
И больше ничего».—«Какое ремесло!»
— «Однако ж мне оно довольно принесло:
Чин, место».—«Горький плод! Чины не возвышают,
Когда их подлости ценою покупают».

<1805>

СУП ИЗ КОСТЕЙ

«О времена! о времена!—
Собака, выходя из кухни, горько выла.—
Прощайся и с костьми! будь вечно голодна
И околей за то, что с верностью служила!
Вот дождались каких мы дней!
Безвременная смерть! уж нет нам и костей!»
— «Да где ж они?»— вопрос ей сделала другая,
Собака пожилая,
Прикованна подле ворот.
«В котле, да не для нас, а для самих господ:
Какой-то выдумщик, злодей собачью роду,
И верно уж француз, пустил и кости в моду!
Он выдумал из них дешевый суп варить
И хочет им людей кормить;
А нам уже ни кости!
Я тресну с голода и злости!»
— «А мой совет,— сказал на привязи мудрец,—
В молчании терпеть, пока судьба сурова!
Ведь этот случай нам не первый образец:
Большой всегда на счет меньшова».

<1805>

ДВА ВЕЕРА

В гостиной на столе два Веера лежали;
Не знаю я, кому они принадлежали,
А знаю, что один был в блестках, нов, красив;
Другой изломан весь и очень тем хвастлив.
«Чей Веер?» — он спросил соседа горделиво.
«Такой-то»,— сей ему ответствует учтиво.
«А я,— сказал хвастун,— красавице служу,
И как же ей служу! Смотри: нет кости целой!

Лишь чуть к ней подлетит молодчик с речью смелой
А я его и хлоп! короче, я скажу
Без всякого, поверь мне, чванства
И прочим не в укор,
Что каждый мой махор
Есть доказательство Ветраны постоянства».
— «Не лучше ли, ее кокетства и жеманства?—
Сосед ему сказал: — Розалии моей
Довольно бросить взгляд, и все учтивы к ней».

<1805>

АМУР, ГИМЕН И СМЕРТЬ

Амур, Гимен со Смертью строгой
Когда-то шли одной дорогой
Из света по своим домам
И вздумалося молодцам
Втащить старуху в разговоры.
«Признайся,— говорят,— ты, Смерть, не рада нам?
Ты ненавидишь нас?» — «Я? — вытаращa взоры,
Спросила Смерть их.— Да за что?»
— «Ну, как за что! за то,
Что мы в намереньях согласны не бываем:
Ты все моришь, а мы рождаем».
— «Пустое, братцы! — Смерть сказала им в ответ.—
Я зла на вас?.. Перекреститесь!
Людьми снабжая свет,
Вы для меня ж трудитесь».

<1805>

ЧЕЛОВЕК И ЭХО

Ругатель, клеветник на Эхо был сердит,
Зачем, кого он ни поносит,
О ком ни говорит,
Оно везде разносит.
«Чтоб гром пришиб,— кричал в досаде клеветник,—
У Эхо злой язык!

Возможно ли? Скажи ты слово,
Уже оно тотчас готово
За мною повторить
И новых на меня врагов вооружить.
Теперь ни в клевете, ни в брани нет успеха:
Никто не слушает меня, и все от Эхо!»
— «Напрасно ты меня винишь,—
С усмешкой Эхо возразило.—
Не хочешь ты, чтоб я слова твои твердило,
Зачем же говоришь?»

<1805>

ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА

«Кто равен мне? Солдат, любовник, сочинитель,
И сторож, и министр, и алтарей служитель,
И доктор, и больной, и самый государь —
Все чувствуют, что я важней, чем календарь!
Я каждому из них минуты означаю;
Деля и день и ночь, я время измеряю!»
Так, видя на нее зевающий народ,
Хвалилась Стрелка часовая,
Меж тем как бедная пружина, продолжая
Невидимый свой путь, давала Стрелке ход!

Пружина — секретарь; а Стрелка, между нами...
Но вы умны: смекайте сами.

<1805>

ЛЕВ И КОМАР

«Прочь ты, подлейший гад, навоза порожденье!» —
Лев гордый Комару сказал.
«Потише! — отвечал Комар ему,— я мал,
Но сам не меньше горд, и не снесу презренье!
Ты царь зверей,
Согласен;
Но мне нимало не ужасен:
Я и Быком верчу, а он тебя сильней».
Сказал и, став трубач, жужжит повестку к бою;
Потом с размашкою, приличною герою,

Встряхнулся, полетел и в шею Льву впился:
У Льва глаз кровью налился;
Из пасти пена бьет; зубами он скрежещет,
Ревет, и все вокруг уходит и трепещет!
От Комара всеобщий страх!
Он в тысяче местах,
И в шею, и в бока, и в брюхо Льва кусает,
И даже в глубь ноздри влетает!
Тогда несчастный Лев, в страданьи выше сил,
Как бешеный, вкруг чресл хвостом своим забил
И начал грызть себя; потом... лишившись мочи,
Упал, и грозные навек смыкает очи,
Крылатый богатырь тут пуще зажужжал
И всюду разглашать о подвигах помчался;
Но скоро сам попал
В засаду к Пауку и с жизнию расстался.

Увы! в юдоли слез неверен каждый шаг;
От злобы, от беды когда и где в покое?
Опасен *крупный* враг,
А *мелкий* часто вдвое.

<1805>

КОТ, ЛАСТОЧКА И КРОЛИК

Случилось Кролику от дома отлучиться,
Иль лучше: он пошел Авроре поклониться
На тмине, вспрыснутом росой.
Здоров, спокоен и на воле,
Попрыгав, пощипав муравки свежей в поле,
Приходит Кроличек домой,
И что же? — чуть его не подкосились ноги!
Он видит: Ласточка расставливает там
Своих пенатов по углам!
«Во сне ли я иль нет? Страннoприимны боги!» —
Изгнанник возопил
Из отческого дома.
«Что надобно?» — вопрос хозяйки новой был.
«Чтоб ты, сударыня, без грома
Скорей отсюда вон! — ей Кролик отвечал.—
Пока я всех мышей на помощь не призвал».

— «Мне выйти вон? — она вскричала.—
Вот прекрасно!
Да что за право самовластно?
Кто дал тебе его? И стоит ли войны
Нора, в которую и сам ползком ты входишь?
Но пусть и царство будь: не все ль мы здесь равны?
И где, скажи мне, ты находишь,
Что бог, создавши свет, его размежевал?
Бог создал Ласточку, тебя и Дромадера;
А землемера
Отнюдь не создавал.
Кто ж боле права дал на эту десятину
Петрушке Кролику, племяннику иль сыну
Филата, Фефела, чем Карпу или мне?
Пустое, брат! земля всем служит наравне;
Ты первый захватил — тебе принадлежала;
Ты вышел — я пришла, моею норка стала».
Петр Кролик приводил в довóд
Обычай, *давность*. «Их законом,—
Он утверждал,— введен в владение наш род
Бесспорно этим домом,
Который Кроликом Софроном
Отказан, справлен был за сына своего
Ивана Кролика; по смерти же его
Достался, в силу права,
Тож сыну, именно мне, Кролику Петру;
Но если думаешь, что вру,
То отдадим себя на суд мы Крысодава».
А этот Крысодав, сказать без многих слов,
Был постный, жирный Кот, муж свят из всех котов,
Пустынник набожный средь света
И в казусных делах оракул для совета.
«С охотой!» — Ласточка сказала. И потом
Пошли они к Коту. Приходят, бьют челом
И оба говорят: «Помилуй!» — «Рассудите!..»
— «Поближе, детушки,— их перервал судья,—
Не слышу я,
От старости стал глух; поближе подойдите!»
Они подвинулись, и вновь ему поклон;
А он
Вдруг обе лапы врознь, царап того, другова,
И вмиг их примирил,

Не вымолвя ни слова:
Задавил.
Не то же ль иногда бывает с корольками,
Когда они в своих делишках по землям
Не могут примириться сами,
А прибегают к королям?

<1805>

ЛЕБЕДЬ И ГАГАРЫ

За то, что Лебедь так и бел и величав,
Гагары на него из зависти напали
И крылья, тиной замарав,
Вкруг Лебедя теснясь, нарочно отряхали
И брызгами его марали!
Но Лебедю вреда не сделали оне!
Он в воду погрузился
И в прежней белизне
С величеством явился.

Гагары в прозе и стихах!
Возитесь как хотите,
Но, право, истинный талант не помрачите;
Удел его: сиять в веках.

<1805>

ОРЕЛ И ЗМЕЯ

Орел из области громов
Спустился отдохнуть на луг среди цветов
И встретил там Змею, ползущую по праху.
Завистливая тварь
Шипит и на Орла кидается с размаху.
Что ж делает пернатых царь?
Бросает гордый взгляд и к солнцу возлетает.

Так Гений своему хулителю отмщает.

1805

СМЕРТЬ И УМИРАЮЩИЙ

Один охотник жить, не старее ста лет,
Пред Смертию дрожит и во́пит,
Зачем она его торопит
Врасплох оставить свет,
Не дав ему свершить, как водится, духовной,
Не предваря его хоть за год наперед,
Что он умрет.
«Увы! — он говорит,— а я лишь в подмосковной
Палаты заложил; хотя бы их докласть;
Дай винокуренный завод мой мне поправить
И правнуков женить! а там... твоя уж власть!
Готов, перекрестясь, я белый свет оставить».
— «Неблагодарный! — Смерть ответствует ему.—
Пускай другие мрут в весеннем жизни цвете;
Тебе бы одному
Не умирать на свете!
Найдешь ли двух в Москве,— десятка даже нет
Во всей империи, доживших до ста лет.
Ты думаешь, что я должна бы приготовить
Заранее тебя к свиданию со мной:
Тогда бы ты успел красивый дом достроить,
Духовную свершить, завод поправить свой
И правнуков женить; а разве мало было
Наветок от меня? Не ты ли поседел?
Не ты ли стал ходить, глядеть и слышать хило?
Потом пропал твой вкус, желудок ослабел,
Увянул цвет ума и память притупилась;
Год от году хладела кровь,
В день ясный средь цветов душа твоя томилась,
И ты оплакивал и дружбу и любовь.
С которых лет уже отвсюду поражает
Тебя печальна весть: тот сверстник умирает,
Тот умер, этот занемог
И на одре мученья?
Какого ж более хотел ты извещенья?
Короче: я уже ступила на порог,
Забудь и горе и веселье;
Исполни мой устав!» —
Сказала — и Старик, не думав, не гадав
И не достроя дом, попал на новоселье!!

Смерть пра́ва: во сто лет отсрочки поздно ждать;
Да как бы в старости страшиться умирать?
Дожив до поздних дней, мне кажется, из мира
Так должно выходить, как гость отходит с пира,
Отдав за хлеб и соль хозяину поклон.
Пути не миновать, к чему ж послужит стон?
Ты сетуешь, старик?! Взгляни на ратно поле:
Взгляни на юношей, на этот милый цвет,
Которые летят на смерть по доброй воле,
На смерть прекрасную, сомнения в том нет,
На смерть похвальную, везде превозносиму,
Но часто тяжкую, притом неизбежиму!..
Да что! я для глухих обедню вздумал петь:
Полмертвый пуще всех боится умереть!

<1805>

СЛОН И МЫШЬ

Как ни велик и силен Слон,
Однако же и он
Поиман мудростью людскою:
Превосходительный тяжелою стопою
Ступил по хворосту — и провалился в ров.
Чрез час потом и Мышь подверглась той же доле.
Но Мышке там простор; она, не тратя слов,
Пошла карабкаться и выпрыгнула в поле;
А великан мой, став по нужде философ,
Не могши в западне ниже пошевелиться:
«Увы! — кричит.— К чему ведет нас толщина?
Что в росте? Мелочным не страх и провалиться,
И Мышка в западне свободнее Слона!»

<1810>

БЫК И КОРОВА

«Как жалок ты! — Быку Корова говорила.—
Судьба тебя на труд всегдашний осудила».
Наутро повели Корову на убой,
К закланию богам. Бык, вспомня речь вчерашню,
«Гордись, красавица,— сказал,— своей судьбой:
Ты к алтарям идешь, а я — опять на пашню».

<1810>

ВЕРБЛЮД И НОСОРОГ

Верблюду говорил однажды Носорог:
«Вовек я приложить ума к тому не мог,
За что пред нами вы в такой счастливой доле?
Вас держит человек всегда в чести и холе,
И кормит вдоволь, и поит,
И ваше разводить старается он племя;
Согласен, что на вас нередко вьючат бремя,
От коего ваш брат довольно и кряхтит,
Что кротки вы, легки, притом неутомимы;
Но те же самые достоинства и в нас,
Да по рогу еще для случая в запас,—
А все мы презрены, гонимы!»
— «Дружок! — ответствовал Верблюд
Покорность иногда достоинствам замена.
Чтоб людям угодить один ли нужен труд?
Умей и подгибать колена».

<1810>

РЫСЬ И КРОТ

Когда-то Рысь, найдя лежащего Крота,
Из жалости ему по-свойски говорила:
«Увы! мой бедный Крот! несчастье слепота!
И рощица, и луг с цветами — все места
Тебе как темная могила!
Какая жизнь твоя!
С утра до вечера ты спишь или зеваешь
И ни о чем не рассуждаешь;
А я
Теперь же, будто на ладоне,
Все вижу на версту вокруг
И все пересказать готова,— слушай, друг:
Вот ястреб в облаках за коршуном в погоне;
Здесь ласточка своих птенцов
Питает мухами, добычей пауковой;
Там хитрая лиса цыпленку строит ков;
Там кролика постиг ружья удар громовой;
Здесь кошка давит мышь; а там
Змея впилась в корову;
А далее — медведь, разинув пасть багрову,

Ревет и гонится за серной по скалам;
А вот и лютый волк ягненочка терзает...»
— «Ах, полно, полно! — Крот болтунью прерывает.—
Утешно ль зрячим быть для ужасов таких?
Довольно и того, что слышал я об них».

<1810>

СВЕРЧКИ

Два обывателя столицы безымянной,
Между собою земляки,
А нацией сверчки,
Избрали для себя квартирой постоянной
Судейский дом;
Один в передней жил, другой же в кабинете,
И каждый день они видалися тайком.
«Нет лучше нашего хозяина на свете! —
Сказал товарищу Сверчок,—
Как гнется, даром что высок!
Какая кротость в нем! какая добродетель!
И как трудолюбив! Я сам тому свидетель,
Какую кучу он записок отберет,
И что же? Ни одной из них не издерет,
А все за ним тащат!» — «На произвол судьбины,—
Товарищ подхватил.—
Дружок! Ты, видно, век в прихожих только жил
И вместо лиц привык рассматривать личины;
Не то бы ты сказал, узнавши кабинет!
В передней барин то, чем хочет он казаться,
А здесь — каким родился в свет:
Богатому служить, пред сильным пресмыкаться;
А до других и дела нет:
Вот нашего ханжи и все тут уложенье!
Оставь же лишнее к нему ты уваженье!
И в обществе людском,
Где многое тебе покажется превратным,
Умей ты различать двух человек в одном:
Парадного с приватным».

<1810>

ОРЕЛ И КАПЛУН

Юпитеров Орел за облака взвивался:
Уже он к трону приближался
Властителя громовых стрел —
И весь пернатых род на след его смотрел.
«Недаром он любим Юнониным супругом! —
В восторге восклицал Петух.—
Какая быстрота! какой великий дух!
Каким он очертил свой путь обширным кругом!
Недаром, повторю, вручен ему перун;
Кто равен с ним?» — «Кто? Ты и я,— сказал
Каплун
Конечно; будем только смелы,
То также обтечем небесные пределы
И к солнцу возлетим;
А это покажу примером я моим».
С сим словом, размахнув крылами,
Уже задорный удалец
Между землей и небесами —
И вмиг... на кровлю, как свинец.

Спасибо Каплуну! и он урок оставил:
Отважный без ума всегда себя бесславил.

<1810>

ИСТОРИЯ

Столица роскоши, искусства и наук
Пред мужеством и силой пала;
Но хитрым мастерством художнических рук
Еще она блистала
И победителя взор дикий поражала.
Он с изумлением глядит на истукан
С такою надписью: «Блюстителю граждан,
Отцу отечества, утехе смертных рода
От благодарного народа».
Царь-варвар тронут был
Столь новой для него и благородной данью;
Влеком к невольному вниманью,
В молчаньи долго глаз он с лика не сводил.
«Хочу,— сказал потом,— узнать его деянья».

И вмиг толмач его, разгнув бытописанья,
Читает вслух: «Сей царь бич подданных своих,
Родился к гибели и посрамленью их:
Под скипетром его железным
Закон безмолвствовал, дух доблести упал,
Достойный гражданин считался бесполезным,
А раб коварством путь к господству пролагал».
В таком-то образе Историей правдивой
Потомству предан был *отечества отец*.
«Чему же верить мне?» — воскликнул наконец
Смятенный скиф. «Монарх боголюбивый!—
Согнувшись до земли, вельможа дал ответ:
Я, раб твой, при царях полвека пресмыкался;
Сей памятник в моих очах сооружался,
Когда еще тиран был бодр и в цвете лет;
А повесть, сколько я могу припомнить ныне,
О нем и прочем вышла в свет
Гораздо по его кончине».

1818

БОБР, КАБАН И ГОРНОСТАЙ

Кабан да Бобр, и Горностай
Стакнулись к выгодам искать себе дороги.
По долгом странствии, в пути отбивши ноги,
Приходят наконец в обетованный край,
Привольный для всего; однако ж этот рай
Был окружен болотом,
Вместилищем и жаб и змей.
Что делать? Никаким не можно изворотом
Болота миновать, а кто себе злодей?
Кому охотно жизнь отваживать без славы?
В раздумьи путники стоят у переправы.
«Осмелюсь»,— Горностай помыслил; и слегка
Он лапку вброд и вон, и одаль в два прыжка.—
«Нет! братцы,— говорит,— по совести признаться,
Со всем обилием край этот не хорош;
Чтоб вход к нему найти, так должно замараться,
А мне и пятнышко ужаснее, чем нож!»
— «Ребята! — Бобр сказал.— С терпеньем
И уменьем

Добьешься до всего; я в две недели мост
Исправный здесь построю:
Тогда мы перейдем к довольству и покою;
И гады в стороне, и не замаран хвост;
Вся сила не спешить и бодрствовать в надежде».
— В полмесяца? пустяк! я буду там и прежде,—
Вскричал Кабан — и разом вброд:
Ушел по рыло в топь, и змей и жаб — все давит,
Ногами бьет, пыхтит, упорно к цели правит,
И хватски на берег из мутных вылез вод.
Меж тем как на другом товарищи зевают,
Кабан, встряхнувшися, надменный принял вид
И чрез болото к ним с презрением хрючит:
«Вот как по-нашему дорогу пробивают!»

<1818>

СЛЕПЕЦ, СОБАКА ЕГО И ШКОЛЬНИК

Бедняк, живой пример в злосчастии смиренья,
Согбенный старостью, притом лишенный зренья,
С котомкой чрез плечо и посохом в руке,
Бродил по улицам в каком-то городке,
Питаясь именем христовым,—
Обедом, не всегда, наверное, готовым;
Но он и в бедности сокровищем владел:
В вожатом друга он примерного имел.
Кто ж это? брат, сестра родная
Иль просто родственник? Нет, выжлица дворная,
Которую Слепец Добрушкой называл;
Не пó шерсти он ей, по свойствам имя дал.
Снурочком к поясу привязана слепцову,
Она всегда была его послушна слову;
Бежала перед ним, то глядя на него,
То вдоль по улице чутьем своим искала
Благотворителя. Не раз сама бывала
Без пищи до ночи,— все это ничего...
Терпела и молчала.
Однажды мой Слепец
Бредет с собачкой мимо школы.
Откуда ни возьмись мальчишка-удалец.
Ну теребить Слепца, трясти за обе полы,

Потом, собачку отвязав,
«Ступай,— кричит он ей,— даю тебе свободу.
К чему тебе за добрый нрав
Покорствовать уроду
И по миру ходить? Знай нищий свой порог
У церкви, стой он там и жди, что пошлет бог».
Добрушка слушает и к старцу только жмется,
Как будто думая: «Кто ж без меня займется
Несчастным? Нет, не разлучусь с тобой!»
«Ступай же, дурочка»,— толкнув ее ногой,
Шалун еще сказал; она к земле припала
И молча на Слепца умильный взор кидала.
«Так сгинь же вместе с ним!» — повеса закричал
И, делая прыжки, к собратьи побежал.
А нищий ощупью, дрожащею рукою
Вожатку на снурке за пояс прицепил
И благодарною кропил ее слезою.

Жестокий эгоист! а ты не раз бранил
Смиренным именем добрейшей твари в свете!
Содрогнись: ты один у басни сей в предмете.

<*1825*>



РАВНОВЕСИЕ

Сын севера! суров и хладен твой климáт;
Ужасны льды твои, но счастлив ты сто крат:
В тебе и бодрый дух, и богатырска сила.
В Сицилии ж вулкан; чума на бреге Нила.

<1826>

ЛЬВИНОЕ ПРАВО

Медведя Лев спросил: «Через твою берлогу
Позволь мне проложить военную дорогу».
— «Нельзя!»— сказал Медведь; и в шубу нос уткнул.
Что ж сделал Лев? — Перешагнул.

<1826>

ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК

Простой цветочек, дикой,
Нечаянно попал в один пучок с гвоздикой;
И что же? От нее душистым стал и сам.—
Хорошее всегда знакомство в прибыль нам.

<1805>

ДИТЯ НА СТОЛЕ

«Как я велик!» — дитя со столика вскричал.
А нянька говорит: «Сниму, так будешь мал».
Богач с надменною душою!
Смекай заранее: урок перед тобою.

<1805>

РАЗБИТАЯ СКРИПКА

Скрипица пошлая упала и разбилась.
Скрипач ее склеил,
И скрипка из дурной — прекрасной очутилась.
Тот, верю, стал умней, кто в школе бедствий был.

<1805>

ЧУЖЕЗЕМНОЕ РАСТЕНИЕ

«Что сделалось с тобою ныне?
О милый куст! ты бледен стал;
Где зелень, запах твой?»—«Увы!— он отвечал.—
Я на чужбине».

<1826>

ПЛОДЫ МУДРОГО ПРАВЛЕНИЯ

При пятом Льве Медведь за правду лез из кожи,
Вол сдабривал поля и был неутомим;
Конь смелостью блистал. Короче заключим:
Велик монарх — отличны и вельможи.

<1826>

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Тигр, ужас всех зверей, подняв кровавы взоры,
Морфея умолял, чтоб сон к нему послал.
«Для извергов, тебе подобных,— бог сказал,—
Готовлю я не мак, но совести укоры».

<1826>

РОЗА И ШМЕЛЬ

«Прочь, наглый, прочь ты, Шмель! — вскричала *утром* Роза.—
Ты осквернишь меня; ты мне страшней мороза».
— «Прощаю спесь твою: ты только расцвела;
Я *вечером* приду, авось не́ будешь зла».

<1826>

ПЕСНЬ ЛЕБЕДЯ

Пел Лебедь, и моих всех чувств он был владетель.
«Ты весел?»— я его, растроганный, спросил.
«Да,— он ответствовал,— час смерти наступил».
Спокойно жизни путь свершает добродетель.

<1826>

ПОРОК И ДОБРОДЕТЕЛЬ

«Я царь земной!» — Порок в надменности изрек.
«А я царю небес мой жребий поручила»,—
Смиренно Доблесть говорила.
Решись и выбирай, бессмертный человек!

<1826>

СКОРБЬ И ФОРТУНА

Отрады луч блеснул у Скорби на челе.
«Что этому виной? — Фортуна вопросила.—
Давно ль твой томный взор поникнут был к земле?»
— «Я малостью слезу сиротки осушила».

<1826>

ОШИБКА ЧИЖА

Чиж, в птичник залетя, прельстился им как раем.
Раздолье! пьет и ест одно он с Попугаем.
Но долго ль? Нет! Скворец там заклевал его.—
Опасно выходить из круга своего.

<1826>

ЖЕРТВЕННИК И ПРАВОСУДИЕ

Во храме Жертвенник преступника скрывал.
«Как? — Правосудие вопило раздраженно.—
Скрывать преступника!» — «Да,— Жертвенник сказал.—
Несчастие священно».

<1826>

ПЛОД

Садовник сетовал, что долго плод не зреет;
А плод судил: вина не от моих семян:
Дай больше света мне, и буду я румян.—
Без солнца и талант в созрении коснеет.

<1826>

ЕЖ И МЫШЬ

Еж говорил, что он из одного презренья
К мирскому скрыл себя во мрак уединенья.
«Сосед! — сказала Мышь,— рассказывай другим
От мира злой непрочь, но в мире тесно с ним».

<1826>

ДЕРЕВЦО

Березка выросла пред домом кривобока:
Пришлось выкапывать; но корни так ушли
Далеко в глубину, что вырыть не могли.—
История порока.

<1826>

ЧАДОЛЮБИВАЯ МАТЬ

Мартышка, с нежностью дитя свое любя,
Без отдыха его ласкала, тормошила;
И что же? Наконец в объятьях задушила.—
Мать слабая! Поэт! остереги себя.

<1826>

РЕПЕЙНИК И ФИАЛКА

Между Репейником и розовым кустом
Фиалочка себя от зависти скрывала;
Безвестною была, но горестей не знала.—
Тот счастлив, кто своим доволен уголком.

<1824>

КУРИЦА И УТЯТА

«Ты все с утятами».— «Кому ж ходить за ними?
Я высидела их».— «Но что тебе они?
Чужие».— «Нужды нет! хочу считать моими».—
Кто любит помогать, тот всякому сродни.

<1826>

КЛЕВЕТА

Честон был поражен кинжалом, но слегка.
Дан промах, так и быть! Злодей вскричал: «Отселе
По крайней мере знак останется на теле».—
Черта клеветника.

<1826>

СВЕТЛЯК И ЗМЕЯ

Со светлым червячком встречается Змея
И ядом вмиг его смертельным обливает.
«Убийца! — он вскричал.— За что погибнул я?»
— «Ты светишь»,— отвечает.

<1824>

СВОЕНРАВНАЯ ЛИСА

Свет полон чудаков: Медведь Лисе был друг;
И с Тигром и Слоном хлеб-соль она водила,
Но никого в своем соседстве не любила,
А пуще всех своих подруг.

<1826>

ЗМЕЯ И ПТИЦЕЛОВ

У сетки сторожа добычу, Птицелов
Давнул Змею, а та в него вонзила жало,
И вмиг его не стало! —
Нередко гибнет злой, другому строя ков.

<1826>

ПАВЛИН

Индеек не на вкус пришел павлиний рост.
«Какой,— кричат,— урод!» А он в ответ злодейкам
Лишь только раздувал свой изумрудный хвост.—
Творенье гения — ответ *его* индейкам.

<*1826*>

ЧЕЛОВЕК, ОБЕЗЬЯНА, ЧЕРВЬ И ЯБЛОКО

Садовник, яблоко отняв у Обезьяны,
Вскричал: «Оно мое!» — и тотчас раскусил.
«Неправда, а мое! вы сильны, так и рьяны»,—
Из яблока ему Червь бедный возразил.

<*1826*>

МАРТЫШКА И ЛИСА

«Скажи мне, есть ли зверь,
Которого бы я замашки не схватила?»
— «Конечно, нет; но всякий, мне поверь,
Стыдится захотеть, чтоб ты его учила».

<*1826*>

НЕВИННОСТЬ И ЖИВОПИСЕЦ

В Амуре на холсте все жизнию дышало;
Невинность перед ним горит, потупя взор.
Артист встревожился: «Что значит сей укор?
Что надобно еще Амуру?» — *Покрывало.*

<*1826*>

ДУХ СМИРЕНИЯ

Сыны Османовы вопили: «Мщенье, мщенье!
Наполним ужасом и кровью все места!»
А вы что им в отпор, о воины Христа? —
«Прощенье».

<*1826*>]

ОРЕЛ И ФИЛИН

Орел стремил полет свой к Фебову престолу,
А Филин говорил: «От солнца мука нам».
Так доблесть ясный взор возводит к небесам,
Злодейство опущает долу.

<1824>

МАГНИТ И ЖЕЛЕЗО

«Зачем ты льнешь?» — Магнит Железу говорил.
«Зачем влечешь меня?» — Железо отвечало.—
И в нас бы сердце то ж, прелестный пол, сказало:
Природу одолеть превыше наших сил.

<1826>

УТОПШИЙ УБИЙЦА

Убийца, чтоб спастись от строгости судей
И казни, весь дрожа, бежал через плотину,
Споткнулся и в реке нашел свою кончину,—
Суд Промысла везде найдет тебя, злодей!

<1826>

МЩЕНИЕ ПЧЕЛЫ

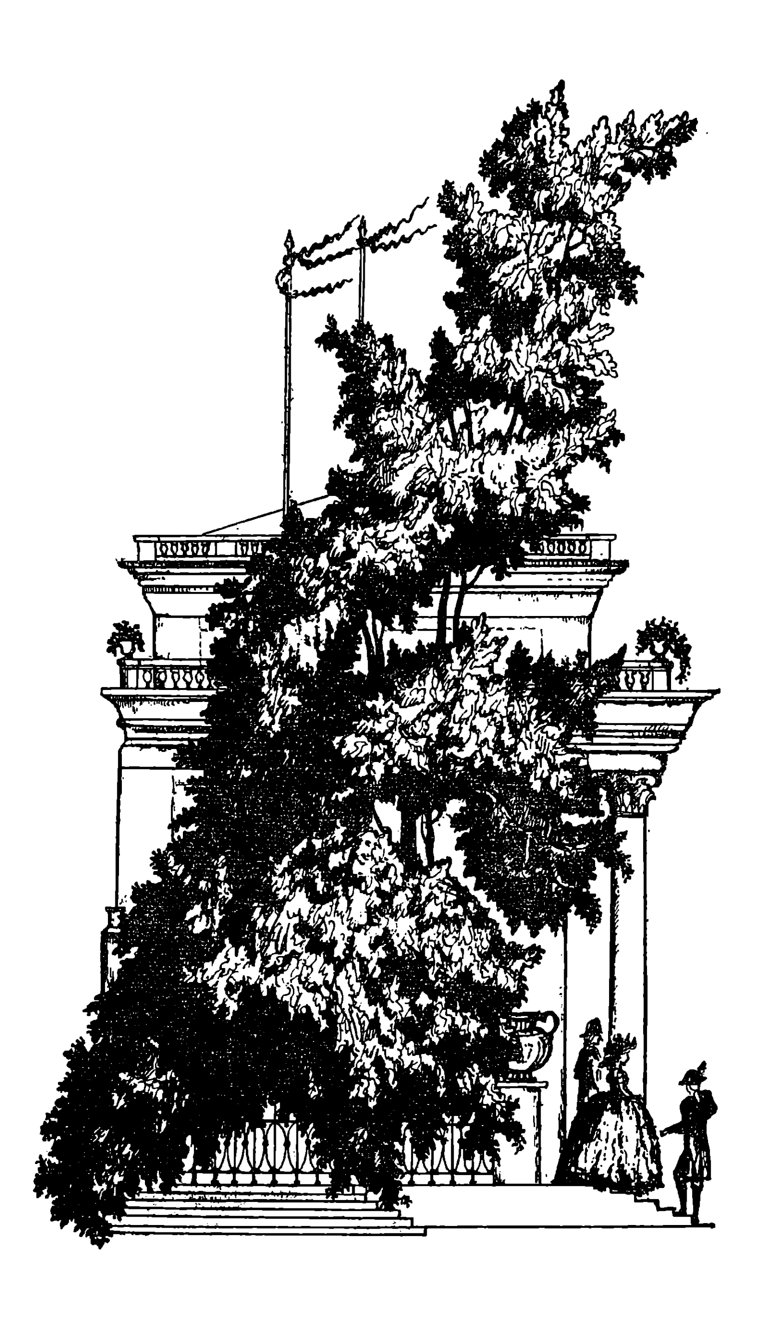
Обиду мстя, Пчела
В обидчика вонзила жало.
«И возгордилася?» — «Нимало:
На язве умерла».

<1826>

ХЛЕБ И СВЕЧКА

«Прочь, дале! близ тебя лежать я не хочу»,—
Хлеб Свечке говорил; а та ему: «Напрасно;
Чем хуже я тебя? Подумай беспристрастно:
Ты кормишь — я свечу».

<1826>



ЛЕВ И ВОЛК

Волк, полуночный тать,
Схватил козленочка. «Не смей его терзать,—
Воскликнул Лев,— пусти!» И Волк ему послушен.
Подлец всегда свиреп; герой великодушен.

<1826>

МЯЧИК

«Несносный жребий мой! то вверх, то вниз лечу;
Вперед, назад меня толкают.
Ракете смех, а я страдаю и молчу».—
Проситель! и с тобой не лучше поступают.

<1826>

КОМ ЗЕМЛИ

«Не амбра ль ты?—подняв Ком, персти я сказал.—
Как от тебя благоухает!»
— «Нет,— он мне отвечает,—
Я Ком простой земли, но с розою лежал».

<1826>

ЧЕРЕПАХА

«Над Черепахою нельзя не прослезиться».
— «Спасибо! что б тебя растрогать так могло?»
— «Легко ль носить свой дом, повсюду с ним тащиться?»
— «Что в пользу, то не тяжело».

<1826>

ДВЕ МОЛИТВЫ

Средь храма, ниц челом, Моллак молился вслух:
«Всезрящий! ты мне все: пошли мне воздаянье!»
А нищий в уголку шептал, смиря свой дух:
«Отец! дай мне отжить в сердечном покаяньи!»

<1826>

КАМЕННАЯ ГОРА И ВОДЯНАЯ КАПЛЯ

«С умом ли, Капля, ты? Меня пробить взялась!
Меня, гранитную! Ты, право, стоишь смеха».
Но Капля молча все кап, кап... и пробралась.—
Настойчивость — залог успеха.

<1826>

БОГАЧ И ПОЭТ

«Поэт и горд еще! — сказал спесивый Клим.—
А чем богат? Ума палата!»
— «Купи бессмертие себе ценою злата,—
Ответствовал Поэт,— и я смирюсь пред ним».

<1824>

ЖЕЛАНИЕ И СТРАХ

Неугомонное и вздорное Желанье
Пред Дием завсегда толклось как на часах.
«Постой же,— он сказал,— отныне в обузданье
Пускай сопутствует ему повсюду Страх».

<1826>

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЕК

Блестящий тысячью Ирисиных цветов,
Из мыла Пузырек на воздухе гордился;
Но дунул ветр, и вмиг он в каплю превратился.—
Судьба временщиков.

<1826>

БЕСПЕЧНОСТЬ ПОЭТА

Поэт случайно в честь и круг бояр попал;
Но буря зависти против его восстала,
И всюду разнеслось: певцу грозит опала.
«Так я был в случае? вот новость!» — он сказал.

<1826>

СОБАКА И ПЕРЕПЕЛ

За Перепелом Пес вдоль нивы крался летом,
Но Перепел не слеп: он с места вмиг спорхнул
И песню с высоты в насмешку затянул:
«Изменник! ты берешь ползком, а я полетом».

<1824>

ПОДСНЕЖНИК

«Что мне зима?— сказал Подснежник, ранний цвет.—
Пускай ее страшатся розы;
Я все превозмогу и бури, и морозы».—
Для гения препоны нет.

<1824>

УЗДА И КОНЬ

С чего Конь пышет, ржет?—Гортань дерут Уздою.
Ослабили Узду, и Конь пошел на стать.—
Властитель! хочешь ли спокойно обладать?
Держи бразды не вкруть, но мощною рукою.

<1826>

ПРОХОЖИЙ И ПЧЕЛА

«О Пчелка! меж цветов, прекраснейших для взора,
Есть ядовитые: отравят жизнь твою;
Смотри же не садись на каждый без разбора!»
— «Не бойся: яд при них; я только нектар пью».

<1826>

ОРЕЛ И КОРШУН

Юпитер Коршуну сказал: «Твоя чреда,
Орел в опале: будь его преемник власти».
И вдруг раздор, грабеж, все взволновались страсти.
Ошибка в выборе — беда.

<1826>

ДВА ВРАЧА

Один угрюмый Врач подобен был тирану:
Больной отчаянье в глазах его читал.
Другой участием, приветством жизнь вливал.—
Так бережно целить нам должно сердца рану.

<1826>

ЦВЕТ И ПЛОД

Цветной горох под суд хозяина попал
За то, что, возгордясь, всех братьев презирал;
И вот как приговор был справедлив и точен:
«Цвет мил на час, а Плод питателен и прочен».

<1826>

САДОВАЯ МЫШЬ И КАБИНЕТСКАЯ КРЫСА

«Ты книги все грызешь: дивлюсь твоей охоте!
Умнее ль будешь ты? Пустая то мечта»,—
Сказала Крысе Мышь, жилица в темном гроте.
Ответ был: «Что мне ум? Была бы лишь сыта».

<1826>

ОСЕЛ И ВЫЖЛИЦА

«Скот глупый взял перед! и по какому праву? —
Шумела Выжлица.— Иль я не удала,
Иль обгоню его на славу».—
Не много ль славы в том, чтоб обогнать Осла.

<1826>

НИСПРОВЕРЖЕННЫЙ ИСТУКАН

«Что вижу? Истукан мой в прахе! Мщенье, мщенье,—
Вскричал Деспот, себя равнявший с божеством,—
Накажем смертью дерзновенье!
Кто низложил его? кто этот враг мой?» — Гром.

<1826>

ЧЕЛНОК БЕЗ ВЕСЛА

По ветру, без весла, Челнок помчался в море,
Ударился в скалу и раздробил свой бок.
На жизненной реке и нам такое ж горе:
Без мудрости прощай наш утлый челночек!

<1826>

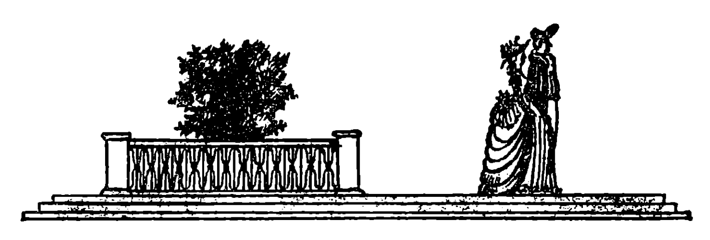
Эпилог

АВТОР И КРИТИКА

Что вздумалось тебе сухие апологи
Представить критикам на суд?
Ты знаешь, как они насмешливы и строги.—
Тем лучше: их прочтут.

<1826>





Послания

К А. Г. С<ЕВЕРИНО>Й

Какое зрелище для нежныя души!
О Грез! дай кисть свою иль сам ты напиши!
В румяный майский день, при солнечном восходе,
Тогда, как все цветет и нежится в природе,
Все нектар пьет любви, весной своей гордясь,—
Климена скромная, на люльку опустясь,
Ни молвить, ни дышать не смея,
Любуется плодом бесценным Гименея,
Любуется его улыбкою сквозь сон
И чуть не говорит: «Как мил... и точно он!..»
Итак, Климена, ты теперь уже спокойна:
Ты счастлива, ты мать и ею быть достойна!
Уже любимых ты певцов,
Делиля, Колардо с Торкватом, забываешь
И в скромную свою диванну мудрецов,
Бюффона, и Руссо, и Локка, призываешь;
И даже в этот час, как Терпсихора всех
Зовет чрез Фауля [1] в свой храм забав, утех,
Как пудры облака покрыли туалеты,
Как все в движении: флер, шляпки и корсеты,
Картоны, ящики, мужья и сундуки,—
Сколь мысли у тебя от шума далеки!
Сидишь, облокотясь, над книгою смиренно,
Сидишь, и все твое понятие вперенно

---

[1] Бывший тогда содержатель английских балов.

В систему, в правила британского творца,
Который только сух для одного глупца.
Вся мысль и все твое желание, чтоб сына
Соделать звания достойным гражданина.
О, подвиг сладостный, священный искони!
Климена! увенчай ты им прекрасны дни.
Кто более тебя во способах обилен?
Не матери ль одной достоин сей предмет?
Глас матери всегда красноречив и силен.
Так, умница! храни, лелей ты нежный цвет
Под собственной рукою
И удобряй его учения росою.
Пекись, чтоб излиял он райский аромат,
Когда желанный день созрения настанет;
Да усладит твое и сердце он и взгляд
И в осень дней твоих весну твою вспомянет!
А ты, дитя, залог дражайший двух сердец!
Живи и усугубь их счастье наконец:
Будь честен, будь умен, чувствителен, незлобен,
Приятен, мил,— во всем будь маменьке подобен!

1791

СТАНСЫ К Н. М. КАРАМЗИНУ

«Прочь от нас, Катон, Сенека,
Прочь, угрюмый Эпиктет!
Без утех для человека
Пуст, несносен был бы свет.

Младость дважды не бывает.
Счастлив тот, который в ней
Путь цветами устилает,
Не предвидя грозных дней».

Так мою настроя лиру
И призвав одну из муз,
Дружбу, сердце и Темиру,
С ними пел я мой союз.

Пел, не думая о славе,
Не искав ничьих похвал:
Лишь друзей моих к забаве
Лиру я с стены снимал.

Все в глазах моих играло,
Я в волшебной был стране:
Солнце ярче луч бросало
И казалось Фебом мне.

В роще ль голос разольется
Сладкопевца соловья,
Сердце вмиг во мне забьется —
Филомелу вспомню я.

С нею вместе унываю
И доволен, что грущу!..
Но почто я вспоминаю
То, чего уж не сыщу?

Утро дней моих затмилось
И опять не расцветет;
Сердце с счастием простилось
И мечтой весенних лет.

Резвый нежных муз питомец,
Друг и смехов и утех,
Ныне им как незнакомец
И собой пугает всех.

Осужден к несносной скуке
Грусть в самом себе таить —
Ах! и с другом быть в разлуке,
И от дружбы слезы лить!..

О любимый сын природы,
Нежный, милый наш певец!
Скоро ль отческие воды
Нас увидят наконец?

Скоро ль мы на Волгу кинем
Радостный, сыновний взор,
Всех родных своих обнимем
И составим братский хор?

С нами то же, что со цветом:
Был — и нет его чрез день.
Ах, уклонимся ж хоть летом [1]
Древ домашних мы под тень.

---

[1] Т. е. в лето жизни нашей.

Скажем им: «Древа! примите
Вы усталых пришлецов
И с приязнью обнимите
В них друзей и земляков!

Было время, что играли
Здесь под тенью мы густой —
Вы цветете... мы увяли!
Дайте старости покой».

1793

К Ф. М. ДУБЯНСКОМУ, СОЧИНИВШЕМУ МУЗЫКУ НА ПЕСНЮ «ГОЛУБОК»

Нежный ученик Орфея!
Сколь меня ты одолжил!
Ты, смычком его владея,
Голубка мне возвратил.

Бедный сизый Голубочек
Долго всеми был забвен;
Лишь друзей моих веночек
Голубку был посвящен.

Вдруг навеяли зефиры,
Где лежал он, на лужок,
Глас твоей волшебной лиры —
И воскреснул Голубок!

Он вспорхнул и очутился
Милой Грации в руках:
На клавир ее спустился
И запрыгал на струнах.

Я глядел и сомневался,
Точно ль он передо мной:
Мне пригожей показался
И милей Голубчик мой.

1793

К Г. Р. ДЕРЖАВИНУ ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ ПЕРВОЙ СУПРУГИ ЕГО

Державин! ты ль сосуд печальный, но драгой,
Объемлешь и кропишь сердечною слезой?
Твою ли вижу я на кипарисе лиру,
И твой ли глас зовет бесценную Плениру?
Зовет ее и вдруг пускает вопль и стон.
О, участь горькая! о, тягостный урон!
Расстался ты с своей возлюбленною вечно!
Прости, сказал ей вслед, веселие сердечно!
Рыдай, певец, рыдай! тебя ли утешать?
Ах, нет! я сам с тобой душой хочу стенать.
Достойна вечных слез столь милая супруга:
Три люстра видел ты вернейшего в ней друга;
Три люстра ты ее прельщался красотой,
Умом, и чувствами, и ангельской душой.
Сколь часто, быв ее деяниям свидетель,
В восторге мыслил я: «Краса и добродетель!
Ах, если бы всегда встречались вместе нам!»
Сколь часто заставал сиротку и вдовицу,
Лобзавших щедрую Пленирину десницу!
Сколь часто в тишине, по зимним вечерам,
Приятною ее беседой научался,
Дышал невинностью и лучшим возвращался —
Довольней и добрей — в смиренный домик мой!
Бывало, ясною сопутствуем луной,
И в мыслях проходя все наши разговоры,
К жилищу твоему еще стремил я взоры;
Стремил и с чувствием сердечным восклицал:
Блажен ты, добрый муж! ты ангела снискал!
И где ж сей ангел днесь? и где твое блаженство?
Увы! все в мире сем мечта, несовершенство!
Твой ангел к своему началу воспарил,
И рок, печаль и плач в храм счастья поселил!
Теперь ты во своих чертогах как в пустыне,
И в людстве сирота! Уж не с кем наедине
И скуку, и печаль, и радость разделить;
К кому сердечные в грудь таинства пролить?
Кто отягченный ум заботами, трудами
Утешит, облегчит нежнейшими словами?
Кто первый поспешит дать искренний совет?

Кто первый по тебе от сердца воздохнет?
Кто первый ободрит бессмертной лиры звуки
И прежде всех прострет на сретение руки?
К кому теперь, к кому в объятия лететь?
Что делать, что начать?.. Крушиться и терпеть!
Конечно, так судьбы всемощны предписали,
Чтоб счастье и напасть познал ты, сын печали!
Но воззрим к вышнему! — Кто манием очес
Волнует океан, колеблет свод небес
И солнцы и миры творит и разрушает —
Тот страждущих целит, упадших поднимает.

Осень 1794

К <А. Г. СЕВЕРИНОЙ> НА ВЫЗОВ ЕЕ НАПИСАТЬ СТИХИ

Ах, когда бы в древни веки
Я с тобой, Филлида, жил!
Например, мы были б греки;
Как бы я тебя хвалил!

Под румяным, ясным небом
В благовонии цветов,
Оживленных кротким Фебом,
Между миртовых кустов —

Посреди тебя с супругом
Сел бы твой Анакреон,
И, своим упрошен другом,
Стал бы лиру строить он.

Вы б и гости замолчали,
Чтоб идеи мне скопить,
И малютки б перестали
Пестру бабочку ловить.

Как в саду твоем порхала
В мае пчелка по цветам,
Так рука б моя летала
Резвой лиры по струнам.

Там бы каждый мне цветочек
К пенью мысли подавал:
Милый, скромный василечек
Твой бы нрав изображал.

Я твою бы миловидность
И стыдливость применил
К нежной розе; а невинность
С белой лилией сравнил.

Ты б растрогалась, вскочила —
Я уверен точно в том —
И певца бы наградила
Поцелуем и венком.

Но, увы! мой ум мечтает;
Сколь далек я от Афин!
Здесь не Флора обитает,
А Мороз, Бореев сын!

<1794>

ПОСЛАНИЕ К Н. М. КАРАМЗИНУ

Не скоро ты, мой друг, дождешься песней новых
От музы моея! Ни фавны рощ дубовых,
Ни нимфы диких гор и бархатных лугов,
Ни боги светлых рек и тихих ручейков
Не слышали еще им незнакомой лиры.
Под мраком грозных туч играют ли зефиры?
Поет ли зяблица, как бури заревут
И с гибкого куста гнездо ее сорвут?
До песней ли и мне под гнетом рока злова?
Еще дымится пепл отеческого крова,
Еще смущенна мысль всё бродит в тех местах,
Недавно где земле навеки предан прах,
Прах старца [1], для меня толико драгоценна!

Каких же песней ждать от сердца огорченна?
Печальных. Но почто мне грациям скучать,
Когда твой нежный глас их будет услаждать?
Пускай они твое Послание [2] читают

[1] Автор лишился тогда родного своего дяди, П. А. Б<екетова>.
[2] Послание к женщинам.

И розовый венок любимцу соплетают;
Пускай Херасков, муж, от детства чтимый мной,
То в мир фантазии пусть кажет за собой,
То к райским красотам на небо восхищает,
То на цветущий брег Пенея провождает
И, даже в зиму дней умом еще цветя,
Манит на лирный глас крылатое дитя
И с кротостью влечет, нежнейших чувств владетель,
Любить поэзию, себя и добродетель.
Пускай Державин всех в восторг приводит дух;
Пускай младый герой, к нему склоняя слух,
Пылает и дрожит, и ищет алчным взглядом
Копья, чтобы лететь потрясть землей и адом.

Притворства и в стихах казать я не хочу:
Поется мне — пою; невесело — молчу
И слушаю других иль, взявши посох в руку,
В полях и по горам рассеиваю скуку;
Разнообразности природы там дивлюсь
И сколки слабые с нее снимать учусь.
Как волжанин, люблю близ вод искать прохлады;
Люблю с угрюмых скал гремящи водопады;
Люблю и озера спокойный, гладкий вид,
Когда его стекло вечерний луч златит.
А временем идя — куда, и сам не зная —
Чрез холмы, чрез леса, не видя сеням края
Под сводом зелени, вдруг на свет выхожу
И новую для глаз картину нахожу:
Открытые поля под золотою нивой!
Везде блестят серпы в руке трудолюбивой!
Какой приятный шум! какая пестрота!
Здесь взрослый, тут старик, с ним рядом красота;
Кто жнет, кто вяжет сноп, кто подбирает класы;
А дети между тем, амуры светловласы,
Украдкой по снопу, играючи, берут,
Кряхтят под ношею, друг друга ею прут,
Валяются, встают и, усмотря цветочек,
Все врознь к нему летят, как майский ветерочек.
Ах! я и сам готов за ними вслед лететь!
Уже недолго мне и на цветы смотреть:
Уже я с каждым днем чего-нибудь лишаюсь.
Иду под тень кустов — ступлю и возвращаюсь
С поникшей головой: там нет уж соловья!

Сегодня у пруда остановился я:
И ласточки над ним кружилися, вилися,
И серы облака по небесам неслися.
Ах! Скоро, милый друг, неистовый Эол
Помчится на крылах шумящих с гор на дол,
Завоет, закрутит, кусты к земле приклонит,
Свинцовые валы на озеро нагонит,
В пещерах заревет и засвистит в дуплах
И с воздухом смесит и листвия и прах:
День, два — и, может быть, цветочка не застану;
День, два — и, может быть... как знать?.. и сам увяну!

1795

ОДА П. П. БЕКЕТОВУ

Пускай тщеславный предается
Морским изменчивым волнам,
На полных парусах несется
К искому счастью иль бедам.
Бекетов! малым кто доволен,
Тому век бедным не бывать!
Он больше счастлив, больше волен,
Чем толь завидуема знать,
Котора от косого взгляда,
В алмазах, в золоте кругом
И на диване парчевом,
Внутрь сердца терпит муки ада.
Перуны чаще шлют удары
К вершинам неприступных гор
И с большей силой вихри яры
Колеблют дуб, страшащий взор.
Под низкой кровлей безопасной,
Спокойнее, мой милый, жить:
Чем выше башня, тем ужасней
Ее паденье должно быть.
Мудрец в бедах ждет лучшей части
И тем свой подкрепляет дух,
А в счастьи сторожит свой слух,
Не крадутся ль к нему напасти?
Угрюмый север наш морозы,
Снег, иней, мглу низводит к нам,

Но и у нас прелестны розы
Цветут, алеют по лугам.
Теперь мы томными очами
С унынием на всё глядим,
А завтра, может быть, и сами
С весельем дружбу заключим.
Всегда ль бог Пинда[1] с грозным луком?
Нередко светлый Аполлон,
Прервав златыя лиры сон,
Пленяет оной сладким звуком.
<1795>

К ПРИЯТЕЛЮ

(С дачи)

Льстивый друг моей цевницы!
Вот стихи тебе — прочти:
Недалеко от столицы,
К Петергофу на пути,
Есть китайская лачуга,
Иль, учтивее,— *пагод;*
Там без милой и без друга
Не китайский *бог — урод,*
А к жрецу его подходит...
Добрый друг своих друзей
Дни смирнехонько проводит,
Не боясь лихих людей.
Он тебя с любезным братом
На обед к себе зовет;
Ни фарфором он, ни златом
Перед вами не блеснет,
Но Усердие вас примет,
Дружба скажет: *в добрый час!*
Смела Искренность обнимет
И за стол посадит вас,
А Веселость по стакану
Поднесет чего-нибудь...
Ах! не худо быть и пьяну;
Все вздыхать — устанет грудь.
<1795>

---

[1] Гомер говорит, что Аполлоновы стрелы производили смертоносную язву в греческом стане.

К Ю. А. Н<ЕЛЕДИНСКОМУ>-М<ЕЛЕЦКОМУ>

Заведен в лесок тоскою
На свободе погрустить,
Вспомянуть прелестну Хлою
И слезу из глаз пролить,—
Я твою услышал лиру,
Милый наш Анакреон!
Ты бесстрастну пел Темиру
И пускал из сердца стон.

«Дайте, боги,— я воскликнул,—
Мне Н<елединского> дар!
Верно б Хлои грудь проникнул
Мой, увы, несчастный жар!»
Кто с тобою не восстонет,
Нежный, пламенный певец?
Ах, твой глас и камень тронет,
У тебя лишь ключ сердец!

<1795>

К ГРАФУ Н. П. РУМЯНЦЕВУ

Что может более порадовать певца,
    Как в лестный дар принять от сына
Почтенный лик его бессмертного отца!
    Мне не дозволила судьбина
    Быть подвигов его певцом.
В то время, как метал он молнию и гром,
    Я бедный ратник был, не боле,
И видел не Парнас, но ратное лишь поле;
Я только пению Петрова соплескал,
    Который звучною трубою,
    Сквозь мрачны веки, путь герою
        В храм славы отверзал.
Но мог ли б я и днесь быть чести сей достоин?
Довольно и того мне жребия в удел,
    Что рядовый на Пинде воин
Давно желанный лик героя приобрел!
Украшу им свою смиренную обитель,

И, глядя на него, я в мыслях буду зритель
Поверженных градов России ко стопам,
Дрожащих агарян, окованных сарматов
　　И гибели по всем местам
　　　　Надменных сопостатов.
А если от такой картины утомлюсь,
　　Тогда я к сыну обращусь,
И тотчас грустну мысль рассеет луч спокойства,
Забуду вмиг следы печальные геройства
　　И, сладостной пленен мечтой,
　　Увижу в райском восхищенье
Всеобще дружество, любезность, просвещенье,
Весь мир одной семьей и всюду век златой.

1798

ПОСЛАНИЕ К АРКАДИЮ ИВАНОВИЧУ ТОЛБУГИНУ

Друг изящного в природе
И судья а ла козак,
Поперек идущий моде,
Неприятель всяких врак;
Муз и музыки любитель,
Голубков, дроздов гонитель,
Грубый скиф по бороде,
Нежный Орозман душою,
Не по светскому покрою,
Одинаковый везде;
Не ханжа и не ласкатель,
О любезный созерцатель
В банях бабьей красоты!
Плюнь на светски суеты,
О поклонниче Заиры!
И склонись на голос лиры,
Почитающей тебя.
Дай увидеть мне себя
На свободе, в чистом поле;
Сделай честь ты хлебу-соле
Нового в лесу жильца.
Покажись — и хоры птичек,
Соловьев, дроздов, синичек,
Все, увидя мудреца,

Встрепенувшися крылами,
Громко-звонко запоют,
И мне весточку дадут,
Что Аркадий милый с нами!

<Вторая половина 1790-х годов>

К ДРУЗЬЯМ МОИМ

по случаю первого свидания с ними
после моей отставки из обер-прокуроров
Пр<авительствующего> сената

В Москве ль я наконец? со мною ли друзья?
О, радость и печаль! различных чувств смешенье!
Итак, еще имел я в жизни утешенье
Внимать журчанию домашнего ручья,
Вкусить покойный сон под кровом, где родился,
И быть в объятиях родителей моих!
Не сон ли был и то?.. Увидел и простился
И, может быть, уже в последний видел их!
Но полно, этот день не помрачим тоскою.
Где вы, мои друзья? Сберитесь предо мною;
Дай каждый мне себя сто раз поцеловать!
Прочь посох! не хочу вас боле покидать,
И вот моя рука, что буду ваш отныне.

Сколь часто я в шуму веселий воздыхал,
И вздохи бедного терялись, как в пустыне,
И тайной грусти в нем никто не замечал!
Но ежели ваш друг, во дни разлуки слезной,
Хотя однажды мог подать совет полезный,
Спокойствие души вдовице возвратить,
Наследье сироты от хищных защитить,
Спасти невинного, то все позабывает —
Довольно: друг ваш здесь, и вас он обнимает.

Но буду ли, друзья, по-прежнему вам мил?
Увы! уже во мне жар к пению простыл;
Уж в мыслях нет игры, исчезла прежня живость!
Простите ль... иногда мою вы молчаливость,
Мое уныние? — Терпите, о друзья,
Терпите хоть за то, что к вам привязан я;
Что сердце приношу чувствительно, незлобно
И более еще ко дружеству способно.

Теперь его ничто не отвратит от вас,
Ни честолюбие, ни блеск прелестных глаз...
И самая любовь навеки отлетела!
Итак, владейте впредь вы мною без раздела;
Питайте страсть во мне к изящному всему
И дайте вновь полет таланту моему.
Означим остальной наш путь еще цветами!
Где нет коварных ласк с притворными словами,
Где сердце на руке [1], где разум не язвит,
Там друг ваш и поднесь веселья не бежит.
Так, братья, данные природой мне и Фебом!
Я с вами рад еще в саду, под ясным небом,
На зелени в кустах душистых пировать;
Вы станете своих любезных воспевать,
А я... хоть вашими дарами восхищаться.
О други! я вперед уж весел! может статься,
Пример ваш воскресит и мой погибший дар.
О, если б воспылал во мне пермесский жар,
С какою б радостью схватил мою я лиру
И благ моих творца всему поведал миру!
Да будет счастие и слава вечно с ним!
Ему я одолжен пристанищем моим,
Где солнце дней моих в безмолвьи закатится,
И мой последний взор на друга устремится.

1800

К Г. Р. ДЕРЖАВИНУ[2]

Бард безымянный! тебя ль не узнаю?
Орлий издавна знаком мне полет.
Я не в отчизне, в Москве обитаю,
В жилище сует.

Тщетно поэту искать вдохновений
Тамо, где враны глушат соловьев;
Тщетно в дубравах здесь бродит мой гений
Близ светлых ручьев.

---

[1] Древние представляли дружбу в образе женщины, держащей на ладони сердце.

[2] Это был ответ на стихи, присланные в «Вестник Европы». Почтенный автор их, не подписавший своего имени, думал, что я в деревне, и пенял мне за мою леность.

Тамо встречает на каждом он шаге
Рдяных сатиров и вакховых жриц[1],
Скачущих с воплем и плеском в отваге
Вкруг древних гробниц.

Гул их *эвое*[2] несется вдоль рощи,
Гонит пернатых скрываться в кустах;
Даже далече наводит средь нощи
На путника страх.

О Песнопевец! один ты способен
Петь и под шумом сердитых валов,
Как и при ниве,— себе лишь подобен —
Языком богов!

1805

В. В. И<ЗМАЙЛОВУ>

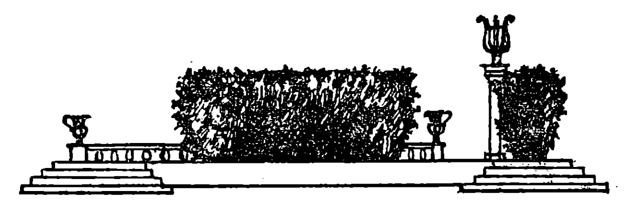
Чего ты требуешь, Измайлов, от меня?
Как! мне, лишенному поэзии огня,
В глубокой старости забытому Парнасом,
Пугать и вкус и слух своим нестройным гласом!
Увы! всему пора: и я был молод, пел;
С восторгом на венок Карамзина смотрел
И состязался с ним, как с другом, в песнопеньи...
Его уж нет! Теперь душа моя в томленьи
Глядит на кипарис, глядит на небеса
И ждет в безмолвии свидания часа.

<1827>



[1] Здесь описаны цыгане и цыганки, которые во все лето промышляют в Марьиной роще песнями и пляскою.

[2] Эвое, или эван, был употребительный припев вакханок при отправлении их оргий. Это примечание для детей, не знающих еще мифологии.



Песни

* * *

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь;
Миленький его дружочек
Отлетел надолго прочь.

Он уж боле не воркует
И пшенички не клюет;
Все тоскует, все тоскует
И тихонько слезы льет.

С нежной ветки на другую
Перепархивает он
И подружку дорогую
Ждет к себе со всех сторон.

Ждет ее... увы! но тщетно,
Знать, судил ему так рок!
Сохнет, сохнет неприметно
Страстный, верный голубок.

Он ко травке прилегает;
Носик в перья завернул;
Уж не стонет, не вздыхает;
Голубок... навек уснул!

Вдруг голубка прилетела,
Приуныв, издалека,
Над своим любезным села,
Будит, будит голубка;

Плачет, стонет, сердцем ноя,
Ходит милого вокруг —
Но... увы! прелестна Хлоя!
Не проснется милый друг!

<1792>

* * *

Тише, ласточка болтлива!
Тише, тише; полно петь!
Ты с зарею вновь счастлива,—
Ах! а мне пришло терпеть.
Я расстаться должен с милой
На заре, к моим слезам...
О луна! твой свет унылый
Краше солнышка был нам!

Тише, ласточка болтлива!
Тише, тише; полно петь!
Ты с зарею вновь счастлива,—
Ах! а мне пришло терпеть.
Знать, и сонная мечтала
О любови ты своей:
Ты к утехам рано встала,
А я к горести моей!

Тише, ласточка болтлива!
Тише, тише; полно петь!
Ты с зарею вновь счастлива,—
Ах! а мне пришло терпеть.
О, когда б и ты имела
Участь, равную со мной!
Ты б молчала, а не пела
И встречала день с тоской.

<1792>

* * *

Ах! когда б я прежде знала,
Что любовь родит беды,
Веселясь бы не встречала
Полуночныя звезды!
Не лила б от всех украдкой
Золотого я кольца;
Не была б в надежде сладкой
Видеть милого льстеца!

К удалению удара
В лютой, злой моей судьбе,
Я слила б из воска яра[1]
Легки крылышки себе
И на родину вспорхнула
Мила друга моего;
Нежно, нежно бы взглянула
Хоть однажды на него.

А потом бы улетела
Со слезами и тоской;
Подгорюнившись бы села
На дороге я большой;
Возрыдала б, возопила:
Добры люди! как мне быть?
Я неверного любила...
Научите не любить.

<1792>

* * *

Без друга и без милой
Брожу я по лугам;
Брожу с душой унылой
Один по берегам.
Там те же все встречаю
Кусточки и цветки,
Но, ах! не облегчаю
Ничем моей тоски!

---

[1] Эта песня есть точное подражание старинной простонародной песне.

Срываю я цветочек
И в мыслях говорю:
«Кому сплести веночек?
Кого им подарю?»
Со вздохом тут катится
Из сердца слезный ток,
И из руки валится
Увядший в ней цветок.

Во времена счастливы,
Бывало, в жаркий день,
Развесистые ивы,
Иду я к вам под тень.
Пошлете ль днесь отраду
Вы сердцу моему?
Ах! сладко и прохладу
Вкушать не одному!

Все, все постыло в мире!
И персты уж мои
Не движутся на лире,
Лишь слез текут струи.
Престань же петь, несчастный!
И лиру ты разбей;
Не слышен голос страстный
Душе души твоей!

1793

* * *

Видел славный я дворец
Нашей матушки царицы;
Видел я ее венец
И златые колесницы.

«Все прекрасно!»— я сказал
И в шалаш мой путь направил:
Там меня мой ангел ждал,
Там я Лизоньку оставил.

Лиза, рай всех чувств моих!
Мы не знатны, не велики;

Но в объятиях твоих
Меньше ль счастлив я владыки?

Царь один веселий час
Миллионом покупает;
А природа их для нас
Вечно даром расточает.

Пусть певцы не будут плесть
Мне похвал кудрявым складом:
Ах! сравню ли я их лесть
Милой Лизы с нежным взглядом?

Эрмитаж мой — огород,
Скипетр — посох, а Лизета —
Моя слава, мой народ
И всего блаженство света!

<1794>

* * *

Всех цветочков боле
Розу я любил;
Ею только в поле
Взор мой веселил.

С каждым днем милее
Мне она была;
С каждым днем алее,
Все, как вновь, цвела.

Но на счастье прочно
Всяк надежду кинь:
К розе, как нарочно,
Привилась полынь.

Роза не увяла —
Тот же самый цвет;
Но не та уж стала:
Аромата нет!..

Хлоя! как ужасен
Этот нам урок!
Сколь, увы! опасен
Для красы порок!

<1795>

* * *

Юность, юность! веселися,
Веселись, пока цветешь;
Пой, пляши, люби, резвися!..
Ах, и ты как тень пройдешь!

Други, матери природы
Слышите ль приятный глас?
Составляйте ж хороводы,
Пойте, ваш доколе час.

В жизнь однажды срок утехам,
Пролетя, не придут вновь!
Дайте руку играм, смехам,
Призовите и любовь.

А певца, который с вами
Уж резвиться устарел,
Увенчайте хоть цветами,
Чтоб еще он вам пропел.

Юность, юность! веселися,
Веселись, пока цветешь;
Пой, пляши, люби, резвися!
Ах, и ты как тень пройдешь!

<1795>

* * *

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!
Мчись в веселии, жизнь наша!
Ай, ай, ай, жги![1] припевай.

---

[1] Известный припев одной из цыганских песен.

Мил, любезен василечек —
Рви, доколе он цветет;
Солнце зайдет, и цветочек...
Ах! увянет, опадет!

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!
Мчись в веселии, жизнь наша!
Ай, ай, ай, жги! припевай.

Соловей не умолкает,
Свищет с утра до утра;
Другу милому, он знает,
Петь одна в году пора.

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!
Мчись в веселии, жизнь наша!
Ай, ай, ай, жги! припевай.

Кто, быв молод, не смеялся,
Не плясал и не певал,
Тот ничем не наслаждался;
В жизни не жил, а дышал.

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!
Мчись в веселии, жизнь наша!
Ай, ай, ай, жги! припевай.

<1795>

* * *

О любезный, о мой милый!
Где ты власть небесну взял?
Ты своей волшебной силой
Нову жизнь и душу дал.

Прочь, печали и напасти!
Прочь, заботы!.. вас уж нет!
Покоряся нежной страсти,
Я гляжу на новый свет.

Все в нем лучше, веселее,
Все об милом говорит;
Даже солнышко светлее
Для меня теперь горит;

Даже я сама кажуся,
Милый, лучше от тебя;
Величаюся, горжуся,
Больше чувствую себя;

Лучше, кажется, играю
И приятнее пою;
Все мне рай и всем питаю
Страсть, любовь к тебе мою,—

Страсть, навеки воспаленну!
Что скажу я наконец?..
Ты украсил всю вселенну,
Ты мой ангел, мой творец!

<1795>

* * *

Что с тобою, ангел, стало?
Не слыхать твоих речей;
Все вздыхаешь! а бывало
Ты поешь, как соловей.

«С милым пела, говорила,
А без милого грущу;
Поневоле приуныла:
Где я милого сыщу?»

Разве милого другого
Не найдешь из пастушков?
Выбирай себе любого,
Всяк тебя любить готов.

«Хоть царевич мной прельстится,
Все я буду горевать!
Сердце с сердцем подружится —
Уж не властно выбирать».

<1796>

* * *

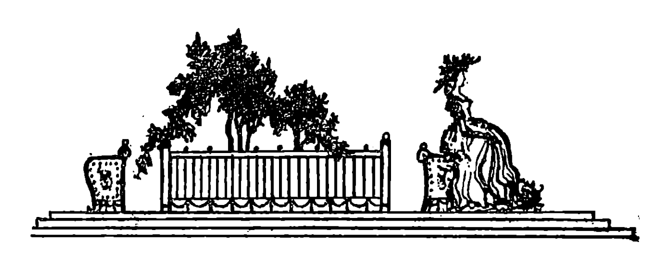
Все ли, милая пастушка,
Все ли бабочкой порхать?
Узы сердца не игрушка:
Тяжело их разрывать!

Ах! по мне и вчуже больно
Видеть горесть пастушка!
Любишь милое невольно!
Любишь прямо — не слегка!

Будь в любовной ты науке
Ученицею моей:
Я с Филлидой и в разлуке,
А она мне всех милей.

<1805>





Разные стихотворения

ОТЪЕЗД

Простите, Лары и Пенаты!
Прости и ты, волшебный край,
В котором гении крылаты
Казали мне и в дебрях рай;
Где я мечтами забавлялся,
Где лютый всех знобил мороз;
А я лежал средь нежных роз
И ароматом их питался;
И где в замерзлом ручейке
Видался каждый день с Наядой;
Где куст, береза вдалеке
Казались мне гамадриадой;
А дьяк или и сам судья
Какой-нибудь Цирцеи жертвой.
Ах, как в тебе был счастлив я!
Бывало, и живой и мертвый
Равно повиновались мне,
И я, не выходя из дому,
Чудесил так, что вряд другому
Увидеть даже и во сне.
Лишь месяц лик уставит в воду
И светлу твердь застелет мрак —
То есть как ночь на всю природу
Накинет флеровый колпак —
С восторгом я в тебя вступаю
И, как могучий чародей,

Натурою повелеваю:
Хочу — и зрю толпу людей,
За *тридевять* земель лежавших
Два века в мать сырой земле,
В их прежнем образе представших
Глазам моим в прозрачной мгле.
Вздохну — и вижу я Темиру,
В ее объятия лечу,
И в тот же миг, наладя лиру,
Что придет на сердце, бренчу.
Еще вздохну — и вмиг предстанет
Покрытый муравою луг;
С улыбкой нежной солнце взглянет,
Вспорхнет зефир, явится друг
С своею арфой сладкогласной
И маю возгласит на ней:
«Спеши, спеши, о май прекрасный,
Любезный вождь весенних дней!
Дохни к нам нежными устами —
И ландыш с розой расцветут;
Тебя с простертыми руками
Прелестны нимфы с неба ждут».
Но время, хоть никто не просит,
На быстрых крылиях своих
Мечты, утехи все уносит,
И я почти лишен моих
Необходимою судьбою!
Ах! скоро, скоро я с тобою
Расстануся, волшебный мир!
Пройдет недели две, не боле,
И я уже на чистом поле
Лечу на тройке, как зефир.
Удалы мчат, закинув гривы
Земля бежит, и пыль столбом!
Прощайте, дни мои счастливы!
Прощай, отеческий мой дом!
Прощайте, грации и музы!
Увы! невольно сладки узы
Я должен с вами перервать...
Прощай, прощай и ты, о Волга!—
О Марс! о честь! о святость долга!
Скачу, скачу... *маршировать*.

1788

ПРОХОЖИЙ И ГОРЛИЦА

Прохожий

Что так печально ты воркуешь на кусточке?

Горлица

Тоскую по моем дружочке.

Прохожий

Неужель он тебе, неверный, изменил?

Горлица

Ах, нет! стрелок его убил.

Прохожий

Несчастная! страшись и ты его руки!

Горлица

Что нужды! ведь умру ж с тоски.

<1791>

СЧЕТ ПОЦЕЛУЕВ

Прелестна Лизонька! на этом самом поле,
Под этой липою, ты слово мне дала
Сто поцелуев дать; но только сто, не боле.
Ах, Лиза! видно, ты ввек страстной не была!
Дай сто, дай тысячу, дай тьму — все будет мало
Для сердца, что к тебе любовью воспылало!
Послушай, Лизонька: который из богов
На расточение был скуп своих даров?
Благотворить, не знав пределов,— вот их мера!
Считала ли Церера
Все класы, коими она
Чело природы украшает,
Когда ее обогащает?
И Флора милая, с которой ты сходна
Приятностью, красою,
Не щедрою ль, скажи, рукою
Кидает на землю душистые цветы?
Иль нежного возьми в пример Зефира ты:
Он вечно росписи не знает
Всем розам, кои здесь в кусточках лобызает.

По капле ль падает небесная вода
Для освежения полей, лугов от зною?
Не правда ли, что иногда
Юпитер льет ее рекою?
Жалела ль для цветов своих Аврора слез?
Нет! мир свидетель в том, что жители небес
И худо и добро — все сыплют к нам без меры.
А ты, совместница Венеры,
Которой сын ее вручил такую власть,
Что взглядом можешь в нас рождать бессмертну страсть,
Ты, Лиза, ты теперь... ах! может ли то статься?
Ты хочешь хладной быть и с богом сим считаться!
Жестокая! скажи, считал ли я хоть раз,
Сколь много пролил слез отчаянья из глаз;
Сколь часто, посреди восторгов и желаний,
Я сердце надрывал от вздохов и стенаний?
Сочти все горести, стеснявшие мне грудь,
И после ты сама судьею нашим будь.
Но нет! смешаем все, и радости и муки;
Пади, любезная, пади в мои ты руки!
Позволь, чтоб я тебя без счета целовал
За столько, столько слез... которых не считал.

<1791>

К ***
О ВЫГОДАХ БЫТЬ ЛЮБОВНИЦЕЮ СТИХОТВОРЦА

Прелеста, веселись! Мой рок уже решился.
Внимай и торжествуй: я с вольностью простился!
Стыжуся слабости, но признаюся в том,
Что стала ты моим отныне божеством:
Тебе и лиру я, и сердце посвящаю.
Но что я о твоей победе возвещаю?
Я падаю к твоим с признанием ногам,
А ты моим словам
С холодностью внимаешь!
Ужели ты не постигаешь,
Какое счастие, какая слава той,
Которая прельстит своею красотой
Питомца муз и Аполлона?

Или не знаешь ты, что властен дать он то,
Пред чем богатство, власть, корона,
Все блага мира — вздор, ничто.
Поэт, примером я, едва воспламенится,
И вмиг в уме его тьма, тьма чудес родится.
В минуту он тебя в богиню претворит
И всех тебе сердца навеки покорит;
Он тотчас даст тебе усмешку, взгляд Авроры,
Гебеи молодость, прекрасную тень Флоры
И всех умильностей и прелестей собор,
Какими грации блистают и Венера;
На что ни взглянешь ты, все твой украсит взор,
Везде представится иль Книд или Цитера:
Куда ты ни пойдешь, повсюду за тобой
Различные утехи,
Забавы, игры, смехи
Погонятся толпой.
О красоте твоей узнают все пределы;
Из глаз твоих посыплют стрелы,
Которые пронзят и у факира грудь;
Лишь взглянешь, пленник кто-нибудь;
Распустишь волосы свои пред туалетом
Когда бы ни было, зимой ли то иль летом,
Тотчас Зефир готов их кудри развевать
И, прохлаждая, целовать;
К источнику ль свой путь направишь,
Он тише потечет — ты и его заставишь
Удерживать свои блестящие струи,
Чтоб долее глядеть на прелести твои;
На луг ли ступишь ты — цветы на нем родятся;
Лилеи нежные и розы возгордятся,
Надеяся, что ты, Прелеста, их сорвешь
И милому дружку венок из них сплетешь.
Но, верно, на тебя они лишь только взглянут,
С досады и стыда увянут,—
Ты всех, Прелеста, их затмишь!
Под липою ль сидишь,
Где тень тебе готова,
В минуту птички все, не говоря ни слова,
Слетятся, запоют, чтоб слух твой утешать;
Но вздумай только ты к их пению пристать —
Они умолкнут вдруг. Да кто, и в самом деле,
Столь будет дерзновен, чтоб петь при Филомеле?

А что до разума,— о, в том поверь, мой свет,
Что я, который сам изрядный ум имею,
Легко найду и в той, к которой в страсти тлею.
Мне стоит захотеть, и вмиг создашь сонет
Иль песню... что тебе угодно?
Все напишу, хотя поэту и несродно
Ссужать добром своим других;
Чего не сделаешь для прелестей твоих?
Когда же наконец Киприда раздраженна
За то, что для тебя краса ее забвенна,
Упросит парк пресечь нить жизни твоея...
Прелеста! не страшись нимало, будь спокойна:
Не плача смерть твоя, но зависти достойна!
Прелеста! ты умрешь, но жив останусь я!
Любовник страстный твой в элегии восстонет,
Растреплет волосы и в *море слез* потонет;
Все скажет, что сказать Овидии могли,
И ты бессмертною пребудешь на земли.
Любовник твой тебя во храме Мнемозины
Между *Глицерии* посадит и *Корины*,—
Не лестная ль тебя, Прелеста, ждет судьба?
Ах, осчастливь же ты любовника, раба,
Который пред тобой клянется Аполлоном,
Что он малейшее желание твое
Священным будет чтить законом!
Возьми, возьми навек ты сердце в дар мое,
Люби меня, хотя для собственныя славы,
Или страшись и жди, что, пересиля страсть,
Забывши верности уставы
И скучась наконец сносить surову часть,
Со равнодушием навек тебя оставлю,
Другую полюблю, другую и прославлю.

<1791>

Я

Умен ли я, никем еще в том не уверен;
Пороков не терплю, а в слабостях умерен;
Немножко мотоват, немножко я болтлив;
Немножко лгу, но лгу не ко вреду другого,
Немножко и колю, но не от сердца злого,
Немножко слаб в любви, немножко в ней стыдлив
И пред любовницей немножко боязлив.

Но кто без слабостей?.. Итак, надеюсь я,
Что вы, мои друзья,
Не будете меня за них судити строго.
Немножко дурен я, но вас люблю я много.

<1791>

К ЛИРЕ

О ты, котора утешала
Меня в мои спокойны дни,
Священну дружбу воспевала,
Любовь и радости одни,—
Забудь твой глас, о нежна лира,
Иль повторяй единый стон!
Отъемлет жизнь мою Пленира,
Исчезло счастие, как сон!

Тверди по всякую минуту
Темирину над сердцем власть,
Ее ко мне жестокость люту,
Мою к ней пламенную страсть!
Но, ах, ты тем не успокоишь
Мою растерзанную грудь,
Лишь торжество ее удвоишь,
Нет, лучше ты безгласна будь!

Молчи, доколь судьбы во гневе
Устремлены меня карать,
Виси на кипарисном древе,—
Не буду на тебя взирать.
Виси, безмолвствуя, доколе
Мой искренний, любезный друг
На Марсовом пребудет поле...
Увы, и он смущает дух!

Когда войны погаснет пламень,
Быть может, что младый герой,
Спеша ко мне, увидит камень,
Не омочен ничьей слезой;
Увидит в прахе тут висящу,
Любезна лира, и тебя,

Расстроенную и молчащу,—
Восстонет он, меня любя!

Восстонет и смягчит слезою
Засохши струны он твои,
Потом дрожащею рукою
Страданья возвестит мои.
Он скажет: «Доримон был вреден
Себе лишь только самому,
Он ветрен был, несчастлив, беден.
Но друг всегда был друг ему».

<1791>

КАРИКАТУРА

Сними с себя завесу,
Седая старина!
Да возвещу я внукам,
Что ты откроешь мне.

Я вижу чисто поле;
Вдали ж передо мной
Чернеет колокольня
И вьется дым из труб.

Но кто вдоль по дороге,
Под шляпой в колпаке,
Трях, трях, а инде рысью,
На старом рыжаке,

В изодранном колете,
С котомкой в тороках?
Палаш его тяжелый,
Тащась, чертит песок.

Кто это? — Бывший вахмистр
Шешминского полку,
Отставку получивший
Чрез двадцать службы лет.

Уж он в версте, не боле,
От родины своей;

Все жилки в нем взыграли
И сердце расцвело!

Как будто в мир волшебный
Он ведьмой занесен;
Все, все его прельщает,
В восторг приводит дух.

И воздух будто чище,
И травка зеленей,
И солнышко светлее
На родине его.

«Узнает ли Груняша? —
Ворчал он про себя,—
Когда мы расставались,
Я был еще румян!

Ступай, рыжак, проворней!» —
И шпорою кольнул;
Ретивый конь пустился,
Как из лука стрела.

Уж витязь наш проехал
Околицу с гумном —
И вот уж он въезжает
На свой господский двор.

Но что он в нем находит?
Его ль жилище то?
Весь двор заглох в крапиве!
Не видно никого!

Лубки прибиты к окнам,
И на дверях запор;
Все тихо! лишь на кровле
Мяучит тощий кот.

Он с лошади слезает,
Идет и в дверь стучит —
Никто не отвечает!
Лишь в щелку ветр свистит,

Заныло веще сердце,
И дрожь его взяла;
Побрел он, как сиротка,
Нахохляся, назад.

Но робкими ногами
Спустился лишь с крыльца,
Холоп его усердный
Представился ему.

Друг друга вмиг узнали —
И тот и тот завыл.
«Терентьич! где хозяйка?» —
Помещик вопросил.

«Охти, охти, боярин! —
Ответствовал старик,—
Охти!» — и, скорчась, слезы
Утер своей полой.

«Конечно, в доме худо! —
Мой витязь возопил.—
Скажи, не дай томиться:
Жива иль нет жена?»

Терентьич продолжает:
«Хозяюшка твоя
Жива иль нет, бог знает!
Да здесь ее уж нет!

Пришло тебе, боярин,
Всю правду объявить:
Попутал грех лукавый
Хозяюшку твою.

Она держала пристань
Недобрым молодцам;
Один из них поиман
И на нее донес.

Тотчас ее схватили
И в город увезли;
Что ж с нею учинили,
Узнать мы не могли.

Вот пятый год в исходе,—
Охти нам! — как об ней
Ни слуха нет, ни духа,
Как канула на дно».

Что делать? Как ни больно...
Но вечно ли тужить?
Несчастный муж, поплакав,
Женился на другой.

Сей витязь и поныне,
Друзья, еще живет;
Три года, как в округе
Он земским был судьей.

1791

К ТЕКУЩЕМУ СТОЛЕТИЮ

О век чудесностей, ума, изобретений!
Позволь пылинке пред тобой,
Наместо жертвоприношений,
С благоговением почтить тебя хвалой!
Который век достиг толь лучезарной славы?
В тебе исправились испорченные нравы,
В тебе открылся путь свободный в храм наук;
В тебе родилися Вольтер, Франклин и Кук,
Румянцевы и Вашингтоны;
В тебе и естества познались законы;
В тебе счастливейши Икары, презря страх,
Полет свой к небу направляют,
В воздушных странствуют мирах
И на земле опять без крыл себя являют.
Но паче мне всего приятно помышлять,
Что начали в тебе и деньги уж летать.
О чудо! О мои прапращуры почтенны!
Поверите ли в том вы внучку своему,
Что медь и злато, став в бумажку превращенны,
Летят чрез тысячу и больше верст к нему?
Он тленный лоскуток бумажки получает
И вдруг от всех забот себя освобождает.

Уже и Шмитов он с терпеньем сносит взор;
Не слышит совести докучливый укор;
Не видит более в желаниях препоны,
Пьет кофе, может есть чрез час и макароны.

<1791>

ПОДРАЖАНИЕ ПРОПЕРЦИЮ

Вотще мы, гордостью безумною надменны,
Мечтаем таинства провидеть сокровенны
И в ясных небесах планету зреть свою!
С парфянами ли мы, с британцами ль в бою,
На суше ль, на валах перуны в них бросаем,
Когда и как умрем?.. увы, того не знаем:
Пределы смертного известны лишь богам!
Нет, не возможно знать в жару сраженья нам,
Тогда как смерть равно с обеих стран карает,
Кому бессмертных суд победы лавр вручает!
Мы ведаем лишь то, что рок неизбежим,
Что всюду с нами смерть, хотя ее не зрим,
И что погибельны везде ее удары:
Землетрясение, болезни, яд, пожары
Лишают жизни нас и в недрах тишины,
В той самой хижине, в которой рождены.
Но рок свой предузнать старание напрасно!
Единый только тот, который любит страстно,
Имеет оный дар, чтоб ведать свой предел,
Не вострепещет он быть целью вражьих стрел;
Без страха под собой разверстое зрит море,
Когда Борей с волнами в споре,
И с треском молнии сверкают в небесах.
Вотще пред ним Харон на черных парусах
Стигийский мутный ток поспешно рассекает
И новой до́бычи алкает!
Предстань очам его, любезная, в тот час;
Взгляни с умильностью, простри свой нежный глас,
Скажи ему: «Живи!» — и во мгновенье ока
Счастливый смертный сей увидит паки свет...
Любовь, любовь сильней вседействующа рока,
Любовь отъемлет жизнь и оную дает!

<1792>

СЛАБОСТЬ

Мне Хлоя сделала решительный отказ.
В досаде на нее и горести безмерной,
Вчера я говорил: «Уже в последний раз
Был в доме легковерной!»
А ныне поутру, не знаю как и сам,
Опять я там!

<1792>

ГОЛУБОК

Подражание Анакреону

Прекрасный голубчик! Скажи мне, отколе,
Куда и к кому ты столь быстро летишь?
Душист ты, как роза, цветущая в поле;
Кого ты, голубчик, кого веселишь?

Голубок

Я служу Анакреону,
А любезный сей певец
Получил меня в награду
От Венеры за стихи;
С той минуты, как ты видишь,
Письма я его ношу,
И теперь лечу к Батиллу,
Кто пленяет всех сердца.
Господин мой обещает
Скоро дать свободу мне,
Но, хотя бы то и сделал,
Я останусь все при нем.
Что за радость мне летати
По полям и по горам,
Укрываться на деревьях
И питаться чем-нибудь,
Если я во всем доволен,
Хлеб клюю всегда из рук
Самого Анакреона
И вино с ним вместе пью?

Пью за ним из той же чаши,
А насытясь им, вспрыгну
На его тотчас я темя
И тихохонько кружусь,
А потом его крылами
Я своими обойму
И, слегка спустясь на лиру,
Забываюся и сплю.

<1792>

К МЛАДЕНЦУ

Дай собой налюбоваться,
Мила крошечка моя!
С завистью, могу признаться,
На тебя взираю я.

Ты спокойно почиваешь
И ниже во кратком сне
Грусти, горести не знаешь,
День и ночь знакомых мне.

Лишь проснешься, прибегают,
С нежной радостью в глазах,
Мать, отец тебя лобзают
И качают на руках.

Все в восторге пред тобою,
Всех ты взоры веселишь,
Коль улыбкой их одною
Или взглядом подаришь.

Чувство горести бессильно
Долго дух твой возмущать;
Приголубь тебя умильно,
И опять начнешь играть.

Часто слезы теплы льются
И сердечушко дрожит,
А уста уже смеются.—
О незлобный, милый вид!

Но, увы! дни быстро мчатся,
Вступишь в возраст ты другой,
Рок и страсти ополчатся,
И прости твой век златой!

Ах! я опытом то знаю,
Сколько я сердечных слез
Проливал и проливаю,
Сколько муки перенес!

Смерть родных и сердцу милых,
Страсти, немощь, хлад друзей...
Часто в мыслях я унылых
Жизни был не рад моей.

Но скреплюся и отселе,
Если снова загрущу,
При твоей я колыбеле
Томно сердце облегчу.

Так твои веселы взгляды,
Твой спокойный, милый зрак
Пролиют мне в грудь отрады
И души рассеют мрак.

О невинность! ты, как гений,
Шлешь целение сердцам!
Я, хоть несколько мгновений,
Был теперь невинен сам.

И давно погибшу радость
В бедном сердце ощутил.
Милый ангел мой, ты младость
Хоть на час мне возвратил!

<1792>

ЭЛЕГИЯ

Коль надежду истребила
В страстном сердце ты моем,
Хоть вздохни, тиранка мила,
Ты из жалости по нем!

Дай хоть эту мне отраду,
Чтоб я жизнь мою влачил,
Быв уверен, что в награду
Я тобой жалеем был!

Если б в нашей было воле
И любить и не любить,
Стал ли б я в злосчастной доле
Потаенно слезы лить?
Нет! на ту, котора к гробу,
Веселясь, мне кажет путь,
За ее жестокость, злобу,
Не хотел бы и взглянуть.

Но, любовь непостижима,
Будь злодейкою моей —
Будешь все боготворима,
Будешь сердцу всех милей.
О жестокая! любезна!
Смейся, смейся, что терплю!
Я достоин... участь слезна!
Презрен, стражду и... люблю!

<1794>

ЭЛЕГИЯ

Подражание Тибуллу

Пускай кто многими землями обладает,
В день копит золото, а в ночь недосыпает,
Страшася и во сне военныя трубы,—
Тибулл унизился б, желав его судьбы;
Тибулл в убожестве, незнатен... но доволен,
Когда он в хижинке своей спокоен, волен,
Живет с надеждою, с любовию втроем
И полный властелин в владении своем.
Хочу, и делаю: то в скромном огороде
Душисты рву цветы и гимн пою природе;
То тропки по снуру прямые провожу,
То за прививками младых дерев хожу;
То гряды, не стыдясь, сам заступом копаю;
А иногда волов ленивых загоняю;

Иль весело бегу с барашком на руках,
Который позабыт был матерью в лугах.
Богам усердный жрец, я первенцы земные
Всегодно приношу на алтари святые:
Палесе жертвую домашним молоком,
Помоне каждым вновь родившимся плодом;
А пред тобой всегда, Церера златовласа,
Я вешаю венок, сплетенный мной из класа.
О Лары! некогда я в жертву приносил
Прекрасных вам тельцов: тогда... богат я был!
А ныне и овна считаю важным даром.
Но я и в бедности благодаренья с жаром
Любимого из них закланию предам;
Да воскурится пар от жертвы к небесам
При песнях юности беспечной и веселой,
Просящей от небес вина и жатвы зрелой!
Услышьте, боги, наш сердечный, кроткий глас
И скудные дары не презрите от нас!
Первоначальный дар, вам, боги, посвященный,
Простейший был сосуд, из глины сотворенный.

Я о родительском богатстве не тужу;
Беспечно дней моих остаток провожу;
Работаю, смеюсь, иль с музами играю,
Или под тению небесной отдыхаю,
Которая меня прохладою дарит.
Сквозь солнца иногда дождь мелкий чуть шумит:
Я, слушая его, помалу погружаюсь
В забвение и сном приятным наслаждаюсь;
Иль в мрачну, бурну ночь, в объятиях драгой,
Не слышу и грозы, гремящей надо мной.
Вот сердца моего желанья и утехи!
Пускай Мессале льстят оружия успехи,
Одержанные им победы на войне!
Пускай под лаврами, на гордом он коне,
С полками пленников, при плесках в Рим вступает
И славы своея лучами поражает;
А я... пускай от всех остануся забвен!
Пусть скажут обо мне, что робким я рожден,
Но Делии вовек не огорчу разлукой;
Одна ее слеза была б мне тяжкой мукой.
Прочь, слава! не хочу жить в будущих веках;

Пребудь лишь ты в моих, о Делия, глазах:
С тобой и дика степь Тибуллу будет раем;
С тобою он готов быть зноем пожигаем
И ночи на сырой земле препровождать.
Ах! может ли покой и одр богатый дать
Тому, кто одинок и с пламенной душою?
О Делия! я жизнь лишь чувствую с тобою;
Один твой на меня умильный, страстный взгляд
Бесценней всех честей, триумфов и наград!

Но все пройдет... увы! и Делии не станет!
Быть может... нет! пускай твой прежде друг увянет;
Пускай, когда чреда отжить ему придет,
Еще он на тебя взор томный возведет;
Еще, готовяся на вечную разлуку,
Дрожащею рукой сожмет твою он руку,
Вздохнет... и на твоей груди испустит дух.
О Делия! душа души моей и друг!
Ужель на мой костер ни слезки не уронишь?
Нет! сердце у тебя не каменно: ты стонешь,
Рыдаешь, Делия! — и нежные сердца
Желают моему подобного конца!

Исчезни, грустна мысль! Что будет, не минует:
Почто ж душа моя до времени тоскует?
Еще Сатурн моих не осребрил власов;
Еще я крепок, здрав, по благости богов;
Не унывай, Тибулл, и пользуйся годами!
Укрась чело свое ты свежими венками
И посвяти любви сей быстрый жизни час,
В который жаркий спор утехою для нас
И смелый, дерзкий шаг есть подвигом геройства:
Отважность и любовь — то молодости свойства.
Начальствую ль как вождь иль сам я предводим,
Равно я в сей войне велик, неутомим.
Сверни же предо мной знамена, Марс кровавой!
И не прельщай меня бессмертной в мире славой;
Готовь трофеи ты с увечьем для других:
Пред ними все венцы! я счастлив и без них;
Богатства не хочу, а нужное имею,
И, что всего милей — я Делией владею!

<1795>

СТИХИ НА ИГРУ ГОСПОДИНА ГЕСЛЕРА, СЛАВНОГО ОРГАНИСТА

О Геслер! где ты взял волшебное искусство?
Ты смертному даешь, какое хочешь, чувство!
Иль гений над тобой невидимо парит
И с каждою струной твоею говорит?
Сердца томного биенье,
Что вещаешь мне в сей час?,
Отчего в крови волненье,
Слезы капают из глаз?
Звук приятный и унылый,
Ты ль сему виною стал?
Ах! когда в глазах у милой
Я судьбу мою читал,
Сердце также млело, билось,
Унывало, веселилось
И летело на уста!..
Но что! Иль Феб или мечта
Играет надо мною?
Внезапу все покрылось тьмою;
Слышу лишь топот бурных коней,
Слышу гром с треском ядер возженных,
Свист стрел каленых, звуки мечей,
Вопли разящих, стон пораженных,
Тысячей фурий слышу я рев.
Прочь, прочь, ты жалость! смерть без пощады!
Ад ли разинул алчный свой зев?..
Увы! то одного отца несчастны чады,
То братия, забыв ко ближнему любовь,
То низши ангелы лиют друг друга кровь,
Дышáт геенною, природу попирают
И злобой тигров превышают?,
О смертны! о позор и ужас естества!
Вы ль это дело рук и образ божества!
Ах, не шли гонцов ко граду,
Верна, милая жена,
Погаси свою лампаду,
Ты навек уже одна!
Не напрасно предвещали
И тебе, нежнейша мать,
Сны ужасные печали:
Перестань уж сына ждать!

Перестань! Уж он страдает
С лютой смертию в борьбе,
Томным взглядом подзывает
Друга нежного к себе.
И с последнею слезою
«Друг,— вещает, не тоскуй!
Дай проститься... Бог с тобою!..
Бедну матерь... поцелуй»...
Сокройся от меня, терзательна картина,
Юдоль печалей, мук, о бедствующий мир!
Но чей я внемлю глас, сладчайший лебедина,
Нежнейший томных арф, стройнейший громких лир?
О коль величествен! Я с оным возвышаюсь!
Восторжен! к тверди восхищаюсь,
Уже над тучами парю!
Что чувствую и что я зрю?
Я солнцы зрю незаходимы;
Зрю солнца солнцев горний храм;
Там светодарны херувимы
Брящают по златым струнам,
В восторге распростерши крилы.
И движут стройные светилы.
О непостижность! что со мной?
Где смертного несовершенства?
Я в море плаваю блаженства!
Я вне себя! — Стой, Геслер, стой!..
Лишаюсь сил, изнемогаю...
И лиру пред тобой бросаю.

<1795>

СОНЕТ

Однажды дома я весь вечер просидел.
От скуки книгу взял — и мне сонет открылся.
Такие ж я стихи сам сделать захотел.
Взяв лист, марать его без милости пустился.

Часов с полдюжины над приступом потел.
Но приступ труден был — и, сколько я ни рылся
В архиве головной, его там не нашел.
С досады я кряхтел, стучал ногой, сердился.

Я к Фебу сунулся с стишистою мольбой;
Мне Феб тотчас пропел на лире золотой:
«Сегодня я гостей к себе не принимаю».

Досадно было мне — а все сонета нет.
«Так черт возьми сонет!» — сказал — и начинаю
Трагедию писать; и написал — сонет.

<1796>

НОЧЬ

В черной мантии волнистой,
С цветом маковым в руках
И в короне серебристой —
В тонких, белых облаках —
Потихоньку к нам спустилась
Тишины подруга, ночь,
Вечера и теней дочь.

Лишь на землю появилась,
Все покрыла темнотой.
Шум, тревоги улетели,
Не поладив с тишиной.
Замолчали тут свирели,
Птички песен не поют.
Спят зефиры, дремлют рощи,
Ручейки чуть-чуть текут.

Милый спутник тихой нощи,
Сон слетел за нею вслед.
Нежною своей рукою
Манит от трудов к покою
И рекой обильной льет
Усыпленья не́ктар сладкой.

Из-за облачка украдкой
Смотрит скромная луна.
Серебро свое она
То в заснувший луг бросает
Сквозь березовых листов,
То лучом своим играет
Со струями ручейков.
Я не сплю — и наслаждаюсь
Ночи сладкой тишиной,

И природою прельщаюсь.
Клоя, друг любезный мой!
Ах! зачем я не с тобой
Ночи сладостью питаюсь?
Ах! Зачем тебя здесь нет?
Ночь была б еще милее,
И луна тогда б щедрее
Рассыпала тихий свет.
Сокрываяся в лесочке
Иль качаясь на кусточке,
Песнею тебя своей
Забавлял бы соловей.

Приходи, мой друг сердечный,
Приходи в луга сии!
В здешней жизни скоротечной
Услаждай ты дни мои,
Дружбой услаждай своею!
Кто в сем мире одарен
Дружелюбною душею,
Тот и в горестях блажен.

<1796>

ПОДРАЖАНИЕ ПЕТРАРКУ

Поверит ли кто мне? — Всегда, во всех местах
Я слышу милую и вижу пред собою;
Она глядит из вод, она лежит в цветах,
Она мне говорит и дуба под корою,
Она и облачко поутру золотит,
Она в природе все и красит и живит.
О страсть чудесная! чем боле открываю
Угрюмой дикости в местах, где я бываю,
Тем кажется милей, прелестнее она;
Но ах, надолго ль, сей мечтой обольщена,
Блаженствует душа пылающая, страстна?
Минуту — и опять душа моя несчастна
Томится, и опять все меркнет для меня!
«Где Лора?» — ни она, никто не отвечает!..
И страждущий Петрарк на камень упадает
Без памяти, без чувств, так холоден, как он,
Лишь эхо отдает глухой и томный стон.

<1797>

ЭЛЕГИЯ

Возьмите, боги, жизнь, котору вы мне дали!
Довольно с юных лет я втайне воздыхал,
Но вечно горести, все новые печали...
Конец терпению!.. Я мучиться устал!
Рожденный всех любить без хитрости, без злобы,
Далек от пышности и почестей мирских,
Я счастье полагал во счастии родных,
И что же? — только их я обнимаю гробы!
Увы, и этой мне отрады не иметь!
Любезный, милый брат, ты в сердце лишь остался,
Не буду твоего и праха даже зреть:
Далеко от своей ты родины скончался.
Супруга, мать, сестры тебя всечасно ждут,
А ты последнее дыханье испускаешь;
Ни стону вкруг тебя, ни вздохам не внимаешь,
И хладною рукой во гроб тебя кладут.
О, тягостный удар, невозвратима трата!
Что в сердце мне теперь? Одна любовь лишь брата
Могла в него бальзам успокоенья лить...
И брата больше нет... ах, полно, полно жить!

1798

ЭКСПРОМТ

(На игру г-на Дица)

Что слышу, Диц! смычок, тобой одушевленный,
Поет, и говорит, и движет всех сердца!
О сын Гармонии, достоин ты венца
И можешь презирать язык обыкновенный! [1]

1798

ПУТЕШЕСТВИЕ

Начать до света путь и ощупью идти,
　　　　На каждом шаге спотыкаться;
К полдням уже за треть дороги перебраться,

[1] Это сказано было в то время, когда г. Диц перестал говорить, но не переставал восхищать своею скрипкою.

Тут с бурей и грозой бороться на пути,
Но льстить себя вдали какою-то мечтою;
Опомнясь, по́д вечер вздохнуть,
Искать пристанища к покою,
Найти его, прилечь и наконец уснуть...
Читатели! загадки в моде;
Хотите ль ключ к моей иметь?
Все это значит в переводе:
Родиться, жить и умереть.

<1803>

АМУР И ДРУЖБА

«Сестрица, душенька!» — «Здорово, братец мой!»
— «Летал, летал!» — «А я до устали шаталась!»
— «Где взять любовников? все сгибли как чумой!»
— «Где други? ни с одним еще не повстречалась!..»
— «Какой стал свет!» — «Давно уж это говорят».
— «Все клятвы на песке!» — «Услуги в обещанье!
Под именем моим *Корысть* боготворят».
— «А под моим — *Желанье*».

<1803>

ЗАГАДКА

Нет голоса во мне, а все я говорю
И худо и добро; сержусь, благодарю,
Хвалю, браню и ложь и правду разглашаю,
И в тысяче местах вдруг слышен я бываю;
Всегда и важен и шутлив,
Умен и глуповат, и дурен и красив;
Еженедельно я иль в месяц возрождаюсь,
И только лишь рожусь, в продажу отпускаюсь.
Я братьями богат, названье нам одно;
Однако в свете мы зовемся не равно.
Узнали? Нет? Еще прибавим:
У нас нет матери, зато
Мы сотни две отцов представим,
И это не причтет в обиду нам никто,
Я бел и сер, легок, бездушен и собою
Во многом сходствую с молвою.

<1803>

К МАШЕ

Я не архангел Гавриил,
Но, воспоен пермесским током,
От Аполлона быть пророком
Сыздетства право получил.
Итак, внимай, новорожденна,
К чему ты здесь определенна:
Ты будешь маменьке с отцом
Отрадой, счастьем, утешеньем,
Любезна пола украшеньем,
И в добронравьи образцом;
Ты будешь без красы приятна,
Без блеска острых слов умна,
Без педантизма учена,
Почтенна и без рода знатна,
И без кокетства всем мила,
Какою маменька была,—
Вот мой урок и похвала,
Едва ли не впоследни пета!..

Когда ты, Маша, расцветешь,
Вступая в юношески лета,
Быть может, что стихи найдешь —
Конечно, спрятанны ошибкой,—
Прочтешь их с милою улыбкой
И спросишь: «Где же мой поэт?
В нем дарования приметны».
Услышишь, милая, в ответ:
«Несчастные недолголетны;
Его уж нет!»

<1803>

ПРИЗНАНИЕ

Темира! виноват; ты точно отгадала.
Прости! все лгал перед тобой:
Любовь моя к другой,
А не к тебе пылала;
Другою день от дня,
Час от часу прельщался боле;

Другой по всем местам искал я поневоле,
Жестокости ее кляня.
Равно и в песнях нет ни слова,
Которое бы я от сердца написал:
«Прелестная! мой бог! жестокая! сурова!» —
Всем этим я тебя для рифмы называл.
Так точно я вздыхал, лил слезы пред тобою,
А в сердце занят был тогда совсем другою.
Да что в тебе и есть? согласен, милый взгляд...
Отменной белизны зубов прекрасных ряд...
Густые волосы, каких, конечно, мало:
Для трех бы граций их достало...
Две ямки на щеках, вместилище зараз...
Любезность, ум — и все тут было —
Пустое, чтоб кому из нас
Все это голову вскружило!

<1803>

СПОР НА ОЛИМПЕ

Юпитер

Прочь, слабое дитя! не будь в моих очах!
Иль гряну громом — и ты прах!

Амур

Для лука моего Перун твой не опасен:
Дитя, как я, и сам ужасен.

Юпитер

Надменный, видишь ли гигантов жребий злой,
Попранных громовой стрелой?

Амур

А ты, гремящий бог, взгляни на прелесть Леды —
И будь же лебедь, в знак победы!

<1803>

ГРУСТЬ

Влеком унынием сердечным,
Пойду я с лирой в те места,
Где сном дарит природа вечным,
Где спит и скорбь, и суета.

Там добродетельной Эльвиры
Над прахом слезы я пролью
И с тихим звуком томной лиры
К безмолвным теням воспою:

Мир вечный вам! вкушайте сладость
Спокойства в пристани от бед;
Теперь для вас печаль и радость
Уже ничто: для вас их нет!

Уже вам боле не ужасны
Удары, пораженья злых,
Ни тайны ковы не опасны,
Ни явное гоненье их.

Уже никто судом бесчинным
Не может дух ваш отравить,
Из чистых, правых сделать винным
И в сердце острый меч вонзить.

Нет! сердце в вас уже не бьется,
Оно спокойно всякий час,
Уже оно не отзовется
Ниже любезнейшей на глас.

Чувствительный! вкушай отраду,
Сверша теченье бурных дней;
Не бойся сладкого ты яду
Обворожающих очей;

Не бойся более презренья
И колких порицаний ты
В награду твоего смиренья,
Незлобна сердца простоты.

Ах! долго ли и мне, несчастну
Здесь страннику, влачить мой путь?
Когда пройду я степь ужасну?
Пора, пора уж отдохнуть!

<1803>

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Любовник в первый день признаньем забавляет;
Назавтра — говорят: несносно докучает;
На третий слушают, не поднимая глаз;
В четвертый — с робостью отказ;
На пятый — слабое упорство и смятенье;
В шестой — ни да, ни нет, и страх, и сожаленье;
В седьмой — без головы;
В осьмой — увы!

1803

СТАРИННАЯ ЛЮБОВЬ

Баллада

Как мило жили в старину!
Бывало, в теремах высоких
В кругу красавиц чернооких
Певцы поют любовь, войну,
Любви и храбрости победы!
Но мы не так живем, как деды!
И пенье смолкло в теремах.

Дай для красавиц я спою,
Как в старину певцы любили.
Бывало, и меня хвалили!
Напомним молодость свою.
Жил-был когда-то вождь великой
С своею дочкой Миловикой
Во белокаменной Москве.

Бояры, витязи, князья
Вкруг Милолики увивались;
Но тщетно счастием ласкались:
Никто не мог тронуть ея,
Никто, кроме певца младова!
Она таилась, он ни слова;
Но у любви есть свой язык.

Певец лишь только по ночам
Под старой липой, близ светлицы,
Пел прелести своей царицы,
Бряцая лиры по струнам;
Душа его из уст летела!
Он пел, а Милолика млела
И воздыхала у окна.

Узнал о страсти их отец,
И гордость в нем вострепетала!
«Позор ты мой, не дочь мне стала!
О стыд! кто мил тебе?.. певец!»
Сказал — и в терем запирает.
Дочь только в мыслях отвечает:
«Что знатность! сердцу все равны!»

Она под стражей, а певец
И день и ночь на томной лире
Бряцает: «Нет мне счастья в мире!
Настал отрадам всем конец!
Увижусь ли еще я с милой?
Внемли, о небо, вопль унылой:
Отдай ее иль смерть пошли!»

Поет он день, поет другой,
На третий — утренне светило
Несчастну жертву озарило:
Отец низводит дочь с собой;
Она... едва на труп взглянула,
Увы!.. в последний раз вздохнула.
Красавицы! песнь эта — быль.

<1805>

ЛЮДМИЛА

Идиллия

Старик

Кого мне бог послал среди уединенья?

Пастушка

Я, дедушка, со стороны;
Иду до ближнего селенья
На праздник красныя весны.

Старик

Чего же ищешь ты под тению кусточков?

Пастушка

Богатой ленты нет, так я ищу цветочков,
Чтоб свить себе венок и скрасить мой наряд:
Там есть красавица Людмила, говорят.

Старик

Но знаешь ли, где ты, соперница Людмилы?

Пастушка

Не ведаю...

Старик

Ты рвешь цветы с ее могилы.

<1805>

ФИЛЕМОН И БАВКИДА

Вольный перевод из Лафонтена

Ни злато, ни чины ко счастью не ведут:
Что в них, когда со мной заботы век живут?
Когда дух зависти, несчастным овладея,
Терзает грудь его, как вран у Промефея?
Ах, это сущий ад! Где ж счастье наконец?
В укромной хижине: живущий в ней мудрец
Укрыт от гроз и бурь, спокоен, духом волен,
Не алча лишнего, и тем, что есть, доволен;
Захочет ли за луг, за тень своих лесов
Тень только счастия купить временщиков?
Нет, суетный их блеск его не обольщает:
Он ясно на челе страдальцев сих читает,
Что даром не дает фортуна ничего.
Придет ли к цели он теченья своего,
Смерть в ужас и тоску души его не вводит:
То солнце после дня прекрасного заходит.

Примером в этом нам послужит Филемон.
С Бавкидой с юных лет соединился он;
Ни время, ни Гимен любви их не гасили:
Четыредесять жатв вдвоем они ходили
За всем в своем быту, без помощи других.
Все старится; остыл любовный жар и в них —
Однако в нежности любовь не ослабела
И в чувствах дружества продлить себя умела.
Но добрых много ли? Разврат их земляков
Подвигнул наконец на гнев царя богов:
Юпитер сходит к ним с своим крылатым сыном —
Не с громом, не в лучах, а так, простолюдином,
Под видом странника,— и что ж? Везде отказ,
Везде им говорят: «Нам тесно и без вас,
Ступайте далее!» Отринутые боги
Пошли уже назад, как влеве от дороги,
Над светлым ручейком, орешника в тени,
Узрели хижину смиренную они
И повернули к ней. Меркурий постучался.
В минуту на крыльце хозяин показался.
«Добро пожаловать!— сказал им Филемон.—
Вы утрудилися, дорожным нужен сон —
Ночуйте у меня, повечеряя с нами;
Спознайтесь с нашими домашними богами:
Они скудельные, но к смертному добры.
У предков был и сам Юпитер из коры,
Но менее ль за то они в приволье жили?
Увы! теперь его из золота мы слили,
А он уже не так доступен стал для нас!
Бавкида! там вода; согрей ее тотчас;
Поставим хлеб и соль; мы скудны, но усердны;
Дай все, что боги нам послали милосердны!»
Бавкида хворосту сухого набрала,
Потом погасший огнь в горнушке разгребла
И силится раздуть. Вода уже вскипает;
Хозяин путников усталых обмывает,
Прося за медленность его не осудить;
А чтоб до ужина им время сократить,
Заводит с ними речь, не о любимцах счастья,
Не о влиянии и блеске самовластья,
Но лишь о том, что есть невинного в полях,
Что есть полезного и лучшего в садах.

Бавкида между тем трапезой поспешает,
Стол ветхий черепком сосуда подпирает,
Раскидывает плат, кидает горсть цветов
И ставит хлеб, млеко и несколько плодов;
Потом худой ковер, который сберегала
На случай праздников, по ложу разостлала
И просит на него возлечь своих гостей.
Уже они, среди приветливых речей,
За вечерей вином усталость подкрепляют;
Но сколько ни пиют, вина не убавляют.
Бавкида, Филемон недвижимы стоят,
Со изумленьем друг на друга мещут взгляд,
И оба с трепетом пред путниками пали.
По чудодействию легко они познали
Того, кто вздымет бровь и зыблет свод небес!
«О боже!— Филемон дрожащий глас вознес.—
Прости невольного минуту заблужденья!
И мог ли смертный ждать такого посещенья?
О гость божественный! где взять нам фимиам?
Прилична ль наша снедь, толь скудная, богам?
Но чем и самый царь их угостит достойно?
Простым усердием: вот все, что нам пристойно!
Пусть море и земля им пиршество дадут:
Всесильные ему дар сердца предпочтут».
Бавкида с речью сей беседу оставляет
И входит в огород; там перепел гуляет,
Которого сама взлелеяла она;
Признанием к богам и верою полна,
Уже она его во снедь для них готовит;
Уже дрожащими руками птичку ловит,
Но птичка от нее ушла к стопам богов,
И милосердный Дий невинной дал покров.

Меж тем вечерня тень с гор пала на долины.
«Чета! иди за мной,— сказал отец судьбины.—
Сейчас свершится суд: на родину твою
Весь гнева моего фиал я пролию
И смерти все предам! пусть злые погибают:
Ни хижин, ни сердец они не отверзают».
Бессмертный рек и, горд, к хребту направил путь;
И ветр, предвестник бурь, ужасно начал дуть.
Бавкида, Филемон, на посох опираясь,
Под тяжкой древностью трясясь и задыхаясь,

Едва-едва идут; но с помощью богов
И страха взобрались на ближний из хребтов.
Вдруг сонмы грозных туч под ними разразились
И с шумом реки вод губительных пустились.
Вал гонит вал и мчит все, что ни попадет:
Скот, кущи и людей... исчезли, следа нет.
Бавкида родине вздох сердца посвящает
И взором, полным слез, у бога вопрошает:
«Пусть люди... но почто животных он казнит?»
Но чудо новое внезапу их разит:
Явился пышный храм, где куща их стояла;
Обмазка — мрамором, солома златом стала,
И тяжкие столпы по всем ее бокам
В минуту вознесли главы ко облакам!
Внутрь храма был везде представлен на порфире.
В страх будущим векам, сей дивный случай в мире—
Невидимо ваял все это божий перст.
Супруги мнят, что им Олимп уже отверст:
В смятенье, вне себя, на все кругом взирают.
«Бог, велий в благости!— потом они вещают.—
Мы видим храм; но кто служители ему?
Кто будет возносить к престолу твоему
Молитвы путников? О, если бы мы оба
Могли сподобиться в сем званьи быть до гроба!
О, если бы при том и гений смерти нас
Коснулся обоих в один и тот же час,
Чтоб мы друг пó друге тоски не испытали!»
— «Да будет так,—сказал им бог,—как вы желали!»
И было так. Теперь дерзну ль поведать вам
О том, чему едва могу поверить сам?
В день некий путники в ограде сей божницы
С благоговением стояли вкруг двоицы
И слушали ее о бывших чудесах.
«Издревле,—Филемон вещал им,—в сих местах
Была весь грешников, жилище нечестивых;
Но Дий не потерпел сих извергов кичливых:
Он рек, настал потоп и всех их потребил.
Остались только мы — так бог благоволил!»
Тут Филемон взглянул на кроткую супругу.
И что? уже она, простерши руки к другу,
Вся изменяется, приемлет древа вид!
Он хочет ей сказать, обнять ее спешит;
Нет сил поднять руки, уста его немеют;

Супруга и супруг равно деревенеют;
Пускают отрасли, готовятся цвести;
Друг другу говорят лишь мыслию: прости!
Один предел и срок власть божья им послала:
Муж праведный стал дуб, Бавкида липой стала;
И зрители, все враз воскликнув: чудеса!—
В молчаньи набожном глядят на небеса.

Предание гласит, что к сим древам священным,
Под тяжестью даров бесчисленных согбенным,
Супруги на поклон текли из дальних стран,
По слуху, что им дар чудотворенья дан;
И те, которые к ним с верой приходили,
В цвету и в зиму дней друг друга век любили.

<1805>

СТАНСЫ

Я счастлив был во дни невинности беспечной,
Когда мне бог любви и в мысль не приходил;
О возраст детских лет! почто ты был не вечной?
Я счастлив был.

Я счастлив был во дни волшебств, очарований,
Когда любовью свет и красен лишь и мил;
Дождуся ли опять толь сладостных мечтаний?
Я счастлив был.

Я счастлив был во дни надежды, уверенья,
Когда Клярисы взгляд меня животворил;
Одни желания уж были наслажденья!
Я счастлив был.

Я счастлив был во дни восторгов непрерывных
И сердцу милых бурь! Как я тогда любил!
Увы! тогда не пел я в песнях заунывных:
Я счастлив был.

<1805>

ЛЮБЛЮ И ЛЮБИЛ

Люблю — есть жизнью наслаждаться,
Возможным счастьем упиваться,
Всех чувств в обвороженьи быть.

Любил же — значит: *полно жить!*
Яснее: испытать собою,
Что клятвы — слов каких-то звон;
Что нежность — хитрости игрою;
Невинность — маска; счастье — сон!

<1805>

МАДЕКАССКАЯ ПЛЕННИЦА

А м п а н а н и

Младая пленница! не проклинай войну;
Забудь отечество: не ты, но я в плену!
Твой взор мне столько ж мил, как первый луч
денницы.
Но что! ты слезы льешь сквозь длинные ресницы?

В а й н а

Жаль друга, государь!

А м п а н а н и

А где же он?

В а й н а

Убит,
Иль может быть, в сию минуту он бежит.

А м п а н а н и

Я заменю его.

В а й н а

Ах, другу нет замены!
Зри слезы, царь, мои.

А м п а н а н и

Они мне драгоценны!
Что хочешь ты сказать, небесна красота?

В а й н а

Он целовал меня и в очи и в уста;
Спал на груди моей... он в сердце и поныне.

Ампанани

Довольно; я хочу покорствовать судьбине;
Но, Вайна, вот покров: сокрой им от меня
Ты прелести свои!

Вайна

Пускай пойду, стеня,
Дражайшего искать средь трупов убиенных
Или скитаться с ним в пустынях отдаленных.

Ампанани

Ступай, куда тебя звезда твоя ведет;
Да будет милая хранима небесами!
Да проклят тот, кому желание придет
Похитить поцелуй, уступленный с слезами!

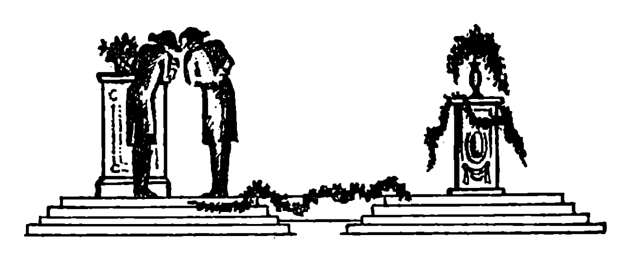
<1810>

ПЛАВАНИЕ

Морские чудища взвозилися толпами;
Волненье, шум! Матрос по вервиям бежит;
Готовьтесь, молодцы! товарищам кричит.
Взбежал и размахнул проворными руками,
В невидимой сети повиснул, как паук,
Стрегущий ткань свою в движениях ея.
О радость! Ветр! Корабль как с удила сорвался;
Зашевелился, раскачался,
Ныряет в пенистых зыбях...
Подъемлет выю, топчет волны;
Челом бьет облак, мчится к небу,
И ветр он забрал под крыло,
С ним вместе и поэт средь бездны
Уносится порывом мачты;
Надулся дух его, как парус, и с толпой,
Невольно, шумным он восторгам предался;
Соплещет спутникам, припал на край громады
И грудью мнит ее движенью помогать.
О, как ему легко и любо!
Отныне только он узнал
Завидную пернатых долю!

1827





Мадригалы. Надписи Эпитафии. Эпиграммы

Мадригалы. Надписи. Альбомные стихи

* * *

Прелестна Грация, служáщая Венере,
Или, по крайней мере,
Субреточка подобной ей,
Прими в знак дружбы ты моей
В подарок веер сей,
Могущий быть тебе заменою Зефира...
Когда Амур, властитель мира,
Или, ясней сказать, любовь
Прольет свой сладкий огнь в твою чистейшу кровь,
Когда он по твоим всем жилкам разольется
И новое твое сердчишечко забьется,—
Припадков таковых, Анюта, не страшись.
Прибегни к вееру, машись, машись, машись
И вмиг почувствуешь в крови своей прохладу,
Единую, увы, для ваших сестр отраду.

<1791 — ?>

К КЛИМЕНЕ, КОТОРАЯ СПРАШИВАЛА МЕНЯ, МНОГО ЛИ КРАСАВИЦ ВИДЕЛ Я В КОНЦЕРТЕ

Красавиц не видал, да их и не бывало;
Пригожих несколько, иль очень, очень мало;
Прелестной ни одной,—
Но вижу я теперь ее перед собой.

1791

* * *

По чести, от тебя не можно глаз отвесть;
Но что к тебе влечет?.. загадка непонятна!
Ты не красавица, я вижу... а приятна!
Ты б лучше быть могла; но лучше так, как есть.

<1795>

Задумчива ли ты, смеешься иль поешь,
О Хлоя милая! ты всем меня прельщаешь:
Часам ты крылья придаешь,
А у любви их похищаешь.

<1795>

СТИХИ ПО ПРОСЬБЕ ОДНОЙ МАТЕРИ НА ДВУХ ЕЕ ДЕТЕЙ

Прочь, затеи стихотворства!
Я уж вас не призову,
Ныне вижу без притворства
Двух амуров наяву.

Больше милы, чем прекрасны,
Точно их любезна мать,
И, что лучше, не опасны,
Можно их расцеловать.

О Филлида! утешайся
Даром сим благих небес
И отнюдь не огорчайся,
Что уже твой май исчез.

И природой, и судьбою
Столько быв награждена,
Будь довольна, и с тобою
Будет вечная весна.

<1795>

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ

Что мне об ней сказать?
К другим и я, бывало,
Легко мог надписи писать,
Но милую хвалить, как ни хвали,— все мало!

<1797>

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ

Лишь взглянешь на нее, захочешь ты узнать;
Узнавши, будешь обожать.

<1797>

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ

Одним тебя стихом, любезна, опишу;
Ты все мне — я тобой и вижу, и дышу.

<1797>

К ВЕНЕРИНОЙ СТАТУЕ

Из антологии

Парис и Марс, о том ни слова,
И Адонис, когда хотел,
Меня видали без покрова;
Но как увидел Пракситель?

<1797>

МАДРИГАЛ
ДЕВИЦЕ, КОТОРАЯ СПОРИЛА СО МНОЮ, ЧТО МУЖЧИНЫ СЧАСТЛИВЕЕ ЖЕНЩИН

«Мужчины счастливы, а женщины несчастны,—
Селеста милая твердит.—
Их рок прелестною свободою дарит,
А мы всегда подвластны».

Так что ж? Поспорю в том, прекрасная, с тобой,
Я вольность не всегда блаженством почитаю:
Скажи: *ты сердцу мил!* — свободу и покой
Тотчас на цепи променяю.

<1797>

НАДПИСЬ К АМУРУ

Стреляй, о милый враг, в два сердца, не в одно;
А иначе навек несчастливо оно.

1798

А. Г. С <ЕВЕРИНОЙ> В ДЕНЬ ЕЕ РОЖДЕНИЯ

Вступая в новый год, любезная Климена,
Не бойся, чтоб в судьбе твоей произошла
Какая перемена;
Ты будешь завсегда приятна и мила,
И лет твоих считать друзья твои не станут:
Душой прекрасные не вянут.

1798

МАДРИГАЛ

Нет, Хлоя! не могу я страсти победить!
Но можно ли тебя узнать и не любить?
Ах! ты даешь мне ум, воспламеняешь к славе,
Рассеиваешь грусть и исправляешь в нраве;
Год жизни я отдам за этот райский час,
Чтоб видеть мне тебя, чтоб слышать мне твой глас,
И часто мысль одна: *увижу завтра Хлою* —
Уже на целый день веселья мне виною.

<1803>

К АМУРУ

Кто б ни был ты, пади пред ним!
Был, есть иль должен быть владыкой он твоим.

<1803>

НА СЛУЧАЙ ПОДАРКА ОТ НЕИЗВЕСТНОЙ

Нечаянный мне дар целую с нежным чувством!
Лестнее сердцу он лаврового венца.
Кто ж та, которая руки своей искусством
Почтила... в старости счастливого певца?
Не знаю, остаюсь среди недоумений!
Так будь же от меня ей имя: *добрый гений.*

1805

СТИХИ В АЛЬБОМ Е. С. О<ГАРЕВОЙ>

Поэту ль своего таланта не любить?
Как смертный, осужден к премене повсечастной,
Он старится, но все принадлежит прекрасной:
Не в сердце, так в ее альбоме будет жить.

<1810>

К АЛЬБОМУ КН. Н. И. К<УРАКИНОЙ>

Что пред соперницей Эраты наше пенье!
Она лишь голосом находит путь к сердцам,
Я лиру положу К<уракиной> к ногам
И буду сам внимать в безмолвном восхищенье.

<1810>

В АЛЬБОМ ШИМАНОВСКОЙ

Таланты все в родстве; источник их один,
Для них повсюду мир; нет ни войны, ни грани,—
От Вислы до Невы чрез гордый Апеннин
Они взаимно шлют приязни братской дани.

9 декабря 1822, Москва.

В АЛЬБОМ Г-ЖИ ИВАНЧИНОЙ-ПИСАРЕВОЙ

Счастливый Писарев! Мне ль, старцу, близ могилы
В альбоме грации страницу занимать
Между младых певцов?.. Но грации так милы!
Любимец их так добр!.. Не смею отказать.

1836

НАДПИСЬ <К ПОРТРЕТУ> КНЯЗЮ АНТИОХУ ДИМИТРИЕВИЧУ КАНТЕМИРУ

Се князь изображен Молдавский Кантемир,
Что первый был отцом *российскиих* сатир,
Которы в едкости Боаловым равнялись
И коих остротой читатели пленялись.

Но только ль что в стихах он разумом блистал?
Не меньше он и тем хвалы достоин стал,
Что дух в нем мудрого министра находился:
И весь *британский* двор политике его дивился.

1777

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ Н. А. БЕКЕТОВА

Воспитанник любви и счастия богини,
Он сердца своего от них не развратил,
Других обогащал, а сам как стоик жил
И умер посреди безмолвныя пустыни.

1794

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ИВАНА ИВАНОВИЧА ШУВАЛОВА

С цветущей младости до сребряных власов
Шувалов бедным был полезен;
Таланту каждому покров,
Почтен, доступен и любезен.

<1797>

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ДРЕВНЕГО РУССКОГО ИСТОРИКА НЕСТОРА

Постигнув с юных лет тщету и скоротечность,
Сей инок житие пустынное избрал,
И, кроясь от живых, он взором обнимал
Минувшее и вечность.

1801

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ КНЯЗЯ ИТАЛИЙСКОГО

Суворова здесь лик искусство начертало,
Да ведают его грядущи времена:
Едина царства им не стало [1],
А трем корона отдана.

<1803>

НАДПИСЬ К ЕГО ЖЕ ПОРТРЕТУ

Се росс, агарян бич, сарматов покоритель,
Защитник Австрии, Италии спаситель.

<1803>

К ПОРТРЕТУ М. М. ХЕРАСКОВА

Пускай от зависти сердца в зоилах ноют;
Хераскову они вреда не нанесут:
Владимир, Иоанн [2] щитом его покроют
И в храм бессмертья проведут.

<1803>

---

[1] Польша.
[2] Две эпические его поэмы.

<К ПОРТРЕТУ> Г. Р. ДЕРЖАВИНА

Державин в сих чертах блистает;
Потребно ли здесь больше слов
Для тех, которых восхищает
Честь, правда и язык богов?

<1803>

<К ПОРТРЕТУ> М. Н. МУРАВЬЕВА

Я лучшей не могу хвалы ему сказать:
Мать дочери велит труды его читать.

<1803>

<К ПОРТРЕТУ Н. М. КАРАМЗИНА>

Вот милый всем творец! иль сердцем, или умом
Грозит тебе он пленом:
В Аркадии б он был счастливым пастушком,
В Афинах — Демосфеном.

<1803>

<К ПОРТРЕТУ П. И. ШАЛИКОВА>

Янтарная заря, румяный неба цвет;
Тень рощи; в ночь поток, сверкающий в долине;
Над печкой соловей; три грации в картине —
Вот все его добро... и счастлив! он поэт!

<1803>

* * *

Вот мой тебе портрет; сколь счастлив бы я был,
Когда б ты иногда сказала:
«Любезней и умней его я многих знала;
Но кто меня, как он, любил?»

<1803>



НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ

Смейтесь, смейтесь, что я щурю
Маленьки мои глаза,
Я уж видел, братцы, бурю,
И знакома мне гроза.
Побывал и я средь боя,
Видел смерть невдалеке,
Так не стыдно для покоя
Погулять и в колпаке.

<1803>

<К ПОРТРЕТУ> ГРАФА ВИТГЕНШТЕЙНА

Целуйте вы сей лик,
О матери семейств, и вы, отроковицы!
Не страшен боле враг спокойствию столицы:
Суворова стоит на страже ученик [1].

1812

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ЛИРИКА

Потомство! вот Петров,
Счастливейший поэт времен Екатерины:
Его герои — исполины;
И сам он по уму и духу был таков.

1826

[1] В Отечественную войну 1812 года граф Витгенштейн стоял с корпусом между Ригой и Псковом.

Эпитафии

* * *

Когда и дружество струило слез потоки,
На мраморе сии начертывая строки,
Что ж должны чувствовать, увы, отец и мать?..
О небо!.. и детей ужасно нам желать!

<1795>

Ф. М. Д<УБЯНСКОМ>У

Любезного и прах останется ль безвестным?
Дубянского был дар — гармонией прельщать;
Страсть — дружба и любовь; закон — быть добрым, честным;
А жребий — бурну жизнь в пучине окончать [1].

1796

В. А. В<ОЕЙКОВ>У

Здесь тихая могила
Прах юноши взяла;
Любовь его сразила,
А дружба погребла.

<1799>

В. И. С.

Быть может, мудреца сей памятник не тронет;
Но друг к нему простреt умильный, слезный взгляд;
Но добрый, нежный сын всегда над ним восстонет,
И бедный... вспомнит час отрад.

<1803>

---

[1] Он утонул в Неве.

НАДГРОБИЕ
И. Ф. БОГДАНОВИЧУ, АВТОРУ «ДУШЕНЬКИ»

Привесьте к урне сей, о грации, венец:
Здесь Богданович спит, любимый ваш певец.

1803

НАДГРОБИЕ
И. Ф. БОГДАНОВИЧУ, АВТОРУ «ДУШЕНЬКИ»

В спокойствии, в мечтах текли его все лета,
Но он внимаем был владычицей полсвета,
И в памяти его Россия сохранит.
Сын Феба! возгордись: здесь муз любимец спит.

1803

И. Ф. БОГДАНОВИЧУ, АВТОРУ «ДУШЕНЬКИ»

На урну преклонясь вечернею порою,
Амур невидимо здесь часто слезы льет
И мыслит, отягчен тоскою:
«Кто *Душеньку* мою так мило воспоет?»

1803

ЭПИТАФИЯ
КНЯЗЮ А. М. БЕЛОСЕЛЬСКОМУ-БЕЛОЗЕРСКОМУ

Пусть Клио род его от Рюрика ведет,—
Поэт, к достоинству любовью привлеченный,
С благоговением на камень сей кладет
Венок, слезами муз и дружбы орошенный.

1809

НА КОНЧИНУ ВЕНЕВИТИНОВА

Природа вновь цветет, и роза негой дышит!
Где юный наш певец? Увы, под сей доской!
А старость дряхлая дрожащею рукой
Ему надгробье пишет!

1827

ЭПИГРАММА

Поверю ль я тебе, Кощей,
Что польза от всего на свете происходит?
Какую, например, кто пользу в том находит,
Что разоряешь ты людей?

<1791>

ЭПИГРАММА

«Почто ты Ма́зона[1], мой друг, не прочитаешь?»
— «Какая польза в том?»—«Ты сам себя узнаешь».
— «А ты его читал?»
— «Два раза».—«Хорошо ж, что я не начинал».

<1791>

НА СМЕРТЬ ПОПУГАЯ

Любезный попугай! давно ли ты болтал
И тем Климену утешал!
Но вот уж ты навек, увы, безгласен стал!
Султан и попугай — все в мире умирает.
Ах, пусть хоть чучела твоя напоминает
Вралям, которые все врут,
Что также и они со испущеньем духа
К отраде ближних слуха
Досадные уста когда-нибудь сомкнут!

1791

ЭПИГРАММА

«Кто хочет, тот несчастья трусь!—
Философ говорил.— Ко отвращенью бедства
Я знаю верны средства:
Я в добродетель облекусь».
— «Ну, подлинно!— сказал невежда.—
Вот сама легкая одежда!»

<1791>

[1] Иоанна Мазона о познании самого себя.

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ

Глядите: вот Ефрем, домовый наш маляр!
Он в списываньи лиц имел чудесный дар,
И кисть его всегда над смертными играла:
Архипа — Сидором, Кузьму — Лукой писала.

1791

* * *

И это человек?
О времена! о век!

1791

ЭПИГРАММА

«Он врал — теперь не врет».
Вот эпитафия, когда Бурун умрет.

1791

ЭПИГРАММА

Мне лекарь говорил: «Нет, ни один больной
Не скажет обо мне, что не доволен мной!»
«Конечно,— думал я,— никто того не скажет:
Смерть всякому язык привяжет».

<1791>

ЭПИГРАММА

«Дамон! Кто бытию всевышнего не верит,
Тот, верно, лицемерит».
— «Нет, случай Рифмина лишь произвесть возмог,
А Локка и Боннета — бог».

<1795>

ЭПИГРАММА

«Завидна,— я сказал,— Терситова судьбина:
Чин знатный, и что год, то дочь ему иль сына!»
— «Да, он не без друзей,— ответствовали мне,—
И при дворе и при жене».

<1795>

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ

Возможно ль, как легко по виду ошибиться!
Когда б знаком я не был с ним,
То, право, бы готов божиться,
Что это вощаной на вербе херувим.

<1795>

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ

«Ай, как его ужасен взор!—
Бормочет швед.— Он горче хрена!»
— «Ах, как он мил»,— твердит Климена.
Как разрешить сей странный спор?
И тот и та, конечно, правы:
Любимец граций он и славы.

<1795>

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ

Родятся лилии, родятся мухоморы —
Глядишь, безмолвствуешь и потупляешь взоры.

<1795>

ЭПИГРАММА

Хорош бы Фока был, да много говорит;
Привыкши турков бить, он и своих морит.

<1797>

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ

Чей это, боже мой, портрет?
Какими яркими чертами
Над впалыми ее глазами
Натиснуты все сорок лет!

<1803>

БЛИЗНЕЦЫ

«Кого вам надобно?»—«Я дом ищу *Разврата*».
— «Которого, сударь? их в городе два брата».
— «Богатого».—«Как тот, так и другой богат».

— «Не очень складного».—«Не молодец и брат».
— «Он крут обычаем».—«И тот, избави боже!»
— «Жена красавица».—«И у другого тоже».
— «Короче, тот рогат, которого ищу».
— «Какой же случай!.. я молчу».

<1803>

ЭПИГРАММА

«Я разорился от воров!»
— «Жалею о твоем я горе».
— «Украли пук моих стихов!»
— «Жалею я об воре».

<1803>

ЭПИГРАММА

«Увы,— Дамон кричит,— мне Нина неверна!
Лукавый пол! твой дар лишь только лицемерить!
Давно ли *мужем* мне своим клялась она?..»
— «И *мужем*?.. можно ль не поверить!»

<1803>

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ

Какой ужасный, грозный вид!
Мне кажется, лишь скажет слово,
Законы, трон — все пасть готово...
Не бойтесь, он на дождь сердит.

<1803>

* * *

Здесь бригадир лежит, умерший в поздних летах.
Вот жребий наш каков!
Живи, живи, умри — и только что в газетах
Осталось: *выехал в Ростов.*

<1803>

СУПРУЖНЯЯ МОЛИТВА

Один предобрый муж имел обыкновенье,
Вставая ото сна и отходя ко сну,
Такое приносить моленье:
«Хранитель ангел мой! спаси мою жену!
Не дай упасть ей в искушенье!
А ежели уж я... не дай про то мне знать!
А если знаю я, то дай мне не видать!
А если вижу я, даруй ты мне терпенье!»

<1803>

ЭПИГРАММА

«Кто как ни говори, а Нина бесподобна!
Прелестна — в сторону, но как она умна!
С каким познаньем! как скромна!
Как горлинка, незлобна!
Какая добра мать, как любит всех друзей!»
— «И мужа?»—«Ну... он сносен ей».

<1805>

ЭПИГРАММА

Поэт Оргон, хваля жену не в меру,
В стихах своих ее с Венерою сравнял.
Без умысла жене он сделал мадригал
И эпиграмму на Венеру!

<1805>

ЭПИГРАММА

Как! Рифмин жив еще и телом и душой?
А я уже сказал: ему и нам покой!

<1805>

* * *

«Что легче перышка?»—«Вода»,— я отвечаю.
«А легче и воды?» — «Ну, воздух».— «Добрый знак!
А легче и его?»—«Кокетка».—«Точно так!
А легче и ее?»—«Не знаю».

<1805>

ЭПИТАФИЯ

«Полвека стан его возили в сей юдоле!»
— «И только?»—«А чего ж вам боле?»

<1805>

* * *

Прохожий, стой! во фрунт! скинь шляпу и читай:
«Я воин, грамоты не знал за недосугом.
Направо кру́гом!
Ступай!»

<1805>

НАДПИСЬ К АМУРУ

С тех пор как нежный пол смеется сердца стонам,
Амур в моем саду грозит одним воронам.

<Между 1814 и 1818>

ЭПИТАФИЯ ПОПУГАЮ

Увы, здесь погребен мой милый попугай.
Где красота и где дар слова?
Прохожий говорун! Вздохни о нем и знай:
Он слишком говорил, но не во вред другого.

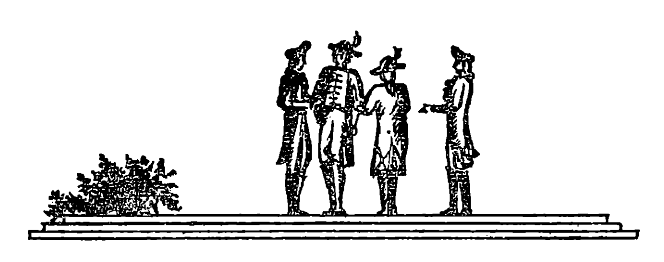
1828

ЭПИТАФИЯ

Под хладной кочкой сей Вралева хладный прах,
Бог с ним! Он был и сам так холоден в стихах.

1828





Литературно-полемические, сатирические, шуточные стихотворения

ГИМН ВОСТОРГУ

Восторг, восторг души поэта!
Ты мчишь на дерзостных крылах
По всем его пределам света!
Тобой теперь он на валах
И воздувает пенны горы;
Тобою вмиг в чертог Авроры,
Как быстра мошка, возвился —
И вмиг стремглав падет в долину,
Где нет цветов, окроме крину,
В которой Ганг с Невой слился...
И в тот же миг — дрожу и млею!
Между эфиром и землею
С хребтов кавказских, льдяных гор,
Куда не досягает взор,
Сквозь мерзлы облака вещает,
Как чрево Этны, ржет, рыгает!
Уже не смертного то глас,
Големо каждое тут слово,
Непостижимо, громко, ново,
Соплещет сам ему Пегас!
Уже не слышны лирны струны,
Но токмо яркие перуны,
Вихрь, шум, рев, свист, блеск, треск,
гром, звон —
И всех крылами кроет сон!

<1792>

ЭПИГРАММА <НА А. И. КЛУШИНА>

О Бардус! [1] не глуши своим нас лирным звоном;
Молвь просто: человек... смесь Бардуса с Невтоном.

1793

ЭПИГРАММА <НА Н. М. ШАТРОВА>

Коль разум чтить должны мы в образе Шатрова,
Нас, боже, упаси от разума такова.

1794

<ПЕСНЯ>

Я моськой быть желаю,
Всегда чтобы храпеть;
Нет нужды, что залаю
И что не буду петь.

В одном бы теплом фраке
Я круглый год ходил
И датской бы собаке
За лай презреньем мстил.

Не видел бы отмены
Пред аглицким щенком
В приемах от Климены,
Когда б попал к ней в дом.
Лизал бы ее ручки
Всегда с ним наравне,
И все бы были сучки
Равно любезны мне.

Коль моська б изменила,
К болонской бы пристал,
Не тратил бы чернила,
Элегий не писал.
Но в моську превратиться
Не можно мне вовек,
Так что ж пустым и льститься?
Пусть буду человек.

<1796>

---

[1] Автор поэмы на человека.

БЛАЖЕНСТВО

Блажен тот муж, кто к Безбородке
Не бродит с просьбой по утрам,
Но миленькой одной красотке
Приносит в жертву фимиам;

Кто к почестям, чинам не падок
И пышной жизнью не прельщен,
Не знает крымских лихорадок,
Ни смрада магистратских стен,

Кто Келлера страшится взора,
От Машек с Ульками бежит
И в доме грабежа, раздора
Над банком в полночь не корпит.

Кто ныне к той любви не тает,
Не млеет завтра от другой,
Прелестных Остенш цену знает,
Но боле свой ценит покой,

И кто ни волей, ни неволей
Дел с ябедой не начинал,
Но, быв своей доволен долей,
Спокойно ел, и пил, и спал!

Он, как Михайлов, утучнится
И будет свеж, как брат его;
И даже ночью не приснится
Ему лихого ничего!

<Между 1794 и 1796>

ПЕСНЬ

Обманывать и льстить —
Вот все на разум правы!
Ах! как не возопить:
«О времена! о нравы!»

Друг только что в глазах,
Любовницы лукавы
И верны на словах —
О времена! о нравы!

Сын идет в дом сирен
Вкушать любви отравы;
Там тятя, старый хрен! —
О времена! о нравы!

Вдовы́ от глада мрут,
А театральны павы
С вельможей дань берут —
О времена! о нравы!

За слово и за взгляд
Текут ручьи кровавы;
Друг друга все едят —
О времена! о нравы!

Не полно ли, друзья?
Вам шутки и забавы,
А ведь ответчик я —
О времена! о нравы!

<1796>

НА СПУСК СТЕФАНИЕМ ТРЕХ ШАРОВ, В ПРИСУТСТВИИ ТРЕХ ЗНАТНЫХ ОСОБ

«Ну, видел спуск я трех шаров!»
— «Что ж было?» — «Вздулись и упали
Все в сторону — и проскакали
Куракин, Зубов и Орлов».

1798

НАДПИСЬ К ЕГЕРСКОМУ ДОМУ, КОТОРЫЙ ВЫСТРОЕН БЫЛ ЗА ГОРОДОМ

О дом, воздвигнутый Голицыным для псов!
Вещай, доколь тебя не испровергло время,
Что он всего собачья племя
Был истинный отец, блюститель и покров.

<Вторая половина 1790-х годов>

СТАРИННАЯ ШУТКА К ПОРТРЕТУ Н. М. КАРАМЗИНА

Он дома — иль Шолье, иль Юм, или Платон;
Со мною — милый друг; у Вейлер — Селадон;
Бывает и игрок — когда у Киселева,
А у любовницы — иль ангел, или рева.

<1790-е годы>

НА СЛУЧАЙ ОД, СОЧИНЕННЫХ В МОСКВЕ В КОРОНАЦИЮ

Гордись пред галлами, московский ты Парнас!
Наместо одного Лебреня есть у нас:
Херасков, Карамзин, князь Шаликов, Измайлов,
Тодорский, Дмитриев, Поспелова, Михайлов,
Кутузов, Свиньина, Невзоров, Мерзляков,
Сохацкий, Таушев, Шатров и Салтыков,
Тупицын, Похвиснев и наконец — Хвостов.

1801

ПАРОДИЯ НА ШАЛИКОВУ ЭПИТАФИЮ И. БОГДАНОВИЧУ

Любовь любовию пленилась
И с Душенькой совокупилась,
А эта Душенька от душечки родилась,
И сердце наконец
Без сердца для сердец
Их связно связь изобразило.
Читатель! Что ж бы это было?
Кто отгадал? спрошу вас я:
Галиматья!

1803

НА СМЕРТЬ ИППОЛИТА ФЕДОРОВИЧА БОГДАНОВИЧА

«О чем ты сетуешь, прелестная Харита?»
— «Увы! С любимым я певцом разлучена!
Послали смерть Петру [1], ошибкою она
Сразила Ипполита».

1803

ЭПИТАФИЯ ЭПИТАФИЯМ

Прохожий! пусть тебе напомнит этот стих,
Что все *на час* под небесами:
Поутру плакали о смерти мы других,
А к вечеру скончались сами.

1803

ПАРОДИЯ НА СЛОВА

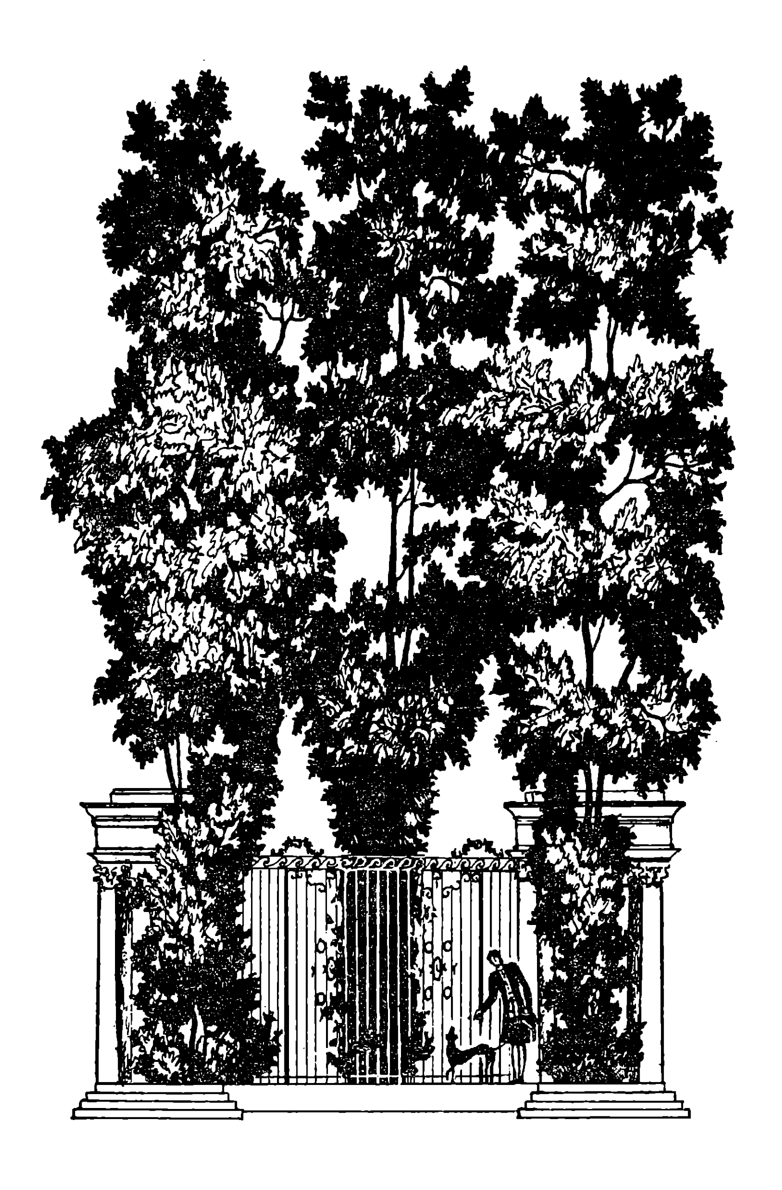
Сотворивший небо и землю, тот, который и проч. рек, сотворил нам бессмертного и — Петра Великого, явился, и творец восплескал творению своему. Храм славы сгромождения П. Ю. Львова

Седящий на мешках славяно-русских слов,
От коего мы спим, а цензоры зевают,
Кто страшен грациям, кого в листочках Львов,
А Павлом Юрьичем домашни называют,
Рек сам себе: «Я врать досель не уставал,
Так подурачимся ж еще мы для забавы».
Он рек — и вмиг свахлял из щепочек
«Храм славы!»
Сотиньус, рот разинув, пал,
А Львов вприсядку заплясал.

1803

---

[1] П. И. Богданович, бывший книгопродавец и плохой издатель журналов.



ПУТЕШЕСТВИЕ N. N. В ПАРИЖ И ЛОНДОН, ПИСАННОЕ ЗА ТРИ ДНИ ДО ПУТЕШЕСТВИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Друзья! сестрицы! я в Париже!
Я начал жить, а не дышать!
Садитесь вы друг к другу ближе
Мой маленький журнал читать:
Я был в Лицее, в Пантеоне,
У Бонапарта на поклоне;
Стоял близехонько к нему,
Не веря счастью моему.
Вчера меня князь Д<олгоруко>в
Представил милой Рекамье [1];
Я видел корпус мамелюков,
Сиеса, Вестриса, Мерсье [2],
Мадам Жанлис, Виже, Пикара [3],
Фонтана, Герля, Легуве [4],
Актрису Жорж и Фиеве [5];
Все тропки знаю булевара,
Все магазины новых мод;
В театре всякий день, оттоле
В Тиволи и Фраскати, в поле [6].
Как весело! какой народ!
Как счастлив я! — итак, простите!
Простите, милые! и ждите
Из области наук, искусств
Вы с первой почтой продолженья,
Истории без украшенья
Идей моих и чувств.

---

[1] *Представил милой Рекамье.* Рекамье — жена парижского банкира, прославившаяся красотой своей.

[2] *Сиеса, Вестриса, Мерсье.* Первый сенатор, игравший в революцию важную ролю; второй — славный танцовщик, а третий — давно известный писатель.

[3] *Мадам Жанлис, Виже, Пикара.* Первая — сочинительница романов и нескольких книг о воспитании; второй — приятный стихотворец; последний — лучший комический писатель нынешнего времени.

[4] *Фонтана, Герля, Легуве.* Три известные стихотворца.

[5] *Актрису Жорж и Фиеве.* Последний — сочинитель прекрасного романа и писем об Англии.

[6] *В Тиволи и Фраскати, в поле.* Так называются два гульбища.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Против окна в шестом жилье,
Откуда вывески, кареты,
Все, все, и лучшие лорнеты
С утра до вечера во мгле,
Ваш друг сидит еще не чесан,
И на столе, где кофь стоит,
«Меркюр» и «Монитер» разбросан,
Афишей целый пук лежит:
Ваш друг в свою отчизну пишет;
А Журавлев уж не услышит! [1]
Вздох сердца! долети к нему!
А вы, друзья, за то простите
Кое-что нраву моему;
Я сам готов, когда хотите,
Признаться в слабостях моих;
Я, например, люблю, конечно,
Читать мои куплеты вечно,
Хоть слушай, хоть не слушай их;
Люблю и странным я нарядом,
Лишь был бы в моде, щеголять;
Но словом, мыслью, даже взглядом
Хочу ль кого я оскорблять?
Я, право, добр! и всей душою
Готов обнять, любить весь свет!..
Я слышу стук!.. никак за мною?
Так точно, наш земляк зовет
На ужин к *нашей же* — прекрасно!
Сегюр у ней почти всечасно:
Я буду с ним, как счастлив я!
Пришла минута и моя!
Простите! время одеваться,
Чрез месяц, два — я, может статься,
У мачты буду поверять
Виргилиеву грозну бурю;
А если правду вам сказать,
Так я глаза мои защурю
И промыслу себя вручу.
Как весело! лечу! лечу!

---

[1] *А Журавлев уж не услышит*. Почтенный старик, который незадолго перед тем умер и дружен был с путешественником.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Валы вздувалися горами,
Сливалось море с небесами,
Ревели ветры, гром гремел,
Зияла смерть, а N. N. цел!
А N. N. наш в коротком фрачке,
В Вестминстере свернувшись в ком [1],
Пред урной Попа бьет челом;
В ладоши хлопает на скачке,
Спокойно смотрит сквозь очков
На стычку Питта с Шериданом,
На бой задорных петухов
Иль дога с яростным кабаном;
Я в Лондоне, друзья, и к вам
Уже объятья простираю —
Как всех увидеть вас желаю!
Сегодня на корабль отдам
Все, все мои приобретенья
В двух знаменитейших странах!
Я вне себя от восхищенья!
В каких явлюсь к вам сапогах!
Какие фраки! панталоны!
Всему новейшие фасоны!
Какой прекрасный выбор книг!
Считайте — я скажу вам вмиг:
Бюффон, Руссо, Мабли, Корнилий,
Гомер, Плутарх, Тацит, Виргилий,
Весь Шакеспир, весь Поп и Гюм;
Журналы Аддисона, Стиля...
И все Дидота, Баскервиля! [2]
Европы целой собрал ум!
Ах, милые, с каким весельем
Все это будет разбирать!
А иногда я между дельем
Журнал мой стану вам читать:
Что видел, слышал за морями,

---

[1] *В Вестминстере и проч.* Для некоторых напомню, что в этом аббатстве издавна погребаются короли и славные мужи.

[2] *И все Дидота, Баскервиля.* Также для некоторых: Дидот — славный французский типографщик, а Баскервиль — английский.

Как сладко жизнь моя текла,
И кончу тем, обнявшись с вами:
А родина... все нам мила!

<Конец 1804—1805>

НА ЖУРНАЛ «НОВОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ»

«Что за журнал?»
— «Не хватский».
— «Кто же читал?»
— «Посадский».
— «А издавал?»
— «Сохацкий!»

1804

НА ЖУРНАЛЫ

Как этот год у нас журналами богат!
И «Вестник от карел» и «Просвещенья сват»,
«Аврора» и «Курьер московский»,— не Европы,
И грузный «Корифей» — дорожник на Парнас...
Какой для чтения запас,
А более для <————>.

1805

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ О ЖУРНАЛЕ НА БУДУЩИЙ ГОД

Во славу троицы певцов
Журнал для толка, а не вкуса
Имеет быть и впредь в печатне Гиппиуса.
Хвостов. Кутузов. Салтыков.

1805

ЭПИГРАММА НА ПРИТЧУ «ГОСПОЖА И ТКАЧИ», НАПЕЧАТАННУЮ В ОДНОМ ЖУРНАЛЕ

Без имя Рифмодей глумился сколько мог
Над глупостью — хвалить в стихах *красивый* слог.

Не худо бы потом на вкус слепить сатиру,
А там и здравый смысл ухлопать в добрый час
И кончить тем свою поэтику для нас;
Тогда уж смело дуй в свою перунну лиру!

1805

НА РОЖДЕНИЕ ЛИРИКА

Пегас под бременем лирических творцов
С надсады упустил, и вылился Хохлов.

<Не позднее 1807>

ЭПИГРАММА <НА Д. И. ХВОСТОВА>

Подзобок на груди и, подогнув колена,
Наш Бавий говорит, любуясь сам собой:
«Отныне будет всем поэтам модным смена!
Все классики уже переводимы мной,
Так я и сам ученым светом
Достоин признан быть классическим поэтом!»
Так, Бавий, так! стихи, конечно, и твои
На лекциях пойдут в пример галиматьи!

<Не позднее 1807>

ОТВЕТ <М. Т. КАЧЕНОВСКОМУ>

Нахальство, Аристарх, таланту не замена;
Я буду все поэт, тебе наперекор!
А ты — останешься все тот же крохобор,
Плюгавый выползок из <гузна> Дефонтена.

1806

К МОЕМУ ЛИЦЕПОДОБИЮ

Ему плетет венец терновый Каллиопа,
А родина давно признала в нем Эзопа.

1806

<ЭПИГРАММА>

Не понимаю я, откуда мысль пришла
Клеону приписать *Фуфоновой* «Цирцею»?
        Цирцея хитростью своею
Героев полк в зверей оборотить могла,
А эта — мужа лишь, да и того в козла!

1806

БУДОЧНИК

Слушай всякий, кто с ушами,
Чтоб недаром я кричал.
Ночь усеяна звездами;
Било час, второй настал.

Спи, кащей, одним ты глазом,
А другим гляди востро:
Вор уж в се́нях; он как разом
Все утащит серебро.

Вместе ль ты, сосед, с женою?
Не кладися на запор:
Лезет гость к тебе трубою;
Черт на вымыслы провор.

Эй, рифмач! храпеть не дело
Над бумагой со свечой:
Долго ль вспыхнуть? Все сгорело!
Так и мне беда с тобой.

Частный! Слышишь ли, как вою,
Исполняя твой приказ?
Если нет, так я утрою
Для тебя в последний раз.

Слушай всякий, кто с ушами,
Чтоб недаром я кричал;
Темна ночь храпит над нами;
Било час, второй настал.

<1806—1807>

ТРИССОТИН И ВАДИУС

(*Вольный перевод из мольеровой комедии* «Les femmes savantes»)

Действие 3.
Явление 5.

Вадиус

Вы истинный поэт! скажу вам беспристрастно.

Триссотин

Вы сами рифмы плесть умеете прекрасно.

Вадиус

Какой высокий дух в поэзии у вас!
Я часто вашу мысль отгадываю в час.

Триссотин

А ваш в эклогах стих так прост, невинен, плавен!
И самый Теокрит едва ль вам будет равен.

Вадиус

Ах! в ваших басенках не меньше красоты;
Мы как условились срывать одни цветы.

Триссотин

Но ваши буриме... о! это верх искусства!

Вадиус

А в ваших мелочах какой язык и чувства!

Триссотин

Когда б отечество хотело вас ценить...

Вадиус

Когда б наш век умел таланты ваши чтить...

Триссотин

Конечно б вас листом похвальным наградили.

Вадиус

А вам бы монумент давно соорудили.

Триссотин

Дождемся, может быть.— Хотите ль, мой поэт,
Послушать строфы две?

Вадиус

Прочесть ли вам сонет.
На прыщик Делии?

Триссотин

Ах! мне его читали.

Вадиус

Известен автор вам?

Триссотин

Прозванья не сказали,
Но видно по стихам, что он семинарист:
Какие плоскости! Язык довольно чист,
Но вкуса вовсе нет; вы согласитесь сами.

Вадиус

Однако ж он хвалим был всеми знатоками.

Триссотин

А я и вам и им еще сказать готов,
Что славный тот сонет собранье рифм и слов.

Вадиус

Немного зависти...

Триссотин

Во мне? избави боже!
Завидовать глупцам и быть глупцом—все то же.

Вадиус

Сонет, сударь, хорош, скажу вам наконец;
А доказательство... я сам его творец.

Триссотин

Вы?

Вадиус

Я.

Триссотин

Не может быть; по чести, это чудо!
Конечно, мне его читали очень худо,
Иль я был развлечен.— Но кончим этот спор;
Я вам прочту рондо.

Вадиус

Парнасский, старый сор,
Над коим лишь себя педантам сродно мучить.

Триссотин

Так, следственно, и вам не может он наскучить.

Вадиус

Прошу, сударь, своих имен мне не давать.

Триссотин

Прошу и вас равно меня не унижать.

Вадиус

Пошел, тащись, тугой, надутый умоборец!

Триссотин

Пошел, ползи ты сам, водяный рифмотворец!

Вадиус

Пачкун!

Триссотин

Ветошник!

Вадиус

Враль!

Триссотин

Ругатель под рукой!

Вадиус

Когда бы не был трус, ты был бы сам такой.

Триссотин

Пошел проветривать лежалые творенья!

Вадиус

А ты ступай, беги просить у муз прощенья
За нестерпимый свой, проклятый перевод,
За изувеченье Горация...

Триссотин

Урод!
А ты каков с твоим классическим поэтом?
Стыдись пред справщиком, стыдись пред целым светом!

Вадиус

Но ни один журнал меня не оглашал,
А ты уже давно добычей критик стал.

Триссотин

Я тем-то и горжусь, рифмач, перед тобою;
Во всех журналах ты пренебрежен с толпою
Вралей, которые не стоят и суда;
А я на вострие пера их завсегда,
Как их опасный враг!

Вадиус

Так будь и мой отныне;
Сейчас иду писать в стихах о Триссотине!

Триссотин

И только их прочтут, зеваючи, друзья.
Пожалуй, мучь себя, не испугаюсь я
И гряну сам в стихах!

Вадиус

А мы им посмеемся.

Триссотин

Довольно! я молчу; на Пинде разочтемся!

<Не позднее 1807>

АМУР В КАРИКАТУРЕ[1]

Слуга покорный тем и этим в тот же час;
Закутан весь, как водолаз;
На лыжах — как остяк; как сатана — с рогами.
Амур ли то? Скажите сами!

1806—1807

НА МНОЖЕСТВО ДУРНЫХ ОД, ВЫШЕДШИХ ПО СЛУЧАЮ РОЖДЕНИЯ ИМЕНИТОЙ ОСОБЫ

О, тяжкой жизни договор!
О дщерь полубогов! нет и тебе свободы!
Едва родилась ты, что твой встречает взор?
Свивальники, сироп и оды!

<Не позднее 1807>

ПЛАН ТРАГЕДИИ С ХОРАМИ

Содержание

Лапландский князь, жених гренландския княжны,
В день свадьбы, простудясь, горячкой умирает.
Тревога, брачные свечи погашены,
Стон, слезы; наконец любовник оживает.

ПРОЛОГ

Музыкант

(приближаясь к кулисам, дает актерам знак к выходу)

Внемли и выступи, народ,
Попарно свой устроя ход!

(К актерам)

Вы помнить роль свою старайтесь!

(К фигурантам)

А вы! — вы с такты не сбивайтесь!

---

[1] Это пародия на известную французскую надпись «Sans armes comme l'innocence» (Безоружен, подобно невинности.— *фр.)* и проч.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КНЯЗЬ И КНЯЖНА.

Княжна

О, князь! итак, ты мой!

Князь

А ты моя, княжна!
Акт кончится, и ты со мной сопряжена!
О боги! о судьба! о счастие! о сладость!
Народ! пляши и пой! дели со мною радость!

Хор

Воспляшем, воспоем, докажем нашу радость!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Княжна

Ты болен, милый князь?

Князь

Озноб во мне и жар!

Княжна

Увы!

Князь

Прости!.. прости!
(Умирает)

Княжна

Несноснейший удар!
Завистливая смерть! о рок бесчеловечной!
Народ! пляши и пой в знак горести сердечной!

Хор

Воспляшем, воспоем в знак горести сердечной!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Гений спускается с облаков посреди грома и молнии.

Гений

Супруг твой оживет: прерви, царевна, стон!
Невинною трех парк ошибкой умер он.
О царь! будь паки жив!

Князь

(Встает)

Мои ли это ноги?
Княжну ль еще я зрю?.. О милосердны боги!

Княжна

Дражайший князь! пойдем, пойдем скорее
в храм!
Народ! пляши и пой похвальну песнь богам!

Хор

Возпляшем, воспоем похвальну песнь богам!
<1810>

ДЕТИ И МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ

Откуда визг и крик далече раздается?
Читатель рассмеется,
Когда ему скажу, что́ этому виной:
Ребята, на площадь собравшися толпой,
На воздух пузырьки в соломенку пущали;
Но игры детские не далеки от ссор:
Они за пузырьки в такой пришли задор,
Что начали игрой, а дракой окончали.
Не той ли важности у нас
В журналах авторские брани?
Воюют целый год за буки и за аз,
А мы зевотою за то им платим дани.
Некстати, а хвалю пример Карамзина:
Что ставит он в отпор хулителям? Беспечность.
Он зритель пузырей: и что же их война?
Зоилам *часовать*; его твореньям *вечность*.

Январь 1821



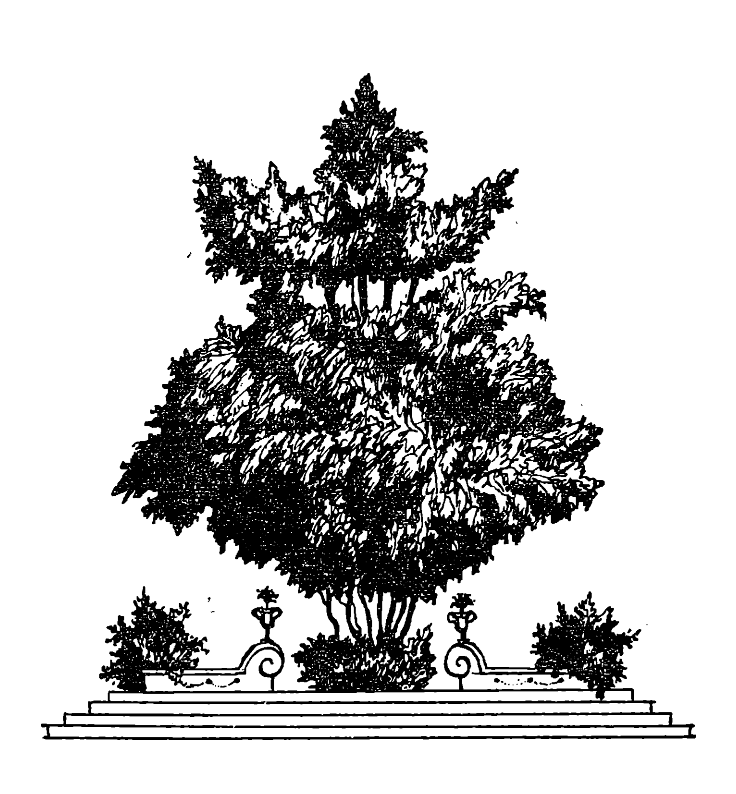
СТАТЬИ

•

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

•

ПИСЬМА





Статьи

О РУССКИХ КОМЕДИЯХ

Я не могу понять, отчего наши комические авторы привязались к провинциалам? Они по большей части пишут в столицах; нет никакого сомнения, чтоб самолюбие их не предпочло одобрения нескольких знатоков ненадежной похвале толпы зрителей, но можно ли угодить знатокам представлением какого-нибудь Фоки [1], комнатного шута, деревенского дворянина воеводской канцелярии или провинциального петуха в смешном наряде?

Правило комика есть забавлять и приносить пользу; какое же удовольствие найдет благовоспитанная девица, слушая ссору однодворца с его женою, брань дурака с дурою, которых каждое слово несносно для нежного слуха? Исправится ли молодой ветреник, полагающий всю свою славу в мотовстве, злоречии и уловлении невинности, или коварный хитрец, если автор подаст им совершенное понятие о пирушках [2] секретарей и посадских? Какая вообще нужда знатнейшей части публики: боярыне, боярину, первостатейному откупщику или заводчику,— какая польза им знать, что происходит в трактирах, на сельских ярмарках и в хижине однодворцев, которые известны только их старостам и управителям?

---

[1] Действующее лицо в комедии «Так и должно», которая, впрочем, имеет свое достоинство.

[2] Комедия «Судейские именины».

У них свои обыкновения, свои предрассудки и свои пороки; они хотят смеяться на счет себе подобных. Умей автор бережливым образом показывать каждому собственный его портрет в его соседе; умей говорить сердцу,— и тогда он может надеяться приносить одним невинную забаву, а другим пользу.

Истинный комик никогда не пожалуется, что Мольеры, Реньяры, Детуши ничего для него не оставили. Каждый народ имеет собственный характер; с каждым веком родятся новые глупости, новые предрассудки. Стоит ему только смотреть и размышлять, то на каждом шагу — в собраниях, на гульбищах, в беседах, в собственной даже семье своей — будет находить образцы для своих комедий; весь город — его училище. Сколько есть резких характеров, сколько смешных обыкновений, сколько важных мелочей, сколько вредных предрассудков, которые ни одним еще из наших комиков не были обнаружены!

Какую бы, например, сочинитель сделал услугу своим согражданам, если бы он изобразил живыми красками следствия браков, основанных не на взаимной любви, а на корысти; если бы добрым, но еще не опытным, женам показал бездну, в которую низвергает их малейшая неосторожность в обращении с соблазнителями, легчайшее к ним снисхождение, лишающее их без вины доверенности мужа, а иногда и доброй славы; если бы он научил мужей исправлять слабости жен своих дружескими советами и великодушными поступками, а не противоречием и колкими словами; если бы образумил хотя одного отца, представив ему на позорище молодого россиянина, который на одиннадцатом году отброшен был отцом и матерью в чужие краи и возвратился оттуда к огорчению родных и стыду соотечественников, представив его хладным к родителям, которых и черты уже изгладились в его памяти, чуждым к согражданам, коих обычаи ему неизвестны, неспособным ни к какой службе, потому что не знает отеческого языка и от привычки к независимой и тунеядной жизни почитает несносным малейшее повиновение. Для чего бы также не вывести на сцену и презренного эгоиста, притесняющего соседей для того, что они его бессильнее, обносящего достойных людей, чтоб заступить их место, бросившего жену свою,

потому что она уже перепродала ему свое имение, удаляющего от дочери женихов, чтоб замужеством ее не убавить своих доходов, которые расточает он с какою-нибудь Лаисою? Для чего бы не представить и заботливой жизни жалкого любовника всех знатных и случайных, со всею их свитою, который каждое утро справляется в календаре, нет ли чьих именин, чтоб успеть прежде всех с ними поздравить; который в полдень едет в пышной карете к графу, а в сумерки крадется переулками пешком к какому-нибудь шуту ее сиятельства; который сегодня зовет к себе на обед приятеля, а вечером, сходясь с ним в собрании, не смеет признать его даже и своим знакомцем, потому что не знает еще, в каком мнении приятель его у знатных?

Вот картины, достойные кисти комического автора, посвятившего свои дарования театру больших обществ! Если бы я думал писать пространно о всех недостатках, какие встречаются в большей части наших комедий, то мог бы, между прочим, сказать и о том, что достоинство комедии состоит в выдержанных характерах, в замысловатой и естественной завязке и развязке, в смешных положениях, в тонких шутках, в чистом разговоре, в интересе, который есть душа всякого сочинения, в моральной цели, а не в подлых и непристойных обиняках, заслуживающих всеобщее презрение, не в одном только плутовстве лакея и не в переодевании его по нескольку раз из ливреи в шугай, а из шугая в мундир. Но это не мое дело; я намерен был только заметить, что для нас несравненно приятнее и полезнее видеть на театре наших знакомцев, нежели тех, которых мы не знаем и не хотим знать.

1802

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ <ЖУРНАЛА «МОСКОВСКИЙ ЗРИТЕЛЬ»>

Вы намерены издавать журнал и заботитесь о том, как назвать его? Назовите, как вам угодно, лишь бы только журнал ваш был занимателен.

Ныне трудно быть журналистом: вкус очистился более, суждение стало разборчивее, взыскательнее; сколько

выходит журналов здесь и в Петербурге! Но много ли чтецов на них?.. Прочих журналов я не читал, итак, остановимся теперь и отдохнем на «Вестнике Европы». Это ежемесячное издание, беспристрастно скажу, есть лучшее и по слогу своему, и по содержанию. Без сомнения, вы думаете взять его за образец для своего журнала. Советую, но только в рассуждении слога. План его хорош, но для вас бескорыстен; привычка, предубеждение отдадут всегда преимущество образцу перед подражанием.

Постараемся лучше дать журналу вашему собственную физиономию. Мне хотелось бы видеть в нем более подлинников, чем переводов, более местного; хотелось бы, чтоб издатель его, как ревностный патриот, с пламенным сердцем и смелою рукою принялся за перо единственно для пользы земляков своих.

Вы живете в столице, где более разнообразия, более игры страстей, более условных законов, более предубеждений и, следственно, более случаев к замечаниям. Здесь одно слово старика или молодой женщины подадут повод к сочинению целого морального трактата. Часто разговоры двух простолюдинов на улице откроют наблюдателю черту народного характера или степень нынешней нравственности. Пускай журнал ваш будет хранилищем таковых наблюдений. Дайте знать молодым умникам, что гражданину отнюдь не предосудительно, как они думают, носить знак отличия, полученный за службу; что приятнее щеголять им, нежели шелковым чрез плечо снурком с прицепленным к нему лорнетом; уведомьте некоторых почтенных земляков своих, что они скоро могут получить понятие о сочинениях Карамзина, ибо многие из них уже переведены на французский язык; что они также могут выписать из Парижа и перевод записок мореходца нашего Сарычева.

Последуйте примеру Карамзина и Каченовского, будьте ходатаем за несчастных, разбуждайте чувствительность сограждан. Если вздох страждущего человечества не всегда доходит до высоких палат; если журнал ваш не попадет на мраморные камины, по крайней мере он будет в руках доброго поселянина, и вы доставите ему случай быть, по мере сил его, благотворителем; скажите вашу мысль и о новых русских эмигрантах,— я го-

ворю о тех, которые отъезжают на житье в чужие краи под предлогом, что там жить дешевле; напомните им, что отцы наши до такой степени себя не уничижали; что они живали соответственно своему роду, умели сберегать для детей и содрогнулись бы при одной мысли бежать от праха отцов своих.

Можете иногда сказать слова два и о состоянии в отечестве нашем художеств. Статья эта была бы не бесполезна: сколько мы видим здесь колонн, которыя ничего не подпирают, или полукруглых окошек и в верхнем, и в нижнем жилье, или разрисованных деревянных домов и заборов. Что скажет просвещенный иностранец о нашем вкусе? Но довольно! боюсь наскучить; заключим рецензией, важнейшею, как я уже сказал, частью журнала.

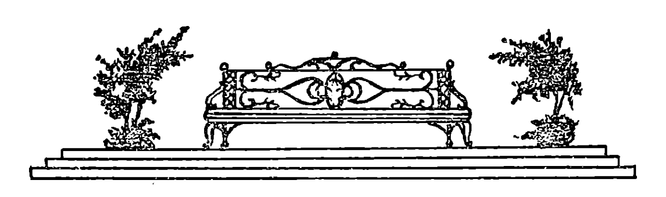
Я не соглашусь со многими, что критика не исправляет; что к усовершенствованию авторского таланта лучший способ — читать превосходные произведения, но кто же научит меня ловить красоту их? Кто предостережет меня от тех ошибок, в которые впадают иногда и знаменитые авторы? Кто, как не благоразумная критика? Итак, я желаю, чтоб она непременно была в вашем журнале. Старайтесь только быть истинным критиком; будьте судьею беспристрастным; умейте показывать нам, что прекрасно, что противу правил или вкуса и что несносно; представьте доводы, на которых вы основываете заключения ваши; сводите перевод с подлинниками; сличайте подражания и доказывайте, чем одно лучше другого. Доказывайте, повторяю, ибо критик никогда не должен хвалить или хулить решительно, не сказав, почему хорошо или дурно. Судите ли вы о стихотворной нелепости, под названием оды? Заметьте, что ода, конечно, требует приятного беспорядка, но никогда галиматьи; что она при наружном беспорядке своем имеет такой же строгий план, как и эпистола, как и поэма; что струны, перуны, блески, трески и пр. суть один только звук, если нет порядка в мыслях, чистоты в языке, точного определения каждому слову, благородства в выражениях, правильного рисунка и яркости в картинах, если нет души и во всей силе метафорического, божественного языка. Изложите пред лириком-самозванцем примеры из Горация, Пиндара, Руссо, Державина, Ломоносова и достойных их подражателей; заставьте его почув-

ствовать всю красоту их и всю гадкость своего рифмоплетения. Это же правило может руководствовать вас при разборе и других родов сочинений.

Я сказал все, что пришло мне на ум. Теперь остается вам все это обдумать и употребить в свою пользу. Пространнее о должности журналиста можете вы узнать из первого тома Вольтеровой «Смеси». Если вы станете поступать по правилам сего великого писателя; если вы надеетесь иметь все те способности, которые он почитает нужными необходимо для журналиста, то смело начинайте журнал и называйте его, как ни пришло: «Зрителем», «Аргусом» или «Котомкою»,— журнал ваш будут читать.

1806





Автобиографическая проза

ВЗГЛЯД НА МОЮ ЖИЗНЬ <ФРАГМЕНТЫ>

ВВЕДЕНИЕ

С лишком шестидесяти лет, я решился описать некоторые события, имевшие более или менее влияния на мою нравственность, на самое положение мое в обществе.

Может быть, со временем записки мои будут известны; может быть, некоторые из читателей моих обвинят меня в том, что я, скудный в делах и мыслях, по самолюбию моему мечтал равняться с значительными людьми и подобно им продлить о себе память.

Предупреждаю их, что совсем другие причины управляли пером моим: я и в молодых летах не бывал слишком рассеян. Вместо вседневных посещений театров, балов и многолюдных собраний любил более прогулки пешком и без товарища по загородным полям, по городским улицам, на площадях, где толпится народ; любил везде быть свободным невидимкою или сидеть за книгою, иногда же проводить время в кругу двух-трех приятелей по мыслям и по сердцу.

Теперь уже и по самой необходимости стал еще более домоседом: ноги отказываются служить мне, глаза мои тоже; старые связи перевелись; новые заводить трудно и не прочно. Пришлось искать занятий в самом себе и доживать воспоминанием.

Итак, приступая к моим запискам, я хочу разделить их на три части: в первой брошу взгляд на мое детство и воспитание; сказав несколько слов об моем юношестве,

пройду лучшую часть авторской моей жизни; упомяну о литераторах и поэтах, отличавшихся в то время на поприще нашей словесности. Исполню долг, приятнейший для благородного сердца, посвятить несколько строк и воспоминанию о тех, которые любили только *меня* со всеми моими недостатками и поучительным примером нравственной жизни своей были мои благотворители. Во второй и третьей опишу достопамятные для меня случаи в продолжение гражданского моего служения.

Москва, 1823. Июля 20 дня.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

Отчизна моя Симбирская губерния. Я родился в 1760 году, сентября десятого дня, в родовом нашем поместье, селе Богородском, в двадцати пяти верстах от окружного города Сызрана. На осьмом году возраста отвезен был родительницею моей в губернский город Казань к отцу ее, отставному полковнику Афанасью Алексеевичу Бекетову, и отдан в тот же пансион, в котором уже с год находился старший брат мой Александр, обучаться французскому языку, арифметике и рисованию.

В следующем году скончалась моя бабка, которой мать была природная шведка. Дед мой решился несколько месяцев прожить в Симбирске, бывшем тогда еще провинциальным городом Казанской губернии, чтобы в горести своей иметь отраду быть вместе с моею матерью и одним из сыновей своих. Уговорили и учителя нашего перевести свой пансион туда же; но его существование там продолжалось не далее 1772 года.

Учитель мой г. Манжень, французский мещанин, застал в Симбирске другой пансион, заведенный Лорансенем, бывшим французским офицером. Между обоими началось соперничество: ученики переходили от одного к другому. Кроткий Манжень, устав бороться с совместником, исполненным еще военного духа, закрыл свой пансион и съехал в деревню к богатому казанскому помещику Макарову, обучать его сына, бывшего впоследствии

игралищем фортуны и одним из остроумных наших писателей. Это Петр Иванович Макаров.

Прибавлю к слову, что некогда у того же Манженя обучался в детских летах и Михайло Никитич Муравьев, когда отец его жил в Казани. Учитель наш истощался пред нами в похвалах образцовому своему ученику, с жаром рассказывал нам о его добронравии, прилежности к учению, об его редкой памяти, и я, бывши еще отроком, начал уважать будущего писателя.

Около года пробыл я без учителя. Потом отдан был в новый пансион к г. Кабриту, отставному нашей службы поручику, воспитаннику Сухопутного кадетского корпуса. Впоследствии он уже был правителем канцелярии наместника Игельстрома и умер в Москве отставным надворным советником. В этом пансионе обучался я с старшим братом языкам французскому и немецкому, русскому правописанию и слогу, истории, географии и математике. Признаюсь, что я до того времени считался в последнем классе самым тупым учеником. От прежнего учителя моего, гарнизонного сержанта Копцева, я только и слышал непостижимые для меня слова: искомое, делимое; видел только на аспидной доске цифры и сам ставил цифры же наудачу, без всякого соображения; потом с робостию представлял учителю мою доску; он осыпал меня бранью, стирал мои цифры, ставил свои, и я спешил тщательно списывать их красными чернилами в мою тетрадку. Таким образом оканчивался каждый урок мой в математике, но под руководством Кабрита я начал понимать всю важность этой науки и в три месяца успел в ней более, чем у прежнего учителя Копцева в продолжение года.

Кабрит был очень мил в обращении с нами: во время уроков часто давал нам отдыхать, позволяя предлагать ему вопросы, всегда охотно отвечал на них, и сообщал между тем какие-либо полезные сведения; в детстве мы обыкновенно прельщаемся воинским нарядом: он объяснял нам обязанности чинов, рассказывал иногда военные анекдоты и знакомил нас с отличными того времени полководцами. Я любил и слушать его, и ему повиноваться. Никакой урок его не был мне в тягость. Особенно же я охотно занимался историческим и сочинением писем по его темам. Хотя и стыдно мне было иногда слышать смех учителя и старших учеников, когда я прочитывал

вслух сочиненную мною нелепость, но мысль, что я учусь сочинять, и надежда научиться писать лучше успокоивали оскорбленное мое самолюбие.

Ученье мое и здесь недолго продолжалось. Дошли до отца моего слухи, что умный и добрый Кабрит, которому тогда было 26 лет, платил дань слабостям своего возраста. Он испугался последствия худых примеров и взял нас из пансиона. Итак, на одиннадцатом году моей жизни прекратился решительно курс моего учения, когда я во французском языке не дошел еще до синтаксиса, а в немецком остановился на глаголах.

По выходе из пансиона я проживал при отце моем по нескольку месяцев в деревне во ста верстах от Симбирска и пользовался свободою гораздо меньше, чем в пансионе. Отец мой заставлял меня с братом под строгим своим надзором повторять старые наши уроки. Часто сам прослушивал нас в грамматике французской и немецкой; заставлял выучивать наизусть школьные (Colloquia scholastica) и домашние разговоры, изданные на трех языках еще в царствование императрицы Анны; или переводить из старинного же «Собрания писем» Вуатюра, Костара и Бальзака (да не встревожатся этим словом нынешние добровольные наши судьи в журналах!), отысканных им также в своей библиотеке.

Такой ход учения наводил на меня грусть и отвращение; тем более, что я уже с десяти лет набил голову мечтательными приключениями. В бытность мою еще в первом пансионе я уже прочитал «Тысячу <и> одну ночь», «Шутливые повести» Скаррона, «Похождения Робинзона Круза», «Жильблаза де Сантилана», «Приключения маркиза Г***» (1) *. По этой книге я получил первое понятие о французской литературе: читая, помнится мне, в третьем томе описание ученой вечеринки, на которую молодой маркиз и наставник его приглашены были в Мадриде, в первый раз я услышал имена Мольера, Буало, Лопец де Вега, Расина и Кальдерона, критическое о них суждение и захотел узнать и самые их сочинения; этому же роману обязан я и тем, что начал понимать и французские книги.

---

* Цифры в тексте воспоминаний отсылают к примечаниям, приложенным Дмитриевым к «Взгляду на мою жизнь» (см. с. 368—375).— *Ред.*

Дочитав четвертый том «Похождений маркиза Г***», узнал я, что последних двух томов еще нет в переводе. Это навело на меня грусть; сколько раз я вздыхал, что пришло мне оставаться в неизвестности об участи моих героев. «Не отчаивайся,— сказал мне однажды г. Руцкой, всегдашний наш гость и лекарь бывшего Московского Легиона, стоявшего тогда в Симбирске,— я пороюсь в моих французских книгах, не найду ли в них пятого и шестого тома». И что же? На другой день принес мне их в подарок! Как я был доволен! Этот день был для меня праздником! Но радость моя была минутная: в первый же вечер схватил я пятый том, пробежал в нем первую страницу, и понял только несколько слов, изредка легкую фразу, и не мог еще понимать полного содержания периода. Но чего не превозмогают настойчивость и терпеливость? Я положил, с помощию вояжирова лексикона, непременно прочитать от доски до доски оба тома. Приступя к исполнению, я день ото дня стал понимать более; при чтении шестого тома уже я почти не имел нужды в лексиконе. Наконец, этот отважный подвиг был для меня эпохою, с которой начал я читать французские книги уже не поневоле, а по охоте и впоследствии уже мог переводить Лафонтена.

Чтение романов не имело вредного влияния на мою нравственность. Смею даже сказать, что они были для меня антидотом противу всего низкого и порочного. «Похождения Клевеланда», «Приключения маркиза Г***» возвышали душу мою. Я всегда пленялся добрыми примерами и охотно желал им следовать.

Однажды, ехав из деревни в Симбирск, я сидел в коляске с моим братом; он молчал, и я тоже, окидывая между тем глазами с обеих сторон поля, дубравы и селения; вдруг пришло мне на мысль, отчего я так долго молчу и ни о чем не рассуждаю? Помню из книг, что молодой маркиз дорогою рассуждал в коляске с своим наставником; барон Пельниц с своим сыном, и Дон Фигероазо, или Уединенный Гишпанец, также с своими детьми; отчего же никакие предметы, никакой случай не возбуждают во мне размышлений? «Конечно, оттого,— думал я,— что они были умнее». При этом замечании мне стало грустно.

Еще в том же возрасте стал я знакомиться и с русской поэзией. Матушка любила стихотворения А. П. Су-

марокова. Живучи в Петербурге, она лично знала его. Поэт был в коротком знакомстве с родным братом ее, Никитою Афанасьевичем Бекетовым. Не считая трагедий «Гамлета», «Хорева», «Синава и Трувора» и «Аристоны», полученных ею в подарок от самого автора, она знала наизусть многие из других его стихотворений. Мне очень памятна минута, когда она в деревне пересказывала оду его, посвященную Петру Великому. Матушка сидела на канапе за ручною работою, а старший брат мой против ее на подножной скамеечке, и, держа на коленях лист бумаги, он записывал карандашом стих за стихом; я же, стоя за ним, слушал с большим вниманием, хотя и не все понимал — это было еще до вступления нашего во второй пансион, и тогда я едва ли не в первый раз услышал имена Париса и Авроры,— но помню, что при одном произношении слов «златого века», «утешения» я находил в этих стихах какую-то неизъяснимую для меня прелесть, гармонию и после несколько раз упрашивал брата повторить их, чтобы я мог вытвердить их наизусть.

С каким удовольствием вспоминал я эти стихи и вместе мое детство, когда чрез несколько лет после того, бывши унтер-офицером в петергофской команде, увидел я в первый раз Мон-Плезир и открытое море! С той минуты, пока находился в Петергофе, почти всякое утро я встречал восходящее солнце у домика Петра Великого. Опершись на балюстрад, или перилы, то глядел я на синее море, на едва видимый флот с кронштадтской рейды, то оборачивался к домику, осененному столетними липами, и мысленно повторял, уже с благоговейным умилением не к стихам, но к виновнику вдохновения:

Домик, что при самом море,
Где Парис в *златой* жил век,
Собеседуя *Авроре*,
Утешением нарек.

Столь же приятно мне вспоминать один вечер великой субботы, проведенный отцом моим посреди нашего семейства за чтением. Это также происходило в деревне, уже по выходе моем из последнего пансиона. В ожидании заутрени отец мой для прогнания сна вынес из кабинета собрание сочинений Ломоносова первого мо-

сковского издания и начал читать вслух известные строфы из Иова; потом «Вечернее размышление о величестве божием», в котором два стиха:

Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна...

произвели во мне новое, глубокое впечатление. Чтение заключено было «Одою на взятие Хотина». Слушая первую строфу, я будто перешел в другой мир; почти каждый стих возбуждал во мне необыкновенное внимание, хотя и неизвестно мне еще было, о какой говорится горе́:

Где ветр в лесах шуметь забыл,
В долине тишина глубокой;
Внимая нечто, ключ молчит и проч.

Потом третий стих в девятой строфе:

Мурза упал на *долгу тень*,—

полюбился мне верностью изображения. Тогда пришло мне на память, как, бывши еще ребенком и гуляя с мамкою по двору, забавлялся видом долгой тени своей. Но последние четыре стиха девятой строфы:

Над войском облак вдруг развился,
Блеснул горящим вдруг лицем;
Омытым кровию мечем
Гоня врагов, герой открылся...,

особенно же последние два в двенадцатой:

Свилася мгла, герои в ней;
Не зрит их око, слух не чует...—

исполнили меня священным благоговением. Я будто расторг пелены детства, узнал новые чувства, новое наслаждение и прельстился славой поэта.

С переездом отца моего из деревни в Симбирск он имел уже меньше досуга смотреть за нашим повторением старых уроков, а я более свободы читать все, что ни попадалось. У отца моего в гостиной всегда лежали на одном из ломберных столов переменные книги разных годов и различного содержания, начиная от «Велисария», соч<инения> Мармонтеля (II) до указов Екатерины Второй и Петра Великого. Даже и «Маргарит» (поучительные слова) Иоанна Златоустого, «Всемирная история» Барония и Острожская Библия стали мне известны

еще в моем отрочестве, по крайней мере по их названиям. Мне позволено было заглядывать в каждую книгу и читать, сколько хочу.

Последние два года моего отрочества протекли более в городе. Я уже находил удовольствие бывать чаще с моими родителями, особенно когда у нас случались гости, и вслушиваться в их разговоры. С гордостию могу сказать, что я вырос и состарился под шумом отечественной славы. Находясь в Казани, еще семилетним мальчиком я выбегал на нашу *Сарскую* улицу смотреть на проходящие отряды пленных польских конфедератов. Уже тогда затвержены были мною имена Пулавских, Потоцких и проч. С переселением нашим в Симбирск началась война с Оттоманскою Портою. Отец мой, получая при газетах реляции, всегда читывал их вслух посреди семейства. Никогда не забуду я того дня, когда слушали мы реляцию о сожжении при Чесме турецкого флота. У отца моего от восторга перерывался голос, а у меня навертывались на глазах слезы.

Симбирские обыватели, сколько я могу судить по воспоминаниям, наслаждались тогда совершенною независимостью: от дворянина до простолюдина, никто не нес другой повинности, кроме поставки в очередь своего бутошника и по временам военного постоя. Последний мещанин или цеховой имел свой плодовитый при доме садик, на окне в бурачке розовый бальзамин и ничего не платил за лоскуток земли, доставшейся ему по купле или от прадеда. <...> Первенствующие особы в городе были: комендант, начальник гарнизонного баталиона и воевода, первоприсутствующий по гражданским делам. Дворянство знало и уважало их по мере личных достоинств. Тогда еще не было в провинциях ни театров, ни клубов, которые ныне и в губернских городах разлучают мужей с женами, отцов с их семейством. Тогда едва ли кто понимал смысл слова: *рассеяние*, ныне столь часто употребляемого. Каждый имел свои связи не от трусости, не из корыстных видов, а по выбору сердца. Таким образом жил и отец мой.

Почти ежедневное общество его состояло из трех коротких приятелей, умных, образованных и недавно покинувших столицу. Между ломбером, любимою тогда игрою, и ужином оставалось еще довольно времени для разговоров. Я бывал, так сказать, весь внимание. Вся-

кий вечер новые сведения; слушивал о бывшем Италиянском театре Локателлия и Бельмонти, о игранных на нем интермедиях и больших операх, о игре Дмитревского и Троепольской; часто вспоминаемы были анекдоты о соперничестве Ломоносова с Сумароковым, о шутках последнего на счет Тредьяковского; судили об их талантах и утешались надеждою, которую подавал тогда молодой Д. И. Фонвизин, уже обративший на себя внимание комедией «Бригадир» и «Словом по случаю выздоровления наследника Екатерины». Иногда разговор нечувствительно принимал тон важный: сетовали об участи Москвы, где свирепствовало моровое поветрие, судили о мерах, принимаемых против него светлейшим князем Орловым, или с таинственным видом, вполголоса, начинали говорить о политических происшествиях 1762 года; от них же восходили до дней могущества принца Бирона, до превратности счастия вельмож того времени, до поразительного видения императрицы Анны (III) и пр. и пр. Таким образом еще на двенадцатом году моей жизни я набирался сведениями для меня не бесполезными. Таким образом проходили наши тихие вечера, и ни отец мой, ни его собеседники не предчувствовали того, что они вскоре оставят мирных своих пенатов, и вот по каким обстоятельствам.

Оренбургской губернии в козацком городке *Яике*, прозванном потом *Уральском*, появился донской козак, прозвищем *Пугачев*, под именем бывшего императора Петра Третьего. Он собрал нарочитое войско из тамошних козаков <...> и распространил ужас по всему краю. По случаю войны с Оттоманскою Портою почти все линейные полки были за границею <...>. Пугачев уже подходил к Оренбургу; так называемые крепостцы, огороженные тыном, уступали многолюдству; коменданты и офицеры в них предавались мучительной казни <...>.

Все наше дворянство из городов и поместий помчалось искать себе спасения: каждый скакал туда, где думал быть безопаснее. Так и отец мой со всем своим семейством отправился в Москву. Собравшись наскоро, он только что мог доехать до места с теми деньгами, которые на тот раз в наличности у него были. С первых дней приезда уже он начал хлопотать о займе, не имея в столице почти никого знакомых кроме земляков, таких же изгнанников, кои сами нуждались.

В столь тесных обстоятельствах отцу моему, конечно, было не до того, чтоб думать о продолжении нашего ученья. По крайней мере, я и брат мой еще более пристали к чтению русских книг всякого рода. В выборе их руководствовал нас крепостной служитель богатого заводчика Ивана Борисовича Твердышева Дорофей Серебряков, обучавшийся на иждивении господина своего в Славено-греко-латинской Академии при Заиконоспасском монастыре латинской и русской словесности, а потом у лучших московских докторов врачебному искусству. Известный лирик Василий Петрович Петров был учителем его в красноречии и поэзии. Дорофей часто принашивал нам в листочках оды и другие случайные стихи своего учителя и досадовал на меня, что я находил язык Петрова тяжелым и неблагозвучным. Мне казались даже смешными рифмы его: *многоочита, сердоболита, хребтощетинный, рамы, пламы* и тому подобные. Тогда я не имел истинного понятия о сущности поэзии и заключал ее в одной только чистоте слога и гармонии. Помню, что Дорофей однажды рассказывал нам; как он в летние вечера хаживал за поэтом по Кремлю с карандашом в руках и свернутым листом бумаги. Там переводчик Вергилия, окруженный величавыми памятниками и живописными видами отдаленного Замоскворечья, расхаживал взад и вперед, надумывался и сочинял оду на карусель. Это стихотворение сделало его известным Екатерине и приобрело ему приязнь Г. А. Потемкина и покровительство графа Г. Г. Орлова, бывших потом светлейшими князьями. Дорофей читывал нам его послания к первому, когда он еще был камер-юнкером и после генерал-майором. Поэт называл его своим другом. Тот же тон сохранил он и в позднейших стихах, когда воспеваемый им был уже на высокой степени могущества и славы.

В то же время познакомился я с сочинениями и других наших писателей: Хераскова, Майкова, Муравьева, бывшего тогда еще гвардии Измайловского полка каптенармусом, но уже выдавшего «Собрание басен», «Похвальное слово Ломоносову» и стихотворный перевод с оригинала Петрониевой поэмы «Гражданская брань». Между тем слушал я иногда привозимые к отцу моему стихи Сумарокова. Это уже были последние искры угасающего таланта; но тем с бо́льшим участием передавали их из рук в руки. Посещение книжных лавок было лю-

бимою моей прогулкою; большая часть их закрывала собою от Воскресенских ворот древнюю церковь Василия Блаженного.

Родители мои хотели, чтоб я и брат мой получили понятие и о театре, бывшем тогда еще вольным. Знакомство мое с ним началось италиянскою оперою-буфа; потом, в первый раз отроду, я увидел и народную комедию «Так и должно». Сочинитель ее Михайло Иванович Веревкин, бывший некогда директором гимназии, когда обучался в ней Державин. Он соревновал Д. И. Фонвизину. Комедия его была играна несколько раз сряду, и всегда к удовольствию зрителей.

Чрез несколько месяцев пребывания нашего в Москве прошли слухи, что губерния наша уже вне опасности; что мятежники отбиты от Оренбурга и взяли направление к Дону. Мать моя с меньшими детьми отправилась в отчизну, а отец наш с старшим братом моим и со мною остался весновать, чтобы с первым путем отпустить нас при себе в Петербург для явки в действительную службу. Теперь к слову пришлось сказать, что мы, по тогдашнему обыкновению, еще в малолетстве, в 1772 году, записаны были гвардии в Семеновский полк солдатами и уволены в отпуск до совершенного возраста.

Итак, в первых днях мая 1774 года мы уже находились посреди прекрасного Петербурга, но где не было ни одного нам родного дома. Из порядочного московского дома переселились в низменный солдатский домик с платежом по рублю пятидесяти копеек на месяц. На другой день нашего новоселья явились мы с нашими паспортами к полковому майору Евгению Петровичу Кашкину, и по приказу его помещены были в полковую школу. В ней обучали только математике, рисованью и на русском языке священной истории и всеобщей географии. Мы с первых недель уже заслужили от рисовального учителя одобрение к переводу во второй класс, но надобно было купить для употребления нашего кисти: учитель сам не удосуживался, а нам не доверял, и мы продолжали рисовать только глаза и уши. Доказательство, в каком состоянии была школа!

Но я недолго и в ней пробыл. <...> Пугачев опять усилился. Он уже истребил многие дворянские семейства в Пензенской провинции; вступил в Казань. <...>

Мы поражены были этим известием: полагали, что и Симбирск, отстоящий только во ста семидесяти верстах от Казани, не миновал равного жребия; к счастию нашему, вскоре потом порадованы были письмом от родителей. Видя близкую опасность, они вторично расстались с своею отчизною и прибыли в Москву. <...>

В конце года последовал мир с турками. Императрица вознамерилась торжествовать его в древней столице. Гвардия получила повеление готовиться к походу, назначено было с каждого полка по одному баталиону. Многие малолетки из нашей школы, в числе коих и я с братом, стали просить о причислении к походному баталиону. Снисходительный начальник, желая доставить радость отцам и матерям, уволил всех нас в месячный отпуск с тем, чтобы мы по приходе баталиона в Москву явились к адъютанту для дальнейшего об нас распоряжения.

Итак, мы опять в Москве, и посреди родимого семейства. Но свидание мое с отцом было на короткое время: он отправился в Симбирск, а семейство еще осталось. Вторичный приезд наш в Москву был для нас как будто переходом из отроческого возраста в юношеский. Здесь я в первый раз начал знакомиться с обязанностями воинской службы. Все молодые охотники из полковой школы стали поочередно ходить на вести к адъютанту. Явиться к нему в семь часов утра, выстоять около часа против его уборного столика, выпить у начальника чашку чая и возвратиться домой; в случае же пожара, когда бы то ни было, узнать, где горит, и немедленно о том донести — вот и все, в чем состояла первоначальная моя служба.

В скором времени по прибытии нашем в Москву я увидел позорище, для всех чрезвычайное, для меня же и новое: смертную казнь. Жребий Пугачева решился. Он осужден на четвертование. Место казни было на так называемом *Болоте*.

В целом городе, на улицах, в домах, только и было речей об ожидаемом позорище. Я и брат нетерпеливо желали быть в числе зрителей; но мать моя долго на то не соглашалась. По убеждению одного из наших родственников, она вверила нас ему под строгим наказом, чтобы мы ни на шаг от него не отходили.

Это происшествие так врезалось в память мою, что я надеюсь и теперь с возможною верностию описать его, по крайней мере, как оно мне тогда представлялось.

В десятый день января тысяча семьсот семьдесят пятого года, в восемь или девять часов пополуночи приехали мы на Болото; на середине его воздвигнут был эшафот, или лобное место, вкруг коего построены были пехотные полки. Начальники и офицеры имели знаки и шарфы сверх шуб по причине жестокого мороза. Тут же находился и обер-полицеймейстер Н. П. Архаров, окруженный своими чиновниками и ординарцами. На высоте, или помосте лобного места увидел я с отвращением в первый раз исполнителей казни. Позади фронта все пространство Болота, или, лучше сказать, низкой лощины, все кровли домов и лавок, на высотах с обеих сторон ее, усеяны были людьми обоего пола и различного состояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки карет и колясок. Вдруг всё восколебалось и с шумом заговорило: «Везут, везут!» Вскоре появился отряд кирасир, за ним необыкновенной величины сани, и в них сидел Пугачев; насупротив духовник его и еще какой-то чиновник, вероятно, секретарь Тайной экспедиции. За санями следовал еще отряд конницы.

Пугачев, с непокрытою головою, кланялся на обе стороны, пока везли его. Я не заметил в чертах лица его ничего свирепого. На взгляд он был сорока лет, роста среднего, лицом смугл и бледен, глаза его сверкали; нос имел кругловатый, волосы, помнится, черные и небольшую бороду клином.

Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачев и любимец его Перфильев в препровождении духовника и двух чиновников едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово: *на караул*, и один из чиновников начал читать манифест; почти каждое слово до меня доходило.

При произнесении чтецом имени и прозвища главного злодея, также и станицы, где он родился, обер-полицеймейстер спрашивал его громко: «Ты ли донской казак Емелька Пугачев?» Он ответствовал столь же громко: «Так, государь, я донской казак, Зимовейской станицы, Емелька Пугачев». Потом, во все продолжение чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился, между тем как сподвижник его Перфильев, немалого роста, су-

тулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю. По прочтении манифеста духовник сказал им несколько слов, благословил их и пошел с эшафота. Читавший манифест последовал за ним. Тогда Пугачев сделал с крестным знамением несколько земных поклонов, обратясь к соборам, потом с уторопленным видом стал прощаться с народом; кланялся на все стороны, говоря прерывающимся голосом: «Прости, народ православный; отпусти мне, в чем я согрубил пред тобою; прости, народ православный!» При сем слове экзекутор дал знак: палачи бросились раздевать его, сорвали белый бараний тулуп, стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтанья. Тогда он сплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе: палач взмахнул ее за волосы. С Перфильевым последовало то же.

Не утаю, что я при этом случае заметил в себе что-то похожее на притворство и сам осуждал себя. Как скоро Пугачев готов был повалиться на плаху, брат мой отворотился, чтобы не видеть взмаха топора: чувствительное сердце его не могло выносить такого позорища. Я притворно показывал то же расположение, но между тем, украдкою, ловил каждое движение преступника. Что ж этому было причиною? Конечно, не жестокость моя, но единственно желание видеть, каковым бывает человек в толь решительную, ужасную минуту. <...>

Мать моя со всем семейством отправилась в отчизну, оставя меня с братом у родного нашего дяди Петра Афанасьевича Бекетова, в надежде перемены нашего звания. Ожидание наше было недолговременно: чрез ходатайство другого нашего дяди, сенатора Никиты Афанасьевича Бекетова, подполковник наш граф Брюс произвел нас, чрез чин, прямо в фурьеры. Потом мы получили годовой отпуск и отправились в деревню к нашим родителям.

Заключаю тем первую книгу. Знаю, что она не удовлетворит любопытству тех важных особ, которые время первой молодости считают не иначе, как давним сновидением, и стыдились бы сознаться, что об нем помнят; но я, касаясь первых двух возрастов моей жизни, имел только в виду товарищей моих на поприще словесности. Может быть, для них любопытно будет узнать, с каким запасом вышел я на одну с ними дорогу.

КНИГА ВТОРАЯ

Можно бы пропустить несколько лет, проведенных мною в скучной унтер-офицерской службе, между строев и караулов, но я уже предварил, что буду в записках моих говорить и об авторской моей жизни, почему и приведется иногда останавливаться на мелочах, пока буду описывать то время, когда я бродил еще ощупью, как слепец, по стезе, ведущей к познанию словесности и вкуса.

С семьсот семьдесят седьмого года начались первые мои опыты в рифмовании — мне совестно сказать в поэзии. Не видав еще ни одной книги о правилах стихосложения, не имев и понятия о метрах, о разнородных рифмах, о их сочетании, я выводил строки и оканчивал их рифмами: это были стихи мои. Первоначальные были большею частию сатирические. Все они брошены в огонь, коль скоро я узнал о их неправильности. Одна только надпись, хотя и погребена во мраке неизвестности, но к стыду моему, еще существует. Вот ее история.

Николай Иванович Новико́в издавал в Петербурге еженедельник под названием «Ученые ведомости». В одном номере этих «Ведомостей» предлагаемо было нашим поэтам сочинить надписи к портретам некоторых из отличных наших соотечественников; на первый же случай, к изображению духовного оратора Феофана Прокоповича, остроумного поэта князя Антиоха Кантемира, живописца Лосенкова, портретного гравера Чемезова. Едва я прочитал этот вызов, как вспыхнуло во мне дерзкое желание быть в числе сподвижников. Журнальный листок принесен был ко мне в ту минуту, когда я отправлялся в трехдневный полковой караул. Итак, положа листок в грудной карман, пошел я с ружьем в руке на полковой двор и привел оттуда мою команду на так называемый *средний пикет*, поставленный позади полка в поле, где по летам бывало ученье ротное и баталионное. Там, в низкой и тесной хижине, называвшейся караульною, окруженной сугробами снега, в куче солдат, я надумывался, как бы мне выхвалить Кантемира. Стихотворения его мне уже были известны; служба его также — из «Опыта исторического словаря о русских писателях» того же Новико́ва. Думал, думал и насилу докончил мою надпись. Настала другая забота: чтобы не забыть ее до смены,

ибо со мною не было ни карандаша, ни бумаги. Целый день я твердил ее, даже всю ночь терпел бессонницу. Наконец пришла смена: я бегу домой, тотчас пишу стихи мои четким почерком на хорошей бумаге и отправляю их при письме к издателю «Ученых ведомостей».

Чрез неделю я вижу надпись мою уже в печати! Приятель и сослуживец мой Н***, живший со мною, поздравляет меня с успехом; так он заключал из отзыва издателя, состоявшего только в том, что он желает хороших *успехов* неизвестному сочинителю надписи. Самолюбие мое не помешало мне понять всю силу подчеркнутого слова; однако я остерегся выводить приятеля моего из заблуждения.

В продолжение времени один из моих сослуживцев изъяснил мне слегка правила поэзии, и я по совету его купил риторику Ломоносова. Чрез два года после того прочитал пиитику Андрея Байбакова, бывшего потом епископом под именем Апполоса. Образцами моими были Сумароков и Херасков. Первый мне нравился более своею легкостию и разнообразием, но впоследствии я уже предпочитал ему Хераскова, находя в стихах его более мыслей и стихотворных украшений. Но тем не менее Сумароков и поныне в глазах моих поэт необыкновенный, и как отказать ему в этом титле? В то время, когда только и слышны были жалкие стихи Тредьяковского и Кирьяка Кондратовича, писанные силлабическим размером, чуждые вкуса и остроумия, несносные для слуха, без малейшего дара; в то время, когда и в самой Франции еще не было Фреронов, Клеманов, Мармонтелей и Лагарпов; когда еще никто не оценивал изящности в стихах Расина и Лафонтена; вдруг, из среды юношей кадетского корпуса, выходит на поприще Сумароков, и вскоре мы услышали новое благозвучие в родном языке, обрадовались игре остроумия, узнали оды, элегии, эпиграммы, комедии, трагедии и, несмотря на привычку к старине, на новость в формах, словах и оборотах, тотчас почувствовали превосходство молодого сподвижника над придворным пиитом Тредьяковским, и все прельстились его поэзией. Это истинно шаг исполинский! Это права одного гения!

Будем более справедливы и к Хераскову. Молодые наши словесники судят о его таланте по настоящему ходу общей литературы, забывая, что он писал за пятьдесят

лет до них и образовал себя не в общенародных училищах, а самоучкою; что тогдашние наши поэты скудны были в образцах для подражания; менее знакомы с иностранною словесностию и не имели счастия пользоваться теми выгодами и наградами, какими поощряются ныне авторские таланты. Херасков, писавший «Россияду» девять лет, награжден был за труд свой от императрицы Екатерины девятью тысячами рублей ходячею монетою, а молодой Пушкин за одну главу еще недоконченной стихотворной повести «Онегин» получил от русского книгопродавца пять тысяч ассигнациями по тогдашнему курсу. В зрелых летах, Хераскова читали только просвещеннейшие из нашего дворянства, а ныне всех состояний: купцы, солдаты, холопы и даже торгующие пряниками и калачами. Ныне автор может во всю жизнь свою не обязываться никакою черствою службою или и совсем не служить, всегда иметь досуг заниматься мечтами воображения и между тем получать чины и знаки отличия; но сколько еще и других, благороднейших побуждений? Он читает произведения свои в ученых обществах при многочисленном стечении слушателей обоего пола; вызывается на сцену и встречается общим рукоплесканием.

Между тем, следуя доброму примеру моего брата, я ознакомливался день от дня более и с французским языком, уже стал понимать и французских поэтов, но к сожалению моему прилепился к ветреному Дорату и его товарищам. Брат мой всегда укорял меня им и журил за то, что я не прилежу к истории, особенно же к древней. В случае наших размолвок нередко называл меня невеждою или жалким рифмокропателем. Это прозвище было для меня столь оскорбительно, что я перестал показывать ему стихи мои. Несколько лет писал их, быв разделен с ним одною только перегородкою, рассылал в разные журналы, и брат мой не знал их автора. Не больше знали о том и короткие мои знакомцы, ибо я после неудачной моей надписи уже нигде не ставил моего имени.

Таким образом я стихотворствовал долгое время, не знав, что говорят, по крайней мере, словесники о стихах моих. Писать и видеть их в печати было для меня единственным возмездием, и я был тем доволен, даже и счастлив!

Но есть ли в мире постоянное счастие? Быв уже сержантом, я пристрастился к театру. Тогда в Петербурге еще не было вольного театра, а был только придворный, в самом дворце. Императрица Екатерина хотела по два раза в неделю доставлять подданным своим счастие видеть ее и наслаждаться плодами ума, талантов, изящного вкуса. Места в ложах и партере назначены были по чинам до офицерского чина. В райке же дозволялось быть зрителям всякого состояния, исключая носящих ливрею. Но приставленные к дверям придворные служители не возбраняли входа и гвардейским унтер-офицерам, лишь только бы они были в французских кафтанах, в кошельке и при шпаге. Зрители за места ничего не платили. На таких условиях я не пропускал ни одного представления, ни русского, ни французского, ни италиянского, когда только свободен был от службы. В это время талант Дмитревского был еще во всей своей силе; он еще напоминал нам славу Сумарокова в его «Семире»; но Княжнин, зять Сумарокова, подал ему случай еще более блистать своим даром в роли Енея и Рослава.

Любимое мое место было с левой стороны у самого оркестра, где собирались обыкновенно любители словесности. Тут произносимы были строгие приговоры актерам и драматическим авторам; тут я познакомился с Михайлом Никитичем Муравьевым и Федором Ильичем Козлятевым, которого я не однажды вспомню в моих записках. Тогда оба они были гвардии подпоручиками: один в Измайловском, другой в Семеновском полку.

Между порицателями вкуса и строгими судьями заметил я однажды незнакомого мне, малорослого человека, по-видимому, довольно бойкого. Он критиковал нещадно игру актера Плавильщикова. Я принял смелость напомнить ему его молодость, еще малую опытность.— «По крайней мере,— говорил я,— он и теперь уже лучше всех своих сверстников. Соглашусь с вами, что иногда он слишком кричит, горячится, невпопад произносит слова или размахивает руками, но у него звонкий голос, выразительное, пригожее лицо, свободная и благородная поступь. Притом же видишь, что он не хочет обезьянить Дмитревского, но сам силится обдумывать игру свою, а это уже верный признак природного таланта». Малорослый ни в чем со мною не соглашался.— «Сверх того,— продолжал я,— он лучше многих своих товарищей

понимает автора драмы, и красоты или недостатки сочинения: он сам был студентом и упражняется в словесности». — «Прекрасный словесник! — подхватил незнакомец,— пишет площадные комедийки и выдает дрянной журнал! Я ничего не читал глупее стихов, напечатанных в последнем его листочке» (тогда Плавильщиков издавал еженедельник под заглавием «Утро»).—«Какие?»— спросил я. «Вялая идиллия и элегия на смерть какого-то доктора. Это ужас!»

И это были мои стихи! Признаюсь, что я был поражен его словами. Они непрестанно отзывались в ушах моих и мешали мне брать участие в игре актеров. Едва я возвратился домой, как тотчас бросился читать критикованные стихи мои. Увы! Они уже и самому мне нравились меньше. На другой день опять прочитал мои стихи и нашел их еще худшими! С той минуты я вразумился, что еще рано мне выдавать мои произведения, и положил хранить их до времени под спудом.

Спустя уже несколько лет после того я нечаянно застал аристарха моего в кабинете Гаврилы Романовича Державина; с каким нетерпением ждал его выхода, чтоб узнать об его имени! Это был Иван Иванович Шильд, бывший обер-секретарем в Сенате.

Рифмование мое не мешало мне заниматься и переводами с французского языка небольших прозаических сочинений. Этот труд был для меня прибылен: я отдавал переводы мои книгопродавцам, они печатали их своим иждивением, а мне платили за них по условию книгами. Таким образом я завел порядочную русскую библиотеку.

Чтоб не наскучить дальнейшим описанием мелочных случаев, постараюсь скорее пробежать первую треть авторской моей жизни, или, лучше сказать, одно к ней приготовление. Между тем, повинуясь моему сердцу, не могу промолчать о двух моих знакомствах; они памятны мне будут во всю жизнь мою. Но прежде, нежели начну говорить о первом, да позволено мне будет отступить назад несколькими годами.

В 1770 году в провинциальном городе Симбирске старший брат мой и я, десятилетний отрок, находились на свадебном пиру под руководством нашего учителя г. Манженя. В толпе пирующих увидел я в первый раз *пятилетнего* мальчика в шелковом перувьеневом кам-

зольчике с рукавами, которого русская нянюшка подводила за руку к новобрачной и окружавшим ее барыням. Это был будущий наш историограф Карамзин. Отец его, симбирский помещик, отставной капитан Михайла Егорович соединился тогда вторым браком с родною сестрою моего родителя, воспитанною по ее сиротству в нашем семействе.

С того времени до зрелого моего возраста я не имел случая видеть его; знал только, что он в отрочестве своем обучаем был немецкому языку тамошним пятидесятилетним врачом, которого прозвище я позабыл, но очень помню, не потому, что он был с горбом, но по его привлекательной физиономии. Он говорил тихо; в глазах и на устах его обнаруживались кротость и человеколюбие. Я узнал и полюбил его по случаю болезни младшего брата моего, еще младенца, который от оспы несколько дней не мог раскрывать глаз. Добрый старик думал утешить его, привозя к нему разные детские гостинцы; но эти вещи лишь более раздражали больного, потому что <он> не мог их видеть. Тогда он обратился к другому средству: привез к нему свой маленький клавесин и в каждое посещение играл на нем разные штучки, сидя подле кровати младенца, желая тем сколько-нибудь развлекать его и успокоивать.

С приближением юношеского возраста, Карамзин отправлен был в Москву и отдан в учебное заведение г. Шадена, одного из лучших профессоров Московского университета, где и находился до вступления в настоящую службу. По тогдашнему обыкновению, или злоупотреблению, в гвардейских полках он записан был, так же как и я, еще малолетним в Преображенский полк подпрапорщиком. С того времени началось наше знакомство, и вот каким образом.

Однажды я, будучи еще и сам сержантом, возвращаюсь с прогулки; слуга мой, встретя меня на крыльце, сказывает мне, что кто-то ждет меня, приехавший из Симбирска. Вхожу в горницу и вижу румяного, миловидного юношу, который с приятною улыбкою вручает мне письмо от моего родителя.

Стоило только услышать имя Карамзина, как он уже был в моих объятиях; стоило нам сойтись два, три раза, как мы уже стали короткими знакомцами.

Едва ли не с год мы были почти неразлучными; склонность наша к словесности, может быть, что-то сходное и в нравственных качествах укрепляли связь нашу день от дня более. Мы давали взаимный отчет в нашем чтении (VI), между тем я показывал ему иногда и мелкие мои переводы, которые были печатаемы особо и в тогдашних журналах. Следуя моему примеру, он и сам принялся за переводы. Первым опытом его был «Разговор австрийской Марии Терезии с нашей императрицею Елисаветою в Елисейских полях», переложенный им с немецкого языка. Я советовал ему показать его книгопродавцу Миллеру, который покупал и печатал переводы, платя за них, по произвольной оценке и согласию с переводчиком, книгами из своей книжной лавки. Не могу и теперь вспомнить без удовольствия, с каким торжественным видом добрый и милый юноша Карамзин вбежал ко мне, держа в обеих руках по два томика фильдингова «Томаса-Ионеса» (Том-Джона), в маленьком формате, с картинками, перевода Харламова. Это было первым возмездием за словесные труды его.

По кончине отца своего он вышел в отставку поручиком и уехал на родину. Там однажды мы сошлись на короткое время; я нашел его уже играющим ролю надежного на себя в обществе: опытным за вистовым столом, любезным в дамском кругу и оратором пред отцами семейств, которые хотя и не охотники слушать молодежь, но его слушали. Такая жизнь не охладила, однако, в нем прежней любви его к словесности. При первом нашем свидании с глаза на глаз он спрашивает меня, занимаюсь ли я по-прежнему переводами? Я сказываю ему, что недавно перевел из книги «Картина Смерти», сочинения Каррачиоли, «Разговор выходца с того света с живым другом его». Он удивился странному моему выбору и дружески советовал мне бросить эту работу, убеждая тем, что по выбору перевода судят и о свойствах переводчика и что я выбором своим, конечно, не заслужу выгодного о себе мнения в обществе. «А я,— примолвил он,— думаю переводить из Вольтера с немецкого перевода».— «Что же такое?»—«Белого быка».— «Как! Эту дрянь, и еще не вольтерову, а подложную!»— вскричал я. И оба земляка поквитались.

Но рассеянная светская жизнь его недолго продолжалась. Земляк же наш, покойный Иван Петрович Тур-

генев уговорил молодого Карамзина ехать с ним в Москву. Там он познакомил его с Николаем Ивановичем Новико́вым, основателем или по крайней мере главною пружиною *Общества дружеского типографического*. При слове об этом замечательном человеке нельзя оставить без замечания и лености или равнодушия наших авторов, особенно же издателей журналов. Никто из них не сказал ни слова по случаю его кончины, и мы даже поныне знаем только об нем по одним слухам. Замечательном, повторяю, по заслугам его в словесности и по чрезвычайному в жизни его перевороту. Я не преминую сказать здесь в своем месте все, что знаю об нем, хотя для детей наших.

В этом-то *Дружеском обществе* началось образование Карамзина, не только авторское, но и нравственное. В доме Новикова, он имел случай обращаться в кругу людей степенных, соединенных дружбою и просвещением; слушать профессора Шварца, преподававшего лекции о богопознании, о высоких предназначениях человека. Между тем знакомился и с молодыми любословами, окончившими только учебный курс. Новиков употреблял их для перевода книг с разных языков. Между ними по всей справедливости почитался отличнейшим Александр Андреевич Петров. Он знаком был с древними и новыми языками при глубоком знании отечественного слова, одарен был и глубоким умом и необыкновенною способностию к здравой критике; но к сожалению, ничего не писал для публики, а упражнялся только в переводах, из коих известны мне первые два года еженедельника под названием «Детское чтение»; «Учитель» в двух томах; «Хризомандер», мистическое сочинение, и «Багуатгета», также род мистической поэмы, писанной на санскритском языке и переведенной с немецкого.

Карамзин полюбил Петрова, хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, откровенен и безмалейшей желчи; другой угрюм, молчалив и подчас насмешлив. Но оба питали равную страсть к познаниям, к изящному; имели одинакую силу в уме, одинакую доброту в сердце; и это заставило их прожить долгое время в тесном согласии под одною кровлею у Меньшиковой башни, в старинном каменном доме, принадлежащем *Дружескому обществу*. Я как теперь вижу скромное жилище молодых словесников: оно разделено было тремя

перегородками; в одной стоял на столике, покрытом зеленым сукном, гипсовый бюст мистика Шварца, умершего незадолго пред приездом моим из Петербурга в Москву; а другая освящена была Иисусом на кресте, под покрывалом черного крепа. Карамзин оплакал раннюю смерть своего товарища в сочинении «Цветок над гробом Агатона».

После свидания нашего в Симбирске какую перемену нашел я в милом моем приятеле! Это был уже не тот юноша, который читал все без разбора, пленялся славою воина, мечтал быть завоевателем чернобровой, пылкой черкешенки, но благочестивый ученик мудрости, с пламенным рвением к усовершению в себе *человека.* Тот же веселый нрав, та же любезность, но между тем главная мысль, первые желания его стремились к высокой цели. Тогда я почувствовал пред ним всю мою незначительность и дивился, за что он любил меня еще по-прежнему! Мы прожили недолго вместе. После того еще несколько раз встречались в Москве, и наконец разлучились уже на долгое время: он отправился в чужие края, но не на счет общества, как многие о том разглашают, а на собственном иждивении. Со дня вступления его в Дружеское общество до путешествия он перевел и выдал с немецкого языка: два или три тома штурмовых «Размышлений» под заглавием, помнится мне, «Беседы с богом»; галлерову поэму «О происхождении зла»; лессингову трагедию «Эмилию Галотти» и шекспирову «Юлия Цесаря»; одну песнь (не напечатанную) из клопштоковой поэмы «Мессиада»; с французского: «Les veillées du chateau», и за отсутствием Петрова продолжал около года «Детское чтение», в котором напечатал первую повесть, им сочиненную, и первые опыты свои в поэзии.

Теперь договорим об Новикове. Он не имел, как и многие из наших писателей, классического образования. Имя его стало известно с семидесятых годов по изданию им одного за другим двух еженедельников —«Трутня» и «Живописца». Я не равняю их с аддисоновым «Зрителем»; по крайней мере, они отличались от сборников чужой и домашней всякой всячины и более отзывались *народностию,* хотя и менее об ней твердили, нежели нынешние наши журналы. Издатель в листках своих нападал смело на господствующие пороки; карал взяточников; обнаруживал разные злоупотребления; осмеивал

закоренелые предрассудки и не щадил невежества мелких, иногда же и крупных помещиков. Словом, старался, сколько мог и умел, выдерживать главное свойство своих журналов и приноравливать их к духу того времени. В 1772 году он выдал «Опыт исторического словаря о русских писателях», а потом двадцать томов старинных рукописей разного рода под названием «Древней российской вивлиофики». Одно это издание могло бы дать ему почетное место в истории нашей словесности. Пожелаем, чтоб кто-нибудь из современных трудолюбивых и доброхотных словесников взял на себя выбрать из этих двадцати томов замечательные только статьи, составить из них несколько отделений, как то: историческое, политическое, словесность, смесь, и выдать их под заглавием «Дух, или Извлечение любопытных статей из «Древней российской вивлиофики».

Потом Новиков издавал в Петербурге около года «Ученые ведомости» и там же, а после в Москве, ежемесячник «Утренний свет», в стихах и прозе, исключительно содержания только важного, более назидательного. Весь доход от этого издания употреблен был на заведение в Петербурге народных училищ, коих тогда у нас еще не было. В них обучали безденежно детей всякого состояния русской грамматике, первым основаниям истории, землеописания, катехизису, математике и рисованию. Эти училища находились в разных частях города и от них-то, с учреждения наместничеств, начались в каждом городе казенные народные училища.

С переселением Михайлы Матвеевича Хераскова в Москву в звании куратора Московского университета, Новиков, последуя за ним, взял на откуп университетскую типографию и завел Дружеское типографическое общество, составленное из людей благонамеренных и просвещенных. По крайней мере, из известных мне таковы были: Иван Петрович Тургенев, Иван Владимирович Лопухин, Федор Петрович Ключарев и Алексей Михайлович Кутузов, переводчик с немецкого языка юнговых «Ночей» и клопштоковой «Мессиады».

Я не соглашусь с некоторыми в том, что Новиков значительным образом действовал на успехи нашей словесности. Еще за несколько лет до Типографического общества мы уже имели в переводе с греческого языка гомерову «Илиаду» и «Одиссею»; первую перевода Яки-

мова, вторую Кириака Кондратовича; «Творения велемудрого Платона» в трех томах; «Разговоры Лукиана Самосатского» и единственный греческий роман: «Теаген и Хариклея»; последними тремя обязаны мы были совокупным трудам двух свояков, священника Иоанна Сидоровского и коллежского регистратора Матвея Пахомова; эпиктетов «Энхиридион», его же «Апофегмы» и кевитову «Картину»— Григорья Полетики; Диодора Сицилийского «Историческую библиотеку»; десять книг Павзания «О достопамятностях Греции»; с латинского: Квинта Курция «Житие Александра Великого»; Саллустия «Югурфинскую войну» и «Заговор Катилины»; «Записки Юлия Цесаря о походах его в Галлию»; Цицерона «О естестве богов»; «О дружестве», «О должностях» и двенадцать отборных речей; Светония «О Августах»; Веллея Патеркула и Луция Флора «Сокращение Римской Истории». Равно имели и с новейших языков переводы отличных творений, как то: Монтескье «О разуме, или Духе законов»; «Политические наставления» барона Бильфельда; Юстия «Основания царств», и всех лучших романов Фильдинга, аббата Прево и Лесажа. Все это переводимо и издаваемо было скромными любословами в пятидесятых и семидесятых годах, без малейшего шума, без ожидания перстней, без нынешних легких и прибыльных средств сбывать работу свою чрез подписки во всех губерниях; без покровительства, наконец, журналистов-приятелей.

От Общества же типографического выходили сочинения более богословские, церковных учителей, мистические, театральные и посредственные романы, разумеется, почти все переведенные. Но мы обязаны хранить к Новикову большую признательность за то, что он распространил книжную торговлю заведением в губернских городах книжных лавок; поощрял университетских студентов, семинаристов, и даже церковнослужителей к упражнению в переводах, печатая их своим иждивением и платя переводчикам с каждого печатного листа условленную цену. Такие выгоды освобождали их от уничижительного притеснения необразованных и корыстолюбивых книгопродавцев.

Между тем как Дружеское типографическое общество в полной безопасности процветало; как члены его с общего согласия носили явно кафтаны одинакого покроя

и цвета, голубые с золотыми петлицами, внезапно восстала против них политическая буря. Французский переворот возбудил во всех правительствах подозрения на все постоянные сборища, тайные и явные. Главнокомандующий в Москве, князь Прозоровский, получил тайное повеление взять в особенное внимание масонскую ложу, на которую содержатели типографии имели большое влияние. Вследствие того захвачены были в ложе и в домах Новикова и друзей его все бумаги, сделан строжайший осмотр книжному магазину, библиотеке Филантропического общества, и все найденные в них мистические книги преданы были сожжению. Сам же Новиков отправлен был в Тайную канцелярию, а потом заключен в Шлиссельбургскую крепость. Восшествие на престол императора Павла возвратило ему свободу, но не возвратило спокойствия духа. Еще за год до его возвращения жена его скончалась, оставя трех малолетних сирот в пустом доме на произвол судьбы. Несчастный отец нашел сына и одну из дочерей своих в ужасной, редко исцелимой болезни (эпилепсии). Остальные годы унылой жизни проведены им в малом поместье, близко Москвы, в сообществе Гамалеи, давнего его друга, и г-жи Шварц, вдовы знаменитого профессора и мистика. Эта благочестивая женщина с самого заточения Новикова и до сего времени посвятила себя на призрение жалких страдальцев, переживших родителя. Он скончался в царствование Александра, уже в глубокой старости, вероятно, около восьмидесяти лет.

Немногим прежде знакомства моего с Карамзиным началась у меня тесная связь и с почтенным Федором Ильичем Козлятевым. И это было эпохою, с которой я начал выбираться на прямой путь словесности. Скоро мы сделались почти неразлучными, несмотря на разность лет и состояний: он уже был гвардии Семеновского полка подпоручиком, а я еще сержантом и гораздо его моложе.

У него была хорошая французская библиотека, увеличиваемая непрестанно старыми и новейшими сочинениями и переводами. Тогда было цветущее время для французской словесности: Вольтер и Ж. Ж. Руссо хотя уже и находились в преклонных летах, но их слава, их присутствие между нами одушевляли ученый мир и приводили его в движение. Бюффон выдавал том за томом

«Естественную историю» во всем ее убранстве, украшенную всеми прелестями живописного, иногда же важного или трогательного красноречия, и в то же время увлекал читателей блестящими гипотезами в своих «Эпохах натуры». Д'Аламбер, Дидро, Реналь, Мармонтель, Тома и Лагарп были корифеями авторов второстепенных. Козлятев познакомил меня с их творениями, равно и с французскими лучшими переводами греческих и латинских классиков. По совету его стал я читать и учебные книги: Квинтилиана «Об ораторском искусстве» и «Курс словесности» аббата Батё и Мармонтеля. Не без пользы также для меня были: «Библиотека образованного человека» (Bibliothèque d'un homme de goût), «Три века французской словесности» аббата Сабатье, записки (mèmoires) Палисота о французских писателях и «Критический журнал» Клемана. Последние три автора остерегали меня один против другого и в то же время помогали мне совокупно изучать французскую литературу.

Но и кроме таких пособий, одна беседа с Козлятевым уже была для меня училищем изящного и вкуса. Он одарен был умом, хотя не беглым, не блестящим, но основательным, украшенным просвещением и кротостию необыкновенною. В молодости моей часто я сердился на него за это прекрасное качество: в кругу не слишком ему знакомых он готов был внимательно выслушивать всех и не сказать ни слова. Почитатель его достоинств, я дружески пенял ему, для чего он таит их и тем подает повод к невыгодному об нем заключению. Добрый Козлятев обыкновенно отвечал на то нежной улыбкою или пожатием руки моей.

Слыша его строгие слова или беспристрастные суждения о стихах даже и первенствующих наших поэтов, я начал таить еще более, особенно же от него, мои произведения, еще более стал чувствовать все их несовершенство. Некогда он признался мне, что было время, когда он и сам занимался переводами и стихотворствовал, что даже написал шутливую поэму, но вскоре одумался, все *свое* сжег и принялся читать *чужое*. «Это спокойнее и прибыльнее»,— прибавил он с кроткою своей улыбкою. Во все продолжение долговременной нашей связи он однажды только показал мне перевод свой элегии Катулла на смерть Проперция, или наоборот — точно не помню; но ни под каким условием не дал мне списать его.

Если пришлось мне сказать о повышении меня чином гвардии прапорщика, так более потому только, что оно разлучило меня с любезным ментором на долгое время: получа годовой отпуск, я провел его у моих родителей, а в следующем году, по случаю открывшейся войны с Швецией, пошел в поход на границу Финляндии и прожил четыре месяца в палатке или в переходах с места на место, под шумом песен и барабанов. Гвардейские баталионы далее Фридрисгама не доходили. Мы видели неприятелей только в положении унылых пленников.

Новая жизнь, новая природа, дикая, но оссияновская, везде величавая и живописная: гранитные скалы, шумные водопады, высокие мрачные сосны, не могли мне накоротке наскучить. К тому же сердце, еще не развращенное, повсюду найдет для себя кроткие наслаждения. Где они редки, там более дорожат ими. Как я был обрадован, увидя однажды голубой цветочек между голых и огромных камней! С каким удовольствием проваживал я поздние вечера и первые часы утра в низменной хижине под соломенной кровлею!

Мы стояли в лагере подле финской деревни. Это было в начале или в конце августа. Чувствительный к свежести осенних ночей, часто я оставлял мою палатку, получая позволение от баталионного начальника ночевать на том дворе, где стояла походная моя повозка. Тесная хижина была и спальною моей и кабинетом. Там я проваживал по нескольку часов в глубокой тишине, совершенно противоположной дневному шуму и лагерной, так сказать, суматохе. При мне находился один слуга, входивший ко мне только по моему зову. Там я бывал так доволен бытием своим, что в ту минуту не испугался бы хотя и навсегда остаться в этой хижине. Не знаю и сам почему, но во мне и поныне сохранились какие-то приятные впечатления, произведенные однажды первыми часами утра в этом же уединении.

После двух чашек кофия, едва я принялся за перевод одного письма из «Новой Элоизы», раздался в ушах моих звук многих труб и барабанный бой, смешанный с громом литавр. Гляжу в окно и вижу вдали, сквозь ряды палаток, лагерный караул под ружьем и кирасирский полк, проходящий мимо его повзводно. Восходящее солнце, открытое поле, кругом безмолвие, возмущенное только военною музыкою и ржанием коней, колебание

густого гребня или щетинного хохла на шлемах усатых всадников — все это представляло мне новую, величественную картину! Она еще не докончена.

Между тем, как полк уже проходил лагерь, приближаются к моей хижине двое наших солдат, еще не одетых, покрытых только синими плащами; они на плечах своих несли шест с висящим на нем медным котлом: вероятно, шли за водою. Дорога лежала мимо поля, по которому колыхался еще не сжатый хлеб. Один из носильщиков тотчас опускает котел, подняв с земли серп, начинает с веселым видом жать колос. После двух или трех хваток серпом, бросает его наземь и, взложа ношу свою опять на плечо, идет с товарищем своим далее; кажется, я угадывал его чувства, и оттого во весь день смотрел на каждого молодого солдата с большим участием.

В конце года гвардейские баталионы возвратились в столицу. Я начал жить по-прежнему, видясь ежедневно с почтенным Козлятевым, но в следующем году опять с ним разлучился: с весною открылась вторая *кампания*. Он пошел в поход уже в звании капитана. Грустно было мне еще с ним расставаться, но провидение благоволило и в настоящем случае послать мне отраду: знакомство с Державиным и свидание с Карамзиным, возвратившимся из путешествия.

КНИГА ТРЕТИЯ

Поэзия Державина известна мне стала еще с 1776 года. Около того времени первые произведения его вышли в свет без имени автора из типографии Академии наук под названием «Оды, сочиненные и переведенные при горе Читалагае». Это были, как я после узнал, плоды кратких досугов его в военном стану, посреди уфимских степей. Тогда он, в числе гвардейских офицеров, находился для разных поручений при Александре Ильиче Бибикове, предводителе войск против <...> Пугачева.

В этой книжке помещены были несколько од разного содержания, более философических, и послание Фридриха Второго к астроному Мопертию, переведенное в прозе. Я упоминаю с такою подробностию об этой книжке потому только, что ныне она редка и немногим извест-

на даже из литераторов. В стихах, помещенных в ней, при некоторых недостатках, уже показывались замашки или вспышки врожденного таланта и его главные свойства: благородная смелость, строгие правила и резкость в выражениях. После того в разные времена вышли также без его имени «Послание к И. И. Шувалову, по случаю возвращения его из чужих краев», писанное в Казани; оды «На смерть князя Мещерского»; «К соседу»; «К киргиз-кайсацкой царевне Фелице»; стансы «Успокоенное неверие», дифирамб «На выздоровление И. И. Шувалова» и «Гребеневский ключ», посвященный М. М. Хераскову. Все эти стихи, по моему мнению, едва ли не лучшие и совершеннейшие из поэтических произведений Державина. Они были напечатаны в «С<анкт>-Петербургском вестнике» в 1778 году и последующих, а потом некоторые из них перепечатаны с поправками в «Собеседнике любителей российского слова». В нем участвовала сама императрица. Ее сочинения выходили под названием «Были и небылицы». Издавался же он под надзором президента обеих Академий княгини Катерины Романовны Дашковой. Кроме «Фелицы» долго я не знал об имени автора упомянутых стихотворений. Хотя сам писал и худо, но по какому-то чутью находил в них более силы, живописи, более, так сказать, свежести, самобытности, нежели в стихах известных мне современных наших поэтов. К удивлению должно заметить, что ни в обществах, ни даже в журналах того времени не говорено было ничего об этих прекрасных стихотворениях. Малое только число словесников, друзей Державина, чувствовали всю их цену. Известность его началась не прежде, как после первой оды к *Фелице*. Наконец, я узнал об имени прельстившего меня поэта; узнал и самого его лично; но только глядывал на него издали во дворце, с чувством удовольствия и глубокого уважения. Вскоре потом посчастливилось мне вступить с ним и в знакомство; вот какой был к тому повод.

Во вторую кампанию шведской войны, я ездил на границу Финляндии для свидания с старшим братом моим. Он служил тогда в пехотном Псковском полку премьер-майором. В продолжении дороги и на месте я вел поденную записку; описывая в ней, между прочим, красивое местоположение, употребил я обращение в стихах к Державину и назвал его единственным у нас живописцем

природы. По возвращении моем знакомец мой, П. Ю. Львов, переписал эти стихи для себя и показал их поэту. Он захотел узнать меня, несколько раз говорил о том Львову; но я совестился представиться знаменитому певцу в лице мелкого и еще никем непризнанного стихотворца, долго не мог решиться и все откладывал. Наконец, одним утром знакомец мой прислал собственноручную к нему записку Державина. Он еще напоминал Львову о желании его сойтись со мною. Эта записка победила мою застенчивость. Итак, в сопровождении Львова отправился я к поэту, с которым желал и робел познакомиться.

Мы застали хозяина и хозяйку в авторском кабинете; в колпаке и в атласном голубом халате, он что-то писал на высоком налое, а она, в утреннем белом платье, сидела в креслах посреди комнаты, и парикмахер завивал ей волосы. Добросердечный вид и приветливость обоих с первых слов ободрили меня. Поговоря несколько минут о словесности, о войне и пр., я хотел, соблюдая приличие, откланяться; но они оба стали унимать меня к обеду. После кофия я опять поднялся, и еще упрошен был до чая. Таким образом, с первого посещения я просидел у них весь день, а чрез две недели уже сделался коротким знакомцем в доме. И с того времени редко проходил день, чтоб я не виделся с этой любезной и незабвенной четою.

Державину минуло тогда пятьдесят лет. Он был еще действительным статским советником и кавалером ордена св. Владимира третьей степени. Года за два пред тем он отрешен был от должности губернатора Тамбовской губернии, по случаю несогласия, происшедшего между им и генерал-губернатором или наместником, графом Гудовичем. Взаимные их жалобы отданы были на рассмотрение Сената. Державин был оправдан. Любопытная столица с нетерпением ожидала от премудрой *Фелицы* решения судьбы любимого ее поэта.

Между тем князь Потемкин-Таврический, отправляясь в армию, приготовлялся несколько месяцев к великолепному угощению императрицы. Это было уже по взятии Очакова. Державину поручено было от князя заблаговременно сочинить, по сообщенной ему программе, описание праздника. Знакомство наше началось вместе с этой работою. Почти в моих глазах она была продол-

жаема и окончена. Праздник изумил всю столицу; описание напечатано, но не полюбилось, как слышно было, Потемкину; вероятно, за поэтическую характеристику хозяина, довольно верную, но не у места шутливую.

С первых дней нашего знакомства я уже пробежал толстую рукопись всех собранных его стихотворений, известных мне и неизвестных. Сверх того показаны мне и те, которые, по хлопотам службы, долгое время лежали у него неоконченными. Главнейшие из них были «Водопад», состоявший тогда в пятнадцати только строфах, «Видение Мурзы», ода «На коварство», «Прогулка в Сарском Селе». Последние стихи, равно как и «Видение Мурзы», дописал он уже при появлении «Московского журнала»; «Водопад» гораздо после, когда получено было известие о кончине князя Потемкина; оду же «На коварство» еще позднее. Немногим известно, что и «Вельможа» напечатан был в числе од, написанных при *горе Читалагае*, о коих я упоминал выше; но любители словесности познакомились с нею уже при втором появлении, когда поэт прибавил к этой оде несколько строф, столь изобильных сатирическою солью и яркими картинами. Возобновление ее последовало по кончине князя Потемкина при генерал-прокуроре графе Самойлове. Общество находило в ней много намеков на счет того и другого. Тогда поэт был уже сенатором.

Державин при всем своем гении с великим трудом поправлял свои стихи. Он снисходительно выслушивал советы и замечания, охотно принимался за переделку стиха, но редко имел в том удачу. Везде и непрестанно внимание его обращено было к поэзии. Часто я заставал его стоявшим неподвижно против окна и устремившим глаза свои к небу. «Что вы думаете?» — однажды спросил я. «Любуюсь вечерними облаками», — отвечал он. И чрез некоторое время после того вышли стихи «К дому, любящему учение» (к семейству графа А. С. Строганова), в которых он впервые назвал облака *краезлатыми*. В другой раз заметил я, что он за обедом смотрит на разварную щуку и что-то шепчет; спрашиваю тому причину. «А вот я думаю,— сказал он,— что если бы случилось мне приглашать в стихах кого-нибудь к обеду, то при исчислении блюд, какими хозяин намерен потчевать, можно бы сказать, что будет *и щука с голубым*

пером». И мы чрез год или два услышали этот стих в его послании к князю Александру Андреевичу Безбородке.

Голова его была хранилищем запаса сравнений, уподоблений, сентенций и картин для будущих его поэтических произведений. Он охотник был до чтения, но читал без разборчивости. Говорил отрывисто и некрасно. Кажется, будто заботился только о том, чтоб высказать скорее. Часто посреди гостей, особенно же у себя, задумывался и склонялся к дремоте; но я всегда подозревал, что он притворялся, чтоб не мешали ему заниматься чем-нибудь *своим*, важнейшим обыкновенных, пустых разговоров. Но тот же самый человек говорил долго, резко и с жаром, когда пересказывал о каком-либо споре по важному делу в Сенате, или о дворских интригах, и просиживал до полуночи за бумагой, когда писал *голос*, заключение или проект какого-нибудь государственного постановления. Державин как поэт и как государственная особа имел только в предмете нравственность, любовь к правде, честь и потомство.

Со входом в дом его как будто мне открылся путь и к Парнасу. Дотоле быв знаком только с двумя стихотворцами: Ермилом Ивановичем Костровым и Дмитрием Ивановичем Хвостовым, я увидел в обществе Державина вдруг несколько поэтов и прозаистов: певца Душеньки Ипполита Федоровича Богдановича, переводчика «Телемака» и «Гумфрея Клингера» Ивана Семеновича Захарова, Николая Александровича и Федора Петровича Львовых, Алексея Николаевича Оленина, столь известного по его изобретательному таланту в рисованье и сведущему в художествах и древности. О первом не стану повторять того, что уже помещено было Карамзиным по пересказам моим в биографии Богдановича, напечатанной в «Вестнике Европы»; прибавлю только, что я познакомился с ним в то время, когда он уже мало занимался литературою, но сделался невольным данником большого света. По славе «Душеньки» многие, хотя и не читали этой поэмы, хотели, чтоб автор ее дремал за их поздними ужинами. Всегда в французском кафтане, кошелек на спине и тафтяная шляпка (клак) под мышкою, всегда по вечерам в концерте или на бале в знатном доме, Богданович, если не играл в вист, то везде слова два о дневных новостях, или о дворе, или заграничных про-

исшествиях, но никогда с жаром, никогда с большим участием. Он не любил не только докучать, даже и напоминать о стихах своих; но в тайне сердца всегда чувствовал свою цену и был довольно щекотлив к малейшим замечаниям на счет произведений пера его. Впрочем, чужд злоязычия, строгий блюститель нравственных правил и законов общества, скромный и вежливый в обращении, он всеми благоразумными и добрыми людьми был любим и уважаем.

Чрез Державина же я сошелся и с Денисом Ивановичем Фонвизиным. По возвращении из белорусского своего поместья он просил Гаврила Романовича познакомить его со мною. Назначен был день нашего свидания. В шесть часов пополудни приехал Фонвизин. Увидя его в первый раз, я вздрогнул и почувствовал всю бедность и тщету человеческую. Он вступил в кабинет Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами из Шкловского кадетского корпуса, приехавшими с ним из Белоруссии. Уже он не мог владеть одною рукою, равно и одна нога одеревенела. Обе поражены были параличем. Говорил с крайним усилием и каждое слово произносил голосом охриплым и диким; но большие глаза его быстро сверкали. Первый брошенный на меня взгляд привел меня в смятение. Разговор не замешкался. Он приступил ко мне с вопросами о своих сочинениях: знаю ли я «Недоросля», читал ли «Послание к Шумилову», «Лису-кознодейку», перевод его «Похвального слова Марку Аврелию»? и так далее; как я нахожу их? Казалось, что он такими вопросами хотел с первого раза выведать свойства ума моего и характера. Наконец, спросил меня и о чужом сочинении: что я думаю об «Душеньке»? «Она из лучших произведений нашей поэзии»,— отвечал я. «Прелестна!»— подтвердил он с выразительною улыбкою. Потом Фонвизин сказал хозяину, что он привез показать ему новую свою комедию «Гофмейстер». Хозяин и хозяйка изъявили желание выслушать эту новость. Он подал знак одному из своих вожатых, и тот прочитал комедию одним духом. В продолжение чтения автор глазами, киваньем головы, движением здоровой руки подкреплял силу тех выражений, которые самому ему нравились. Игривость ума не оставляла его и при болезненном состоянии тела. Несмотря на трудность рассказа, он заставлял нас не однажды смеяться. По словам

его, во всем уезде, пока он жил в деревне, удалось ему найти одного только литератора, городского почтмейстера. Он выдавал себя за жаркого почитателя Ломоносова. «Которую же из од его,— спросил Фонвизин,— признаете вы лучшею?»—«Ни одной не случилось читать»,—ответствовал ему почтмейстер. «Зато,— продолжал Фонвизин,— доехав до Москвы, я уже не знал, куда мне деваться от молодых стихотворцев. От утра до вечера они вокруг меня роились. Однажды докладывают мне: «Приехал сочинитель».—«Принять его»,— сказал я, и чрез минуту входит автор с пуком бумаг. После первых приветствий и оговорок он просит меня выслушать трагедию его *в новом вкусе*. Нечего делать; прошу его садиться и читать. Он предваряет меня, что развязка драмы его будет совсем необыкновенная: у всех трагедии оканчиваются добровольным или насильственным убийством, а его героиня или главное лицо — умрет естественною смертью. И в самом деле,— заключает Фонвизин,— героиня его от акта до акта чахла, чахла и наконец издохла».

Мы расстались с ним в одиннадцать часов вечера, а наутро он уже был в гробе!

Между известными того времени поэтами, посещавшими Державина, к удивлению моему, ни однажды не сходился я с Княжниным и Петровым. Первого, по крайней мере, видал я в театре, а последнего никогда не знал, хотя и живал с ним в одном городе. Оды его и тогда были при дворе и у многих словесников в большом уважении; но публика знала его едва ли не понаслышке, а Державин и приверженные к нему поэты, хотя и не отказывали Петрову в лирическом таланте, но всегда останавливались более на жесткости стихов его, чем на изобилии в идеях, на возвышенности чувств и силе ума его. Что же касается до меня, я желал бы бо́льшего благозвучия стихам его, но всегда почитал в нем одного из первоклассных и *ученейших* наших поэтов. По моему мнению, лучшие из его произведений две оды: одна на сожжение турецкого флота при Чесме, другая к графу Г. Г. Орлову, начинающаяся стихом: «Защитник строгого Зинонова закона...» и элегия, или песнь, на кончину князя Потемкина. Он истощил в ней все красоты поэзии и ораторского искусства. Менее всего он успел в сатири-

ческом и шутливом роде. В нежном писал он мало, но с чувством. В пример тому можно привести на память стихи его на рождение дочери. Они оканчиваются следующим обращением к его супруге:

> О ангел! страж семьи! ты вечно для меня
> Одна в подсолнечной красавица, Прелеста,
> Мать истинная чад,
> Живой источник мне отрад,
> Всегда любовница, *всегда* моя *невеста.*

Какое глубокомыслие, какая нежность, истина и простота в последнем стихе!

Н. А. и Ф. П. Львовы, А. Н. Оленин и П. Л. Вельяминов составляли почти ежедневное общество Державина. Здесь же познакомился я с Васильем Васильевичем Капнистом. Он по нескольку месяцев проживал в Петербурге, приезжав из Малороссии, его отчизны, и веселым остроумием, вопреки меланхолическому тону стихов своих, оживлял нашу беседу.

Но я еще более находил удовольствие быть одному с хозяином и хозяйкою. Катерина Яковлевна, первая супруга Державина, дочь кормилицы императора Павла и португальца Бастидона, камердинера Петра Третьего, с пригожеством лица соединяла образованный ум и прекрасные качества души, так сказать, любивой и возвышенной. Она пленялась всем изящным и не могла скрывать отвращения своего от всего низкого. Каждое движение души обнаруживалось на миловидном лице ее. По горячей любви своей к супругу, она с живейшим участием принимала к сердцу все, что ни относилось до его благосостояния. Авторская слава его, успехи, неудовольствия по службе были будто ее собственные. Однажды она провела со мною около часа один на один. Кто же поверит мне, что я во все это время только что слушал, и о чем же? Она рассказывала мне о разных неудовольствиях, претерпенных мужем ее в бытность его губернатором в Тамбовской губернии; говоря же о том, не однажды отирала слезы на глазах своих.

Воспитание ее было самое обыкновенное, какое получали тогда в приватных учебных заведениях; но она по выходе в замужество пристрастилась к лучшим сочинениям французской словесности. В обществе друзей своего супруга она приобрела верный вкус и здравое суж-

дение о красотах и недостатках сочинения. От них же, а более от Н. А. Львова и А. Н. Оленина получила основательные сведения в музыке и архитектуре.

В пример доброго ее сердца расскажу еще один случай. Жена, муж и я сидели в его кабинете; они между собою говорили о домашних делах, о старине, дошли, наконец, до Казани, отчизны поэта. Катерина Яковлевна вспомнила покойную свекровь свою, начала хвалить ее добрые качества, ее к ним горячность; наконец, стала тужить, для чего они откладывали свидание с нею, когда она в последнем письме своем так убедительно просила их приехать навсегда с нею проститься. Поэт вздохнул и сказал жене: «Я все откладывал в ожидании места (губернаторского), думал, что, уже получа его, испросить отпуск, и съездить в Казань». При этом слове оба стали обвинять себя в честолюбии, хвалить покойницу, и оба заплакали. Я с умилением смотрел на эту добросердечную чету. Молодая супруга, пятидесятилетний супруг оплакивают — одна свекровь, другой мать свою — и чрез несколько лет по ее смерти!

Державин любил вспоминать свою молодость. Вот что я от него самого слышал. Отец его — помещик Уфимской провинции, составлявшей тогда часть Казанской губернии. Сам же он, обучаясь в Казанской гимназии, обратил на себя внимание директора ее Михайла Ивановича Веревкина успехами в рисовании и черчении планов, особенно же, работы его, портретом императрицы Елисаветы, снятым простым пером с гравированного эстампа. Портрет представлен был главному куратору Московского университета Ивану Ивановичу Шувалову. Державин взят был в Петербург вместе с другими отличными учениками и записан по именному указу гвардии в Преображенский полк рядовым солдатом. Отец его, хотя был не из бедных дворян, но, по тогдашнему обыкновению, при отпуске сына не слишком наделил его деньгами, почему он и принужден был пойти на хлебы к семейному солдату: это значило иметь с хозяином общий обед и ужин за условленную цену и жить с ним в одной светлице, разделенной перегородкою. Человек умный и добрый всегда поладит с выпавшим жребием на его долю: солдатские жены, видя его часто с пером или за книгою, возымели к нему особенное уважение и стали поручать ему писать грамотки к отсутствующим родным сво-

им. Он служил им несколько месяцев бескорыстно пером своим; но потом сделал им предложение, чтоб они, за его им услуги, уговорили мужей своих отправлять в очередь его ротную службу; стоять за него на ротном дворе в карауле, ходить за провиантом, разгребать снег около съезжей или усыпать песком учебную площадку. И жены и мужья на то согласились.

К числу примечательных случаев в солдатской жизни Державина поспешим прибавить, что автор *оды к Фелице* стоял на часах в Петергофском дворце в ту самую минуту, когда Екатерина отправилась в Петербург для совершения отважного дела: получить верховную власть или погибнуть.

В то же время начал он и стихотворствовать. Кто бы мог ожидать, какой был первый опыт творца «Водопада»? Переложение в стихи, или, лучше сказать, на рифмы площадных прибасок на счет каждого гвардейского полка! Потом обратился он уже к высшему рифмованию и переложил в стихи несколько начальных страниц «Телемака» с русского перевода; когда же узнал правила поэзии, принял в образец Ломоносова. Между тем читал в оригинале Геллерта и Гагедорна. Кроме немецкого, он не знал других иностранных языков. Древние классические поэты, италиянская и французская словесность известны ему стали в последующие годы по одним только немецким и русским переводам.

В продолжение унтер-офицерской службы его случилось ему быть в Москве; тогда Сумароков, еще в полном блеске славы своей, рассорился с содержателем вольного театра и главною московскою актрисою. Он жаловался на них начальствующему в столице, фельдмаршалу графу Петру Семеновичу Салтыкову. Не получа же от него удовлетворения, принес жалобу на самого его императрице. Екатерина благоволила удостоить его ответом, но в рескрипте своем дала ему почувствовать, что для нее приятнее «видеть изображение страстей в драмах его, нежели читать в письмах». С этого рескрипта пошли по рукам списки, все толковали его не в пользу Сумарокова. Раздраженный поэт излил горесть и желчь свою в элегии, в которой особенно замечателен был следующий стих:

Екатерину зрю, проснись Елисавета!

Элегия была тогда же напечатана, несмотря на этот стих и многие колкие намеки на счет фельдмаршала. Вместе с нею выпустил он еще эпиграмму на московских вестовщиков:

На место соловьев кукушки здесь кукуют
И гневом милости Дианины толкуют.

Державин, поэт еще неизвестный, вступясь за москвичей, сделал на эту эпиграмму пародию и распустил ее по городу. Он выставил под ней только начальные буквы имени своего и прозванья. Сумароков хлопочет, как бы по них добраться до сочинителя. Указывают ему на одного секретаря рифмотворца; он скачет к неповинному незнакомцу и приводит его в трепет своим негодованием.

В скором времени после того смелый Державин успел познакомиться с Сумароковым; однажды у него обедал и мысленно утешался тем, что хозяин ниже́ подозревал, что против него сидит и пирует тот самый, который столько раздражил желчь его.

В дополнение характеристики достойно уважаемого нами поэта сообщу еще одну быль, рассказанную мне Елизаветой Васильевной Херасковой, супругою творца «Россияды», ныне столь нагло уничижаемого по слухам и эгоизму молодым поколением.

В семьсот семьдесят пятом году, когда двор находился в Москве, у Хераскова был обед. Между прочими гостьми находился Иван Перфильевич Елагин, известный по двору и литературе. За столом рассуждали об одах, вышедших на случай прибытия императрицы. Началась всем им оценка, большею частию не в пользу лириков, и всех более критикована была ода *какого-то* Державина. Это были точные слова критика. Хозяйка толкает Елагина в ногу; он не догадывается и продолжает говорить об оде. Державин, бывший тогда уже гвардии офицером, молчит на конце стола и весь рдеет. Обед окончился. Елагин смутился, узнав свою неосторожность. Хозяева ищут Державина, но уже простыл и след его. Проходит день, два, три. Державин против обыкновения своего не показывается Херасковым. Между тем как они тужат и собираются навестить оскорбленного поэта, Державин с бодрым и веселым видом входит в гостиную; обрадованные хозяева удвоили к нему ласку свою и спрашивают его, отчего так долго с ним не видались? «Два дня сидел дома с закрытыми ставнями,—

отвечает он,— все горевал об моей оде; в первую ночь даже не смыкал глаз моих, а сегодня решился ехать к Елагину, заявить себя сочинителем осмеянной оды и показать ему, что и дурной лирик может быть человеком порядочным, и заслужить его внимание; так и сделал. Елагин был растроган, осыпал меня ласками, упросил остаться обедать, и я прямо оттуда к вам».

Заключу, наконец, двумя чертами его простодушия, которое и посреди соблазнов, окружавших вельмож, никогда и ничем не было в нем заглушаемо.

Державин уже был статс-секретарем. Однажды входят в кабинет его с докладом, что какой-то живописец, из русских, просит позволения войти к нему. Державин, приняв его за челобитчика, приказывает тотчас впустить его. Входит румяный и слегка подгулявший живописец, начинает высокопарною речью извинять свою дерзость, происходящую, по словам его, «единственно от непреодолимого желания насладиться лицезрением великого мужа, знаменитого стихотворца» и пр. Потом бросается целовать его руки. Державин хотел отплатить ему поцелуем в щеку. Живописец повис к нему на шею и насилу выпустил его из своих объятий. Наконец, он вышел из кабинета, утирая слезы восторга, поднимая руки к небу и осыпая хозяина хвалами. Я приметил, что это явление не неприятно было для простодушного поэта. Чрез два или три дня живописец опять приходит, и возобновляется прежняя сцена; хозяин с тем же покорством выносит докуки гостя, который стал еще смелее. Чрез день то же. Хозяин уже с печальным лицом просит у приятелей совета, как бы ему освободиться от возливого своего поклонника? Последовал единогласный приговор: *отказывать*.

В другой раз, около того же времени, я иду с ним по Невской набережной. «Чей это великолепный дом?» — спрашивает меня, проходя мимо дома принцессы Барятинской-Гольстейн-Бек. Я сказываю. «Да она в Италии; кто же теперь занимает его?» — «Иван Петрович Осокин».— «Осокин! — подхватил он.— Зайдем, зайдем к нему!..» и с этим словом, не ожидая моего согласия, поворотил на двор и уже всходит на лестницу. Мне легко было за ним следовать потому, что я давно был знаком с Осокиным. Хозяин изумился, оторопел, увидя у себя нового вельможу, с которым уже несколько лет нигде не

встречался. Державин бросается целовать его, напоминает ему об их молодости, об старинном знакомстве. Хозяин же с почтительным молчанием или с короткими ответами кланяется и подносит нам кубки шампанского. Чрез полчаса мы с ним расстались, и вот развязка внезапного нашего посещения.

Отец Осокина, из купеческого сословия, имел суконную фабрику в Казани; сын его по каким-то домашним делам проживал в Петербурге; по склонности своей к чтению книг на русском языке он познакомился с именитыми того времени словесниками: с пиитою и филологом Тредьяковским, с Кириаком Кондратовичем и их учениками. Он заводил для них пирушки, приглашая всякий раз и земляка своего Державина, который тогда был гвардии капралом. Кондратович привозил иногда и дочь свою. Она восхищала хозяина и гостей игрою на гуслях и была душою беседы. Молодой Осокин (Иван Петрович) и сам стихотворствовал. Я читал его пастушескую песню, отысканную добрым Державиным в своих бумагах.

Поэт, на обратном пути рассказывая мне об этом старинном своем знакомстве, не позабыл прибавить, что Осокин тогда помогал ему в нуждах и нередко ссужал его деньгами. Почитатели Державина! Я не в силах был говорить вам об его гении, по крайней мере, в двух или трех чертах показал его сердце.

Уже сказано мною, что в том же году порадован я был свиданием с Карамзиным, прибывшим на корабле из Лондона. Я познакомил его с Державиным, который известен ему был по одной *первой* оде его к *киргиз-кайсацкой царевне* Фелице. Но свидание наше было кратковременное; чрез три недели он отправился на житье в Москву, с намерением выступить опять на литературное поприще изданием журнала; уступя его желанию, я вверил ему рукописное собрание всех моих безделок, еще не напечатанных, для подкрепления на первый случай журнального его запаса.

С началом 791 года появился журнал Карамзина под именем «Московского» и обратил на себя внимание первостепенных наших авторов. Все отдали справедливость новому, легкому, приятному и живописному слогу «Писем русского путешественника», «Натальи, боярской дочери» и других небольших повестей. Этот журнал, сверх

многих собственных сочинений издателя, помещал стихотворения Хераскова, Державина, Нелединского-Мелецкого, Николева, Федора Львова и других молодых стихотворцев. В первых трех частях его напечатаны были и мои стихотворения, выбранные издателем без моего назначения, а по собственному его произволу, из взятого им моего бумажника. Все они были едва ли не ниже посредственных; но с четвертой части начался уже новый период в моей поэзии: песня моя «Голубок» и сказка «Модная жена» приобрели мне некоторую известность в обеих столицах. Любители музыки сделали на песню мою несколько голосов. Она полюбилась прекрасному полу, а сказка поэтам и молодежи. С той поры и в обществе Державина уже я перестал быть авскультантом и вступил, так сказать, в собратство с его членами; но ничье одобрение столько не льстило моему самолюбию, как один приветливый взгляд Карамзина или Козлятева.

В то же время я начал изучать басенников и выдал, подражая более Лафонтену и Флориану, несколько басен. Мне посчастливилось также и этими опытами угодить обществу и многим из литераторов.

Семьсот девяносто четвертый год был моим лучшим пиитическим годом. Я провел его посреди моего семейства, в приволжском городке Сызране или в странствовании по Низовому краю. Здоров, независим, обеспечен во всех моих неприхотливых нуждах, я не скучал отсутствием шумных забав и докучливых, холодных посещений. Для меня достаточно было одной моей семьи и двоюродного моего брата Платона Петровича Бекетова: с ним я вместе учился в Казани и Симбирске; вместе служил в гвардии и, к счастию моему, вместе доживаю теперь и старость.

Сызран выстроен был худо, но красив по своему местоположению. Он лежит при заливе Волги и разделяется рекою Крымзою, которая в первых днях мая бывает в большом разливе. Каждое воскресенье, в хорошую погоду, видел я ее из моих окон покрытою лодками: зажиточные купцы с семейством и друзьями катались в них взад и вперед под веселым напевом бурлацких песен. На дочерях и женах веяли белые кисейные фаты или покрывала, сверкал жемчуг, сияли золотые повязки, кокошники и парчовые телогреи. Прогулка их оканчивалась иног-

да заливом Волги. Там они, бывало, тянут тоню, и сами себе готовят на мураве уху из живой рыбы.

Это место было и моим любимым гульбищем. В ясное утро, с первыми лучами солнца, я переезжал на дрожках — когда нет разлива — реку Крымзу прямо против монастыря и, взобравшись на высокий берег, хаживал туда и сюда, без всякой цели; но везде наслаждался живописными видами, голубым небом, кротким сиянием солнца, внешним и внутренним спокойствием. Везде давал волю моим мечтам, начиная мою прогулку всегда с готовою в голове работою. Потом спускался на Воложку или к заливу Волги. Там выбирал из любого садка лучших стерлядей и привозил их в ведре к семейному обеду. Потом клал на бумагу стихи, придуманные в моей прогулке. Если сам бывал ими доволен, то читывал их сестрам моим, Платону Петровичу Бекетову или Игнатию Ивановичу Соловцову, которые гащивали у нас попеременно. Наступает новое удовольствие: переписывать стихи мои набело для отсылки к Карамзину. С каким нетерпением ожидал от него отзыва! С какою радостию получал его! С каким удовольствием видел стихи мои уже в печати! Каждое письмо моего доброго друга было поощрением для дальнейших стихотворных занятий. Здесь-то, в роскошную пору весны, в тонком сумраке тихого вечера мелькнули предо мной безмолвные призраки Ермака и двух шаманов.

В продолжение того же года я отлучался в Царицын для свидания в последний раз с родным моим дядею Никитой Афанасьевичем Бекетовым. Он жил в селе своем *Отраде*, в тридцати верстах от города, а в пятнадцати от Сарепты, известного поселения евангелического братства. Всю дорогу совершил я по величавой Волге. Не могу и теперь вспомнить без удовольствия тех дней, которые провел я в плывучем доме, особенно же каждого утра! Время было прекрасное: начало лета. В каюте моей помещались только столик, один стул, кровать, а над нею полка с моими книгами. По восходе солнца выходил я из тесной моей спальной на палубу с Ариостом в руках (с французским переводом «Неистового Роланда»): за мною выносили стул, столик и ставили на нем серебряный прибор для кофия. Я сам варил его. Судно наше тянулось плавно или неслось быстро на парусах, в полной безопасности от мелей и бури. Между тем, на обо-

их берегах непрестанно переменялись для глаз моих предметы; с каждою минутою новые сцены: то мелькали мимо нас города, то приосеняли навислые горы, инде дремучий лес или миловидные кустарники, здесь татарская мечеть, там церковь или кирка среди больших селений. С наступлением вечера я спускался в каюту и ожидал вдохновения музы. В этом-то уголке написаны ода «К Волге» и сказка «Искатели фортуны».

Другая отлучка моя из Сызрана была в том же году в Астрахань, уже сухим путем, но не меньше приятным. Проехав несколько русских и татарских деревень и сел, вступаешь в поселения выходцев европейских, большею частию из Германии. Они простираются на расстоянии трехсот верст от Саратова до Камышина. Чем ближе к Астрахани, тем чаще встречаются кочевья калмыков. Дорога местами лежит на несколько верст подле самой Волги, так что колеса почти захватывают воду, потом взбираешься на крутой берег. Красного леса там нет: изредка мелкий или кустарники; зато поля усеяны тюльпанами. Иногда думаешь быть вне России, ибо видишь других людей, другие обычаи, даже других животных. Часто я внезапно бывал поражен протяжным и продолжительным скрыпом татарских арб или тележек на двух немазанных колесах; на них отправляется виноград в Москву и другие губернии. Порою встречался мне вооруженный калмык, скачущий во всю прыть на борзом коне, держа на руке сокола или ястреба. Там, в туманный вечер, в виде зыблющихся холмов, покоился на траве табун верблюдов; за ним открывался ряд кибиток, при коих против пылающего хвороста резвились нагие калмычата.

Город Астрахань представляет также картину, достойную любопытства. Можно прожить в нем недели две нескучно. С противоположного берега он виден в значительном протяжении на высоких холмах, как бы увенчанных садами виноградными. Доехав до Волги, находишь лагерь кибиток и около их калмыков и прибывших по торговым делам бухарцев и хивинцев. Все они по привычке живут вне города. Промышленные татары тотчас предлагают свои лодки для переправы чрез Волгу в город. Входишь в них вместе с калмыком, армянином, индийцем и оглушаешься шумным говором на разных незнаемых языках. Каждый попутчик имеет особый облик,

отличную одежду. В одном городе видишь разные обычаи, гостиные дворы трех народов, свободное отправление службы трех вероисповеданий: христианского, магометанского и идолопоклоннического. Монах сталкивается с факиром; лама приятельски разговаривает с муллою, лютеранин с католиком.

Поэту небесполезно путешествовать — одна неделя в пути может обогатить его запасом идей и картин по крайней мере на полгода. Всегда под открытым небом, свидетель великолепного восхождения солнца, вечерних сцен, озлащаемых последними его лучами, безмолвной величественной ночи, усеянной звездами, или освещаемой полною и кроткою луною, он вдыхает в себя бо́льшее благоговение к Непостижимому. Будучи одинок, никем не развлечен, наблюдатель и нравственного и физического мира, он входит сам в себя, с большею живостию принимает всякое впечатление и запасается, не думая о том, материалами для будущих, как и прежде сказал, своих произведений. Самое над ним пространство, недосягаемое и беспредельное, возвышает в нем душу и расширяет сферу его воображения.

Всякий раз, когда я ни бывал в дороге, в весеннюю или летнюю пору, прихаживало мне на мысль, что я родился живописцем, а не поэтом,— по крайней мере, поэтом в живописи: каждое замечательное местоположение, все живописные сцены утра, вечера или ночи заставляли меня вздохнуть, для чего я не живописец и не могу тотчас остановиться и перенести все виденное на холст или бумагу.

Никогда не забуду меланхолического, но как-то приятного впечатления, испытанного мною однажды в положении путника. С наступлением вечера въезжаю я в околицу большого селения и нагоняю толпу поселян обоего пола, возвращающихся с полевой работы. Чрез всю деревню я велел ехать шагом, чтоб не разлучиться мне с ними. Долго следовали они за мною и оглушали меня своими песнями, потом рассыпались в разные стороны; между тем я продолжаю путь мой, и веселые песни еще отзываются в ушах моих. Достигаю до конца селения и вижу поселянина в глубокой старости, сидящего на завалинке последней хижины и держащего на коленях своих младенца. Вероятно, это был внук его. Старик глядел спокойно, последние лучи солнца падали на обнаженное темя его.

Путешествие, младенец в противоположности с старцем, поющая молодость, закат солнца — все это представило мне яркую картину жизни во всех возрастах и конец ее.

Я не однажды рассказывал об этой сцене знакомым мне рисовальщикам и живописцам: мне хотелось возбудить в них желание составить из моего описания иносказательную картину, но рассказ мой не подействовал на их сердце.

Пиитический мой год уже приближался к концу, и я, по возвращении моем в Сызран, прожил в нем только до зимнего пути. В продолжение моего там пребывания, написаны были «Глас патриота», «Чужой толк», «Ермак», из сказок — «Воздушные башни», «Причудница» и «Послание к Державину», по случаю кончины незабвенной его супруги, оставившей преждевременно мир наш в апреле того же года.

«Глас патриота» был данью обрадованного сердца по слуху о покорении Варшавы. Я сочинил эти стихи пред отъездом моим в Астрахань, но еще на дороге узнал, к моей досаде, о несправедливости слуха. Однако по привычке моей сообщать всякое мое произведение Карамзину и Державину, отправил я уже из Астрахани к последнему и «Глас патриота» вместе с «Посланием», о котором сказано выше. Они доходят до него в то самое время, когда получено известие о разбитии польских войск и взятии в полон самого их предводителя. Державин тотчас, переменя в стихах моих имена Варшавы, Собиески на прозвище Костюшки, показывает мои стихи светлейшему князю Зубову, а он представляет их императрице, которая усомнилась, чтобы слух о таком важном событии мог в одно время дойти до двора и Низового нашего края. Тогда Державин принужден был признаться в сделанной им перемене, причем показал и самое мое письмо. Императрица приказала напечатать мои стихи на счет своего кабинета.

На возвратном пути моем в Петербург узнал я в Москве от Карамзина о прекращении «Московского журнала». Издатель его занялся печатанием «Писем русского путешественника» и собранием всех повестей, сказок и мелких сочинений в стихах и прозе под заглавием «Мои безделки». Последуя примеру его, выдал и я в 795 году в первый раз собрание моих стихотворе-

ний под именем «И мои безделки». Это издание достопамятно для меня тем, что приобрело мне лестное знакомство с почтенным обер-камергером Иваном Ивановичем Шуваловым. Меценат Ломоносова еще обращал приветливый взгляд и к позднейшему поколению наших поэтов.

С пресечением «Московского журнала» охолодело во мне соревнование. С того времени до издания Карамзиным «Вестника Европы» я не написал ничего, чем бы сам был доволен, не исключая и «Освобождения Москвы», хотя некоторые и ставили эту поэмку на счету лучших моих стихотворений. Она давно бродила у меня в голове, но я откладывал приняться за нее до приезда моего в Сызран, в надежде насладиться там опять пиитическою жизнию. Судьба расположила иначе: пожар истребил город, остались только следы нашего дома. Отец мой принужден был съехать на житье в свою деревню, в двадцати пяти верстах от города, и там-то написаны были «Освобождение Москвы» и «Послание к Карамзину»: «Не скоро ты, мой друг, дождешься песней новых» и пр., — написаны в ветхом и тесном доме, в продолжение жестокой болезни сестры моей. Пронзительный вопль ее почти каждый день, раздирая мое сердце, заставлял бросать перо и бежать из дома.

После того в четыре года вышли от меня только подражание посланию Попа к доктору Арбутноту и посредственные стихи на случай освобождения от податей потомства Ломоносова. Во все это время, находясь в гражданской службе, я уже не имел досуга предаваться поэзии. Притом же и сам хотел на время забыть ее, чтобы сноснее для меня был запутанный, варварский слог наших толстых экстрактов и апелляционных челобитен.

Наконец, получа отставку, я переселился в Москву, купил у профессора Лангера за пять тысяч восемьсот рублей деревянный домик с маленьким садом, близ Красных ворот, в приходе Харитония в Огородниках, переделал его снаружи и внутри, сколько можно было получше, украсил небольшим числом эстампов, достаточною для меня библиотекою и возобновил авторскую жизнь, уже не в городке, а в роскошной столице, имея только три тысячи рублей постоянного, годового дохода.

С весны до глубокой осени, в хорошую погоду каждое утро и каждый вечер обхаживал я мой садик, зани-

маясь его отделкою или поправкою, иногда же чтением под густою тенью двух старых лип, прозванных *Филемоном и Бавкидою.* Между тем посвящал часа по два моему кабинету, езжал на дрожках за город любоваться живописными окрестностями или хаживал по разным частям города.

Но не проходил ни один день, чтоб я не видался с Карамзиным, а по зимам и с Козлятевым. Помнится мне, он вышел в отставку на одном году со мною и проживал в Москве каждую зиму.

Кроме их я также с удовольствием проводил вечера у Настасьи Ивановны Плещеевой. В ее-то сельском уединении развивались авторские способности юного Карамзина. Она питала к нему чувства нежнейшей матери. Нередко посещал я и почтенного моего земляка Ивана Петровича Тургенева, тогдашнего директора Московского университета, равно и патриарха современных поэтов, Михайла Матвеевича Хераскова.

Может быть, немногим известно, что первые дни жизни его ознаменованы таким случаем, который мог бы иметь важные для него последствия: на третьем году от рождения он был украден из отцовского дома. Это случилось в деревне, в отсутствие родителей. Оплошная нянька взволновала весь дом. Пошли расспросы и пересказы; узнают о проходивших чрез деревню цыганах; нагоняют их на большой дороге и вырывают младенца из рук воровки. Я пишу слышанное от самого поэта. Часом после, и творец «Россияды» вместо вершин Парнаса прожил и умер бы безвестным в цыганском таборе, посреди нищеты и разврата.

По кончине Сумарокова Херасков считался у нас первым поэтом; но впоследствии времени Державин сильным и оригинальным стихотворством своим взял над ним преимущество, хотя и уступал ему во вкусе, разнообразии, правильности и чистоте языка. Херасков, несмотря на соперничество, сохранял с ним постоянную связь и пользовался уважением публики до конца своей жизни. Молодые поэты вменяли себе в обязанность стараться получить доступ к нему и заслужить его внимание. Около того времени он выдал еще две небольшие поэмы: «Пилигримы», и «Царь, или Спасенный Новгород». За год же до кончины своей заключил литературное свое поприще сказкою, или

повестью «Бахариана», писанною белыми стихами. Он и в самую глубокую старость, едва ли не восьмидесяти лет, всякое утро посвящал музам, в остальные же часы, кроме вечеров, любил читать, по бо́льшей части на французском языке. Я заставал его почти всегда за книгою. Однажды нашел его читающим лагарпов «Лицей, или Курс литературы». Первые слова его были ко мне: «Не так бы я писал мои трагедии, если бы сорокью годами прежде прочитал эту книгу». Надобно было видеть разрушение во всех чертах лица и во всем составе, слышать дрожащий голос его, чтобы понять, как в эту минуту он меня тронул!

Говоря о Хераскове, трудно было бы мне промолчать о почтенной его супруге. Елизавета Васильевна, по отце Неронова, умела пленить нашего поэта своею любезностию, которую она сохранила до самой смерти, и талантом своим в поэзии. Она в молодости своей много писала стихов, из коих мне известна одна только поэмка, под заглавием «Потоп», напечатанная в семидесятых годах в «Вечерах», петербургском журнале. Тогда требовали более плавности, чистоты в языке, нежели силы в мыслях и выражении. По справедливости можно назвать ее во всех отношениях достойною подругою поэта. Она облегчала его во всех заботах по хозяйству, была лучшим его советником по кабинетским занятиям и душою вечерних бесед в кругу их друзей и знакомцев. По кончине супруга она, не мешкав, написала духовную, избрав Якова Ивановича Булгакова, князя Николая Никитича Трубецкого и меня в свои душеприказчики. Вскоре потом впала в продолжительную болезнь и скончалась. Я с умилением бывал свидетелем ее покорности и равнодушия, с каким она готовилась расстаться с миром. Подкреплю сказанное мною примером. Во время ее болезни хаживал к ней молодой человек, сын ее знакомца. Часто случалось им провожать вдвоем целые вечера. Чем же они занимались? Задавали друг другу рифмы (bouts-rimés). Он показывал мне однажды четверостишие, сочиненное больною на смертном одре, на заданные от него рифмы. Содержание стихов было размышление о жизни. Она уподобляла свою одной из заданных ей рифм,— догорающей *свечке*.

Одиночество мое оживлялось довольно часто беседою и молодых писателей: Василья Львовича Пушкина, Владимира Васильевича Измайлова и Василья Андреевича Жуковского. Признательность моя наименовала только тех, которых постоянная приязнь ко мне и поныне услаждает мои воспоминания.

Кажется, будто мне суждено было тогда воспламеняться поэзией, когда Карамзин издавал журналы. С появлением «Вестника Европы» в 1802 году, я обратился опять к музам, но развлеченный невольно городской жизнию, хотя и не был раболепным данником света, ослабевая при том в здоровье, я уже начал терять живость воображения и занимался более подражанием иноземным басенникам.

Вскоре за тем я занемог продолжительною и важною болезнью. Несколько недель был в совершенном расслаблении. Тянув томную жизнь со дня на день, считая каждый последним, я имел одну только отраду сидеть с утра до вечера в беседке моего садика и читать новости французской литературы. Такое занятие было для меня полезнее моих знакомцев: углубясь в чтение, я забывал тогда хотя на краткое время об моем положении, а их печальный и сомнительный вид напоминал об нем при самом входе, притом же мне тяжело было говорить с ними: от пяти слов занималось дыхание.

С первых дней болезни столь быстрый переход от полноты жизни к чрезвычайному изнеможению ужаснул меня, но потом, мало-помалу свыкаясь с мыслью о смерти, я стал спокойнее, покорил себя провидению и всем сердцем благодарил его за каждый день, в который оно допустило меня посреди цветов и зелени еще насладиться сиянием солнца и чистою лазурью неба.

В продолжение осени я начал оправляться и в этом состоянии написал басни «Петух, кот и мышонок», «Царь и два пастуха», «Летучие рыбы», «Воспитание льва», «Каретные лошади». Помнится мне, в то же время вышла от меня стихотворная безделка под заглавием «Путешествие N. N. в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия». Эти стихи разделены были на три части, каждая в листочек, и напечатаны, с согласия путешественника, только для круга коротких наших знакомцев.

С наступившим 1803 годом Карамзин перестал

издавать «Вестник Европы», быв побужден к тому новою обязанностию историографа. С удовольствием вспоминаю, что некоторым образом и я имел влияние на его историю, на его собственную и отечественную славу. Он уже давно занимался прохождением всемирной истории средних времен, с прилежанием читал всех классических авторов, древних и новых; наконец, прилепился к отечественным летописям, в то же время приступил и к легким опытам в историческом роде. Таковыми назову: «О московском мятеже за Морозова в царствование Алексея Михайловича», «Путешествие к Троице», «О бывшей Тайной канцелярии» и пр. Между тем он часто говаривал мне, что ему хотелось бы писать отечественную историю, но в положении частного человека не смеет о том и думать: пришлось бы отстать от журнала, составляющего значительную часть годового его дохода. Я советовал ему просить звания историографа; он считал это невозможным, говоря, что по обычаю моему все вижу в розовом цвете. В продолжение времени несколько раз возобновлялась речь о том же, и я все говорил ему одно и то же: проситься в историографы. Наконец он уступил моим советам, избрав ходатаем своим Михайла Никитича Муравьева, бывшего тогда статс-секретарем и попечителем Московского университета. Доклад не замешкался, и в конце того же года последовал высочайший указ о наименовании Карамзина историографом. Вслед за тем из отставных поручиков он пожалован в чин надворного советника, и назначено ему по две тысячи рублей ежегодного пансиона.

Журнал его «Вестник Европы» по всей справедливости может назваться лучшим нашим журналом. Он удовлетворяет читателям обоих полов, молодым и престарелым, степенным и веселым. Строгий вкус присутствовал при выборе почти каждой статьи его. «Марфа-посадница», историческая повесть, помещенная во втором годе журнала, превзошла все произведения издателя. В ней открылся талант его уже в полном блеске и зрелости. Прибавим к тому, что Карамзин начал писать эту повесть во время жестокой болезни своей супруги, посреди забот и душевных страданий, а дописал в первых месяцах ее кончины. Не доказывает ли это всю силу таланта и ума его?

Никто из журналистов наших, старых и современных, не был богатее и разнообразнее Карамзина в собственных сочинениях. Мы видели в нем и политика, и патриота, и критика, и моралиста. Он имел неоспоримо большое влияние на успехи нашей словесности. В «Письмах русского путешественника» он познакомил наше юношество с немецкою литературою, приохотил его к сочинениям новейших германских писателей и направил к прилежному изучению немецкого языка, который пришел было у нас в совершенное пренебрежение. Он показал нам образец и в ученых разборах сочинений. До его критического рассмотрения поэмы «Душенька» не было у нас ничего порядочного в этом роде.

В доказательство того приведем один случай. Когда Херасков издал «Россияду», общество Новикова, состоявшее большею частию из друзей-почитателей первенствовавшего тогда поэта, вознамерилось написать разбор его поэмы, — разумеется, выставить ее лучшую сторону. И что же? Избранные им сочинители неоднократно сбирались в доме Новикова. Писали, чертили, переправляли и, наконец, при всем своем усердии сознались в своем бессилии и предоставили этот труд совершить немцу, директору Казанской гимназии. Юлий Иванович фон Каниц, не имевший с ними никакого сношения, самопроизвольно сочинил на немецком языке этот разбор и поместил его в «Рижском журнале». Тогда тотчас поспел перевод и напечатан в «Санкт-Петербургском вестнике», которого издателем был г. Брайко, чиновник Иностранной коллегии. Это я слышал от самого члена общества Ивана Петровича Тургенева.

Историю нашей словесности можно разделить на два периода. Первый, по моему мнению, продолжается до последнего десятилетия царствования Екатерины Второй. В начале его три словесника покушались приближить (а не приблизить) книжный язык к употребляемому в обществах. Князь Кантемир начал, и с довольным успехом; Тредьяковский хотел перещеголять его, и за недостатком разборчивости составил такой слог, которым смешил даже и современников.

Потом Ломоносов, одаренный превосходным гением, очистил книжный язык от многих слов, обветшалых и неприятных для слуха, подчинил его законам исправ-

ленной им грамматики, предложил в риторике своей правила для соблюдения плавного словотечения; и хотя советовал пользоваться чтением церковных книг, но сам начал писать чистым русским языком, понятным каждому состоянию, и заслужил славу первого преобразователя отечественного слова.

Учениками школы его были все того времени писатели и переводчики Санкт-Петербургской Академии наук и Московского университета, равно и прозаические писатели и переводчики. Из числа последних отличались плавностию или исправностию слога Семен Андреевич Порошин, Иван Логинович Кутузов, Иван Перфильевич Елагин, Денис Иванович Фон или Фанвизин, и, гораздо после их, Александр Семенович Шишков, нынешний президент Российской Академии и министр просвещения.

В последствии времени захотели сами быть начальниками школы Елагин и Фонвизин. Первый обратился к *славянчизне*: перевел почти по-славянски «Похвальное слово Марку Аврелию» известного французского оратора Тома; другой, хотя и с большим вкусом, полагал, будто в высоком слоге надлежит мешать русские слова с славянскими и для благозвучия наблюдать некоторый размер, называемый у французов *кадансированною прозою*; по этой методе переложил он «Иосифа», прозаическую поэму г. Битобе, и то же самое «Похвальное слово Марку Аврелию». Последователи их захотели перещеголять своих учителей и уже начали еще более употреблять славянские речения и обороты. Мы находим в их сочинениях: *тако мне глаголющу, возставшу солнцу* и пр. тому подобное. Усерднейшие из них славянофилы были М. Попов, поэт, прозаический автор и переводчик с французского языка тассовой поэмы «Освобожденный Иерусалим», сенатор И. С. Захаров, особенно же г. Якимов, Пахомов и священник Сидоровский, о трудах коих уже сказано выше.

В таком состоянии находилась наша словесность, когда Карамзин, еще в цвете лет, возвратясь из Парижа и Лондона, выступил на авторское поприще. Обдуманная система уже предшествовала его начину: вникая в свойство языка и в тогдашний механизм нашего слога, он находил в последнем какую-то пестроту, неопределительность и вялость или запутанность, происходящие

от раболепного подражания синтаксису не только славянского, но и других древних и новых европейских языков, и по зрелом размышлении пошел своей дорогой и начал писать языком, подходящим к разговорному образованного общества семидесятых годов, когда еще родители с детьми, русский с русским не стыдились говорить на природном своем языке, в составлении частей периода употреблять возможную сжатость и при том воздерживаться от частых союзов и местоимений *который* и *которых*, а вдобавок еще и *коих*, наконец, наблюдать естественный порядок в словорасположении. Объясним это примером. Елагин, помнится мне, третью книгу «Российской истории» начинает так: «Неизмеримой вечности в пучину отшедший князя Владимира дух...» Держась естественного порядка в словорасположении, следовало бы поставить: «Дух князя Владимира, отшедший в пучину вечности неизмеримой», хотя и таким образом изложенная часть периода была бы надута и не терпима образованным вкусом.

С того времени так называемый высокий, полуславянский слог и растянутый, вялый среднего рода, стали мало-помалу выходить из употребления. Ныне первый раздается только с кафедры, а последнего придерживаются немногие словесники, которым, по укоренившейся привычке или по старости лет, уже трудно писать иначе. Молодые же профессора в изящных письменах, студенты Московского университета и лучшие писатели приняли в образец себе, с большим или меньшим успехом, слог нашего историографа. Потомство, конечно, признает его вторым преобразователем нашего слога, и от него будут считать второй период нашей словесности.

Некоторые обвиняли Карамзина в галлицизмах: напротив того, никто более его не остерегался от них. Я имел терпение нарочно сличать перевод его статьи из «Натуральной истории» графа Бюффона, напечатанной в «Пантеоне иностранной словесности» под заглавием «Первый взгляд человека на природу», с двумя переводами той же статьи в «Духе» Бюффона и его же «Естественной истории», изданной от Академии наук. В переводе Карамзина не нашел ни одного галлицизма, а в последних двух читатель встретится с ним едва ли не на каждой странице.

Скажу, наконец, что Карамзин же познакомил нас и с Шлецером. Он первый стал говорить о критическом издании нашего Нестора, обратил внимание земляков своих на исторические исследования и на самую отечественную историю. Он подал им в руки сам на себя орудие; но они не умели владеть им, и бессильная зависть оставила только следы желчи, не более!

Чувствую, что дружба и праведное негодование отклонили меня от моего предмета; но я пишу в то самое время, когда Карамзин выдал девять (ныне одиннадцать) томов «Истории государства Российского», с поспешностию переведенных на языки французский, италиянский и немецкий, заслуживших от европейских журналистов лестные отзывы. Одни говорили, что Карамзин заслужил быть наряду с знаменитейшими историками нашего времени; другие, что история его исполнена глубокомыслием, философией, что повсюду сверкают в ней сильные черты красноречия. Одним нравилось в авторе благородное негодование на жестокость деспота, другим его добродушие, народливость (XI), придающая какую-то прелесть его творению. Я пишу в то время, когда, вопреки вышесказанному, не чужой, а наш согражданин, земляк и некогда почитатель Карамзина, при самом появлении первых четырех томов «Истории» написал в разные времена и в разных формах несколько строчек на счет одного только вступления в историю, напал, как на ученика, без соблюдения приличного уважения к званию и авторским заслугам историографа, но, не простирая далее своих подвигов, опустил утомленную свою руку; когда пример его отважил Арцыбашева, доселе известного по переводу Шлецерова введения в российскую историю, изданного им под названием «Приступа к русской истории», уже не иронически, но грубыми укоризнами, отплатить Карамзину, своему также соотечественнику, за многолетние труды его, за то, что он возбудил внимание к нашей словесности в ученом свете; когда прочие наши журналисты, кроме одного, ни слова за него не говорили, даже боялись принимать в свои журналы писанное в его защиту; когда, кроме Владимира Измайлова, князя Вяземского, Александра Пушкина и Иванчина-Писарева (Николая) никто из наших литераторов, даже и между приверженных издавна к историографу, не восстал против его

хулителей!! Заключу, наконец, тем, что выходки первого так называемого критика «Истории» Карамзина под именем *Киевского корреспондента и Лужницкого старца* напечатаны были в журнале «Вестник Европы», издаваемом Каченовским, профессором императорского Московского университета, а другого в «Казанском вестнике», состоявшем под покровительством Казанского университета.

Какая заметная черта для будущей истории отечественной словесности нашего времени!

С переходом «Вестника Европы» в другие руки, я писал уже редко и мало. Карамзин перестал на меня действовать: предавшись весь истории, он уже не принимал участия в поэзии; даже охолодел к тогдашней нашей литературе.

Между тем к двум частям стихотворений моих прибавилась третья и последняя. Она разбираема была в «Вестнике Европы» 1806 года продолжателем сего журнала. Полное издание моих стихотворений разбирали в разные времена: Петр Иванович Макаров в журнале своем «Меркурий» 1803 года; Александр Федорович Воейков в с<анкт>-п<етербургском> журнале «Цветник» 1810 года; Владимир Васильевич Измайлов в «Музеуме» 1815 года и, наконец, князь Петр Андреевич Вяземский *в моей биографии*, помещенной в *последнем* собрании моих стихотворений, изданных с моего согласия Обществом любителей словесности, известного более под именем *Соревнователей*, под титулом: «Стихотворения И. И. Дмитриева»; издание *шестое*, исправленное и уменьшенное самим *автором.* 2 части 1823 года. СПб., в тип<ографии> Н. И. Греча.

Я благодарен всем моим рецензентам: продолжатель «Вестника Европы» (XII) взял на себя обязанность говорить только о моих недостатках, погрешностях против чистоты слога, грамматики и вкуса; врачевал меня не только от авторского самолюбия, но даже и от спеси, по его мнению *сенаторской.* Надобно пояснить, что я незадолго пред тем вступил в гражданскую службу и удостоился получить звание сенатора. Прочие же господа рецензенты снисходительным своим отзывом поощряли меня к дальнейшим подвигам; но они уже дошли до своего предела; авторская моя жизнь кончилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На прощанье скажу несколько слов о себе и об том, как я сам оценивал авторские мои способности, и в чем полагаю истинное свойство и назначение поэта.

Я начал писать, не знав еще правил стихотворства, с 1777 и продолжал до 1810 года. Из этого круга времени, конечно, должно исключить четырнадцать лет, в продолжение коих стихотворствовал я, бывши знаком только с двумя стихотворцами, но и тем стыдился показывать мои *рифмы*. Посылал их в журналы от безымянного и, кроме одного поучительного случая, описанного мною в начале моих записок, ни по слухам, ни по журналам, не знал, как об стихах моих судят. Стихотворствовал притом несколько лет посреди черствой службы, в малых чинах, между строями и караулами, в обращении с товарищами почти необразованными, в уголке тесного, низменного домика, чрез перегородку, разделяющую меня с братом, в шуму входящих и выходящих, не быв почти никогда, ниже́ на две минуты, в совершенном уединении.

Вся моя забота была только об том, чтоб стихи мои были менее шероховаты, чем у многих. Одну только плавность стиха и богатую рифму я считал красотой и совершенством поэзии. Но в то время у нас едва ли не так же думали не только читатели, но и самые первостепенные стихотворцы. Оттого стихи мои были вялы, бесцветны, без характера, жалкие подражания, почему напоследок и преданы от меня забвению и не вошли в первое издание «И моих безделок».

Равномерно должно исключить еще восемь лет, проведенных мною в гражданской службе. Тогда я не только не имел досуга, но даже и боялся развлекать себя стихотворством. Это была четырехлетняя бытность моя обер-прокурором и столько же сенатором. Итак, выходит, что деятельная пиитическая жизнь моя продолжалась только одиннадцать лет.

Но упомянутые четырнадцать лет моего рифмования имели влияние и на последующие мои произведения. Привыкнув в молодости писать урывками, я не мог уже и в зрелом возрасте высидеть за бумагой около часа: нетерпелив был обдумывать предпринимаемую работу. При малейшем упорстве рифмы, при малейшем

затруднении в кратком и ясном изложении мыслей моих я бросал перо в ожидании счастливейшей минуты: мне казалось унизительным ломать голову над парою стихов и насиловать самого себя или самую природу.

Оттого, может быть, и примечается, даже самим мною, в стихах моих скудность в идеях, более живости, украшений, чем глубокомыслия и силы. Оттого последовало и то, что ни в котором из лучших моих стихотворений нет обширной основы.

Ныне трудно уверить, что я не домогался покровительства журналистов, не употреблял никаких уловок к распространению моей известности, не старался из зависти унижать самобытный талант в ком бы то ни было и никогда много не думал о стихах моих. Поверят или нет, совесть моя спокойна. Часто приходило мне даже на мысль, что я и совсем не поэт, а пишу только по какому-то случайному направлению, по одному навыку к механизму. Даже и тогда, когда писал уже не *про себя*, я думал, и в том убежден был, что кощунство, изображение картин, возмущающих непорочность, приветствия к *Алинам* без дара Катулла и Анакреона, даже дружеские послания, растворенные многословием, не принадлежат к достоянию истинного поэта.

Так! Я и теперь не переменил моего мнения: поэзия, порождение неба, хотя и склоняет взор свой к земле, но — здесь она проницает во глубину сердец, наблюдает сокровенные их изгибы и живописует страсти, держась всегда нравственной цели, воспламеняет к добродетели, ко всему изящному и высокому, воспевает доблести обреченных к бессмертию. А там — изливается в удивлении к мирозданию, в трепетном благоговении к *Непостижимому*. Вот назначение истинной поэзии! Вот почему она и называется органом богов, а вдохновенный ею — поэтом.

Как бы то ни было, но я должен быть признателен к счастливой звезде моей: едва ли кто из моих современников преходил авторское поприще с меньшею заботою и большею удачею.

По кончине попечителя Московского университета М. Н. Муравьева, государь император Александр Павлович благоволил назначить меня на его место; но собственное сознание недостатков моих внушило в меня смелость просить его императорское величество о возло-

жении звания попечителя на другого, более меня того достойного.

Императорская Российская Академия, задолго пред тем (в царствование императора Павла), под председательством Павла Петровича Бакунина, почтила меня избранием в свои действительные члены, не ожидая, как по уставу положено, собственного моего о том ходатайства. А при нынешнем председателе, Александре Семеновиче Шишкове, я удостоился получить от нее большую золотую медаль с надписью: «Российскому языку пользу принесшему». Императорские университеты, прежде Московский, а потом Харьковский и Казанский, приняли меня в почетные члены. Этой же честию почтен от учрежденного при с<анкт>-п<етербургской> духовной академии Совета или Конференции для поощрения и распространения духовной учености, равно и от других ученых или благонамеренных обществ в империи.

Воспоминания о гражданской службе моей будут содержанием второй и третьей части моих записок, но я начну следующую описанием такого случая, который ознакомил меня более, нежели что другое, с самим собою; имел, может быть, влияние на мою нравственность и на все последовавшие со мною значительные события, а потому и может назваться в жизни моей эпохою.

Москва, 1824.
Января 10 дня.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Не имев склонности к воинской службе, я нетерпеливо ждал капитанского чина, последнего по гвардии, и, наконец, первого января в 1796 году получил его. В крещенский парад, на гранитном берегу Невы, я отправил первую и последнюю службу в новом чине, командуя гренадерскою ротою. Вскоре потом отпросился в годовой отпуск с твердым намерением в следующий год выйти в отставку, к умножению московских бригадиров: тогда их было столь же много, как ныне действительных статских советников.

В конце первой части сказано было, как я в этот отпуск у родителей моих проводил время: с каждым протекшим месяцем утешался я мыслию, что еще ближе стал к цели моих желаний. Но шестое число ноября, день достопамятный не только для меня, но и для всей империи, внезапно рассеял все утешительные надежды и, так сказать, подавил меня всею тяготою неизвестности о будущей судьбе моей. Императрица Екатерина Вторая скончалась скоропостижно. Едва я узнал о том, как тотчас поскакал в Петербург. Проезжая Москву, слышу о разных переменах, последовавших в гвардии и по всем частям государственного управления; далее, по петербургской дороге, встречаю непрестанно гонцов, скачущих в разные стороны, или гвардейских сослуживцев, успевших выйти в отставку, и узнаю от них еще более. Таким образом, еще в продолжении пути, я мог надуматься, какие на первый случай взять лучшие меры.

По прибытии моем в Петербург, на другой же день я объявил себя в полку больным и посылаю к баталионному командиру вместе с паспортом и прошение на высочайшее имя об увольнении меня от службы. После такой решимости уже никакие честолюбивые виды не обольщали меня. Я хотел только получить спокойную независимость. Не прошло еще недели, как сверх чаяния моего я получил отставку, и притом с благоволением: ибо я уволен был с чином полковника и с ношением *нового* мундира, между тем как некоторые из старших капитанов отставлены были в тех же чинах или надворными советниками. К тому же я и по старой службе не мог бы получить повышения чином, не выслужа в настоящем полного года.

Доволен будучи столь удачным началом, я расположился еще несколько дней просидеть дома, а потом представиться императору Павлу и принести ему благодарность мою на вахтпараде; но представление мое случилось прежде, чем я ожидал, и притом необыкновенным образом.

В самый день рождества спасителя, поутру, я лежал на кровати и читал книгу. Растворяется дверь, и входит ко мне полицмейстер Чулков, спрашивает меня, я ли отставной полковник Дмитриев? Получа подтверждение, приглашает меня к императору, и как можно скорее. Я тотчас обновляю *новый* мундир и выхожу с Чулковым

из моих комнат. В сенях вижу приставленного к наружным дверям часового. Я сказал только моим служителям, следовавшим за мною: «Скажите братьям». Один из них был двоюродный мой брат И. П. Бекетов, Семеновского полка капитан, нанимавший в одном доме со мною средний этаж, а другой родной, семеновский же сержант, лишь только прибывший в то утро из отпуска и находившийся на ту пору в среднем этаже.

Выйдя из ворот, мы садимся в полицмейстерскую карету и скачем ко дворцу. Останавливаемся на углу Адмиралтейства, против первого дворцового подъезда. Полицмейстер, выскоча из кареты, сказал мне, что он скоро возвратится, и пошел во дворец.

Между тем как на дворцовой площади продолжался вахтпарад, зрелище для меня новое, я в одном мундире, в тонком канифасном галстуке, дрожал в карете от жестокого мороза и ломал себе голову, чтоб отгадать причину столь внезапного и необыкновенного происшествия. Однако ж невольно видел всю гвардию, от офицера до рядового, в новом убранстве или, лучше сказать, в том образе, в каком она в Семилетнюю войну находилась.

Наконец полицмейстер показался в подъезде, махнул платком, и карета подъехала. Вышед из оной, встречаюсь я с сослуживцем моим штабс-капитаном В. И. Лихачевым, отставленным со мною в одно время и жившим, как и я, в Гороховой улице. По приезде моем в Петербург, мы еще в первый раз увиделись. Полицмейстер ставит нас рядом и приглашает следовать за ним вверх по лестнице.

Доселе я довольно бодрствовал, ибо забыл о празднике и думал, что проведут нас пустыми комнатами, мимо часовых, прямо в кабинет к государю, но с первым шагом во внутренние покои я поражен был неожиданною картиною: вижу в них весь город, всех военных и статских чиновников, первоклассных вельмож, придворных обоего пола, во всем блеске великолепного их наряда, и вдоль анфилады — самого государя! Окруженный военным генералитетом и офицерами, он ожидал нас в той комнате, где отдавались пароль и императорские приказы. При входе нашем в нее, он указывает нам место против себя, потом, обратясь к генералитету, объявляет ему, что неизвестный человек оставил у буточника письмо на императорское имя, извещающее, будто полковник

Д<митриев> и штабс-капитан Л<ихачев> умышляют на жизнь его. «Слушайте»,— продолжал он и начал читать письмо, которое лежало у него в шляпе. По прочтении оного государь сказал: «Имя не подписано; но я поручил военному губернатору (Н. П. Архарову) отыскать доносителя. Между тем,— продолжал он, обратясь к нам,— я отдаю вас ему на руки. Хотя мне и приятно думать, что это клевета, но со всем тем я не могу оставить такого случая без уважения. Впрочем,— прибавил он, говоря уже на общее лицо,— я сам знаю, что государь такой же человек, как и все, что и он может иметь и слабость и пороки; но я так еще мало царствую, что едва ли мог успеть сделать кому-либо какое зло, хотя бы и хотел того». Помолчав немного, заключил сими словами: «Если же хотеть, чтоб *меня* только не было, то надобно же кому-нибудь быть на моем месте, а дети мои еще так молоды!» При сем слове великие князья, наследник и цесаревич, бросились целовать его руки. Все восколебалось и зашумело: генералы и офицеры напирали и отступали, как прилив и отлив, и целовали императора, кто в руку, кто в плечо, кто ловил поцеловать полу.

Когда же все утихло и пришло в прежний порядок, император откланялся. Архаров кивнул нам головой, чтобы мы пошли за ним. В передней комнате сдал нас полицмейстеру, который и привез нас в дом военного губернатора.

По возвращении г. Архарова из дворца мы были позваны в его гостиную. Он обошелся с нами весьма вежливо, даже довольно искренно. На какие-то мои слова он отвечал мне: «За вас все ручаются». После обеденного стола, к которому и мы были приглашены, он отдохнул и поскакал опять к государю, а мы с Лихачевым простояли в одной из проходных комнат, прижавшись к печи, до глубоких сумерек и не говорили друг с другом почти ни слова. Наконец домоправитель г. Архарова с учтивостию предложил нам перейти в особую комнату, для нас приготовленную. Мы охотно на то согласились, и он, доведя нас до нашего ночлега, приготовленного в верхнем жилье, пожелал нам доброй ночи. Это были две небольшие комнаты, из коих в первой нашли мы у дверей часового. При входе же в другую, первая вещь, бросившаяся мне в глаза, был мой пуховик с подушками, свернутый и перевязанный одеялом. Признаюсь, что я

не порадовался такой неожиданной услуге. Товарищ мой, найдя также и свою постелю, разостлал ее на полу и вскоре заснул на ней, а я, сложа руки, сел на свою, не думав ее развертывать. Между тем свеча, стоявшая в углу на столике, уже догорала, а я еще не спал; неподвижно упер глаза в окно, и что же сквозь его видел? Полный месяц ярко сиял над Петропавловским шпицем. Не хочу описывать всего, что я чувствовал, что думал, и куда занесло меня воображение. Довольно сказать, что после первых волнений стал я входить в себя, начал обдумывать все возможные случаи и твердо решился, где бы ни был, что бы ни было, поставить себя выше рока.

Уже в самую полночь товарищ мой проснулся и стал уговаривать меня лечь на постелю. Он помог мне справить ее, и я забылся. Но с первыми лучами солнца жестокая нервическая боль в голове разбудила меня. Вероятно, она была следствием простуды и сильных душевных движений. Военный губернатор, узнав о том, прислал ко мне домового врача, с помощию которого болезнь моя чрез несколько часов прекратилась.

На другой день поутру известились мы, что доносчик, или клеветник наш, отыскан, и вот каким образом. Военный губернатор, от природы сметливого ума и опытный в полицейских делах, приказал немедленно забрать и пересмотреть все бумаги, какие найдутся у наших служителей, не забыв перешарить и все их платье. В ту же минуту найдено было в сюртучном кармане одного из слуг письмо, заготовленное им в деревню к отцу и матери. Он уведомляет в нем о разнесшемся слухе, будто всем крепостным дарована будет свобода, и заключает письмо свое тем, что если это не состоится, то он надеется получить вольность и другою дорогою. Этот слуга, не старее двадцати лет, принадлежал брату Лихачёва, Семеновского полка подпоручику.

На третий или на четвертый день нашего задержания, часу в десятом пополудни, были позваны мы к военному губернатору. Он приветствовал нас надеждою скорого освобождения. «Хотя подозреваемый в доносе,— прибавил он,— еще не признается, но изобличается в том родным своим братом: он застал его дописывающим на листе бумаги императорский титул; изобличается также и рабочею женщиною, при которой старший брат, ударя младшего, отталкивал его от стола, чтоб не мешал

ему писать; наконец, военный губернатор объявил нам, что государь приказал доносителя, несмотря на его запирательство, предать суду Уголовной палаты, а нас уверить, что мы не более двух или трех дней будем продержаны».

Сколь ни отрадна была для нас весть о скором освобождении, но признаюсь, что тридневный срок представился мне тогда целым годом. Однако эта ночь была для меня спокойнее прочих: сон мой был крепок и продолжителен. Едва я успел встать с постели, как вбегает к нам в горницу ординарец с известием, что военный губернатор прислал из дворца карету, с тем чтобы мы поспешили приехать во дворец до окончания вахтпарада.

Мы отправились, но уже одни, без полицмейстера. Встречался ли кто с нами в дворцовых сенях, по какой лестнице всходили, я не помню. Только мы с четверть часа простояли в какой-то маленькой комнате между двух-трех лакеев, сидевших с господскими шубами. Тут я в первый раз увидел бывшего при старом дворе камер-юнкера Ф. В. Ростопчина, уже в генерал-адъютантском мундире и с достоинством графа. Проходя поспешно мимо нас, он узнал меня и изъявил обязательное участие в случившемся со мною. Вскоре после того вошел полицмейстер и позвал нас к государю.

Император принял нас в прежней комнате и также посреди генералитета и офицерства. Он глядел на нас весело и, дав нам занять место, сказал собранию: «С удовольствием объявляю вам, что г. полковник Дмитриев и штабс-капитан Лихачев нашлись, как я ожидал, совершенно невинными; клевета обнаружена, и виновный предан суду. Подойдите,— продолжал, обратясь к нам,— и поцелуемся». Мы подошли к руке, а он поцеловал нас в щеку. «Его я не знаю,— примолвил он, указывая на Лихачева,— а твое имя давно мною затверждено. Кажется, без ошибки могу сказать, сколько раз ты был в Адмиралтействе на карауле. Бывало, когда ни получу рапорт: все Дмитриев или Лецано». Я должен объяснить это тем, что младшие субалтерн-офицеры наряжались в большой караул во дворец под начальством капитана, а нам, как старшим субалтерн-офицерам, доставалось всегда в Адмиралтейство, куда посылался один офицер, следовательно, сам был начальником.

Потом император пригласил нас к обеденному столу и отправился со всею свитою в дворцовую церковь для слушания литургии.

Таким образом кончилось сие чрезвычайное для меня происшествие. Скажем несколько слов о последствиях оного: сколько я ни поражен был в ту минуту, когда внезапно увидел себя выставленным на позорище всей столицы, но ни тогда, ни после не восставала во мне мысль к обвинению государя; напротив того, я находил еще в таковом поступке его что-то рыцарское, откровенное и даже некоторое внимание к гражданам. Без сомнения, он хотел показать, что не хочет ни в каком случае действовать, подобно азиатскому деспоту, скрытно и самовластно. Он хотел, чтобы все знали причину, за что взят под стражу сочлен их, и равно причину его освобождения. По крайней мере, так я о том заключал и оттого-то, может быть, и сохранил всю твердость духа в минуту моего испытания. Не могу при сем случае умолчать о благородной черте почтенного Ф. И. Козлятева. В первый день нашего задержания император поручил разведать в Семеновском полку, с кем я из сослуживцев был более дружен. Козлятев сказал решительно и смело, что в этом случае никому не уступит первенства. Душа небесная! Я знал тебя, и это меня не удивило.

Недели две после того я был предметом всеобщего разговора. Начались догадки, чем я буду вознагражден за претерпенную тревогу. Одни предсказывали мне получение деревни, другие ордена св. Анны второго класса. Наконец передали мне, что некто из вельмож, ближайших к государю, намекал, что едва ли я не буду статс-секретарем. Я вздрогнул от этой вести: мне тотчас представилась несносная скука, вставать в зимнее утро до света, читать прошения, писанные большею частию нескладным, надутым слогом, пробиваться потом сквозь толпу докучливых и добровольных тружеников, этой недремлющей стражи передней комнаты государственного человека, скакать во дворец и там в ожидании докладного часа сидеть одному, в пустой комнате. «И всякую неделю,— думал я,— и во весь круглый год то же и то же!»

Но не так видно заключали об условиях сего звания при дворе и в городе. С первого появления моего во дворце приметил я большую перемену в обращении со

мною. Все отменно ласкали меня, предупреждали в учтивостях, равно и в частных домах прежние незнакомцы стали приглашать на обеды и вечера свои. Я отгадывал причину и внутренно смеялся. Как часто мы ошибаемся в наших расчетах! В то самое время, когда они запасались знакомством с будущим статс-секретарем, я только и желал быть московским цензором книг. Но когда задумал просить об этом месте, оно уже было занято.

Между тем Козлятев не однажды говорил мне, что его высочество наследник изволил отзываться, зачем я ничего не прошу? Что императору было бы это весьма приятно. Я стыдился бы и подумать о том, чтобы просить, без всякой заслуги, деревень или денег. К тому же тогда я и не подозревал, что домогательства такого рода между статскими, не исключая даже и первоклассных, вошли как будто почти в необходимую обязанность. Одна только независимая жизнь была в виду моем.

Но можем ли мы ручаться за свою твердость? Безделица может поколебать ее. День проходит за днем; я продолжаю бывать в собраниях, при дворе, в обществах и примечаю, что новые мои знакомцы в обеих областях становятся ко мне холоднее, уже перестают обнимать меня или пожимать мою руку, или даже совсем раззнакомились; как я ни далек был от честолюбия, но этот случай кольнул меня, и я решился доказать им, что можно, и не быв статс-секретарем, получить звание не менее почтенное.

Его высочество наследник, узнав от Козлятева о желании моем вступить в гражданскую службу, соблаговолил вызваться быть за меня ходатаем. Вскоре потом весь двор отправился в Сарское Село, дабы оттуда предпринять путь в Москву. В самый же день отбытия двора из Сарского Села я получил от полковника Рота, наследникова адъютанта, записку, которою он, по приказанию его высочества, извещал меня, что государь с удовольствием принял желание мое вступить в гражданскую службу и приказал наследнику отнестись к генералу-прокурору, князю Алексею Борисовичу Куракину, чтоб он приискал мне хорошее место, ибо я выбор оного предоставил высочайшему назначению самого императора. Г. Рот заключил записку свою тем, что его высочеству приятно будет, если я приеду в Москву до коронации.

Высокое покровительство наследника превзошло мое

ожидание: тотчас по приезде моем в Москву, я получил место за обер-прокурорским столом в Сенате; в первые же дни после коронации повелено мне носить семеновский *новый* мундир. <...>

Чрез несколько дней после того я получил новое звание товарища министра в новоучрежденном Департаменте удельных имений. Министром назван генерал-прокурор князь Куракин, старшим товарищем действительный тайный советник Саблуков, а я, в числе трех, младшим. По возвращении же двора в Петербург, месяца чрез три, я определен был в должность обер-прокурора во временный Казенный, а потом переведен в Третий департамент Сената с награждением чином статского советника, а в следующем году пожалован в действительные обер-прокуроры. Отсюда начинается ученичество мое в науке законоведения и знакомство с происками, эгоизмом, надменностью и раболепством двум господствующим в наше время страстям: любостяжанию и честолюбию.

КНИГА ПЯТАЯ

Сколь ни удачен был для меня первый шаг на поприще гражданской службы, но я не без смущения помышлял о пространстве и важности обязанностей моего звания — быть блюстителем законов; одни охранять от умышленно кривых истолкований, другие приводить на память; ополчаться против страстей; бороться с сильными; не поддаваться искушениям; сносить равнодушно пристрастные толки и поклеп тяжущихся или подсудимых, их покровителей или родственников; противоречить иногда особам, украшенным сединою, знаками отличий, давно приобретшим общее уважение, каковы были в то время сенаторы граф А. С. Строганов, граф П. В. Заводовский, М. Ф. и П. А. Соймоновы, Г. Р. Державин, А. В. Храповицкий, граф Я. Е. Сиверс, курляндцы барон Гейкинг и Ховен. Столь щекотливые условия могли бы устрашить и опытного дельца, не только новичка в своем деле.

Прибавим еще к тому, что мне вверен был такой департамент, который можно было назвать совершенно энциклопедическим. Он заведовал все уголовные и граж-

данские дела всей Малороссии, вновь приобретенного Польского края, Лифляндии, Эстляндии, Финляндии и Курляндии. Ему же подведомственны были Юстиц-коллегия с принадлежащим к ней департаментом для расправы по духовным делам католиков, учебные заведения, от Академии наук до народных училищ, полиция, почта, устроение дорог и водяные сообщения во всей империи.

Представляя себе всю тяжесть возложенных на меня обязательств, невольно вспомнил я вольтеров стих:

Je suis comme un docteur, helas! je ne suis rien! [1]

По крайней мере совесть моя не укоряла меня: я не домогался оного места. Еще до подписания указа, даже имел смелость говорить генерал-прокурору, что я отнюдь не заслуживаю столь важного звания, в котором с первого шага должен быть не учеником, а учителем.

Такого же мнения был и отец мой. Вместо приветствия с местом он журил меня, думая, что я сам домогался получить его.

<...>Со вступлением моим в гражданскую службу я будто вступил в другой мир, совершенно для меня новый. Здесь и знакомства и ласки основаны по большей части на расчетах своекорыстия; эгоизм господствует во всей силе; образ обхождения непрестанно изменяется, наравне с положением каждого. Товарищи не уступают кокеткам: каждый хочет исключительно прельстить своего начальника, хотя бы то было на счет другого. Нет искренности в ответах: ловят, помнят и передают каждое неосторожное слово. Разумеется, что я так заключаю не о всех. К неприятности быть в частых сношениях с подобными сослуживцами присоединялись еще другие, несравненно для меня важнейшие: едва проходила неделя без жаркого спора с кем-нибудь из сенаторов, без невольного раздражения их самолюбия. Таким образом я имел неудовольствие два раза быть хотя и в легкой, но для меня чувствительной, размолвке с тем, которого любил и уважал от всего сердца, с Г. Р. Державиным. Благородная душа его, конечно, была чужда корысти и эгоизма, но пылкость ума увлекала его иногда к решениям, требовавшим для большей осторожности других мер, некоторых изъятий или дополнений. Та же пылкость его ос-

---

[1] Я как доктор, увы! я ничто! (*фр.*)

корблялась противоречием, однако ж, не на долгое время: чистая совесть его скоро брала верх, и он соглашался с замечанием прокурора.

Между тем ни малейшее ободрение не оживляло меня за все мои хлопоты и заботы. При князе Лопухине я отправлял два раза прокурорскую должность по двум департаментам; потом, вследствие соглашений нашего кабинета с берлинским, поручено мне было отобрать из Польской метрики все акты по тому краю Польши, который при разделе оныя отошел к Пруссии, и сдать их чиновнику, присланному для того от прусского правительства. Таковое поручение требовало много времени, терпеливого чтения и большой осмотрительности; но я за все то не удостоен от начальника моего ниже́ ласковым словом.

Два обер-прокурора, Рындин и Козодавлев, еще при князе Куракине получили орден св. Анны второго класса, командорский крест Иоанна Иерусалимского и по три или четыре тысячи десятин земли на выбор в лучших местах; продажею оных они выручили, может быть, около ста тысяч, а я содержал себя только тремя тысячами годового дохода, получая тысячу от отца и две тысячи рублей жалованья. За всю же мою прокурорскую службу награжден, при князе Лопухине, только орденом св. Анны второго класса вместе со многими, и даже после цензора книг, печатаемых на отечественном языке. При всей скромности позволительно мне думать, что труды его были не важнее моих и, вероятно, не слишком изнуряли телесные и умственные его силы.

Все сии неприятности, соединенные с уверенностью в том, что с моими свойствами я не могу ожидать и впредь по гражданской службе большей удачи, решили меня, наконец, просить об увольнении. Начальник мой А. А. Беклешов удивился, когда я подал ему прошение. Он стал уговаривать меня, чтоб я отложил мое намерение; даже хотел отчаять меня в получении пенсиона, признаваясь мне, что по холодности к нему императора он не осмелится ни о чем просить его в мою пользу. Я с усмешкою отвечал ему, что даже и не думал о пенсионе, а желал бы только уверить государя, что не от лени, но единственно по причине худого здоровья и других обстоятельств, для меня только важных, я принял смелость просить о увольнении.

Желание мое скоро исполнилось: я отставлен не только с пенсионом, но еще и с чином тайного советника. Это было декабря 30 дня 1799 года.

Сколь ни приятно готовиться к свиданию с другом и с родными, но невозможно быть равнодушным при разлуке и с кругом приятелей. С переменою мест нельзя забирать с собою все, что мило сердцу или к чему привыкнешь. Счастие благоприятствовало мне и в сем случае: почтенный Козлятев, бывший и в продолжении гражданской службы моей почти ежедневным моим собеседником, за несколько месяцев прежде меня вышел также в отставку; другая особа, в сообществе с которой несколько лет находил я равное удовольствие, должна была, в одно же время со мною, переселиться в отдаленную губернию. Итак, во всем Петербурге жаль мне было разлучиться только с двумя: Г. Р. Державиным и А. В. Храповицким (I). С первым я имел счастие впоследствии еще несколько лет жить вместе, а с последним простился уже навеки! Но всегда буду с сердечным чувством вспоминать посвященные ему субботы. В эти дни, от обеда до позднего вечера, просиживал я у него, по большей части с глаза на глаз, и услаждался наставительною беседою остроумного словесника и государственного мужа.

По описании первого периода гражданской службы не неприлично сказать несколько слов и о тогдашнем дворе и влиянии оного на государственные дела, на общество и частные лица.

Восшествие на престол преемника Екатерины последуемо было крутыми переворотами во всех частях государственного управления: наместничества раздробились на губернии; учреждение, изданное для управления оных, изменилось; директоры экономии уничтожены, совестные суды упразднены; некоторые из уездных городов превращены в посады; вместо древних, греческих или славянских названий, данных при князе Потемкине-Таврическом многим городам в Крыму и Екатеринославской губернии, возвращены имена прежние, татарские или русские простонародные: Эвпаторис, Севастополис, Григориополис стали называться опять Кизикерменем, Козловым и пр. Все воинские и гражданские постановления сего недавно столь могущественного вельможи отброшены; даже и самый мавзолей, воздвигнутый под сводом церкви над его прахом, приказано было разру-

шить. В войсках введены были новый устав, новые чины, новый образ учения, даже новые командные слова, составленные из французских речений с русским склонением [1], и новые, наконец, мундиры и обувь по образцу старинному, еще времен голстинских герцогов.

Вскоре за сим последовали перемены и в участи именитых особ. Фельдмаршал граф Суворов-Рымникский, по исключении из службы, сослан был в собственную его деревню под строгим присмотром чиновника, а потом уже предводительствовал двумя армиями: нашею и австрийскою против французов, и за освобождение Италии получил титло генералиссимуса и князя Италийского. Светлейшему князю Зубову и брату его Валериану, начальнику армии против персов, приказано также иметь пребывание в деревнях своих. Та же участь постигла и вице-канцлера графа Панина.

Сначала первыми любимцами государя были Кутайсов, бывший камердинер его, родом турок, присланный к двору еще мальчиком после взятия Анапы, Ростопчин и Аракчеев. Они все трое получили графское достоинство. Но фортуна неизменна была только к первому, двое же последних были потом удалены и жили в деревнях своих до самой перемены правления.

Никогда не было при дворе такого великолепия, такой пышности и строгости в обряде. В большие праздники все придворные и гражданские чины первых пяти классов были необходимо в французских кафтанах, глазетовых, бархатных, суконных, вышитых золотом или, по меньшей мере, шелком, или с стразовыми пуговицами, а дамы в старинных робах с длинным хвостом и огромными боками (фишбейнами), которые бабками их были уже забыты.

Выход императора из внутренних покоев для слушания в дворцовой церкви литургии предваряем был громогласным командным словом и стуком ружей и палашей, раздававшимся в нескольких комнатах, вдоль коих, по обеим сторонам, построены были фронтом великорослые кавалергарды, под шлемами и в латах. За императорским домом следовал всегда бывший польский король Станислав Понятовский, под золотою порфирою на

---

[1] Вместо «к ружью» — «вон»! вместо «ступай» — «марш»! вместо «заряжай» — «шаржируй»!

горностае. Подол ее несом был императорским камер-юнкером.

Непрерывные победы князя Суворова-Рымникского в Италии часто подавали случай к большим при дворе выходам и этикетным балам. Государь любил называться и на обыкновенные балы своих вельмож. Тогда, наперерыв друг перед другом, истощаемы были все способы к приданию пиршеству бо́льшего блеска и великолепия.

Но вся эта наружная веселость не заглушала и в хозяевах и в гостях скрытного страха и не мешала коварным царедворцам строить ковы друг против друга, выслуживаться тайными доносами и возбуждать недоверчивость в государе, по природе добром, щедром, но вспыльчивом. Оттого происходили скоропостижные падения чиновных особ, внезапные высылки из столицы даже и отставных из знатного и среднего круга, уже несколько лет наслаждавшихся спокойствием скромной, независимой жизни.

В последний год царствования императора многим из выключенных и изгнанников позволено возвратиться в обе столицы и вступить опять в службу; в том числе и двум братьям Зубовым: светлейшему князю Платону и графу Валериану. Обоим поручено начальствовать над кадетскими корпусами: над сухопутным первому, а над инженерным второму.

Тогда ближайшими к государю были: граф Пален, бывший в одно время и военным губернатором и управляющим коллегией иностранных дел, обер-шталмейстер граф Кутайсов и генерал-прокурор Обольянинов. Два первые имели большое влияние на двор и общество.

В это время я, по домашним делам моим, приезжал в Петербург на короткое время. Несколько раз, по воскресным дням, бывал во дворце и, несмотря на все прощение исключенных, находил все комнаты почти пустыми. Вход для чиновников был уже ограничен; представление приезжих, откланивающихся и благодарящих, за исключением некоторых, было отставлено. Государь уже редко проходил в церковь чрез наружные комнаты. Строгость полиции была удвоена, и проходившие чрез площадь мимо дворца, кто бы ни были, и в дождь и в зимнюю вьюгу, должны были снимать с головы шляпы и шапки.

В последний раз я видел императора на Невском проспекте возвращающимся верхом из Михайловского замка в препровождении многочисленной свиты. Он узнал меня и благоволил отвечать на мой поклон снятием шляпы и милостивою улыбкою. По возвращении моем в Москву, меньше, нежели чрез месяц, последовала внезапная его кончина. Пусть судит его потомство, от меня же признательность и сердечный вздох над его прахом!

КНИГА ШЕСТАЯ

Пробыв шесть лет в отставке, я убежден был обстоятельствами расстаться опять с тихою жизнию. В 1806 году, февраля 6 дня, император Александр, первый и единственный мой покровитель, соблаговолил удостоить меня званием сенатора. Согласно с желанием моим я остался в Москве: повелено мне присутствовать в Шестом департаменте Сената. В том же году, осьмнадцатого ноября, я имел счастие получить орден св. Анны первого класса, а девятнадцатого декабря высочайший рескрипт и всемилостивейшее поручение по нижеследующему обстоятельству.

Наполеон, овладев Веною, принудил Австрию к уничижительному миру; вскоре потом напал на прусские войска, прежде, нежели они успели соединиться, разбил их и без сопротивления вступил в Берлин и занял уже большую часть Пруссии.

Столь быстрые, необыкновенные успехи явно грозили опасностию и нашему отечеству. Западные границы его уже не разделены были Пруссией, соседственным государством. Император наш вынужден был, к защите их, возобновить войну с счастливым завоевателем, поруча начальство над армией фельдмаршалу графу Каменскому.

Поелику же эта война, после поражения наших союзников, всею тяжестию своей должна была лежать на одних только нас и, следственно, требовала мер необыкновенных и великих усилий, то в подкрепление армии и защите более внутренней безопасности императорским манифестом ноября 30-го 1806 года повелено устроить временное земское ополчение, долженствующее состоять

из 61200 ратников; вооружение сие названо в манифесте *мерою спасительною и необходимою.*

Набор земского войска назначен был в тридцати одной губернии, разделенных на семь областей. <...>

Мне повелено было находиться при седьмой области, составленной из пяти губерний: Костромской, Вологодской, Нижегородской, Казанской и Вятской и объехать все, кроме последней <...>.

При поверке мною действия губернских начальств относительно земского войска, я признал только нужным уменьшить вполовину назначенный сбор суммы на жалованье выбранным чиновникам и ходатайствовать пред государем за малопоместных дворян: в представленном мне дворянском списке нашлось множество бедных, имеющих за собою крестьян не более трех или осьми душ. Я донес, что раскладка предположенного сбора обратилась бы для них в большую тяготу, и был столько счастлив, что его величество приказал таковых бедных дворян и совсем от сей повинности уволить. То же сделано по Казанской и Нижегородской губерниям.

Исполня все на меня возложенное почти в два месяца, я отправил из Казани последнее мое донесение к государю и возвратился в Москву.

В продолжение того же года министр просвещения граф Заводовский, по высочайшему повелению, предлагал мне, не соглашусь ли я принять на себя звание попечителя Московского университета и подчиненных ему училищ. Как ни лестно было бы для моего самолюбия заступить место почтенного во всех отношениях Муравьева (Михайла Никитича), похищенного смертию еще в мужестве лет его, но я не захотел, чтоб завистники или эпиграмматисты назвали меня вороной в павлиньих перьях. В ответе моем графу Заводовскому изъявлены были чувства душевной благодарности к августейшему моему покровителю, сознание моих недостатков в классическом образовании и искреннее желание остаться при отправлении только службы по званию сенатора, к которой я уже приобрел навык. Отказ послужил к пользе отставного камергера и сенатора графа А. К. Разумовского. Он заступил место Муравьева и, в задаток за будущую службу, награжден орденом св. Александра Невского и чином действительного тайного советника.

В начале 1808 года высочайше повелено мне отпра-

виться в Рязань и произвести следствие о злоупотреблениях по тамошнему питейному откупу. Содержателями оного были четверо старинных дворян: Татищев, князь Мещерский, Бахметев и Бестужев-Рюмин.

<...>Следствие продолжалось около четырех месяцев. Наконец 16 апреля я послал к императору донесение об окончании следствия, а к министру юстиции экстракт из дела, и возвратился в Москву.

Здесь встретила и поразила меня горестная весть о кончине почтенного и милого Козлятева. Это был больше, чем друг, истинно мой добрый гений! Он имел обыкновение с последним снегом уезжать в переяславскую свою деревню, чтобы там встретить весну. Неутомимый в ходьбе и слишком надежный на крепость своего сложения, он простудился, и злая горячка прекратила жизнь его. Ни друг, ни сестра не смежили глаз его: он испустил дух посреди только своих челядинцев.

Я уже ознакомил с ним моих читателей в первой части записок. Прибавим к тому еще несколько слов. Добрый Карамзин говорил об нем: «Это такой человек, что я за версту сниму перед ним шляпу». Поэт Жуковский, не менее добросердечный, также искренно любил и уважал его. Вспоминая в письме своем ко мне о московском моем домике, сгоревшем в 1812 году, достопамятном для всей Европы, он достойно себя и милого Козлятева оплакал его кончину. Гораздо же спустя после того другой поэт, князь Вяземский, в сочиненной им нотисе обо мне для стихотворений моих, последнего издания, также предал потомству прекрасную черту души его: поступок его с крестьянами, которым он возвратил собранный с них оброк, сказав, что ему на годовое содержание себя достаточно и старого дохода. <...>

В конце 1809 года я имел счастие получить высочайший рескрипт, в котором государь изволил писать, что он, *найдя нужным изъясниться со мною о предметах, в коих опытность моя может быть полезна государству, желает, чтоб я прибыл в Петербург к наступающему новому году.* <...>

Выехав из Москвы января второго 1810 года, я прибыл в Петербург пятого, накануне крещенья. В тот же вечер узнал я нечаянно чрез «Петербургские ведомости» о всемилостивейшем помещении меня в число членов вновь преобразованного Государственного совета. Канц-

лер граф Н. П. Румянцев назван председателем оного, а М. М. Сперанский государственным секретарем.

На другой день, после большого парада, я имел счастие представиться государю в его кабинете и принял от него новую милость: звание министра юстиции, а в следующий день объявлен был о том и высочайший указ Правительствующему Сенату.

Переписана в Москве июня 24 1824 года.

ЧАСТЬ ТРЕТИЯ

КНИГА СЕДЬМАЯ

<...>По мере свычки с моею должностию и опытности, мною приобретаемой, служба моя казалась мне день от дня легче. Я сожалел только о том, что еженедельные заседания в Комитете министров, непрестанное отправление текущих дел, состоящих большею частию в мелочных переписках с другими министерствами, и частые этикетные выезды ко двору отнимали у меня часы, которые мог бы я проводить с большею пользою, занимаясь делами, входящими на консультацию, или обдумыванием наедине средств к усовершению хода вверенного мне департамента.

По крайней мере, я доволен был тем, что успел хотя исполнить то, что лежало у меня на сердце, когда был еще обер-прокурором: издание коренных законов, действующих в областях, присоединенных к России. На первый случай рассмотрен, поверен с лучшими изданиями, исправлен в слоге, хотя и несовершенно, и в 1811 году напечатан был старый перевод Литовского статута. <...>Жаль, что краткость времени не допустила меня издать полных переводов и прочих узаконений, равно устроить на лучшем основании архивы. Они, год от года, более нагружаются бумагами и грозят необходимостью закладывать для них при каждом суде двухэтажные здания.

Весь этот год замечателен был большою деятельностью в Государственном совете по делам Законодательной комиссии. После проекта нового гражданского уложения приступлено было к рассмотрению проекта учреждения двух сенатов: Правительствующего и Судебного.<...>

В общем собрании Государственного совета князь Александр Николаевич Голицын, сенатор Иван Алексеевич Алексеев и я подавали свои голоса против некоторых положений проекта. Государственный секретарь, как редактор оного, опровергал их. Большая же часть членов была на стороне проекта, или, лучше сказать, на стороне домашних расчетов.

Большинство голосов хотя и удостоилось высочайшего утверждения, но проект остался не приведенным в законную силу, вероятно, по случаю важной перемены в судьбе и самого редактора.

В первый день 1812 года возложен был на него орден св. Александра Невского, а в исходе февраля или в марте, точно не помню, уже не было его в Петербурге. В самый обед, получа повеление быть с докладом, он спешит во дворец; входит в секретарскую комнату и застает в ней министра духовных дел, князя Голицына, которому также назначен был докладной час. Сперанский в ту же минуту позван был в кабинет к государю. Часа через два он выходит оттуда в большом смущении, с заплаканными глазами, и бросается к столу для укладывания в портфель своих бумаг, оборотясь к князю Голицыну спиною, вероятно, чтобы им не примечено было его смятение. Запря портфель, не сказав ни слова, он поспешно ушел из комнаты, но уже войдя в темные сенцы пред коридором, он как бы опомнился, отворил опять до половины дверь и сказал князю: «Прощайте, ваше сиятельство»,— и скрылся. Это я слышал от самого князя. Дополню слышанным от другого: из дворца он поскакал прямо к приятелю своему, статс-секретарю Магницкому. Там сказывают ему, что министр полиции увез его в своей карете, а бумаги его все опечатаны. Он приезжает в свой дом, и уже находит в нем министра полиции с чиновником своим Сангленом. Требуют от него ключей от кабинета и приступают к разбору и описи всех бумаг. Сперанский просил министра, чтоб он позволил ему отложить некоторые бумаги в особый пакет и за его печатью вручить оный вместе с его письмом, при первом случае, государю. Министр согласился и, по окончании своего дела, объявил ему отъезд в Нижний Новгород, куда он в тот же день и отправился, под присмотром фельдъегеря. Таким же образом отвезен и Магницкий на житье в Вологду.

Причины столь неожиданного происшествия остались и доныне для многих тайною. Одни приписывали падение Сперанского проискам барона Армфельда, бывшего любимца Густава Третьего и, после присоединения к империи шведской Финляндии, пользовавшегося короткое время благоволением государя; другие — недоброхотству министра полиции. Первое предположение, кажется, ближе к правде. По крайней мере, вскоре по удалении Сперанского появилась на французском языке рукопись, в которой государственный секретарь обвиняем был в разрушении коллегиального порядка, введении, по разным частям управления, новизны более ко вреду, нежели к пользе общественной, в чертах весьма резких, но увеличенных.

Министр же полиции только с августа одиннадцатого года получил тайное приказание примечать за поступками Сперанского. В то время никто и не подозревал того. Всякий раз, когда он ни входил от государя в залу общего собрания Совета, некоторые из членов обступали с шептаньем, отбивая один другого, между тем как многие из-за них в безмолвии обращались к нему, как подсолнечники к солнцу, и домогались ласкового его воззрения.

В тайном же надзоре за Сперанским удостоверил меня и разговор государя со мною. Однажды он, остановя доклад мой по делам, изволил сказать мне: «Как ты думаешь? Можно ли употребить Карамзина к письмоводству? Разумеется, не с тем, чтоб отвлечь его от настоящего занятия, по его званию историографа; но чтоб иногда только поручать ему кабинетскую работу: мне давно известен авторский талант его, но я виделся с ним только однажды, мимоходом, в Оружейной Палате, когда приезжал с сестрою Екатериною Павловною в Москву. Она мне указала его. Я желал бы с ним сблизиться». Отвечав на то, что было можно, я осмелился доложить государю, позволено ли будет мне сообщить Карамзину о том, что имел счастие слышать. « С тем-то я и начал речь об нем,— отвечал император,— ты можешь отписать к нему, что я скоро поеду в Тверь для свидания с сестрою, хорошо было бы, если б он к тому же времени туда приехал».

Последствием сего было только то, что государь, возвратясь из Твери, изволил сказать мне, что он очень

доволен новым знакомством с историографом и столько же отрывками из его «Истории», которые он в первый вечер прослушал до второго часа ночи. Даже изволил вспомнить, что было читано: о древних обычаях россиян и о нашествии монголов на Россию.

Теперь остается мне передать то, что сказано мне было самим государем на счет Сперанского. После его удаления два раза отказано мне было в личном докладе; в третий же допущен в кабинет, и государь, при входе моем, изволил сказать: «Не сердись, что я два раза не принимал тебя: причиною тому все эта пакостная история»,— и тотчас стал мне рассказывать, что Сперанский, за две комнаты от кабинета, позволил себе, в присутствии близких к нему людей, опорочивать политические мнения нашего правления, ход внутренних дел и предсказывать падение империи. «Этого мало,— продолжал государь,— он простер наглость свою даже до того, что захотел участвовать в государственных тайнах». С этим словом государь, подойдя к другому столу, выдернул из лежавших на нем бумаг лист, писанный рукою Сперанского, и подавая мне, изволил сказать: — «Вот письмо его и собственное признание. Прочитай сам»,— промолвил его величество, указав пальцем на первые строки одного параграфа. Содержание оного состояло в том, что Сперанский предупреждал государя, что между запечатанными в особом конверте бумагами найдены будут две перелюстрованные реляции от нашего посла при датском дворе, которые могут обвинить его, но что он клянется в своей невинности; что к получению оных от советника Бека подвигло его не другое что, как одно любопытство, а еще более искреннее участие в благоденствии и славе отечества.

Желательно знать малейшие подробности о тех, кои выходят из круга людей обыкновенных. Итак, скажем еще несколько слов о Сперанском.

Отец его священник Владимирской епархии; но дед его, как он сам сказывал мне, был хорунжим в Малороссийском казачьем войске. Родовое прозвище его *Грамматин;* Сперанским же переименован в училище, вероятно, в надежде на его дарования. Окончив курс наук в Александровской духовной академии, он вышел в светское

состояние и на первом шагу принят был в дом князя Алексея Борисовича Куракина для обучения детей его русской грамматике и словесности. Здесь он, обращаясь в таком обществе, где господствующим языком был не природный, а французский, начал прилежать к изучению оного и достиг до того, что стал говорить и писать по-французски бегло и правильно, как на отечественном языке.

При восшествии на престол императора Павла князь Куракин, получа звание генерал-прокурора, принял Сперанского в гражданскую службу и определил в свою канцелярию. С того времени начали развиваться способности его к письмоводству. Проекты манифестов, указов, учреждений, докладные записки,— все это поручаемо было сочинять только Сперанскому, ибо никто в канцелярии не имел более образованности и не писал лучше его.

С переменою министров не переменялось счастие его по службе. Он был нужен равно всем генерал-прокурорам. Каждый награждал труды его. Сверх обыкновенной должности экспедитора он был еще правителем канцелярии в Комиссии о продовольствии столицы, состоявшей под председательством наследника. Здесь он имел счастие обратить на себя его внимание.

При учреждении министерств Сперанский перешел в министерство внутренних дел и находился при министре оного, графе Кочубее. Он был у него самым способным и деятельным работником. Все проекты новых постановлений и ежегодные отчеты по министерству были им писаны. Последние имели не только достоинство новизны, но и, со стороны методического расположения, весьма редкого и поныне в наших приказных бумагах, исторического изложения по каждой части управления, по искусству в слоге могут послужить руководством и образцами.

Вскоре по выходе из министерства графа Кочубея последовал высочайший рескрипт на имя министра юстиции, светлейшего князя Лопухина, о употреблении Сперанского, бывшего уже действительным статским советником и кавалером ордена св. Анны первого класса, по занятиям Комиссии законов, для ускорения «сколь можно», так сказано в рескрипте, «совершением трудов, возложенных на Комиссию составления законов», и об

личном докладе его по делам сей Комиссии, *подлежащим* усмотрению государя. Почти в то же время он сопровождал императора в Эрфурт для свидания с Наполеоном.

По возвращении оттуда Сперанский пожалован чином тайного советника, потом получил звание товарища министра юстиции и наконец государственного секретаря. Тогда он был на самой высокой случайности: один только канцлер равнялся с ним в благоволении и доверенности государя. Никто не смел и думать о том, чтобы кто мог поколебать ее, но последствие доказало, что все может быть сбыточным.

Из Нижнего Новгорода он перевезен был в Пермь; отсюда же, по прошествии года, позволено было ему жить в деревне тещи его, в Новгородской губернии. Потом он определен был губернатором в Пензу, а чрез два года генерал-губернатором во всей Сибири с поручением произвести на месте следствие по давним жалобам на тамошнее начальство, объехать Сибирь до самой Кяхты и сочинить проект нового управления тем краем. По исполнении сего он вызван в Петербург и облечен в звание члена Государственного совета. Сибирь же, на основании проекта его, разделена на две части, Западную и Восточную, а управление оными вверено двум генерал-губернаторам.

Из известных мне современников один только покойник Храповицкий А. В. мог равняться с Сперанским в способности к письмоводству. Он всегда был готов к работе. Часто, выходя от императора, он садился в так называемой секретарской комнате за стол и начинал писать указ или рескрипт с такою легкостью, как будто излагал что-либо затверженное наизусть, несмотря на то, что вокруг его в пять голосов говорили.

Я любил его, когда он еще был экспедитором в канцелярии генерал-прокурора, находя в нем более просвещения, благородства и приветливости, нежели в его сотоварищах. Впоследствии же имел причину и уважать его как государственного человека, способного и трудолюбивого. Но не было между нами короткого знакомства. И прежде и после взаимное обращение наше ограничивалось только взаимным вниманием. На другой же год моего министерства я заметил в нем даже

и некоторую ко мне холодность. Не трудно мне было отгадать тому причину: по проницательности ума его, он не мог ни бояться меня, чуждого всех хитростей и козней, около двора употребляемых, ни надеяться с моей стороны, во всяком случае, безусловного с ним согласия. К тому же я не поладил с обер-прокурором Столыпиным, бывшим под особенным его покровительством. Не мог и не хотел также против совести защищать давнего знакомца его Могилянского против справедливой жалобы на него киевского губернского начальства. Но это не мешало мне отдавать ему полную справедливость и желать искренно, чтобы важный труд его, новое уложение, которому он посвятил свои способности, лучшие годы жизни своей, усовершенный Государственным советом и впоследствии собственною опытностию, скорее был довершен и обнародован. Тогда бы имя его дошло до потомства.

В числе государственных особ того времени один только Осип Петрович Козодавлев имел со мною приятельское знакомство. Мы два раза сходились на одном поприще, вместе были и обер-прокурорами. Может быть, с его стороны и бывали затеи к удержанию преимущества в благоволении к нам наших начальников; но никогда он не подавал мне повода к разрыву нашей связи. Даже и по выходе моем из министерства до самой кончины его он постоянным образом поддерживал нашу связь и доказывал свое ко мне внимание. Это был человек умный, образованный в Лейпцигском университете, упражнявшийся в молодых летах в русской словесности и охотный к услугам. Может быть, несколько искательный и привязчивый к колесу фортуны, но зато примерный муж, родственник и господин в отношении к своим домочадцам. Прочие же все, кроме почтенного канцлера, Барклая де Толли и маркиза де Траверсе, были ко мне довольно равнодушны. Большая часть вельмож держатся одного правила — уважать только того, кого боишься, или от кого надеешься получить какую-либо выгоду, быть глухим и немым на счет доброго дела своего ближнего и нескромным при случае малейшего его промаха. Не распространяясь далее, изобразим свойство сего круга одною чертою.

В день светлого воскресения я слушал заутреню и обедню в дворцовой церкви и остался с некоторыми

во дворце ожидать обеденного стола. Между тем пришло мне на ум спросить одного из старейших в нашем круге, не требует ли дворский этикет или светское приличие поздравить с наступившим праздником принцессу Амалию, сестру императрицы, и принца с принцессою Виртембергских, имевших во дворце свое пребывание? Он решительно сказал мне, что его *и нога не бывала у них*. Потом я обратился к другому: тот отвечал, что он, право, не знает, что сказать на мой вопрос; *по крайней мере сам никогда того не делал.* Я решился идти на удачу; но встретя в сенях доброго маркиза де Траверсе, предложил ему быть моим спутником. «С радостию пошел бы с вами,— отвечал он,— но лишь только теперь был у них вместе с графом***»,— с тем самым, который *никогда того не делал!!* Итак, я, придворный новичок, уже смело устремился к моей цели и нашел в передней комнате обеих принцесс на столе по листу для записывания поздравителей, и на обоих листах имена моих *беспечных*, которых *и нога там не бывала.* Как назвать этот поступок? Почти невинною привычкою во всяком случае, даже и в неважном, выставлять себя и затирать другого. Промах мой не имел бы никакого последствия, а все бы приятно было для них, если бы я сделал промах. Сколько хитростей, даже и мелочей в дворской науке!

Но я не имел в ней никакой нужды, вступя в министерство уже с готовым правилом: служить государю и отечеству, и никому более, любить исправность в отправлении должности, а не влюбляться в место и не жалеть о его потере. После того кто же мог быть для меня страшен? Для чего мне было унижать себя угодливым раболепством и метаться от одного к другому? Итак, я спокойно и с удовольствием продолжал мою службу, ко всем был учтив, но пред всеми высоко держал голову и глядел прямо. Государь изволил оказывать явно ко мне свое благоволение; в Комитете министров и в Государственном совете бумаги мои проходили без противоречия; подчиненные мои, кроме двух-трех малодушных или неблагодарных, любили и уважали меня, несмотря на мою строгость. Это продолжалось до 1812 года; продолжалось бы, конечно, и долее, если бы вспыхнувшая война не разлучила меня с государем. <...>С отсутствием его все переменилось.

КНИГА ОСЬМАЯ

Неумеренные требования французского правительства в 1812 году дошли до такой степени, что должно было день от дня ожидать совершенного с оным разрыва. Указ о рекрутском наборе, подписанный марта 23 дня, был первым того предвестником. В исходе же мая император оставил столицу для осмотра армии, расположенной в присоединенных польских губерниях. Свиту его составляли: канцлер граф Румянцев, граф Кочубей, барон Армфельд, министр полиции Балашов и государственный секретарь вице-адмирал Шишков. Отправление дел по министерству внешних сношений поручено было тайному советнику графу А. Н. Салтыкову, а должность министра полиции генералу от армии и члену Государственного совета С. К. Вязмитинову.

В то же время назначен и в Москву новый главнокомандующий — обер-камергер граф Ф. В. Ростопчин заступил место фельдмаршала графа Гудовича и переименован был от армии генералом.

За отсутствием канцлера председательство в Комитете министров и Государственном совете возложено было на фельдмаршала князя Николая Ивановича Салтыкова, бывшего тогда еще графом.

В обеих столицах, особенно же в Москве, почитали его весьма дальновидным и хитрым, несмотря на его наружное смирение. Это заключение основывалось более на том, что он при трех правлениях пользовался в равной силе царским благоволением. Не отрицаю приписываемых ему достоинств, но, рассматривая его как государственного человека, я не знаю, когда и чем он заслужил столь высокое о нем мнение. В летах мужества, во время войны с турками, оконченной Кайнаджирским миром, он был, так сказать, рядовым генералом; ни в одной реляции не шумело имя его, подобно именам Вейсмана, графа Каменского и князя Суворова. Председательствуя потом в Военной коллегии, имея случай во всем пространстве развить способности государственного ума, он держался того хода в делах, какой был заведен предместником его, князем Потемкиным. Лучшего было только то, что скорее подписывались им бумаги. Я не помню, чтоб он когда-нибудь сказал в Совете или Комитете решительное, собственное мнение: брося

несколько слов, ничего не значащих, он обыкновенно приставал к тому, кто на его счету важнее прочих, т. е. случайнее. После сего трудно ли было так долго держаться на своем месте?

С отбытием императора все политические сношения с Наполеоном стали приближаться к развязке. Едва государь прибыл в Вильну, французская армия перешла Неман и частию двинулась прямо к Вильне, а наша стала отступать к Смоленску. О таком внезапном и вражеском нашествии император известил высочайшим рескриптом фельдмаршала Салтыкова. Затем последовал манифест от 1-го числа июля, уже из лагеря под Дриссою, о вторжении неприятеля, а от 6-го того же месяца, из лагеря близ Полоцка, воззвание о всеобщем восстании на оборону отечества.

С того времени Комитет министров получил более важности: уже он стал средоточием всех государственных движений. Военные обстоятельства требовали мер чрезвычайных, скорого исполнения, и все это именем императора разрешаемо было Комитетом; но таковое уполномочие подавало иногда повод и к некоторым отступлениям, не всегда необходимым, от узаконенных правил. Например, от иных министров вносимы были на утверждение условия с подрядчиками мимо Сената; часто отдавались подряды на такую сумму, на каковую подрядчик не имел законного права. Я всякий раз напоминал о том Комитету, но мне всегда был один ответ: «Важность обстоятельств, требующих скорого исполнения, не терпит медленных форм, употребляемых Сенатом».

Напоминания мои еще более охладили ко мне некоторых из моих товарищей, особенно же управляющего канцелярией статс-секретаря Молчанова. В докладе бумаг началось предпочтение по министерствам: от тех и тех — самую неважную вносили в доклад без задержания, а мои по нескольку недель, даже по месяцам, лежали безгласными — *за недосугом*. Наконец, следующий случай обнаружил явное ко мне недоброхотство, или явную робость и нерешимость.

Неприятель уже подходил к Смоленску. При всем напряжении патриотизма можно было ожидать худых последствий. На всякий случай я заготовил проект секретного ордера всем московским обер-прокурорам, что-

бы собраны были, без малейшей огласки, нужнейшие и важнейшие бумаги, как по Сенату, так и по Вотчинному департаменту и Государственному архиву, дабы в случае опасности Москвы они могли быть тотчас отправлены, куда будет назначено. По новости предприятия и уважению моему к Комитету, я внес проект мой на его утверждение; но председатель оного, без сомнения по внушению г. Молчанова, не хотел согласиться даже и на то, чтобы проект мой хотя прочтен был в заседании Комитета, сказав мне, что я хозяин в моем министерстве, следовательно, и могу предписывать подчиненным местам без ведома Комитета. И что же? Около того же времени принимается от министра просвещения записка о разрешении на перекрышку на Аптекарском острове согнившей кровли на прачешном строении!! Жалкое противоречие!

Последствия оправдали меня. По вступлении в Москву неприятеля начали даже и в Петербурге по всем министерствам отправлять нужнейшие бумаги водяным путем, помнится, в Олонецкую губернию, куда отряжен был от министерства полиции чиновник, чтобы приготовить дома для поклажи дел и проживания отправленных с ними от всех министерств приказных служителей.

Но, благодарение святому промыслу, распоряжениям правительства и народному духу! Временное испытание наше обратилось для нас в вечную славу. Спокойствие восстановилось, течение дел вступило в прежний порядок, и министры стали по-старому иметь определенные дни для личного доклада по делам своим государю.

Это продолжалось до вторичного отбытия императора в армию, последовавшего, помнится, в начале 1813 года. Государь пред отъездом своим соблаговолил оказать многие милости; между прочим, фельдмаршал граф Салтыков получил титло светлейшего князя, а управляющему канцелярией Комитета повелено присутствовать в Сенате. На другой день он приехал просить меня о назначении его в Первый департамент. Я доложил о том государю, и сделано.

С отсутствием императора возобновились неудовольствия мои по Комитету. Статс-секретарь Молчанов стал оказывать худое свое расположение ко мне еще более прежнего. Вот какая была тому причина.

Пред самым отъездом государя я докладывал ему, что по Комитету накопилось до ста сенатских докладов и рапортов на высочайшее имя, не считая других записок, и просил о повелении Комитету прибавить к двум дням в неделю еще один для присутствия единственно по сенатским делам, пока не будут они очищены. Получа на то высочайшее соизволение, я, не замешкав, объявил об оном официально председателю Комитета.

Г. Молчанов, при первой встрече со мною после того, с неудовольствием дал мне заметить, что ходатайство мое о лишнем дне присутствия клонилось только к тому, чтобы выставить его пред государем в виде ленивца или нерадивого, и что же последовало? Объявленное мною высочайшее повеление осталось совсем без исполнения, даже и не внесено было в журнал; медленность в докладах по моим запискам, самым нужным, требовавшим скорого разрешения; неуважение не только к лицу моему, но и к самым законам. <...>

После столь многих доказательств пренебрежения всех приличий и порядка, законами установленного, оставалось бы мне только довести о том до сведения императора; но неуместная моя совестливость удержала меня: мне больно было и помыслить о занятии его подобными нелепостями в *такое* время, когда лежала на раменах его судьба целой Европы.

Я предпочел просить о увольнении меня от министерства и с первым курьером в армию отправил о том мое прошение. Не получая на него ответа, я писал к министру полиции А. Д. Балашову, чтобы он, при случае, напомнил государю об моем прошении; буде же не последует на то высочайшего соизволения, исходатайствовать мне по крайней мере отпуск на четыре месяца. Наконец я получил его. Должность моя препоручена была сенатору Алексею Ульяновичу Болотникову, которому я в первый год моего министерства имел счастие выпросить орден св. Анны первого класса. Знакомство мое с ним началось еще гвардии в Семеновском полку, при большом неравенстве наших чинов: он был поручиком, а я еще сержантом. Я столько уважал его просвещенный рассудок, добрую совесть и заботливое трудолюбие, что при испрашивании ему ордена осмелился сказать государю, что если бы его величеству угодно было предоставить собственному моему выбору, самому

принять министерство или уступить его Болотникову, я избрал бы последнее.

По сдаче дел моих я препроводил при письме к Болотникову записку, в которой с возможною подробностию описаны были вышеозначенные три случая. «Все это сообщаю вам,— говорю я в письме моем,— для следующего: кто, пользуясь обстоятельствами, устремляется на оскорбление другого, тот, конечно, позволит себе всякие средства к предварительному отражению жалобы от оскорбленного. Может быть, сношения мои по описанным делам с Комитетом уже и представлены государю, с искажением истины; может быть, во мзду моей твердости и моего благонамерения, успеют или уже успели очернить и обвинить меня. Я же, чувствуя всю важность настоящих занятий государя, никак не осмеливаюсь и не хочу огорчить его донесением о происшедшем со мною впредь до благоприятнейшего времени; но мысль, что я могу и умереть, не дождавшись оного, остаться в худой памяти у государя, решила меня поставить все это на вид вашего превосходительства. Ежели судьба не допустит меня видеться с государем, ежели я умру неоправданным: и в том и другом случае, по долгу моего преемника, для пользы службы и собственной вашей, будьте моим душеприкащиком или ходатаем. Вам вверяет и общую пользу и свою честь и пр., и пр.».

Потом, отпустя весь домашний мой скарб водою и сухим путем в Москву, двадцать девятого июля и сам отправился туда же. По причине сгоревшего моего домика я выпросил у почтенного канцлера временное пристанище в московских его палатах.

С самой нежной молодости моей въезд в Москву бывал всегда для меня праздником. Но в этот раз я взглянул на нее с сжатым сердцем: она раскрыла еще свежую мою рану, напомня мне о насильственной смерти родного моего брата Федора! Он служил за обер-прокурорским столом в Сенате. Пред занятием французами Москвы, за разгоном лошадей, он не мог следовать за Сенатом в Казань и только что в состоянии был добраться до села Измайлова, отстоящего в семи верстах от столицы. Там нашла его шайка французов, ограбила, и потом — свирепый поляк прострелил его из пистолета, в глазах жены и малолетних детей.

Первая от Петербургского предместия и лучшая улица, *Тверская*, представлялась мне вся в развалинах. Знатнейшие по огромности своей дома покрыты копотью, без стекол, с провалившеюся кровлею или совсем без оныя; инде церкви без креста или с главами, обнаженными от позолоты. Но я забылся: это корысть истории.

По свидании с другом моим Карамзиным, лишь только возвратившимся из Нижнего Новгорода, первая моя забота была приготовить новый приют для моей старости. Я купил погорелое место с разгороженным садом, недалеко от Тверского бульвара и так называемого Патриаршего пруда, в приходе св. Спиридона, и приступил к постройке дома, начав с необходимых принадлежностей.

По прошествии же срока моему отпуску испросил еще отсрочки на три месяца и по первому зимнему пути отправился в Симбирскую губернию, для свидания с моим родителем.

КНИГА ДЕВЯТАЯ

После долговременных трудов, противоборствий и неприятностей, наконец я увидел себя опять в том самом доме, который был моим ровесником, ибо родители мои обновили его в один день с моими крестинами. Из страны эгоизма, из высоких чертогов я очутился под низменною кровлею, у подошвы горного хребта, покрытого дубовым лесом, в уединенном семействе, где не было ни одного сердца, ни мне чуждого, ни ко мне хладного.

Я нашел отца моего в глубокой старости, осьмидесяти лет. Всегдашнее сообщество его составляли меньшой мой брат, пожертвовавший сыновней любви всеми выгодами честолюбия и независимости, две мои сестры и малолетняя сиротка, дочь покойного моего брата.

Отец мой отвел для житья моего свой кабинет, куда я некогда хаживал с трепетом для отчета в заданном мне уроке. С каким удовольствием взглянул я на старинный зеленый шкаф с книгами, бывший предметом моей зависти! Я увидел в нем давних моих знакомцев: первую книгу «Собрания разных сочинений в стихах и прозе» Ломоносова, московского второго издания

1757 года, «Сочинения и переводы» Владимира Лукина, горациевы послания, перевод силлабическим размером князя Кантемира, «Грациана Балтазара, придворного человека», в оригинале письма Вуатюра, Бальзака и Костара, даже домашние и школьные разговоры на трех языках, которые в детстве моем столько натруживали память мою и бывали иногда виною вздохов и слез моих. Да простят меня товарищи мои министры за воспоминание о таких мелочах; да извинят в том и авторы классические и романтические! Я пишу не для щегольства, не для потомства, а для собственного удовольствия. Так, в этом кабинете я возвратил беспечные счастливые дни моей невинности и почти позабыл все причиненные мне досады. Нежность отца моего, противоречившая угрюмой его наружности в молодых летах; удовольствие, сиявшее в глазах его, при виде сына, достигшего значительной степени; искренние ласки всего семейства могли бы тогда сделать меня совершенно счастливым, если бы не мешал тому врезанный в сердце моем образ любезной матери. Она за год пред тем скончалась. Я не мог привыкнуть к этой разлуке, пока жил у отца моего: час обеда, время чая, место, где она обыкновенно сидела,— все напоминало об ней и погружало меня в уныние.

В начале 1814 года я простился с моим любезным семейством и возвратился в Москву. Там ожидало меня пересланное от Болотникова отношение ко мне графа Аракчеева из-за границы. Он препроводил ко мне прошение, поданное к государю от одного общества евреев, объявляя при том высочайшее повеление, чтоб я, по возвращении императора, при первом моем докладе внес в оный и эту бумагу.

Из сего я заключил, что государь полагает меня уже возвратившимся из отпуска; почему, нимало не медля, и отправился в Петербург. По прибытии же туда представился двору и вступил в отправление дел по моему министерству.

В скором времени после того вся империя обрадована была известием об торжественном вступлении государя с победоносной своей армией и союзными войсками в Париж и об отречении Наполеона, за себя и сына, от престола Франции. Сие достопамятное событие последовало 19 марта, а известие о том было получено с генерал-адъютантом Кутузовым, помнится мне, в ап-

реле. В тот же или на другой день я имел счастие, с некоторыми из министров быть приглашенным к столу вдовствующей императрицы. Никогда столь искренняя радость не сияла на челе матери венценосного победителя! После обеда она приказала подать новости, полученные ею; собрала вкруг себя всех гостей своих обоего пола и заставила секретаря своего г. Вилламова читать французские и немецкие ведомости, наполненные похвал и благословений освободителю Европы. Во всех превозносили его скромность, великодушие и человеколюбие. Потом поручено было сенатору Нелединскому-Мелецкому прочитать постановления относительно к обстоятельствам французского временного правительства и блюстительного сената. Наконец было заключено песенкою, сочиненною в Париже в честь нашего императора, на голос известной старинной песни: «Vive Henri quatre!» (Да здравствует Генрих Четвертый).

За первым известием последовал и высочайший манифест, подписанный в Париже, о занятии оного нашими и союзными войсками. Назначен был день для торжествования сего достопамятного события. Обе императрицы изволили прибыть в Казанский собор к слушанию литургии. Церковь уже была наполнена гражданством обоего пола и всех сословий. Самая площадь пред нею усеяна была народом. По совершении литургии и по выходе из алтаря митрополита Амвросия со всем духовенством на средину храма для отправления благодарственного молебна, я имел счастие читать манифест, взойдя на первую ступень помоста возле амвона, обратясь к народу и имея с правой стороны императорскую фамилию, а с левой иностранных министров. С последним словом манифеста начался благодарственный молебен, заключенный хором: «Тебе бога хвалим». За сим грянул гром пушек, и раздалось «ура!» по всей площади.

В тот вечер весь город был освещен. Знатнейшие присутственные места, начиная с Сената, министерские и многие частные домы украшены были великолепными щитами; даже посредственного состояния, не только хозяева, но и жильцы выставляли в окнах своих прозрачные аллегорические картины или что другое с остроумными надписями (II). <...>

В тринадцатый день июля столица обрадована была

прибытием императора из-за границы. С первым пушечным выстрелом многие, в том числе и я, поскакали во дворец на Каменный остров. Государя там еще не было. Сказали нам, что он из Казанского собора отправился к графу Салтыкову, бывшему тогда нездоровым. Наконец, мы имели счастие дождаться государя. Он был весел, много изволил говорить о минувшей войне и по беспристрастию своему счастливый конец оныя относил единственно к благости провидения, не скрывая того, что наше войско, быв уже на пути к Парижу, неоднократно находилось близким к отступлению. Его величество удостоил меня по-прежнему ласковым словом.

Ободрен будучи сим, я на другой же день отправился во дворец, взяв с собою бумагу, присланную ко мне, как выше сказано, из армии от графа Аракчеева. Придворный камердинер доложил обо мне и вынес ответ, что если нет большой нужды, то ожидать для доклада другого дня. В тот же день узнал я, что и министру финансов было отказано. Чрез несколько дней после того граф Салтыков сообщил мне рескрипт на его имя, в котором по откупным делам употреблены выражения, изъявляющие неудовольствие на действия министра финансов и самого Сената. Гурьев сказался больным и перестал выезжать из дома, но продолжал изыскивать все способы к своему оправданию.

Между тем, в 22 день июля, наступило празднование дня рождения вдовствующей императрицы. Вся столица перенеслась в Петергоф. Дворец окружен был народом, а проходные комнаты наполнены служащими и отставными. Государь, при выходе из церкви остановясь в приемной комнате, обращался ко всем министрам с обыкновенным своим благоволением. Говорил даже с некоторыми из сенаторов. Меня же не удостоил не только словом, ниже́ взглядом; та же участь была и сенатору Болотникову, отправлявшему должность мою, в продолжение моего отпуска. Тут я увидел ясно, что дворские ухищрения произвели свое действие. Впоследствии же узнал, что князь Салтыков (тогда он уже получил достоинство светлейшего князя) при первом свидании с государем испросил у него позволение прислать к нему Молчанова с докладами по Комитету; что последний в тот же день и был принят. Вероятно, этот случай и послужил к обвинению меня и Болотникова.

Последнего, может быть, из одной предосторожности, чтобы не допустить его быть моим преемником, ибо всем известно было давнее наше знакомство и доброе согласие. Тогда же дошло до меня, что государь изволил отзываться пред одною особою, будто я стал ленив и очень горд, а потому и задал мне урок в смирении.

Вскоре потом я получил приглашение к императорскому столу на Каменный остров. «Это будет вторичный урок»,— думал я и с спокойным духом отправился на остров. Но добрый государь, сверх чаяния моего, обошелся со мною по-прежнему. Даже, минуя нескольких особ, стоявших выше меня, подходил ко мне и потом уже в мою очередь еще удостоил меня двумя-тремя словами.

Такой благосклонный прием решил меня на другой день повторить мою просьбу о назначении мне дня доклада по нужнейшим делам Сената; но ошибся в моей надежде. Три дня прошло, и не было ответа. Тогда, нимало не мешкав, я написал к государю вторичную просьбу об увольнении меня не из одного министерства, как то было сказано в первой, но уже *вовсе* от службы и об решении моей участи прежде отбытия на Венский конгресс, назначенного на другой или на третий день его тезоименитства. Запечатав прошение мое в пакет, поехал с ним на Каменный остров и отдал его камердинеру для вручения государю.

Между тем положение министра финансов переменилось. Испрошенное им объяснение пред графом Аракчеевым (III) и другие побочные старания помогли ему оправдаться; вследствие чего он получил орден св. Владимира первой степени и прежний вес в Сенате, равно как и в Государственном совете.

Если бы я пошел тем же путем, может быть, и мне удалось бы иметь равный успех, но я не мог сделать себе насилия; имев уже однажды свободный доступ к государю, по званию министра, я не мог решиться на принесение оправданий моих чрез *посредника*. Мне легче было расстаться с своим местом, чем занимать оное с потерянием прав своих и возможности быть вполне полезным.

Двадцать девятый день августа был последним днем моего служения. <...>

На другой день поутру подают мне присланные в департамент указы; между прочими находился и об моей отставке и высочайший рескрипт на мое имя. Государь изволит изъявлять в нем монаршее свое благоволение за мою министерскую службу и жалует в пенсион ежегодно по десяти тысяч ассигнациями. Преемником же моим назван действительный тайный советник Дмитрий Прокофьевич Трощинский. Он уже находился в столице в числе депутатов, избранных от киевского дворянства для поздравления государя с благополучным окончанием войны и возвращением в отечество.

Я тотчас надел в последний раз парадный министерский мундир и поехал в Сенат. Сенаторы уже были в полном собрании, кроме одного Молчанова, приславшего сказать, что он болен. Я велел обер-секретарю читать указы, отдавая ему один за другим. Об отставке же моей, вместе с рескриптом и о преемнике моем, были последними. Потом, распростясь с Сенатом, отправился в Невский монастырь, а оттуда в Таврический дворец к обеденному столу, к которому приглашен был накануне.

Император, обходя министров, изволил сказать мне: «Ты непременно хотел отставки, и не однажды о том просил меня. Должно было наконец исполнить твое желание». Я ответствовал только почтительным поклоном. Добрый государь, отступя от меня, еще обратился ко мне и повторил обыкновенную свою шутку, что я *мнимый больной*. Все это сказано было, конечно, для того, чтоб уверить предстоявших в продолжении всемилостивейшего ко мне благоволения. В следующий день я приглашен был опять, уже к малому обеденному столу. Государь, до обеда и после, благоволил удостоить меня несколькими словами; между прочим не одобрял моего намерения поселиться в Москве на *пепелище*.

По возвращении государя во внутренние покои, я пошел в верх (это было на Каменном острове), в так называемую секретарскую комнату и поручил дежурному камердинеру доложить государю о желании моем принести ему благодарность мою и в то же время откланяться. Между тем остался ожидать ответа вместе с графом Аракчеевым и виртембергским послом Винцегеродом, из коих один дожидался с докладными делами, а другому назначена была приватная аудиенция.

Сперва позван был посол, а после него я. При входе моем в кабинет государь уже был на середине оного. Не допустя меня поцеловать у него руку, он обнял меня и поцеловал в щеку. Потом изволил уверять меня, что он во всем был мною доволен, сожалел, что я оставил службу, и с ласковым видом спросил меня, держа за руку: «Даешь ли слово со временем опять сойтиться?» Я отвечал ему, что в продолжение его отсутствия я столько вынес досад и огорчений по моей должности, столько еще и теперь встревожен в духе, что никак не смею обязать себя словом. Потом вкратце и слегка рассказал о происходившем со мною по Комитету и заключил тем, что это одно и заставило меня домогаться докладного часа от его величества. Государь слушал меня с большим участием; он был растроган; уверял меня снова в постоянном ко мне благоволении и еще изволил обнять меня.

По сдаче дел моих я недолго жил в Петербурге. Государь отбыл на Венский конгресс; в половине того же месяца и я отправился в Москву. Государственный канцлер граф Николай Петрович Румянцев предложил мне жить в его московском доме, пока мой собственный не будет отстроен. <...>

По выезде моем из Петербурга, в селе Чудове, встретился с Гавриилом Романовичем Державиным и его супругою — Дарьей Алексеевной (урожденной Дьяковой). Они ехали в *Званку*, свою деревню, лежащую на берегу Волхова, в Новгородской губернии и воспетую им самим и многими молодыми поэтами. Постоянная, приятельская связь моя с ним еще с молодых лет моих, когда я только что пробивался на стезю к Парнасу, а он уже сиял на его вершине; одинакой путь и на поприще гражданской службы: оба были сенаторами, оба министрами, оба уже в отставке, и нечаянная встреча на большой дороге: какое представилось нам поле для сердечных чувств и размышления! Я пробыл с ним несколько часов лишних, как бы предчувствуя, что это было последнее наше свидание.

Прощанье обоих нас растрогало. Я всегда был искренним почитателем высокого поэтического таланта и душевных качеств его. Уверен, что и он любил меня, особенно в первые годы нашего знакомства. В продолжение же моего министерства, хотя он по временам

и досадовал на меня, может быть, считал даже и непризнательным, ибо я не всегда мог исполнять его требования об определении к месту, или по тяжебным делам тех и других; но это нимало не ослабляло нашего внимания друг к другу.

КНИГА ДЕСЯТАЯ

Итак, в тысяча восемьсот четырнадцатом году, сентября с двадцатого дня, возобновилась московская жизнь моя! Но я уже не мог обещать себе тех приятных наслаждений, посреди коих текли счастливые дни мои в продолжение первой моей отставки: прибавка нескольких лет заставляет нас взирать на многое уже другими глазами, к тому же из коротких моих знакомцев некоторых уже не было в мире, другие разъехались, кто в резиденцию, кто в губернию на постоянное житье. Один только Карамзин мог бы заменить мне все утраты, но и с ним ненадолго увиделся.

Чрез несколько месяцев он отправился в Петербург для поднесения государю осьми томов сочиненной им «Истории Российского государства». Труды и талант его получили достойную награду: он возвратился в новом чине статского советника и кавалером ордена св. Анны первого класса. Сверх того император приказал печатать его «Историю», не подвергая цензуре, на счет Кабинета, и предоставил весь завод в полное его распоряжение. <...>

Пробыв в Москве до весны, он опять отправился в Петербург, уже на житье, со всем своим семейством.

В следующем году, переселясь в новый мой дом, я отлучался только на короткое время в Симбирскую губернию. Летние месяцы проведены были мною не скучно: став по-прежнему хозяином в собственном доме, я занимался внутреннею отделкою и убранством моих покоев, разбором книг и установкою их в методическом порядке по шкафам, устройством сада, пересадкою деревьев, кустов, разведением цветников и, на досуге, прогулкою на Пресненских прудах и по Тверскому бульвару. Оба гульбища от меня в близком соседстве.

Удивляюсь поэту, который равнодушен к живописи, цветам и деревьям, следовательно, и к природе. Один

дуб, посаженный мною в первое лето моего новоселья, доставляет мне каждый год новое удовольствие: с каждою весною нахожу его рослее и ветвистее. Посея цветочные семена, я ожидаю почти с каждым утром приятную себе новость. Вчера утешался всходом цветочного стебля или пучочком; чрез несколько дней уже застаю его в полном расцвете. Украшением моего сада обязан я некоторым из моих приятелей, имеющих сады или оранжереи. Подарок деревом или цветком прочнее прочего служит нам памятником дружбы или приязни. Луг мой пред домом украшается диким каштаном: он подарен мне был земляком моим Н. А. Дурасовым, мы еще в детских летах обучались в Симбирске в одном училище. Он уже давно скончался; но я и поныне, проходя мимо каштана, всякий раз с чувством признательности вспоминаю его и наше детство. К подкреплению сказанного пришел мне на память еще один случай: в ясный полдень вносят в мой кабинет горшок с прекрасным, ароматным цветком; на вопрос мой: «Где его взяли?» — «Это самый тот,— отвечают мне,— который в прошлом лете прислала к вам А. А. Г *** на другой день, как она гуляла в саду вашем». Ее уже не было в мире, а цветок ее и поныне, с каждою весною, возобновляет жизнь свою и напоминает об ней.

Таким образом протекали дни мои, незаметные, но спокойные, до 1816 года. В половине оного Москва обрадована была прибытием императора. Он еще в первый раз увидел ее после достопамятного пожара 1812 года. Легко можно представить, сколь тяжко было ему смотреть на развалины старинного, но прекрасного Арсенала, а еще более на пожарища бедных обывателей. Но мы скоро увидели в нем ангела-утешителя. Приказано было статс-секретарю Кикину принимать от всех на высочайшее имя прошения. <...>

Пред отъездом же государя в Варшаву последовал на имя бывшего московского военного губернатора Тормасова высочайший рескрипт об учреждении Комиссии для пособия разоренным в Москве от пожара и неприятеля. Я имел счастие быть избран самим императором в председатели Комиссии. <...>

Сколь ни легко было само по себе новое и, вероятно, последнее мое служение, однако ж и оно не обошлось для меня без некоторых неприятностей. Укоренившийся

между нами обычай втираться к случайным и для услуги своим знакомцам располагать царскою казною гораздо живее, нежели собственным добром, заводил иногда между мною и членами споры и легкие друг на друга неудовольствия. Не знаю, от них ли это вышло, или от другой причины, но граф Аракчеев стал ко мне приметным образом холоднее; даже и в обращении со мною государя видел я несколько дней большую перемену. Последняя для меня была крайне чувствительна; но я не изменил моим правилам: находя себя во всем невинным, не прибегал ни чрез кого ни к объяснениям, ни к оправданию и шел своей дорогою.

В 1819 году Комиссия, окончa разбор прошений, поступивших в нее с минувшего года, представила государю 8 февраля подробный отчет в количестве рассмотренных прошений и сумме, назначенной в пособие. Это было за три дня до отбытия государя в Варшаву.

В то же время подано было от меня императору чрез камердинера его письмо, в котором, донося его величеству об отправлении к графу Аракчееву окончательного отчета, я просил его, по дряхлости осьмидесятилетнего отца моего, с которым уже около трех лет не видался, об увольнении меня от разбора вновь поступивших прошений. Просил также и о позволении мне представить к награждению некоторых из чиновников, находившихся под начальством моим в Комиссии.

Вскоре после того я имел счастие получить, при отношении графа Аракчеева, копию с высочайшего указа, подписанного февраля 16 дня, о всемилостивейшем награждении меня чином действительного тайного советника. Граф Аракчеев, поздравляя меня с монаршею милостью, между прочим писал, что государь, затрудняясь в выборе на место меня председателя, желал бы, чтоб я сохранил сие звание и впредь, когда продолжится Комиссия; и что между тем его величество позволяет мне отлучаться из Москвы, а во время отсутствия прекращать заседания Комиссии.

С живейшею признательностию повинуясь монаршей воле, я приступил к разбору вновь поданных прошений и отложил свидание мое с родителем до совершенного окончания разбора; но в скором времени получил горестную весть о его кончине.

В первых днях мая 1819 года окончен разбор и

остальных прошений. Всех же их вообще, в двукратное пребывание государя в Москве, поступило в Комиссию 20959 прошений, из коих она, по уважению пятнадцати тысяч триста тридцати прошений, назначила в пособие *один миллион триста девяносто одну тысячу двести восемьдесят рублей.*

Вскоре по отправлении вторичного отчета я имел счастие еще получить орден св. Владимира первой степени. <...>

В следующем году, в первых днях июня, я отправился в Петербург для свидания с двоюродной сестрой моею Анною Николаевною Смирновой и другом моим Карамзиным. Приятно мне было в то же время принести и сердечную благодарность мою государю за оказанные милости мне и моим племянникам. Я нашел Карамзина в Сарском Селе. <...>

Во всю бытность мою в Петербурге император благоволил оказывать мне милости, необыкновенные для частного лица. В Сарском Селе мне был отведен для временного житья один из китайских домиков (IV) в ближайшем соседстве с Карамзиным. С наступлением же июля 22 числа, тезоименитства вдовствующей императрицы, празднуемого всегда в Петергофе, по высочайшему повелению приготовлены были там для меня покои в дворцовом доме, назначенном для помещения членов Государственного совета.

Право гражданства, полученное мною в китайском поселении, доставило мне удовольствие быть чаще в Сарском Селе и проводить по нескольку дней сряду вместе с Карамзиным. Наши домики разделяемы были одним только садиком, чрез который мы друг к другу ходили. Всякое утро он, отправляясь в придворный сад, захаживал ко мне и заставал меня еще в постели. В саду он почти всегда встречался с государем и ходил с ним по большой аллее, прозванной августейшим хозяином *зеленым кабинетом.* По возвращении с прогулки Карамзин выкуривал трубку табаку и пил кофий с своим семейством. Потом уходил в кабинет и возвращался к нам уже в исходе четвертого часа, прямо к обеду. После стола он садился в кресла дремать или читать заграничные ведомости; потом, сделав еще прогулку, проводил вечер с соседями или короткими приятелями. В числе последних чаще других бывали В. А. Жуковский и старший Тургенев.

Сколь ни приятно для меня было жить почти под одною кровлею с старинным, единственным моим другом, слушать его и восхищаться чертами прекрасной души его, любоваться его и славою и домашним счастием; признаюсь, однако ж, что ни одного тогдашнего утра и вечера не мог я сравнить с теми, кои мы проваживали в Москве, один на один, когда Карамзин, еще до первой женитьбы своей, жил на Никольской улице, в четырех маленьких покоях, в нижнем этаже. Здесь я бывал с ним по нескольку дней неразлучным, но не помню, чтоб хотя четверть часа мы были без свидетелей. Казалось, будто мы встречались все мимоходом. Двор, изредка и слегка история, городские вести были единственным предметом наших бесед, и сердце мое ни однажды не было спрошено его сердцем. Я уверен был и тогда в его любви, а чувствовал грусть и не мог вполне быть довольным (V).

Пребывание мое в Сарском Селе заставило многих думать при дворе и в городе, что я буду опять министром юстиции или просвещения, несмотря на то, что оба министра были в наличности и здравы духом и телом. Уже некоторые из запасливых на всякий случай чиновников и даже высших особ закидывали мне поклоны и визитные карты. Я сожалел от себя о напрасном их беспокойстве и скоро вывел их из заблуждения, ибо августа девятого числа отправился в Москву, простясь с любезным Карамзиным и со всеми любимцами и докучателями фортуны.

Наступил час проститься и с тобою, читатель. Скажу еще несколько слов и положу перо. Кроме общего всем жребия — потери родителей, братьев, сестр и двух посторонних, но столь же близких к моему сердцу, во всю жизнь мою, с лишком шестидесятилетнюю, я не испытал другого несчастия. Чаще был весел, чем печален, хотя по наружности и кажусь задумчивым. Никогда не был богат и никогда не вздыхал о богатстве. Между тем состояние мое все улучшалось и достаточно стало для удовлетворения небольших прихотей моих. Без покровителей, без происков, без нахальных требований счастлив был в чинах и отличиях, и все это, кроме чистейшей благодарности, ничего мне не стоило. На тринадцатом году оторван был от ученья и достиг некоторой известности в кругу наших словесников.

Теперь, став зрителем только малого позорища, я уподобляю остаток дней моих сладкой дремоте, предшественнице того таинственного дня, который, вероятно, уже близок.

Будем же, сложа руки, с покорством и умилением, ожидать его и благодарить провидение.

Москва, 1825 г., апреля 9 дня.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

I часть

I. «Приключения Маркиза Г***, или Жизнь благородного человека» («Mémoires de l'homme de qualité»), в шести частях. Лет за тридцать пред сим, наименовав этот роман, я не почел бы нужным ничего к тому прибавить, ибо тогда все наши словесники и образованные читатели знали, что сочинитель его аббат Прево д'Экзиль признаваем был за одного из лучших романистов во Франции; что первые четыре части переведены были И. П. Елагиным, и перевод его по слогу долго считался образцовым, а последние четыре секретарем его В. И. Лукиным; но в недавнем времени, в двух наших журналах 1825 года, именно: в «Литературных Листках» и в «Телеграфе»,— роман сей переименован «Маркизом *Глаголем»* и выставлен наравне с «Принцем *Георгом,* или *Герионом»,* известною с давних времен площадною сказкою. В первом даже сказано, что ныне читают его только лакеи. Чтоб вывесть из заблуждения тех, которые так об нем отзывались, и примирить с ним читателей упомянутых журналов, не знавших сего романа ни в подлиннике, ни в переводе, я выписываю здесь несколько слов из мнения об нем и его авторе двух известных во французской словесности писателей. Аббат Сабатье де Кастр в книге своей «Les trois siècles de la littérature française» («Три века французской словесности») говорит, что «романы Прево д'Экзиля несравненно превосходнее тех нелепых, приторных и соблазнительных произведений, которые исказили нашу (французскую) словесность, считая от «Амадиса Галльского» до «Анголы», и пр.». Далее, что «Записки благородного человека», «История Клевеланда» и «Настоятель Киллеринский» будут всегда почитаться произведением чудесного воображения по разнообразию картин, по их противоположности, по пламенному изображению страстей и по впечатлению, которое оно производит в читателях». С таким же уважением отзывается об авторе вышеупомянутого романа и Палиссо в своих «Записках, пригодных для истории французской словесности» («Mémoires pour servir à l'histoire de notre littérature»). Рассуждая вообще об романах, он говорит: «в сих сочинениях, как и в театральных, порок должен быть всегда наказан, а добродетель всегда награждена. В сем-то роде особенно отличился аббат Прево д'Экзиль, которого, кажется, никто не превзошел, кроме знаменитого Ричардсона».

II. Ни одно сочинение не заслужило у нас такого отличия, как политический и нравственный роман г. Мармонтеля. В 1769 году

вышло два перевода его. Один напечатан в С.-Петербурге под заглавием «Велисарий», без имени переводчика; а другой в Москве под названием «Велизера». Последний совершен самою императрицею Екатериною Второю с ее вельможами и царедворцами в продолжении пути ее по Волге из Твери до Казани. Императрица перевела только девятую главу; прочие же переведены графом А. П. Шуваловым, И. П. Елагиным, графом З. Г. Чернышевым, С. М. Кузьминым, графами Г. Г. и В. Г. Орловыми, Д. В. Волковым, А. В. Нарышкиным, князем С. Б. Мещерским и Г. В. Козицким. Заметим, что вся девятая глава дышит либерализмом, ненавистью к ласкателям и самовластию.

III. С давних лет и поныне переходит от одного к другому предание, будто императрица Анна видела тень свою на троне. Вот как многие о том рассказывают. В глубокую ночь, когда уже во всем дворце на внутренних только притинах светились ночники, два кавалергарда, стоявшие на часах у дверей тронной комнаты, вдруг видят императрицу, ходящую тихим шагом взад и вперед мимо трона. Они посылают подчаска донести о том своему капралу и караульному гвардии капитану. Оба они приходят к часовым и уверяются в сказанном собственными глазами. Капитан доносит о том дежурному генерал-адъютанту принцу Бирону, любимцу императрицы. Тот не хочет верить, говоря, что он лишь только вышел от государыни, и она уже в постели. Однако же будто он пошел сам на притин с капитаном, и видит то же явление. Он побежал во внутренние покои императрицы, приказывает разбудить ее под предлогом важной необходимости. Государыня, выслушав его, подозревает быть заговору, и что тень ее не другое что, как цесаревна Елисавета Петровна; приказывает капитану поспешно привести взвод гренадер с заряженными ружьями и потом идет в тронную комнату, сопровождаемая Бироном, караульным капитаном и гренадерским взводом. Дойдя до кавалергардских часовых, она поражена тем же видением. Это не удерживает ее ступить шаг вперед.— «Кто ты?» — спрашивает она призрак. Тот молча идет и садится на трон. Императрица спрашивает в другой и третий раз: нет ответа. Она, возвыся голос, приказывает стрелять. И вмиг призрак исчез. Прибавляют еще, будто государыня, затрепетав, сказала Бирону: «Это вестник моей смерти», и что на другой же день слегла в постелю и вскоре потом скончалась. Эта сказка, вероятно, выдумана была около двора и разглашена недовольными правлением императрицы.

VI. Лет за сорок пред сим думали возвышенный слог украшать славянчизною, а ныне молодые писатели в стихах и прозе, за исключением достойных почитателей Карамзина, признают уже устарелым и его слог правильный, ясный, обдуманный и благозвучный. Они всех предшественников своих в отечественной литературе называют учениками французской школы, вялыми подражателями. *Требования века, дух времени, народность* — вот пышные и громкие слова, непрестанно ими произносимые! По их мнению, классицизм осьмнадцатого столетия — смешное школьничество; расиновы греки — распудренные маркизы; их выражения чувств — *бесцветные, безжизненные фразы;* лагарпов «Лицей» — пустословие, *лагарповщина*. Ныне, говорят они, уже все не постарому — Буало и Вольтер уже не в прежнем ходу во Франции; остроумного Попа уже не признают первоклассным поэтом в Анг-

лии; да и самый наш Карамзин уже для нас не *выскочка*. Ныне удивляются только самородному, самостоятельному, гениальному. Но я, признаюсь, ничего подобного не замечаю в новейших наших авторах. Гениальность и народность не в том состоит, чтоб *созданиями* своими, как они называют собственные нелепости, силиться потрясать наши нервы, возбуждать страх, ужас и отвращение, хотя они и того не производят, и щеголять языком простонародным или *хватским*, употребительным на биваках.

Выпишем здесь для примера несколько нововведенных слов, с переводом оных на язык Ломоносова, Шишкова и Карамзина, и еще две-три фразы в последнем, новейшем вкусе.

По-новому:	*По-старому:*
Нисколько	Нимало.
Маленькие *народцы* («Телеграф»).	Малочисленные народы, или для краткости, хотя и не говорится, народики.
Проблескивает (там же).	Просвечивает.
Суметь (там же).	Уметь, сладить.
Колея привычки (там же).	Это слово чаще других употребляемо было ямщиками; значит же: прорез от колес по густой грязи.
Палач-война	Губительная, опустошительная война.
Покамест.	Доколе, пока.
Словно.	Как бы, подобно.
Поэтичнее («Телеграф»).	Стихотворнее, живописнее.
Требовательный слог (там же).	Хвастливый, затейливый.
Вдохновлять гения (там же).	Вдыхать, одушевлять.
Вдохновлен страстями.	Воспламенен.
Узенькая ножка.	Тоненькая.
Исполинская шагучесть (там же).	Шаг или ход.
Безграничный (там же).	Неограниченный, беспредельный.
Слав (там же).	Слава и роскошь. Эти два существительные доселе во множественном числе не употреблялись.
Огромные надежды, *огромный* гений (там же).	Это прилагательное прикладывалось только к чему-либо материальному: *огромный* дом, *огромное* здание.
Ответить.	Отвечать. Так говаривали прежде всего только крестьяне и крестьянки в Кашире и других верховых городах.
Этих.	Сих, оных.
Пехотинец («Телеграф»).	Пеший, сухопутный солдат, ратник.
Конник (там же).	Конный всадник. Нынешние авторы, любя *подслушивать*, оба свои названия переняли у рекрутов.

Прибавим еще и целые фразы:

«Кажется, юным взорам нового Ахиллеса представили меч, *но Петр и более сего».*— «Телеграф».

Великое сердце его без эгоизма в самой *эгоистичной из страстей».*— Там же.

«Шуази с жаром говорит что-то. Вдруг протянул он руку, *и с радостным криком правые руки всех* ударились в его руку».— Николай Полевой в повести «Краковский замок», напечатанной в альманах «Радуга».

Довольно. Мне пришлось сказать к слову. Пространнее же пусть посудит о том и<мператорская> Российская Академия.

XI. «Ses réflexions (Карамзина) toujours judicieuses sont dictées par une saine philosophie et l'impartialité, son style est grave, soutenu et respire je ne sais quel air de bonne foi, *de nationalité,* si on peut s'exprimer ainsi, qui montre dans l'historien l'honnête avant le savant ». — « Le Moniteur ».

« Le 9-me volume contient la période la plus importante et la plus digne d'interêt de l'histoire de Russie. Ce n'est qu'une longue série de cruautés qu'on chercherait en vain dans l'autres annales, et que l'auteur a décrites *avec une généreuse indignation*» — «Bulletin des sciences historiques», 1824 [1].

Вот как отзывались о Карамзине и его «Истории» журналисты французские! Читатель уже видел, как действовали наши. Прибавлю только, что один из них, именно г. Воейков, издатель «Инвалида» и «Новостей литературы», даже отказал мне принять в свои журналы возражение г. П... против критики Арцибашева на некоторые места «Истории государства Российского», напечатанной в «Казанском вестнике». Он подал мне случай быть благодарным издателю «Отечественных записок» (Павлу Петровичу Свиньину), который не испугался то же возражение принять и напечатать. Кроме его журнала и «Телеграфа» [2], все прочие того времени периодические издания охотно и невозбранно печатали только хулу и оскорбительные насмешки на счет историографа, или очищали себя немым и холодным неутралитетом. Со временем выйдет и у нас история нашей словесности; пускай же автор ее знает, что в это время министром просвещения был князь А. Н. Голицын, попечителем в Московском университете князь Оболенский, а в Казанском Магницкий; ректорами, в первом: Прокопович-Антонский,

---

[1] «Размышления (Карамзина), всегда справедливые, продиктованы здравой философией и беспристрастием, слог его важен, возвышен и исполнен неким простодушием, *национальностью,* которые, если можно так выразиться, показывают в историке честного человека, прежде, чем ученого».— «Монитор».

«9-й том содержит повествование о периоде истории России весьма значительном и весьма достойном интереса. Это длинная вереница жестокостей, какие напрасно было бы искать в историях других народов и которые автор описал с *благородным негодованием».*— «Бюллетень исторических наук», 1824 *(фр.).*

[2] Как мало можно полагаться ныне и на суд журналистов! По кончине Карамзина тот же издатель «Телеграфа» сделался злым критиком его «Истории», а Воейков уже помещал возражения на критику Полевого. <Примечание 1832 года>.

а во втором Никольский; издателем же «Казанского Вестника» Владимирский.

XII. Г. Каченовский, критикуя в моей басне «Лиса-проповедница» следующий стих: «Она переменила струны», говорит: «переменить тон употребляется в общем разговоре и значит переменить содержание, иногда — переменить голос, наружный вид, обхождение. Так, например, человек малого чина, рассказывая о *министре или сенаторе, который прежде обходился с ним приятельски, вздумал бы заговорить повелительно и громко, может скучать: «Он вдруг переменил тон»*,— и это будет понятно для каждого; но *переменить струны* употребляется не иначе, как только в собственном знаменовании, то есть значит: снять одни струны, и навязать или нацепить другие». Смотри «Вестник Европы» на 1806 г., часть двадцать шестая, месяц апрель, № 8, стр. 290.

II часть.

I. Неизвестно мне, где Александр Васильевич Храповицкий был воспитан и начал свою службу. Знаю только по его рассказам, что он, еще в отроческих летах, часто бывал с отцом своим у Ломоносова, который однажды брал у него один том расиновых трагедий и возвратил его с написанными им на полях замечаниями. Это случилось в то время, когда лирик наш, в угодность только императрице Елисавете Петровне, занимался сочинением трагедии «Демофонта» или «Тамиры и Селима», точно не помню. Желательно, чтоб сии замечания сделались известными. Каждая черта гения для нас драгоценность.

В 1772 году Храповицкий уже был генерал-аудитор-лейтенантом в подполковничьем чине при фельдмаршале графе Кирилле Григорьевиче Разумовском. Около сего времени он писал стихами и прозою. и похвален был Сумароковым в журнале «И то и сё», выходившем в 1769 году. Чулков, сочинитель «Пересмешника» и «Истории российской торговли», был издателем сего еженедельника. Потом Храповицкий сочинил трагедию «Идамант» и продолжал выдавать мелкие сочинения в разных современных журналах, никогда не ставя под ними своего имени. В шутливой оде «Хочу к бессмертью приютиться», известной под именем Александра Семеновича Хвостова, многие строфы писаны Храповицким. Тогда оба они были в большой дружбе и служили вместе в канцелярии генерал-прокурора князя Вяземского.

Гораздо спустя после того, уже быв статс-секретарем Екатерины, он сочинил комическую оперу «Меломания, или Песнолюбие».

Я познакомился с ним, когда он уже был за пятьдесят лет и находился сенатором и председателем в Хозяйственной экспедиции. В это время он жил в совершенном уединении, на краю города. С утра до полдня находился он в Сенате, где его опытность, рассудок, беспристрастие всегда имели большой вес. Самые обер-секретари привозили к нему на дом свою работу и пользовались его советами. Иногда, смотря по важности дела, он сам сочинял сенатские доклады и рапорты государю. Остальное же время дня он посвящал любимым своим занятиям: любовался своими антиками, изящным собранием эстампов, библиотекою; читал старое и новое, переводил лучшие места из французских поэтов и от себя писал стихи, только уже не для публики, а для своих приятелей. Однако ж в продолжение моего с ним знакомства я убедил его напечатать перевод двух лафонтеновых басен и лебрюновой оды «Восторг» в

«Аонидах», периодическом издании того времени. Он сочинял легко, плавно и замысловато, а писал и начерно так четко и красиво, что никогда не нужно ему было рукопись свою перебеливать.

Храповицкий был в обществе утороплен и застенчив, но пред всеми учтив и ласков; с друзьями же своими жив, остр и любезен, говорил с точностию, складно и скоро. По предметам словесности любимый разговор его был о драматическом искусстве, которое он знал едва ли не лучше всех наших авторов того времени. Покойный трагик наш Озеров много был обязан его советам при вступлении своем на театральное поприще. Тогда он был, под его начальством, правителем канцелярии в Хозяйственной экспедиции. Храповицкий любил и уважал его.

Читатель с сердцем простит меня, что так долго занял его человеком, о котором он, может быть, еще в первый раз слышит. Говоря об нем, мне приятно возобновлять лучшие в жизни моей минуты, проведенные мною в уединенных, искренних беседах с сим почтенным мужем. Хотя мы были не равных лет, но он любил меня. Между нами было условие проводить вместе каждую субботу: я приезжал к нему обедать, и расставался с ним уже поздним вечером. Иногда он отпускал меня с каким-нибудь подарком для моего кабинета. Два эстампа, изображающие Мольера, резцом Боварлета, и доброго Лафонтена, из коллекции раскрашенных портретов, и теперь еще пред моими глазами. Но из всех его подарков драгоценнейшим для меня была тетрадь, писанная вчерне рукою Ломоносова. Это его план речи, которую он заготовлял по случаю ожиданного от императрицы посещения Академии. Эта рукопись перешла от меня к Платону Петровичу Бекетову и напечатана им в журнале «Друг просвещения».

Разлука моя с службою и с Петербургом не охладила ко мне приязни Александра Васильевича. Он часто писал ко мне в Москву, уведомляя меня о новостях словесности и присылая ко мне, вместо гостинцев, новейшие и значительные французские книги. Это продолжалось до самой его кончины, последовавшей в том же году. После его нашелся *дневник*, веденный им со вступления его в статс-секретари до сенаторства. Он записывал в нем политические, дворские происшествия и все, относившееся до его сношений с императрицею. По отрывистому слогу должно думать, что он писал дневник только для себя, дабы со временем употребить его к составлению подробнейших записок. Но и со всей краткостию, эта рукопись достойна любопытства. Ни одна книга не может сообщить лучшего понятия об уме, характере и домашней жизни Екатерины. Скажу, наконец, что Храповицкий во всех отношениях был достойным секретарем ее.

III часть.

II. *Выставляли в окнах прозрачные картины и пр.* Так, например, в нижнем жилье, в модной лавке, поставлен был гипсовый бюст императора, и над ним спущены были гирлянды из цветов и зелени, а внизу, на прозрачной черной дощечке сияла золотая надпись: «Au plus juste des rois et au meilleur des hommes» (правдивейшему из государей и добрейшему из людей — <*фр.*>). В другой улице я заметил на прозрачной вывеске часовщика изображение часов с надписью: «l'heure a sonné» (час пробил — <*фр.*>),— отношение к участи Наполеона или Франции.

III. *Испрошенное им объяснение пред графом Аракчеевым.* С 1812 года министры юстиции и внутренних дел лишились прежнего преимущества иметь по два раза в неделю личный доклад государю. Все дела их поступали в Комитет министров, а оттуда в государственную канцелярию, которою управлял Аракчеев. С того времени он вошел в большую силу; за исключением дипломатической и военной части, влияние его простиралось на все дела, не только светские, но и духовные, словом, он сделался почти первым министром, не нося на себе ответственности оного.

IV. *Один из китайских домиков.* Для любопытных наших внучат я скажу несколько слов о сих китайских домиках. Они поставлены были еще при императрице Екатерине Второй вдоль сада, разделяемого с ними каналом. Это было пристанище ее секретарей и очередных на службе царедворцев. Китайскими прозваны потому только, что наружность их имеет вид китайского зодчества, и со въезжей дороги ведет к ним выгнутый мост, на перилах коего посажены глиняные или чугунные китайцы, с трубкою или под зонтиком. Ныне число домиков умножено и определено им другое назначение: они служат постоем для особ обоего пола, которым государь, из особенного к ним благоволения, позволяет в них приятным образом провождать всю летнюю пору.

Все домики, помнится мне, составляют четвероугольник, посреди коего находится каменная же ротонда. Живущие в домиках имеют позволение давать в ней для приятелей и соседей своих обеды, концерты, балы и ужины. В каждом домике постоялец найдет все потребности для нужды и роскоши: домашние приборы, кровать с занавесом и ширмами, уборный столик, комод для белья и платья, стол, обтянутый черною кожею, с чернильницею и прочими принадлежностями, самовар, английского фаянса чайный и кофейный приборы с лаковым подносом и, кроме обыкновенных простеночных зеркал, даже большое, на ножках, цельное зеркало. Всем же этим вещам, для сведения постояльца, повешена в передней комнате у дверей опись, на маленькой карте, за стеклом и в раме. При каждом домике садик: посреди круглого дерна куст синели, по углам тоже, для отдохновения железные канапе и два стула, покрытые зеленою краскою. Для услуг определен придворный истопник, а для надзора за исправностию истопников один из придворных лакеев. <...>

V. Говоря здесь в последний раз о Карамзине, я надеюсь, что не неприятно будет видеть извлечение из собственного письма его ко мне от 22 октября 1825 года. Оно лучше меня расскажет будущему биографу доброго историографа о его образе жизни, чувствах и правилах. «В ответ на милое письмо твое, скажу, что о вкусах, по старому латинскому изречению, не спорят: я точно наслаждаюсь здешнею (в Сарском Селе) тихою, уединенною жизнью, когда здоров и не имею сердечной тревоги. Все часы дня заняты приятным образом: в девять утра гуляю по сухим и в ненастье дорогам, вокруг прекрасного, нетуманного озера, славимого и в «Conversations d'Emilie» [1]. В одиннадцатом завтракаю с семейством и работаю с удовольствием до двух, еще находя в себе и душу и воображение; в два часа на коне, несмотря ни на дождь, ни на снег, трясусь, качаюсь — и весел; возвращаюсь с аппетитом, обедаю

[1] «Беседы Эмилии» *(фр.)*.

с моими любезными, дремлю в креслах, и в темноте вечерней еще хожу час по саду, смотрю вдали на огни домов, слушаю колокольчик скачущих по большой дороге и нередко крик совы; возвратясь свежим, читаю газеты, журналы, ...книгу... в девять часов пьем чай за круглым столом и с десяти до половины двенадцатого читаем с женою и с двумя девицами (дочерьми) Вальтер Скотта романы, но с невинною пищею для воображения и сердца, всегда жалея, что вечера коротки... Работа сделалась для меня опять сладка: знаешь ли, что я с слезами чувствую признательность к небу за свое историческое дело? Знаю, *что* и *как* пишу; в своем тихом восторге не думаю ни о современниках, ни о потомстве: я независим и наслаждаюсь только своим трудом, любовию к отечеству и человечеству. Пусть никто не будет читать моей «Истории»: она есть, и довольно для меня... За неимением читателей могу читать себя и бормотать сердцу, *где* и *что* хорошо. Мне остается просить бога единственно о здоровье милых и насущном хлебе до той минуты,

Как лебедь на водах Меандра,
Пропев, умолкнет навсегда [1].

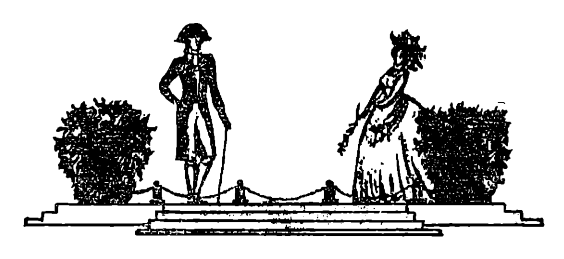
Чтобы чувствовать всю сладость жизни, надобно любить и смерть, как сладкое успокоение в объятиях отца. В мои веселые, светлые часы я всегда бываю ласков к мысли о смерти, мало заботясь о бессмертии авторском, хотя и посвятил здесь способности ума авторству.— Так пишут к друзьям из уединения...».

1826 г. Января 10 дня.



---

[1] Первый стих из оды Хераскова.



Письма

П. П. и И. П. БЕКЕТОВЫМ

Петербург. 26 декабря <1787 г.>

Любезные братцы Платон Петрович и Иван Петрович. Здравствуйте, поздравляю вас со вчерашним праздником; ваша участь день от дня для меня завиднее. Будучи по несчастию поэт, я всякий день летаю воображением около вас и вижу, с каким свежим румянцем просыпаетесь вы около одиннадцатого часа, с какою живостию каждый с своей постели пересыпает друг к другу невинные шутки, сопровождаемые дружбой и смехом, пьете не торопясь чай или кофе, принимаетесь за свои упражнения, садитесь за жирный стол, а вечером играете в карты, ворожите, льете олово, резвитесь. Как же я живу? Езжу, сплю и езжу, а теперь вдобавок и без шеи: на левой стороне опухоль, так что не могу сегодня и во дворец ехать. Вчера вечером сидел при примерке на ногу шпор нового, отставленного с мундиром, баталионного командира, Николая Дирина, который того же дня обрадован был нечаянным приездом своего родителя. Как он счастлив; а я, может быть, с моими никогда уже не увижусь! Отец мне полюбился, а особливо его парик; представьте себе — выткан из одного гаруса в три ряда, по краям пукольками, точно колпак. Если б мне удалось переехать к вам, то непременно бы такой же себе сделал; но полно. Поцелуйте у тетушки ручку и поздравьте от меня с праздником. Брат Петр Петрович вчера был у меня; он, слава богу, здоров. Простите. Верный ваш брат и друг Иван Дмитриев.

П. П. БЕКЕТОВУ

Петербург. 25 ноября 1798 г.

Благодарю тебя, любезнейший мой братец Платон Петрович, за твое поздравление; уверен, что оно от сердца; благодарю равно и за книгу. Итак, и я превосходительный! Et moi, je suis peintre aussi! [1] Но это титло возвратит ли мне брата, которого кончина никак из мыслей моих не выходит? Успокоит ли мое сердце, возмущаемое непрестанным размышлением о последствиях сего удара? И меньше ли, наконец, я озабочен и бедностию? Поверишь ли, что принужден закладывать вещи, чтоб только как-нибудь протянуть до трети? Иногда занимаю по 5 и 10 руб. на содержание людей и лошадей, т. е. для удовлетворения уже не прихотям, но самым необходимым потребностям; а между тем старею, дряхлею и не вижу другой перспективы, кроме совершенной старости посреди нищеты, долгов и одиночества, а далее... придет, может быть, умереть так, что никто не услышит и последнего моего вздоха. Мне уже и досадно, что я разгрустился и наведу, конечно, и на тебя грусть; однако ж не думай, что я стал меланхоликом во всей форме. Нет, мой друг, характер не переменяется, равномерно и мой, как его несчастия ни коробят: я грущу только, когда один, по утрам и вечерам; а в собраниях, разумею с приятелями, по-прежнему смеюсь и болтаю; бываю в театре, на балах и везде показываю вид человека, по крайней мере, в бархатном кафтане. Прости, любезный милый мой друг, тысячу раз тебя целую. Преданный брат Иван Дмитриев.

Д. И. ЯЗЫКОВУ

Москва. Декабрь 1803 г.

Милостивый государь мой Дмитрий Иванович. Письмо ваше и при нем третий нумер журнала я имел удовольствие получить и спешу за то и другое изъявить вам благодарность мою. Но долго ли вам потчевать меня гостинцами? Вы меня избалуете, мне, право, со-

---

[1] И я, я тоже живописец! *(фр.)*

вестно. Я хочу подписаться на «Петербургский журнал», «Вестник», также и на ваше «Периодическое издание»; но как я не знаю, сколько за последнее вносят денег, то прошу вас сделать мне одолжение уведомить о цене его и позволить мне прислать их на ваше имя. Недавно я прочитал «Рассуждение о старом и новом российском слоге». Не грех ли вам, петербургским, нападать на наших московских? Право, нам еще рано браниться. Но мне грустно далее о том говорить, лучше поздравляю вас с переменою чина; дай бог, чтобы я чаще имел это удовольствие! А между тем прошу вас быть уверенным в душевном почтении, с которым есть и навсегда к вам пребудет покорнейший ваш слуга Иван Дмитриев.

Д. И. ЯЗЫКОВУ

Москва. Декабрь 1804 г.

Чувствительно благодарю вас, милостивый государь Дмитрий Иванович, за доставление мне Лингетовой «Истории»; она хотя и без конца, но я очень рад, что ее имею; теперь прошу вас уведомить, сколько прислать за нее денег. Кто издает «Северного Меркурия»? Боже мой! сколько журналов! а борзых все еще мало. Но пусть пишут, я, право, рад, что у нас расписались. Простите, любезный Дмитрий Иванович, и любите искренно почитающего вас покорного слугу Ивана Дмитриева.

Д. И. ЯЗЫКОВУ <*Отрывок*>

Москва. 9 февраля 1805 г.

Милостивый государь мой Дмитрий Иванович. Чувствительно благодарю вас за приятное письмо ваше и сообщение журнала, который, однако ж, я обратно к вам препровождаю. Не удивитесь этому, вот причина: денег у меня мало, а журналов много и у вас, и в Москве, и даже в Калуге; по привязанности моей к русской словесности, мне захотелось заглядывать в каждый

журнал, и для того записался в английский клуб, где между прочими журналами имею удовольствие пользоваться и вашим. <...>

Д. И. ЯЗЫКОВУ

Москва. Июль 1805 г.

Милостивый государь мой Дмитрий Иванович. Тем с бо́льшим удовольствием получил письмо ваше, что оно утвердило меня в том мнении, которое я всегда имел о вашей деликатности; хотя такого рода критика, каковая помещена в журнале, не может быть чувствительна ни мне, ни Карамзину, но со всем тем не утерпишь, чтоб не сказать слова два о ваших витязях петербургской литературы. Что они сами? Пускай поставят в образец нам собственные произведения и научат писать лучше. И для чего скрывать свое имя? Вероятно, что такие писачки только и слышны будут в журналах. Вероятно, что и журналы с такою разборчивостью скоро прослывут не журналами, а калашнею, в которую сходится всякая сволочь бранить высших себя и тем отмщать за свое ничтожество. Карамзин очень благодарит вас за рукопись, и в доказательство прилагаю при сем его ко мне записку. Простите, будьте здоровы и верьте, что я с истинным почтением моим навсегда имею честь быть вашим покорнейшим слугою Иван Дмитриев.

В. А. ЖУКОВСКОМУ

Москва. 15 ноября 1805 г.

Виноват я перед вами, любезный Василий Андреевич, что так долго не отвечал на письмо ваше. Вы можете легко отгадать, какая к тому была причина: недосуг от безделья, и сверх того я, право, думал, что вы сами скоро приедете. Радуюсь, что вы недаром живете в Белеве и нетерпеливо желаю видеть ваши произведения. Без вас я получил 10 томов «Petite encyclopédie poétique»[1], в которой собраны лучшие стихотворения от поэмы до дистиха. При каждом роде наставление, ко-

[1] Малая поэтическая энциклопедия *(фр.)*.

торое не худо бы вам перевести для вашей христоматии. Антон Антонович хотел купить эту книгу для вас, но опоздал. Что мне сказать о вашем вояже? Если б я умел рисовать, то представил бы юношу, точь-в-точь Василья Андреевича, лежащим на недоконченном фундаменте дома; он одною рукою оперся на лиру, а другою протирает глаза, смотрит на почтовую карету и, зевая, говорит: «Успею!» Это будет надписью под картиною. В ногах несколько проектов для будущих сочинений, план цветнику и песочные часы, перевитые розовою гирляндою. Я говорю часто об вас с милым Тургеневым; он искренно вас любит и не меньше моего желает вашего возвращения. Сколько здесь найдете вы нового, разумею, в нашей словесности. Лирик наш или протодьякон Хвостов беспрестанно кадит Гомеру и Пиндару и печет оду за одою. Друзья просвещения присоединили к трисчисленному своему лику обер-секретаря Сандунова и с первою рыжею книжкою на будущий год пустят гром на русских путешественников и на все, где только встретят слезу и милое. По всему кажется, что не уйти и мне от их перунов, хотя я ни до слез, ни до сладкого не охотник. С другой стороны, князь Шаликов возлагает на надежный свой нос зеленые очки и объявляет себя «Московским зрителем». Жаль, что нет у него помощников. Впрочем, я уверен по крайней мере, что в журнале его не будет варварских пиес, какие в «Северном вестнике», в «Курьере» и в других. А любезный наш Карамзин терпеливо сносит жужжание вкруг себя шершней и продолжает свою «Историю». Он уже дошел до Владимира. Вот вам все здешние новости! Грудь моя не дозволяет мне больше писать; итак, оканчиваю стариною, что искренно люблю вас и желаю вам совершенного благополучия. Прощайте, до свидания!..

Д. И. ЯЗЫКОВУ

Москва. 10 января 1806 г.

Милостивый государь мой Дмитрий Иванович. Чувствительно благодаря вас за письмо и список, прошу вас принять поздравление мое с наступившим годом, с искренним желанием вам возможного в продолжение

оного благополучия. Очень любопытно видеть, каков-то будет бывый «Вестник» по своем возрождении под новым именем? Шаликова журнал «Зритель» пошел неудачно. Он хотел во второй книжке поместить свою рецензию на некоторые уродливости графа Хвостова; цензоры наши университетские пропустили; Хвостов о том стал их стращать, что с глупости никогда пошлин не брали; они поверили и, взяв назад Шаликова тетрадку, написали на ней, что «хотя в ней нет ничего противного уставу о цензуре, однако ж, думаем, что напечатать ее не можно!» Почему же не можно, когда сами говорят, что законы цензуры тому не противятся? Между тем Хвостова притчу на меня «Барыня и ткачи» пропустили. Может быть, кн. Шаликов будет писать к попечителю университета. Если вы знакомы с Михайлом Никитичем Муравьевым, то не можете ли употребить ваше предстательство за бедного журналиста? Право, не много чести университету, если он будет запрещать критиковать тех, которые не имеют не только таланта, но даже здравого рассудка. Свидетельствуют то последние две оды Хвостова «На победу» и «Зима», напечатанные в декабре «Друга просвещения»; желал бы я, чтобы вы прочитали ее. Этот поступок совсем новый в истории нашей словесности. Всякий подумает, что университет уважает не таланты, а графство. Державин великий поэт, но и на него писали критические замечания и печатали в «Собеседнике любителей российского слова». И что же после того будет в ободрение тем, которые не похожи на урода Хвостова, которого произведения, конечно, делают стыд нашей словесности. Я разгорячился, но, право, оттого, что люблю пользу и славу земляков моих. Простите, любезный Дмитрий Иванович, будьте здоровы, счастливы и продолжайте любить почитателя вашего Дмитриева.

Д. И. ЯЗЫКОВУ

Москва. Январь 1806 г.

Милостивый государь мой Дмитрий Иванович. Я уже предупредил вас о странном поступке университетского цензурного комитета против кн. Шаликова. Теперь дело решилось: комитет возвратил ему критику на сочи-

нения Хвостова с запрещением печатать ее и с своими на нее замечаниями. Какие же они? Например, где у кн. Шаликова сказано: «В этом стихе нет смысла», там профессоры написали на поле: «*Неучтиво*», где критик сказал: «Этот стих дурен», там они поставили: «*Оскорбительно*», и так далее. Он на сей почте посылает эту критику с замечаниями к Михайле Никитичу Муравьеву. Что ж значит теперь устав цензуры и самый департамент просвещения, если, вопреки видов правительства, критика будет стесняема, и что еще хуже, критика на дурных только сочинителей потому только, что они пятого класса и в ленте; если эти пачкуны, напротив того, будут еще ободряемы, ибо я слышал, что приказано будет в ученых «Московских ведомостях» расхвалить Пиндаров перевод, который нельзя бы похвалить и во времена Тредьяковского? Что мне лестного, наконец, быть членом академии, университета, когда всякий пачкун может быть моим сотоварищем! Недавно одного из них глупое рифмосплетение читали даже на кафедре университетской. Я не вытерпел и сделал мои замечания, равно как и на другую оду его, помещенную в «Друге просвещения»; для любопытства при сем к вам посылаю. Увидите сами, стоит ли такой человек явного покровительства университета. Сделайте дружбу, Дмитрий Иванович, постарайтесь в пользу кн. Шаликова, а ежели нельзя уже напечатать критику его в Москве, так уведомьте меня; нельзя ли по крайней мере напечатать ее в петербургских журналах? Неужели у вас позволено щелкать только нас, бедных? Простите, будьте здоровы и продолжайте любить искреннего вашего почитателя и покорнейшего слугу Ивана Дмитриева.

А. И. ТУРГЕНЕВУ

Москва. Конец апреля — начало мая 1806 г.

Любезный Александр Иванович. Без сомнения, вы уже видели строгую рецензию великого Каченовского на мои безделки. Что теперь вы скажете о связях, надеждах, любомудрии и счастии сынов человеческих? Давно ли этот муж дедиковал мне свои переводы? Давно ли признавал меня достойным своего одобрения?

А теперь вознес на меня грозный бич критики и желал бы в один миг уничтожить бедную мою славишку. Этого еще мало: хотел бы даже больно угрызть меня; вы это сами приметите. Я нимало не огорчаюсь тем, что он замечает мои погрешности в слоге, в языке, в приличности и проч. Это взаимность: я и сам, хотя не печатаю, но один на один говаривал ему, что нельзя писать, как он пишет, «заложить» вместо *завести* фабрику, *ехать* на корабле и пр., что не должно в русском журнале нападать на галлицизмы малоросийзмами. Замечать погрешности в сочинении, еще повторю, не только позволительно, но и полезно, и добросовестный писатель никогда не должен сердиться в таком случае на добросовестного своего критика. Но к чему вводить в критику личности, как, например, о спеси сенаторской? К чему посторонние, злые намерения? Если все таким образом будут журналисты наши писать, то наш литературный журнал будет не иное что, как котомка, висящая на Пасквиновой статуе. Это все я говорю между нами: лишась по несчастию способа изъясняться с милым Иваном Петровичем (в рассуждении языка его), мне отрадно по крайней мере вместо него говорить хотя с милым сыном его. Господину же критику отвечать не намерен. Пусть он остается в сладкой уверенности, что властен управлять вкусом публики и раздавать свои венцы или отнимать их, когда захочет. Я уже давно уволен с Парнаса: топчи он сколько хочет мою книгу, лишь не мни подсолнечника в огороде моем. Право, я говорю это от всего доброго сердца с такою же искренностию, с какою любил и всегда будет любить вас покорнейший слуга Иван Дмитриев.

А. И. ТУРГЕНЕВУ

Москва. 18 мая 1806 г.

Милостивый государь мой Александр Иванович. Вы дивитесь, что господин магистр Каченовский переменил ко мне свое высокоблаговоление. Чему дивиться? Он узнал меня короче, узнал более мои недостатки и уверился, наконец, что в русской литературе два только светила: он со стороны вкуса, а Мерзляков в поэзии. Но тонкий вкус его не уважает даже и в Мерзлякове

лирического таланта, а восхищается от его элегических выражений: «горемышно, ретиво сердце», «кто размыкает мою тоску», «горючи слезы глаза выплакали», «преточили стену каменну», и проч. К тому же он запасся творениями наших знаменитых поэтов Державина и Хераскова; к тому же он уверен, что мне защищать себя неприлично, а другие за меня не вступятся: всяк стоит за себя только.

Правда, я не следовал сему правилу, пиша «Орел и Змея», «Осел и Кабан» и другие подобные пиесы. Но, может быть, поступок мой отнесут более к моей простоте и неосторожности.

Иные хотят уверить меня, будто и Мерзляков участвовал в этой критике; я и сам подозреваю тираду о характере горациевых сочинений быть его произведением, ибо слог этой тирады совершенно отличен от слога всей критики. Впрочем, я не досадую на него, если он и внушил Каченовского: он друг ему, а мне ничего. Теперь остается мне ожидать заключительного проклятия от петербургских журналистов и потом отдать пальму, посвятить себя служению одной Фемиде и забыть навсегда милую двадцатилетнюю привычку к стихокроплению и лестное ободрение публики. Вот какие чудеса может настроить один магистр!

Плюгавый выползок из гузна Дефонтена!

Но я слишком предался горячности оскорбленного поэта; важность судьи полагает предел ей, а сердце велит вас обнять и уверить в искреннем почтении к вам покорнейшего слуги. Дмитриев.

Любезному Дмитрию Николаевичу скажите искренне мое почтение и благодарность.

А. Х. ВОСТОКОВУ

Москва. 23 декабря 1806 г.

Милостивый государь мой. Спешу изъявить вам искреннюю благодарность мою за честь, сделанную мне и письмом вашим и подарком. Я уже полюбил вас по трем или четырем пиесам, напечатанным во второй книжке «Свитка Муз»; с того времени сочинений ваших

прибавилось, следственно, и любовь моя к вам должна прибавиться. Ода ваша «К фантазии» и «Царство очарований» исполнены прекрасными местами и носят совершенно печать очаровательной поэзии. Перевод Руссовой кантаты и вольтеровой сказки доказывают, что вы умеете чувствовать красоту и в других родах поэзии и владеть языком стихотворным. Вы предупредили мое желание, показав нам опыты с разных размеров греческих и римских. Мне давно хотелось, чтобы поэты наши пели не одним только ямбом и хореем: чем более перемен в музыке, тем более удовольствия для слушателя. Все показанные вами размеры приятны и в нашей поэзии, кроме горацианского, употребленного вами в пьесе «К Борею». По крайней мере он не так полюбился мне, как прочие. Вот, милостивый государь мой, все, что хотелось мне сказать на первый случай. Теперь позвольте мне кончить препоручением себя в дальнейшее ваше знакомство и уверением в нелестном почитании, с коим навсегда имеет честь пребыть ваш, милостивого государя моего, покорный слуга Иван Дмитриев.

А. И. ТУРГЕНЕВУ <Отрывок>

Москва. 24 октября 1809 г.

<...>Итак, ваши невские поэты наперерыв стремятся к храму бессмертия! Сколько явилось трагиков, и все незнакомцы! Какое отважное предприятие! Бывало, я дивился, как можно, подобно великому Роде, писать сам-пят, или сам-шест водевили, а наши земляки с такою же легкостию научились писать и самые трагедии! Не презирайте, однако ж, и наших стихотворцев. Алексей Пушкин перевел в одно лето «Федру» и «Тартюфа», а Кокошкин доканчивает «Мизантропа». Но лирики наши молчат; вероятно, Пегас еще не отдохнул от вашего витязя. Жадничаю читать оду его. Для меня нет посредственности: давай мне или самое прекрасное или самую пакость, и в последнем случае этот рифмач всегда меня интересует. Вы обрадовали меня, что и при последнем мире будет нам доля. У нас уже давно вся публика в ожидании торжеств и праздников, а между тем забавляется вашими актерами и дансиорами. Жорж будет

в первый раз играть в следующую пятницу. Вот все наши новости. Оканчиваю стариною, что я душевно вас люблю и с совершенным почтением пребуду к вам навсегда покорнейшим слугою Иван Дмитриев.

Д. Н. БЛУДОВУ

Петербург. 16 июля 1813 г.

Милостивый государь мой Дмитрий Николаевич. Чувствительно благодарен вам за дружеское ваше письмо и доставление мне политических произведений. Может быть, италианский журнал сделает чудо, какого и Тасс не произвел надо мною: что я для него выучусь по-италиански. Теперь же мне и досугу будет довольно, ибо я отпущен на 4 месяца в отпуск. И скоро надеюсь отправиться в Москву, где буду жить в доме канцлера.

Парнас наш, пользуясь перемирием, отдыхает. Орел нашей Поэзии от бранного шума направил полет свой к Киевским святым пещерам, которых вид, вероятно, пособит ему подарить нас вместо громкого чем-нибудь умилительным; Сокол почивает на лаврах, занимаясь мимоходом поправками и вторичным изданием De l'art poétique[1], но кажется, что он собирается с силами, чтобы внезапу возгреметь надгробную песнь Смоленскому, коль скоро смолкнут над прахом его прочие птицы.

Нетерпеливо желаю дождаться приятного свидания с вами; между тем, свидетельствуя вам и милостивой государыне Анне Андреевне душевное мое почтение, навсегда имею честь быть ваш, милостивого государя моего покорнейший слуга Иван Дмитриев.

А. И. ТУРГЕНЕВУ

Москва. 6 июня 1817 г.

Милостивый государь Александр Иванович. Какой-то петербургский автор Карлевич прислал мне перевод свой сочинения г. Перро: «Об основаниях естественного законодательства» и еще предначертание дневника «Отчелюбца», по объему (системе) собственного гения,

[1] О поэтическом искусстве *(фр.)*.

в котором он обещает утвердить русский язык, очистя его от всего ему несвойственного. Я должен был благодарить его за оказанное мне внимание, но не знаю, ни как его зовут, ни куда надписать. По сей причине решился обратиться к вашей дружбе с покорнейшею моею просьбою, не можете ли вы узнать от Геракова или другого словесника о сем незнаемом рыцаре и доставить ему прилагаемое при сем мое послание, за что буду весьма вам благодарен. Москва наша день от дня более пустеет: все скачут в подмосковные; даже и стихотворцев нигде не видать. Батюшков давно в отлучке; князь Вяземский у вас; Староста уже с месяц в подагре, однако ж посещающим его неутомимо читает переводимую им басню, какую-то «Смоковницу». Хочет подарить ею «Общество любителей словесности», которое готовится праздновать день своего основания. Вероятно, этот день будет кризом его подагры. Подобные случаи всегда облегчали болезнь его. Простите, что праздный человек занял вас на несколько минут сим лепетаньем. Мне совестно было наполнить письмо одним Карлевичем. Будьте здоровы и всегда уверены в душевном к вам почтении вашего превосходительства покорнейшего слуги Ивана Дмитриева.

А. И. ТУРГЕНЕВУ

Москва. 20 июля 1818 г.

Как я благодарен вам, любезный Александр Иванович, за приятные вести. От сердца рад, что Батюшков достиг своего желания. Счастливый климат Италии, конечно, будет иметь благодатное влияние и на талант его. Не меньше участвую и в добром Дашкове: теперь, хотя и будет скучать в карантине, так по крайней мере в шляпе с плюмажем. Северин не выходит у меня из мыслей. Я всегда не надежен был на его здоровье, теперь еще более. Василий Львович давно уже в отлучке. По обыкновению своему, он поехал в Козельск, наведаться о здоровье родной тетки. Платя долг наследника, может быть, уплатит что-нибудь и своим заимодавцам, а собранию любителей словесности новую басенку или преложение псалма.

Московский профессор письмом своим к редактору «Украинского вестника», вероятно, еще более острастит

Антона Антоновича Антонского и утвердит знаменитость свою между пансионерами и чтецами английского клуба. Нет лучше ремесла журналиста: говорит что хочет, бранит, кого хочет, и нет апелляции, потому что журналисты сделали между собой союз, чтоб друг на друга ничего не печатать. Калайдович посылал замечание на одну пьесу К<аченовского>, и «Сын Отечества» не напечатал. О положившем за брата белый шар постараюсь довести до брата; что же касается до черного, я не дивлюсь тому: я помню, что он и за двадцать лет тому не соглашался. Если это не твердый характер, так по крайней мере упрямый норов.

Я писал вам, что с нетерпением буду ждать вашего братца, но он терпеливее меня. Я еще с ним не видался. Утешусь тем, что уверен в вашей ко мне любви, и повторю вам еще искреннюю благодарность мою за Франка. Оба брата чувствительно тронуты вашим благодеянием.

Затем, поручая себя в продолжение лестной для меня вашей дружбы, с душевным почтением пребуду навсегда вашего превосходительства покорнейший слуга Иван Дмитриев.

P. S. Какая революция в нашей словесности! Читали ли вы примечания казанского профессора на превосходный перевод «Науки стихотворства» Хвостова, читали ли и отзыв «Инвалида» о превосходных замечаниях казанского профессора? Уверен, что господин Хвостов через год будет в лаврах.

А. И. ТУРГЕНЕВУ

Москва. 18 сентября 1818 г.

Нет, любезнейший Александр Иванович, я уже не признаю вас Гриммом. Тот не щеголял лаконизмом; свидетельствуют в том несколько толстых томов писем, в которых он говорил о драмах и балах, о Вольтере и об интригах, о сплетнях и политике. Я не требую от вас сведений по последним трем артикулам, но для чего бы не сказать слова три о себе, о вашем братце, о Карамзине и Жуковском, о Калайдовиче и Каченовском, словом, о состоянии нашей словесности, к которой еще не

умерло сердце отставного поэта. Это пени только приятеля, любящего говорить с вами, хотя через письмо. Впрочем, чувствительно благодарю вас и за лаконические ваши строки. Скажите также искреннюю благодарность мою и молодому Пушкину; я и по заочности люблю его, как прекрасный цветок поэзии, который долго не побледнеет. Почтенный дядя его недавно читал мне несколько начальных стихов о том же предмете. Не знаю, что еще выйдет, но он исполнен священным негодованием, зияет молнией и громом говорит. Если вы будете писать к Дмитрию Николаевичу Блудову, убедительно прошу вас уверить его в моей благодарности за «Memoires de l'abbè Georgel»[1] и сказать ему, что я буду еще более обязан, если он пришлет мне и остальные томы.

Душевное почтение вам и братцу. Вашего превосходительства покорнейший слуга Иван Дмитриев.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Москва. 7 октября 1818 г.

Тысячу благодарностей за последнее ваше письмо, любезный князь Петр Андреевич, и за обещание прислать журнал Польского сейма. Я очень желаю иметь его в числе политических книг. По расселении друзей моих и приятелей по разным странам света Москва сделалась для меня совсем чужбиною. Боюсь, чтобы Каченовский и вдосталь не охолодил меня к ней: он решительно посягнул на кроткого историографа, хочет следовать за ним шаг за шагом; ученое войско его без сомнения будет многочисленно, не считая чтецов всяких книжек, которых он легко может склонить также на свою сторону. А историографа берется защищать один только Василий Львович своим бильбоке, яко Давид своею пращею!! Все прочие други и приверженцы прижались с нежностью к своим творениям. Слава и честь бескорыстному, усердному рыцарю!

Шутки в сторону, кто бы из нас за пять лет мог представить себе, что Карамзин будет говорить речь в торжественном собрании Русской Академии, которая

[1] «Воспоминания аббата Жоржеля» *(фр.)*.

так долго не хотела усыновлять его, которой президент так долго и много писал против его. А профессор Московского университета, искавший некогда его знакомства единственно по уважению его таланта, почитавший его образцовым для себя писателем, не клянется быть гонителем славы его, и когда же? В то время, как Франция, Германия обратили внимание свое едва ли не в первый раз к русскому автору! В то время, когда присный Николая Михайловича, возлюбленный сердцу его родственник, благочестивый князь Андрей Петрович начальником университета!!!

Не знаю, известны ли вы, что преосвященный Филарет и Жуковский предложены к избранию в члены Русской Академии. Вчера получил я требование моего согласия — разумеется, что я дал от всего сердца. <...>

А. И. ТУРГЕНЕВУ

Москва. 17 октября 1818 г.

Милостивый государь и любезнейший Александр Иванович. Благодарю вас от всего сердца за дружеское ваше письмо. Спешу вас уведомить, что я исполнил ваше поручение и вследствие того посылаю вам при сем копию с указа Синодальной конторы и еще несколько строк, отрезанных от письма ко мне Николая Ивановича. Вы чувствительно одолжите меня доставлением переписки аббата Галиани. Знав его остроумие, я очень любопытен читать ее. Что же касается до портретов, то мне хотелось только иметь иллюминованные в овальном кругу Руссо и Вольтера, которых у меня нет, то я был бы вам очень благодарен. Работа их не важна, но мне хочется их иметь потому только, чтоб они были под пару Франклину, Лафонтену и пр. Согласен с вами, что эпиграммы, хотя и не дурны, но я от Вяземского привык ожидать бо́льшего; да и сам Вяземский пишет ко мне, что Каченовского надо бить не эпиграммами, а летописями. А я думаю, что можно бы одним письмецом укротить его. Здесь нетерпеливо ждут первую книжку «Вестника», в которой обещают разбирать вступление «Российской истории». Многие распускают слух, будто журналист делает это в угодность министру просвеще-

ния. Я очень понимаю, что министр не может, да и не должен, запрещать рецензии, но не поверю тому, чтоб он захотел позволить журналисту употреблять сарказмы на счет заслуженного и лучшего писателя, которыми наполнено письмо из Лужников. Однако ж это есть, и остается сожалеть об участи наших писателей или о состоянии нашей словесности. Простите, любезный Александр Иванович. Будьте уверены в душевном к вам почтении преданного Ивана Дмитриева.

P. S. Перечитывая письмо, я сам почувствовал, как оно писано нескладно и вяло; словом, совсем не по-авторски; извинюсь только тем, что пишу тотчас после обеда и под шумок гостей моих.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Москва. 23 ноября 1818 г.

Милостивый государь мой князь Петр Андреевич!

Спешу изъявить вашему сиятельству искреннюю благодарность мою за милое ваше письмо и доставление мне книги. Я желал иметь одну реляцию, а получил три; можно ли же не быть довольным старому судье, который уже привык требовать *многих* и *крепких* доводов? К тому же еще и с одой, и с портретом принца с простреленною рукою!

Еще большую приношу благодарность за прекрасные ваши стихи, сообщением которых одолжил меня добрый Тургенев. Без лести скажу вам, что я признаю их одним из лучших ваших произведений: они дышат остроумием и всеми прелестями поэзии. Вы увидите на конце письма, которые стихи особенно мне полюбились.

С нетерпением буду ожидать жалобницы Лас-Казаса, не забывая и прежде прошенной книги. Между тем, избалованный снисхождением вашим, еще покорнейше прошу вас уведомить меня, можно ли в Варшаве купить «Dictionnaire historique, par un Société des gens des Lettres»[1] (помнится, в 13 томах) последнего издания; что он стоит, и можно ли надеяться верно получить его? «Вестник Европы» превосходен, назидателен и русской, а все что-то тянет к иностранной словесности!

---

[1] «Исторический словарь, выпущенный обществом литераторов» *(фр.)*.

Вероятно, вы уже прочитали и тот № «Вестника», в котором даже вспомнили и *палевые сливки:* какая глупая злоба! Карамзин имеет причины молчать, но нельзя не удивляться, что никто за него ни слова; никто говорю, из тех, которые смогли бы и должны были осрамить буйную дерзость. Где же возмездие человеку с талантом за все то, чем он жертвует для пользы и славы отечества. Наша публика еще ребенок: долго ли Каченовскому свихнуть ее, если все будут пред ним безмолвствовать? Как ни скромно вы отзываетесь на счет польской словесности, но, виноват, я думаю, что в Варшаве более бы нашлось защитников Красинского или Нарушевича.

Сколько ни писать, а должно кончить старым припевом: «Когда же мы вас увидим?» Не хочу желать противного вашим пользам и вкусам; но не могу не желать иметь удовольствие скорее обнять вас в Москве. Между тем, с отличным почтением и искреннею приязнию навсегда пребуду вашего сиятельства покорнейший слуга И. Дмитриев.

P. S. Прошу вас поцеловать за меня ручку княгине Веры Федоровны и уверить ее в благодарности моей за семена, равно как и в отличном моем почтении.

Ф. Н. ГЛИНКЕ

Москва. 5 декабря 1818 г.

Милостивый государь мой Федор Николаевич! Я желал бы еще чаще дарить вас своими произведениями, чтоб только получать ваши отдарки. С большим удовольствием читал в другой раз гимн ваш богу: прекрасная и сильная поэзия! не с меньшим и ваш подарок русскому солдату, равно как и биографию графа Милорадовича. Желательно, чтоб вы потрудились издать второй томик подарка и поместили бы в нем несколько характеристических портретов старых и новых наших генералов; несколько военных анекдотов; роспись славнейших сражений. Не худо бы также дать им понятие, хотя самое легкое, об русской истории. Уверяю вас, наконец, что я искренно люблю ваш талант и любуюсь всеми вашими произведениями. А чтоб еще более уверить

вас в моей искренности, то не скрою от вас, что я лучше бы назвал manière de parler *поговоркою*, а не говоркою. Первое всеми принято и с давних лет употребительно. Также не хотел бы, чтоб вы, следуя другим молодым писателям, часто употребляли *вот* и к слову *всех* прибавляли и *каждого*. Я знаю, отчего вошло это в обычай. Молодые люди начали знать манифесты с 812 года. Они в первый раз услышали *всем и каждому* в одном из манифестов и по справедливой доверенности к Александру Семеновичу заключили, что уже нельзя сказать *всех*, чтобы не прибавить и *каждого*. Но надобно знать, что это издавна было формою указов только и манифестов, а более нигде и ни в каком случае так не писали. Вы согласитесь, что весьма бы странно было услышать в комедии женщину, которая говорит любовнику: «Ты дороже мне *всех и каждого*».

Простите мне мою откровенность. Я ничем лучше не могу вас уверить в том отличном почтении, которое навсегда к вам сохранит, милостивый государь мой, покорнейший ваш слуга Иван Дмитриев.

P. S. Мне самому очень чувствительна разлука с Батюшковым. Это бесценный человек и по душе и по таланту.

А. И. ТУРГЕНЕВУ

Москва. 8 декабря 1818 г.

Извините меня, милостивый государь Александр Иванович, что я почтою позднее благодарю вас за дружеское ваше писание. Откладывал до получения Суворова портрета, однако ж и по сие время не получил его. Батюшков второпях позабыл, что обещал мне и портрет Шатобриана. С нетерпением ожидаю от вас речи Карамзина. Любопытен также видеть и обещаемое в «Сыне Отечества», хотя и не знаю автора. Вчера было и у нас торжественное собрание в обществе любословесников; торжественным назвал потому, что чтению предшествовало пение каких-то стихов. Заседание открыто речью Антона Антоновича Прокоповича-Антонского, который по обыкновению своему сказал несколько слов о 1812 годе. Потом заметил, что надо сочинить лучшую грамматику; надобно показать пример эпистолярному и

историческому слогу, которых мы еще не имеем; надобно даже поправить и слог новейших проповедей, обратя его к первым источникам, к слогу древних духовных книг; распространялся о пользе критики и все сии подвиги возлагал на собрание, состоявшееся из Василия Львовича, князь Петра Ивановича, Шатрова, Болдырева, Дружинина, Мерзлякова, Каченовского и пр. За ним профессор Мерзляков читал трактат о пользе словесности и критики; князь Шаликов гимн давно минувшей весне; Василий Львович почти пел о подвигах последнего, следственно любимого, своего детища Печенега и читал чужие стихи; Кокошкин вместо отсутствующего Филимонова оплакивал смерть какой-то Нины. Калайдович разбирал Ломоносова «Вечернее размышление» и наконец чтение заключено было кладбищем, не помню, которого члена.

Чтоб дать вам дальнейшее понятие о новостях московской литературы, выписываю объявление последнего номера наших «Ведомостей»: «Новости русской литературы или собрание сочинений и переводов в стихах и прозе лучших авторов, как-то: Княжнина, князя Кугушева, Вельяминова-Зернова, Львова, Ключарева, Руссова, Соковнина, Воейкова, Грузинцева, Каменева, Смирнова, Колосова, Крюкова, Политковского, Волкова, Глебова, Ишимова, Чебышева, Воронцова, Санти, Яновского, Первова, Кириченко-Остромова, Перольта, Попова, Трунина, Лузанова, Полякова, Экартсгаузена, де-Сент-Ламберта, Шиллера, Коцебу, Каракчиоли и проч. 14 томов, в Университетской типографии. Цена 50 руб.». Счастливые провинциалы! Сколько для них новых знакомцев. Мудрено ли Каченовскому с такою дружиною богатырей сделать страшную оппозицию, которою он в последней книжке грозит старомодным авторам, пользовавшимся добрым мнением публики! Простите и пр.

А. И. ТУРГЕНЕВУ

Москва. 19 мая 1819 г.

Это был для меня счастливый час, любезнейший Александр Иванович, в который вы захотели говорить со мною с большею охотою и откровенностью, и за то благодарность вам от всего сердца. С большим удоволь-

ствием читал я пленительную вашу апологию, но, признаюсь, не могу последовать вашему эгоизму, хотя и свойственному только умному и доброму человеку. Тупой или злой журналист столько же мне противны, сколько глупый судья или наглый буточник, употребляющий во зло алебарду свою. И те и другие могут быть вредны. Следственно авторы с талантами должны, содействуя правительству, каждый по своим силам одних вразумлять, других обуздывать; должны утешать тем, что эта скучная обязанность есть жертва патриотизму.

Нетерпеливо желаю узнать последнее произведение оригинального и истинного поэта Вяземского, которого, конечно, не затмит и молодой Пушкин, хотя бы талант его и достиг до полной зрелости. Между тем, буду очень сожалеть, если предшествовавшее останется под спудом; сожалеть, не об нем, конечно, и не об Вольтере. Я могу соглашаться с Нонотом и в то же время отдавать справедливость гению в том, что произведено им прекрасного и полезного. Сожалеть также и о том, если новая должность Николая Ивановича заставит его отложить издание журнала. Уверьте его в моем почтении.

Как счастлив Батюшков под голубым небом Авзонии! Однако ж не лишайте его сведений о плодах отечественного огорода. Пошлите к нему «Некоторые мысли о сущности басни».

Отечества и дым приятен!

Недавно был я у вашей матушки; она нетерпеливо хочет вас видеть. Поверьте, что вам будет рад и пребывающий к вам с душевным почтением и пр.

А. И. ТУРГЕНЕВУ

Москва. 8 марта 1820 г.

Милостивый государь, любезный Александр Иванович. Миллион благодарностей за ваши два письма и доставление книг от любезного поэта. Надеюсь, что вы не откажетесь одолжить меня доставлением к нему прилагаемого при сем письма, когда вы сами будете писать к нему. Вечная память доброму и честному Вейдемейеру. Предчувствую, что ровесник мой не замешкает прислать

ко мне стихотворный свой плач по сему случаю. Читали ли вы IV номер «Благонамеренного»? Мне кажется, в первой пьесе, под заглавием «Рассказы Лужницкого старца», присланной из Москвы, мечено на Николая Михайловича. Какие скареды! В бессилии своем начали опять перебирать «Московский журнал» и вытаскивать оттуда фразы и речения, примешивая, может быть, и фразы Шаликова и Макарова, Измайлова, и все это, конечно, в угодность Каченовскому!! До чего дойдет наша литература, если вся молодежь, еще зыбкая в своих понятиях, обольстится внушением зоила, которого она уже и так признает своим оракулом; если и вперед ни цензоры не будут пропускать, ни журналисты добровольно печатать никаких возражений против неприкосновенного крохобора? Когда это продолжится, то легко может кончиться тем, что Кутузов признан будет Пиндаром, Хвостов — Вергилием, а Черепанов — Тит Ливием. Случилось ли вам читать в третьем томе его «Древней и новой всеобщей истории» о войне 1812 года? Трудно поверить, чтоб это было писано нынешних времен профессором. Чем нападать на единственного у нас Карамзина, лучше бы исправить своего собрата. Простите, любезный Александр Иванович, если я вам наскучил, а может быть, и смешным кажусь. Чувствую сам, что лучше бы молчать, подражая великодушному Карамзину. Но это выше сил моих: невольно волнуюсь и киплю от всего низкого и несправедливого. С душевным почтением преданный вам Иван Дмитриев.

P. S. Всякую назначенную для пересылки книгу я прошу вас предварительно давать Наталье Яковлевне.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Москва. 16 марта 1820 г.

От всего сердца спешу принести вам, милостивый государь князь Петр Андреевич, чувствительную благодарность мою за прекрасную вашу эпистолу и за вашу ко мне благосклонность, весьма для меня лестную. По моему патриотизму, по моей еще не погасшей любви к изящной словесности и ненависти ко всему плоскому и подлому, мог ли бы я утерпеть, чтоб так долго щадить

господство у нас худого вкуса, покровительствуемого цензурою, невежество многих читателей, верующих всему, что ни скажут Каченовский и Мерзляков? Давно бы я одурачил наших книгопродавцев и покарал составителей сборников, называемых у нас журналами; но, увы! всему есть одна только пора; моя уже прошла, и мне остается одна только надежда на силу истинного таланта, который, вопреки ученых кафедр, восстающих на него журналистов и раболепного стада слушателей и читателей, идет безвредно своим путем и все превозмогает.

В IV книжке «Благонамеренного» напечатаны рассказы Лужницкого старца, в которых выставлены многие фразы из «Московского журнала». Не сладя с «Историей», начали тормошить «Русского путешественника»!! Но мне даже стыдно продолжать о том.

Простите, любезный князь! Верьте искренним чувствам отличного почтения, которые навсегда к вам сохранит преданный вам И. Дмитриев.

А. И. ТУРГЕНЕВУ

Москва. 18 августа 1820 г.

Чувствительно благодарю вас, милостивый государь Александр Иванович, за ваше письмо и доставление приятных стихов В. А. Жуковского и последней строфы Воейкова. Она прекрасна и точь-в-точь, первые же две не стоят и пересылки. Жаль, что он оставил университет, не получа достойного возмездия за перевод «Садов» и «Века Людовика XIV». Он уже одними этими двумя переводами гораздо более заслуживал академических кресел или отличия, чем многие.

Пожелайте Василью Андреевичу от меня счастливого пути и скорейшего к нам возврата. Надеюсь, что он, побывав в отчизне Шиллера, Клейста, а может быть, и Виланда, воспламенит нас обещанной поэмой во вкусе «Оберона».

Ежели Греч будет журнал свой издавать на прежних правилах, то не пособит ему ни Воейков, ни прочие. Одни хорошие стихи, сколько ни напихай их в тетрадку, еще не составят журнала. Журналист не есть дрягиль, чтоб не сказать хуже, который обязан только сваливать

с спины своей в типографию чужие тюки. Он должен и сам мыслить, должен быть патриотом, наблюдателем, литератором, умеющим писать легко и приятно, строгим оценщиком в словесности и беспристрастным посредником в авторских тяжбах, а не деспотом, как Каченовский, который сам бранит и глумит сколько хочет, а возражений не принимает. Досадно, что Вяземский пустился по двум дорогам и сам себе мешает. Вот мой герой! Он один только у нас мог бы выдавать журнал, похожий на европейский. Положение Николая Михайловича и его семейства мешает мне быть свободным. Сделайте одолжение, не откажитесь уведомить меня об нем. Я не пишу к нему потому только, что теперь ему не до моих писем. Доселе я уважал только С. С. Уварова, а теперь, узнав ближе, полюбил его и уважаю вдвое. С теми же чувствами к вам прекращаю мое письмо и пребуду навсегда и пр.

А. И. ТУРГЕНЕВУ

Москва. 19 сентября 1820 г.

Благодарю вас, любезнейший Александр Иванович, за доставление прекрасной речи. В то же время получил и от Северина другой экземпляр. Буду теперь ждать перевода и вздыхать о той книге, которою вы меня подразнили. Она засела у милого Николая Михайловича и, увы, может быть, уже дойдет когда-нибудь до меня, хотя и в той же легкой одежде, но довольно поношенной. Кто поссорил меня с Воейковым, будто я сердит на него, что он расхвалил молодого Пушкина? Не только не думал о том, но еще хвалил его, что он умел выставить удачнее самого автора лучшие стихи из его поэмы. Я не критиковал и прежних образчиков, а только давал вам чувствовать, что по предварительной молве ожидал чего-то большего. Напротив того, в разборе Воейкова с удовольствием увидел два-три места истинно пиитические и в большом роде. Пушкин был поэт еще и до поэмы. Я хотя и инвалид, но еще не лишился чутья к изящному. Как же мне хотеть унижать талант его? Нетерпеливо хочу знать об Николае Михайловиче. Всякий раз болезнь его не на шутку меня пугает. Преданный вам Иван Дмитриев.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. <Отрывок>

Москва. 18 октября 1820 г.

<...> Что скажете вы о нашем «Руслане», о котором так много кричали? Мне кажется, это недоносок пригожего отца и прекрасной матери (музы). Я нахожу в нем очень много блестящей поэзии, легкости в рассказе: но жаль, что часто впадает в *бюрлеск*, и еще больше жаль, что не поставил в эпиграфе известный стих с легкою переменою: «La mère en *défendra* la lecture à sa fille [1]. Без этой предосторожности поэма его с четвертой страницы выпадает из рук доброй матери.

Равно сожалею и о том, что наши журналисты все еще не научатся критиковать учтиво. Воейкова замечания почти все справедливы; но в этом случае и он сравнялся с прочими. Для них все равны: и Пушкин, и Катенин, и Карамзин, и звенигородский городничий Микешин.

А вы пожалейте о наших московских поэтах и приятелях. Князь Шаликов возвратился из уезда больной, и не на шутку. Вскоре потом и Пушкин столкнулся опять с подагрою. Вы можете представить хлопоты Антона Антоновича: на них только и была надежда к первому заседанию словесников.

Придется и кончить сожалением, что не могу сообщить вам лучших вестей. Между тем искренно желаю скорейшего с вами свидания и пребуду навсегда с отличным к вам почтением вашего сиятельства покорнейший слуга Иван Дмитриев <...>

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ <Отрывок>

Москва. 3 февраля 1821 г.

<...> Чувствительнейше благодарю вас, любезнейший мой поэт, за письмо ваше от 17-го минувшего месяца, и винюсь перед вами, что не упредил вас моим письмом. Давно горел желанием писать, но все ожидал,

---

[1] Мать запретит дочери читать ее *(фр.)*.

какое будет последствие вашей эпистолы... Наконец, могу вас уведомить, что эпистолу вашу один Пушкин *всем* и *каждому* в клубе читает, брыжжет и всхлипывает от умиления: другой Пушкин не опробует, вероятно, потому только, что встречает в ней имя, давно ему противное; московский поэт В... того же мнения; а Каченовский напечатал ее в третьей книжке своего сборника и прибавил к ней свои замечания, с которых препровождаю к вам при сем копию.

Что же касается до меня, то вы отгадываете, что я читал ее еще с большим чувством и удовольствием, нежели с каким обыкновенно читаю ваши произведения; отгадаете также и причину тому. От начала до конца ведена прекрасно; полна рассудком и остротою (а не *остротами*, как говорят петербургские авторы) и поэзией. Сожалею только, что не удалось увидеть ее прежде печати: тогда бы я попросил вас сделать самые легкие поправки в трех и четырех стихах, не более. А именно: *под острие тупого жала. Щепетильный — насмешки острые*, etc[1]. Я приметил, что многие, читая сии два стиха, останавливаются и не скоро схватывают мысль вашу. Также убедительно прошу вас, как старый и присяжный рифмач, не пренебрегать исправными (по-технически) *богатыми* рифмами. Кончу тем, что цель вашей эпистолы делает честь вашему благородному сердцу, а исполнение — вашему дарованию. Вчера я писал к Карамзину и шутил на счет сделанного ему сюрприза. Верно, вам не миновать журбы его. Но да постыдятся Батюшков и Жуковский! Они не имели вашей энергии подать *по-авторски* явно свой голос в пользу первого нашего автора: они оробели восстать на его оскорбителя, а не критика,— оробели потому только, чтобы самим не попасть под его критику. А им надлежало поступить иначе: публика наша еще сама на себя не полагается. Смелость *в печати* всегда покоряет ее. Прибавьте к тому, какое направление дает это малодушное молчание, с одной стороны, и наглое оскорбление талантов, с другой, незрелым умам юношества. Какое развращение будет для вкуса, сколько еще прибавится у нас пачкунов в литературе! <...>

---

[1] И так далее (*лат.*).

А. С. ШИШКОВУ

Москва. 22 мая 1821 г.

Милостивый государь Александр Семенович. Я не позабыл поручения, которым ваше превосходительство изволили почтить меня чрез письмо ваше в минувшем годе; молчал же до сего времени потому только, что дожидался окончания перевода вергилиевых «Георгик». Мне хотелось, чтоб первое мое предстательство было за труд не весьма обыкновенный в нашей словесности и достойный, даже по одним усилиям, внимания любословов. Наконец, перевод сей совершен, напечатан, посвящен императорской Российской Академии, и я, по желанию переводчика, имею честь при сем препроводить к вам, милостивый государь; оного два экземпляра: один на имя императорской Академии, другой же для собственной библиотеки вашего превосходительства.

Может быть, угодно будет вам, милостивый государь, получить некоторое сведение о состоянии переводившего? Семен Егорович Раич служит кандидатом при императорском Московском университете и скоро надеется поступить на степень магистра. Он прежде обучался в Орловской семинарии, под руководством родного своего брата преосвященного Филарета, бывшего в оной ректором, а ныне управляющего Калужскою епархией. Приятно мне присовокупить к тому, что сей молодой человек соединяет в себе все качества, которые способны питать и усиливать дарования прямого автора, и не суетен в образе жизни; при основательном просвещении своем, отлично скромен, доволен малым; и главные занятия его досугов состоят в постоянном изучении классических поэтов римских и италианских, которых язык знает он совершенно, и в преподавании детям благородных семейств уроков в русской словесности. Что же касается до самого перевода, я не дозволяю себе сказать о нем ни слова. Он будет сам говорить за себя и с почтительным покорством ожидать от просвещенного судилища своего приговора. Между тем, с совершенным моим почитанием и преданностию имею честь быть, милостивый государь, вашего превосходительства покорнейший слуга Иван Дмитриев.

А. С. ШИШКОВУ

Москва. 26 июля 1821 г.

Милостивый государь Александр Семенович. Я не обманулся в моей надежде: ваше превосходительство отдали всю справедливость таланту г. Раича и не упустили заметить его погрешности. Весьма справедливо ваше негодование на новизны, вводимые новейшими нашими поэтами. Я и сам не могу спокойно встречать в их (исключая одного Батюшкова) даже высокой поэзии такие слова, которые мы в детстве слыхали от старух или сказывальщиков. *Вот, чу, притом, теплится, юркнул,* и проч., стали любимыми словами наших словесников. Поэты-гении заразили даже смиренных прозаистов, даже и самый «Вестник Европы» без предлога *вот* не может дать ни живости, ни силы, ни приятности своему слогу. С нетерпением буду ожидать от вашего превосходительства дальнейших замечаний на перевод «Георгик» и не преминую сообщить их переводчику, дабы он, при втором издании, мог ими воспользоваться к усовершению своего перевода. Между тем с искренним почтением и преданностию имею честь быть, и проч. Иван Дмитриев.

А. Ф. ВОЕЙКОВУ

Москва. 10 января 1823 г.

Милостивый государь мой Александр Федорович. На сих днях имел я удовольствие получить за весь минувший год прибавления к «Инвалиду» без письма, в пакете за печатью департамента Министерства народного просвещения. Вспомня, что я таким же скромным образом получал от вас последнего издания образцовые сочинения, не сомневаюсь, что и теперь вам же подарком сим обязан, почему и спешу принести вам чувствительную благодарность мою за толь милые доказательства вашей ко мне приязни. Искренно желал бы, чтоб Феб хотя на минуту осиял меня в старости лет моих, дабы я мог отплатить вам посильным моим добром; но закон природы велит мне оставаться при одном только желании. По крайней мере могу вас уверить в отличном почтении, с которым навсегда к вам пребуду, милостивый государь мой, вашим покорнейшим слугою Иван Дмитриев.

В. А. ЖУКОВСКОМУ

Москва. 18 февраля 1823 г.

Не знаю, чему я более обрадовался, любезнейший Василий Андреевич, портрету ли Гете, или вашему письму, так давно не получая от вас ни строчки; но искренно уверяю вас, что и портрет и письмо подарили меня прекрасным днем, и я спешу принести вам за них благодарность мою от всего сердца; теперь кстати повторить вам то же чувство и за ваши гравюры видов Павловска. Они, право, для меня драгоценны, и как приятный отдых таланта, и как залог давней нашей приязни. Желательно, чтоб вы не поленились выгравировать и виды вашего альбома. Напрасно, милый поэт, хотите оживить самолюбие в старике, который, право, и в лучшую пору жизни немного думал о своей поэзии. Может быть, я имел некоторый успех в механизме стиха, в живости рассказа; может быть, пользовался в свое время некоторым преимуществом пред водяными стихотворцами, но, истинно, и тогда был недоволен собою, чувствуя сам скудость в глубоких идеях, чувствах и воображении. Не искушайте же моей слабости и оставьте меня дочитывать чужое и легко наслаждаться. Пускай неугомонный Хвостов гуляет на своем пароходе по Ледовитому океану и коптит Аполлона. Что же касается до записок, я часто и сам помышляю о них и в то же время робею. Карамзин давно отчаял меня сочинять в прозе; однако ж, не во гнев его таланту, может быть и примусь за прозу, если удастся мне пожить на просторе в деревне.— Увы! я вспомнил, что Шаховской дописал свои записки в подмосковной, а мне уже за 60 лет, и нет еще начала. Наконец, всею душою обнимает вас искренний ваш почитатель и преданный вам И. Дмитриев.

P. S. Долго ли мне желать и не иметь вашего портрета, который, как сказывал мне А. И. Тургенев, не знаю почему заарестован Уваровым? Убедительно прошу вас, подарите мне.

О. Е. ФРАНКУ

Москва. 13 мая 1824 г.

Любезный Осип Егорович! Сделайте одолжение, потрудитесь справиться у г. Гиппиуса, живущего на Невском проспекте в доме Глазунова над косметическим магазином, не может ли он мне уступить по выбору из его тетрадей несколько портретов по записке, которую при сем прилагаю.

Знаю, что он не согласится разбивать свои тетради; но у него, верно, есть много лишних против числа сускрибентов; и в том предположении я и решился обратиться к вам и к нему с прихотливою моей просьбою.

Если будет удача, то прошу о том уведомить, тогда я пришлю к вам за них и деньги, коих причитается 25 р.

В случае же неудачи нельзя ли постараться уговорить его к уступке хотя двух портретов: 1) Карамзина и 2) Шишкова.

За тем с почтением и привязанностью к вам навсегда пребуду вашим покорным слугою Иван Дмитриев.

P. S. Еще прошу вас доставить отправленную при сем к вам посылку издателю «Полярной Звезды» гвардии драгунского полка поручику или штабс-капитану Александру Александровичу Бестужеву. Она уже давно послана была в Петербург, но на сих днях возвращена ко мне из тамошнего почтамта, будто за неотысканием его квартиры. Вы можете узнать об ней от Александра Ивановича Тургенева. Если же он не находится в Петербурге, то прошу вас отдать посылку товарищу его (по «Полярной Звезде») Рылееву, ибо в посылке находится и на его долю книга. Причем прошу вас объяснить им и причину, почему она так поздно до них доходит.

Портреты работы г. Гиппиуса, коих желал бы иметь:

1. И. А. Крылов.
2. М. М. Сперанский.
3. Граф Каподистриа.
4. Шишков А. С.
5. Карамзин Н. М.

В. В. ИЗМАЙЛОВУ

Москва. 7 августа 1825 г.

Милостивый государь мой Владимир Васильевич. Чувствительно благодарю вас за милое и обязательное ваше писание. Оно доставило мне удовольствие на минуту будто с вами беседовать.

Карамзин хотя и не хвалится своим здоровьем, жалуясь, что оно мешает ему работать с прежнею деятельностью, однако ж в минувшем месяце посещал Новгородские поселения (вероятно, в угодность государю) и был весьма обласкан их начальником, а потом пировал на Петергофском празднике. Я не премину порадовать его дружеским вашим воспоминанием.

Насчет первых двух томов записок г-жи Жанли я совершенно с вами согласен. Вчера получил я из Петербурга еще две части; кажется, и в них та же болтовня о мелочах; но я надеюсь, что последние четыре будут занимательны.

Здешние французские книгопродавцы в большом унынии. Петербургская цензура стала еще строжее. Не пропущает ни Вольтера, ни Прада, ни Байрона, ни Аннюра политического, ниже известного вам романа «Дон Алонзо»,— но между тем, к удивлению моему, пропущено новое издание Белева словаря, в 8-ю долю, в 14 томах.

О нашей словесности и говорить нечего. Так много скопилось у нас гениев, что они от тесноты почти задохлись и чуть шевелятся, а прочие фолликюлеры друг друга бранят или хвалят. На сих днях Московский университет получил нового попечителя в особе А. А. Писарева.

Наконец скажу вам о себе, что я в июне побывал в отчизне. Три части записок моих кончены. Первая уже и переписана набело. Теперь занимаюсь примечаниями ко всем частям.

Надеюсь, что и вы, почтенный В. В., отплатите мне вашею откровенностью: я нетерпеливо желал бы видеть плоды и ваших занятий. Если вы между прочим написали или напишете стихами или прозою в роде мелких произведений, то прошу вас сообщить ко мне и позволить отдавать их в «Телеграф». Издатель этого журнала хотя еще и не наторел в слоге, но умнее других и при-

ближается более к европейскому журналисту. Бодрствуйте и любите искренного и преданного вам почитателя Ивана Дмитриева.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Москва. 5 июля 1826 г.

Не укоряю вас, любезнейший князь Петр Андреевич, за слезы, пролитые мною при чтении вашей приписки: я чувствовал в них какую-то отраду. Вы не ошиблись. Здесь, конечно, нет ни одного, кого бы я мог назвать своим сочувственником в отношении к моей потере. Узнав о ней, я и не ожидал получить от вас скоро письма. До того ли вам было? Поцелуйте за меня ручку Катерине Андреевне и уверьте, что я всем сердцем благодарю ее за обязательный ответ, вторичным же письмом, и так скоро, совещусь растравлять ее горести. Поклонитесь и милым двум дочерям ее. По чувству моему к покойнику, право, и я им всем родной. В другое время опечалил бы меня назначенный вами срок возвращения, а теперь, напротив, сам желаю, чтобы вы сколько можно долее пробыли с ними.

Кончина примиряет со всеми: даже и Каченовский напечатал в своем «Вестнике» переведенную им статью из «Journal de St-Petersbourg». Писарев же (попечитель) везде отыскивает бюст, в намерении поставить его в зале Исторического Общества, а Иванчину-Писареву заказал сочинить похвальное слово. Оно уже у меня, но я не совсем доволен. Он же написал и эпитафию:

Сограждан слава, мудрых честь,
Бессмертный в подвигах писателя, витии,
Успел отчизне ты великий дар принесть.
Покойся, окроплен слезами всей России!

Один только вы, любезнейший князь, можете принести достойную дань милому и незабвенному Карамзину. Несмотря на ваше предварение в письме к Жихареву, Полевой не удостоил меня своей доверенности.

Скажу, наконец, о себе, что я очень хилею: нервические припадки усиливаются. К прежним печалям наступили еще новые: экономка моя, служившая мне с лишком 25 лет с редким бескорыстием и усердием, при смер-

ти. Не стыжусь признаться, что разлука и с нею нелегка для меня будет. Сколько испытаний в толь короткое время, и в каком положении! Когда только и отрады надежда, что друг или испытанный приверженец смежит глаза и похоронит. Каково же, когда нет ни того, ни другого! Полно. Заочно обнимает вас любящий всею душою И. Дмитриев.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Москва. 6 ноября 1830 г.

Письмо ваше, любезнейший князь, я имел удовольствие получить на другой день после того, как посылал в ваш дом наведаться об вас и вашем местопребывании. Итак, мы вспомнили друг друга в одно время! Стало, есть в нас сочувствие, и потому письмо ваше утешило меня вдвое противу всех прежних.

Искренно рад, что у вас благополучно; и у меня в доме, благодарение Промыслу, доселе также. Первые дни или лучше недели посещения холеры были тяжки и для морали, и для физики. Я пытался развлекать себя выездами, куда можно; но везде только и слышал о холере; по улицам встречаешь пасмурные лица с закутанными ртами, иногда же и четвероместную карету с двумя назади или на козлах полицейскими; тощая тройка тащит ее тихим шагом. В клубе отказ обедать и ужинать; комнаты опустели; даже и Айгустова ни однажды не видел; находишь только пять, шесть старожилов в средней комнате, по-старому, за картами.

Это решило меня заточить себя в пределах нашей улицы: дни проводишь дома, где после утреннего отчета Погодина и Маркуса могу несколько часов забывать о холере, слушая рассказы милой К. о Бонапарте и умных головах обоего пола, а вечером у ближайшей соседки, с которой взял слово больше одного раза не упоминать о холере. Впрочем, все по-старому. На прошедшей неделе я от одного отца приглашаем был в крестные отцы, а от другого — быть посаженым.

Но перейдем лучше к вашим кабинетским занятиям. Да поможет вам добрый и пытливый ваш ум скорее дописать биографию Фонвизина и приняться за историю

нашей словесности. Это, скажу без лести, ваше дело; это было бы не послужной список Новикова и Греча, но полная и обдуманная критическая история. Боюсь только, виноват, романтической ереси. Я сам часто желал, чтобы кто из наших образованных и беспристрастных авторов сделал выбор из старых наших прозаиков и поэтов в хронологическом порядке, начиная от Кантемира до Карамзина. В этой работе не отказался бы и я быть вашим помощником.

Как живой покойник боюсь взять вашу сторону в пользу моих учителей: однако ж, вспомня тогдашние способы к просвещению и вместе постоянство и разнообразие в важных занятиях Ломоносова, трудолюбие Тредьяковского, игривое воображение Сумарокова, Майкова и Богдановича, благородные и постоянные усилия Хераскова,— поневоле почтешь их великанами в сравнении с нынешними поэтами и прозаиками, для которых и один томик всякой всячины — Атлантово бремя.

Я разделяю словесность нашу на 4 периода. 1-й начинается от Кантемира, характер его: усилия приблизить книжный язык старинный к новому светскому; 2-й — от Ломоносова: то же стремление в начале, а с половины периода колебание в выборе слога, ложное понятие о высоком слоге, но вообще постоянное трудолюбие, старание следовать правилам изящного вкуса, изобилие в оригинальных сочинениях и любовь к переводам иностранных отличных сочинений; 3-й — от Карамзина: счастливое усовершение языка, лучшие формы, строгая точность в словах и мыслях, ясность в изложении оных и благозвучие в слоге; 4-му, настоящему, нет имени: это анархия, рабское обезьянство новизнам иностранным, холопской язык, мечтание о мечтательности или бессильное стремление производить в читателях судороги, отрицание принятых правил и вкуса и наглое презрение к предшествовавшим авторам, исключая графа Хвостова, которого «Петербургский Меркурий» недавно назвал северным соловьем, сравнил его с германскою певицею. Этот период я очень живо представляю в лице Полевого, или Ушакова, или Х., которой достоверное изображение увидите в прилагаемой при сем книжке.

От Дашкова нет никаких слухов; вероятно, он задержан в Рязани или сидит в карантине. От Карамзиных получил только два письма из Петербурга. Жаль,

что не удалось мне увидеться с ними. Когда-то увижусь даже и с вами? Неизвестность еще более страшна для семидесятилетнего. В надежде на авось прошу вас сказать мое почтение княгине и быть уверенным в сердечном к вам почтении и привязанности. Сии чувства сохранит до последнего вздоха преданный вам И. Дмитриев <...>

А. С. ПУШКИНУ

Москва. 3 января 1831 г.

С душевною благодарностию принимаю ваш драгоценный подарок, милостивый государь Александр Сергеевич, и между тем нетерпеливо буду ждать минуты, в которую могу повторить вам лично мою благодарность и пожелать вам возможного благополучия на всю жизнь вашу. Обнимает вас преданный вам Дмитриев старый.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Москва. 13 января 1831 г.

Очень охотно посылаю вам при сем, любезнейший князь Петр Андреевич, «Телескоп», «Молву», и 2 № «Дамского журнала». «Литературной газеты» не послал, в уверенности, что вы ее прежде меня получили. Я уже четвертый день в жестокой простуде: вчера весь день икал; не знаю, что́ сегодня будет со мною. Молодым людям можно временить и отсрочивать, а мне не мудрено и очень сродно желать скорее увидеться с теми, кои по сердцу. День мой — век мой. Недавно получил от милой княгини Мещерской письмо, а от Катерины Андреевны с ноября ни строчки: боюсь, не досадует ли на меня за отказ писать стихи на день ее рождения! Куда мне гоняться за романтиками и собирать *сор душевных впечатлений* и *мусор ветреной молвы*, как собирал некогда великий Шевырев в альбом его богини.

Признаюсь, что из всех наших романтиков уважаю и люблю и ум, и талант, и сердце Пушкина и князя Вяземского. Это говорит, право, сердце, еще не простывшее к изящному, несмотря на 70 лет и вчерашнюю икоту.

Вчера была у меня дочь покойного Измайлова и вверила мне все рукописи отцовские. Надеюсь найти в них много достойного для помещения в журналах. Пора кончить. Итак, до свиданья. Заочно вас обнимает преданный вам и умом, и сердцем И. Дмитриев.

P. S. Хорошо было бы, любезнейший князь, если бы в «Литературной газете» поразговорились об наших просвещенных печатальщиках или издателях и в укор им дали знать, что ни один из московских ни за что не хотел взять оставшиеся сочинения Измайлова, отзываясь, что на него нет моды. Хвала петербургским: там и Хвостов попал в моду, и издатель его уже в 4-й раз говорит об нем в предисловии.

А. С. ПУШКИНУ

Москва. 1 февраля 1832 г.

Милостивый государь Александр Сергеевич. Всем сердцем благодарю вас за альманах и за все прекрасные цветы собственной вашей оранжереи, равно и за песнь «Онегина», хотя я вздохнул, что она *последняя* и герой ваш отложил путешествие свое по любезной отчизне.

Не скажу с «Пчелою», что вы *ожили:* в постоянном вашем здоровье всегда был уверен; изменение только в том, что вы, благодарение Фебу, год от года мужаете и здоровеете. Ваши «Годунов», «Моцарт и Салиери» доказывают нам, что вы не только поэт-Протей, но и сердцеведец, и живописец, и музыкант. До сих пор после Карамзина (в старинных его мелких стихах) один только Пушкин заставляет меня читать *белые* свои стихи и забывать о рифмах.

Но старческая искренность и говорливость заставили меня позабыть и приговор Полевого о нашей братье ветеранах. По крайней мере я еще жив для чутья к изящному. Оно увлекло меня.

Заключаю столь же искренним уверением в совершенном почтении, которое навсегда сохранит, милостивый государь, покорнейший ваш слуга Иван Дмитриев.

P. S. Дозвольте попросить вас сказать мое почтение вашим родителям и любезному Василью Андреевичу.

Я еще прочитал прекрасные стихи его уже в печати с прежним чувством умиления и благодарности за себя и моего друга. Благодарю его также и за новейшую поэзию его в альманахе и «Европейце».

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Москва. 9 апреля 1832 г.

Любезнейший князь Петр Андреевич!

И я мешкал моею перепискою, чтобы не начать ее пустословием; ибо нечего другого и ждать с Патриарших прудов от старика, уклонившегося даже и от Аглинского клуба, вскоре по принятии оным биля реформы.

Теперь же с простертыми руками прижимаю вас к сердцу и приветствую с достижением светлого праздника; искренно желаю вам встретить и проводить его так же весело, как и сырную неделю, но не падать с качели, ниже́ скользить по паркету.

Благодарю вас за сообщение новостей, хотя не совсем новых, и прошу поблагодарить любезного Александра Сергеевича за третий том его стихотворений. Как нарочно случилось, что я за несколько часов до получения оного был очень обрадован прикупкою шести книжек «Онегина», которого сбереглись у меня только две книжки: 1 и 8. Теперь придется прикупить 1-ю и 2-ю стихотворений, ибо я довольствовался первым изданием в одной книжке, не знав о новом. Я не вытерпел прочитать еще раз «Моцарта и Салиери». По этому, говоря модным языком, созданию признаю я и мыслящий ум, и поэтический талант Пушкина в мужественном полном созрении.

Пока не успел писать к ним, усерднейший поклон почтенной Катерине Андреевне, милой Софье Николаевне и всему семейству; также и милому, во всем неизменному, кроме здоровья, и искренно мною любимому Василью Андреевичу; скажите ему, что я всем сердцем желаю, чтобы он был и здоров по-прежнему, и продолжал утешать нас, даже позволяю и пугать своею лирою, на всех тонах целомудренной и благозвучною.

Прошу вас также сообщить мой усердный поклон, приветствия с праздником двум новым министрам и ска-

зать, что я вспрыгнул от радости, узнав о их наименовании, и по влечению сердца хотел бы поздравить их на письме, но посовестился утрудить их ответом.

Окончиваю душевным почтением и нежною приязнию, которую навсегда сохранит преданный вам Дмитриев. <...>

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Москва. 5 января 1833 г.

От всего сердца благодарю вас, любезнейший князь Петр Андреевич, за милое ваше письмо и взаимно приветствую вас с достижением не только нового года, но и нового звания. Оно для царедворца гораздо существеннее и благозвучнее, чем *по разным поручениям.* При первой вести о том, я уже мысленно поздравил высокопочтенного виц-президента, но замешкал исполнением того письменно или письмом, все в ожидании от вас вопросов на счет задуманной биографии.

Итак, благое Провидение судило и мне дожить до нового года. И я, не отставая от Фамусовых и прочих, сподобился встретить его подобающим образом: накануне пошевелился на блистательном бале и в двух маскарадах, дворянском и немецком, а в первый день выехал из дома в смиренном фраке, с благодарным чувством выслушал обедню и умную проповедь в приходской церкви и возвратился восвояси; отправил, куда следует, карточки, заглянул в первый нумер «Московских ведомостей», послушал в них адажио и фугу двух провозвестников новолетия — известных чиновников парнасской внутренней стражи; порадовался за степного помещика дородности нового календаря и полюбовался выпавшими в дар и на мою долю из урны нашей словесности билетом в «Телескоп», вторым томом «Орланда», «Системою преподавания словесности». Обедал же и провел весь день до ночи в трех шагах от дома, у соседки.

Вот вам верный отчет в моем суточном существовании. Остается просить вас засвидетельствовать глубочайшее мое почтение княгине Вере Федоровне и желания мои ей со всем семейством возможного благополучия на многие годы.

Когда вы будете писать к В. А. Жуковскому, то не забудьте уверить его, что я искренно люблю его и уважаю и всем сердцем желаю ему совершенного выздоровления; маленькому же Гримму можете при случае сказать, что я был и есть все тот же; но он сам хотел казаться не тем же. Заглядывал к нам только из благопристойности. Мы, конечно, не Балланши, не Шатобрианы, но все-таки были бы ему паристее, нежели красные девушки, в беседе которых он только и находил удовольствие. Прибавлю еще, что я и теперь люблю его по-прежнему и не перестану желать, чтоб он скорее возвратился и способности свои посвятил на полезную службу отечеству. Насилу досказал — итак, до свиданья с любезным виц-директором.

P. S. «Телеграф» год от году распространяет свое влияние; и всем цензорам, как они сами отзываются, запрещено пропущать на него критики, а ему разрешается и ныне глупить над Карамзиным и его почитателями, с презрением говорить о дворянском сословии и классицизме. Чего же ожидать вперед от нашей словесности? Молодость удобопреклонна. И так уже половина словесников по милости Полевого и семинаристов заговорила языком лабазов. <...>

А. П. ГЛИНКЕ

Москва. 12 марта 1833 г.

Милостивая государыня Авдотья Павловна. С чувствительною благодарностию к вам и Федору Николаевичу возвращаю при сем «Новоселье», которое по некоторым пиесам обмолвкою называют и Пустомелье. Однако ж я с большим удовольствием прочитал «Незнакомку», «Большой выход» и «Воспоминания» Греча. Первые две игривы и замысловаты, а последняя полюбилась мне рассказом и опрятным, благородным, по-нынешнему *чопорным*, аристократическим слогом. То же скажу и о «Бригадире». Проза вообще на сей раз перешибла гениальную поэзию. Хотел бы знать, кто этот барон Брамбеус.

Простите меня, что я вчера взял смелость отвечать вам не письменно, а словесно. Письмо ваше застало ме-

ня за обедом, и я не смел задержать вашего посланца. Очень благодарен Александру Николаевичу за приглашение, а вам за передачу оного. Мне жаль было, что не мог воспользоваться удовольствием быть на его концерте: уже дано было слово г. Солнцеву.

Надеюсь, что завтра почтенная и милая чета Поэтов не позабудет моего чая, в ожидании чего с душевным почтением пребуду к ней преданнейшим слугою И. Дмитриев.

П. П. СВИНЬИНУ

Москва. 11 февраля 1834 г.

Милостивый государь Павел Петрович. Всем сердцем благодарю вас, что вы вспомнили отсутствующего и посреди столичной возни, суматохи и тысячи сует житейских. Не ожидал бы я столь кратковременного сияния воздушного метеора. Услыша о том, конечно, вздохнет ученый редактор «Ученых записок Московского университета». Вот как он отозвался в седьмой книжке ученого журнала о появлении первой огромной книжки, или первого тома «Библиотеки для чтения»: «Вот, поистине, библиотека для чтения поучительного, полезного и занимательного!.. «Библиотека для чтения» может служить образцом правильного, чистого, прекрасного родного языка, а потому она не только заменяет многие иностранные журналы, но и доставляет особенную, важнейшую пользу со стороны отечественного слова». Какую же пользу, увидим из следующего. Вместо благозвучной, сильной и отчетистой прозы Карамзина, за исключением статей господ Греча, Булгарина и еще немногих, большая часть прозаических сочинений и переводов, помещенных в «Библиотеке для чтения», писана вялым, неровным слогом и наполнена пошлыми, неправильными речениями, подслушанными на биваках, на рынках и в лабазах; в доказательство чего приведу здесь несколько слов, которых еще не позабыл. Вместо *пока* — *покамест; надобно* — *надо; дребезжать* — *дребезжется; мелочи* — *мелочности; дурацкий* — *дурачеський* (хотя contes drolatiques [1] — детские и не дурацкие, а вздорные, балагурные), вместо *отрывки* или *обрывки* — *обломки*, чего же? большой, почти истлевшей, эпической поэмы скандина-

[1] Забавные сказки (*фр.*).

вов, как будто эта поэма писана была на стеклянных или мраморных досках! Даже и сочный бифштекс превращен ныне в *сочистый* на новом нашем языке. Прибавим еще к тому часто употребление исковерканного французского слова — *серьезно* и даже *пресерьезно*. И все это ученый редактор журнала, издаваемого первенствующим у нас университетом, стражем и охранителем чистоты русского слова, предлагает ученикам своим в образец изящного! Удивление наше уменьшится, если воспомним, что ныне и у нас много завелось нового и многое не по-старому; если вспомнить, что и петербургский профессор Плаксин в курсе своей русской словесности называет исторический слог Карамзина идиллическим, а корреспондент Академии наук — Полевой уже давно огласил чопорным и пользуется привилегией торжественно карать и миловать ветеранов словесности; что отцы и матери говорят с детьми своими всегда на чужом языке; что даже и кормилицы, русские крестьянки, переняли говорить вместо «режутся зубы»—«делаются зубы»; что русские, напротив того, учителя, студенты и семинаристы приучают малюток, будущих камер-юнкеров и фрейлин, говорить по-площадному, вместо «он или она»—«они», а вместо «их»— «ихный». Мудрено ли же и поляку, пользуясь настоящим ходом нашего воспитания, захотеть лишить нас доверенности к коренным нашим летописям, уверить нашу молодежь, от младенчества порабощенную умом иноземцев, что язык наш происходит от чухонского, что история наша бестолковая сказка, что мы доселе не можем признавать себя иначе, как непомнящими родства. Что же мы? Откуда мы? Это откроется впредь гениальному поколению XIX столетия. Да возрадуются отцы и чады! Поздравляю их с этим счастьем, а я бездетен и уже на шаг от могилы. Хотел бы знать, что думает почтенный Александр Семенович о всех новизнах в нашей словесности? Жаль, что он шевелил некогда Карамзина, вдвое же, что уже отдыхает перо его; теперь-то бы ему и подвизаться. Рад бы служить вам сообщением каких-нибудь подробностей касательно библиотек Вольтера и Дидрота, но, право, никаких не знаю. По мне, гораздо бы полезнее было разобрать и описать рукописи Ломоносова, купленные С. К. Орловым и хранящиеся, вероятно, в Академии или Эрмитаже. Они могли бы пригодиться для его биографии, которой, к стыду нашему,

еще не имеется. Что же касается до вашего Музеума, искренно поздравляю с добрым купцом и советую не упускать его. Столько же благодарю вас и за куплеты. За исключением седьмого, они мне полюбились. Пора кончить. Может быть, я уже вам наскучил; по крайней мере уверьтесь из того, что мне всегда весело и охотно говорить с вами. С искренним почтением к вам и м. г. Надежде Аполлоновне имею честь быть покорнейшим слугою И. Дмитриев.

А. С. ПУШКИНУ

Москва. 4 марта 1835 г.

Милостивый государь Александр Сергеевич. Не хочу верить, чтоб невинная моя шутка в письме к Андрею Николаевичу Карамзину принята была вами за действительную вам укоризну. Это было бы для меня крайне прискорбно. Но хорошо, что я с молодых лет держусь философии Панглоса: *все к лучшему*. Книги вашей еще и теперь не получил, но твердо надеюсь получить ее, а вдобавок к тому еще утешаюсь и тем, что мнимый упрек мой доставил мне удовольствие пробежать несколько строк любезнейшего из наших поэтов, за что от всего сердца благодарю его.

Благодарю также и за добрую весть о моем сверстнике, приятно мне слышать о двойной благостыне его (charité — извините). Что же касается до свежей нашей потери, она весьма, конечно, всем нам чувствительна, но я соглашаюсь с вами и с старинной пословицей: «Святое место не будет пусто».

Почиет Соколов, но бдит еще Языков [1].

И на что лучше его в преемники? Работящ и любознателен, к тому же и к новизнам не падок.

Впрочем, с искренним моим почтением и преданностию имею честь быть, милостивый государь, покорнейшим вашим слугою Иван Дмитриев.

P. S. Если любезные ваши родители в Петербурге, то прошу вас сказать им искреннее мое почтение; то же Катерине Андреевне с ее семьею и В. А. Жуковскому.

---

[1] Прозаик.

В. А. ЖУКОВСКОМУ

Москва. 13 марта 1835 г.

Милостивый государь Василий Андреевич. Сколько я благодарен вам за вашу тетрадку, и как она дошла до меня кстати,— в то самое время, когда я очень огорчен был, что редакции «Ученых записок» воспрещено принимать биографию покойного историографа, будто за приложенные к ней письма, служащего к вечной славе писавшего и того, кто был им удостоен. Но теперь я вами утешен. Читая и перечитывая письмо к Каподистрии и собственные ваши строки, я будто еще смотрел на моего друга, будто с умилением слушал,— минутное обольщение, последуемое грустью и вместе какою-то отрадою! Добрейшая душа! Не мудрено вам так верно постигать и изображать нашего незабвенного: вы сами во многом на него похожи. Заплатя достойную дань своему веку, окажите же вместе с Пушкиным услугу и нашей словесности, как истинные ее представители; не дайте восторжествовать школам Смирдина и Полевого над языком Карамзина. Он, очевидно, теряет свое господство. Большая часть наших писателей, забыв его слог, благозвучный, отчетливый в каждой фразе и каждом слове, украшают вялые и запутанные периоды свои площадными словами *давным-давно, аль, словно, коли, пехотинец, закорузлый, кажись* (вместо *кажется), так как, ответить, виднеется*,— с примесью французских *серьезно* и *наивно*. Такие и подобные слова нахожу я не только в легких, но и в тяжеловесных сочинениях новейшего времени. Радуюсь, что у нас для усовершенствования языка есть Академия и что прибавляются университеты, но значительного влияния их, к сожалению, не примечаю. Скажу еще и более: я даже начитал в одной учебной книге и ученом журнале, что один профессор называет Карамзина слог идиллическим, а другой признает слог Сенковского образцовым в силе, красоте и правильности русского слова. К кому же остается прибегнуть, как не к вам, представителям (еще повторю) нашей словесности! Остановите порчу отечественного языка, если не хотите получить упрека в неумышленном союзе с Францией. Не испугайтесь! Так Франция убила благородный наш язык в домашнем быту высшего сословия. У

кого теперь перенимать его нашим детям? Научатся ли ему у семинаристов, или в лакейской и девичьей? Я, право, иногда боюсь, чтобы мужики наши не заговорили по-французски, а мы *по-ихному*[1]. Да мне уже и удалось подслушать на улице пьяного каменщика, приветствовавшего своего товарища: «бонжур, мусье», а в гостиной крестьянку-кормилицу; она, поднося к ее сиятельству двухлетнюю Додо или Коко (не помню), толкала ее в затылочек и повторяла: «скажи, матушка, мерси, мерси». Даже и детская благодарность к матери должна быть выражаема на чужом языке! Но пора избавить вас от моего многословия. Итак, прощайте, почтенный и любезный Василий Андреевич. Напомните обо мне Катерине Андреевне с ее семейством и Наталье Яковлевне. Искренно желаю и вас и их еще увидеть. Может быть, и увижусь? С сею надеждою и душевным к вам почтением и приязнию пребуду навсегда, милостивый государь, и пр. И. Дмитриев.

А. С. ПУШКИНУ

Москва. 10 апреля 1835 г.

Милостивый государь Александр Сергеевич. Наконец и моя русская библиотека красуется новым плодом любимого нашего автора! Сердечно благодарю вас за приятный гостинец и за ваше хотя и церемонное, но не меньше обязательное надписание.

Сочинение ваше подвергалось и здесь разным толкам, довольно смешным, но никогда дельным: одни дивились, как вы смели напоминать о том, что некогда велено было предать забвению. Нужды нет, что осталась бы прореха в русской истории; другие, и, к сожалению, большая часть лживых романтиков, желали бы, чтоб «История» ваша и в расположении и в слоге изуродована была всеми припасами смирдинской школы и чтобы была гораздо погрузнее. Но полно, ныне настает время не желчи, а ликования.

---

[1] Это выражение употребляется не только в большом свете, но уже найдено мною в двух книгах: в Йориковом коране и в «Путешествии» академика Зуева.

Приветствую вас с продолжающимся праздником, искренно желаю по следам наших предков *всесемейно* провести его благополучно, и между тем с совершенным почтением и преданностию имею честь быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою Иван Дмитриев.

P. S. Кто же секретарь Академии?

А. С. ПУШКИНУ

Москва. 5 мая 1836 г.

Милостивый государь Александр Сергеевич. Знаю по себе всю важность вашей потери и на сей раз могу только сказать: всем сердцем сожалею об вас и об Сергее Львовиче.

Между тем чувствительно благодарю вас за билет на «Современника» и за первую книжку, не смею сказать — *оного*. Но ваше щедролюбие усовещевает мое корыстолюбие и возбудило во мне бесплодное желание и помолодеть и поумнеть наравне с вами или хотя с кн. Вяземским и Языковым, чтоб самому быть достойным вкладчиком в «Современника» и не даром получать его.

Я люблю хвалить авторов в третьем лице, а потому и ограничиваюсь теперь немногими словами: журнал сам расшевелил и освежил меня на целую неделю и заставил позабыть сводных братьев своих.

Знает ли Василий Андреевич, что он на «Ночном смотре» получил одинакое вдохновение с каким-то Зейдлицом? Сообщаю вам перевод и стихов Зейдлица. Он давно уже сделан, но до сих пор лежит в портфеле у переводчика.

Прощайте, любезный Поэт, бодрствуйте духом, украшайте нашу словесность и уговорите Сергея Львовича побывать с вами на вашей и его родине.

В этой надежде, с искренним почтением и преданностию имею честь быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугой И. Дмитриев.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Москва. 18 декабря 1836 г.

Посылаю к вам, любезный князь Петр Андреевич, и последнюю выписку. Предоставляю и ее в полное ваше распоряжение, но только с тем, чтоб не выдавать меня на старости лет моих в случае нападков на меня от смирдистов, если вы заблагорассудите поместить посылку мою в вашем сборнике. По крайней мере в извинение неисправности моего слога можете сказать им, что я не классик, не романтик, ни даже вдохновенный, а просто смиренный самоучка, прогулявший всю молодость свою зевакою в цветниках поэзии. Но поможет ли это мне в оправдание, когда, по словам «Телеграфа» и «Живописнаго обозрения», и Карамзина язык устарел, и проза Жуковского, бесспорно, должна быть поставлена выше Карамзина прозы, как истинное, безыскусственное выражение глубокого чувства, до чего не достигал Карамзин?

К слову о «Телеграфе» сообщу вам литературную заметку о «Молве» в последних, помнится мне, книжках «Телескопа»: издатель ее, некто Белинский, объявляет, что попался ему случайно старинный перевод шекспировой трагедии «Юлий Цезарь» и что он не мог надивиться исправности перевода и уму неизвестного переводчика в книге, напечатанной за 30 лет до нашего гениального времени. В радости же от этой находки сообщает читателям и предисловие переводчика, нимало не подозревая, что этот «Юлий Цезарь» переведен и выдан *Карамзиным* — с коим «Телескоп», как и «Телеграф», не очень симпатизировал — почти в одно время с «Эмилией Галотти», лессинговой трагедией, еще до его путешествия. Но еще более подивимся тому, что и А. Ф. Воейков, давний почитатель Карамзина и неутомимый преследователь двух рыцарей нашего времени, также не знал имени переводчика и его предисловие перепечатал как диковинку в своих «Литературных прибавлениях». Передайте ему эту заметку: авось он объявит имя переводчика «Юлия Цезаря» новому антикарамзинскому поколению.

Я держусь *новизны*, как слова, освященного уже давностями и, вероятно, академическим словарем, а *новиною*, сколько помню я, наши низовые только старухи называли новые холсты, льняные и посконные.

Но мне совестно занимать вас такими пустяками, между тем как давно хочется спросить вас о здоровье Катерины Андреевны и ее семейства. Еще в ноябре поздравил их с двумя именинницами, но с тех пор ничего об них не слышу. Я, право, не привязчив к условиям этикета, а хочу только успокоить себя на счет здоровья Катерины Андреевны и ее семейства.

До свиданья, обнимает вас от всего сердца преданный и любящий вас И. Дмитриев.

P. S. Почтенному Гримму Балланшьичу или Балланшевичу прошу вас передать мой нижайший поклон и сказать ему, что у нас на святках ожидают бал за балом.

В. А. ЖУКОВСКОМУ

Москва. 26 марта 1837 г.

Чувствительно благодарю вас, милостивый государь Василий Андреевич, за обязательное ваше письмо и милый подарок, для меня истинно драгоценный. Это новый залог вашей постоянной ко мне приязни. Миловидной Ундине вашей в праздничном платье, тотчас по свидании с нею, отведено место на круглом столе против старческих кресел, пока совершенно не ознакомлюсь с нею; а восемь томов будут бессмысленно лежать подле меня на других креслах, с тем, чтобы каждое утро за кофейным прибором прочитывать мне из них что-нибудь случайно или по выбору. «Читать, что нравится, а видеть — кто мне милы»... Чего более и чего лучше для 75-летнего тунеядца? Это было бы роскошью и для красных дней моей юности; но тогда, в поэтическую весеннюю пору, я только учился маршировать по влажному полю Волжской деревушки. К чему же это пригодилось? Да к чему и это отступление? Итак, прошу извинить мою старость. Уже лет 10 тому, как я прельщался игривостию ума и воображения даже во французском, прозаическом переводе «Ундины» и очень желал, чтобы кто из наших богатырей подарил нас и русским, но только в стихах, переводом — и вот, наконец, сбылось мое желание, и я (благодарение Фебу и его любимцу) уже читаю в звучных и живописных стихах: «робко Ундина прижалась к

Гульбранду» и остальных до конца пятой главы, или: «город лежал перед ними в лучах восходящего солнца» — слышу, вижу и осязаю, так сказать, поэта вдохновенного. Не доказывает ли это, что я совсем не враг и вашему гекзаметру? В руках мастера всякий метр и легок, и гибок, и благозвучен. Но, виноват, и теперь стою в том, что александрийский стих для меня превосходнее: он столько же удобен к помещению полного смысла, как и гекзаметр; но сверх того преимуществует тем, что как-то свойственнее нашему языку, музыкальнее, и скорее будет затвержен читателями обоего пола. Похож ли на наковальню, по словам «Северной пчелы», столь быстрый и сильный Петрова стих:

Речет: да гибнет враг — и сходит быстра месть!
Да грянет гром — гремит! да будет мир — и есть...

Менее ли гекзаметра полон и силен весь монолог отца Пимена? Читая «Годунова», вспомню ли о рифмах, и нужны ли они Жуковскому и Пушкину?.. Тяжело, а часто будем вспоминать его, любезный Василий Андреевич. Думал ли я дождаться такого с ним катастрофа? Думал ли я пережить его? Поденные Тургенева записки, два письма Вяземского и ваше так врезались и в памяти и в сердце моем, как будто и я был всему самовидец, и на меня же еще было возложено приготовить отца к разразившемуся над ним удару! Но грустно и ныне продолжать о том. Попеняю только вам, что вы позабыли в числе опекунов оставить первое место деду, как ближайшему к сиротам; да, вероятно, не знали и того, что покойник не был отделен, а пользовался только годовым доходом, по отцовскому произволу, с одной из собственных деревень его. Не худо бы это поправить, иначе же и самого старика сочтут под опекой. Он ничего не говорит о том, но другие уже толкуют о том, для чего он отчужден от опекунства. До свидания, почтенный и любезный Василий Андреевич.



И. И. ДМИТРИЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ



П. А. Вяземский

ИЗВЕСТИЕ О ЖИЗНИ И СТИХОТВОРЕНИЯХ И. И. ДМИТРИЕВА <Фрагменты>

<...>В 1791 году Карамзин, возвратившийся в Россию с умом, обогащенным наблюдениями и воспоминаниями, собранными в путешествии по государствам классической образованности европейской, начал издавать «Московский журнал», с коего, не во гнев старозаконникам будь сказано, начинается новое летоисчисление в языке нашем. В сем издании, на мрачных развалинах готических, положено первое основание здания правильного и светлого нашей возрождающейся словесности.

В «Московском журнале» встречаются первые печатные стихотворения нашего поэта, признанные им и вкусом. Многие из них не были после перепечатаны; но любители стихов и наблюдатели постепенного усовершенствования дарований с удовольствием отыскивают некоторые преданные автором забвению, а в других следуют за исправлениями, коими очищал их вкус образующийся и разборчивость строжайшая. В худом писателе и случайные красоты его никому не в пользу; в хорошем и самые погрешности служат предметом наблюдения и учения. «Что меня отличает от Прадона? Слог!» — говорил Расин. А слог, как и телесные силы, зреет и мужает от изощрения и времени.<...>

Авторы-друзья собирались издать свои сочинения в одной книге; обстоятельства не позволили исполнить намерения. Карамзин напечатал свои прежде, под названием «Мои безделки». «Как же мне назвать свою книгу? —

сказал однажды товарищ опоздавший,— разве «И мои безделки»!» Так и сделалось; и в самом деле «Ермак», «Причудница» такие же безделки, как «Наталья, боярская дочь», «Дарования», то есть безделки для таланта, который рассыпает их легкою рукою, и камни преткновения для посредственности бессильной и зависти, тщетно разбивающей о них орудия своей досады. <...> После издания «И моих безделок», вышедшего в Москве в 1795 году, было, сказывают, напечатано и другое, но без ведома автора. Тут, как и в «Московском журнале», находятся стихотворения, исключенные автором из последовавших изданий, но которые хранятся в памяти у литераторов. Игривые стихи «К приятелю с дачи» сверкают веселостию и остроумием французским.

От 1795 до 1818 года разошлось шесть изданий поэта нашего, не считая двух изданий басен, из коих последнее было перепечатано в 1810 году. <...>

Кажется, что вопрос: кого должны мы утвердительно почесть основателями нынешней прозы и настоящего языка стихотворного? давно уже решен большинством голосов. Язык Ломоносова в некотором отношении есть уже мертвый язык. Сумароков подвинул у нас ход и успехи словесности, но не языка. Язык Петрова, Державина, обильный поэтическою смелостию, красотами живописными и быстрыми движениями, не может быть почитаем за язык классический или образцовый. Подражатели их удачного своевольства, остановясь на одной безобразности, не переступят никогда за черту, недосягаемую для посредственности, черту, за коею гений похищает право сбросить с себя ярем докучных условий, его рукою порабощенных и пред ним безмолвствующих. Язык Хераскова и ему подобных отцвел вместе с ними, как наречие скудное, единовременное, не взросшее от корня живого в прошедшем и не пустившее отраслей для будущего. В некоторых из стихов и прозаических творений Фонвизина обнаруживается ум открытый и острый; и хотя он первый, может быть, угадал игривость и гибкость языка, но не оказал вполне авторского дарования: слог его есть слог умного человека, но не писателя изящного. Богданович, в некоторых отрывках «Душеньки» и в других стихах, коих доискиваться должно в бездне стихов обыкновенных, может назваться баловнем счастия, но не питомцем искусства. Мольер говорил о Кор-

неле, что какой-то добрый дух нашептывает ему хорошие стихи его: то же можно сказать и о певце «Душеньки», сожалея, что дух враждебный так часто наговаривал ему на другое ухо — стихи вялые и нестройные. Если и полагать, что нерадивый Хемницер трудился когда-нибудь над усовершенствованием языка, то разве с тем, чтобы домогаться в стихах своих совершенного отсутствия искусства. Но, отвергая предположение невероятное, признаемся, что простота его, иногда пленительная, часто уже слишком обнажена; к тому же он, упражняясь только в одном роде словесности, и не мог решительно действовать на образование языка. Все сии писатели и несколько других, здесь не упомянутых, более или менее обогащали постепенно наш язык новыми оборотами и новыми соображениями и расширяли его пределы; но со всем тем признаться должно, что и посредственнейшие из писателей нынешних (разумеется, и здесь найдутся исключения) пишут не языком Княжнина и Эмина, стоящих гораздо выше многих современников наших, если судить о даровании авторском, а не о превосходстве слога. Фемистокл и Аннибал, конечно, были одарены гением воинским, коего не найдем в каждом из современных наших генералов; но нет сомнения, что в нынешнем усовершенствовании военного искусства каждый из них, при малейшем образовании, пользуется средствами, облегчающими ему успехи, о коих древние полководцы, невзирая на всю обширность своих соображений, и мысли не имели. Строгая справедливость и обдуманная признательность, называя двух основателей нынешнего языка нашего, соединяет еще новыми узами имена, сочетанные уже давно постоянною и примерною дружбою. Отвращение ко всем успехам ума человеческого ополчило и здесь соперников, во имя старины, против Карамзина и Дмитриева, развивающих средства языка, еще недовольно обработанного, и обогащающих сей язык добычею, взятою из его собственных сокровищ. Сие раскрытие, сии применения к нему понятий новых, сии вводимые обороты называли галлицизмами, и, может быть, не без справедливости, если слово *галлицизм* принято в смысле *европеизма*, то есть если принять язык французский за язык, который преимущественнее может быть представителем общей образованности европейской. Согласиться должно, что вкус французской словесности, кото-

рая преимущественно образовала ум и дарования наших двух писателей, заметен в их произведениях; но и то неоспоримо, что, при тогдашнем состоянии нашей литературы, писателям, вызываемым дарованиями отличными из тесного круга торжественных од и прозы ребяческой или высокопарной, в коей по большей части были в обращении одни слова, а не мысли, должно было заимствовать обороты из языков уже созревших и прививать их рукою искусною к своему языку, приемлющему с пользою все то, что только не противится коренному его свойству. Мы могли бы спросить, из которых языков прививки были бы выгоднее для русского языка и свойственнее ли ему *германизмы, англицизмы, италиянизмы*, даже эллинизмы и латинизмы? Но решение сего вопроса не подлежит настоящему рассуждению и не удовольствовало бы ни в каком случае гнева противников, готовых поразить равным проклятием все то, что не заклеймено печатию старины и не освящено правом давности, единственным правом, коему поклоняются умы ленивые и робкие. Не слышим ли ежедневно смертных приговоров, произносимых защитниками здравой словесности, *школьными классиками*, над смелыми покушениями Жуковского, который мастерскою рукою похитил красоты с германской почвы и, пресадив на нашу, укоренил их в русской поэзии? Лучше носиться иногда с Шиллером и Гете в безбрежных областях своенравного воображения, чем пресмыкаться вечно на лощинах посредственности, не отступая, для успокоения совести, от правил условных, коих затруднительное соблюдение может придать лучший блеск творениям изящным, но не в состоянии придать достоинства творению плоскому и бездушному. Наша словесность еще в таком несовершеннолетии, что каждая попытка дарования, будет ли она утверждена или отринута дальнейшим употреблением, неминуемо должна ей и языку обратиться в пользу.

Примечательно и забавно то, что Карамзин и Дмитриев, как великие полководцы, которые, преобразовав искусство военное, кончают тем, что самых врагов своих научают сражаться по системе, ими вновь введенной, научили неприметным образом и противников своих писать с большим или меньшим успехом по-своему.<...>

Наш поэт в разных родах испытывал свои силы, и нам можно жалеть не о том, чтобы он, не советуясь с сво-

им гением, принимался за иное, но о том, что, не советуясь с выгодами читателей, не умножил и еще более не разнообразил своих опытов.— Начнем с лирических творений обозрение его трудов поэтических.

<...>Не подражая рабски и слепо предшественникам своим на поприще лирической поэзии, наш поэт умел себе присвоить род, еще не испытанный ни Ломоносовым, ни Петровым, ни Державиным. Два образца, которые приличнее назвать лирическими поэмами, нежели одами, доказывают, что можно, и не ревнуя в звучности и плавности с отцом нашей поэзии, ни в смелости порывов и выражений с двумя его преемниками, занять место почетное в числе лириков. «Ермак», «Освобождение Москвы», «Глас патриота» исполнены огня поэтического и, что еще лучше, если оно в таком случае не одно и то же, огня любви к отечеству, не сей любви грубой, которая более охлаждает душу читателей, но любви возвышенной, переливающей в других пламень животворный, коим она согревается. Тут лирик, *напрягши ум, наморщивши чело*, не карабкается на ходули восторга, даже и неискусственного, не заменяет плоскости тщедушного своего предмета пухлостию выражений; но возвышается наравне с ним и заимствует свой жар от чувства, которое им овладело. «Ермак» — мрачная и угрюмая картина, в коей поэзия та же живопись; не знаю только, употреблены ли в ней с верностию краски местные и сродные лицам и сцене, на коей они действуют. Драматическое движение, данное сему произведению, есть опыт новый и мастерской. Стих:

И вскоре скрылися в тумане,—

легкая черта необыкновенного искусства. Она довершает картину превосходным образом. Воображение следует взором за шаманами, скрывающимися в тумане, как и самая слава их отечества, которое они оплакивают. Бой Ермака с Мегмет-Кулом оживляется в глазах читателей, и звучность стихов, разительных и твердых, дополняет обманом слуха обман глаз, обольщенных искусством поэта. <...>

В «Освобождении Москвы» более движений и действия, чем в нескольких песнях «Россияды», выбранных на произвол. Поэт дает в первом произведении образец живописный боя или поединка, здесь образец битвы.

Сжатая, но мастерски чертами означенная картина ужаса, распространяемого пирующею смертию, отличается отделкою совершенною. Тут в нескольких стихах приведено все, что может возбудить в сердце чувство сострадания к жертвам войны и опустошения, всегда ей сопутствующего. Вообще сии два произведения носят на себе отпечаток силы без напряжения, смелости без своевольства, искусства без принуждения, что составляет в поэте нашем отличительные признаки его лирического дарования. Желательно, чтобы данный им пример: почерпать вдохновение поэтическое в источнике истории народной, имел более подражателей. Источник сей ныне расчищен рукою искусною и в недрах своих содержит все то, что может даровать жизнь истинную и возвышенную поэзии. Пора, выводя ее из тесного круга общежительных удовольствий, вознести на степень высокую, которую она занимала в древности, когда поучала народы и воспламеняла их к мужеству и добродетелям государственным.<...>

В «Гласе патриота», может быть, преимущественнее царствует сей восторг, сии лирические движения, о коих многие толкуют, но кои не многим известны.<...>Весь город и сама Екатерина почитали тогда сии стихи за стихи Державина, замечая в них некоторые его приемы.<...>В сем стихотворении нет, конечно, исполинской силы и роскоши поэтической, которые видим в произведении Державина, писанном на то же событие; но зато нет в Державине искусства, осторожности, не вредящей, впрочем, смелости движений лирических, и вообще той отделки и чистоты, которые отличают нашего поэта.

В стихах «К Волге», как и во всех его других, не обнаруживается стремительность пламенная, которая, преодолевая все оплоты, исторгает и невольное удивление; но видно сие искусное благоразумие поэта, предписывающее ему советоваться с своим гением и пользоваться принадлежностями, ему сродными. Поэт, воспевая Волгу, не увлекается, подобно певцу «Водопада», воображением своенравным и неукротимым; но, управляя им, описывает верно и живо то, что видит, и заимствует из преданий исторические воспоминания для отделки картины не обширной, не яркой, но стройной, свежей и правильной.

«Размышление по случаю грома» содержит стихи сильные, точные, где слова, так сказать, в обрез и наперечет, заставляют забывать о недостатке рифмы,— украшения стихов хороших и необходимости стихов посредственных. Самое содержание, кажется, заимствовано из немецкой поэзии. В одах горацианских подражание оде I из III книги может назваться классическим.— Песни его долго пользовались — одни с песнями Нелединского — славою быть присвоенными полом, для коего они пишутся, в то время когда русский язык не был еще признан грациями. Мы имеем множество песен, но большая часть из них могут быть уподоблены древним монетам, покоящимся в кабинетах ученых, но не пускаемых в обращение; если из огромных песенников наших исключить все песни, которые не поются, то пришлось бы книгопродавцам преобразовать свои толстые томы в маленькие тетрадки.

Как Фонвизин один написал русскую комедию, в коей изобличаются дурачества и пороки не заимствованные, а природные, не пошлые, а личные; так и наш поэт один написал и, к сожалению, одну русскую сатиру, в коей осмеивается слабость, господствовавшая только на нашем Парнасе. «Недоросль» и «Чужой толк» носят на себе отпечаток народности, местности и времени, который, отлагая в сторону искусство авторское, придает им цену отличную. Легко можно написать комическую сцену или десяток резких стихов сатирических при таланте и начитанности; но быть живописцем образцов, посреди коих живем, писать картины не на память или наобум, но с природы, ловить черты характеристические, оттенки в физиономии лиц и общества можно только при уме наблюдательном, прозорливом и глубоком. Тогда удовольствие соединяется с пользою в произведении искусства, и автор достигает высоты назначения своего: быть наставником сограждан. «Сокращенный перевод ювеналовой сатиры», если не везде равно выдержан, то по крайней мере отличается блестящими и мужественными стихами и вообще одушевлен тем благородным негодованием, которое было Аполлоном римского сатирика.— Перевод из Попа, хотя и поставлен в числе посланий, может почтен быть за сатиру, в коей поэт остроумно, а иногда и с чувством, жалуется другу своему на положение в обществе автора, коему нередко жить худо и от

друзей и от врагов его. Сей перевод отделан тщательнее и удачнее предыдущего: свободность в стихосложении, правильность и красивость слога, почти везде постоянная естественность языка стихотворного дают право назвать сие произведение и первым опытом и едва ли не лучшим образцом такого рода поэзии на языке нашем.

«Послание к Карамзину» изобилует красотами живописной поэзии и вообще ознаменовано духом уныния трогательного, потому что в нем отзывается истина чувства, а не холодное притворство поддельной чувствительности.— Стихи «К графу Румянцову» отличаются легкостию, приличием, тонкостию вежливости, обнаруживающею дарование природное, но воспитанное и изощренное в обществе: так писали французы в лучшее время их литературы, но никто так не писывал у нас до нашего автора.— Сколько истинной поэзии и чувства в послании «К друзьям», которое одно могло бы, если нужно, служить доказательством, что достоинство поэта нашего не ограничивается одним искусством и умом живым, но всегда холодным, когда душа не участвует в его творениях! Вольтера также упрекали в недостатке чувствительности, но его стансы «К Сидевилю», которые если не с искусством, то по крайней мере с чувством переведены Херасковым, красноречиво опровергают такое нарекание. Обвинителям нашего поэта назову стихи «К друзьям», и если они сами не носят в себе души черствой, то должны признаться, что и сквозь наружность, часто холодную, отражается в его даровании душа теплая и внимательная к сладостным вдохновениям уныния.

Но в роде легких стихотворений, о коих с таким неуместным презрением говорит и спесивое педантство, оценяющее произведения искусства на вес, и тупое невежество, которое не скоро разглядывает и тускло видит,— поэт наш сколько написал прекрасного! Многие, придерживаясь буквального значения так называемых легких стихотворений, полагают, что они так называются потому, что всякому их писать легко, забывая или вовсе не зная, что самая легкость наружная есть часто вывеска побежденной трудности. Искусство нравиться есть тайна, которая, даруемая ли природою или похищаемая упорным усилием, в обоих случаях достойна уважения и зависти: впрочем, в последней дани ей немногие и отказывают.

Какая стройность в языке, какое мастерство в стихосложении блестит в стихах «К Дельфире», «К ней же» и в других, написанных к женщинам! Прекрасный пол может, посредством их, примириться с русскими стихами и по ним учиться красотам языка, который еще ожидает, чтобы умные женщины присвоили его себе и ввели в употребление для разговора. Какая свежесть и прелесть в стансах «К Карамзину», в стансах «Я счастлив был»! Сколько игривости и любезной небрежности в стихах «Отъезд», «К Маше»! В сих игрушках ума незаметен труд авторский: кажется, что стихи написаны не пером рачительным, а набросаны рукою легкою и своевольною. В надписях, эпиграммах и других мелких стихотворениях поэт наш открыл дорогу своим преемникам. До него не умели ни хвалить тонко, ни насмехаться остроумно. Мадригалы и эпиграммы наших старых умников давно поблекли или притупились и пробуждают разве одну закоренелую улыбку привычки на устах их суеверных поклонников. Мелочи нашего поэта у всех в памяти и присвоены общим употреблением. Кто, видя безобразную живопись, не вспоминает об Ефреме? Кто, встречая супруга, каких много, не готов напомнить ему «Супружнюю молитву» или, встречая иного вельможу, не готов воскликнуть: «И это человек!» Кому не приходило в голову или, лучше сказать, в сердце сказать с поэтом у ног милой женщины:

Ты б лучше быть могла, но лучше так, как есть!

Кто из родителей, имевших несчастие оплакивать смерть детей, не признает истины и силы стиха, как бы вырвавшегося из родительской души, пораженной утратою:

О небо! и детей ужасно нам желать!

В других родах стихотворства поэт оставил нам, как мы видели, образцы своего дарования, образцы изящные, и мы сожалеем, что оставил их не более. В баснях завещает он нам славу полную. Число басен, им написанных, доказывает, что он занимался ими охотнее, нежели иным родом поэзии; но из того не следует, что сей род свойственнее других его дарованию. По слогу и стихосложению Хемницера видим, что ему можно было писать только одни басни; но басни И. И. Дмитриева, если б и не оставил он других памятников поэтических, служили бы доказательством, что его гибкое дарование

способно к разнообразным изменениям. Кажется, неоспоримо, что он первый начал у нас писать басни с правильностию, красивостию и поэзиею в слоге. Говорить не в шутку о карикатурных притчах Сумарокова смешно и безрассудно: обыкновенно простота его есть плоскость, игривость — шутовство, свободность — пустословие; живопись — местами яркое, но по большей части грубое малярство. О Хемницере мы уже осмелились сказать свое мнение: басни его наги, как истина, пренебрегшая хитрости искусства, коего союз ей нужен, когда она не столько поражать, сколько увлекать хочет, не столько покорять, сколько вкрадываться в сердца людей, пугающихся наготы и скоро скучающих тем, что их непостоянно забавляет. Согласимся, что если нравственная цель басни и постигнута им, то не прокладывал он к ней следов пиитических, и в оправдание приговора нашего, если покажется он излишне строгим, заметим, что мы здесь судим более о литературном, чем о нравственном достоинстве басни. Барков, более известный по рукописным творениям, нежели по печатным переводам классических поэтов древности, переложил в шестистопные стихи все басни Федра. В переводе своем старался он придерживаться краткости и точности подлинника, и за исключением выражений обветшалых, черствых и какой-то тупости в стихосложении, пороков, кои должно приписывать более времени, нежели поэту,— басни его и теперь еще можно читать с приятностию, хотя они преданы забвению несправедливому. Херасков оставил нам полную книжку басен, подпавших жребию его трагедий и комедий; большая часть из них отличается скудностию мыслей и слабостию изобретения, но притом и легкостию в стихосложении и свободою в рассказе. Майков, творец нескольких поэм комических, в коих главный недостаток есть отсутствие комической веселости, то есть души подобных творений, написал также довольное число басен *нравственных*, по выражению издателей, но не пиитических, по приговору критики. Вероятно, что в них достойнейшими примечания стихами могут быть следующие. *Лягушки, просящие о царе*, описывая Юпитеру картину беспорядков от безначальства своего, говорят, что у них сильные притесняют слабых:

И кто кого смога,
Так тот того в рога.

Сии лягушечьи рога могут идти в собрание редкостей естественных, или, лучше сказать, сверхъестественных, коими своенравная природа угощает на заказ некоторых из наших баснописцев. Лучшее доказательство первенства нашего автора в числе русских баснописцев есть то, что не пример Сумарокова и Хемницера, о других и говорить некстати, но его пример возбудил многих подражателей и обогатил поэзию нашу баснями, не в соразмерности по числу хороших с другими отраслями поэзии. Напрасно заключают многие из богатства нашего, что басни легче другого пишутся. Од, буде называть одами все то, что выпущено у нас в свет под сим названием, не менее, если не более басен; причина тому, что никто из поэтов не действовал на общий вкус сильнее Ломоносова, Державина и Дмитриева. Вот главнейшая причина, а другая та, что басня если не легче, то скорее пишется, чем послание или иное творение, принадлежащее к роду легкой поэзии и обыкновенно требующее большего числа стихов; прибавим еще, что басня, имея всегда общенародную занимательность, естественнее влечет к подражанию, нежели другое произведение, которого достоинство зависит иногда от условий личных и местных. Здесь, вероятно, источник изобилия нашего в сем роде литературы. Оставляя догадки более или менее замысловатые, на коих основывают происхождение басни, постараемся приискать особенно нам сродную и нравственную причину укоренения баснотворства у нас. Яркая черта ума русского есть насмешливость лукавая; но наша острота, не заключающаяся, как острота французская, в игре слов или тонком выражении мысли, есть более живописная. Французские шутки беглы и, так сказать, неосязательны, как двусмысленное значение или переливающиеся оттенки слов, из коих они составлены; наши обыкновенно в лицах и более говорят чувству, чем понятию. Французский остроумец ловко и проворно действует орудием остроты и колет им свою жертву; русский владеет кистию, коею расписывает лица на смех. Шутки французские вырываются под вдохновением Аполлона и напоминают, что он вооружен стрелами меткими и язвительными; наши отзываются добродушием веселого Мома, который насмехается, чтобы смешить и смеяться. Всякая французская насмешка годится на острие эпиграммы или сатирического куплета; лучшие русские шут-

ки могут служить основою забавных карикатур. Заметим, что при насмешливости ума русского законы нашего общежития, подкрепленные, а может быть, и порожденные законами государственными, не позволяя ему преступать тесные границы, назначенные строгим уважением к личности и ко многим освященным условиям, обязывают его прибегать к уловкам лукавства, когда он хочет предаваться господствующей своей наклонности. И после того легко согласиться можно, что басни должны были укорениться у нас и часто утаивать под своим покровом обнажение истины или слишком смелой, или слишком язвительной. Обращая внимание на русские пословицы, сей отголосок ума народов, найдем еще новые доводы сродства нашего с баснями: сколько из них живописных и драматических, в коих герои Езопа играют важные роли, и сколько из них могут служить основою басен.

«Говорят, что Лафонтен ничего не изобрел: он изобрел свое искусство писать, и его изобретение не сделалось общим». Так судил Лагарп во Франции, и так, без сомнения, судил бы он у нас о нашем Лафонтене. Нет сомнения, что поэт наш более всех породнился с своими подлинниками; но достоинство его заключается не в том, что он не отступает от Лафонтена и Флориана и удачно подражает их красотам, а в том, что он у нас превосходен и что красоты стихов его, правильных, изящных и живых, суть красоты на языке нашем образцовые. Шамфор говорит о Лафонтене: «Ему одному предоставлено было сочетать в краткости аполога оттенки резкие и краски противоположные. Часто одна басня соединяет в себе простоту Марота, игривость и замысловатость Воатюра, черты поэзии возвышенной и несколько таких стихов, кои силой смысла навсегда врезываются в памяти». Естественное применение сего суждения к автору, о коем пишем, само собою представится уму читателей, вникнувших в его искусство. Какое постоянное разнообразие в слоге, приемах и украшениях и какая везде верность в порядке выражений, картин и принадлежностей.

Дуб с Тростию вступил однажды в разговоры.

Какое мастерское изложение! Будь разговор начат тростию, а не дубом, и этот стих неуместною важностию погрешил бы против верности: здесь он отвечает и ли-

цу, выглядывающему из-за дуба, и самому преимуществу, данному природою гордому временщику лесов над слабою и смиренною тростию. Мы остановились на первом примере, который нам встретился, но подобных примеров найдется тысяча, еще разительнейших. <...>

Лучшие басни его, по нашему мнению, следующие: «Дуб и Трость», «Петух, Кот и Мышонок», «Мышь, удалившаяся от света», «Чижик и Зяблица», «Лиса-проповедница», «Два Голубя», «Человек и Конь», «История», «Прохожий», «Два друга», «Кот, Ласточка и Кролик», «Воспитание Льва», «Три Льва», «Смерть и Умирающий», «Жаворонок с детьми и Земледелец», «Старик и трое молодых», «Искатели Фортуны», «Царь и два Пастуха». О них почти то же можно сказать, что сказано перед тем о некоторых стихах из «Дуба и Трости»: они лучшие не потому, что остальные были посредственны, но лучшие из басен нашего поэта, которые суть лучшие на языке нашем. Прилагательное *лучшее* имеет смысл относительный и личный; посредственное в Хераскове было бы лучшим в Николеве, а *лучшее* Хераскова обыкновенным в Державине. По красивости в слоге и живости в поэзии назвали бы совершеннейшею басню «Чижик и Зяблица», если бы нравственное ее содержание было занимательнее, а предмет глубокомысленнее или замысловатее. Какая утренняя свежесть в начальных чертах! сколько чувства и простоты в стихах:

Но без товарища и радость нам не в радость:
Желаешь для себя, а ищешь разделить.

Смотрите далее, как темнеет светлая и веселая картина по мере приближающейся грозы: перед вами оживляется сельское зрелище, не уступающее в живости и разнообразии ни кисти художника, ни творению самой природы. Томсон и Делиль не лучшими стихами живописали природу и предали свои поэмы бессмертию. Но почти жалеть должно о роскошестве поэта, истощившего все богатство поэзии для выражения истины обыкновенной, хотя и облеченной в хорошие стихи:

Ах! всяк своей бедой ума себе прикупит,
Впредь утро похвалю, как вечер уж наступит.

Конечно, можно выисканными применениями вывести из нравоучения сей басни последствие обширнейшее; но подробности поэзии, столь увлекательной, не дозволяют вниманию оставить их для искания истины удаленной, и между тем как услаждают они воображение, не удовлетворяют достаточно потребности ума, который ищет пищи существенной и под цветами удовольствия. Заметим здесь мимоходом, с каким искусством разнообразит наш поэт описание грозы, которое встречается у него в нескольких стихотворениях. В «Мыши, удалившейся от света» — рассказ мастерский: как шутки повествователя важны и как забавна его важность! Не наблюдайте искусного равновесия, и тотчас забавность сбивается на шутовство, а важность переходит в принужденность и безобразное напряжение. Какая историческая точность и ясность в отправлении посольства, в речи, произнесенной им перед *затворницею!* — Лафонтена сравнили с Мольером, но не по комедиям, а по басням. В нашем поэте проскакивают несомнительные признаки комического дарования. Соглашаясь с Шамфором, который говорит, что баснописец, перенося в свои басни изображение нравов, присвоивает апологу одну из прекраснейших принадлежностей комедии — характеры, прибавим, что разговорный язык поэта нашего, встречающийся в баснях и сказках его, удостоверяет нас, что он, верный в изображении лиц, умел бы сохранить ту верность и в языке, коим он заставил бы говорить их на сцене. Стихотворный комический язык у нас еще не существует, несмотря на некоторые опыты, довольно удачные; женщин заставляют говорить на сцене книжным языком,— но светские женщины не хотят учиться языку, покоренному правилам: везде своенравные, они сами творят свои правила и самих законодателей языка научают им повиноваться. Как нам позволительно жаловаться на иных, что они завладели комическою сценою, так нашему поэту может пенять, что, уполномоченный комическою музою, не хотел он огласить своих законных прав на сцену, хотя одним опытом, хотя для того, чтобы вывести на нее «Трисотина и Вадиуса», которых так забавно заставляет он говорить по-русски.

В басне «Два Голубя» он дает нам лучшие образцы стихов элегии, а в «Дон-Кишоте» лучший образец стихов пастушеских. «Человек и Конь» не изобилует, как

другие басни, роскошью поэтическою, но стихами полными, живыми и нравоучением глубокомысленным входит в число лучших философических басен, то есть в лучшее отделение басен. В «Воспитании Льва», едва ли не превосходнейшей басне рассудительного Флориана, переводчик достигнул совершенства повествования строгого, отвечающего важной нравственности содержания. Как забавно мимоходом придает он торжественным одам *мохнатых певцов* казенные выражения лириков, осмеянных в «Чужом толке»! Какая верность в языке зверей, призванных львом на совет, из коих каждый намеками выдает прямо себя за лучшего наставника новорожденному львенку!

Советы и везде почти на эту стать,—

прибавляет опытный наблюдатель с простосердечным лукавством. С начала до конца слог в сей басне тверд, исправен; стихи все до одного *выбиты* мастерски. В нынешнем издании поэт присоединил ее к сказкам, но мы сомневаемся в справедливости такого разделения. Всякое повествование, в коем действуют животные или предметы вещественные, свойственнее причислить к басням, несмотря на слог и драматический ход повествования. Краткое повествование, в коем действуют одни люди или существа возвышеннейшие, принадлежит к сказкам.

«Кот, Ласточка и Кролик» почитается одною из лучших басен Лафонтена. Прочтите басню в переводе и подивитесь творческому искусству переводчика; говорим: *творческому*, ибо достоинство изобретения состоит здесь не в вымысле содержания, но в употреблении языка и красок, кажется, несовместных с поэзиею. Как естествен *крысодав*, как хорош этот постный, но между тем *жирный кот*, или, вероятно, оттого и жирный, что он постный: *муж свят из всех котов!* В баснях любят иногда присвоивать собственные имена людей зверям, выводимым на сцену; это гораздо легче, нежели присвоивать им кстати страсти и слабости людские. Наш баснописец только здесь следовал сему обыкновению, и единственно для того, что кролику нужно было на доводах родословия утвердить право собственности.

Басни «Орел и Каплун» и «Магнит и Железо» суть счастливые подражания басням Арно, одного из лучших современных нам поэтов французских. В пятом издании

своих стихотворений наш поэт воспользовался примечанием А. Е. Измайлова на окончательные стихи первой из помянутых басен. Так истинное дарование сознается в своих ошибках и дорожит советами добросовестной и благоразумной критики; но, с другой стороны, презирает прицепки вздорливого недоброжелательства и приговоры взыскательного невежества.

Если достоинство стихов приносит честь искусству поэта, то выбор содержания басен не менее приносит чести образу его мыслей и чувствований. Все басни нашего переводчика имеют цель более или менее философическую; и басня, которая должна быть прозрачным покровом истины, никогда не служит у него нарядом лести или прикрасою какого-нибудь мнения в чести. К сожалению, признаться должно, что у Лафонтена цветы прекраснейшей поэзии темнели иногда от курений лести; но он остался другом гонимого Фуке, ходатайствовал за него в стихах прекрасных пред троном, и поэты не краснеют за собрата, обольщенного приманками власти, но не развращенного ими. Должно при сем вспомнить, что Лафонтен жил в такое время, когда обычаем, освященным давностию, писатель не мог обойтись без покровителя, а покровитель без раболепной приверженности, в царствование счастливого властителя, который приковал к колеснице своей дарования и славу великих мужей века, приявшего от него свое имя, но от них свой лучший блеск и прочнейшую славу. Лудовик XIV обольщал и унижал писателей, осаждавших его двор. И как дорого платили они за почести, которые могут возвысить людей ничтожных, но ничтожны для людей, возвышенных неземным достоинством. Великий Расин, коего гений обширный умел возноситься до великих событий истории, но душа слабая не умела быть выше дневных обстоятельств и мелких неудач, умер жертвою царской немилости. Лафонтен долго по недоброжелательству вельмож не был допускаем до почести академической, которая во дни *золотого века* была высшею метою невинного честолюбия величайших умов. По смерти приятельницы своей едва не отплыл он в Англию — искать себе пристанище и покровителей. Пусть такие разительные примеры и многие другие, если голос внутреннего убеждения недостаточен, научают писателей дорожить независимостию и служить

одной истине, а не лицам, как они ни щедры на обольщения и как она ни скупа и ни медленна в наградах.

Издание басен поэта нашего, сличенного с русскими его предместниками и последователями, обогатило бы словесность нашу книгою, которой ей недостает: впрочем, мы богаты недостатками. Но хороших басен у нас довольно для того, чтобы родить желание любоваться своими богатствами и с разборчивостию заняться их оценкою.— По счастию, совершенство нашего баснописца не испугало, а подстрекнуло к соревнованию многих истинных поэтов; прибавим: к сожалению, многих и подложных; но они неизбежные гаеры, следующие по пятам за каждым образцовым дарованием.

В числе первых сыскался один, который не только последовать, но, так сказать, бороться дерзнул с нашим поэтом, перерабатывая басни, уже им переведенные, и басни превосходные, и мы благодарны ему за его смелость. Привлекая нас к себе, он не отучает от своего предшественника; и мы видим, что к общей выгоде дорога успехов, открытая дарованию, не так тесна, как та дорога, на коей, по замечанию остроумного Фонвизина, «двое, встретясь, разойтись не могут, и один другого сваливает». Но г. Крылов, с искренностию и праводушием возвышенного дарования, без сомнения, сознается, что если не взял он предместника за образец себе, то по крайней мере имел в нем пример поучительный и путеводителя, угладившего ему стезю к успехам. Если и не ступать по следам пробитым, то все легче идти по дороге, на коей уже значатся следы. Г. Крылов нашел язык выработанный, многие формулы его готовые, стихосложение — хотя и ныне у нас еще довольно упорное, но уже сколько-нибудь смягченное опытами силы и мастерства. Между тем забывать не должно, что он часто творец содержания прекраснейших из своих басен; и что если сие достоинство не так велико в отношении к предместнику его, который был изобретателем своего слога, то оно велико в сравнении с теми, которые не изобрели ни слога, ни содержания своих басен, как говорит Арно, сравнивая с Лафонтеном себя и других французских баснописцев в предисловии к своим замысловатым и эпиграмматическим басням.

Здесь видели мы поэта счастливым победителем предшественников, образцом, открывшим дорогу после-

дователям и соперникам. В сказках найдем его одного; ни за ним, ни до него никто у нас не является на этой дороге, проложенной новейшими писателями; они одни могут в обществе, устроенном по новым условиям образованности, ловить черты и краски действия ограниченного, но богатого оттенками, которое обыкновенно служит основой сказки. Наш отличный сказочник соединяет в себе все, что составляет и существенное достоинство и роскошество таланта в сказочниках, которые и у всех народов на счету. Нигде не оказал он более ума, замысловатости, вкуса, остроумия, более стихотворческого искусства, как в своих сказках; оставь он нам только их, и тогда занял бы почетное место в числе избранных наших поэтов, и тогда могли бы мы перед иностранцами похвалиться быстрыми успехами в поэзии ума и философии, которая всегда является долго после поэзии природной, живописной и чувственной, царствующей иногда с блеском и у народов диких. Мы сказали, что поэт не имеет в этом роде предшественников; ибо некстати говорить здесь о сказках, которые читаются, хотя и не печатаются, а еще менее о тех, которые хотя и напечатаны, но не читаются. У него почти совсем нет и последователей, и решительно ни одного соперника. Сумароков (Панкратий) писал сказки; но они в сравнении с сказками нашего поэта то, что святочные игрища в сравнении с истинною комедиею. В его сказках встречаются забавные положения, стихи удачные и смешные; но при самом смехе грустно смотреть на дарование, которое, не довольствуясь улыбкою зрителей образованных, дурачится и ломается, чтобы возбудить громкий хохот райка. Райком не должно пренебрегать ни в каком отношении; но не его вкусу потребно угождать в творениях искусства, а лучше стараться его образовать под лад изящного просвещения, чем развращать вкус образованный — потворством и угождениями невежеству. Карамзин выдал начало прекрасной богатырской сказки, которая более принадлежит к числу народных поэм и совершенно отделяется от рода сказок философических и нравственных, о коих идет здесь речь. Батюшков написал сказку, отличающуюся поэтическими подробностями. В сказке «Осел Кабуд», усеянной забавными чертами, В. Л. Пушкин оказал много искусства в повествовании; но они обе перенесены на сцену нам чуждую, где предстояло

дарованию более свободы в действии и, следовательно, менее славы в успехе. Наш сказочник не оставляет нас: он замечает то, что каждый из нас мог заметить, умея наблюдать; рассказывает то, что всякий мог рассказать, имея дар повествования. *Модная жена* — нам коротко знакомая, добрый супруг ее *Пролаз*, который *невинным ремеслом дополз до права ездить шестеркою в карете*, человек, с коим встречаемся на всех перекрестках, на всех обедах именинных и карточных вечеринках. *Миловзор* — образец всех *угодников дамских*, только с тою разницею, что они не переняли у него искусства изъясняться правильно и красиво на языке отечественном. Припадок чего-то такого, которого и поэт не умел назвать, и нежные ласки *Модной жены*, место действия, принадлежности и приборы, спасительная догадливость добрых пенатов, *фидельки* и *попугая*, все это блестит историческою верностию, в коей убеждаемся не доверенностию к повествователю, а особенными опытами и чувствованиями. Картина *князя Ветрова* изъясняет нам, что́ есть жених и что есть муж. В обломках посуды бедного *Альнаскара* многие воздушные строители видят развалины своих недостроенных зданий; но многие ли его примером отучатся строить на воздухе? Едва ли? и полно, жалеть ли о том? Удивительный Вольтер, пленительный в сказках, как и везде, говорит в своей «Причуднице»:

Ah! croyez moi, l'erreur a son mérite[1].

Несчастный смертный, коему судьба отказывает часто в уголке земли, на коем мог бы он утвердить хотя одну надежду, должен по крайней мере иметь свободный вход в область мечтательную, где, будучи хозяином наравне со всеми, может он выгрузить избыток своих ожиданий и уходить в беспокойную деятельность упований, часто обманутых, но нигде не разуверенных. «Причудница» нашего стихотворца едва ли не драгоценнейший жемчуг его поэтического венца; *Ветрана* хотя и перенесена в годы, современные старой Руси, но, по нраву своему, пресыщению и скуке от счастия (которую излечить труднее, нежели скуку от несчастия, тому, у кого нет, как у *Ветраны* доброй *Всеведы*, бабушки, умеющей ворожить), принадлежит также и нашему веку и всем векам,

[1] О, поверьте мне, заблуждение имеет свое достоинство (*фр.*).

в коих люди будут неблагоразумны в своих желаниях и ветрены и непризнательны к провидению.— Разбирать ли поэтические красоты, черты веселости, остроумия, тонкой насмешки, пленительной замысловатости, коими изобилуют сии сказки? Должно будет повторить в длинных выписках стихи, читанные, перечитанные и уважаемые сведующими любителями русской поэзии; но если найдутся в России из образованных читателей такие, которые еще не успели узнать их за недосугом, то чем же лучше услужить им, как советом прочесть их в первый час свободный?

Имел ли наш поэт, на поприще своих литературных успехов, недоброжелателей и завистников? В Древнем Риме торжественная колесница победителя въезжала в город, окруженная и народом благодарным и толпою невольников, которые, вероятно, не разделяли общей радости и про себя сопровождали клики восторга ругательствами ненависти и досады. Торжество писателя также ведет за собою толпу враждующих невольников; но разница в том, что они громкими поношениями своими прерывают отголоски раздающихся похвал и что народ в наши дни, жадный любитель всяких зрелищ, не налагает молчания на дерзкие уста ненавистников дарования. Презирая их ремесло, он как будто радуется оскорблениям, которые наносят они славе возвышенной; можно подумать, что такие оскорбления облегчают для него бремя уважения, которое всегда под конец становится ему тяжким. Толпа любит возносить угодников временной своей горячности; но обыкновенно сердится на тех, которые держатся на высоте собственными силами: в первом случае ей весело и лестно быть покровительницею; в другом оскорбительно быть постоянною данницею невольного почтения. Впрочем, наш поэт наравне со всеми другими писателями русскими, за исключением Богдановича, имевшего в Карамзине критика просвещенного, не был еще разбираем ученым и поэтическим образом. Нельзя назвать критикою статьи журнальные, писанные бегло и поверхностно о книгах, вновь выходящих. В иных, а преимущественно в статьях, напечатанных в «Московском Меркурии» и «Цветнике», оценены со вкусом некоторые из достоинств поэта. В других, писанных под вдохновением недоброжелательства и криводушия, встречаются одни придирки, частию основательные, но более произ-

вольные, которые доказывают единственно, что критики хотели найти много погрешностей в стихотворениях поэта и в самом деле успели выискать их несколько. Один из таких критиков сказал, например, что стихотворение «Карикатура» — не что иное, как рифменная проза; но на беду свою не догадался, что оно писано белыми стихами; другой, не менее его догадливый, обвиняет поэта, что он пишет *состáрелся*, а не *состарéлся*, когда вся русская Россия говорит и пишет одинаково с автором, и несколько страниц унизал замечаниями, не уступающими этому в справедливости и замысловатости. Достойно сожаления, что возражение на такую критику, писанное Д. Н. Блудовым и могущее служить образцом остроумия и искусства отражать нападения несправедливые, не имело доступа к современным журналам. Нельзя довольно надивиться, что у нас, когда ничтожнейшее замечание на игру актера или малейшее оскорбление, нанесенное неприкосновенному величеству писателя посредственного, зажигает войну перьев, претворяет мирные журналы в шумное поле битвы и вызывает из-под земли тысячу воителей, готовых ратовать до истощения сил физических, и долго по истощении терпения читателей, брань, объявленная первым смельчаком писателям заслуженным, не возбуждает ни в ком ратной ревности. Поле битвы бесспорное остается во владении первого наездника на его славу не затем, что он прав, но затем, что он один. «Искони существует,— говорит Даламберт,— заговор тайный и общий глупых против умных и посредственности против дарований превосходных, отделение союза тайного и обширнейшего бедных против богатых, малых против больших и слуг против господ». Наблюдение французского философа не наведет ли и нас на истинную причину, отчего иные из наших писателей должны отвечать каждый за себя, а другие отвечают друг за друга? Но если посредственность внушает своим клевретам дух братства и единочувствия, от коих неудовольствие одного разливается быстро и пламенно по всем звеньям бесконечной цепи, то дарование внушает своим избранным расположение еще лучшее: дух равнодушия и презрение к враждебным усилиям невежества, под какою бы личиною ни высказывалось оно, учености школьной или ложного и феодального патриотизма. И наш поэт, должно заметить к чести его, хотя способный разделаться и не с нашими фреронами,

никогда не выходил перед публику на защиту своих рифм и уличение невежества, зная, что рано или поздно справится с ним общественное мнение, сей непогрешительный ареопаг, который часто вопреки нижним судам произносит решительные и окончательные приговоры.

<...>Часто нежное чадолюбие авторов и суеверное благоговение к ним их приверженцев любовались в печати изданиями исправленными и умноженными. Но стихотворения, печатанные изданием исправленным и уменьшенным при жизни автора и самим автором убавленные, можно назвать явлением редким в литературе и едва ли не первым в своем роде. Жаль только, что пример дан поэтом, у коего не было ничего лишнего, и что, вероятно, не будут подражать ему те, у коих нет ничего необходимо нужного. Впрочем, есть средство исправить и тот и другой недостаток. Часто, назло поэту нашему, пойдем в прежних изданиях искать изгнанников его строгости и оставим в покое у других стихотворцев печатанные и перепечатанные, но никогда не дочитанные, исправленные и вечно неисправленные плоды их отеческой попечительности. Настоящее издание драгоценно, как прекрасный признак скромности писателя и строгости его к себе: любопытно и приятно видеть, как дарование судит себя и, так сказать, начинает быть для самого себя беспристрастным и хладнокровным потомством. Между тем приговоры такие не всегда бывают безошибочны. Вергилий присудил к огню «Энеиду», как творение недозрелое. Богданович, как сказывают, мало дорожил «Душенькой» и славу свою основывал на других произведениях, которые без «Душеньки», вероятно, выдали бы его. Державин, разбирая при Жуковском и при мне незадолго перед концом жизни рукописное собрание своих творений и остановясь на оде «Коварство», сказал: «Вот таких стихов я писать был бы уже не в силах!» Следовательно, полагал он в них более силы и мужественного пыла, чем в пиесах «К соседу», «На смерть Мещерского» и других! В сем издании выбор стихотворений означает в поэте вкус верный; он не имел предпочтительной привязанности к иным творениям, слабейшим пред другими, как многие родители, которые нежнее расположены к тщедушным детям их преклонных лет; но сочинения, им исключенные, и те, которые оставил он единственно по усильному убеждению издателей,

доказывают в нем и строгость излишнюю; осуждая ее, в одно время и радуемся ей, как новому праву на уважение наше.<...>

Приписка

<...>Дмитриев и Крылов два живописца, два первостатейные мастера двух различных школ. Один берет живостью и яркостью красок: они всем кидаются в глаза и радуют их игривостью своею, рельефностью, поразительною выпуклостью. Другой отличается более правильностью рисунка, очерков, линий. Дмитриев, как писатель, как стилист, более художник, чем Крылов, но уступает ему в живости речи. Дмитриев пишет басни свои; Крылов их рассказывает. Тут может явиться разница во вкусах: кто любит более читать, кто слушать. В чтении преимущество остается за Дмитриевым. Он ровнее, правильнее, но без сухости. И у него есть своя игривость и свежесть в рассказе; ищите без предубеждения — и вы их найдете. Крылов может быть своеобразен, но он не образцовый писатель. Наставником быть он не может. Дмитриев, по слогу, может остаться и остался во многом образцом для тех, которые образцами не пренебрегают. Еще одно замечание. Басни Дмитриева всегда басни. Хорош или нет этот род, это зависит от вкусов; но он придерживался условий его. Басни Крылова — нередко драматированные эпиграммы на такой-то случай, на такое-то лицо. Разумеется, дело не в названии: будь только умен и увлекателен, и читатель останется с барышом,— а это главное. При всем этом не должно забывать, что у автора, у баснописца бывало часто в предмете не басню написать, «но умысел другой тут был». А этот умысел нередко и бывал приманкою для многих читателей, и приманкою блистательно оправданною. Но если мы ставим охотно подобное отступление автору не в вину, а скорее в угождение читателю, то несправедливо было бы отказать и Дмитриеву в правах его на признательность нашу: Крылов сосредоточил все дарование свое, весь ум свой в известной и определенной раме. Вне этой рамы он никакой оригинальности, смеем сказать, никакой ценности не имеет. Цену Дмитриева поймешь и определишь, когда окинешь внимательным взглядом все разнородные произведения его и взвесишь всю внутреннюю и внешнюю ценность дарования его и искусства его.<...>

Что люди, мне чужие, обвиняли меня в *слабости* к Дмитриеву и в несправедливости к Крылову, это меня не очень озабочивало и смущало. Я вообще обстрелян: и лишний выстрел со стороны куда не идет. Но в числе обвинителей моих был и человек мне близкий; суд его был для меня многозначителен и дорог, он мог задирать меня и совесть мою за живое.

Пушкин, ибо речь, разумеется, о нем, не любил Дмитриева как поэта, то есть, правильнее сказать, часто не любил его. Скажу откровенно, он был, или бывал, сердит на него. По крайней мере, таково мнение мое. Дмитриев, классик,— впрочем, и Крылов по своим литературным понятиям был классик, и еще французский,— не очень ласково приветствовал первые опыты Пушкина, а особенно поэму его «Руслан и Людмила». Он даже отозвался о ней колко и несправедливо. Вероятно, отзыв этот дошел до молодого поэта, и тем был он ему чувствительнее, что приговор исходил от судии, который возвышался над рядом обыкновенных судей и которого, в глубине души и дарования своего, Пушкин не мог не уважать. Пушкин в жизни обыкновенной, ежедневной, в сношениях житейских был непомерно добросердечен и простосердечен. Но умом, при некоторых обстоятельствах, бывал он злопамятен, не только в отношении к недоброжелателям, но и к посторонним и даже к приятелям своим. Он, так сказать, строго держал в памяти своей бухгалтерскую книгу, в которую вносил он имена должников своих и долги, которые считал за ними. В помощь памяти своей он даже существенно и материально записывал имена этих должников на лоскутках бумаги, которые я сам видал у него. Это его тешило. Рано или поздно, иногда совершенно случайно, взыскивал он долг, и взыскивал с лихвою. В сочинениях его найдешь много следов и свидетельств подобных взысканий. Царапины, нанесенные ему с умыслом или без умысла, не скоро заживали у него. Как бы то ни было, споры наши о Дмитриеве часто возобновлялись, и, как обыкновенно в спорах бывает, отзывы, суждения, возражения становились все более и более резки и заносчивы. Были мы оба натуры спорной и друг пред другом ни на шаг отступать не хотели. При задорной перестрелке нашей мы горячились: он все ниже и ниже унижал Дмитриева; я все выше и выше поднимал его. Одним словом, оба были мы неправы. Помню, что однаж-

ды, в пылу спора, сказал я ему: «Да ты, кажется, завидуешь Дмитриеву». Пушкин тут зардел как маков цвет; с выражением глубокого упрека взглянул на меня и протяжно, будто отчеканивая каждое слово, сказал: «Как, я завидую Дмитриеву?» Спор наш этим и кончился, то есть на этот раз, и разговор перешел к другим предметам, как будто ни в чем не бывало. Но я уверен, что он никогда не забывал и не прощал мне моей неуместной выходки. Если хорошенько порыться в оставленных им по себе бумагах, то, вероятно, найдется где-нибудь имя мое с припискою: *debet*. Нет сомнения, что вспышка моя была оскорбительна и несправедлива. Впрочем, и то сказать, в то время Пушкин не был еще на той вышине, до которой достигнул позднее. Да и я, вероятно, имел тогда более в виду авторитет, коим пользовался Дмитриев, нежели самое дарование его. Из всех современников, кажется, Карамзин и Жуковский одни внушали ему безусловное уважение и доверие к их суду. Он по влечению и сознательно подчинялся нравственному и литературному авторитету их. С ними он не считался. До конца видел он в них не советников, а старших и, так сказать, восприемников и наставников. Суждения других, а именно даже образованнейших из арзамасцев, были ему нипочем. Со мною любил он спорить: и спорили мы до упаду, до охриплости об Озерове, Дмитриеве, Батюшкове и о многом прочем и прочем. <...> Впрочем, с Пушкиным было то хорошо, что предубеждения его были вспышки, недуги не заматерелые, не хронические, а разве острые и мимоходные: они, бывало, схватят его, но здоровая натура очищала и преодолевала их. Так было и в отношении к Дмитриеву: и как сей последний, позднее и при дальнейших произведениях поэта, совершенно примирился с ним и оказывал ему должное уважение, так и у Пушкина бывали частые перемирия в отношении к Дмитриеву. Князь Козловский просил Пушкина перевесть одну из сатир Ювенала, которую Козловский почти с начала до конца знал наизусть. Он преследовал Пушкина этим желанием и предложением. Тот наконец согласился и стал приготовляться к труду. Однажды приходит он ко мне и говорит: «А знаешь ли, как приготовляюсь я к переводу, заказанному мне Козловским? Сейчас перечитал я переводы Дмитриева латинского поэта и английского Попе. Удивляюсь и любуюсь силе и стройности шестистопного стиха его».

П. А. Вяземский

СТАРАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

<Фрагменты>

Дмитриев в записках своих нарисовал портреты некоторых своих современников по министерству и по Совету, и между прочим регента Салтыкова, который был ему недоброжелателен и вероятною главною причиною, что Дмитриев просился в отставку в то время, когда министры перестали докладывать лично. На страстной неделе, в которую Дмитриев говел, попалась ему на глаза страница, означенная резкими чертами регента, и он, раскаявшись, вымарал главнейшие из своей тетради и из книги потомства! Движение благородное или, лучше сказать, добродушное! Уважаю движение, но не одобряю. Писатель, как судья, должен быть бесстрастен и бессострадателен. И что же останется нам в отраду, если не будут произносить у нас хоть над трупами славных окончательного Египетского суда? Записки Дмитриева содержат много любопытного и на неурожае нашем питательны; но жаль, что он пишет их в мундире. По-настоящему должно приложить бы к ним *словесные прибавления*, заимствованные из его разговоров, обыкновенно откровенных, особливо же в избранном кругу<...>

Примите, древние дубравы,
Под сень свою питомца Муз.
Не шумны петь хочу забавы,
Не сладости цитерских уз:
Но да воззрю с полей широких
На красну, гордую Москву,
Сидящу на холмах высоких,
И в спящи веки воззову.

В этих стихах Дмитриева есть движение, звучность, живопись и величавость; но если всмотреться в них прозаическими глазами критики, то найдешь в них некоторые несообразности. Начать с того, что тут излишне сжаты топографические подробности. Тут и дубравы, и широкие поля, и холмы высокие, и город. Картины поэта должны быть так написаны, чтобы живописец мог кистью своею перенести их на холстину. А в настоящем случае трудно было бы ему соблюсти законы перспекти-

вы. Далее: нельзя войти одним разом в дубравы — можно войти в дубраву; в дубраве нельзя искать широких полей и с них смотреть на город, хотя и сидит он на высоких холмах. Дубрава заслоняет собою всякую даль, и видишь пред собою одни деревья.

Положим, что под древней дубравой (а все-таки не *дубравами*) поэт подразумевал рощу, посвященную музам: все же остается та же сбивчивость в картине. Другие стихи из того же стихотворения Дмитриева подали повод к забавному недоразумению. В первой книжке «Сына Отечества» была напечатана передовая статья с эпиграфом, взятым из «Освобождения Москвы»:

Где ты, славянов храбрых сила?
Проснись, восстань, российска мочь!
Москва в плену, Москва уныла,
Как мрачная осення ночь.

И, разумеется, под эпиграфом было выставлено имя автора. В то время Дмитриев был министром юстиции, а граф Разумовский министром народного просвещения. Он был человек европейской образованности, но мало сведущ в русской литературе. Он принял это четверостишие за новое произведение, написанное Дмитриевым *по случаю* занятия Москвы Наполеоном. При первой встрече с Дмитриевым в Комитете министров обратился он к нему с похвалами и с сожаленисм, что новое прекрасное стихотворение его так коротко. Дмитриев сначала понять не мог, о чем идет речь, и по щекотливости своей оскорбился предположением, что он, в своем министерском звании и при современных важных и печальных событиях, мог еще заниматься стихотворством.

Около того же времени Шишков читал в Комитете министров статью свою, предназначенную для обнародования известия о взятии Москвы. Дмитриев с авторским своим тактом не мог сочувствовать порядку мыслей и вообще изложению этой неловкой статьи, в конце которой кто-то падает на колени и молится богу. Не желая, однако же, прямо выразить свое мнение, спросил он, в каком виде будет напечатано это сочинение: в виде ли журнальной статьи, или официальным объявлением от правительства. «У нас нет правительства»,— с запальчивостью возразил ему простодушный государственный секретарь <...>

Во дни процветания библейских обществ, манифестов Шишкова и злоупотребления, часто совершенно не у места, текстами из священного писания, Дмитриев говорил: «С тех пор, как наши светские писатели просятся в духовные, духовные стараются применить язык свой к светскому». К нему ходил один московский священник, довольно образованный и до того сведущий во французском языке, что когда проходил по церкви мимо барынь с кадилом в руках, говорил им: «Pardon, mesdames» [1]. Он не любил митрополита Филарета и критиковал язык и слог проповедей его. Дмитриев никогда не был большим приверженцем Филарета, но в этом случае защищал его. «Да помилуйте, ваше превосходительство,— сказал ему однажды священник,— ну таким ли языком написана ваша «Модная жена»?» <...>

Дмитриев съехался где-то на станции с барином, которого провожал жандармский офицер. Улучив свободную минуту, Дмитриев спросил его, за что ссылается проезжий.

— В точности не могу доложить вашему высокопревосходительству, но, кажется, худо отзывался насчет холеры <...>

Кем-то было сказано: «Стихи мои, обрызганные кровью». «Что ж, кровь текла у него из носу, когда писал он их?»— спросил Дмитриев <...>

Полевой написал в альбоме г-жи Карлгоф стихи под заглавием: «Поэтический анахронизм, или стихи в роде Василия Львовича Пушкина и Ивана Ивановича Дмитриева, писанные в XIX веке». И какие же это стихи в роде Дмитриева! Вот образчик:

Гостиная — альбом,
Паркет и зала с позолотой
Так пахнут скукой и зевотой.

---

[1] Простите, сударыня *(фр.)*.

Паркет *пахнет зевотой!* Что за галиматья! А какое отсутствие вкуса и приличия, литературное бесстыдство в глумлении подобными стихами над изящными и образцовыми стихами Дмитриева! <...>

Дмитриев гулял по Кремлю в марте месяце 1801 г. Видит он необыкновенное движение по площади и спрашивает старого солдата, что это значит. «Да съезжаются,— говорит он,— присягать государю».— «Как присягать и какому государю?» — «Новому».— «Что ты, рехнулся, что ли?» — «Да, императору Алекса́ндру».— «Какому Александру?» — спрашивает Дмитриев, все более и более удивленный и испуганный словами солдата.— «Да Александру Македонскому, что ли!» — отвечает солдат <...>

Мы упомянули о портрете Державина, писанном Тончи. Известно, что поэт изображен в зимней картине: он в шубе, и меховая шапка на голове. На вопрос Державина Дмитриеву: что он думает об этой картине,— тот отвечал ему: «Думаю, что вы в дороге, зимой, и ожидаете у станции, когда запрягут лошадей в вашу кибитку» <...>

Баратынский как-то не ценил ума и любезности Дмитриева. Он говаривал, что, уходя после вечера, у него проведенного, ему всегда кажется, что он был у всенощной. Трудно разгадать эту странность. Между тем он высоко ставил дарование поэта. Пушкин, обратно, нередко бывал строг и несправедлив к поэту, но всегда увлекался остроумною и любезною речью его <...>

Дмитриев рассказывал, что какой-то провинциал, когда заходил к нему и заставал его за письменным столом с пером в руках: «что это вы пишете,— часто спрашивал он его,— нынче, кажется, не почтовый день» <...>

Дмитриев любил Антонского, но любил и трунить над ним, очень застенчивым, так сказать, пугливым и вместе с тем легко смешливым. Смущение и веселость

попеременно выражались на лице его под шутками Дмитриева. «Признайтесь, любезнейший Антон Антонович,— говорил он ему однажды,— что ваш университет — совершенно безжизненное тело: о движении его и догадываешься только, когда едешь по Моховой и видишь сквозь окна, как профессора и жены их переворачивают на солнце большие бутыли с наливками».

П. А. Вяземский

ДОМ ИВАНА ИВАНОВИЧА ДМИТРИЕВА

Я помню этот дом, я помню этот сад:
Хозяин их всегда гостям своим был рад,
И ждали каждого, с радушьем теплой встречи,
Улыбка светлая и прелесть умной речи.
Он в свете был министр, а у себя поэт,
Отрекшийся от всех соблазнов и сует;
Пред старшими был горд заслуженным почетом:
Он шел прямым путем и вывел честным счетом
Итог своих чинов и почестей своих.
Он правильную жизнь и правильный свой стих
Мог выставить в пример вельможам и поэтам,
Но с младшими ему по чину и по летам
Спесь щекотливую охотно забывал;
Он ум отыскивал, талант разузнавал,
И где их находил — там, радуясь успеху,
Не спрашивал: каких чинов они иль цеху?
Но настежь растворял и душу им, и дом.
Заранее в цветке любуяся плодом,
Ласкал он молодежь, любил ее порывы,
Но не был он пред ней низкопоклонник льстивый,
Не закупал ценой хвалебных ей речей
Прощенья седине и доблести своей.
Вниманьем ласковым, судом бесстрастно-строгим
Он был доступен всем и верный кормчий многим,
Зато в глупцов метка была его стрела!
Жужжащий враль, комар с замашками орла,
Чужих достоинств враг, за неименьем личных;
Поэт ли, образец поэтов горемычных;

Надутый самохвал, сыгравший жизнь вничью,
Влюбленный по уши в посредственность свою
(А уши у него Мидасовых не хуже);
Профессор ли вранья и наглости к тому же;
Пролаз ли с сладенькой улыбкою ханжи;
Болтун ли, вестовщик, разносчик всякой лжи;
Ласкатель ли в глаза, а клеветник заочно; —
Кто б ни задел его, случайно иль нарочно,
Кто б ни был из среды сей пестрой и смешной,
Он каждого колол незлобивой рукой,
Болячку подсыпал аттическою солью —
И с неизгладимой царапиной и болью
Пойдет на весь свой век отмеченный бедняк
И понесет тавро: подлец или дурак.
Под римской тогою наружности холодной,
Он с любящей душой ум острый и свободный
Соединял; в своих он мненьях был упрям,
Но и простор давать любил чужим речам.
Тип самобытности, он самобытность ту же
Не только допускал, но уважал и вчуже;
Ни пред собою он, ни пред людьми не лгал.
Власть моды на дела и платья отвергал:
Когда все были сплошь под черный цвет одеты,
Он и зеленый фрак, и пестрые жилеты
Носил; на свой покрой он жизнь свою кроил,
Сын века своего и вместе старожил.
Хоть он Карамзина предпочитал Шишкову,
Но тот же старовер, любви к родному слову,
Наречием чужим прельстясь, не оскорблял
И русским русский ум по-русски заявлял.
Притом, храня во всем рассудка толк и меру,
Петрова он любил, но не в ущерб Вольтеру,
За Лафонтеном вслед, он вымысла цветы,
С оттенком свежести и блеском красоты,
На почву русскую переносил удачно.
И плавный стих его, струящийся прозрачно,
Как в зеркале, и мысль и чувство отражал.
Лабазным словарем он стих свой не ссужал,
Но кистью верною художника-поэта
Изящно подбирал он краски для предмета:
И смотрят у него, как будто с полотна,
Воинственный *Ермак* и *Модная жена.*

Случайно ль заглянусь на дом сей мимоходом,—
Скользят за мыслью мысль и год за дальним годом.
Прозрачен здесь поток и сумрак дней былых:
Здесь память с стаею заветных снов своих
Свила себе гнездо под этим милым кровом;
Картина старины, всегда во блеске новом,
Рисуется моим внимательным глазам,
С приветом ласковым улыбке иль слезам.

Как много вечеров, без светских развлечений,
Но полных прелести и мудрых поучений,
Здесь с старцем я провел; его живой рассказ
Ушам был музыка и живопись для глаз.
Давно минувших дней то Рембрандт, то Светоний,
Гражданских доблестей и наглых беззаконий
Он краской яркою картину согревал.
Под кисть на голос свой он лица вызывал
С их бытом, нравами, одеждой, обстановкой;
Он личность каждую скрепит чертою ловкой
И в метком слове даст портрет и приговор.

Екатерины век, ее роскошный двор,
Созвездие имен, сопутников Фелицы,
Народной повести блестящие страницы,
Сановники, вожди, хор избранных певцов,
Глашатаи побед: Державин и Петров,—
Все облекалось в жизнь, в движенье и в глаголы.

То, возвратясь мечтой в тот возраст свой веселый,
Когда он отроком счастливо расцветал
При матери, в глазах любовь ее читал,
И тайну первых дум и первых вдохновений
Любимцу своему поведал вещий гений,—
Он тут воспоминал родной дубравы тень,
Над светлой Волгою горящий летний день,
На крыльях парусов летящие расшивы,
Златою жатвою струящиеся нивы,
Картины зимние и праздники весны,
И дом родительский, святыню старины,
Куда издалека вторгалась с новым лоском
Жизнь новая, а с ней слетались отголоском
Шум и событья дня, одно другому вслед:
То задунайский гром румянцовских побед,
То весть иных побед миролюбивой славы,

Науки торжество и мудрые уставы,
Забота и плоды державного пера,
То спор временщиков на поприще двора,
То книга новая со сплетнею вчерашней.
Всю эту жизнь среды семейной и домашней,
Весь этот свежий мир поэзии родной,
Еще сочувственный душе его младой,
Умевшей сохранить средь искушений света
Всю впечатлительность и свежесть чувств поэта,—
Все помнил он, умел всему он придавать
Блеск поэтический и местности печать.
Он память вопрошал, и живописью слова
Давал минувшему он плоть и краски снова.
То Гогарта схватив игривый карандаш
(Который за десять из новых не отдашь),
Он, с русским юмором и напрямик с натуры,
Из глупостей людских кроил карикатуры.
Бесстрастное лицо и медленная речь;
А слушателя он умел с собой увлечь,
И поучал его, и трогал — как придется,
Иль со смеху морил, а сам не улыбнется.
Как живо памятны мне эти вечера —
Сдается, старца я заслушался вчера.

Давно уж нет его в Москве осиротевшей!
С ним светлой личности, в нем резко уцелевшей,
Утрачен навсегда последний образец.
Теперь все под один чекан: один резец
Всем тот же дал объем и вес: мы променяли
На деньги мелкие — старинные медали;
Не выжмешь личности из уровня людей.
Отрекшись от своих кумиров и властей,
Таланта и ума клянем аристократство;
Теперь в большом ходу посредственности братство:
За норму общую — посредственность берем,
Боясь, чтоб кто-нибудь владычества ярем
Не наложил на нас своим авторитетом;
Мы равенством больны и видим здравье в этом.
Нам душно, мысль одна о том нам давит грудь,
Чтоб уважать могли и мы кого-нибудь;
Все говорить спешим, а слушать не умеем;
Мы платонической к себе любовью тлеем,
И на коленях мы — но только пред собой.

В ином и поотстал наш век передовой,
Как ни цени его победы и открытья:
В науке жить умно, в искусстве общежитья,
В сей вежливости форм изящных и простых,
Дававшей людям блеск и мягкость нравам их,
Которая была, в условленных границах,—
Что слог в писателе и миловидность в лицах;
В уживчивости свойств, в терпимости, в любви,
Которую теперь гуманностью зови;
Во всем, чем общество тогда благоухало
И, не стыдясь, свой путь цветами усыпало,
Во всем, чем встарь жилось по вкусу, по душе,
Пред старым — новый век не слишком в барыше.
Тот разговорчив был: средь дружеской беседы
Менялись мыслями и юноши и деды,
Одни с преданьями, плодами дум и лет,
Других манил вперед надежды пышный цвет.
Тут был простор для всех и возрастов, и мнений,
И не было вражды у встречных поколений.

Так видим над Невой, в прозрачный летний день,
Заката светлого серебряная тень
Сливается в красе торжественной и мирной
С зарею утренней на вышине сафирной;
Здесь вечер в зареве, там утро рассвело
И вечер так хорош, и утро так светло,
Что радости своей предела ты не знаешь:
Ты провожаешь день, ты новый день встречаешь,
И любишь дня закат, и любишь дня рассвет,—
И осень старости, и весну юных лет.

М. А. Дмитриев

МЕЛОЧИ ИЗ ЗАПАСА МОЕЙ ПАМЯТИ <Фрагменты>

История нашей поэзии делится на три периода. От Ломоносова до Дмитриева — период старого стиля, и в слове и в формах поэзии; от Дмитриева включительно до Пушкина — период нового стиля и художественности; после Пушкина период произведений без всякого стиля и формы<...>

И. И. Дмитриев совершил для русского языка то же, что Карамзин для прозы; то есть он дал ему простоту и непринужденность естественной речи, чистоту выражения и совершенную правильность словосочинения, без натяжек и перестановок слов для меры и для наполнения стиха, чем обезображивали старинные стихотворцы язык поэзии. Язык поэзии, язык богов, должен быть текучее и плавнее обыкновенного языка человеческого; а у них он был всегда связан и с запинкою. И поэты, и читатели оправдывали это тем, что стихотворный язык стесняет мера; но Дмитриев доказал, что она не стесняет дарования. Жуковский, Батюшков, Пушкин подтвердили то же своим примером. Дмитриев и Карамзин стоят на одном ряду как преобразователи языка нашего: один в стихах, другой в прозе. С них началась в нашей литературе эпоха художественности.

Дмитриев начал свое литературное поприще, как и Карамзин, с переводов. Первый опыт его был «Философ, живущий у хлебного рынка», небольшая статья, написанная в Париже, по случаю рождения дофина; но как русский перевод был напечатан 1777 года, вскоре по рождении великого князя Александра Павловича, то он принят был с большим вниманием, как размышление о судьбе, ожидающей порфирородного младенца. Эта книжка имела два издания: второе — 1786 года.

Другой его опыт в прозе был «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина». Эта книжка имела тоже два издания; второе — 1786 года<...>

Даже гораздо позже первых опытов, печатая свои стихи в «Московском журнале» (1791 и 1792), он подписывался только одною литерою *И.*; а в «Аонидах» и последующих журналах ставил под своими стихами только три звездочки ***. По этим признакам можно узнать те из его стихов, которых он не поместил в собрании своих сочинений.

Но, несмотря на аноним, публика скоро узнала даровитого поэта. Басни и сказки Дмитриева очаровали современников; последние и теперь, через шестьдесят лет, остаются единственными. Он первый начал говорить в них языком светского общества и первый проложил путь языку «Онегина». Басни его уступают Хемницеру в простодушии, Крылову — в изобретении и народности; но по чистоте и благородству слога и по языку поэзии остаются и доныне первыми.

Один из нынешних авторов, г. Мизко из Одессы, написал в своей книге, будто «записные аристархи того времени, благоговея пред именитостию, столько же литературною, сколько и *чиновною*, Дмитриева (каков слог нынешнего аристарха!), не смели промолвиться лишним словом о новом его сопернике, Крылове; о старом же Хемницере и помину не было!» «В последнее время своей государственной службы (прибавляет г. Мизко в примечании) Дмитриев был министром юстиции».

Это доказывает только, что нынешний аристарх не читал того, что писали тогдашние аристархи; иначе он не обвинил бы их в низком побуждении молчать о Крылове потому только, что другой баснописец был министр юстиции. Он не забыл бы, что Жуковский (в 1809) написал прекрасную статью «О басне и баснях Крылова». Он вспомнил бы, что Каченовский писал о баснях Крылова в «Вестнике Европы» 1812 года, именно тогда, когда Дмитриев был министром. Он знал бы, что Мерзляков в своих лекциях, которые были напечатаны, превозносил Хемницера! <...>

Нынешний аристарх, конечно, не знает и того, что Каченовский писал критику на сочинения самого Дмитриева (1806); что А. Е. Измайлов делал на его басни строгие замечания, когда тот был уже министром; что Дмитриев воспользовался рецензиею последнего и исправил в последующем издании все, замеченное критиком.

Прибавлю к этому известие, как встретил Дмитриев басни своего соперника. Первые свои две басни Крылов принес к Дмитриеву, который обрадовался даровитому сопернику и сам отдал их напечатать. Они были помещены в «Московском зрителе» (1806, стр. 73) с таким примечанием издателя: «Я получил сии прекрасные басни от Ив. Ив. Дмитриева. Он отдает им справедливую похвалу и желает, при сообщении их, доставить и другим то удовольствие, *которое они принесли ему*». Всего замечательнее, что одна из этих басен была «Дуб и Трость», в которой Крылов (переводя ее после Дмитриева) именно вступал этим с ним в соперничество! <...>

Надобно сказать, однако, что̀ побудило Каченовского написать критику на сочинения Дмитриева. Сначала он был один из его почитателей, посвятил ему даже первое издание своего перевода «Афинских писем» и ни одной книжки «Вестника Европы» не печатал без его одобрения. В 1806 году Державин прислал к Дмитриеву кантату «Цирцея» из Руссо и стихи «Дева за клавесином» из Шиллера. В одной из них Дмитриев поправил некоторые стихи, как это случалось и прежде, и, не уведомив об этом Державина, отдал напечатать Каченовскому в № 7 «Вестника». Державин, думая, что эта поправка сделана самим издателем, написал к нему строгое письмо. Каченовский пришел к Дмитриеву с изъявлением своей досады, как будто это сделано было с намерением. Дмитриев отвечал ему, что он напишет к Державину и оправдает издателя, но что, впрочем, он очень равнодушен к «Вестнику Европы», который вышел уже из рук Карамзина и теперь ему *ни друг, ни брат*. Каченовского это рассердило, и он напечатал критику на сочинения Дмитриева в апрельском (8-м) номере журнала. После этого, хотя Дмитриев и признавал некоторые, весьма

немногие, из его замечаний справедливыми; но, видя побуждение издателя к мелкому мщению, перестал печатать свои стихи в его «Вестнике». С этого времени они сделались холодны с Каченовским <...>

Я записываю одни мелочи, которые мне приходят на память. Но кто хочет узнать жизнь Ив. Ив. Дмитриева, тот может прочитать его подробную биографию, написанную князем П. А. Вяземским и напечатанную при издании сочинений Дмитриева в двух томах 1823 года.

Это издание, не умноженное, как бывает обыкновенно, но уменьшенное самим автором, изображает этим, как нельзя лучше, замечательную черту его характера и таланта: его благоразумную осторожность и строгость вкуса. Он к себе был строже в поэзии, чем к другим. Когда он мне передал рукопись, составленную им для этого издания, и поручил переписать ее, я с удивлением заметил, что между прочим он выключил три лучшие свои произведения: «Освобождение Москвы», «Чужой толк» и «Послание к Карамзину». Не вступаясь за другие пьесы, тоже прекрасные, я решился уговорить его, чтобы он не выключал по крайней мере этих. Дядя мой никак не соглашался. Наконец, я просил хоть объяснить мне причину их изгнания.

«Освобождение Москвы»,—сказал мне дядя.—Я чувствую, что эта пиеса мне не удалась. Я хотел сделать нечто драматическое, но не сладил, и с той поры она всегда напоминает мне мою неудачу!»—«Но она,— отвечал я,— прекрасна в том виде, в каком есть; а читатели не могут сравнивать ее с тем, чем она могла бы быть, если бы вы написали ее иначе. А послание к Карамзину?» — «Послание к Карамзину,— сказал он,— не имеет в себе *целости и круглоты!*» — «Как и всякое послание,— возразил я и начал читать из него стихи, составляющие прекрасную картину природы:

Как волжанин, люблю близ вод искать прохлады <...>

Наконец, я спросил и об исключении «Чужого толка».— «Сатира у меня только одна и есть,— отвечал мне дядя.— Стоит ли труда помещать ее? Кроме того, цель ее нейдет уже к нынешним произведениям поэзии».

Мне чрезвычайно любопытно было слышать его мнение о собственных его произведениях. Однако я отстоял все эти три пиесы, сказав, что непременно перепишу и их вместе с другими и что можно будет выключить их и после, если он не переменит своего мнения.

Это издание напечатано было по желанию Петербургского Общества Словесности, Наук и Художеств и издано его иждивением, с портретом автора; это то Общество, которое называлось в Петербурге Обществом Соревнователей. Портрет литографирован с оригинала, рисованного знаменитым *Тончи.*

Ив. Ив. Дмитриев глубоко почитал Ломоносова; любил и высоко ценил Державина; уважал в Петрове обилие мыслей и силу; в Хераскове признавал главным достоинством терпение. Нередко смеялся он, вспоминая некоторые стихи Державина, которые он, по его совету, принимался поправлять, но потом, не сладив с поправкою, махнет рукой и бросит!

Сам он был чрезвычайно восприимчив к красотам природы и чувствителен к красотам поэзии. Однажды, в старости, незадолго до своей кончины, он стал читать мне вслух некоторые строфы Ломоносова. Вдруг голос его задрожал, и на глазах показались слезы. Это меня тем более удивило, что в строфах Ломоносова не было ничего чувствительного. Я спросил его об этом. «Это так хорошо,— отвечал он,— так живописно и полно гармонии, что меня несколько тронуло!» <...>

Не было писателя и стихотворца, которому бы Дмитриев не отдавал справедливости и той именно похвалы, которую тот заслуживает по мере своего таланта. Он разбирал строго, анализировал подробно и доказывал ошибки без уступчивости; но всегда хладнокровно, учтиво, с достоинством. Если же находил черту таланта, теплое чувство, хороший стих, он поднимал их, возвышал и показывал во всем блеске. Если хорошее превышало дурное, давал перевес похвале перед порицанием. Это тем замечательнее, что от самого себя требовал он пол-

ного совершенства и в частях, и в целом, и никогда не довольствовался частностями, что доказывается его мнением о своем послании к Карамзину. Одного не прощал он: низкого чувства и низкого, площадного выражения, которые при нем уже начинались. О стихах просто вялых он говорил неохотно, нéхотя и забывал их на суде своем. Но над стихами графа Хвостова — le sublime de qalimatias[1] — от души смеялся, и с каким-то особенным добродушным наслаждением.

Это ведет меня опять к отступлению. Гр<аф> Хвостов любил посылать, что́ ни напечатает, ко всем своим знакомым, тем более к людям известным. Карамзин и Дмитриев всегда получали от него в подарок его стихотворные новинки. Отвечать похвалою, как водится, было затруднительно. Но Карамзин не затруднялся. Однажды он написал к нему, разумеется, иронически: «Пишите, пишите! учите наших авторов, как должно писать!» — Дмитриев очень укорял его, говоря, что Хвостов будет всем показывать это письмо и им хвастаться; что оно будет принято одними за чистую правду, другими за лесть; что и то и другое не хорошо». — «А как же ты пишешь?» — спросил Карамзин. «Я пишу очень просто. Он пришлет ко мне оду, или басню; я отвечаю ему: «Ваша ода, или басня, ни в чем не уступает старшим сестрам своим!» Он и доволен, а между тем это правда». Оба очень этому смеялись!

Однажды только сочинения гр. Хвостова вывели из терпения Дмитриева. Вот по какому случаю. Он ожидал из Петербурга книг, которые обещал ему прислать из чужих краев Д. П. Северин. Получается с почты огромный ящик. Ив. Ив. чрезвычайно обрадовался давно ожидаемой посылке. Открывает с нетерпением. И что же? — множество экземпляров полного издания сочинений гр. Хвостова и к нему, и с поручением раздать другим! Чрезвычайно смешно было видеть эту неудачу! <...>.

---

[1] Возвышенная галиматья *(фр.)*.

Было время, когда Ив. Ив. Дмитриев считался в Москве авторитетом в литературе. Ничего не выходило в печать из рук лучших авторов, не подвергнувшись прежде его суждению и совету. Жуковский, приготовив к печати первое издание своих стихотворений (2 части in 4⁰), прежде давал ему на рассмотрение свою рукопись.

Я помню, когда жил в доме моего дяди (1813—1814) и после этого, когда государь Александр Павлович приезжал на несколько месяцев в Москву, Жуковский, Батюшков, Воейков, князь Вяземский, Дм. В. Дашков собирались часто по вечерам у моего дяди. Их разговоры и суждения о литературе были для меня, молодого еще человека, истинным руководством просвещенного вкуса. Но в последствии времени, когда изменилось направление литературы, когда появились молодые писатели, самонадежнее прежних, это новое поколение отделялось от Дмитриева (кроме Пушкина, кн. Одоевского и С. Е. Раича). Оно отделялось потому, что Дмитриев, уважая других, требовал и к себе уважения и соблюдения всех приличий; равняя всех своих знакомых своею равною ко всем приветливостию, он любил, однако, чтоб они не забывались и чтобы всякий знал свое место.

А. Ф. Мерзляков, который после своей женитьбы отстал от прежних знакомых, бывал у него редко, и то по утрам. Он принял на свой счет эпиграмму Дмитриева, напечатанную в его сочинениях:

Подзобок на груди, и подогнув колена <...>

Правда, что этот портрет похож был и на фигуру Мерзлякова; притом слова *классик* и *лекции* могли подать Мерзлякову повод к подозрению; но Дмитриев уважал труды Мерзлякова и самого его, как человека, достойного уважения по своему благородному сердцу. Эта эпиграмма написана была на графа Хвостова, который переводил французских классиков; я это знаю верно и утверждаю.

Во всяком авторе встречаются места, к которым не лишнее прибавлять объяснения. Так, например, в «Карикатуре» Дмитриева:

Сними с себя завесу,
Седая старина,
Да возвещу я внукам,
Что ты откроешь мне!

Это описано истинное происшествие, случившееся в Сызранском уезде, в деревне Ивашевке, в 12 верстах от нынешней моей деревни. Описанный в «Карикатуре» вахмистр Шешминского полку — Прохор Николаевич Патрикеев. Он в молодых летах женился, будучи еще *недорослем* (так называли дворян, не бывших еще на службе), потом, оставя жену в деревне, отправился в полк. Это было еще до Петра Третьего, когда чины шли туго и отставок не было; почты тоже не было, а потому он как человек небогатый, вероятно, не имел никаких средств получать известия о своем семействе. Наконец, дослужившись до вахмистров в царствование Екатерины и в пожилых уже летах, он вышел в отставку и воротился верхом на своем боевом коне в свою Ивашевку<...> Жену его звали Аграфена Семеновна. Но жены он не нашел уже. Она была судима в пристанодержательстве и, вероятно, сослана. Некому было дать мужу и известия о ее участи: происшествие это было уже старое и забытое.<...>Я знал его сына от второго брака. Его звали Василий Прохорович. Я помню, что он, по доброте своей, был предметом мистификаций всего уезда.

У меня есть картинка, написанная пером, самим Дмитриевым в его молодости: она изображает *Патрикеева,* подъезжающего *на старом рыжаке* к селу Ивашевке. Там не забыт и тощий кот, мяучащий на кровле.

Эта деревня Ивашевка в старину отличалась чудаками. Драгунский витязь, ротмистр *Брамербас,* к которому обращается Дмитриев в сказке «Причудница», тоже списан с натуры. Это был тамошний же помещик, самый чиновный из многочисленных мелких дворян той деревни, майор Ивашев<...>

Расскажу кстати анекдот об этом майоре Ивашеве. Однажды вечером возвращался он под пьяную руку, верхом на коне в свою Ивашевку. Видит он, что на лугу, недалеко от околицы расставлены два белые шатра. Вспомнив, вероятно, сказки, вскрикнул он громким голосом: «Кто в моих заповедных лугах шатры разбил?» Ответа не было. Он пустил вскачь своего коня богатырского прямо на шатры и попал между ними, в веревки, которыми они были натянуты и которые переплетались одна с другими. Конь запутался и упал; шатры зашатались и тоже упали. Дело было вот в чем. Это проезжал Казанский архиерей осматривать свою епархию. В одном шатре служили в его присутствии вечерню, а в другом готовили ему кушанье. Архиерей выбежал и, видя лежащего человека, закричал: «Шелепов!» По окончании наказания, Ивашев вскочил опять на коня, ударился скакать в Ивашевку и повестил всем жителям, что едет архиерей, и пресердитый, так, что его высек! Поутру все ивашевские барыни собрались чем свет к околице встречать владыку; и при въезде его упали ниц, с воплем, сквозь который было слышно: «Батюшка, земной бог! не погуби!» Архиерей расхохотался и проехал мимо. Кто поверит, что это правда? Таковы были люди, таковы были нравы!

Стихотворение «Отъезд» было написано Дмитриевым в Сызрани, при возвращении его из годового отпуска в Петербург, на гвардейскую службу в Семеновский полк. Написавши эту пьесу, он читал ее в домашнем кругу, где были и посторонние. Когда дошел он до этого места:

И где в замерзлом ручейке
Видался каждый день с Наядой;
Где куст, береза вдалеке
Казались мне гамариадой,
А дьяк или и сам судья
Какой-нибудь Цирцеи жертвой...

один из слушателей, бывший в то время судьею, встал, поклонился и очень добродушно сказал: «Покорнейше благодарю, батюшка Иван Иванович, что и нас не забыли!» Какова была простота! Может быть, и нынче не

знают, что спутники Одиссея были превращены в свиней; но не поблагодарят же так добродушно! Какое-то чувство сказало бы: «Верно, он над нами смеется!»<...>

Все лучшие стихотворения Дмитриева были написаны им в Сызрани, во время отпусков из гвардейской службы. Спокойная, беспечная жизнь, недостаток рассеянности, влекли его к тихим занятиям с Музою; а живописные виды с высокого берега реки Крымзы, сливающейся с великолепною Волгою во время их разлива, видимою с высоты, на которой стоял дом отца его, возбуждали в нем картины воображения. Таким образом, с первой молодости, в стороне, где он не мог находить общества просвещенного, общества по себе, он создавал вокруг себя мир другой, мир поэтический. Таким образом, сказывал он мне, что план «Ермака» обдумывал он, играя в шашки с одним гостем своего отца.

Когда он рисовал в воображении картину, которую намеревался представить в стихах, он имел привычку обдумывать все ее части и подробности и спрашивать себя: мог ли бы их изобразить на полотне живописец? Только в таком случае он признавал картину достойною кисти поэта.<...>

Привыкнувши с молодости к природе, простоте жизни и деятельности, Ив. Ив. Дмитриев вставал очень рано, сам варил себе кофий, потом немедленно одевался. Редко, очень редко мне случалось заставать его в шлафроке, и то разве тогда, когда он был нездоров. Всякий день он ходил пешком, и ходил много. Этой ранней привычки он не оставлял даже и тогда, когда он был министром: у него на все доставало времени. В Москве, в своих прогулках, нередко вслушивался он в разговоры людей из простого народа и сам вступал в речь с ними. Иногда он приносил из этих прогулок очень верные замечания и черты народного характера, которые он умел рассказывать с неподражаемым искусством! Его шутка, сопровождаемая всегда важным видом, была необыкновенно метка и забавна. Читал он очень много; следил постоянно за происшествиями своего времени и за литера-

турою. Садоводство, или, лучше сказать, зелень деревьев и луга английского сада,— это было его страстию! Другая его страсть были эстампы лучших мастеров. Но в этом он не следовал записным охотникам, которые ценят эстампы по признакам, описанным в каталогах. Он следовал своему вкусу и никак не ошибался! Иногда покупал он эстамп для поэтического его сюжета, чего не делают охотники. Страсть к саду и к эстампам наследовал и я от него и присовокупил к тем, которые мне от него достались.<...>

Многим современникам известно, что в начале царствования императора Павла Ив. Ив. Дмитриев был взят под стражу; но неизвестны причины и подробности этого происшествия. Так как в этом деле, с одной стороны, была справедливая предосторожность, с другой стороны, выказывается какая-то рыцарская откровенность великодушия в государе, то я опишу, как это было.

В начале царствования императора Павла Дмитриев вышел из гвардии в отставку с чином полковника и с мундиром.

В самый день крещения (1797), в который бывает церковный ход на воду и парад войск, Дмитриев перед самою обеднею лежал еще в постеле и читал книгу — какую же книгу!—«La conjuration de Venise», par Saint-Réal [1]. Входит к нему двоюродный его брат Иван Петрович Бекетов, в мундире и в шарфе, и говорит ему шутя: «Вот право счастливец! Лежит спокойно, а мы будем мерзнуть на вахтпараде!» Пробывши у него с четверть часа, он вышел и находит у наружных дверей часового! Он хотел воротиться назад, но его уже не пустили.

Вдруг вошел к Дмитриеву второй военный губернатор, Николай Петрович Архаров (первым был наследник, великий князь Александр Павлович), и сказал ему очень учтиво, чтоб он одевался и ехал с ним. Дмитриев начал одеваться, хотел, по тогдашней строгой форме, причесываться, делать букли, косу и пудриться; но Архаров сказал, что это не нужно, и потому Дмитриев оделся наскоро в мундир и с распущенными волосами сел с Архаровым в его карету и поехал. Проходя через перед-

[1] «Заговор в Венеции», сочинение Сен-Реаля *(фр.)*.

нюю, он сказал только своему слуге: «Скажи братьям». Карета остановилась у дворца. Взойдя на крыльцо, он увидел своего сослуживца Лихачева, тоже привезенного полицеймейстером, под надзором которого Архаров оставил их обоих, а сам пошел вверх по лестнице во внутренние комнаты. Оба арестанта бросились друг к другу с вопросом: «Не знаешь ли, за что?» — И оба вдруг отвечали: «Не знаю!»

Вскоре их обоих позвали. Надлежало проходить чрез все парадные комнаты дворца, наполненные, по случаю торжественного дня, генералитетом, Сенатом, камергерами, камер-юнкерами, высшими чинами двора, придворными дамами. Их ввели в кабинет государя; он был окружен одним императорским семейством.

Император сказал им: «Господа! мне подан донос, что вы покушаетесь на мою жизнь!» В эту минуту великие князья Александр и Константин оба заплакали и бросились обнимать отца. Павла это тронуло. Он продолжал: «Я хотя и не думаю, чтоб этот донос был справедлив, потому что все свидетельствуют об вас одно хорошее; особливо за тебя все ручаются!» — сказал он, оборотясь к Дмитриеву. (Действительно, за него все ручались, и сам наследник; особенно же тогдашний генерал-майор Федор Ильич Козлятев, человек добродетельный и строгий к долгу, хотя и добродушный философ; об нем я напечатал некогда статью в *прежней* «Молве», издававшейся Надеждиным.) — Впрочем,— продолжал государь,— я так еще недавно царствую, что никому, думаю, не успел еще сделать зла! Однако, если не так, как император, то как человек, должен для своего сохранения принять предосторожности. Это будет исследовано, а пока — вы оба будете содержаться в доме Архарова». Их вывели, и они поселились у военного губернатора. В первый день они обедали вместе с хозяином, но так как начало приезжать множество любопытных, то Архаров предложил им обедать одним в своей комнате, чему они были и рады. Три дня прожили они в неизвестности о своей участи.

В это время (рассказывал мой дядя) один случай рассмешил его. Вдруг выглядывает к нему в комнату мальчик, хорошо одетый, и спрашивает, можно ли войти. Дмитриев позвал его, приласкал и спросил: что ему надобно? Это был племянник Архарова. «Я слышал,—

отвечал мальчик,— что вы пишете стихи; я тоже пишу и пришел попросить вас, чтоб вы поправили».

Через три дня вся эта история кончилась. Дело было вот в чем. Слуга Лихачева (но не этого, а двоюродного его брата, с которым Дмитриев вовсе не был знаком) подал этот донос в надежде получить за это свободу. Для достоверности нужно ему было припутать другого, и он припутал Дмитриева. Архаров, немедленно по взятии их под стражу, бросился обыскивать слуг и их платье; у доносчика найдено было в кармане черновое письмо к родственникам, в котором он писал, что скоро будет вольным. Это письмо, при сходстве почерка с доносом, послужило к открытию истины. Проницательность Архарова и доныне сохраняется в памяти.

После этого Дмитриев и Лихачев опять были представлены государю. Павел встретил их с распростертыми объятиями. Так как Дмитриев шел впереди, то его первого обнял Павел, не допустив его стать на одно колено, по тогдашнему этикету. В это время Лихачев успел уже стать, как следовало. Государь, увидя это, бросился поднимать его и сказал громко: «Встаньте, сударь, а не то подумают, что я вас прощаю!»

В императоре Павле было что-то рыцарское. Но этой черты не описано подробно в «Записках» Дмитриева, а, помнится, упомянуто о всем происшествии кратко, хотя он не однажды все это мне и другим рассказывал. Потом государь пригласил их обоих к обеду.

Эта история послужила к счастию Дмитриева. Государь приказал великому князю Александру Павловичу спросить Дмитриева, чего он хочет? Он не хотел ничего, кроме спокойной жизни в отставке. Наконец, в третий раз, Александр Павлович настоятельно уже сказал ему: «Скажи что-нибудь; батюшка решительно требует!» Тогда он отвечал, что желает посвятить жизнь свою службе государю. Вследствие этого ответа он был сделан товарищем министра уделов. Потом уже он получил место обер-прокурора. Тогда это было повышением<...>

В 1809 году, в последних числах декабря, когда Ив. Ив. Дмитриев был уже четыре года сенатором, получил он письмо от Алекс. Дмитр. Балашова, который писал к нему, что государь император приказал вызвать

его в Петербург и приказал написать, что ему *приятно бы было видеть его к Новому году*. Вслед за этим получил он другое письмо от Сперанского, что государь расчел, что к Новому году он не успеет приехать, и ожидает его после 1-го января. Это был вызов на министерство, при новом учреждении министерств 1810 года.

Будучи уже министром, Дмитриев имел все еще одну Анненскую ленту. Однажды, после доклада, он сказал государю: «Простите, ваше величество, мою смелость и не удивитесь странности моей просьбы». — «Что такое?»—«Я хочу просить у вас себе Александровской ленты».— «Что тебе вздумалось?» — спросил государь с улыбкой. «Для министра юстиции нужно, государь, иметь явный знак вашего благоволения: лучше будут приниматься его предложения».— «Хорошо,— отвечал государь,— скоро будут торги на откупа: ты ее получишь». Так и сделалось. Когда Дмитриев пришел благодарить государя, он спросил с улыбкой: «Что? ниже ли кланяются?» — «Гораздо ниже, ваше величество!» <...>

До войны 1812 года или, лучше сказать, до последовавших за нею отлучек государя Дмитриев был совершенно доволен своею службою и своим положением. Государь его любил и ценил его чистые правила, его благородный характер. Но с отлучками государя из Петербурга положение Ив. Ив. Дмитриева как министра переменилось. Известно, что во все это время распространены были действия Государственного совета и даже власть Комитета министров; что в них поступали и ими разрешались окончательно некоторые дела административные, которые прежде вносились на утверждение самого государя; что князь Н. И. Салтыков, который был тонкий и лукавый придворный, в это время почти правил Россиею. Вместе с делами по некоторым отдельным частям управления, по поставкам на армию и проч. Совет и даже Комитет начали присвоивать себе эту власть и по Сенату.

Рапорты Общего собрания Сената, по делам окончательно решенным, представлялись государю; тут, вместе с другими бумагами, и они вносились тоже в Комитет.

Государь принимал эти рапорты только к сведению; ибо на решения Общего собрания Сената по закону (Образование Государственного совета, § 97-й, пункт 2) не принимается жалоб на высочайшее имя. Нынче, конечно, их принимают, но это по какому-то забвению закона, который все-таки существует, а покойный государь (Александр Павлович) строго его держался. Но вышел вот какой случай.

В Общем собрании петербургских департаментов Сената было дело малолетних наследников тайного советника Судиенки с помещиком Покорским-Журавкою, которое было решено не в пользу малолетних, но которого решение было согласовано министром юстиции, следовательно, было окончательное. Рапорт Общего собрания по этому делу был, по журналу Комитета, тоже принят к сведению, этот журнал был подписан всеми, в том числе и Кочубеем, который впоследствии был сделан графом.

Через несколько времени после того напомнили Кочубею, что он опекун малолетних Судиенков и что ему следовало за них вступиться. Кочубей начал упрашивать товарищей, чтобы дело перенесли в Совет для пересмотра, и все согласились, кроме Дмитриева, который, отстаивая права Сената, министра, и главное — закон, подал по этому случаю мнение, которое приняли и по которому должно было последовать какое-нибудь заключение Комитета. Но просматривая журнал этого числа (поданный к подписанию нарочно через несколько дней, в надежде, что число не придет на память министру юстиции и что он этот журнал подпишет), Дмитриев не нашел в этом журнале своего мнения и потребовал, чтоб оно было записано. Салтыков и другие отвечали, что они оставляют предложение Кочубея без последствий и что он сам на это согласен, следовательно, все это останется безгласным. Но вот что сделали впоследствии.

Спустя несколько времени после этого, когда Дмитриев был уверен, что о Судиенках оставлено и забыто, Салтыков, который был председателем Государственного совета, а вместе и Комитета министров, представил *от себя* государю, что Комитет, за множеством других дел, не может рассматривать подробно сенатских рапортов и докладов, вносимых Сенатом на высочайшее имя; и потому не угодно ли будет повелеть *все без исключения* доклады и рапорты, взносимые Сенатом на высочайшее имя, пере-

дать на рассмотрение Государственного совета. Это представление, одностороннее и двусмысленное, удостоилось высочайшего утверждения; и вследствие этого не только рапорты и доклады, но *все дела* по этим рапортам, даже решенные окончательно, для *одного дела Судиенки*, были переданы на рассмотрение Государственного совета! Сколько людей, которых тяжбы были уже окончены, пострадали от этого? Таких опытов был не один! Все это было тяжелым камнем на груди министра юстиции!

Многие такие действия Комитета министров побудили Дмитриева проситься в отставку. На случай же несогласия на это государя писал он к Балашову, чтоб ему исходатайствовать бессрочный отпуск. Государь уволил его на четыре месяца; потом еще на два; наконец, не согласился уволить долее, и Дмитриев возвратился на министерство.

Но когда возвратился государь из-за границы, дела приняли другой оборот. Личных докладов министров уже не было: их докладные дни были отменены; все дела шли через графа Аракчеева. Дмитриев не имел случая объясниться с государем и просил уже решительно об отставке. Министерство принял, по его рекомендации, сенатор Алексей Ульянович Болотников. Ему оставил Дмитриев замечательное письмо, в котором писал, что, может быть, ему и впредь не удастся объяснить государю, почему он так настойчиво просился в отставку, и потому он просил его, при удобном случае, довести об этом до сведения государя. «Таким образом,— заключает Дмитриев,— я вас делаю душеприказчиком моей чести».

Вероятно, наконец, государь узнал истину: ибо, уволивши Дмитриева от службы с заметным неудовольствием, он вскоре как будто искал случая вознаградить его. В Москве была учреждена Комиссия для рассмотрения просьб, подаваемых на высочайшее имя, от людей, разоренных неприятелем. Дмитриев был сделан председателем этой Комиссии и получил потом две награды, которые возбудили большую зависть и много толков.

Я сидел у дяди вечером. К нему приехал Степан Жихарев, служивший тогда при статс-секретаре Марченке. Он сказал Ивану Ивановичу, что ему поручено узнать, какой бы он награды желал. Дмитриев сказал, что всякая награда государя будет для него милостию. Но когда сказал Жихарев, что, кажется, хотят дать ему бриллиантовые знаки Александра, тогда Иван Иванович отвечал, что бриллианты — те же деньги, а он никогда не служил из денег; что он в свое краткое министерство сделал столько-то прибыли казне; что, по статуту, он заслуживает Владимира; и потому пусть ему лучше дадут хоть четвертую степень этого ордена. Государь пожаловал ему чин действительного тайного советника; а по окончании всех дел и по закрытии Комиссии он получил Владимира первой степени.

Итак, после своей отставки Ив. Ив. Дмитриев переехал опять в Москву, думая найти в ней прежнюю жизнь, прежних друзей, прежнее общество. Но время, особенно 1812 год, много изменило: под старость он скучал в Москве, которая была им столь любима.

Более всего его привлекало в Москву то, что там он будет вместе с Карамзиным. Но Карамзин с 1816 года переехал, для печатания своей «Истории», в Петербург. Другие старые знакомые мало-помалу померли. Те, которые оставались в живых, сохраняли, конечно, постоянное к нему уважение и привязанность; но их, его современников, было уже немного. Знавшие его прежде молодые люди, кн. Вяземский, Жуковский и их ровесники, оказывали величайшее уважение и ему, и его таланту. Но последующее младшее поколение отвыкало уже от форм почтительного внимания и к характеру человека, и к его общественному значению, и к заслугам литературным; да и обращение их с людьми заслуженными начало уже отзываться небрежностию, которая не могла нравиться Ив. Ив. Дмитриеву, привыкшему к хорошему тону и к хорошему обществу. Все это делало для него последние годы жизни несколько скучными, и его общество людей близких более и более уменьшалось; более и более он проводил вечера один, с книгами. Конечно, человек умный и образованный всегда найдет в самом себе средства

против скуки, но тем не менее такое отшельничество было для него несколько тяжело в его последние годы.

Прочитавши это в первом издании, один приятель заметил мне, что И. И. Дмитриев был холоден в обращении и что будто от него отдаляла эта холодность. Ответствую на это, что люди хорошего обращения никогда не кидаются на шею, как провинциалы; может быть, некоторым из тогдашнего нового поколения он казался холоден потому, что ровный тон порядочного общества был им в диковинку, т. е. они хотели бы не сами ему учиться, а переменить старика. Но этим людям прошлого века трудно бы было перелодиться. Надобно сказать и то, что это провинциальное радушие ненадежно. А на Дмитриева, кто приобрел его внимание, можно было твердо положиться.

Я знаю, многие удивлялись, что он находил наконец удовольствие в обществе Иванчина-Писарева и Волкова, автора поэмы «Освобожденная Москва». Но очень натурально, что он платил благодарностию тем, которые сами находили с ним удовольствие и не скучали проводить с ним вечера, когда другие об нем и не вспоминали. Впрочем, из числа прежних образованных людей, до конца своей жизни приверженных к Дмитриеву, надобно назвать В. Л. Пушкина и М. М. Солнцева, человека светского, умного, хорошего тона и очень приятного, который после был и из моих лучших знакомых<...>.

Кончина И. И. Дмитриева последовала 1837 года, 3 октября, в 35 минут 5-го часа пополудни<...>

Чтоб не утратить подробностей о его кончине, переписываю здесь <письмо> М. П. Погодина<...>

1837 г., 13 окт., Москва.

«Не думал я, любезнейший М<ихаил> А<лександрович>, писать к вам в таком грустном расположении духа, сообщать такие горестные подробности; но они верно составляют теперь потребность вашего сердца и ваших близких, и я принимаю на себя печальный долг.

Иван Иванович был совершенно здоров в начале этой недели: в среду мы обедали с ним вместе в клубе; перед столом он говорил со мною о «Вивлиофике» Новикова, о многих любопытных статьях, в ней помещенных, о выборке из нее, которую он когда-то делал, касательно древней нашей дипломатики, о том, что было бы полезно перепечатать ее теперь, по крайней мере, в извлечении. Потом рассказал мне, и с большим участием, если не чувством, историю бедного книгопродавца Кузнецова, у которого остановлено издание христианского календаря и который теперь совсем разоряется; бранил привязчивых цензоров: «Не стыдно ли двум ученым сословиям, гражданскому и духовному, Университету и Академии, напасть так на бедняка, и из чего?— из каких-то пустяков! Я пришлю его к вам, и вы увидите в чем дело. А беззаконное пропускают!» — После обеда он остановился в кофейной комнате с Шевыревым и Жихаревым и рассказывал им, с обыкновенною своею живостию и шуткой, похождения Кострова, представление Кострова Потемкину, вопросы Потемкина о Гомере, как провожали его издали на обед к Потемкину, потому что стыдно было идти с ним рядом, и как встречные бабы одни сожалели о больном, а другие бранили пьяницу. В четверг поутру он делал визиты, приехал довольно поздно домой обедать. За столом ел мало, но кушанье было тяжелое: щи, поросенок. После обеда он напился шоколада вместо обыкновенного кофе, выпил стакан холодной воды и тотчас, надев бекеш и кенги, пошел садить акацию около кухни, чтобы заслонить ее с приезду. Тут он почувствовал дрожь, и насилу привели его в комнату. Послали за доктором. Газ прописал лекарство, не нашедши ничего дурного. Иван Иванович разговаривал с ним, заплатил за визит, послал в аптеку, но лишь только тот уехал, как он впал в беспамятство и целую ночь бредил. Пятница вся прошла в беспамятстве. Доктора были: Газ, Высоцкий, Шнауберт, Йовский, по нескольку раз. В субботу поутру я узнал об его отчаянной болезни. Мне надо было ехать на лекцию и читать о Карамзине. С тяжелым чувством поехал я к больному, опасаясь, что не застану его в живых, и взял с собою Мишу.

Иван Иванович только что опамятовался перед моим приездом; услышав стук дрожек, спросил, кто приехал, и позвал меня к себе; встретил по всем своим правилам.

При нем был Боголюбов. Он рассказал мне тотчас историю своей болезни, как я вам выше описал ее, и тотчас обратился к любимому своему предмету, литературе, но говорил уже гораздо медленнее, расстановистее, искал слов часто, ошибался в их изменениях и даже мешался; но везде видна была заботливость о своей речи и старание скрыть болезнь. «Что это пишет Макаров в «Наблюдателе» о Виноградове, будто бы Виноградов познакомил Карамзина с сочинением... этого... швейцарского фил...софа...» — «Боннета?»... — «Да, Боннета. Виноградов жил сначала в Москве и отличался, разумеется, между своими сверстниками; но потом его отправили служить в полк, в Петербург. Там Козодавлев заставил его присесть за Боннета, которого Карамзин гораздо прежде переводил с Петровым, Александром Андреевичем, а после и познакомился с ним лично. Как можно писать так наобум! Надо справляться, спрашивать!» Потом рассказал, мешаясь, о вашей болезни, спросил о занятиях Миши. Я отвечал ему, что Миша ветрен и рассеян и что я начинал с ним ссориться сильно, но что теперь он лучше, и я надеюсь, что вперед он исправится совсем, зная, какое имя должно ему поддерживать. Иван Иванович вспомнил, что покойный Павлов Михаил Григорьевич, профессор, говорил ему то же и советовал ему приняться за ученье. Потом спросил у меня, скоро ли я кончу свою расправу с новыми толковниками о Русской истории? Я отвечал, что к новому году. «А похвальное слово Карамзину?» — «Начал». — «Пожалуйте, привезите мне». В таком положении я простился с ним. Он силился встать и поднял руку. Я думал, что он подавал ее мне, и поцеловал ее. В два часа перед обедом я заезжал к нему опять; но не зашел в кабинет, потому что там было много дам. Мне сказали, впрочем, что ему не хуже. На крыльце встретился с Йовским, который говорил, что если к вечеру не будет хуже и если он будет слушаться, то болезнь пройдет. Но ввечеру он опять впал в беспамятство, больно страдал, метался, беспокоился, приходя в себя только минутами. В одну такую минуту человек его Николай спросил, не угодно ли ему послать за священником. «Зачем?» — «Приобщиться святых тайн на здоровье». — «Не худо». Священник пришел; но больной опять был в беспамятстве и исповедовался глухой исповедью. В 35 минут пятого часа пополудни, 3 октября, он

скончался, успокоившись перед последними минутами и погрузившись в тихий сон. Никого не было при нем, кроме Миши» <...>

Над могилой Ивана Ивановича поставлен точно такой же памятник, какой над Карамзиным. Это было его желание, которое я и исполнил. Как у того «лежит венец на мраморе могилы», так лежит бронзовый венок и на его могильном камне. Только камень не белого мрамора, как у Карамзина, а гранитный, который, по нашему климату, показался мне прочнее. Скульптор Кампиони нарочно поручал снять рисунок и точную мерку с камня Карамзина. Кроме обыкновенной надписи, состоящей из титулов, имени и фамилии, я велел на камне Дмитриева надписать слова св. апостола Павла: «подобает бо тленному сему облещися в нетление, и мертвенному сему облещися в бессмертие» <...> Я не хотел никакой надписи в стихах над могилой поэта, потому что не хотел над ней никакого знака человеческой суетности!

Но, признаюсь, мне жаль, что я не прибавил после его имени: «Поэт времен Екатерины и министр Александра».



С. П. Жихарев

ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА <Фрагменты>

На вопрос Ив. Ив. Дмитриева у приехавшего из Петербурга г. Максимовича, служащего в комиссии составления законов, что делают тамошние литераторы и в особенности Державин, Максимович отвечал, что, «по слухам, он сочиняет какую-то оперу, в роде Метастазия...»— «Разве в роде безобразия»,— возразил Дмитриев.

Иван Иванович не может скрыть своего сожаления, что величайший лирический поэт нашего времени на старости лет предпринимает сочинения, совершенно несвойственные его гению: пишет и даже переводит трагедии, комедии и оперы в подрыв своей славе, которою Иван Иванович, как старинный его приятель и усердный почитатель его таланта, так дорожит, что желал бы видеть ее неприкосновенною для критики <...>.

Гаврила Романович толковал о каком-то Селакадзеве, у которого будто бы находится большое собрание русских древностей и, между прочим, новгородские руны и костыль Иоанна Грозного. Он очень любопытствовал видеть этот русский музеум и приглашал А. С. Шишкова и А. Н. Оленина вместе осмотреть его. «Мне давно говорили о Селакадзеве,— сказал Оленин,— как о великом антикварии, и я, признаюсь, по страсти к археологии, не утерпел, чтоб не побывать у него. Что ж, вы думаете, я нашел у этого человека? Целый угол наваленных черепков и битых бутылок, которые выдавал он за посуду татарских ханов, отысканную будто бы им в развалинах Серая; обломок камня, на котором, по его уверению, отдыхал Дмитрий Донской после куликовской битвы; престрашную кипу старых бумаг из какого-нибудь уничтоженного богемского архива, называемых им новгородскими рунами; но главное сокровище Селакадзева состояло в толстой, уродливой палке, вроде дубинок, употребляемых кавказскими пастухами для защиты от волков; эту палку выдавал он за костыль Иоанна Грозного, а когда я сказал ему, что на все его вещи нужны исторические доказательства, он с негодованием возразил мне: «Помилуйте, я честный человек и не стану вас обманывать». В числе

этих древностей я заметил две алебастровые статуйки Вольтера и Руссо, представленных сидящими в креслах, и в шутку спросил Селакадзева: «А это что у вас за антики?» — «Это не антики,— отвечал он,— но точные оригинальные изображения двух величайших поэтов наших, Ломоносова и Державина». После такой выходки моего антиквария мне осталось только пожелать ему дальнейших успехов в приращении подобных сокровищ и уйти, что я и сделал». Г. Р. Державин не удовольствовался предостережением А. Н. Оленина и, четыре года спустя (1811 г.), пред самым составлением «Беседы любителей русского слова», ездил, после бывшего у него обеда, в обществе Н. С. Мордвинова, А. С. Шишкова, И. И. Дмитриева и того же А. Н. Оленина, к Селакадзеву, жившему в одном из переулков Семеновского полка, в не совсем опрятной квартире. По просьбе Гаврилы Романовича автор «Дневника» с П. А. Корсаковым отправился вперед, чтоб предуведомить антиквария о посетителях. Он был в восхищении, сам принялся мести комнаты и сметать пыль с своих редкостей, поставил несколько восковых свечей в подсвечники, надел новый сюртук и с преважным видом расположился на софе ожидать гостей, спрашивая попеременно то у автора «Дневника», то у Корсакова: «Так этот Дмитриев министр юстиции? Так этот Мордвинов член Государственного совета?», и когда они удовлетворили его вопросам, он с какою-то гордостью беспрестанно повторял: «Ну что ж, пусть посмотрят, пусть посмотрят». По приезде Державин, не обращая внимания на другие предметы, бросился рассматривать новгородские руны и, к общему удивлению, отыскал несколько отрывков, которые его заинтересовали до такой степени, что он тотчас же списал их и впоследствии поместил в рассуждение свое о лирической поэзии, читанное в Беседе <...> А. Н. Оленин заметил, что с тех пор, как он в первый раз видел музеум Селакадзева, в нем ничего не прибавилось и ничего не изменилось, кроме того, что под одною статуйкою, вместо прежней подписи «М. В. Ломоносов», явилась другая с именем «И. И. Дмитриев».

Ф. Ф. Вигель

ЗАПИСКИ <Фрагменты>

В английском клубе встретил я Ив. Ив. Дмитриева, и в этот приезд знакомство мое с ним завязалось покороче. Если бы частые утренние посещения мои ему наскучили, я бы тотчас заметил; но, кажется, было совсем противное. Он был всегда степенно весел, пока разговор не касался недавно умершего друга его Карамзина. Один раз позвал он меня к себе обедать вместе с некоторыми литераторами и полулитераторами, коих не вижу нужды называть здесь. Замечателен был мне сильный спор, который после обеда зашел о романтизме и классицизме. В Бессарабии и потом в петербургском уединении моем едва подозревал я существование первого, а тут познал, сколько силы он уже успел приобресть<...>

Когда при вступлении на престол Павел наследника своего сделал шефом Семеновского полка, Дмитриев Ив. Ив. был в нем капитаном. Мужественная красота его поразила юношу; остроумие его забавляло и пленяло однополчан, тогда как в то же время какая-то природная важность в присутствии его удерживала лишние порывы их веселости: они почтительно наслаждались им. Из офицеров тогдашней гвардии немногие отличались образованностью; зато все они, почти без изъятия, подобно Дмитриеву, гордились известностью, древностью благородных своих имен. В самом же Дмитриеве (пусть ныне назовут это предрассудком) старинный дворянин был еще чувствительнее, чем поэт и офицер. Оттого товарищи еще более любили его, в этом только почитали себя ему равными, во всем же прочем признавали его первенство между собою. По какому-то недоразумению схвачен был он (разумеется, при Павле) и как преступник посажен в крепость. Не прошло суток, как истина открылась, и он призван в кабинет царя, куда явился с покорностью подданства и смелостью невинности. Павел восхитился им и, по обыкновению своему, переходя из одной крайности в другую, из гвардии капитанов произвел его прямо в обер-прокуроры Сената, с определением на первую могущую открыться вакансию. Вот в каких

обстоятельствах узнал его Александр и после того всегда сохранял о нем высокое мнение.

Как стихотворец, будет всегда занимать он на русском Парнасе замечательное место. До него светские люди и женщины не читали русских стихов или, читая, не понимали их. Не было середины: с одной стороны Ломоносов и Державин, с другой Майков и Барков, или восторженное, превыспренное, или площадное и непотребное, ода «Бог» или «Елисей». Скажут, конечно, что Княжнин прежде его написал в стихах две хорошие комедии — «Хвастун» и «Чудаки», да разве в них есть разговорный язык хорошего общества? Доказав «Ермаком» и «Освобождением Москвы» все, что в лирическом роде он в состоянии сделать, не от бессилия перешел он к другому, на первый взгляд более легкому роду. Его «Модную жену», «Воздушные замки» и даже множество песенок начали дамы знать наизусть. С недосягаемых для публики высот свел он Музу свою и во всей красе поставил ее гораздо выше гниющего болота, где воспевали Панкратий Сумароков и ему подобные: одним словом, он представил ее в гостиных. То, что предпринял он в стихах, сделал в прозе земляк его, друг и брат по Аполлоне, Карамзин, и долго оба они сияли Москве, как созвездие Кастора и Поллукса.

Государь не ошибся, избрав министром юстиции поэта Дмитриева; но только не поэта, а коренного русского человека по отцу и по матери. Дмитриев, который, может быть, никогда не думал о судебной части, должен был заняться ею, вследствие счастливого каприза императора Павла. С его необыкновенным умом, с его любовью к справедливости, ему не трудно было с сею частью скоро ознакомиться, и русское правосудие сделало в нем важное приобретение. Но оно отвлекало его от любимых его стихотворных занятий, коим надеялся он посвятить всю жизнь, и несколько лет провел он в отставке. Желая уму его дать более солидную пищу, Александр сделал его сперва сенатором, а вскоре потом министром. Тогда не был я столь счастлив, чтобы лично с ним познакомиться (это случилось гораздо позже), но как все короткие приятели мои пользовались его благосклонностью, которую впоследствии и на меня простер он, то и тогда я уже знал характер его, как будто век с ним жил. Как во всяком необыкновенном человеке, было в

нем много противоположностей: в нем все было размеренно, чинно, опрятно, даже чопорно, как в немце; все же привычки, вкусы его были совершенно русского барина; квас, пироги, паче всего малина со сливками были его наслаждением. Любил он также и шутов, но в них посвящал обыкновенно чванных стихоплетов. Многие почитали его эгоистом потому, что он был холост и казался холоден. Любил он немногих, зато любил их горячо: прочим всегда желал он добра; чего требовать более от человеческого сердца? Крупные и мелкие московские литераторы всегда составляли его семью, общество и свиту: в молодости и в зрелых летах был он их коноводом, в старости патриархом их. Человека, не имеющего никаких слабостей, мне кажется, любить нельзя, можно ему только что дивиться; Дмитриев, с прекрасными свойствами истинных поэтов, имел некоторые из их слабостей: в нем была чрезвычайная раздражительность и маленькое тщеславие. С этою приправкой самая важность его, серьезный вид делались привлекательны. <...>

Чтобы переход от него к глупцам сделать менее резким, назову я Макарова. Только не надобно смешивать; между литераторами тогда в Москве их было двое: Петр и Михаил; один был чрезвычайно умен, другой... не совсем. Этот Петр Иванович Макаров был отличный критик, ученый, добросовестный, беспристрастный, пристойный. Он подвизался в журнале, им самим издаваемом, кажется, в «Московском Меркурии» и, разумеется, более за Карамзина. Это продолжалось недолго: он умер слишком рано, едва в зрелых летах, как много других у нас полезных и достойных людей. А Макаров 2-й уцелел; я уже упоминал о нем, как о товарище моем в московском архиве иностранных дел, как о трудолюбивом, бездарном, бесконечном, нескончаемом писателе.

Каков бы он ни был, этот Михаил Николаевич Макаров, мне все непонятно, как мог он Шаликову позволить взять перед собой первенство? Разве из уважения к старшинству лет и заслуг. Между сими мужиками и еще одним третьим составился крепкий союз, долго существовавший. У меня глупая привычка всегда узнавать имя и отчество человека и потом сохранять их в памяти. Итак, третьего звали Борис Карлович Бланк (хорошо, что и это

еще упомнил, зато уже ничего более о нем не знаю). Эти люди, в совокупности с какими-то другими, много, много, долго, долго писали, а что они писали? Этого ныне в Москве почти никто не помнит, и их творения, еще при жизни их, только с трудом отыскивались *в собраниях древних редкостей*. Все они, не спросясь здравого рассудка и Карамзина, даже ему незнакомые, принялись его передражнивать; и это в Петербурге назвали его партией.

Один только из них, Шаликов, и то странностями своими, получил некоторую известность. Еще при Павле писал он и печатал написанное. Как во дни терроризма, под стук беспрестанно движущейся гильотины, французские поэты воспевали прелести природы, весны, невинную любовь и забавы, так и он в это время, среди общего испуга, почти один любезничал и нежничал. Его почти одного только было и слышно в Москве, и оттого-то, вероятно, между не весьма грамотными тогда москвичами пользовался он особенным уважением. У него видели манеру Карамзина и почитали будущим его преемником.

Карамзин довольствовался тем, что у себя никого из сих господ не принимал, но полагал, что для них жестоко обидно будет, если он явно станет отрекаться от них. Они же оставались преспокойны, почитая себя в совершенной безопасности от петербургских нападений и думая, что все стрелы недоброжелательства должны падать на избранного ими. Правда, в Петербурге об них и не думали, а наоборот, изречения: «поражу пастыря — и разыдутся овцы», хотели, нападая на паршивых овец, истребить пастыря, который им никогда даже не бывал.

Только Дмитриев окружал себя этим народом и в особенности любил тешиться Шаликовым. Оно, конечно, довольно забавно видеть ворону, которая воркует голубком; но, кажется, скоро это должно прискучить. Вот до чего нас, старых холостяков, доводит иногда скука одиночества! Не знаю, как Дмитриев мог с этим ладить. Он очень дорого ценил высокое звание свое и умел его поддерживать, а до министерства своего и после него жил в Москве всегда в обществе так называемых литераторов. Известно, что все эти мелкие писачки, все люд заносчивый и тщеславный: напечатает четверостишие и думает уже иметь права на бессмертие и на равенство с Вольтером. Если б Данте и Шекспир воскресли, мне кажется, что самый последний из них, не задумавшись, сел

бы с ними рядом и начал говорить им «ты». Ничего не может быть труднее, как удерживать тварей, всегда готовых положить ноги на стол, а этой работе посвятил себя Иван Иванович. Он стоял так высоко, что она ему была легче, чем кому другому; однако же не раз и он вынужден был забывающим себя отказывать от дому. И как ни говори, это несколько роняло его в мнении и приготовило то нестерпимое обращение словесников, которое мы ныне видим. Нет, я придерживаюсь французской поговорки, что лучше быть одному, чем худо сопровождаемому<...>.

Обязанности государственного сановника вовсе не оставляли времени Дмитриеву заниматься литературой. Правда, он часто принимал у себя Блудова и Тургенева, за тихою трапезой с ними и с живущим у него Дашковым часто любил беседовать о любимом предмете, между ними почитал себя как бы главою семейства, был отечески ласков и оказывал нежную снисходительность и покровительство Грамматину и Милонову.



М. Н. Макаров

ВОСПОМИНАНИЕ О ЗНАКОМСТВЕ МОЕМ С ДМИТРИЕВЫМ

<...>Я шалил, я дурачился, я начал писать и, бог ведает отчего, произвел сам себя в *писатели*, а с тем вместе я хотел и знать и видеть только одних писателей, и вот — узнал я их, почти таких же, как я сам, писателей некрупных, неславных...

А тогда цвели на полях нашей литературы Державин, Карамзин, Дмитриев, Капнист; тогда доцветал Херасков<...> В это-то время я нашел случай познакомиться с Платоном Петровичем Бекетовым<...>

П. П. Бекетов был необыкновенно добрый человек и покровитель наук в полном смысле: родственно ласкал он меня и других таких же, как я, охотников писать,— и вот почему я за долг поставил бывать у него раза по два или по три на неделе; но почти всегда приходил невпопад: или очень рано, когда он только еще вставал с постели, или очень поздно, когда уже его не было дома.<...>Были, однако же, дни, когда я сиживал у него без всяких препятствий, когда я на просторе дивился его кабинету, его библиотеке, всем его литературным пособиям, и тогда ничего так не желал я, как быть П. П. Бекетовым.

Я знал, что Дмитриев двоюродный брат ему; но мои несвоевременные посещения никогда не сводили меня у́ Бекетова с Дмитриевым, которого жаждала увидеть душа моя. Я это передал родному моему дяде, Писареву, гвардейскому сослуживцу Ивана Ивановича, и дядя весьма серьезно заметил мне, что Дмитриев всегда был щеголем, что его туалет никогда не *езжал на почтовых*, что у него одна прическа иногда изменялась по-хамелеоновски, и потому, как-де ты хочешь, чтоб Иван Иванович вскакивал до свету вместе с тобою... не веришь, спроси моего Петрушку Рогова: он его завивал и причесывал. Я не спрашивал об этом Петрушку; но с той поры уже этот Петрушка Рогов (дядин камердинер) казался мне большим лицом: он завивал и причесывал Ивана Ивановича Дмитриева!

В самом деле, Петрушка, в свою очередь, был мне полезен; например, он рассказывал об Иване Ивановиче,

какой *он* бывал щеголь, как любил бело пудриться, как любил сидеть долго за туалетом, а все-де это оттого, что, убираясь, он был охотник читать книжки и что-де он иногда, выходя из-за туалета, записывал *что-то* на бумаге, и в это время ему бывал простор: тут он, кроме его, Петрушки, никого не принимал. Так вот когда, думал я, Дмитриев, может быть, написал своего «Ермака» и большую часть своих басен.

Признаюсь, что я, собрав такие подробности, воображал уже, что знаю Дмитриева, что я видал его, говаривал с ним: именно мне совестно было не знать Дмитриева, поэта, с которым тогда никто не равнялся чистотою языка!

Наконец, в одно утро я увидел Ивана Ивановича, и именно там, где всегда искал его,— у Платона Петровича Бекетова. Пустившись в разговор кстати и некстати, я обратил на себя внимание гостя, и он спросил про меня. Этого было уже чересчур: теперь все дело о Дмитриеве осталось за мною.

Ласковое слово поэта дало мне все право причислить его к моему знакомству; да и сам Иван Иванович начал замечать меня в доме фельдмаршала <И. П. Салтыкова>. Таков был мой самый первый шаг к лестному для меня знакомству с русским Лафонтеном, и я смотрел на нашего Лафонтена как на колонну, высоты которой мои глаза никак не могли рассмотреть.

«Мельник», игранный в последний год жизни фельдмаршала на его домашнем театре, и куплеты, в то же время сочиненные к «Мельнику» И. И. Дмитриевым, доставили мне на этот раз самое близкое при Дмитриеве место: тут он посылал меня, как домашнего человека, за пером, за бумагою, называл меня по имени. Следовательно, Иван Иванович уже знал меня очень коротко, думал я, и это меня сделало в глазах Раевского, Львова и других подобных мне охотников писать чем-то выше их, чем-то значительнее! И эти писатели начали думать обо мне как-то больше<...>

В 1810 году Дмитриев был назначен министром юстиции; я находился сам в службе, а признаюсь, тут уже мне решительно и служить захотелось только подле Дмитриева. Иметь начальником первоклассного поэта, казалось мне, было верх благополучия! Однако ж привычка к Москве едва было не преодолела все мои другие жела-

ния, и мой отец почти насильно выслал меня в Петербург на службу. Тут я выпросил письмо от Бекетова к Дмитриеву.

И вот я приехал в Петербург, явился к Дмитриеву. Тогда Д<ашко>в и С<евери>н, мои сослуживцы, были при нем самыми близкими людьми. Это подало мне мысль быть и *самому* как-нибудь ближе к Дмитриеву; я полагался, как на твердую стену, на сильную страсть мою к литературе, а это-то и могло быть для службы вредным! Двум господам служить невозможно... Явившись к министру, я подал ему письмо; у Ивана Ивановича в этот раз был приемный день, посетителей множество, меня могли не заметить; но ни один вельможа так приветливо не принимал, как принял меня Дмитриев. Он сам выдернул меня из толпы и начал расспрашивать о Москве, о ее литературе.

— Вы, господин Макаров,— сказал он мне,— конечно, последователи вашего однофамильца и не слепо кланяетесь *сицевым* и *абиям*, особенно в стихах но здесь поберегите себя: и не увидите, как попадете в *дондеже!..*

— А Николай Михайлович, а вы сами, Ваше превосходительство, разве не с нами, разве не здесь?

— Карамзин,— отвечал министр,— занят теперь летописями, и я, как видите, свободнее этого не бываю, следовательно, уж пеняйте на себя, когда попадетесь в *ржавый капкан* Тредьяковского.

Такой милый, шутливый разговор тотчас поднял меня на вершок еще выше: из толпы многие начали *узнавать* меня, и я забыл свою цель к службе, я только успел еще поговорить с Дмитриевым о Пушкине, о Кутузове, о Хвостове и проч. Мои карманы наполнились сотнею новых острот, эпиграмм хозяина, я опять позабыл свое назначение; но сберегая приобретенное для отсылки с первою же почтою в Москву, твердил только замечание Дмитриева, как про одного известного нашего певца можно сказать, ему не в укор, что он танцует, как Вольтер, а пишет, как Дюпор. Известно, что Вольтер был худой танцовщик, а балетмейстер Дюпор весьма худо подписывал свое имя.

Вход к Дмитриеву был легок: швейцар, добрый немец, никого не останавливал, лакеи никого не держали за полу и не просили на чай, поздравляя приходящих с собственными своими именинами. Иван Иванович сам знал

эту лакейскую проделку и любил при случае рассказывать, как за ним *во время оно* гнался с полверсты один боярский слуга именно с тем, чтоб поздравить его, Ивана Ивановича, с собственными своими именинами и через то выручить для себя *гривенничек*.

Шутки Ивана Ивановича с некоторыми литераторами, антагонистами Карамзина, были тогда нашею же общею молвою. Но партия против искусства писать правильно и приятно, видимо, возрастала, наездники из этой партии кричали: «Давай нам *мысль*, а не *слог!*»

— Согласен,— сказал Дмитриев,— *мысль* в писателе первое достоинство; да как же без *складу* изложите вы мысль вашу, и почему же непременно вам должно излагать ее дурным языком, а не хорошим, правильным, не *крестьянским?*

Так шло мое время в Петербурге, и я за Дмитриевым даже не видал Петербурга.

Раз как-то очень долго не удавалось мне быть у Ивана Ивановича — он прислал за мною. В этот день я обедал, по приглашению В. Л. Пушкина, у мадам Жискар.

— А кто там был?— спросил меня Дмитриев. Я назвал два, три лица литературные и в заключение Геракова.

— Василий Львович знает, чем поддерживать свою приверженность к Николаю Михайловичу,— заметил, улыбнувшись, поэт,— тут для Пушкина *твердость духа необходима!*

Известно, что Гераков был издателем книжек «Твердости духа Русских».

— Но не позабудьте, однако ж, что Гераков *переметчик*.

— Как это?

— По крайней мере в литературе, я хотел сказать: он мечет то карамзинизмом, то славянизмом из полных пригоршней; он нимало не заботится о том, что на его литературном поле от пересеву ничто вдруг не дозревает. Да по крайней мере он человек добрый... Переписывает все, не трогая других, сам *не цветет* в *цветнике!*

Тогда был в Санкт-Петербурге журнал «Цветник».

— Зато уж другие наши *северяне*,— продолжал Иван Иванович,— все пустились в ботанику; не доверяйте во всем и Василию Львовичу; посмотрите, при случае и он пустится также в работу *бумажных* цветов. Впро-

чем, Пушкин никогда не привыкнет говорить вместо он — *они*, вместо его — *ихнее*. Это для него трудно, я за это ручаюсь. Боюсь одного: уж не слишком ли много Пушкин берет на себя: он щедр на изысканную чистоту столько же, как граф Дмитрий Иванович на подражания Гавриле Романовичу.<...>

Я оставил Петербург и очень долго не видался с Иваном Ивановичем; иногда писал к нему и всегда получал его ответы, слишком для меня лестные.

Вдруг сказали мне, что Дмитриев в Москве и остановился на Покровке, в доме графа Румянцева,— я побежал туда.

И опять та же ласка, и опять та же приветливость: Иван Иванович не изменял себе нигде, никогда.<...>



М. П. Погодин

ВЕЧЕРА У ИВАНА ИВАНОВИЧА ДМИТРИЕВА

Дмитриев, один из преобразователей русского стихотворного языка, поэт примечательный, друг Карамзина, указавший ему поприще словесности (и также Крылову), покровитель Жуковского, Дашкова, Блудова, сердечно преданный князю Вяземскому, провел последние годы своей жизни в Москве. В доме у него собирались все литераторы. Приезжие из Петербурга считали обязанностью засвидетельствовать ему свое почтение. Он был очень гостеприимен. Молодые люди, показавшие расположение к словесности, имели к нему доступ и находили покровительство. Я просил его переслать посвящение первого историко-критического рассуждения моего о происхождении Руси Н. М. Карамзину, и он взялся с удовольствием и недели через две доставил мне одобрительный отзыв знаменитого историографа. Являясь иногда по вечерам в гостиной Дмитриева и слушая его живые, остроумные рассказы, не без примеси желчи, я вздумал их записывать, но перестал вскоре, узнав, что у Дмитриева есть свои записки. Я подумал, что, верно, все рассказы найдутся в его сочинении. После раскаялся, потому что записки Ив<ана> Ив<ановича> при всем их достоинстве слишком сжаты, кратки и сдержанны.

В 1828 году я лишился благосклонности Дмитриева за помещение в «Московском вестнике» замечаний Арцыбашева на «Историю» Карамзина. В дом к нему, разумеется, я не смел уже показываться, и только через несколько лет, когда впечатления изгладились, я был принят и в последнее время был даже ласкаем. Он часто говорил мне об обязанности написать похвальное слово Карамзину и взял с меня честное слово, о котором напомнил даже во время внезапной болезни, перед кончиною (1837). В последние дни я был у него беспрестанно.<...>

Печатаю свои заметки, сколько их осталось: может быть, старикам приятно будет встретиться здесь с некоторыми именами или мыслями.

(Для молодых поколений замечу, что И. И. Дмитриев был очень высокого роста, немного кос, осанку и походку имел важную, говорил протяжно и если рассказывал что стоя, то обыкновенно делал перед вами по два или три шага вперед и назад).

1826 года, марта 11-го.

— Не стыдно ли, что у нас до сих пор так мало переводов,— из Робертсона, например, мы имеем одно предисловие, и то каким-то попом переведенное. Наши поэты пишут только послания к Алинам, томов боятся, а если и удастся написать страничку прозы, то они сами себе удивляются, как будто на аршин выросли, и радуются, подобно мольерову мещанину во дворянстве, узнавшему, что он говорит прозою. Прежде было в этом отношении лучше: сколько переведено из древних при Екатерине! Был какой-то вкус. Редкую книгу, бывало, не переведут, например, о заговоре Испании против Венециянской республики, и пр. и пр. У нас отговариваются теперь иные тем, что читать некому. Да кто же тогда читал?

— Прадедушка мой, дедушка, батюшка, все были охотники до чтения, и от всех остались собрания книг... Любопытно сравнивать их.

— Я брал читать книги у одного купца Мясникова, тестя моего дяди. Этот купец, разбогатев от заводов, заказал здесь купить себе дом, официантов, дворецких и явился в столице. Он почел нужным завести у себя библиотеку, и ему доставлялись все вновь выходившие книги в Москве и Петербурге. Еще брал я читать книги у купца Седова.

— Я знал многих купцов,— и где же? в Симбирске, Сызрани — у коих были библиотеки. Правду сказать, что это звание было тогда, мне кажется, образованнее. Дворяне были ближе к ним, живя много по деревням, и они перенимали у первых. Многих также видал я и в Сызрани, во французских кафтанах с кошельками.

— Бывало, придут к батюшке, переоденутся у управителя и явятся... Дети их уже стали хуже, щеголяли чаем и проч., а внутри совсем пропились и ходили уже с козлиными бородками. Правду сказать, дворяне подают им дурной пример своими бакенбардами — у Глинки, например, из бакенбардов совсем сделалась борода<...>

— Даже служители уважались гораздо более. Я помню нашего управителя Данилыча. Бывало, в какой-нибудь праздник, пришед поздравлять, наши дядьки при нас закусывали у барина. Приходили, бывало, к нам по утрам с приветствиями, приносили иногда книги.<...>

Апреля 9.

О Сенате.— Сколько есть у нас граждан размышляющих? Из размышляющих сколько говорящих? И, наконец, много ли пишущих из говорящих? («У нас надобно быть литератором, чтоб написать письмо»,— сказал Шаховской, а сам Шаховской не мог двух строк написать правильно, несмотря на то, что оставил томов 20 сочинений, между коими есть прекрасные). Я сам бывал свидетелем, что иные *начинали* говорить словом «следовательно». Нам недостает учения. Потому-то я всегда с удовольствием слушал Сперанского. Видно было тотчас, что человек учился. Он всегда говорил ясно, внятно.<...>

Александрийские стихи для трагедии нашей почитал Дмитриев приличнее ямбов пятистопных без рифм,— «хоть я и читал без скуки «Иоанну д'Арк».—Для Тасса размер Раича лучше александрийских и пр.— Мне больше всего хочется, чтоб он исправил свои «Георгики».

— Карамзин начал писать до путешествия белыми стихами; воротясь, войдя в общество, заведя интриги, он начал писать с рифмами, потому что дамы не хотели слушать белых стихов. И вообще, кроме ямба и хорея, публика у нас не знает толка в других размерах,— не умеют читать, не знают, где остановиться, и проч.

— Жаль, что наши поэты стали слишком стеснять, ограничивать себя,— не хотят употреблять усеченных слов.— А прозаики вводят слова провинциальные <...> — «нисколько», «нынче».

— Баратынский пишет стихи хорошо, а читает их дурно, без всякой претензии, не так, как Василий Львович, который хочет выразить всякое слово.— Державин также читал очень дурно стихи.

— Сумарокова басни собственные лучше переводных. Я с большим удовольствием перечитывал его, написав свои басни. Хорошо, что я не помнил их, пишучи <...>

Говорили о старости.— «Горестное чувство испытал я в последний раз,— сказал князь А. А. Шаховской пред отъездом моим из Петербурга.— Мне захотелось побывать на Невском кладбище — там только что поставили памятник над Столыпиным, приезжаю, иду между камнями, читаю надписи, что же? Нахожу всех своих знакомых: с тем я то-то делал, с тем тогда-то жил вместе, и проч. и проч. Отправляюсь домой на другую сторону Петербурга, и что же? Я не встретил ни одного знакомого лица,— а между тем мне нет еще 50 лет!»

— Мне кажется, что к старости люди начинают любить уединение, и я сбираюсь ехать в Крым.

— Нет,— отвечал Дмитриев,— для меня дороги и места, напоминающие мне о прежней моей жизни, о прежних моих знакомых. Теперь нам нельзя заводить их вновь. Со старыми знакомыми я молод, как прежде был, и смеюсь, когда хочу, и совру, когда хочется соврать,— с новыми я соблюдаю какую-то смешную важность, чинюсь. Потому-то я никак не могу оставить Москвы,— в Петербурге мне всегда скучно.— Карамзин едет теперь в Италию; на другой день отъезда он для меня уже как бы умрет. <...>

— Жив или умер N. N.?— спросил И<ван> И<ванович>.— Не знаю (он получил в ответ), одни говорят, что жив, другие, что умер.— Но это все равно: он и жил покойником, — заметил И<ван> И<ванович> <...>

Кто-то из собеседников употребил выражение: «надо заниматься делом».— Каким делом?—заметил Иван Иванович.— Это слово у разных людей имеет разное значение. Вот, например, Вяземский рассказывал мне на днях, что под делом разумеют официанты Английского клуба. Он объехал по обыкновению все балы и все вечерние собрания в Москве и завернул, наконец, в клуб читать газеты. Сидит он в газетной комнате и читает. Было уже поздно — час второй или третий. Официант начал около него похаживать и покашливать. Он сначала не обратил внимания, но, наконец, как тот начал приметно выражать свое нетерпение, спросил: «Что с тобою?»— «Очень поздно, ваше сиятельство».—«Ну так что же?»—«Пора спать».—«Да ведь ты видишь, что я не один и вон там играют еще в карты». —«Да те ведь, ваше сиятельство, *дело делают!*»

М. М. Попов

ИВАН ИВАНОВИЧ ДМИТРИЕВ

Доживая век свой в Москве, И. И. Дмитриев в наружности своей сохранял приличную ему важность. Высокий ростом, осанистый, величавый в походке, в тоне голоса и во всех приемах, он напоминал собой бывшего министра.

Личность еще более украшалась славой известного в свое время писателя. Но он был заманчив только издалека. Кто узнавал его близко, тот много разочаровывался.

Министр по наружности, благородный в своих стихотворениях, осторожный и приличный в самых эпиграммах и сатирах, нравоучитель в баснях, проповедник нежности к людям и даже к животным, был совсем не то в домашней жизни и общественных связях.

Он был скуп и одевал людей своих дурно, кормил еще хуже. Поступал он с ними, как степной помещик; при самом малейшем проступке или потому только, что сам вспылил, он тотчас прибегал к расправе.

С знакомыми он обращался двулично. За глаза он не щадил никого, а в глаза казался каждому чуть не другом. Раз, посреди гостей своих, он описывал Погодина самыми черными красками, называл его и подлецом и пронырой, что удивляется людям, которые принимают к себе такого человека. Вдруг, как нарочно, приезжает Погодин. Все в смущении и ожидали истории... Ничего не бывало! Дмитриев вскочил с места, протянул дружески руку к вошедшему гостю, упрекая его, что давно не навещал старого знакомого.

Иногда с кем-либо из гостей он был чрезвычайно ласков и доверчив, так что можно было почесть этого гостя самым близким его другом. Гость уезжает, и Дмитриев, проводив его с поклонами и просьбами навещать почаще, возвращается с насмешками над ним! Этим И. И. много терял в общем мнении: люди почтенные, имеющие право на уважение, отставали от него; мелкие стихоплеты, писатели, ничтожные по уму и образованию, всякий сброд наполняли его гостиную. Зато он и тешился над ними, как хотел!

Нельзя, впрочем, не сказать, что Дмитриев имел способность замечать смешное и все виденное им представлять в карикатуре. В напечатанных сочинениях он только переводчик или подражатель; в разговоре он был самобытный рассказчик и сатирик; снимал виды с природы, писал портреты, то оживленные смехом, то обильные желчью и ядом. Слушавшие его иногда помирали со смеху! Если бы он следовал этому правилу в своих стихотворениях, описывал бы то, что сам видел, и писал бы так, как говорил, то он был бы в сказках вроде Гоголя, в баснях вроде Крылова и, быть может, превзошел бы их, потому что, собственно, слог больше ему дался, чем этим писателям.

Вот для примера один из рассказов его: «В Английском клубе, в Москве, есть вечные посетители, каждый из них сидит всегда на одном и том же месте, всегда одно и то же делает. Завяжите мне глаза и привезите в клуб, водите из комнаты в комнату, и я расскажу вам главных посетителей. Вот в первой комнате Титов и Александр Панин. Второй считает первого своим патроном и потому робок при нем. Но как только зазвонит штрафной колокольчик, Титов опрометью бежит из клуба, чтобы не заплатить штрафа, четвертака, а Панин оживляется. Он встает с кресел и начинает ходить широкими шагами по комнате.

— Человек! — кричит он.

Слуга входит.

— Подай мне мадеры.

Ему подают рюмку мадеры. Выпив ее и еще сделав несколько концов по комнате, Панин опять кричит:

— Человек! Подай мне мадеры.

Но вот входим во вторую комнату. Здесь генерал Чертков играет в карты. Посмотрите на играющих с ним: они его жертвы! Вот в третьей комнате сидит Каченовский и испускает желчь на Карамзина, но, увидев меня, он замолчал. Он окружен слушателями, которые глотают слюни.— Переходим в комнату журналов. Здесь запрещено говорить для того, чтобы читающие не мешали друг другу, и они сидят с журналами и газетами в руках молча и ничего не читая. Входят князь Гундуров в сюртуке и за ним военный.

— Подай мне журнал,— говорит князь слуге.

— Какой прикажете, ваше сиятельство?
— Какой! Разумеется, мой, о скачках и лошадях.
Вошедший с ним господин приказывает подать тот журнал, в котором больше бранятся, и слуга, подумав и посмотрев на разбросанные журналы, подает ему «Телеграф».
Вот мы обошли все комнаты и возвращаемся в первую, слышим, что Панин все еще шагает из угла в угол и кричит:
— Человек, рюмку мадеры.
Выходя в переднюю, спрашиваю у слуги, сколько рюмок выпил Панин?
— Подаю тридцать шестую, ваше высокопревосходительство,— отвечает слуга».

КОММЕНТАРИИ

Тексты печатаются в соответствии с нормами современной орфографии и пунктуации, за исключением тех случаев, когда необходимо передать особенности языка эпохи, имевшие стилистическое значение. В конце каждого текста поставлена дата его создания; в тех случаях, когда дата указана предположительно, она заключена в угловые скобки. Так как не все произведения Дмитриева были опубликованы в год их сочинения, в комментариях указаны первые публикации. И. И. Дмитриев шесть раз издавал собрания своих стихотворений (1795—«И мои безделки»; 1803—1805 — «Сочинения и переводы» в трех частях; 1810, 1814 и 1818 — «Сочинения» в трех частях; 1823— «Стихотворения» в двух частях). К последнему изданию тексты были строго отобраны и исправлены Дмитриевым; сделаны примечания к тем стихотворениям, в которых упоминаются устаревшие к 1820-м гг. реалии. В настоящем издании названия произведений даются в соответствии с этой последней прижизненной публикацией; если первоначально текст назывался иначе, раннее название указано в комментарии. В стихотворениях, имеющих конкретных адресатов, их имена раскрыты в заглавиях. При указании источников переводов Дмитриева название иноязычного текста приводится лишь в том случае, если оно отличается от того, которое дал своему переводу Дмитриев. Комментарии к именам даются при *первом* их упоминании. Мифологические имена и названия объяснены в приложенном к комментариям словаре. Внутри разделов тексты помещены в хронологическом порядке. При указании первых публикаций в комментариях приняты следующие сокращения:

ВЕ — «Вестник Европы».

ИМБ — «И мои безделки». СПб., 1795.

МЖ — «Московский журнал».

ОА — «Остафьевский архив князей Вяземских». Т. 1—5. СПб., 1899 — 1914.

ПиП — «Приятное и полезное препровождение времени».

Письма Карамзина — «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву». СПб., 1866

СиП — «Сочинения и переводы И <вана> Д<митриева>. Ч. 1—3. М., 1803—1805.

Соч., 1810—«Сочинения Дмитриева». Ч. 1—3. М., 1810.

Соч., 1818— «Сочинения И. И. Дмитриева». Ч. 1—3. М., 1818.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Наиболее авторитетным изданием поэтических произведений Дмитриева является его «Полное собрание стихотворений» (Л., 1967), подготовленное Г. П. Макогоненко. Оно послужило основой для публикации стихотворений в настоящем издании.

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

В данном разделе печатаются произведения, помещавшиеся в собраниях сочинений Дмитриева под той же рубрикой, в соответствии с пониманием слова «лирика» в XVIII — начале XIX в. («*Лирик* — стихотворец, упражняющийся в сочинении од».— Словарь Академии Российской, т. 3. СПб., 1814, с. 567).

С. 22. Ермак.— ИМБ, с. 32. *Ермак* Тимофеевич (ум. 1585)— атаман донских казаков, завоеватель Сибири; в 1582 г. войско Ермака разбило войско татарского хана Кучума, владевшего Сибирью. *Тимпан* — древний музыкальный ударный инструмент. *Шайтан* — злой дух. *Остяки, вогуличи*—названия народностей ханты и манси. *Тул* — колчан. *Иоанн Васильевич* — Иван IV Грозный (1530—1584); при нем началось присоединение Сибири. *Белый царь* — русский царь.

С. 27. К Волге.— ИМБ, с. 9. *...Но воспоенного тобой...*— Дмитриев родился на Волге. *Весь* — село́. *Куща* — здесь: хижина. *Под ратью грозна Иоанна* — походы Ивана Грозного на Астрахань (1554—1556). *Ордынцы* — воины ханской орды. *Идет, идет царь сил на вас!* — Петр I, возглавлявший русскую армию во время персидского похода 1722—1723 гг. *Луна и Лев* — гербы Турции и Персии. *Дербент*—город на побережье Каспийского моря, в 1722 г. был взят войсками Петра I. *Гангес* — Ганг, река в Индии.

С. 29. Освобождение Москвы.— «Аониды», 1797, кн. 2, с. 25: «Пожарский». Посвящено освобождению Москвы в 1612 г. от польских интервентов народным ополчением под командованием князя Д. М. Пожарского (ок. 1578— ок. 1642). *Цитерские узы* — любовные узы. *Сармат* — поляк. *...И в пальмах светлую Москву!..*—Имеется в виду пальма первенства. *...Вручает юноше державу...*— речь идет об избрании на царство Михаила Романова (1596—1645).

С. 33. Глас патриота на взятие Варшавы.— Отд. изд. 1794. О предыстории оды см. с. 313. *Костюшко Т.* (1746—1817) — предводитель Польского восстания 1794 г. В первой строфе Дмитриев обращается к Польше, во второй — к Екатерине II. *Союзница лукава* — Польша была союзницей России по антитурецкой коалиции после заключения в 1686 г. «Вечного мира» между Россией и Польшей. *Собиески* — здесь: поляки (от имени Яна III Сабеского (1629—1696), польского короля). *Тавридец* — крымский татарин.

С. 35. Стихи на высокомонаршую милость, оказанную императором Павлом Первым потомству Ломоносова.— «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 38. В 1798 г. Павел I издал указ об исключении потомков Ломоносова

из подушного оклада и освобождении их от рекрутского набора. *Мрежи* — рыболовная сеть на обручах. *Ксеркс* (ум. 465 до н. э.) — персидский царь, прославившийся завоевательными войнами.

С. 36. Песнь на день коронования его императорского величества государя императора Александра Первого.—Отд. изд., М., 1801: «Стихи на случай священного коронования его императорского величества...». *...Премудрыя, одной в женах...* — Екатерины II. *Да ниспошлет бессмертна внуку...* — Александр I был внуком Екатерины II. *Пиндар* (ок. 518—442 или 438 до н. э.)—греческий поэт, классик дифирамбической поэзии. *Платон* (428 или 427—348 или 347 до н. э.) — великий греческий философ.

С. 39. Размышление по случаю грома.— ПиП, 1795, ч. 8. с. 209. Пер. стих. И. В. Гете «Границы человечества» (1779). *Персть* — земной прах. *Ветхий деньми* — вечный, т. е. бог.

С. 40. <Подражания одам Горация.> *Гораций* Флакк (65—8 до н. э.) — римский поэт, классик оды. <Книга III. Ода I>.—СиП, ч. 3, с. 87. *Оратай*—пахарь. *Мраморы фригийски* — Фригия — область в Малой Азии, славившаяся мрамором. *Фалернское вино* — вырабатывалось в Фалернской области Италии. *В уголку собинском* — в доме Горация в Сабинских горах. <Книга I. Ода III>—СиП, ч. 3, с. 84. *Вергилий* Марон (70—19 до н. э.) — римский поэт, автор «Энеиды»; *...и тот, кому покорны...* — Эол; *...и та, которую чтим...* — Афродита. *Аттически брега* — Аттика — полуостров, область Древней Греции. *Эпирские скалы* — Эпир — область на северо-западе Греции, древнейшее местопребывание греческих племен. *Афетов дерзкий сын* — Прометей. *...Алкид потряс пределом ада!* — Имеется в виду победа Алкида (Геракла) над трехглавым псом Цербером, охранявшим царство Аида. <Книга II. Ода XVI>Соч., 1810, ч. 1, с. 44. *Мидия* — царство на северо-западе Иранского нагорья (VII—VI вв. до н. э.). *Фракия* — область в восточной части Балкан. *Пурпур* — здесь: дорогая одежда из красной ткани, знак роскоши и величия. *Ликтор* — в Древнем Риме лицо, сопровождавшее и охранявшее представителя высшей власти. *Послали в дар клочок земли* — поместье Горация в Сабинских горах. *Зоил* — недоброжелательный и мелочный критик.

САТИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ.

С. 44. Чужой толк.— ИМБ, с. 177. Направлено против эпигонских торжественных од, критикуемых с позиций сторонника классической ясности, простоты и меры. *Флакк* — Гораций. *Рамлер* К. В. (1725—1798)—немецкий поэт, лирик. *Зари багряны персты* и далее — общие места русской торжественной оды. *Аристарх* (ок. 217—145 до н. э.)—греческий грамматик и критик; нарицательное имя критика. *Антик* — здесь: старик. *...На пробу в пять часов...* — пробоваться в роли. *Делия* — образ возлюбленной, воспетой Горацием. *Один стихотворитель* — видимо, Н. П. Николев (1758—1815), выступивший в 1787 и 1791 гг. с литературно-теоретическими сочинениями «Рассуждение о российском стихотворстве» и «Лиро-дидактическое послание к Д<ашковой>». *...«Меркурий» наш и «Зритель»...* — «Санкт-Петербургский Меркурий» (1793—1794) и «Зритель» (1792), журналы А. И. Клушина и

И. А. Крылова, выступавших с критикой Карамзина и поддерживавших Николева. *Демосфен* (384—322 до н. э.)—греческий оратор; по преданию, долгое время жил в уединении, произнося речи перед морем. *Рымникский Алкид* — А. В. Суворов (1730—1800), получивший за победу при Рымнике (1789) почетное именование Рымникский, командовал русскими войсками при взятии Варшавы (1794). *Ферзен* Е. И. (1747—1799) — русский генерал, участник польской кампании 1794 г. ...*Он тотчас за перо и разом вывел: ода!* — Далее пародируются штампы торжественной оды. *Порта* — Турция. *Румянцев* П. А. (1725—1796) — русский полководец, фельдмаршал. *Грейг* С. К. (1736—1788)—адмирал русского морского флота. *Орлов* А. Г. (1737—1807/1808) — генерал-аншеф, командовал русской эскадрой во время русско-турецкой войны (1768—1775). *Клеврет* — приверженец.

С. 48. Послание от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту.— СиП, ч. 1, с. 55. Пер. послания английского поэта А. Попа (1688—1744); выполнен с французского перевода Ж. Делиля. В послании сатирически изображается литературная жизнь Англии в первые десятилетия XVIII в. *Арбутнот* (Арбетнот) Д. (1667—1735)— английский литератор, публицист, автор сатирических памфлетов. *Овидий* Назон (43 до н. э.—17 н. э.) — римский поэт. *Филиппов сын* — Александр Македонский. *Вальс, тонкий сей знаток...* — Далее упоминаются английские писатели второй половины XVII — первой половины XVIII в. *Щечиться* — выманивать, воровать. *Виндзор* — летняя королевская резиденция недалеко от Лондона. *Дрягили* — грузчики. *Меценат* (I в. до н. э.) — римский вельможа, друг Горация, покровитель искусств; имя его стало нарицательным. *Митра* — головной убор епископов. *Клобук* — монашеский головной убор с покрывалом. *Шишак* — воинский металлический шлем с острием.

С. 59. Сокращенный перевод Ювеналовой сатиры о благородстве.—СиП, ч. 1, с. 45. Пер. VIII сатиры римского поэта Децима Юния *Ювенала* (ок. 60—ок. 127). *Возможно ль Фабию... названье Альборога...* — Один из представителей древнего рода Фабиев в 121 г. до н. э. победил кельтское племя аллоброгов. *Иракл* — Геракл. *Кассий, Павел, Друз* — видные римские политики. *Рубеллий* — современник Ювенала, состоявший в родстве с императорами Августом и Нероном. *Кимерин* — нарицательное имя аристократов. ...*От имени орлов...* — на гербе Рима был изображен орел. *Фаларид* — агригентский тиран (VI в. до н. э.); употреблял медного быка как орудие казни: осужденного клали в быка, под которым разводили огонь. *Нумитор, Капитон*— жестокие правители провинций Рима. *Мирон* (V в. до н. э.) — греческий скульптор. *Паразий* — Парассий (VI в. до н. э.) — греческий живописец. *Фидий* (начало V в. — ум. 432—431 до н. э.) — греческий скульптор. *Веррес, Антоний* Гибрида —римские чиновники, грабившие население. *Дамазин* — промотавшийся аристократ, унижавший свой знатный род тем, что сам управлял шестеркой лошадей. *Остия* — торговая гавань и военный порт Рима. ...*Между Цибелиных неистовых жрецов...* — Культ Цибелы (Кибелы) носил оргиастический характер. *Лукания* (Базиликата) — отдаленная область в Южной Италии. *Воллезиус и Брут* — промотавшиеся потомки знатных римлян. *Цитега, Катилина* — организаторы заговора против сената (63 до н. э.); заговор раскрыт Цицероном. *Марк*

Тулиус — Цицерон (106—43 до н. э.), римский политический деятель, оратор. *Август* Октавиан (68 до н. э.—14 н. э.) — первый римский император.

СКАЗКИ. БАСНИ. АПОЛОГИ

Сказка в русской поэзии второй половины XVIII — первой трети XIX в. (во Франции XVIII в.: conte) — это небольшая стихотворная новелла с забавным и (или) поучительным сюжетом, чем была близка басне. У Дмитриева некоторые сказки первоначально назывались баснями и наоборот. В настоящем издании тексты определены в разделы в соответствии с изданием 1823 г.

Сказки

С. 66. Картина.— МЖ, 1792, ч. 8, с. 5. *Козлов* Г. И. (1738—1791) — русский художник. *Апелл* (Апеллес) (VI в. до н. э.)—знаменитый греческий художник. *Сумароков* А. П. (1717—1777)—крупнейший поэт русского классицизма.

С. 68. Модная жена.— МЖ, 1792, ч. 5, с. 15. *Цитерская сторона* — страна любви; *...шестеркою в карете...* — Так ездили особы первых четырех классов. *Лукреция* — знатная римлянка; обесчещенная родственником мужа, покончила с собой; в литературе XVIII—начала XIX в. упоминается как образец женской добродетели.

С. 73. Сказка.— ИМБ, с. 172.

С. 74. Искатели фортуны.— «Аониды», 1797, кн. 2, с. 92. Пер. басни Ж. Лафонтена (1621—1695) «Человек, который гнался за Фортуной, и человек, который ждал ее в своей кровати». *Сурат* — порт в Индии.

С. 76. Воздушные башни.— ИМБ, с. 18. Написано по мотивам сказки Б. Эмбера (1747—1790) «Альнаскар». *Кадий* (кади) — духовный судья в странах Востока. *Визирь* — министр, высший сановник. *Могол* — представитель тюркской династии, правившей в средневековой Индии. *Чепрак* — подстилка под седло. *Сераскир* — военный министр.

С. 80. Причудница.— ИМБ, с. 55. Переработка сказки Вольтера. (1694—1778). *Берлин* — четырехместная крытая коляска. *Брамербас* — о прототипе этого героя см. с. 465—466; Брамербас — персонаж комедии «Якоб фон Тибое» датского драматурга Л.-Х. Хольберга. *Колет* — короткая форменная куртка кавалеристов. *Вохряной*— цвета охры. *Богданович*— см. с. 300—301. *Сарское Село* — от названия мызы Саари-Мойс; переосмыслено в Царское Село; *Армидин сад.*— Волшебные сады Армиды, героини поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим». *Диц* Ф. — см. комм. к с. 209. *Хилков* А. Я. (1676—1718) — русский дипломат; до 1850-х гг. считался автором «Ядра русской истории», написанного его секретарем А. И. Маккиевым. *Липец* — напиток из липового меда.

С. 89. Воспитание Льва.— ВЕ, 1803, ч. 9, с. 239. Пер. басни Ж.-П. де Флориана (1755—1794). Басня Дмитриева содержит намек на воспитание в 1784—1785 гг. Александра I швейцар-

цем Ф. С. де Лагарпом, сторонником идей Просвещения. Ср. с басней И. А. Крылова «Воспитание льва».

С. 92. Калиф.— СиП, ч. 3, с. 41. Пер. басни Флориана. *Калиф* (халиф) — верховный правитель мусульман в арабских странах, также титул египетского и турецкого султанов.

Басни

С. 94. Червонец и полушка.— «Утренние часы», 1789, 12 апреля, с. 207. Пер. басни Л. С. Мерсье (1740—1814) «Динарий и луидор».

С. 95. Истукан дружбы.— МЖ, 1791, ч. 1, с. 19. *Истукан* — статуя; *...дитя прекрасно* — Амур.

С. 96. Надежда и Страх.— МЖ, 1791, ч. 2, с. 6.

С. 97. Пчела, Шмель и я.— МЖ, 1792, ч. 7, с. 118.

Быль.— МЖ. 1792. ч. 8, с. 161. *Бог Пафоса* — Эрот; *Пафос* — город на Кипре, место культа Афродиты.

С. 99. Пустынник и Фортуна.— МЖ, 1792, ч. 8, с. 232. Пер. басни Ж.-Б.-Ж. де Грекура (1683—1743). *Плутарх* (ок. 46—ок. 127)—греческий историк.

С. 100. Чижик и Зяблица — «Аглая», 1794, кн. 1, с. 90: «Чиж (Подражание)».

С. 101. Жаворонок с детьми и Земледелец.— ИМБ, с. 113. Пер. басни Лафонтена. Под влиянием замечаний Карамзина Дмитриев убрал из басни при переиздании ряд просторечных слов и выражений (См.: Письма Карамзина, с. 39).

С. 102. Два Голубя.—ИМБ, с. 133, без последних 16 стихов, которые появились под названием «Подражание Лафонтену» в «Аонидах» (1798—1799, кн. 3). Пер. басни Лафонтена. Эту басню переводили также А. П. Сумароков, Д. И. Хвостов, И. А. Крылов.

С. 105. Истукан и Лиса.— ИМБ, с. 171. Сокращенный пер. басни Лафонтена. Ср. с басней А. П. Сумарокова «Лисица и статуя».

Старик и трое молодых.— ИМБ, с. 208. Пер. басни Лафонтена. Финал значительно изменен Дмитриевым. Басню переводили также Д. И. Хвостов, И. А. Крылов. *Мирт* — вечнозеленый кустарник, символ любви.

С. 106. Заяц и Перепелиха.— ИМБ, с. 212. Пер. басни Лафонтена.

С. 107. Два друга.— ИМБ, с. 230. Пер. басни Лафонтена.

С. 108. Дуб и Трость— ИМБ, с. 249. Пер. басни Лафонтена. Басню переводили также А. П. Сумароков, Я. Б. Княжнин, Н. П. Николев, И. А. Крылов.

С. 109. Орел, Кит, Уж и Устрица.—ПиП, 1795, ч. 8, с. 20: «Орел, Кит и Устрица».

Ласточка и птички.—«Аониды», 1797, кн. 2, с. 193. Пер. басни Лафонтена.

С. 111. Шарлатан.— «Аониды», 1797, кн. 2, с. 230. Пер. басни Флориана.

Кокетка и Пчела.—«Аониды», 1797, кн. 2, с. 254. Пер. басни Флориана.

С. 112. Желания.— «Аониды», 1797, кн. 2, с. 295; с подзаголовком «Сказка». Пер. басни Лафонтена.

С. 114. Совесть.— Басни и сказки И. Дмитриева. СПб., 1798, с. 36: «Отцеубийца». Пер. басни Флориана.

Магнит и Железо.— СиП, ч. 1, с. 107. Пер. басни Ш.-Э. де Песселье (1712—1763); аналогичный сюжет и в одноименной басне А.-В. Арно (1766—1834), но басня Арно вышла в 1812 г.

С. 115. Петух, Кот и Мышонок.—ВЕ, 1802, ч. 6, с. 134. Пер. басни Лафонтена.

С. 116. Царь и два Пастуха.— ВЕ, 1802, ч. 6, с. 213. Пер. басни Флориана.

С. 117. Летучая рыба.— ВЕ, 1803, ч. 7, с. 192. Пер. басни Флориана. Вступление к басне отсутствует у Флориана и сочинено Дмитриевым. *Плиний* Старший (ок. 24—79)—римский государственный деятель, писатель, автор «Естественной истории», энциклопедического сочинения о природе; *...встречаема волками!* — Первоначально было сопровождено примечанием: «Иные называют их же морскими собаками».

С. 118. Каретные лошади.— ВЕ, 1803. ч. 12, с. 209. Пер. басни Эмбера.

Змея и Пиявица.— СиП, ч. 1, с. 80. Пер. басни Флориана.

С. 119. Мышь, удалившаяся от света.— СиП, ч. 1, с. 84. Пер. басни Лафонтена. Ср. с басней А. П. Сумарокова «Отрекшаяся от мира мышь». *Дервиш* — мусульманский нищенствующий монах.

С. 120. Осел, Обезьяна и Крот.— СиП, ч. 1, с. 87. Пер. басни Ж.-Ж.-Ф. Буассара (1744—1833).

С. 121. Дряхлая старость.— СиП, ч. 1, с. 94.

Придворный и Протей.— СиП, ч. 1, с. 95. Пер. басни Флориана.

С. 122. Молитвы. СиП, ч. 1, с. 96.

С. 123. Нищий и Собака.— СиП, ч. 1, с. 97.

Книга «Разум».— СиП, ч. 1, с. 99: «Книга». Пер. басни Ж.-Л. Обера (1731—1814).

С. 124. Ружье и Заяц.— «Северный вестник», 1804, ч. 1, с. 347. Пер. басни Эмбера.

С. 125. Башмак, мерка равенства.— ВЕ, 1803, ч. 9, с. 45.

Мудрец и Поселянин.— СиП, ч. 3, с. 7. Пер. басни Флориана. *Зенон* (ок. 333—262 до н. э.) — греческий философ, основоположник стоицизма. *Пифагор* (втор. пол. VI—нач. V в. до н. э.) — греческий философ, математик. *Эпикур* (341—270)— греческий философ-материалист.

С. 126. Муха.— СиП, ч. 3, с. 10. Пер. басни П. Вилье (1648—1728). Сходный сюжет разработан в басне Лафонтена, переведенной Крыловым под названием «Муха и дорожные». См. также басню А. П. Сумарокова «Комар».

С. 127. Лиса-проповедница.— СиП, ч. 3, с. 11. Пер. басни Флориана «Лис-проповедник». *Хирагра* — подагра в кистях рук.

С. 128. Осел и Кабан.— СиП, ч. 3, с. 13. Пер. басни Э. Бурсо (1638—1701).

С. 130. Слепец и Расслабленный.— СиП, ч. 3, с. 14. Пер. басни Флориана.

С. 131. Отец с сыном.— СиП, ч. 3, с. 16. Пер. басни Флориана «Юноша и старик».

Дон-Кишот.— СиП, ч. 3, с. 17. Пер. басни Флориана. Дмитриев усилил комические черты в образе Дон-Кихота.

С. 133. Человек и Конь.— СиП, ч. 3, с. 21. Пер. басни Лафонтена «Конь, желавший отмстить оленю».

Пчела и Муха.— СиП, ч. 3. с. 23. Пер. басни Ж.-Ф. Гишара (1731—1811).

С. 134. Горесть и скука.— СиП, ч. 3, с. 23. Пер. басни Ф.-Б. Гофмана (1760—1828).

Три Льва.— СиП, ч. 3, с. 25. Пер. басни Эмбера.

С. 135. Воробей и Зяблица.— СиП, ч. 3, с. 26: «Молчание соловья». Пер. басни Буассара.

Месяц.— СиП, ч. 3, с. 26. Пер. басни Э. Фюмара (1743—1806).

Две Лисы.— СиП, ч. 3, с. 27. Пер. басни Гишара «Два лиса».

С. 136. Суп из костей.— СиП, ч. 3, с. 28.

Два Веера.— СиП, ч. 3, с. 29. Пер. басни Гишара.

С. 137. Амур, Гимен и Смерть.— СиП, ч. 3, с. 34.

Человек и Эхо.— СиП, ч. 3, с. 36. Пер. басни А.-В. Арно.

С. 138. Часовая стрелка.— СиП, ч. 3, с. 35. Пер. басни французского поэта Ножана (по указанию М. Н. Лонгинова, первого комментатора произведений Дмитриева).

Лев и Комар.— СиП, ч. 3, с. 43. Пер. басни Лафонтена. Ср. с одноименной басней Крылова.

С. 139. Кот, Ласточка и Кролик.— СиП, ч. 3, с. 45. Пер. басни Лафонтена. *Ласточка* — ласка, маленькое полевое хищное животное. *Дромадер* — одногорбый верблюд.

С. 141. Лебедь и Гагары.— СиП, ч. 3, с. 40. Эта и следующая басни служат откликами на критические выпады против Карамзина. См. также июльское письмо 1805 г. к Д. И. Языкову (с. 379).

Орел и Змея.— ВЕ, 1805, ч. 19, с. 220, с подзаголовком «Подражание французскому». Пер. басни Гофмана.

С. 142. Смерть и Умирающий.— ВЕ, 1805, ч. 22, с. 115. Пер. басни Лафонтена. Дмитриев отбрасывает развернутое вступление и вводит специфически русские реалии.

С. 143. Слон и Мышь.— Соч., 1810, ч. 3, с. 82. Пер. басни Буассара.

Бык и Корова.— Соч., 1810, ч. 3, с. 83. Пер. басни Вилье.

С. 144. Верблюд и Носорог.— СиП, 1810, ч. 3, с. 90. Пер. басни Флориана.

Рысь и Крот.— Соч., 1810, ч. 3, с. 91. Пер. басни Буассара.

С. 145. Сверчки.— Соч., 1810, ч. 3, с. 102. Пер. басни А. У. де Ламота (1672—1731). *Уложенье* — собрание всех действующих законов.

С. 146. Орел и Каплун.— Соч., 1810, ч. 3, с. 110. Пер. басни Арно. *Каплун* — петух, откармливаемый на мясо. Ср. с басней Крылова «Орел и куры».

С. 146. История.— Соч., 1818, ч. 3, с. 39. Пер. басни Буассара. Басня вызвана полемикой вокруг первых 8 томов «Истории государства Российского» Карамзина. Говоря об «истории правдивой», Дмитриев намекает на содержание готовившегося к печати девятого тома, посвященного эпохе Ивана Грозного.

С. 147. Бобр, Кабан и Горностай.— Соч., 1818, ч. 3, с. 77. Пер. басни Флориана. Начало басни сокращено у Дмитриева.

С. 148. Слепец, Собака его и Школьник.— «Полярная звезда на 1825 г.», с. 183. *Выжлица* — гончая собака.

Апологи

Апологи.— Отд. изд.: «Апологи в четверостишиях». М., 1826. Ранее публиковались: «Магнит и Железо» (СиП, ч. 1, с. 107). «Полевой цветок», «Дитя на столе», «Разбитая скрипка» (СиП, ч. 3, с. 17, 20), «Львиное право», «Чужеземное растение», «Равновесие», «Преступления», «Роза и Шмель», «Песнь Лебедя», «Порок и Добродетель», «Ошибка Чижа», «Скорбь и Фортуна», «Плод», «Жертвенник и Правосудие», «Еж и Мышь», «Павлин» («Новости литературы», 1823, ч. 3, с. 143, 171; ч. 4, с. 30; ч. 5, с. 14; ч. 6, с. 13). «Репейник и Фиалка», «Светляк и Змея», «Орел и Филин», «Богач и Поэт», «Собака и Перепел», «Подснежник» («Полярная звезда на 1824 г.»). Большая часть апологов — переводы из сборника Ш.-Л. Мольво (1776—1844) «Cent fables en quatre vers chacune» (Сто басен в четверостишиях). (Париж, 1820).

С. 150. Полевой цветок.— Пер. басни Л.-П. Беранже «Лютик и гвоздика». С. 151. Разбитая скрипка.— Пер. стих. Ш.-С. Тевено (1759—1821). Преступления. *Готовлю я не мак, но совести укоры.*— Семена мака обладают снотворным действием. С. 153. Репейник и Фиалка — Пер. басни А.-Ф. Лебайи (1756—1832). С. 156. Магнит и Железо.— Пер. басни Ш.-Э. де Песселье или А.-В. Арно. Ср. басню «Магнит и Железо». С. 158. Ком земли.— Ср. аполог «Полевой цветок». Две молитвы. *Моллак* — мулла, служитель религиозного культа у мусульман.

ПОСЛАНИЯ

С. 163. К А. Г. С<еверино>й.— МЖ, 1791, ч. 4, с. 253: «Письмо к ***». *Северина* Анна Григорьевна — жена П. И. Северина, сослуживца Дмитриева по Семеновскому полку; с ней Дмитриев был дружен в 1790-е гг., ее сын—Дмитрий Петрович *Северин* (1791—1865), о котором идет речь в послании, впоследствии дипломат, участник «Арзамаса», был любимцем Дмитриева. *Грез* Ж.-Б. (1725—1802) — французский живописец, изображал сцены домашней жизни. *Делиль* Ж. (1738—1813) — французский поэт, автор описательных поэм «Сельские жители», «Сады». *Колардо* Ш. П. (1732—1776)—французский поэт и драматург. *Торкват* — Тассо Т. (1544—1595)—итальянский поэт. *Бюффон* Ж. Л. Л. де (1707—1788)—французский естествоиспытатель, автор многотомной «Частной и общей естественной истории» (1749—1788).

Руссо Ж. Ж. (1712—1778)—французский философ-просветитель. *Локк Д.* (1632—1704)—английский философ, педагог. *Правила британского творца* — «Мысли о воспитании» Локка.

С. 164. Стансы к Н. М. Карамзину.— ИМБ, с. 119. О Карамзине (1766—1826) см. во «Взгляде на мою жизнь». *Катон* — в XVIII — начале XIX в. примерами политических деятелей — сторонников строгой государственности — были Катон Марк Порций Старший (234—141 до н. э.) и Катон Марк Порций Младший (95—46 до н. э.). Первый, будучи консулом, ввел суровые законы против роскоши; второй покончил с собой, узнав о том, что Юлий Цезарь сосредоточил верховную власть в своих руках. *Сенека* (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) — римский государственный деятель, философ-стоик. *Эпиктет* (ок. 50—ок. 140) — римский философ-стоик. Карамзин ответил на это стихотворение «Посланием к Дмитриеву» (1794) и сделал несколько критических замечаний. (См.: Письма Карамзина, с. 42—43).

С. 166. К Ф. М. Дубянскому, сочинившему музыку на песню «Голубок».— ИМБ, с. 111. *Дубянский Ф. М.* (1760—1796) — композитор, написавший музыку на слова песни «Стонет сизый голубочек». *Клавир* — фортепьяно.

С. 167. К Г. Р. Державину (По случаю кончины первой супруги его).— СиП, ч. 2, с. 125. *Державин Г. Р.* (1743—1816)— см. с. 298—308, его первая жена, Е. Я. Державина (см. с. 303—304, умерла 15 июля 1794 г., о чем Державин писал Дмитриеву 24 июля: «Не стало любезной моей Плениры! <...> Теперь для меня сей свет совершенная пустыня»; *...на кипарисе лиру* — символ скорби. *Три люстра* — три пятилетия; Державин прожил с первой женою 15 лет.

С. 168. К <А. Г. Севериной> на вызов ее написать стихи.— ПиП, 1794, ч. 2, с. 140. Адресат послания обозначался в разных изданиях различно: «К одной госпоже...» (ПиП), «Ответ Филлиде...» (ИМБ), «К N. N.» (СиП). Имя во всех изданиях, кроме ИМБ и сочинений 1823 г.,—Климена. *Анакреон*—Анакреонт (ок. 570—478 до н. э.) — греческий поэт-лирик, воспевавший радости жизни.

С. 169. Послание к Н. М. Карамзину.— «Аониды», 1797, кн. 2, с. 84: «К другу». *Еще дымится пепл отеческого крова...*— Имеется в виду пожар Сызрани летом 1795 г.; *твое Послание* — «Послание к женщинам» Карамзина. *Херасков* — см. комм. к с. 229. *Пеней* — река в Греции близ горы Олимп.

С. 171. Ода П. П. Б<екетову>.— ИМБ, с. 47. *Бекетов* Платон Петрович (1761—1836) — двоюродный брат Дмитриева. *...Аполлоновы стрелы производили смертоносную язву в греческом стане.*— В Троянской войне Аполлон выступал на стороне троянцев. В стихотворении развиваются горацианские мотивы «довольства малым», ставшие общим местом карамзинистских посланий (см., например, «Послание к Дмитриеву» Карамзина, «Послание к Жуковскому в деревню» Вяземского, послание «К Батюшкову» Вяземского и др.).

С. 172. К приятелю (С дачи).— ИМБ, с. 162. Адресат не установлен.

С. 173. К Ю. А. Н<елединскому> —М<елецкому>.— ИМБ, с. 168. *Нелединский-Мелецкий* Юрий Александрович (1752—1829) — поэт; автор популярных в 1790-е годы песен.

К графу Н. П. Румянцеву.— СиП, ч. 1, с. 71. *Румянцев* Николай Петрович (1754—1826) — канцлер, дипломат, председатель Государственного совета (1810—1814); его библиотека и коллекция древностей легли в основу Румянцевского музея; *...лик его бессмертного отца!* — Н. П. Румянцев был сыном П. А. Румянцева-Задунайского, выдающегося русского полководца; речь идет о портрете П. А. Румянцева, подаренном Н. П. Румянцевым Дмитриеву. *Петров* В. П.— см. комм. к с. 277, 302. *Который звучною трубою...*— Имеется в виду послание Петрова П. А. Румянцеву (1775). *Агаряне* — турки. *Сарматы* — поляки.

С. 174. Послание к Аркадию Ивановичу Толбугину.— «Русский архив», 1863, № 12, с. 894. *Толбугин* — знакомый Дмитриева. *А ла козак* — наподобие козака. *Орозман* — герой трагедии Вольтера «Заира».

С. 175. К друзьям моим по случаю первого свидания с ними <...>.— СиП, ч. 2, с. 133. Об этой отставке см. с. 336—337.

С. 176. К Г. Р. Державину.— ВЕ, 1805, ч. 23, № 19, с. 202: «Ответ сочинителю стихов под названием «Лето», напечатанных в осмнадцатом нумере «Вестника Европы». Это стихотворение Державина было напечатано без подписи с примечанием: «Автор не подписал своего имени — это и не нужно. Читатели узнают российского барда по напеву». В первых изданиях 2-е примечание Дмитриева имело продолжение: «Для тех, которые не живали в Москве, можно прибавить, что в этой роще было кладбище для иностранных. Теперь же надгробные камни служат для гуляющих вместо столов и стульев». В своем стихотворении Дмитриев повторяет метрику, строфику, характер рифмовки державинского «Лета».

С. 177. В. В. И<змайлову>.— «Литературный музеум», 1827, с. 317. *Измайлов* Владимир Васильевич (1773—1830) — писатель, переводчик; в 1820-е годы — один из наиболее близких Дмитриеву людей. *Теперь душа ...глядит на кипарис...*— Кипарис у древних считался деревом смерти. В. В. Измайлов ответил Дмитриеву посланием «И. И. Д.» («Литературный музеум», 1827, с. 318).

ПЕСНИ

С. 178. «Стонет сизый голубочек...».— МЖ, 1792, ч. 6, с. 217: «Сизый голубочек».

С. 179. «Тише, ласточка болтлива!..».— МЖ, 1792, ч. 8, с. 210: «Песня».

С. 180. «Ах! когда б я прежде знала...».— МЖ, 1792, ч. 7, с. 275: «Бабушкина песня».

«Без друга и без милой...».— ИМБ, с. 131: «Разлука».

С. 181. «Видел славный я дворец...».— ПиП, 1794, ч. 1, с. 299.

С. 182. «Всех цветочков боле...».— ИМБ, с. 202: «К Хлое».

«Юность, юность! веселися...».— ИМБ, с. 206: «К юности».

С. 183. «Пой, скачи, кружись, Параша!..».— ИМБ, с. 221: «На цыганскую пляску».

С. 184. «О любезный, о мой милый!..».— ПиП, 1795, ч. 6, с. 9.

С. 185. Что с тобою, ангел, стало?..».— Карманный песенник, или Собрание лучших светских и простонародных песен. М., 1796 (сост. И. И. Дмитриев), с. 39.

С. 186. «Все ли, милая пастушка...».— СиП, ч. 3, с. 63: «Песенка».

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

С. 187. Отъезд.— МЖ, 1792, ч. 7, с. 8. Речь идет об отъезде Дмитриева в действующую армию в Финляндию в 1788 г. во время русско-шведской кампании.

С. 189. Прохожий и Горлица.— МЖ, 1791, ч. 4, с. 10: «Разговор прохожего с Горлицей (Подражание)». Пер. одноименного французского стихотворения, напечатанного анонимно в «L'utile et agréable almanach amusant» (Амстердам — Париж, 1774, с. 78).

Счет поцелуев.— МЖ, 1791, ч. 1, с. 148.

С. 190. К*** о выгодах быть любовницею стихотворца.— МЖ, 1791, ч. 1, кн. 3, с. 274: «Письмо к Прелесте». *Книд* — херсонесская колония лакедемонян. *Глицерия* — образ возлюбленной, воспетой Горацием. *Корина* — героиня «Любовных элегий» Овидия.

С. 192. Я.— МЖ, 1791, ч. 1, с. 280.

С. 193. Клире.— МЖ, 1791, ч. 4, с. 122.

С. 194. Карикатура.— МЖ, 1792, ч. 5, с. 295: «Отставной вахмистр». О прототипах стихотворения см. с. 465. Мотивы «Карикатуры» использованы А. С. Пушкиным в повести «Станционный смотритель» (см.: Виноградов В. В. О стиле Пушкина.— Литературное наследство, т. 16—18, М., 1934, с. 149). *Терентьич продолжает...*— Ср. речь Терентьича с рассказом Самсона Вырина у Пушкина: «Вот уже третий год,— заключил он,— как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает». *Торока* — ремешки у задней луки седла. *Вахмистр* — старший унтер-офицер в кавалерии. *Лубки* — куски коры липы.

С. 197. К текущему столетию.— МЖ, 1791, ч. 2, с. 218. С примечанием издателя (Карамзина): «Автор писал сие, получив через почту деньги». Принадлежность стихотворения Дмитриеву установлена В. В. Виноградовым (см.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка, вып. I. М., 1949, с. 190—194). *Франклин* Б. (1706—1790) — американский писатель-просветитель, физик, дипломат. *Кук Д.* (1728—1779) — английский мореплаватель. *Вашингтон Д.* (1732—1799)— первый президент США; *...Счастливейши Икары...*— Речь идет о первых полетах на воздушном шаре в Париже (1783).

С. 198. Подражание Пропрецию.— МЖ, 1792, ч. 5, с. 10. Вольный перевод 27-й элегии из II книги элегий римского поэта Секста *Пропреция* (ок. 50 — ок. 15 до н. э.). *Стигийский мутный ток* — Стикс, река забвения.

С. 199. Слабость.— МЖ, 1792, ч. 6, с. 10: «О слабость!».

Голубок.— МЖ, 1792, ч. 8, с. 197. Пер. оды Анакреона «Голубка».

С. 200. К младенцу.— МЖ, 1792, ч. 8, с. 199. Посвящено Д. П. Северину.

С. 201. Элегия («Коль надежду истребила...»).— ПиП, 1794, ч. 1, с. 315; в «Карманном песеннике» входила в раздел «Песни нежные».

С. 202. Элегия. Подражание Тибуллу.— ПиП, 1795, ч. 8, с. 8. Вольное подражание 1-й элегии из I книги любовных элегий римского поэта *Тибулла* (ок. 50—19 до н. э.). *Мессала* (64 до н. э.— 9 н. э.) — римский политик, полководец, оратор, покровитель и друг Тибулла.

С. 205. Стихи на игру господина Геслера, славного органиста.— ИМБ, с. 42. *Геслер* И. В. (1747—1822) — немецкий композитор, органист и пианист.

С. 206. Сонет.— «Муза», 1796, ч. 2, с. 140.

С. 207. Ночь.— «Муза», 1796, ч. 2, с. 141.

С. 208. Подражание Петрарку.— «Аониды», 1797, кн. 2, с. 251. Вольный перевод XVII сонета *Ф. Петрарки* (1304—1374) из цикла «На жизнь мадонны Лауры». *Лора* — Лаура, возлюбленная Петрарки.

С. 209. Элегия («Возьмите, боги, жизнь, котору вы мне дали...»).— «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 36. Написано на смерть старшего брата — А. И. Дмитриева (1759—1798).

Экспромт (На игру г-на Дица).— «Аониды», 1798—1799, кн. 3, с. 114. *Диц* Ф. (1742—1798) — венский скрипач-виртуоз, композитор; с 1771 г. жил в Петербурге, будучи камер-музыкантом придворного оркестра. *Это сказано ... скрипкою.*— В 1796 г. Диц дал обет молчания.

Путешествие.— ВЕ, 1803, ч. 12, с. 210. Пер. басни Флориана.

С. 210. Амур и Дружба.— ВЕ, 1803, ч. 8, с. 42. Пер. басни Гишара.

Загадка.— ВЕ, 1803. ч. 8, с. 140. Речь идет о журналах.

С. 211. К Маше.— СиП, ч. 2, с. 115. Посвящено дочери А. Г. Севериной.

Признание.— СиП, ч. 2, с. 61. *Заразы* — чары, обольщение.

С. 212. Спор на Олимпе.— СиП, ч. 2, с. 70.

С. 213. Грусть.— СиП, ч. 2, с. 131.

С. 214. История любви.— ВЕ, 1803, ч. 8, с. 227. Пер. стих. Виже (1758—1820) «Comme va l'amour».

Старинная любовь. Баллада.— СиП, ч. 3, с. 64.

С. 215. Людмила Идиллия.— СиП, ч. 3, с. 58. Пер. стих. Л. П. Беранже «Glucère».

С. 216. Филемон и Бавкида. Вольный перевод из Лафонтена.— СиП, ч. 3, с. 51. Переложение сказки Ла-

фонтена. Лафонтен, в свою очередь, опирался на обработку античного мифа в «Метаморфозах» Овидия (кн. 8). *Четыредесять жатв* — 40 лет. *Крылатый сын* — Меркурий. *Порфир* — горная порода, употребляемая как строительный материал.

С. 220. Стансы.— ВЕ, 1805, ч. 21, с. 133, с авторским примечанием: «Эта безделка уже давно мною переведена и известна была моим приятелям; ныне же я решился напечатать ее для того, чтобы не смешали моего перевода с другим, который напечатан от неизвестного под именем песенки в четвертой книжке (апрель) «Друга просвещения» на 1805-й год». Автор «песенки» — Д. И. Хвостов. Пер. стих. Г. Буше (1513—1593).

Люблю и любил.— СиП, ч. 3. с. 62.

С. 221. Мадекасская пленница.— Соч., 1810, ч. 2, с. 47. Подражание песне VI из цикла «Мадекасские песни» Э. Парни (1753—1814). *Мадекасская* — мадагаскарская.

С. 222. Плавание.— «Московский телеграф», 1827, ч. 14, № 7, с. 221—222, в составе статьи П. А. Вяземского «О сонетах Мицкевича». Пер. III сонета из цикла «Крымские сонеты» А. Мицкевича (1798—1855). В качестве подстрочника использован прозаический перевод Вяземского.

МАДРИГАЛЫ. НАДПИСИ. ЭПИТАФИИ. ЭПИГРАММЫ

Мадригалы. Надписи. Альбомные стихи

С. 223. «Прелестна Грация, служащая Венере...».— «Москвитянин», 1855, т. 5, № 17—18, с. 16.

К Климене, которая спрашивала меня, много ли красавиц видел я в концерте.— МЖ, 1791, ч. 4, с. 128.

С. 224. «По чести, от тебя не можно глаз отвесть...».— ИМБ, с. 241.

«Задумчива ли ты, смеешься иль поешь...».— ИМБ, с. 241.

Стихи по просьбе одной матери на двух ее детей.— ИМБ, с. 200.

С. 225. Надпись к портрету («Что мне об ней сказать?..»).— «Аониды», 1797, кн. 2, с. 101.

Надпись к портрету («Лишь взглянешь на нее...»).— «Аониды», 1797, кн. 2, с. 101.

Надпись к портрету («Одним тебя стихом, любезна, опишу...»).— «Аониды», 1797, кн. 2, с. 101.

К Венериной статуе. Из антологии.— «Аониды», 1797, кн. 2, с. 207. Пер. эпиграммы Вольтера «Oui, je montrai; toute nue...». *Праксите́л* — Пракситель (IV в. до н. э.), греческий скульптор; одна из его лучших работ — «Афродита Книдская».

Мадригал девице, которая спорила со мною, что мужчины счастливее женщин.— «Аониды», 1797, кн. 2, с. 286.

С. 226 Надпись к Амуру («Стреляй, о милый враг...»).— Соч., 1810, ч. 2, с. 70. Пер. «Надписи к Амуру, гото-

вому пустить стрелу» Ж.-Ф. Гишара, восходящей к эпиграмме римского поэта Децима Магна Авзония.

А. Г. С<евериной> в день ее рождения.— СиП, ч. 2, с. 114.

Мадригал («Нет, Хлоя! не могу я страсти победить...»).— СиП, ч. 2, с. 85.

К Амуру («Кто б ни был ты...»).— СиП, ч. 3, с. 69. Пер. надписи Вольтера.

С. 227. На случай подарка от неизвестной.— ВЕ, 1805, ч. 22, с. 303: «Стихи на получение от неизвестной особы вышитого по канве Гения». *Неизвестная* — поэтесса А. П. Бунина (1774—1829).

Стихи в альбом Е. С. О<гаревой>.— Соч., 1810, ч. 2, с. 71, *Огарева* Е. С. (1786—1870) — жена сенатора Н. И. Огарева, знакомая Дмитриева.

К альбому Н. И. К<уракиной>.— Соч., 1810, ч. 2, с. 72. *Куракина* Н. И. (1766—1831) — сочиняла романсы, играла на арфе, исполняла песни на стихи Дмитриева.

В альбом Шимановской.— «Московский телеграф», 1827, ч. 18, отд. 2, с. 120. *Шимановская* М. (1789—1831) — польская пианистка и композитор; с 1815 г. гастролировала в России; в 1822 г. получила звание придворной пианистки.

В альбом г-жи Иванчиной-Писаревой.— «Москвитянин», 1841, ч. 1, № 2, с. 356. Написано в альбом жены Н. Д. Иванчина-Писарева (1795—1849), писателя, историка-дилетанта, одного из частых собеседников Дмитриева в 1820—30-е годы; их знакомство началось в 1818 г.

Надписи к портретам

С. 228. Надпись <к портрету> князю Антиоху Димитриевичу Кантемиру.— «Санкт-Петербургские ученые ведомости», 1777, № 15, с. 117. О предыстории надписи см. с. 282—283. *Кантемир* А. Д. (1708—1744) — русский поэт-сатирик, дипломат. *Буало*-Депрео Н. (1636—1711)—французский поэт-сатирик, «законодатель» классицизма. *...И весь британский двор...*— С 1731 г. Кантемир был на дипломатической службе в Лондоне.

Надпись к портрету Н. А. Бекетова.— «Аониды», 1797, кн. 2, с. 241. *Бекетов* Н. А. (1729—1794)—дядя Дмитриева, в молодости любимец Елизаветы, при Екатерине — астраханский губернатор (1763—1780). *...И умер посреди безмолвныя пустыни.*— В своем имении Отрада под Царицыном.

Надпись к портрету Ивана Ивановича Шувалова.—«Аониды», 1797, кн. 2, с. 253. *Шувалов* И. И. (1727—1797) — государственный деятель, фаворит Елизаветы, покровитель искусств.

Надпись к портрету древнего русского историка Нестора.— СиП, ч. 2, с. 116. *Нестор* (конец XI — начало XII в.) считается создателем первой редакции «Повести временных лет», первого общерусского летописного свода.

С. 229. Надпись к портрету князя Италийского.— СиП, ч. 1, с. 73. В 1799 г. за победы в Италии над французской армией А. В. Суворов получил титул князя Италийского. *...Едина царства им не стало...*— Речь идет о победе в Польше рус-

ских войск под командованием Суворова в 1794 г. ...*А трем корона отдана.*— Три итальянские области были освобождены в 1799 г. во время Итальянского похода Суворова.

Надпись к его же портрету.— СиП, ч. 1, с. 73.

К портрету М. М. Хераскова.— СиП, ч. 2, с. 116. Херасков М. М. (1733—1807) — поэт, драматург; см. о нем с. 283, 315. *Владимир* Святославич, князь киевский,— герой поэмы Хераскова «Владимир Возрожденный». *Иоанн* Грозный — герой поэмы «Россияда».

<К портрету> Г. Р. Державина.— СиП, ч. 2, с. 117.

С. 230. <К портрету> М. Н. Муравьева.— СиП, ч. 2, с. 86. *Муравьев* М. Н. (1757—1807) — поэт, зачинатель сентиментальной прозы; попечитель Московского университета, товарищ министра просвещения (1802—1807). *Мать дочери велит труды его читать.*— Цитата из комедии А. Пирона «Метромания».

<К портрету Н. М. Карамзина>.— СиП, ч. 2, с. 87. А. С. Пушкин полемически использовал форму этой надписи в своей надписи «К портрету Чаадаева».

<К портрету П. И. Шаликова>.—СиП, ч. 2, с. 87. *Шаликов* П. И. (1767 или 1768—1852) — поэт, прозаик, журналист, эпигон Карамзина.

«Вот мой тебе портрет...».— СиП, ч. 2, с. 86.

Надпись к портрету («Смейтесь, смейтесь, что я щурю...»).— СиП, ч. 2, с. 103.

С. 232. <К портрету> графа Витгенштейна.— Соч., 1818, ч. I, с. 114. *Витгенштейн* П. Х. (1769—1843)—фельдмаршал русской армии.

Надпись к портрету лирика.— «Северные цветы на 1826 г.», с. 62.

Эпитафии

С. 233. «Когда и дружество струило слез потоки...».— ИМБ, с. 199: «Эпитафия младенцу».

Ф. М. Д<убянскому>.— «Аониды», 1797, кн. 2, с. 248.

В. А. В<оейков>у.— «Аониды», 1798—1799, кн. 3. с. 35: «Надгробие».

В. И. С. — СиП, ч. 2, с. 118.

С. 234. Надгробие И. Ф. Богдановичу, автору «Душеньки». I. «Привесьте к урне сей...»; 2. «В спокойствии, в мечтах...».— ВЕ, 1803, ч. 8, с. 139, под общим заголовком «Эпитафии поэту Богдановичу». *Богданович* И. Ф. (1743—1803) — поэт, автор весьма популярной в конце XVIII—начале XIX в. сказочной поэмы «Душенька».

И. Ф. Богдановичу, автору «Душеньки» («На урну преклонясь..»).— ВЕ, 1803, ч. 8, с. 230; «Эпитафии автору «Душеньки».

Эпитафия князю А. М. Белосельскому-Белозерскому.— Д. Н. Бантыш-Каменский. Словарь достопамятных людей. Ч. I. СПб., 1836, с. 240. *Белосельский-Белозерский* А. М. (1752—1809) — литератор, знакомый Карамзина. *Рюрик* (IX в.)— легендарный предводитель варяжских дружин, считавшийся, со-

гласно летописным преданиям, основателем Древнерусского государства и русской княжеской династии.

На кончину Веневитинова.— «Московский телеграф», 1827, ч. 14, отд. 2, с. 157. *Веневитинов* Д. В. (1806—1827)— поэт, критик.

Эпиграммы

С. 235. Эпиграмма («Поверю ль я тебе, Кощей...»).— МЖ, 1791, ч. I, с. 280.

Эпиграмма («Почто ты Ма́зона...»).— МЖ, 1791, ч. I, с. 280. *Ма́зон* — Д. Мейсон (ок. 1705—1763), теоретик масонства, автор труда «О познании самого себя» (рус. пер. И. П. Тургенева — 1783 и 1786).

На смерть попугая.— МЖ, 1791, ч. 2, с. 220.

Эпиграмма («Кто хочет, тот несчастья трусы!..»).— МЖ, 1791, ч. 3, с. 12. Пер. анонимной французской эпиграммы «La fortune en vain m'est cruelle».

С. 236. Надпись к портрету («Глядите: вот Ефрем...»).— МЖ, 1791, ч. 3, с. 133: «Надпись к портрету Ефрема-живописца».

«И это человек?..».— МЖ, 1791, ч. 4, с. 12.

Эпиграмма («Он врал — теперь не врет...»).— МЖ, 1791, ч. 4, с. 133.

Эпиграмма («Мне лекарь говорил...»). — МЖ, 1791, ч. 4, с. 127: Пер. эпиграммы Н. Ф. де Нёшато (1750—1828) «Mes malades jamais ne se plaigent de moi...».

Эпиграмма («Дамон! Кто бытию всевышнего не верит...»).— ИМБ, с. 242. *Боннет* — Ш. Бонне (1720—1793); швейцарский философ, естествоиспытатель.

Эпиграмма («Завидна,— я сказал,— Терситова судьбина...»).— ИМБ, с. 243.

С. 237. Надпись к портрету («Возможно ль, как легко...»).— ИМБ, с. 244.

Надпись к портрету («Ай, как его ужасен взор...»).— ИМБ, с. 245.

Надпись к портрету («Родятся лилии...»).— ИМБ, с. 245.

Эпиграмма («Хорош бы Фока был...»).— «Аониды», 1797, кн. 2, с. 103.

Надпись к портрету («Чей это, боже мой, портрет?..»).— СиП, ч. 2, с. 104.

Близнецы.— СиП, ч. 2, с. 104.

С. 238. Эпиграмма («Я разорился от воров...»).— СиП, ч. 2, с. 101. Пер. эпиграммы П. Д. Экушара Лебрена (1729—1807) «Диалог между несчастным поэтом и автором».

Эпиграмма («Увы,— Дамон кричит...»).— СиП, ч. 2, с. 102.

Надпись к портрету («Какой ужасный, грозный вид!..»).— СиП, ч. 2, с. 103.

«Здесь бригадир лежит...».— СиП, ч. 2, с. 105. *...и только что в газетах....* — Сведения о выезде из Петербурга и Москвы печатались в санкт-петербургских и московских «Ведомостях».

С. 239. Супружняя молитва.— ВЕ, 1803, ч. 7, с. 46: «Супружеская молитва». Пер. эпиграммы Р. Понса де Вердена (1749—1844).

Эпиграмма («Кто как ни говори...»).— СиП, ч. 3, с. 74.

Эпиграмма («Поэт Оргон, хваля жену не в меру...»).—«Московский Меркурий», 1803, ч. 12, с. 154. Пер. эпиграммы Ж.-Ф. Гишара (источник установлен В. Е. Васильевым в кн.: «Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в. Л., 1975, с. 673).

Эпиграмма («Как! Рифмин жив еще...»).—СиП, ч. 3, с. 75.

С. 240. «Что легче перышка?..».—СиП, ч. 3, с. 76.

Эпитафия («Полвека стан его возили в сей юдоле...»).—СиП, ч. 3, с. 76.

«Прохожий, стой! во фрунт...».—СиП, ч. 3, с. 77.

Надпись к Амуру («С тех пор, как нежный пол...»).—И. И. Дмитриев. Полн. собр. стихотворений. Л., 1967, с. 401. По указанию П. И. Шаликова, надпись относится к статуе Амура в саду у дома Дмитриева в Москве.

Эпитафия попугаю.— «Опыт русской анфологии». СПб., 1828, с. 138.

Эпитафия («Под хладной кочкой сей...»).— «Опыт русской анфологии», с. 174. Принадлежность последних двух эпиграмм Дмитриеву установлена в кн.: «Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в.», с. 675.

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛЕМИЧЕСКИЕ, САТИРИЧЕСКИЕ, ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

В данный раздел вошли в основном стихотворения, написанные на злободневные темы; большинство из них не предназначалось для печати и было опубликовано М Н. Лонгиновым лишь в «Русском архиве» (1867, № 5—6) по рукописной тетради из бумаг двоюродного брата Дмитриева П. П. Бекетова. Г. П. Макогоненко эти стихотворения поместил в «Полном собрании...» 1967 года, опираясь на публикацию Лонгинова. Вновь найденная В. П. Степановым рукопись произведений Дмитриева позволяет сделать ряд уточнений в названиях текстов, чтении отдельных строк и датировке (см.: Степанов В. П. Заметки о В. Л. Пушкине. 1. Автограф «Путешествия N. N. в Париж и Лондон» И. И. Дмитриева.— В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983, с. 250—262).

С. 241. Гимн восторгу — МЖ, 1792, ч. 7, с. 119. Пародия направлена против Н. П. Николева (см. комм. к с. 44); в ней комически утрируются традиционные поэтические приемы, формулы и образы торжественной оды, усвоенные Николевым. *Восторг* — мотив, восходящий в русской поэзии к торжественным одам Ломоносова и определяющий в зачине оды душевное состояние лирика, восхищенного грандиозностью описываемых им событий и величием изображаемых им лиц. *Крин* — лилия; символ чистоты; *Этна* — вулкан на о. Сицилия; *райски крины* и *Этна* — традиционные обра-

зы торжественной оды, не раз использованные Николевым. *Големый* (церковнослав.) — великий; у Николева: «Пиита и творец големый» (о Гомере). Николев был весьма уязвлен «Гимном восторгу» и долго не мог забыть его (см., например, его басню «Соловей и скворец», 1798; в 1796 г. во вступлении к 3-му тому своих «Творений» он писал: «Творцы *касаточек*, <...> уже успели выпустить на меня свою *аллегорию*, и для славы своих безделиц не заметить моей *лиры*, а мое *големое* поместить в свою бестолковщину весьма неголемо».— С. IV).

С. 242. Эпиграмма <на А. И. Клушина> — ИМБ, с. 243: «О Клюквин, не глуши...». *Клушин* А. И. (1763—1804) — писатель, совместно с И. А. Крыловым издавал журналы «Зритель» и «Санкт-Петербургский Меркурий», полемизировал с Карамзиным. Конкретный повод эпиграммы — ода Клушина «Человек» («Санкт-Петербургский Меркурий», 1793, № 4). *Невтон* — Ньютон И. (1643—1727), английский физик, математик, астроном.

Эпиграмма <на Н. М. Шатрова> — «Вчера и сегодня». СПб., 1845, кн. I, с. 52. Отклик на эпиграмму поэта Н. М. Шатрова (1767—1841), написанную на книгу Карамзина «Мои безделки» (1794):

Собрав свои творенья мелки,
Русак немецкой написал:
«Мои безделки».
А ум, увидя их, сказал:
«Ни слова! Диво!
Лишь надпись справедлива!»

Другой вариант эпиграммы И. И. Дмитриева опубликован М. А. Дмитриевым («Мелочи из запаса моей памяти». М., 1869, с. 227):

А я хоть и не ум, а тож скажу два слова:
Коль будет разум наш во образе Шатрова,
Избави боже нас от разума такова!

С. 242. <Песня> («Я моськой быть желаю...») — «Карманный песенник», СПб., 1796, с. 124. Пародия на популярную песню «Я птичкой быть желаю...»; направлена против эпигонов сентиментализма.

С. 243. Блаженство — «Русский архив», 1863, № 2, с. 111. В «бекетовской тетради» стихотворение названо «Щастливец» и имеет разночтения с опубликованным текстом (Степанов В. П., Заметки..., с. 262). Написано в период, когда Дмитриев вел тяжбу о наследстве своего дяди Н. А. Бекетова и обращался за помощью к А. А. *Безбородко* (1747—1799), влиятельному государственному деятелю. *Магистрат* — городское управление. *Келлер* — петербургский ростовщик. *Михайлов* Н. Л.— славился своей силой и тучностью; *брат его* — Я. И. Лихачев, поручик Семеновского полка (объяснение этих имен было дано Д. И. Языковым в рукописи, по которой опубликовано стихотворение в «Русском архиве»).

С. 243. Песнь («Обманывать и льстить...»)—«Карманный песенник», с. 125. В «Русском архиве» (1867, № 5—6) «Песнь» опубликована по другому списку; в частности, после 4-й строфы следует:

Полковник в двадцать лет
Подпорой нашей славы;
А ротмистр — дряхл и сед!
О времена! О нравы!

Судьи кривят иль спят;
На злобу нет управы;
Друг друга все едят!
О времена! О нравы!

С. 244. На спуск Стефанием трех шаров, в присутствии трех знатных особ.— «Русский архив», 1867, № 5—6, с. 982. В 1798 г. некто Стефаний предпринял в Москве неудавшуюся попытку запуска трех воздушных шаров. Дмитриев сравнивает с лопнувшими шарами карьеру трех высокопоставленных в прошлом лиц, чьи карьеры лопнули: фаворитов Екатерины II—А. Г. *Орлова*-Чесменского (в отставке с 1775 г.), П. А. *Зубова* (с 1797) и приближенного Павла I — А. Б. *Куракина* (с 1798; о нем см. с. 532—533).

Надпись к егерскому дому, который выстроен был за городом — «Русский архив», 1863, № 12, с. 895.

С. 245. Старинная шутка к портрету Н. М. Карамзина—«Русский архив», 1867, № 5—6, с. 988. *Шолье* Г. (1636—1720) — французский поэт, писал главным образом в духе Анакреона. *Юм* Д. (1711—1776) — английский философ, историк, экономист. *Вейлер* — знакомая Дмитриева, хозяйка одного из московских салонов. *Бывает и игрок, когда у Киселева...* — В доме Д. И. Киселева (1761—1820), отца П. Д. Киселева, будущего министра государственных имуществ (1837—1856), много играли в карты.

На случай од, сочиненных в Москве в коронацию — «Русский архив», 1867, № 5—6, с. 986. *Лебрень* — П.-Д. Экушар Лебрен. Перечисленные Дмитриевым поэты написали оды на восшествие на престол Александра I. Эпиграмма является также и автоэпиграммой — в списке поэтов Дмитриев называет себя (см. его оду — с. 36).

Пародия на Шаликову эпитафию Богдановичу — «Русскиий архив», 1867. № 5—6, с. 985. Эпитафия Шаликова (ВЕ, 1803, ч. 8, с. 140):

Любовь у Душеньки в плену любви была,
А Душеньку душа его произвела.
Что ж был он для сердец? — пусть сердце отвечает
Тому, кто истинных талантов цену знает.

С. 246. На смерть Ипполита Федоровича Богдановича—«Русский архив», 1867, № 5—6, с. 984. *П. И. Богданович* — соиздатель журнала «Зеркало света» (1786—1787; совместно с Ф. О. Туманским), его собственный журнал «Новый Санкт-Петербургский вестник» (1786) после 2-й книги не имел продолжения.

С. 246. Эпитафия эпитафиям — ВЕ, 1803, ч. 9, с. 46. В 1803 г., после смерти И. Ф. Богдановича, Карамзин предоставил страницы «Вестника Европы» для публикации лучших эпитафий. Стихотворение Дмитриева — отклик на поток эпитафий Богдановичу.

Пародия на слова: Сотворивший небо и землю<...> — «Русский архив», 1867, № 5—6, с. 989. «*Храм славы Российских Ироев»* (СПб., 1803), произведение *П. Ю. Львова* (1770—1825) — в 1790-е годы автора сентиментальных повестей, в начале XIX в. ставшего на сторону А. С. Шишкова, который выпустил в 1803 г. «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», послужившее поводом к 15-летней полемике по вопросам русского литературного языка. *Сотиньус* (от *фр.* sot — глупый) — сатирическое именование Шишкова.

С. 248. Путешествие N. N. в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия.— Отд. изд. М., 1808, ограниченным тиражом, 50 или 80 экз. Тема стихотворения — путешествие В. Л. Пушкина (1770—1830), дядюшки А. С. Пушкина, по Европе в 1803—1804 гг. В. П. Степанов установил, что стихотворение написано не до путешествия, как принято было считать, исходя из заглавия, а уже после него. В рукописи название — «Путешествие В. Л. Пушкина в чужие края в 1803 и 1804 годах». Мистифицирующий заголовок и примечания появились, видимо, при издании текста в 1808 г. В. Л. Пушкин был мишенью насмешек в дружеском кругу; в частности, Дмитриев весьма иронически относился к нему. *Я был в Лицее, в Пантеоне.*— Дальнейшее перечисление мест пребывания В. Л. Пушкина в Париже и лиц, с которыми он встретился, отражает действительные факты, о которых писал Пушкин в своем письме, помещенном в «Вестнике Европы» (1803, № 20); Дмитриев называет в первую очередь факты (прием у Наполеона Бонапарта) и имена (Сьейес, Вестрис-сын), восторг путешественника перед которыми создает ироническую иллюзию его политического радикализма, что никак не соответствовало полной невинности В. Л. Пушкина в этой области. Пушкин был огорчен появлением в печати «Путешествия», так как в 1808 г. восхищение Наполеоном ввиду усилившегося после Тильзитского мира патриотизма могло принести неприятности. *Рекамье* Ж. Ф. Б. (1777—1849) — хозяйка литературного и политического салона; *Мамелюки* — воины-рабы в Египте; корпус мамелюков входил в армию Наполеона. *Сиес* — Сьейес Э. Ж. (1748—1836), один из основателей Якобинского клуба. *Вестрис-сын* М. О. (1760—1842) — особенную популярность приобрел перед революцией; отказавшись танцевать перед шведским королем, гостившим в Париже, был заключен в тюрьму; по требованиям парижан освобожден; стал кумиром революционного Парижа. *Мерсье* Л.-С. (1750—1814), хорошо знакомый русскому читателю автор, приветствовал революцию. «*Меркюр* де Франс», «*Монитор* Универсель» — парижские журнал и газета. *Так точно, наш земляк зовет* — князь Егор Алексеевич Голицын. *На ужин к нашей же* — к Елизавете Петровне Дивовой, с 1798 г. жившей за границей (о Голицыне и Дивовой см.: Степанов В. П. Заметки..., с. 257—259). *Сегюр* Л.-Ф. (1753—1830) — французский писатель и дипломат; был французским послом при Екатерине II. *Питт* У. Младший (1759—1806) — премьер-министр Вели-

кобритании (1804—1805), лидер партии тори. *Шеридан* Р.-Б. (1751—1816) — английский драматург, политический оратор. *Мабли* Г. Б. де (1709—1789) — французский писатель, социолог. *Корнилий* — Корнелий Непот (между 99 и 24 до н. э.) — римский историк. *Тацит* (ок. 58—117) — римский историк. *Шакеспир* — Шекспир. *Гюм* — Д. Юм. *Аддисон* Д. (1672—1719) — политический деятель, писатель; его журналы «The Spectaitor» («Зритель»), «The Talter» («Болтун») и др., издававшиеся совместно с Р. *Стилом* (1676—1729), были популярны не только в Англии, но и в других европейских странах.

С. 251. На журнал «Новости литературы»—«Русский архив», 1867, № 5—6, с. 982. *«Новости русской литературы»* (1802—1805)—до 1804 г. редактировались П. А. *Сохацким* (1765—1809), профессором эстетики и древней литературы в Московском университете.

На журналы — «Русский архив», 1867, № 5—6. с. 986. *«Вестник от карел»* — «Северный вестник» (1804—1805), издатель И. И. Мартынов. *«Просвещенья сват»* — «Друг просвещения» (1804—1806), см. след. комм. *«Аврора»* (1805—1806) — издатели Ф. Х. Рейнгард, Я. И. де Санглен. *«Корифей*, или Ключ литературы» (1802—1807) — издатель Я. А. Галенковский. Последняя строка эпиграммы (уточнена В. П. Степановым) использована в эпиграмме «"Сыны отечества" и "Вестники Европы..."», приписываемой Пушкину.

Объявление от издателей о журнале на будущий год — «Русский архив», 1867, № 5—6, с. 984. Направлено против журнала «Друг просвещения» и его издателей — Д. И. Хвостова, П. И. Голенищева-Кутузова (1767—1829), Г. С. Салтыкова (1777—1814). Журнал занимал антикарамзинистскую и антисентименталистскую позицию. *Гиппиус* — владелец типографии в Москве.

Эпиграмма на притчу «Госпожа и ткачи», напечатанную в одном журнале — «Русский архив», 1867, № 5—6, с. 988. Басня Д. И. Хвостова *«Госпожа и ткачи»*, опубликованная анонимно в «Друге просвещения» (1805 г., ноябрь, с. 143), содержала насмешку над требованием изящества слога. Дмитриев принял басню на свой счет (см. его письмо Д. И. Языкову от 10 января 1806 г.).

С. 252. На рождение лирика — Степанов В. П. Заметки..., с. 260; Адресат—Д. И. *Хвостов* (1757—1835), поэт, автор многих од; его имя в первую треть XIX в. стало почти нарицательным для обозначения бездарного писателя-графомана.

Эпиграмма <на Д. И. Хвостова> («Подзобок на груди...»)—Соч., 1810, ч. I, с. 71. *Бавий* — ставшее нарицательным имя римского поэта, критиковавшего из зависти Вергилия и Горация. Здесь имеются в виду критические выступления Хвостова в адрес карамзинистов. *Все классики уже переводимы мной...* — Хвостов гордился своим переводом «Поэтического искусства» Буало (1-е изд.: СПб., 1808).

Ответ — «Русский архив», 1867, № 5—6, с. 985. Эпиграмма вызвана рецензией в «Вестнике Европы» (1806, ч. 24, № 27—29) М. Т. Каченовского (1775—1842) на 3-ю часть «Сочинений и переводов» Дмитриева. Рецензия, кроме мелочной критики басен, содержала личный выпад против Дмитриева (см. также

с. 323). *Дефонтен* (1685—1745) — критик Вольтера. Последний стих повторил А. С. Пушкин в своей эпиграмме на Каченовского (1818).

С. 252. К моему лицеподобию — «Русский архив», 1867, № 5—6, с. 983. Эпиграмма вызвана нападками М. Т. Каченовского на Дмитриева. *Эзоп* — греческий баснописец VI в. до н. э., канонизатор басенного жанра.

С. 253. «Не понимаю я, откуда мысль пришла...» — «Русский архив», 1867, № 5—6, с. 982—983. *«Цирцея»* — стихотворение Ж.-Б. Руссо (1670—1741), много переводившееся в России.

Будочник — «Русский архив», 1867, № 5—6, с. 990. *Будочник* — полицейский, наблюдавший за порядком на улицах. *Частный* — частный пристав.

С. 254. Триссотин и Вадиус<...> — Соч., 1810, ч. I, с. 76. Пер. сцены из комедии «Ученые женщины» Ж.-Б. Мольера (1622—1673). *Теокрит* — Феокрит (конец IV в.— перв. пол. III в. до н. э.), греческий поэт, автор идиллий.

С. 258. Амур в карикатуре — «Русский архив», 1867, № 5—6, с. 984. Пародия на надпись французского поэта Грувеля (1758—1806) к статуе Амура.

На множество дурных од, вышедших по случаю рождения именитой особы — Соч., 1810, ч. I, с. 71.

План трагедии с хорами — Соч., 1810, ч. I, с. 73. Пародия на трагедии 1800-х годов.

С. 260. Дети и мыльные пузыри — «Московский телеграф», 1825, № 4, с. 310. Басня является откликом на выступления критиков «Истории» Карамзина (см. с. 322). В последних строках имеется в виду обычай Карамзина не вмешиваться в литературную полемику.

СТАТЬИ. АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА. ПИСЬМА

С. 262. О русских комедиях — ВЕ, 1802, № 7, с. 232—236. Это одно из важных выступлений по вопросу о создании национального театрального репертуара. *«Так и должно»* (1773) — комедия М. И. Веревкина. *«Судейские именины»* (1781) — комедия И. Я. Соколова. *Реньяр* Ж.-Ф. (1656—1709), *Детуш* Ф. (1680—1754) — французские драматурги, чьи пьесы были популярны в России.

С. 264. Письмо к издателю <журнала «Московский зритель»> — «Московский зритель», 1806, ч. I. Обращено к П. И. Шаликову, начавшему издание «Московского зрителя» с января 1806 г. *...отдохнем на «Вестнике Европы»* — статья написана еще до ссоры с Каченовским. *Сарычев* Г. А. (1764—1831) — вице-адмирал, гидрограф, автор «Дневных записок плавания<...> по Балтийскому морю и Финскому заливу в 1802, 1803, 1804 и 1805 годах». *Руссо* Ж.-Б.— см. комм. к с. 253 *...вольтерова «Смесь»* — «Смесь философическая» (1767).

С. 268. Взгляд на мою жизнь. <Фрагменты> Опубл. полностью М. А. Дмитриевым: М., 1866; прим. М. Н. Лонгинова.

В настоящем издании текст печатается по изданию 1866 г. с сокращением отрывков: о восстании Пугачева; о приезде Екатерины II в Москву в 1775 г. (кн. I); о приказании Павла I Дмитриеву носить новый мундир (кн. 4); о структуре 3-го департамента Сената и подробностях деятельности Дмитриева в нем в 1797—1799 гг. (кн. 5); об участии Дмитриева в составлении земского ополчения в 1806 г.; о следствиях, проведенных Дмитриевым в Рязани и Костроме в 1808 г.; отзыв Александра I о Ф. И. Козлятеве; о деятельности Сената и Законодательной комиссии (кн. 7); подробности судебных дел, разбиравшихся Дмитриевым в 1812—1814 гг., и возникших на этой почве служебных конфликтов (кн. 8); подробности деятельности Дмитриева в Комиссии по оказанию помощи жителям Москвы в 1816—1819 гг. (кн. 9), авторские примечания IV, V, VII—X к I части, II—III ко II части, I, VI к III части.

С. 269. Часть первая. Книга первая. *Афанасий Алексеевич Бекетов* в 1729—1731 гг. был симбирским воеводой; его дочь Екатерина (ум. 1813) — мать И. И. Дмитриева, с 1754 г. замужем за сызранским помещиком Иваном Гавриловичем Дмитриевым (ум. 1818). В тексте записок упомянуты также сыновья А. А. Бекетова — дядюшки И. И. Дмитриева: Никита, Николай, Петр (женат на дочери И. Б. Твердышева). И. И. Дмитриев был дружен с детьми Петра Афанасьевича, своими двоюродными братьями: Платоном (см. комм. к с. 171), Иваном, Петром (ум. 1849); дочери П. А. Бекетова — Елена (ум. 1823; замужем за А. Д. Балашовым), Екатерина (замужем за С. С. Кушниковым), *старший брат* — родной брат Александр (см. с. 209); в записках упоминаются далее младшие братья и сестры И. И. Дмитриева — Федор (ум. 1812; сенатор), Сергей (ум. 1829) (оба служили в Семеновском полку), Николай, Михаил, Надежда (ум. 1849), Наталья (1780—1866).

С. 270. *Макаров* П. И. (1765—1804) — писатель-карамзинист; начал полемику с А. С. Шишковым в защиту нового слога («Московский Меркурий», 1803, № 12). *Игельстром* И. А. (1737—1817) — генерал-губернатор Симбирска и Уфы (1784—1792).

С. 271. *...школьные... и домашние разговоры* — видимо, «Домашние разговоры французские, немецкие, русские и латинские» («Colloquia domestika <...>». 1-е изд.: СПб., 1749) Г. Ф. Платса. *Вуатюр* В. (1598—1648), *Костар* П. (1603—1660), *Бальзак* Ж. Л. Г. де (1594—1654)—французские писатели, чьи произведения были хорошо известны образованному читателю XVII—XVIII вв. *«Тысяча <и> одна ночь»* — М., 1763—1774, т. 1—12; *«Шутливые повести»* — «Господина Скаррона Шутливая повесть». СПб., 1763; пер. с *нем.* В. Е. Тепловым «Комического романа» П. Скаррона. *«Похождения Робинзона Круза»* — «Жизнь и приключения Робинзона Круза...». СПб., 1762—1764, пер. с *фр.* Я. И. Трусовым романа Д. Дефо. *«Жильблаз де Сантилана»*— «Похождения Жилблаза де Сантиланы»; пер. В. Е. Тепловым романа Р. Лесажа. 1-е изд.: СПб., 1754—1755. *«Приключения маркиза Г***»* — «Приключения маркиза Г...». СПб., 1756—1758, ч. 1—4; пер. И. П. Елагиным романа А. Ф. Прево д'Экзиля «Запис-

ки знатного человека, удалившегося от света»; ч. 5—6—1764—1765 (пер. В. И. Лукина). *Лопец де Вега* — Лопе де Вега (1562—1635); *Кальдерон* де ла Барка (1600—1681)—классики испанской драматургии;

С. 272. ...*вояжиров лексикон* — словарь для путешественников («вояжеров»). *Антидот* (фр.) — противоядие. *«Похождения Клевеланда* — «Английский философ, или Житие Клевеланда...». СПб.— М., 1760—1784; пер. романа Прево д'Экзиля; *молодой маркиз* — герой «Приключений маркиза Г...». *Дон Фигероазо* — герой анонимного французского сочинения, в русском переводе А. Г. Окунева: «Уединенный Гишпанец, или Жизнь дона Варраска Фигероаза». СПб., 1767—1768.

С. 273. *«Гамлет»* и др. — трагедии А. П. Сумарокова. Мон-*Плезир* (фр.— мое утешение, удовольствие)—дворец в Петергофе. *Домик, что при самом море...*—Из оды Сумарокова «На победы... Петра Великого» (1755). *Где Парис в златой жил век...* — имеется в виду «пастушеский» период жизни Париса; *собрание сочинений Ломоносова* — В библиотеке отца Дмитриева было «Собрание разных сочинений» Ломоносова 1757—1759 гг. (1-е *московское* изд., но по времени второе — в 1751 г. в Петербурге вышел том сочинений Ломоносова).

С. 274. ...*о какой говорится горе...* — В 1-й строфе «Оды на взятие Хотина» речь идет о Парнасе; ...*ключ молчит*—Кастальский ключ; ...*в девятой строфе.*— Описка: в 8-й строфе. *Мармонтель* Ж.-Ф. (1723—1799)—французский писатель-просветитель. *«Маргарит»* — сборник поучительных слов Иоанна Златоуста (ок. 347—407); издан в Остроге в 1595—1596 гг. *«Всемирная история»* — труд историка римско-католической церкви Барония (1538—1607), в пер.: «Деяния церковные и гражданские» (М., 1719). *Острожская Библия* — издана в Остроге И. Федоровым (1581).

С. 275. ...*отряды... конфедератов.*— В 1768 г. на Правобережной Украине, принадлежавшей Польше, образовалась конфедерация, провозгласившая борьбу против польского короля и царской России; русские войска под командованием Суворова нанесли конфедератам ряд поражений; ...*война с Оттоманскою Портою* — с Турцией (1768—1774); ...*о сожжении при Чесме турецкого флота* — 25—26 июня 1770 г.

С. 276. ...*театре Локателлия и Бельмонти...* — Д.-Б. Локателли (1713—1785) — содержатель итальянской оперно-балетной труппы в Петербурге и Москве; в 1760—1761 гг. нанимал труппу Московского университета, дававшую русские спектакли; Д. Бельмонти — с 1769 г. содержал русский театр совместно с Д. Чинти. *Дмитревский* И. А. (1734—1821)—крупнейший актер второй половины XVIII в. *Троепольская* Т. М. (ум. 1773) — трагическая актриса. *Ломоносов* М. В. (1711—1765), *Сумароков* А. П. (см. комм. к с. 66), *Тредьяковский* (Тредиаковский) В. К. (1703—1768) пребывали во враждебных личных отношениях. *Фонвизин* Д. И. (1744 или1745—1792) прославился во второй половине 1760-х годов. *«Слово по случаю выздоровления наследника Екатерины»*— СПб., 1771; *наследник* — будущий император Павел I; ...*об участи Москвы...*— С весны 1771 по январь 1772 г. в Москве была эпидемия чумы, во время которой начались народные волнения; московский главнокомандующий П. С. Салтыков уехал из города; Екатерина II направила в Москву своего бывшего фаворита Г. Г. Орло-

ва (1734—1783); *...о политических происшествиях 1762 года...*— 28 июня Петр III был отстранен от власти, императрицей провозглашена его жена Екатерина; 6 июля он был убит. *Бирон* И. Э. (1690—1772) — всесильный временщик в период царствования Анны Иоанновны (1730-е годы).

С. 277. *Твердышев* И. Б. (ум. 1773)—владелец крупных заводов в Оренбургской губернии. *Славено* (или Славяно)*-греко-латинская академия* — первое высшее учебное заведение в Москве, основано в 1687 г. *Петров* В. П. (1736—1799) — поэт-лирик; в 1760—1767 гг. преподавал в Славяно-греко-латинской академии; автор стихотворного перевода «Энеиды» Вергилия; *ода на карусель* — написана по поводу празднества, состоявшегося 16 июня 1766 г. в Петербурге; Петров был в это время в Москве и, сочиняя оду, основывался на описании «каруселя» в «Прибавлении к «Московским ведомостям» (1766, 7 июля); за эту оду Петров получил от Екатерины II золотую табакерку с 200 червонцами; в 1768 г. был сделан чтецом и переводчиком при кабинете императрицы. *Потемкин* Г. А. (1739—1791)—фаворит и ближайший помощник Екатерины в 1770—1780-е годы. *Херасков, Муравьев*—см. комм. к с. 229, 230. *Майков* В. И. (1728—1778)—поэт, автор ирои-комической поэмы «Елисей, или Раздраженный Вакх». *Собрание басен*—«Басни... Михайла Муравьева». СПб., 1773; *«Похвальное слово Ломоносову»* — СПб., 1774. «Гражданская брань»—СПб., 1774; *Петроний* Арбитр (ум. 66 г. н. э.)—римский писатель, автор «Сатирикона».

С. 278. *...об театре, бывшем тогда еще вольным.*— Частный, «вольный» театр в Москве существовал до 1804 г.; *опера-буфф* — итальянская комическая опера. *Веревкин* М. И. (1732—1795)—писатель, переводчик; его комедия *«Так и должно»* (1773) неоднократно ставилась в столицах. *Кашкин* Е. П. (1737—1796) — в 1770—1775 гг. командовал Семеновским полком.

С. 280. *Архаров* Н. П.— обер-полицеймейстер Москвы (1775—1782), генерал-губернатор Петербурга (1796—1797). *Тайная экспедиция* при Сенате — высший орган политического надзора и сыска в 1762—1801 гг.

С. 281. *Брюс* Я. А. (1742—1791) — командовал Семеновским полком в 1778—1784 гг.

С. 282. Книга вторая. *Одна только надпись* — к портрету Кантемира (с. 228). *«Ученые ведомости»* — «Санкт-Петербургские ученые ведомости» (1777, вышло 22 номера); издатель К. В. Миллер; редактор Н. И. *Новикóв* (1744—1818), писатель-просветитель, книгоиздатель, организатор филантропической деятельности в Москве в 1780-е гг. *Феофан Прокопович* (1681—1736) — государственный и церковный деятель, сподвижник Петра I. *Чемезов*—Чемесов Е. П. (1737—1765), гравер. *Лосенков*—Лосенко А. П. (1737—1773), портретист. *«Опыт исторического словаря...»*. СПб., 1772— первый русский биобиблиографический словарь писателей.

С. 283. *...риторика Ломоносова* — «Краткое руководство к красноречию» (1-е изд.: СПб., 1748); *пиитика Андрея Байбакова* — «Правила пиитические в пользу юношества...» (1-е изд.— СПб., 1774) А. Д. Байбакова (1745—1801; в монашестве Аполлос). *Кондратович* К. А. (1703—ок. 1790) — переводчик, филолог. *Фрерон* Э. К. (1718—1776) — французский писатель, критик Вольтера и энциклопедистов. *Клеман* П. (1707—1767) — французский пи-

сатель, критик, издавал с 1748 г. журнал «Nouvelles littéraires de France» («Литературные новости Франции»). *Лагарп* Ж.-Ф. (1739—1803) — французский писатель, теоретик классицизма, автор историко-литературного труда «Лицей, или Курс древней и новой литературы» (1799—1805); *...из среды юношей кадетского корпуса...* — Сумароков закончил в 1740 г. Сухопутный кадетский шляхетный корпус.

С. 284. *Дорат* — Дора К. И. (1734—1780) — французский поэт, один из авторитетов в легкой поэзии.

С. 285. *...в его «Семире»...* — Дмитревский играл роль Олега. *Еней и Рослав* — герои трагедий Княжнина «Дидона» и «Рослав». *Княжнин* Я. Б. (1740 или 1742—1791) — драматург, был женат на дочери А. П. Сумарокова. *Плавильщиков* П. А. (1760—1812) — актер, режиссер, драматург; на придворной сцене с 1779 г.

С. 286. *...был студентом...* — Плавильщиков учился в Московском университете; *«Утро»* — еженедельник Плавильщикова «Утра» (май—сентябрь 1782). *Вялая идиллия и элегия на смерть какого-то доктора* — стихи Дмитриева: «Идиллия» («Умолкни, ветерок, забудьте, птички, петь...») и «Стихи на кончину доктора Вира» («Утра», 1782, май, с. 9—11); *...переводами с французского...* — См. с. 458.

С. 287. *...родною сестрою моего родителя...* — М. Е. Карамзин женился на Авдотье Гавриловне Дмитриевой. *Шаден* И. М. — директор пансиона, где учился Карамзин в 1777—1781 гг.; *...вижу румяного, миловидного юношу...* — Встреча с Карамзиным произошла в 1781 г.

С. 288. *«Разговор австрийской Марии Терезии...»* — перевод утрачен; *Мария Терезия* (1717—1780) — австрийская эрцгерцогиня (с. 1740); *Елисавета* — Елизавета Петровна (1709—1761/62), российская императрица (с 1741). *«Томас-Ионес»* — «Повесть о Томасе Ионесе <...>»; пер. Е. С. Харламовым романа Г. Филдинга «История Тома Джонса, найденыша» (СПб., 1770—1771); *...он вышел в отставку...* — в 1785 г. *«Картина Смерти»* (1761) — произведение французского писателя Л. А. *Караччоли* (1721 — 1803). *«Белый бык»* — повесть Вольтера, распространившаяся в списках в 1773 г.; в публикации 1774 г. авторство было приписано французскому писателю О. Кальме; в издании 1775 г. — вымышленному лицу — господину Мамаки, якобы переведшему повесть с сирийского языка; по мнению П. Р. Заборова, имеется в виду 2-я часть повести «Кандид», вышедшая в 1773 г. на немецком языке («Die beste Welt») (Заборов П. Р. Русская литература и Вольтер. Л., 1978, с. 91). *Тургенев* И. П. (1752—1807) — участник московского масонского кружка; в 1792 г. сослан в поместье в Симбирск, при Павле I назначен директором Московского университета.

С. 289. *Общество дружеское типографическое.* — Дмитриев смешивает Дружеское ученое общество, организованное Новиковым в 1779 г., и Типографическую компанию, возникшую на основе этого общества в 1784 г.; *...слушать профессора Шварца...* — Неточность: И. Г. Шварц (1751—1784)—профессор Московского университета, один из руководителей масонского кружка, читал лекции в 1782—1783 гг., когда Карамзин служил в Преображенском полку. *«Детское чтение»* — М., 1785—1789. *«Учитель, или Всеобщая система воспитания»*; пер. с нем. М., 1789—1791. *«Хризомандер»* —

М., 1783. *«Багуатгета»* — «Бхагаватгита», поэма на санскрите, входящая в древнеиндийский эпос «Махабхарата»; пер. Петрова (М., 1788) выполнен не с немецкого языка, а с английского.

С. 290. *«Цветок над гробом* <моего> *Агатона»*—«Аглая», 1794, ч. I; написано на смерть А. А. Петрова в 1793 г.; *Агатон* — герой романа К. М. Виланда «История Агатона» (1766); именем Агатона, прошедшего путь от мистицизма к скептическому мировоззрению, Карамзин стал называть Петрова в конце 1780-х годов, когда у обоих друзей наметилось разочарование в масонстве (см. комм. Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского в кн.: Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984, с. 691; *...два или три тома штурмовых «Размышлений».*— «Беседы с богом, или Размышления в утренние часы, на каждый день года»; «Размышления о делах божиих в царстве натуры и провидения...» М., 1787—произведения немецких писателей-моралистов К.-Х. Штурма (1740—1786) и И. Ф. Тиде, в переводе которых участвовал Карамзин. *«О происхождении зла.* Поэма великого Галлера». М., 1786. А. фон Галлер (1708—1777) — швейцарский поэт, натуралист. «Эмилия Галотти» — М., 1788. Г. Э. *Лессинг* (1729—1781) — немецкий писатель, драматург, теоретик искусства. *«Юлий Цесарь»* (пер. трагедии Шекспира)—М., 1786; *«Мессиада»* — поэма Ф. Г. Клопштока (1724—1803). «Les veillées du chateau» — пер. повестей С.-Ф. Жанлис («Детское чтение», 1787—1788, ч. 9—15); *...напечатал первую повесть, им сочиненную, и первые опыты свои в поэзии.*— Повесть «Евгений и Юлия», стихи: «Аркадский памятник», «Анакреонтические стихи», «Гимн» («Детское чтение», 1789, ч. 18). *Он не имел... классического образования.*— Новиков учился лишь в университетской гимназии, но и ее не закончил из-за смерти отца. *«Трутень»* — СПб., май 1769 — апрель 1770; *«Живописец»* — СПб., 1772—1773. *«Зритель»* — см. с. 519; *...Они отличались от сборников чужой и домашней всякой всячины* — Имеется в виду журнал «Всякая всячина» (1769—1770), который контролировался Екатериной II и с которым полемизировал «Трутень».

С. 291. *«Древняя российская Вивлиофика»* — 1-е изд.: М., 1773—1775, ч. 1—10; 2-е изд.: М., 1788—1792, ч. 1—20; *вивлиофика* — библиотека. *«Утренний свет»* — журнал масонского направления, издавался с сентября 1777 по август 1780 г. (с мая 1779 в Москве). *С переселением... Хераскова...* — Херасков был назначен куратором Московского университета 28 июня 1778 г. и предложил Новикову взять в аренду университетскую типографию; контракт был заключен 1 мая 1779 г. на 10 лет. *Дружеское типографическое общество*—Типографическая компания. *Лопухин* И. В. (1756—1816), *Ключарев* Ф. П. (1751—1822), *Кутузов* А. М. (1749—1797) — видные деятели кружка Новикова. *Юнговы «Ночи»* — «Плач Эдуарда Юнга, или Нощные размышления о жизни, смерти и бессмертии». М., 1785. *Юнг* Э. (1683—1765) — английский поэт. *Клопштокова «Мессиада»*—«Мессия». М., 1785; 1787. *Еще за несколько лет до Типографического общества...* — Далее Дмитриев перечисляет книги, вышедшие в основном в типографии Академии наук в 1760—1770-е годы. *«Илиада»*—«Омировых творений часть 1-я, 2-я». СПб., 1776; 1778; пер. прозой «Илиады» П. Екимовым. Омир — Гомер. *«Одиссею»... Кондратовича* — «Одиссея...». М., 1788; пер. прозой П. И. Соколова, а не К. А. Кондратовича.

С. 292. *«Творения велемудрого Платона» в трех томах* — СПб., 1780—1785. *«Разговоры Лукиана Самосатского»* — СПб., 1775—1784; *Лукиан* (ок. 120—после 180) — греческий писатель, философ-сатирик. *«Теаген и Хариклея»* — пер. И. К. Мошковым романа Гелиодора (III или IV в.) «Эфиопика» под названием «Образ невинной любви, или Странные приключения ефиопской царевны Хариклеи и Феагена Фессалянина» (СПб., 1769; 1779). *Эпиктетов «Энхиридион», его же «Апофегмы» и Кевитову «Картину»* — «Епиктита, стоического философа, Енхиридион и Апофегмы, и Кевита Фивейского Картина, или Изображение жития человеческого». 1-е изд.: СПб., 1759. *Кевит* — Кебет Фиванский, ученик Сократа. *«Диодора Сицилийского Историческая библиотека»* — СПб., 1774—1775; *Диодор Сицилийский* (ок. 90—21 до н. э.) — греческий историк. *Десять книг Павзания*—«Павсаний, или Павсаниево Описание Еллады, то есть Греции». СПб., 1788—1789; пер. И. И. Сидоровского и М. С. Пахомова; *Павсаний* — греческий писатель II в. *«Житие Александра Великого»* — «Квинта Курция История о Александре Великом Македонском <...>». 1-е изд.: СПб., 1750; пер. С. П. Крашенинникова; *Саллустия «Югурфинскую войну» и «Заговор Катилины»* — «Каия Саллустия Криспа войны Каталинская и Югурфинская». СПб., 1769; пер. В. И. Крамаренкова. *Саллюстий* (86—ок. 35 до н. э.) — римский историк; *Югуртинская война* — война Рима с Нумидией (Северная Африка); *Югурта* (160—104 до н. э.) — царь Нумидии; *Катилина* — см. комм. к с. 59. *«Записки Юлия Цесаря о походах его в Галлию»* — СПб., 1774; пер. С. Воронова; *Юлий Цезарь* (102 или 100—44 до н. э.) — римский диктатор, полководец. *Цицерон* — см. комм. к с. 59; его произведения: *«О естестве богов»*. СПб., 1779. пер. Г. Комова; *«О дружестве»*. СПб., 1781, пер. М. Павлова; *«О должностях»* — «Три книги о должностях». СПб., 1761; пер. Б. А. Волкова; *«Двенадцать отборных речей»* — СПб., 1767; пер. К. А. Кондратовича. *Светония о Августах* — «К. Светония Транквилла Жизни двенадцати первых цесарей римских». СПб., 1776, пер. М. И. Ильинского. *Светоний* (ок. 70—ок. 140) — римский историк. *«Сокращение римской истории»* — «Веллея Патеркула. Сокращение греческия и римския истории». СПб., 1774; пер. Ф. П. Мойсеенкова; «Луция Флора четыре книги Римской истории от времен царя Ромула до цесаря Августа». М., 1792, пер. Л. Прохорова; *Веллей Патеркул* (19 до н. э.—32 н. э.), *Люций Флор* (II в. н. э.)—римские историки. *Монтескье* Ш. Л. (1689—1755) — французский философ-просветитель. *«О разуме или духе законов»*—«О разуме законов». СПб., 1775; пер. В. И. Крамаренкова. *«Политические наставления»* — «Наставления политические...» Я.-Ф. *Бильфельда* (1711—1770). М., 1768—1775, ч. 1—2; пер. Ф. Я. Шаховского и А. А. Барсова. *Юстия «Основание царств»*—«Основание силы и благосостояния царств...» СПб., 1772—1778; пер. И. И. Богаевского. *Юстий* — Юсти И. Г. Г. (1720—1771)—немецкий экономист и минералог; *...лучших романов Филдинга, аббата Прево и Лесажа.*— Романы Филдинга: «Повесть о Томасе Ионесе». СПб., 1770—1771; «Деяния г-на Ионафанса Вилда Великого». СПб., 1772—1773 и др. романы Прево — см. с. 272; романы Лесажа: «Бакалавр Саламанский...» СПб., 1763; «Повесть о хромоногом бесе». 1-е изд.: СПб., 1763 и др. *Дружеское типографическое общество в полной безопасности процветало* — Это не так: еще в 1785 г. более 400 новиков-

ских изданий было опечатано; в 1788 г. императрица санкционировала запрещение аренды Новиковым университетской типографии.

С. 293. *Французский переворот* — Великая Французская революция, начавшаяся в 1789 г. *Прозоровский* А. А. (1732—1809) — главнокомандующий в Москве (1790—1795). *Сам же Новиков отправлен был в Тайную канцелярию...* — Новиков был арестован в апреле 1792 г.; в августе 1792 г. приговорен к 15 годам заключения в Шлиссельбургской крепости; освобожден 11 ноября 1796 г. после смерти Екатерины и, удалившись в свое подмосковное имение Авдотьино, жил там до самой смерти. *Гамалея* С. И. (1743—1822) — друг Новикова, московский «наставник» Карамзина в 1780-е годы. *Он скончался в царствование Александра...* — Новиков умер 31 июля 1818 г. в возрасте 74 лет. *Вольтер и Ж. Ж. Руссо, хотя уже и находились в преклонных летах...* — Вольтер умер 30 мая 1778 г., Руссо — 2 июля 1778 г. (по н. ст.).

С. 294. *Д'Аламбер* Ж. Л. (1717—1783) — французский философ-просветитель, механик, математик, редактор «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (35 т., 1751—1780). *Дидро* Д. (1713—1784) — французский писатель, редактор «Энциклопедии». *Реналь* — *Рейналь* Г.-Т.-Ф. (1713—1796) — французский историк. *Тома* А.-Л. (1732—1785) — французский писатель. *Лагарп* — см. комм. к с. 283. *Квинтиллиан* (ок. 35—ок. 96) — римский оратор и теоретик ораторского искусства. *«Курс словесности» аббата Батё и Мармонтеля.*—Баттё Ш. (1713—1780) — автор «Курса изящной словесности» теоретического труда, систематизировавшего классицистические принципы литературы; *Мармонтель* (см. комм. к с. 274) был автором статей о литературе и языке в «Энциклопедии», опубликованы затем отдельно («Элементы литературы», 1787). *Сабатье* де Кастр А. (1742—1817) — французский критик. *«Записки» Палисота* — «Записки по истории нашей литературы» (1771) Ш. Палиссо (1730—1814). *«Критический журнал» Клемана* — см. комм. к с. 283. *Катулл* (ок. 87—ок. 54 до н. э.). *Проперций* — см. комм. к с. 198.

С. 295. *...по случаю открывшейся войны с Швецией...* — июль 1788 г.; *...природа дикая, но оссияновская...*— Оссиан (III в.) — легендарный шотландский воин и бард; мастерская мистификация Дж. Макферсона, издавшего в 1760-е годы якобы собранные им сочинения Оссиана, получила всеевропейское признание. *«Новая Элоиза»*—«Юлия, или Новая Элоиза», роман в письмах Ж. Ж. Руссо.

С. 296. *...с весною открылась вторая кампания* — 1790 г.; *...знакомство с Державиным и свидание с Карамзиным...* — Во второй половине лета — начале осени 1790 г.

Книга третия. *«Оды, сочиненные... при горе Читалагае».* СПб., 1777 — первая книга Державина. *Бибиков* А. И. (1729—1774) — генерал-аншеф, командовал военными действиями против Пугачева; *...послание Фридриха... Мопертию...*—*Фридрих II* Великий (1712—1786) — прусский король (с 1740), писатель. *Мопертий* — Мопертюи П. Л. М. де (1698—1759) — французский ученый; послание Фридриха к Мопертюи в прозаическом переводе Державина названо «К Мовтерпию».

С. 297. *«Послание к И. И. Шувалову...»*—«Эпистола И. И. Шувалову» (1777); Шувалов (см. с. 228) после переворота 1762 г. уехал за границу и вернулся в 1777 г.; стихотворения, перечисляе-

мые Дмитриевым в последнем прижизненном собрании сочинений 1808 г. были названы Державиным иначе: «К первому соседу», «Фелица», «На выздоровление Мецената», «Ключ». *«Санктпетербургский вестник»* — СПб., 1778—1781. *«Собеседник любителей российского слова»* — СПб., 1783—1784. *Дашкова* Е. Р. (1743—1810) — президент Академии наук (с 1782) и Российской Академии (с 1783); Российская Академия создана в 1783 г. как центр изучения литературы и языка. *Известность его началась не прежде, как после первой оды к Фелице.*— Ода была напечатана в «Собеседнике любителей русского слова» (1783, № 1; вышел в июне). *Во вторую кампанию шведской войны...* — В 1790 г.; *...с старшим братом...* — А. И. Дмитриевым.

С. 298. *Львов* П. Ю. — см. комм. к с. 246. *Державину минуло тогда пятьдесят лет.*— Державину было около 47 лет; *...он отрешен был от должности губернатора Тамбовской губернии...* — в декабре 1788 г. *Гудович* И. В. (1741—1821) — наместник рязанский и тамбовский (с 1785). *Это было уже по взятии Очакова.*— Неточность: Очаков был взят русскими войсками 6 декабря 1788 г., а Дмитриев познакомился с Державиным в 1790 г. *Знакомство наше началось вместе с этой работою.*— Описание праздника в честь взятия (11 декабря 1790) Измаила (а не Очакова) сочинено Державиным после праздника (состоялся 28 апреля 1791 г. в Таврическом дворце), а к самому празднеству были написаны хоры.

С. 299. *«Водопад»* — завершен в 1794 г. *«Московский журнал»* — М., 1791—1792; издавался Карамзиным; *...о кончине князя Потемкина...* — 5 октября 1791 г. *«На коварство»* — опубл. в 1798 г. *«Вельможа»* — сюда вошли строфы из оды «На знатность» (опубл. в «Одах... при горе Читалагае»). *Возобновление ее...* — в 1794 г. *Самойлов* А. Н. (1744—1814) — генерал-прокурор Сената и государственный казначей (с 1792). *«К дому, любящему учение»* — окончательное название: «Любителю художеств»; *назвал облака краезлатыми* — «Лазурны тучи, краезлаты» («Любителю художеств»). *Строганов* (Строгонов) А. С. (1733—1811) — сенатор, президент Академии художеств (1800—1811).

С. 300. *...послании к* <...> *Безбородке.*—«Приглашение к обеду» (1795), обращенное к А. А. Безбородко (см. комм. к с. 243); в этом стихотворении упомянута «шекснинска стерлядь золотая»; строка, вспомнившаяся Дмитриеву, из стихотворения «Евгению. Жизнь Званская» (1807): «...и с голубым пером там щука пестрая». *Костров* Е. И. (1755—1796) — автор первого стихотворного перевода «Илиады», переводчик Оссиана. *Хвостов, Богданович* — см. комм. к с. 252, 234. *Захаров* И. С. (1754—1816) — писатель, переводчик, сенатор (с 1801), его труды, упомянутые Дмитриевым: «Странствования Телемака» (1-е изд.: СПб., 1786) — пер. романа Фенелона; «Путешествие Гумфрия Клинкера» (СПб., 1789) — пер. романа Т. Д. Смоллетта. *Львов* Н. А. (1751—1803) — поэт, архитектор, художник, музыкант; кружок Львова (И. И. Хемницер, В. В. Капнист и др.), возникший в конце 1770-х гг., способствовал формированию поэтических вкусов Державина. *Львов* Ф. П. (1766—1835) — писатель, двоюродный брат Н. А. Львова. *Оленин* А. Н. (1763—1843)—археолог, историк, директор Публичной Библиотеки в Петербурге (с 1811), пре-

зидент Академии художеств (с 1817); *...в биографии Богдановича...* — статья Карамзина «О Богдановиче и его сочинениях» (ВЕ, 1803, ч. 9).

С. 301. *...я сошелся и с... Фонвизиным...* — 30 ноября 1792 г. *«Послание к Шумилову»* — «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке». *«Лиса-кознодейка»*—басня «Лисица-кознодей»; *«Похвальное слово Марку Аврелию»* — СПб., 1777, пер. сочинения А.-Р. Тома; *Марк Аврелий* (121—180)—римский император (с 161), философ. *«Гофмейстер»* — вероятно, «Выбор гувернера».

С. 302. *...две оды* — ода В. П. Петрова «На победу Российского флота над Турецким 1770» и послание «Его сиятельству графу Григорью Григорьевичу Орлову генваря 25 дня 1771». *«Защитник строгого, Зинонова закона* — последователь стоических правил; *Зинон* (Зенон) — см. комм. к с. 125. *...песнь на кончину князя Потемкина* — «Плач на кончину... Потемкина-Таврического».

С. 303. *Вельяминов* П. Л. (ум. 1804) — тамбовский помещик, литератор, друг Державина. *Капнист* В. В. (1758—1823) — поэт, вместе с ним Дмитриев редактировал 1-й том собрания сочинений Державина, издававшийся Карамзиным (М. 1798; собрание не имело продолжения).

С. 304. *Я все откладывал в ожидании места...* — 20 мая 1784 г. Державин был назначен олонецким губернатором.

С. 305. *...стоял на часах в Петергофском дворце...* — Неточность: в автобиографических записках сам Державин говорит, что 28 июня 1762 г. участвовал в походе гвардии во главе с Екатериной из Петербурга в Петергоф. *Геллерт* Х. Ф. (1715—1769)—немецкий писатель, автор «Духовных песен», «Басен и рассказов». *Гагедорн* — Ф. фон Хагедорн (1708—1754) — один из создателей «легкой» немецкой поэзии. *Сумароков... рассорился* — с Д. Бельмонти (см. комм. к с. 276) и Е. Ивановой, считавшейся в 1760-е годы первой актрисой московского театра. *Салтыков* П. С. (1700—1772) — московский главнокомандующий (1763—1771); приказал играть трагедию Сумарокова «Синав и Трувор» 31 января 1770 г., несмотря на неподготовленность актеров и протесты автора. Сумароков в письмах Екатерине II от 28 января и 1 февраля 1770 г. жаловался на «упрямство и грубость» Салтыкова. *Екатерина благоволила удостоить его ответом...* — Письмо от 15 февраля 1770 г., откуда и приведены слова, выделенные курсивом. *С этого рескрипта пошли по рукам списки.*— Копию своего письма Сумарокову императрица направила П. С. Салтыкову. *Раздраженный поэт излил горечь и желчь свою в элегии...* — Элегия («Все меры превзошла теперь моя досада...») была приложена Сумароковым к его письму Екатерине II от 1 февраля. *Екатерину зрю, проснись, Елисавета! Элегия была тогда же напечатана...* — Элегия не была напечатана при жизни Сумарокова, но была известна во многих списках, содержавших неточности; в частности, цитируемая строка у Сумарокова содержала не противопоставление Елизаветы Екатерине, а параллель между ними: «Екатерина — зри, проснись — Елисавета».

С. 306. *И гневом милости Дианины толкуют.*— Письмо Екатерины справедливо воспринималось в Москве как знак ее недовольства Сумароковым, но Сумароков стремился представить ситуацию в выгодном для себя свете; Диана обычно отождествлялась с Артемидой, богиней охоты, Сумароков имел в виду иное свойство

богини — стремление к строгому соблюдению установленных обычаев. *Державин... сделал на эту эпиграмму пародию...* — «Не будучи Орлом, Сорока здесь довольна, //Кукушками всех птиц поносит своевольно<...>» *Хераскова* Е. В. (1737—1809) — жена М. М. Хераскова, писательница; *Елагин* И. П. (1725—1794) — директор придворного театра (1766—1779), поэт, историк.

С. 307. *Державин уже был статс-секретарем.*— С декабря 1791 по сентябрь 1793. *Барятинская-Гольстейн-Бек* Е. П. (1755—1811) — статс-дама, жена русского посла в Париже И. С. Барятинского.

С. 308. *...свиданием с Карамзиным...* — Карамзин возвратился из путешествия по Европе 15 июля 1790 г.

С. 309. *Авскультант* — вольный слушатель. *Бекетов* П. П. — см. комм. к с. 171.

С. 310. *Сарепта* — колония гернгутеров — религиозной секты, распространившейся из саксонского города Гернгуте в другие страны; *евангелические* церкви — общее название протестантских церквей. *Ариост* — Л. Ариосто (1474—1533), итальянский поэт, автор рыцарской поэмы «Неистовый Роланд».

С. 312. *Факир* — странствующий дервиш. *Лама* — буддистский монах. *Мулла* — служитель религиозного культа у мусульман.

С. 313. *...оставившей преждевременно мир наш в апреле того же года.*— Е. Я. Державина умерла не в апреле, а 15 июля 1794 г. *Зубов* П. А. (1767—1822) — последний фаворит Екатерины II; *...о прекращении «Московского журнала».*— «Московский журнал» прекратился не с 1794, а с 1793 г.; *...занялся печатанием «Писем...»* — «Письма русского путешественника» печатались в «Московском журнале» (1791—1792) и альманахе «Аглая» (1794—1795); отд. изд.— М., 1797—1801. *«Мои безделки»* Карамзина — М., 1794.

С. 314. *Меценат Ломоносова*—И. И. Шувалов. *«Вестник Европы»*—основан Карамзиным в 1802 г.; *...пожар истребил город...*— в 1795 г.; *...я переселился в Москву...* — в 1799 г.; *Лангер* К. Г. — профессор естественного права в Московском университете.

С. 315. *Плещеева* Н. И. (урожд. Протасова) и ее муж — близкие знакомые Карамзина, гостившего в их «сельском уединении» — поместье в Орловской губернии. *«Пилигримы»* — М., 1795. *«Царь, или Спасенный Новгород»* — М., 1800.

С. 316. *«Бахариана,* или Неизвестный» — М., 1803; вышла за 4 года до кончины Хераскова. *Лагарпов «Лицей»...* — см. с. 523. *Она ...много писала стихов...* — ряд стихотворений Е. В. Херасковой опубликован в «Полезном увеселении» (1760—1762). *«Потоп»* (пер. из Геснера) — «Вечера», 1772, ч. I. *Булгаков* Я. И. (1743—1809) — дипломат, литератор. *Трубецкой* Н. Н. (1744—1821) — брат М. М. Хераскова по материнской линии; участник московского масонского кружка.

С. 317. *С наступившим 1803 годом Карамзин перестал издавать «Вестник Европы»...* — «Вестник Европы» перешел от Карамзина к П. П. Сумарокову не в 1803 г., а в 1804 г.

С. 318. *«О московском мятеже...», «Путешествие к Троице», «О бывшей Тайной канцелярии»* — ВЕ, 1802, ч. 4; 1803, ч. 8; 11; *...указ о наименовании Карамзина историографом* — ноябрь 1803 г. *«Марфа Посадница»* — ВЕ, 1803, ч. 7.

С. 319. *До его критического рассмотрения поэмы «Душенька»...* — см. комм. к с. 300. *Фон Каниц* Ю. И. (ок. 1730—1781) — директор Казанской гимназии (1764—1781); *...напечатан в «Санкт-петербургском вестнике»...* — 1779, ч. IV, № 8. *Брайко* Г. Л. — писатель, журналист.

С. 320. *Порошин* С. А. (1741—1769) — воспитатель Павла I (1762—1766), автор мемуарных «Записок», переводчик Прево, Вольтера, Хольберга. *Кутузов* — Голенищев-Кутузов И. Л. (1729—1802) — переводчик. *«Иосиф»* — М., 1769, пер. Д. И. Фонвизиным поэмы П. Ж. *Битобе* (1732—1808). *«Похвальное слово Марку Аврелию»*—СПб., 1777. *Попов* М. И. (1742—1790) — автор комической оперы «Анюта», песен. *Якимов* (Екимов) П., *Пахомов* М. С., *Сидоровский* И. И. — их переводы см. с. 292.

С. 321. *Елагин... третью книгу «Российской истории»...* — «Опыт повествования о России» (М., 1803) И. П. Елагина; фразы, вспоминавшейся Дмитриеву, в начале III части нет; есть подобные: «Отшедший в пучину вечности дух бессмертие заслужившего Святослава» (с. 315) и т. п. *...перевод его статьи из «Натуральной истории»... Бюффона* — «Идеи первого человека при развитии его чувств» («Пантеон иностранной словесности», 1798, кн. II). *«Дух Бюффона»* — М., 1783; извлечения из «Естественной истории», пер. А. Ф. Малиновского; *...«Естественной истории», изданной от Академии наук.*— «Всеобщая и частная естественная история» (1-е изд.: СПб., 1789—1808); переводы академиков С. Я. Румовского, И. И. Лепехина, П. Б. Иноходцева, Н. Я. Озерецковского, В. Ф. Зуева, А. П. Протасова.

С. 322. *Шлёцер* А.-Л. (1735—1809) — немецкий историк; исследовал русские летописи; *...Карамзин выдал девять (ныне одиннадцать) томов...* Тт. 1—8—СПб., 1818; т. 9—СПб., 1821; тт. 10—11 — СПб., 1824; последний 12-й том издан после смерти историографа — в 1829 г.; *...негодование на жестокость деспота...* — Ивана Грозного, о котором говорилось в IX томе; *...не чужой, а наш согражданин...* — М. Т. Каченовский. *Арцибашев* (Арцыбашев) Н. С. (1773—1841) — историк, автор «Приступа к повести о русских» (СПб., 1811); его антикарамзинские выступления: «Казанский вестник», 1822, ч. V—VI, 1823, ч. VII; Московский вестник», 1828, ч. XI—XII; 1829, ч. III; *...кроме Владимира Измайлова, князя Вяземского, Александра Пушкина и Иванчина-Писарева (Николая) никто... не восстал...* — Имеются в виду полемические выступления против Каченовского: «Московский бродяга» В. В. Измайлова («Сын отечества», 1818, ч. 46, № 23); «Послание М. Т. Каченовскому» П. А. Вяземского (1819; опубл.— «Сын отечества», 1821, № 2); его же эпиграммы на Каченовского; «Письмо к П. И. Шаликову» Н. Д. Иванчина-Писарева («Сын отечества», 1819, ч. 57, № 42); эпиграмма А. С. Пушкина «Бессмертною рукой раздавленный Зоил...».

С. 323. *...под именем Киевского корреспондента и Лужницкого старца*—Статьи Каченовского «К господам издателям «Украинского вестника» (написана от лица жителя Лужников — «Лужницкого старца» — ВЕ, 1818, ч. 100, № 13; заметки о карамзинской «Записке о достопамятностях Москвы»), «От Киевского жителя к его другу» (ВЕ, 1819, ч. 103—104, №№ 2—6; разбор предисловия к «Истории государства Российского»). *С переходом «Вестника Европы» в другие руки.*— В 1804 г. «Вестник Европы» издавался

П. П. Сумароковым, в 1805—1807, 1811—1813, 1815—1830—Каченовским, в 1808—1809 — В. А. Жуковским, в 1809—1810 — Жуковским и Каченовским, в 1814-м—В. В. Измайловым; *...к двум частям стихотворений моих прибавилась третья* — «Сочинения и переводы». М., 1803 (ч. 1—2); 1805 (ч. 3). *...Макаров в журнале своем...* — «Московский Меркурий», 1809, № 10. *...Воейков в журнале «Цветник»...* — 1810, № 10; *...Измайлов в «Музеуме»...* — «Российский музеум», 1815, № 2—3. *...Вяземский в моей биографии* — см. с. 424; *...под именем Соревнователей...* — «Соревнователь просвещения и благотворения» (СПб., 1818—1825); журнал Вольного общества любителей российской словесности объединял писателей, близких декабристским кругам. *Греч* Н. И. (1787—1867) — журналист, писатель, до 1825 г. примыкал к декабристским кругам, затем переметнулся на сторону правительства; *продолжатель «Вестника Европы»* — Каченовский.

С. 324. Заключение. *...кроме одного поучительного случая...* — см. с. 286.

С. 325. *По кончине... М. Н. Муравьева...* — 29 июля 1807 г.

С. 326. *...Российская Академия... почтила меня избранием в свои действительные члены* — в 1796 г. *А при нынешнем председателе... Шишкове...*— А. С. Шишков был президентом Российской Академии с 1813 по 1841; *...большую золотую медаль...* — 14 января 1823 г.

Часть вторая. Книга четвертая. *...я нетерпеливо ждал капитанского чина...* — Дмитриев был записан в Семеновский полк в 1772 г. солдатом, в 1775-м — произведен в капралы, в 1776-м—подпрапорщик, в 1777-м—каптенармус, в 1778-м — сержант, в 1787-м — прапорщик, в 1789-м — подпоручик, в 1790-м — капитан-поручик, в 1796-м — капитан; *...выйти в отставку, к умножению московских бригадиров...* — «В новый год императрица производила обыкновенно в бригадиры, с увольнением от службы, по три капитана из всех трех пехотных гвардейских полков: Преображенского, Семеновского и Измайловского и трех ротмистров конной гвардии. Эти <...> двенадцать бригадиров <...> обыкновенно поселялись в Москве, где их называли «дюжинными», по числу произведенных» (Прим. М. Н. Лонгинова — «Взгляд...», М., 1866, с. 286). *Бригадир* — чин 5-го класса в русской армии 1722—1799, промежуточный между полковником и генерал-майором.

С. 327. *Надворный советник* — гражданский чин 7-го класса. *Чулков* Е. М. — петербургский полицмейстер с 1793 г.

С. 328. *...другой родной...* — С. И. Дмитриев; *...видел всю гвардию... в том образе, в каком она в Семилетнюю войну находилась.*— Павел, став императором, начал деятельно возрождать порядки, установленные его официальным отцом Петром III, особенное внимание обратив на переобмундирование войск.

С. 329. *...наследник и цесаревич...* — Александр и Константин.

С. 331. *Ростопчин* Ф. В. (1763—1826) — один из любимцев Павла, впоследствии военный губернатор Москвы (1812—1814). *Лецано* (Леццано) П. И. — капитан-поручик Семеновского полка.

С. 333. *...предпринять путь в Москву.* — Коронация Павла I состоялась 6 апреля 1797 г. *Куракин* А. Б. (1759—1829) — генерал-прокурор, министр уделов (1796—1798), министр внутренних дел (1807—1810).

С. 334. *Саблуков* А. А. (1749—1828) — товарищ министра уделов (1797—1799); *...я получил... звание товарища министра...* — 22 мая 1797 г.; *товарищ министра* — заместитель; *должность обер-прокурора...* — 25 июля 1797 г.

Книга пятая. *Строганов* — см. комм. к с. 299. *Заводовский* П. В. (1739—1812) — сенатор, министр просвещения (1802—1810), председатель департамента законов Государственного совета (1810—1812). *Соймонов* М. Ф. (1729—1804) — сенатор (1773—1801), главный директор горных и монетных дел. *Соймонов* П. А. (1747—1800) — сенатор (1791—1800), статс-секретарь Екатерины II. *Храповицкий* А. В. (1749—1801)—статс-секретарь Екатерины II (1783—1796), сенатор (1793—1801); см. о нем с. 372—373. *Сиверс* Я. Е. (1731—1808)—сенатор, главный директор водных коммуникаций (1797—1800). *Гейкинг* К.-Г. (1751—1809) — при Павле I президент Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел. *Ховен* О. К. (1740—1806) — уполномоченный Курляндского герцогства в переговорах с Россией (1794—1795); при Павле I сенатор.

С. 335. *Вместо приветствия с местом он журил меня...* — Далее в записках рассказывается о служебной деятельности Дмитриева в 1797—1799 годах. Дмитриев был свидетелем деятельности трех генерал-прокуроров — А. Б. Куракина (назначен 4 декабря 1796, смещен 8 августа 1798), П. В. Лопухина (8 августа 1798—7 июля 1799), А. А. Беклешова (7 июля 1799 — 2 февраля 1800). Каждого он кратко характеризует: «Князь Куракин неопытность свою в судных делах заменял трудолюбием. Кроме выездов во дворец он не отлучался от дома; почти не выходил из кабинета. Охотно выслушивал обер-прокуроров и любил отличать награждениями тех, в коих находил способность или, по крайней мере, проворство и добрую волю. При всем том с сожалением должно прибавить, что Сенат едва ли не при нем получил первое потрясение в основании своем, утвержденном на опытах почти столетия. Внимание правительства обращено было более на скорость в производстве дел и на так называемые преобразования и нововведения. Угождая сим видам, и генерал-прокурор преимущественно заботился о новоучрежденном Департаменте, или министерстве, удельных имений; о Хозяйственной экспедиции; о Вспомогательном банке; о переименовании судебных мест в польских и остзейских губерниях<...>» («Взгляд...», с. 138—139). П. В. Лопухин и А. А. Беклешов «сходны были только в том, что старались о соблюдении прежнего порядка, по крайней мере, в формах производства дел; не искали угождать государю новизнами, и равно не заботились о предании потомству имен своих <...>; в прочем же были свойств совсем противоположных. Один <Лопухин> остер, скоро понимал всякое дело, но никаким с участием не занимался; не любил даже и частых докук от обер-прокуроров <...> Не предполагаю, чтоб он хотел сделать кого несчастным, но равно и того, чтоб он решился стоять за правду, хотя бы с потерею своего случая. Несмотря на угрюмый вид его и насмешливую улыбку, он при дворе был хитер, сметлив и гибок; ко всем прочим доступен и хотел казаться всем по плечу и простосердечным. Приемная его всегда была набита старыми знакомцами, искателями мест или чинов и ползунами без всякой цели. Подписывая бумаги, он забавлялся на их счет, или сам забавлял их веселыми рассказами. Но эта доступность и го-

ворливость была только покровом души скрытной и ума проницательного и осторожного. Другой <Беклешов>, не менее опытен и благоразумен, но был трудолюбивее. Он охотно и терпеливо выслушивал доклады и объяснения обер-прокуроров и почти всегда утверждал их заключения<...>. Беклешов был не без просвещения, как и его предместник, но в обращении светском иногда был нескромен и не слишком разборчив в шутках и выражениях. Наконец, к чести его, должно сказать, что он мало уважал требования случайных при дворе, а потому часто бывал с ними в размолвке, и, чрез их происки, подобно своим предместникам, потерял свое место» (с. 143—144).

С. 336. *Лопухин* П. В. (1753—1827) — впоследствии министр юстиции (1803—1810), председатель Государственного совета и Комитета министров (1816—1827). *Рындин* К. С. (ок. 1753—1809)— обер-прокурор Сената; указом от 24 декабря 1799 г. ему пожаловано 3000 десятин земли. *Козодавлев* О. П. (1745—1819) — сенатор, товарищ министра внутренних дел (1807—1811), министр внутренних дел (1811—1819).

С. 337. *...другая особа... переселиться в отдаленную губернию.*— Может быть, А. Г. Северина (см. с. 506), муж которой в 1797—1800 гг. был белорусским гражданским губернатором; *...совестные суды...* — губернские суды, рассматривавшие гражданские дела.

С. 338. *...еще времен голстинских герцогов.*— Шлезвиг-Гольштейн (Голстиния)—герцогство; отец Павла I, Петр III, был сыном голштинского герцога Карла Фридриха и дочери Петра I — Анны Петровны. *Суворов... предводительствовал двумя армиями...* — В 1799 г., после 2-летней опалы, Суворов был возвращен в армию; командовал русскими и австрийскими войсками в итальянском (апрель—август 1799) и швейцарском (сентябрь—октябрь 1799) походах. *Зубов* П. А. (см. комм. к с. 313). *Зубов* В. А. (1771—1804), *Панин* Н. П. (1771—1831) — приближенные Екатерины II в конце ее царствования. *Кутайсов* И. П. (1759—1834) — камердинер и фаворит Павла I, пользовавшийся огромным влиянием. *Аракчеев* А. А. (1769—1834) — приобрел особенное влияние при Александре I, в 1815—1825 гг. фактически руководил государством. *Понятовский* Станислав Август (1732—1798) — последний польский король (1764—1795).

С. 339. *Пален* П. А. (1745—1826) — генерал-губернатор Петербурга (1798—1801). *Обольянинов* П. X. (1753—1841) — генерал-прокурор (1800—1801).

С. 340. *Михайловский замок* — резиденция Павла I; *...внезапная его кончина.*— Павел I был убит в ночь с 11 марта на 12 марта 1801 г.

Книга шестая. *Наполеон... напал на прусские войска...* — 8 октября 1806 г. *Каменский* М. Ф. (1738—1809) — генерал-фельдмаршал; в конце 1806 г. назначен главнокомандующим русской армией; вскоре подал просьбу об отставке. *Ратники* — воины временного войска в отличие от рекрутов, которыми комплектовалась регулярная армия. *Разумовский* А. К. (1748—1822) — попечитель Московского университета (с 1807), министр просвещения (1810—1816).

С. 341. *В начале 1808 года... повелено мне отправиться в Рязань...* — Проведя следствие, Дмитриев вернулся в Москву. Даль-

нейшее рассмотрение в Сенате дела по рязанским откупам, благодаря личным связям откупщиков стало принимать невыгодный для Дмитриева оборот. Чтобы «отвратить подъиски ко вреду» своего доброго имени («Взгляд...», М., 1866, с. 161), Дмитриев отправился в Петербург, где ему удалось повлиять на ход следствия. Император приказал рапорт Сената по этому делу обнародовать *«для страха чиновникам и откупщикам»*. Но в рапорте были допущены «такие выражения, которые могли подать повод к заключению», что Дмитриев «был оплошен, или умышленно иное не доследовал» (с. 162). Дмитриев отправил письмо императору в свое оправдание, после чего получил рескрипт, «изъявляющий благоволение за ревность к службе», а в начале ноября 1808 г. и приказ отправиться в Костромскую губернию для проведения ревизии. По выявленным там злоупотреблениям несколько должностных лиц было отдано под суд. *Сперанский* М. М. (1772—1839) — государственный секретарь (1810—1812), о нем см. с. 346—349.

С. 342. *...он достойно себя и милого Козлятева оплакал его кончину.*— Имеется в виду послание Жуковского <«К И. И. Дмитриеву»> (1813) («Итак, ее уж нет...»). *Румянцев* Н. П. — см. комм. к с. 173. *Государственный совет*—учрежден 1 января 1810 г., в его состав вошло 35 высших сановников по назначению императора.

С. 343. Часть третия. Книга седьмая. В начале этой книги говорится о деятельности Государственного совета и министерств, о начале службы Дмитриева на посту министра юстиции: «При первом обзоре всех частей моего министерства я уже видел, что многого не достает к успешному ходу этой машины: излишние инстанции, служащие только к проволочке дел и в пользу ябеднических изворотов; недостаточное назначение сумм на содержание судебных мест <...>; определение чиновников к должностям большею частью наудачу, по проискам или чрез покровительство; неравенство в жалованье и производстве в чины» («Взгляд...», с. 183). Дмитриев пишет о своих планах преобразования Сената, о замысле «учредить... училища законоведения для дворянских, купеческих и мещанских детей» (с. 185). Планов осуществить не удалось, и Дмитриев ограничился в своем министерстве «исправлением только разных упущений и строгим надзором за соблюдением старого, узаконенного порядка» (с. 186).

Консультация — совет обер-прокуроров при министре юстиции. *Законодательная комиссия* — М. М. Сперанскому было поручено подготовить общий проект государственных преобразований, два главных направления которых были реформа Сената и уложение государственных законов; реформы не были проведены.

С. 344. *Голицын* А. Н. (1773—1844) — обер-прокурор Синода (с 1803), министр просвещения (1816—1824) и духовных дел (1817—1824). *Алексеев* И. А. (1751—1816) — сенатор (с 1798), член Государственного совета; *...в исходе февраля или в марте...*— Сперанский был удален из столицы 17 марта 1812 г. *Магницкий* М. Л. (1778—1844) — сотрудник Сперанского в законодательной комиссии, попечитель Казанского учебного округа (1814—1826) *Министр полиции* — в 1810—1819 гг. Балашов А. Д. (1770—1837). *Де Санглен* Я. И. (1776—1864) — правитель Особой канцелярии министра полиции (1812—1816).

С. 345. *Армфельд* — Армфельт Г. М. (1757—1814), обер-камер-юнкер шведского короля *Густава III* (1746—1792), с 1811 г. в русской службе, с апреля 1812 г. — член Государственного совета; *...после присоединения... шведской Финляндии...* — В 1809 г.

С. 346. *Бек* Х. Х. — заведовал секретной документацией в министерстве иностранных дел. *...Сперанским же переименован...* — Фамилия Сперанского происходит от лат. spero — надеяться.

С. 348. *Эрфурт* — осенью 1808 г. здесь состоялась встреча Александра и Наполеона, завершившаяся соглашением о союзе России и Франции.

С. 349. *Столыпин* А. А. (1778—1825) — обер-прокурор Сената, не порывал отношений со Сперанским и в годы его опалы (1812—1816). *Могилянский* М. В.— служил в канцелярии Сперанского. *Барклай-де-Толли* М. Б. (1761—1818)—военный министр (1810—1812). *Траверсе* Ж.-Ф. (1754—1830) — выехал из Франции в Россию в начале 1790-х гг., морской министр (1811—1828).

С. 350. *...принца с принцессою Виртембергских...* — Вюртемберг — немецкое герцогство, 1805—1918 — королевство; *императрица* — Елизавета Алексеевна, супруга Александра I.

С. 351. Книга осьмая. *В исходе же мая император оставил столицу...* — 9 апреля 1812 г. *Кочубей* В. П. (1768—1834) — министр внутренних дел (1801—1807, 1819—1823). *Салтыков* А. Н. (1775—1837)—товарищ министра иностранных дел (1806—1812), сенатор с (1804), сын Н. И. Салтыкова. *Вязмитинов* С. К. (1749—1819) — военный министр (1802—1808), председатель Комитета министров (сентябрь, 1812). *Салтыков* Н. И. (1736—1816) — участник Семилетней войны, русско-турецкой войны 1768—1774 гг., председатель Государственного совета (1812—1816). *Вейсман* фон Вейсенштейн О. А.— русский генерал, погибший в сражении у Кучук-Кайнарджи (24 июля 1773).

С. 352. *...французская армия перешла Неман...* — 12 июня 1812 г. *Молчанов* П. С. (1770—1831) — статс-секретарь канцелярии Комитета министров (1808—1815); отношения Дмитриева и Молчанова улучшились в 1820-е гг., когда оба были в отставке.

С. 353. *...до вторичного отбытия императора в армию... в начале 1813 года.*— Неточность: в конце 1812 г. *...Салтыков получил титло светлейшего князя...*— не в 1813, а в 1814 г.

С. 354. *...неуважение не только к лицу моему, но и к самым законам.*— Далее Дмитриев излагает случаи такого неуважения, проявившиеся в процессе решения тяжебных дел (см. в воспоминаниях М. А. Дмитриева — с. 472). *...я писал к министру полиции А. Д. Балашову...* — Балашов приходился родственником Дмитриеву: был женат на его сестре Елене. *Бологников* А. У. (1760—1828) — сенатор, член Государственного совета.

С. 356. Книга девятая. *...меньшой мой брат*—Михаил; *...две мои сестры* — Надежда и Наталия; *...сиротка* — Елизавета, дочь брата Николая.

С. 357. *Лукин* В. И. (1737—1794)— драматург 1760-х гг. его *«Сочинения и переводы»* — СПб., 1765 (ч. 1—2). *Горациевы послания* — «Квинта Горация Флакка десять писем». СПб., 1744; *«Грациана Балтазара Придворный человек»* — СПб., 1741; пер. произведения испанского писателя Б. Грасиана (1601—1658). *В начале*

1814 года...— В изд. 1866 г. неточно: «В начале 1813 года». *Генерал-адъютант Кутузов* — Голенищев-Кутузов П. В. (1772—1843).

С. 358. *Вдовствующая императрица* — Мария Федоровна, вдова Павла I. *Вилламов* Г. И. (1775—1842),— ее личный секретарь, член Государственного совета. *Vive Henri quatre* — куплеты из комедии Ш. Колле «Выезд на охоту Генриха IV» (1774), популярные во Франции после падения Наполеона, ибо в них прославлялся родоначальник дома Бурбонов, которым в 1814 г. была возвращена власть. *Обе императрицы* — жена и мать Александра I. *Амвросий* (Подобедов) (1742—1818) — митрополит новгородский и санкт-петербургский (с 1791); *...или что другое с остроумными надписями.*— Далее Дмитриев рассказывает о чрезвычайном собрании высших сановников по вопросу о составлении торжественного адреса императору. Дмитриев должен был открывать собрание, но Н. И. Салтыков бесцеремонно помешал ему. Для сочинения адреса был избран комитет, в состав которого Дмитриев не был включен.

С. 359. *...министру финансов было отказано.*—На министра финансов Д. П. Гурьева была подана жалоба откупщика Переца, имевшего сильных покровителей.

С. 360. *...я не мог решиться на принесение оправданий моих чрез посредника.*— Посредником мог быть Аракчеев, идти на поклон к которому Дмитриев посчитал ниже своего достоинства.

С. 361. *Трощинский* Д. П. (1754—1829)— в 1802—1806 гг. министр уделов, в 1814—1817 — министр юстиции.

С. 362. *Венский конгресс* — сентябрь 1814 — июнь 1815 г., завершил войны коалиции европейских государств против наполеоновской Франции.

С. 363. Книга десятая.

С. 364. *Дурасов* Н. А. (1760—1818)—богатый волжский помещик; славился своим гостеприимством. *Кикин* П. А. (1775—1834) известен также как литератор; был членом «Беседы любителей русского слова». *Тормасов* А. П. (1752—1819) — военный губернатор Москвы с 1814 г.

С. 365. *...награждении меня чином действительного тайного советника.*— Не в 1819, а в 1818 г.

С. 366. *Смирнова* А. Н. — дочь Николая Афанасьевича Бекетова; *...за оказанные милости... моим племянникам* — Дмитриев ходатайствовал о детях своих умерших братьев Александра и Николая: сын первого (М. А. Дмитриев — см. комм. к с. 458) был пожалован придворным званием камер-юнкера, сын второго определен в Пажеский корпус; *...старший Тургенев* — Александр Иванович (см. комм. к с. 382).

С. 368. Примечания автора. *...наравне с принцем Георгом, или Герионом...*— «Милорд Георг, или Герион», лубочный роман М. Комарова. *«Амадис Гальский»* — популярный рыцарский роман. *«Ангола. Индийская история»* (1746) — роман де ла Морльера (рус. пер. В. Г. Вороблевского — М., 1785). *«Настоятель Киллеринский»* — СПб., 1765—1781 (ч. 1—6); пер. В. Г. Рубаном романа Прево д'Экзиля. *Палиссо*— см. комм. к с. 294. *Ричардсон* С. (1689—1761) — английский писатель.

С. 369. *«Велизер»* — вышел в 1768-м, а не в 1769 г.; роман Мармонтеля вызвал во Франции резкие нападки; перевод «Велиза-

рия» русской императрицей и ее придворными имел политическое значение, демонстрируя Европе просветительские устремления Екатерины II; *...в продолжение пути ее по Волге...* — в 1767 г. *Шувалов* А. П. (1743—1789) — был близок литературному кругу Вольтера во время пребывания в Европе; помогал Екатерине вести переписку с Вольтером. *Елагин* И. П.—см. комм. к с. 306. *Чернышев* З. Г. (1722—1784) — генерал-фельдмаршал, президент Военной коллегии. *Кузьмин* — Козьмин С. М. (1723—1788) — статс-секретарь Екатерины II. *Орлов* Г. Г. — см. комм. к с. 276. *Орлов* В. Г. (1743—1831)—в 1766—1771 гг. директор Академии наук. *Волков* Д. В. (1718—1785) — сенатор, писатель. *Нарышкин* А. В. (1742—1800) — в 1767 г. генерал-адъютант при Г. Г. Орлове, поэт. *Козицкий* Г. В. (ок. 1725—1775) — статс-секретарь Екатерины II, переводчик, писатель.

С. 370. *Выпишем... несколько нововведенных слов...* — Дмитриев полемизирует прежде всего с Н. А. Полевым (1796—1846), издававшим «Московский телеграф» (1825—1834).

С. 371. *«Радуга»* — литературный и музыкальный альманах на 1830 г. М., 1829. *Вот как отзывались...* — Дмитриев цитирует газету «Moniteur Universel» (1820, № 306). *Воейков* А. Ф. издавал журнал «Новости литературы» (1822—1826), *Свиньин* П. П. — «Отечественные записки» (1818—1830); *...возражение г. П...* — судя по контексту, это Н. А. Полевой, в начале своей литературной карьеры высоко ценивший авторитет Карамзина. Ко времени создания Дмитриевым этого примечания (1826) в «Отечественных записках» были опубликованы две анонимные статьи — с критикой труда Каченовского «Историческое обозрение древнего российского законодательства» (1822, ч. XI, № 27) и с критикой замечаний Каченовского и Арцыбашева («Литературное воспоминание» — 1825, ч. XXIV, № 11). *По кончине Карамзина тот же издатель «Телеграфа» сделался злым критиком его «Истории», а Воейков уже помещал возражения на критику Полевого.*— Имеется в виду статья Полевого в «Московском телеграфе» (1829, ч. XXVII, № 12) и критический отклик на нее в журнале Воейкова «Славянин» (1829, ч. XII, № 48—49). *Голицын* А. Н. — см. комм. к с. 344. *Оболенский* А. П. (1769—1852)— попечитель Московского учебного округа (1817—1825). *Прокопович-Антонский* А. А. (1762—1848) — ректор Московского университета (1817—1826).

С. 372. *«Демофонт»* (1751), *«Тамира и Селим»* (1750) — трагедии Ломоносова. *Разумовский* К. Г. (1728—1803) — последний гетман Украины (1750—1764), президент Академии наук (1746—1765); *...похвален был Сумароковым в журнале «И то и се»...* — «И то и се», 1769, февраль, неделя пятая. *Чулков* М. Д. (нач. 1740-х—1792) — журналист, поэт. *«Пересмешник, или Славянские сказки»* — СПб., 1766—1768, ч. 1—4; 1789, ч. 5. *«История российской торговли»* — «Историческое описание российской коммерции» (СПб., 1781—1788, кн. 1—21). *«Хочу к бессмертью приютиться...»* — «Собеседник любителей российского слова», 1782, ч. X. *Хвостов* А. С. (1753—1820)—поэт, драматург, переводчик, с 1777 г. служил в Сенате. *Вяземский* А. А. (1727—1796) — генерал-прокурор (1764—1793). *«Меломания, или Песнолюбие»* — комическая опера Храповицкого, муз. В. Мартина-и-Солера; *...перевод двух лафон-*

теновых басен и лебрюновой оды «Восторг» в «Аонидах»... — «Аониды», 1798—1799, кн. 3; *Лебрюн* — Экушар Лебрен.

С. 373. *Озеров* В. А. (1769—1816) — автор трагедий, имевших огромный успех в начале XIX в.; *...план... речи...* — черновик «Слова благодарственного <...> Елисавете <...> на торжественной инавгурации Санкт-Петербургского университета» (1760); опубл.: «Друг просвещения», 1804, ч. I, с. 42—52; *...до самой его кончины.* — 29 декабря 1801 г.

С. 374. *...из собственного письма его ко мне от 22 октября 1825 года.* — В изд. 1866 г. неточно: 1815 г. *«Conversations d'Emilie»* (1774) — книга французской писательницы Л. Ф. д'Эпине (1725—1783) о воспитании девиц.

С. 375. *Как лебедь на водах Меандра* — начальный стих оды М. М. Хераскова на восшествие на престол Александра I (1801).

Письма. Дмитриев вел переписку с огромным количеством людей, многие из его писем до сих пор не опубликованы, многие не сохранились (в том числе утрачены все письма к Карамзину). Публикуемые письма и отрывки из писем отражают прежде всего литературные интересы Дмитриева; они печатаются по изданиям: к А. С. Пушкину — «Переписка А. С. Пушкина». М., 1982, т. 2; к П. А. Вяземскому — «Письма И. И. Дмитриева к князю П. А. Вяземскому». СПб., 1898; письма к Д. Н. Блудову, Ф. Н. Глинке, А. Ф. Воейкову, О. Е. Франку, А. П. Глинке — «Письма русских писателей XVIII века». Л., 1980 (там же статья В. Э. Вацуро о письмах Дмитриева); прочие письма — Дмитриев И. И. Сочинения в 2-х т. СПб., 1893, т. 2.

С. 376. П. П. и И. П. Бекетовым. 26 декабря 1787. Адресовано двоюродным братьям. *...со вчерашним праздником...* — рождеством. *Николай Дирин* — видимо, неточность, и имеется в виду Н. И. Дивов, вышедший в декабре 1787 г. в отставку в чине полковника.

С. 377. П. П. Бекетову. 25 ноября 1798. *...и я превосходительный!* — Дмитриев был назначен действительным обер-прокурором. *Но это титло возвратит ли мне брата...* — А. И. Дмитриев умер в октябре 1798 г.

Д. И. Языкову. Декабрь 1803. *Д. И. Языков* (1773—1843) — литератор, переводчик, служил в департаменте просвещения (с 1802); с ним Дмитриев поддерживал деловые отношения. *...третий нумер журнала* — видимо, «Периодическое сочинение об успехах народного просвещения» (1803—1819). *«Петербургский журнал»* — «Санкт-Петербургский журнал» (1803—1809). «Вестник» — «Северный вестник» (1804—1805); *«Периодическое издание»* — «Периодическое сочинение...» (см. выше). *«Рассуждение* о старом и новом слоге российского языка». СПб. 1803 — труд А. С. Шишкова.

С. 378. Д. И. Языкову. Декабрь 1804. *...Лингетовой Истории»...* Линге С.-Н.-А. (1736—1794) — французский публицист, адвокат. О какой книге Линге идет речь в письме, не вполне ясно: *«Северный Меркурий»* (1805, вышло 5 номеров) издавался В. Ф. Вельяминовым-Зерновым.

Д. И. Языкову. 9 февраля 1805. <Отрывок>. *...английский клуб* — открыт в 1772 г. для дворянской элиты.

С. 379. Д. И. Языкову. <Июль 1805>. *...критика, каковая помещена в журнале...*— Сатира Я. А. Галенковского (1777—1815), помещенная в тексте его литературно-критической статьи за подписью И. Г. («Северный вестник», 1805, ч. 6); здесь осмеяны Карамзин, Дмитриев, А. С. Шишков, С. А. Ширинский-Шихматов, П. И. Голенищев-Кутузов, П. И. Шаликов и др.

В. А. Жуковскому. 15 ноября 1805. Сближение с В. А. Жуковским (1783—1852) произошло после переезда Дмитриева в Москву (1799); почти 40 лет они поддерживали дружеские отношения. Осенью 1805 г. Жуковский жил в Белёве. «Petite encyclopédie poétique» — Париж, 1804, поэтическая хрестоматия в 12 т.; *...для вашей хрестоматии.*—Задуманное Жуковским «Собрание русских стихотворений» (М., 1811—1816; 6 т.). *Антон Антонович* — Прокопович-Антонский; *...о вашем вояже?* — Жуковский собирался в 1806 г. отправиться за границу вместе с А. Ф. Мерзляковым (замысел не осуществился). *Тургенев* — Александр Иванович (см. комм. к с. 382). *Друзья просвещения* — издатели «Друга просвещения» (1804—1806) П. И. Голенищев-Кутузов, Г.С. Салтыков, Д. И. Хвостов. *Сандунов* Н. Н. (1768—1832)—драматург, обер-секретарь 6-го департамента Сената; *...пустят гром...*— Начиная с 1806 г. «Друг просвещения» повел систематическую борьбу с «чувствительной» литературой; одним из главных объектов критики был П. И. Шаликов, издававший в 1806 г. журнал «Московский зритель»; *...варварских пиес...* — см. комм. к июльскому письму 1805 г. к Языкову; *...в «Курьере»...* — «Московский курьер» (1805—1806), издатель С. М. Львов.

С. 380. Д. И. Языкову. 10 января 1806. *...бывый «Вестник»...*— «Северный Вестник» в 1806 г. был переименован издателем И. И. Мартыновым в «Лицей»; *«Барыня и ткачи»*—«Друг просвещения», 1805, ноябрь; см. также с. 251; *...к попечителю университета* — к М. Н. Муравьеву. *«На победу», «Зима»* — «Друг просвещения», 1805, декабрь.

С. 381. Д. И. Языкову. <Январь 1806>. *...что они пятого класса...* — чин статского советника; имеется в виду Д. И. Хвостов. *Пиндаров перевод* — «Творения Пиндара». М., 1804, пер. П. И. Голенищева-Кутузова.

С. 382. А. И. Тургеневу. Конец апреля—начало мая 1806. *А. И. Тургенев* (1784—1845), сын И. П. Тургенева, брат декабриста Н. И. Тургенева, друг Карамзина, Жуковского, Вяземского; постоянный петербургский корреспондент Дмитриева во второй половине 1810-х — начале 1820-х гг. *...строгую рецензию великого Каченовского...* — см. с. 323; *...дедиковал мне свои переводы...* — Каченовский посвятил Дмитриеву свой перевод «Афинских писем» (М., 1804); *...котомка, висящая на Пасквиновой статуе,*— т. е. пасквиль; Пасквино — римский башмачник (XV в.), сочинявший язвительные эпиграммы на высокопоставленных лиц; в 1501 г. недалеко от дома Пасквино была установлена скульптура, на ней стали вывешивать сатирические надписи по типу тех, которые делал Пасквино; статуя получила название «pasquillo» («Маленький Пасквино»); *...с милым Иваном Петровичем...* — отцом А. И. Тургенева.

С. 383. А. И. Тургеневу. 18 мая 1806. *Мерзляков* А. Ф. (1778—1830) — профессор Московского университета, теоретик искусства, поэт, автор песен, цитаты из которых вспоми-

нает Дмитриев. *Плюгавый выползок...* — автоцитата из эпиграммы «Ответ» (см. с. 252). *Дмитрий Николаевич* — Блудов (см. комм. к с. 386).

С. 384. А. Х. Востокову. 23 декабря 1806. *А. Х. Востоков* (1781—1864) — в первое 20-летие XIX в. известен как поэт, в 1820—1850 годы один из крупнейших русских филологов. В письме идет речь о стихотворениях Востокова из его книги «Опыты лирические...» (ч. 1—2. СПб., 1805—1806), подаренной Дмитриеву. *«Свиток муз»* (1802—1803, кн. 1—2) — альманах, издававшийся Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств. *Перевод Руссовой кантаты...* — «Цирцея. Седьмая кантата Ж.-Б. Руссо»; *...Вольтеровой сказки...*—«Телема и Макар»; *...опыты с разных размеров...*—были предприняты Востоковым как эксперимент по созданию русских аналогов античных стихотворных метров в ряде стихотворений.

С. 385. А. И. Тургеневу. <Отрывок>. 24 октября 1809. *Сколько явилось трагиков...* — 18 октября 1809 г. в Петербурге была поставлена трагедия Вольтера «Заира» в переводе Ю. А. Нелединского-Мелецкого, Н. И. Гнедича, М. Е. Лобанова, А. А. Шаховского, С. П. Жихарева; *...подобно великому Роде...* — Вероятно, имеется в виду французский комедиограф Ж.-Ф. Роже, нередко сочинявший свои произведения в соавторстве. *Пушкин* А. М. (1769—1825) — театрал-любитель, переводчик, известный остроумец; его перевод трагедии Расина «Федра» не был издан, перевод комедии Мольера «Тартюф» опубликован под названием «Ханжеев, или Лицемер» (М., 1809). *Кокошкин* Ф. Ф. (1773—1838) — комедиограф, «Мизантроп» Мольера в его переводе поставлен в 1815—1816 гг. в обеих столицах; *...Пегас еще не отдохнул от вашего витязя.*— Имеется в виду Д. И. Хвостов; *...и при последнем мире будет нам доля.*— По окончании русско-шведской войны в 1809 г. к России отошла Финляндия, принадлежавшая Швеции. *Дансиор* — танцор. *Жорж* (Веймер М.-Ж.) (1787—1867) — французская актриса, выступавшая в Петербурге и Москве в 1808—1812 годах.

С. 386. Д. Н. Блудову. 16 июля 1813. *Д. Н. Блудов* (1785—1864) — литератор, дипломат; в 1830—1860 годы крупный сановник. В 1806 г. написал в защиту Дмитриева статью против нападок Каченовского (опубл.: Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869). Литературный вкус Блудова высоко ценился карамзинским кругом писателей. В 1813 г. он был советником Русской миссии в Стокгольме; снабжал Дмитриева европейскими изданиями. *...я отпущен... в отпуск* — см. с. 354. *Канцлер* — Н. П. Румянцев. *Парнас наш, пользуясь перемирием, отдыхает.*— С 23 мая по 8 июля было заключено перемирие с Наполеоном (продлено до 29 июля 1813 г.); упоминание о Парнасе иронично: во время перемирия не бывает военных побед, которые можно воспевать. *Орел* — Г. Р. Державин; в июне 1813 г. отправился на Украину, в августе — на богомолье в Киев; по замечанию В. Э. Вацуро, сравнение Державина с орлом имеет не только общеметафорический, но и конкретный смысл: имеется в виду вышедшая в марте 1813 г. ода Державина «На парение орла». *Сокол* — Д. И. Хвостов; *«De l'art poétique»* — 2-е изд. перевода Хвостова поэмы Буало («Наука о стихотворстве». СПб., 1813); *...надгробную песнь Смоленскому...*— Командующий русской армией

М. И. Кутузов-Смоленский умер 16 апреля 1813 г. *Анна Андреевна* — жена Блудова.

С. 386. А. И. Тургеневу. 6 июня 1817. *«Об основаниях естественного законодательства»* (СПб., 1815—1819, ч. 1—4) — пер. М. О. Карлевича; *...предначертание дневника «Отчелюбца»...* — «Приступ к ежемесячному изданию под названием Любитель Отечества (Отчелюбец)» (СПб., 1816) — брошюра Карлевича, содержащая программу журнала, который он намеревался издавать. *Гераков* Г. В. (1775—1838) — писатель, преподаватель истории в 1-м кадетском корпусе. *Батюшков* К. Н. (1787—1855)— в конце 1816 г. отправился из Москвы в свое село Хантоново; летом 1817 г. приехал в Петербург; *...Вяземский у вас...* — в Петербурге; *Староста* «Арзамаса» — В. Л. Пушкин. *«Смоковница»* — басня В. Л. Пушкина; *...день своего основания* — 6 июня 1817 г. исполнилось 6 лет со дня высочайшего утверждения устава Общества любителей российской словесности при Московском университете; 15 июня состоялось торжественное заседание.

С. 387. А. И. Тургеневу. 20 июля 1818. *Батюшков достиг своего желания* — получил назначение на дипломатическую службу в Неаполь. *Дашков* Д. В. (1788—1839) — критик, поэт участник «Арзамаса», после 1825 г. крупный сановник; в 1817—1820 гг. находился при Русской миссии в Константинополе; *Северин* Д. П.—см. комм. к с. 163. Опасения за его здоровье вызваны сообщением о переживаниях Северина («видел его в исступлении» — «Письма Карамзина», с. 241): 20 июня 1818 г. умерла его жена. *Московский профессор* — Каченовский: о его письме к редактору «Украинского вестника» см. комм. к с. 323. *Калайдович* — Константин Федорович, историк, археолог, или Петр Федорович, писатель, переводчик; у К. Ф. Калайдовича были разногласия с Каченовским по вопросам русской истории. *О положившем за брата белый шар...*— Имеются в виду выборы в Российскую Академию Н. М. Карамзина (10 июля 1818); более ясному комментарию это место не поддается; *...буду ждать вашего братца...* — Н. И. Тургенев (1789—1871), писатель-экономист, декабрист; *...благодарность мою за Франка.*— Вероятно, О. Е. Франк (см. с. 404); *...примечания казанского профессора...*— Профессор Казанского университета Г. Н. Городчанинов составил примечания к 3-му изд. «Науки стихотворства» (СПб., 1818) — переводу поэмы Буало Д. И. Хвостовым; *...отзыв «Инвалида»...* — В газете «Русский инвалид» (1818, № 156) был помещен похвальный отзыв на перевод Хвостова и примечания Городчанинова.

С. 388. А. И. Тургеневу. 18 сентября 1818. *...не признаю Вас Гриммом.*— Гримм Ф. М. (1723—1807)— немецкий публицист, критик, дипломат, вел обширнейшую переписку. «Дмитриев назвал его <Тургенева> маленьким Гриммом, а потом пилигримом, потому что он был деятельным литературным корреспондентом и разносителем в обществе всех новых произведений Жуковского, Пушкина и других» (Вяземский П. А. Полн. собр. соч., СПб., 1883, т. VIII, с. 273); *...молодому Пушкину....*—А. С. Пушкину. *Если вы будете писать к... Блудову...*—Блудов пребывал в 1817—1820 гг. на дипломатической службе в Лондоне. *«Mémoires de l'abbé Georgel»* — «Записки по истории событий конца XVIII века» (Париж, 1817, 6 т.) Ж.-Ф. Жоржеля (1731—1813) (Париж, 1817), которые отправил Дмитриеву Блудов из Лондона; *...братцу...*— Н. И. Тургеневу.

С. 389. П. А. *Вяземскому*. *7 октября 1818*. Вяземский (см. комм. к с. 424) с 25 августа 1817 г. служил в Варшаве; *...журнал Польского сейма.*— Доставлен Вяземским Дмитриеву при письме от 3 декабря 1818 г. *Каченовский... посягнул...* — см. комм. к с. 323; *бильбоке* — игра привязанным к палочке шариком; *...речь в торжественном собрании* — Дмитриев заранее знал, что Карамзин по случаю избрания его в члены Российской Академии должен произнести речь в ноябре 1818 г. (была произнесена 5 декабря 1818 г.); *президент* — А. С. Шишков; *...профессор Московского университета* — Каченовский; *князь Андрей Петрович* — Оболенский (см. комм. к с. 371).

С. 390. А. И. *Тургеневу*. *17 октября 1818*. *...ваше поручение.*— Тургенев просил Дмитриева хлопотать о разрешении А. Н. Волконской перенести прах ее отца фельдмаршала Н. В. Репнина, для чего требовалось специальное разрешение Синодальной конторы. *Галиани* Ф. (1728—1787) — государственный деятель, писатель, экономист; его частная переписка опубликована в 1818 г. в Париже. *Франклин* Б. — см. комм. к с. 197; *...эпиграммы, хотя и не дурны...*—25 сентября 1818 г. Вяземский отправил А. И. Тургеневу 2 эпиграммы на Каченовского («Наш журналист и сух и тощ, как спичка...»; «Иссохлось бы перо твое бесплодно...»); 8 октября Тургенев послал их Дмитриеву (ОА, т. I, с. 128); *...первую книжку «Вестника»...* — Здесь в №№ 2—6 за 1819 г. был помещен разбор предисловия к «Истории» Карамзина; *министр просвещения* — А. Н. Голицын; *письмо из Лужников* — см. комм. к с. 323.

С. 391. П. А. *Вяземскому*. *23 ноября 1818*. *...прекрасные стихи...*—«Петербург (Отрывок)», направлены Дмитриеву А. И. Тургеневым 22 октября (ОА, т. 1, с. 134). *Лас-Казас* — Лас-Каз Э.-А.-Д. (1766—1842), автор записок, посвященных его пребыванию на о. Св. Елены, куда он удалился в 1816 г. вслед за Наполеоном, изданы в 1822—1824 гг. Дмитриев, видимо, считал, что записки Лас-Каза скоро выйдут из печати. *«Dictionnaire historique»*—видимо, переиздание «Словаря исторического и критического» (1697) французского философа П. Бейля (1647—1706); *...вспомнили и палевые сливки...* — В записках Лужницкого старца (Каченовского) было пародийно обыграно это выражение молодого Карамзина (ВЕ, 1818, № 20, с. 311). *Вера Федоровна* — жена Вяземского.

С. 392. Ф. Н. *Глинке*. *5 декабря 1818*. Ф. Н. Глинка (1786—1880)—писатель, участник Отечественной войны 1812 г., один из руководителей Союза благоденствия. В письме речь идет о сочинениях Глинки «Гимн величию и всемогуществу божию» (СПб., 1818), «Краткое обозрение военной жизни и подвигов графа Милорадовича» (СПб., 1818), «Подарок русскому солдату» (СПб., 1818). Критические замечания Дмитриева касаются предисловия к последней книге. *...всем и каждому в одном из манифестов...*—Манифест о нашествии Наполеона 6 июля 1812 г., составленный А. С. Шишковым; *...разлука с Батюшковым.*— Батюшков был в Москве с 25 августа до середины или конца сентября 1818 г.; в ноябре 1818 г. выехал на службу в Италию.

С. 393. А. И. *Тургеневу*. *8 декабря 1818*. *...речи Карамзина...*— См. комм. к с. 389; *в обществе любословесников* — в Обществе любителей российской словесности при Московском универ-

ситете; далее идет насмешливый рассказ о ходе торжественного собрания Общества 7 декабря 1818 г.; упомянуты «Речь о занятиях общества» А. А. Прокоповича-Антонского; «Речь о начале, ходе и успехах словесности» А. Ф. Мерзлякова; стихотворение П. И. Шаликова «Весна» (его читал П. С. Яковлев); сказка В. Л. Пушкина «Услад и Людмила», одним из персонажей которой является Печенег (кроме того, В. Л. Пушкин «читал чужие стихи» — перевод VII сатиры Буало М. А. Дмитриева и его же басню «Совет»), «Нина», отрывок из поэмы М. В. Милонова (а не Филимонова) «Надежда», читанный Ф. Ф. Кокошкиным; «Рассмотрение оды Ломоносова «Утреннее размышление о божием величестве» П. Ф. Калайдовича; стихотворение С. Г. Саларева «Гробница», читанное П. С. Яковлевым; *князь Петр Иванович* — Шаликов; *Шатров* — см. комм. к с. 242. *Болдырев* А. В. (1780—1842) — профессор словесности Московского университета; *Дружинин* П. М. (1764—1827) — адъюнкт Московского университета по кафедре естественной истории. *Филимонов* В. С. (1787—1858) — поэт, в 1817—1819 гг. вице-губернатор в Новгороде. *Счастливые провинциалы!* — Ирония Дмитриева относится к тому, что в одном ряду с Шиллером, Перро, Княжниным перечислены имена писателей, малоизвестных даже в 1810-е годы.

С. 394. А. И. Тургеневу. 19 мая 1819. *...вашу апологию.* — Письмо Тургенева от 6 мая, в котором он объяснял некоторые черты своего характера («Русский архив», 1867, № 4); *произведение Вяземского* — «Послание к Ивану Ивановичу Дмитриеву, приславшему мне свои сочинения»; *...предшествовавшее* — статья Вяземского о Вольтере, не пропущенная цензурой. *Нонот* — Ноннот К.-Ф. (1711—1793) — противник Вольтера, автор книги «Заблуждения Вольтера» (1762); *...новая должность Николая Ивановича...* — Н. И. Тургенев был назначен управляющим III отделением министерства финансов. *Авзония* — Италия, где пребывал Батюшков. *«Некоторые мысли о сущности басни»* — статья Д. И. Хвостова в «Соревнователе просвещения и благотворения» (1819, № 4). *Отечества и дым приятен!* — неточная цитата из стихотворения Державина «Арфа».

С. 395. А. И. Тургеневу. 8 марта 1820. *...от любезного поэта*—Вяземского. *Вейдемейер* И. А. (1752—1820)—сенатор, член Государственного совета; *...ровесник мой* — Д. И. Хвостов. *...IV номер «Благонамеренного»?* — «Рассказы Лужницкого старца и мои воспоминания о нем» (1820, № 4—5); *...перебирать «Московский журнал»...* — См. комм. к с. 391. *Кутузов* — П. И. Голенищев-Кутузов. *Черепанов* Н. Е. (1763—1823) — профессор истории Московского университета. *Наталья Яковлевна* — Плюскова (ок. 1780—1845), фрейлина; поддерживала дружеские отношения с Дмитриевым с 1790-х годов.

С. 396. П. А. Вяземскому. 16 марта 1820. *...эпистола* — «Послание к <...> Дмитриеву» Вяземский первоначально направил А. И. Тургеневу, но просил пока не печатать: «Разве вы не знаете Дмитриева? Мне нужно прежде ему от себя послать стихи, а там просить позволения их печатать» (ОА, т. I, с. 234). *В четвертой книжке «Благонамеренного»...* — См. комм. к с. 395.

С. 397.. А. И. Тургеневу. 18 августа 1820. *...за ваше письмо* — от 23 июля; *...стихов В. А. Жуковского...* — «Подробный отчет о луне». Переводы *Воейкова*, упомянутые Дмитриевым —

«Сады» Ж. Делиля (М., 1816) и «История царствования Людовика XIV и Людовика XV» Вольтера (М., 1809). *Жаль, что он оставил университет...* — Воейков преподавал русскую словесность в Дерптском университете (1816—1820); *...Василью Андреевичу... счастливого пути...* — осенью 1820 г. Жуковский отправился за границу. *Шиллер* И. Ф. (1759—1805), *Клейст* Г. (1777—1811), *Виланд* К. М. (1733—1813)—этим перечнем Дмитриев намекает на особенный интерес Жуковского к немецкой литературе. *«Оберон»*— фантастическая поэма Виланда; *...ни Воейков, ни прочие.*—В 1820 г. Воейков стал соиздателем журнала «Сын отечества» (совместно с Н. И. Гречем). *Дрягиль* — вьючный рабочий. *Положение Николая Михайловича...* — Карамзин был болен летом 1820 г. *С. С. Уваров* (1786—1855) — литератор, участник «Арзамаса», с 1833 г. министр народного просвещения.

С. 398. А. И. Тургеневу. 19 сентября 1820. *...в разборе Воейкова* — статья А. Ф. Воейкова о «Руслане и Людмиле» («Сын отечества», 1820, № 34—37). *Как же мне хотеть унижать талант его?* — В это время Дмитриев еще не читал всей поэмы Пушкина, зная ее только по опубликованным в «Сыне отечества» фрагментам. «На сих днях явится в свет поэма молодого Пушкина,— писал А. И. Тургенев Дмитриеву 23 июля 1820 г. — Не смею послать вам ее, ибо вы, как слышу, осудили ее, по отрывкам, на полное ничтожество» («Русский архив», 1867, с. 659).

С. 399. П. А. Вяземскому. <Отрывок>. 18 октября 1820. *La mère en défendra...*—цитата из комедии А. Пирона «Метромания» с заменой слова prescrira (предпишет) на défendra (запретит). *Катенин* П. А. (1792—1853) — поэт, критик; его сочли автором «Письма к сочинителю критики на поэму «Руслан и Людмила» («Сын отечества», 1820, № 38; автором был Д. П. Зыков). *Антон Антонович* — Прокопович-Антонский.

П. А. Вяземскому. <Отрывок>. 3 февраля 1820. *...эпистолу вашу...* — «Послание к М. Т. Каченовскому» («Сын отечества», 1821, № 2), написанное в защиту Карамзина; *...один Пушкин* — Василий Львович; *...другой Пушкин* — Алексей Михайлович (см. комм. к с. 385); *поэт В...* — А. А. Волков (см. комм. к с. 475). *...Каченовский напечатал ее...* — Каченовский перепечатал послание Вяземского под названием «Послание ко мне от Вяземского» (ВЕ, 1821, январь, № 2) со своими язвительными примечаниями; *...под острие тупого жала* и далее — критика выражений из послания Вяземского.

С. 401. А. С. Шишкову. 22 мая 1821. *А. С. Шишков* (1754—1841) — адмирал, писатель, инициатор полемики о старом и новом слоге, организатор «Беседы любителей русского слова» (1811—1816), государственный секретарь (1812—1814); министр народного просвещения (1824—1828), президент Российской Академии (1813—1841). *Я не позабыл поручения...*—Шишков просил прислать перевод «Георгик» Вергилия, выполненный С. Е. Раичем (Амфитеатровым) (1792—1855).

С. 402. А. С. Шишкову. 26 июля 1821. *Я и сам не могу спокойно встречать... Вот, чу...*— Дмитриев к началу 1820-х годов в определенной степени солидаризировался с Шишковым в ряде литературно-языковых вопросов, но данное высказывание, может быть, скрывает иронию. Шишкову непонятную: *Вот* и *Чу* —

это «арзамасские» прозвища В. Л. Пушкина и Д. В. Дашкова, самых активных оппонентов Шишкова в начале 1810-х годов.

С. 402. А. Ф. Воейкову. 10 января 1823. *А. Ф. Воейков* (1777 или 1778—1839) — поэт, переводчик, журналист, поддерживал карамзинистов; с 1822 по 1839 г. издавал газету «Русский инвалид» и литературные приложения к ней (в 1822—1826 — «Новости литературы»), «Собрание образцовых сочинений и переводов...» в стихах (СПб., 1821—1822; 6 ч.) и прозе (1822—1823, 6 ч.). Присылка этих изданий без письма расценивалась Дмитриевым как неучтивость, чем объясняется его ирония («скромным образом», «милые доказательства»).

С. 403. В. А. Жуковскому. 18 февраля 1823. Ответ на письмо Жуковского от 11 февраля (к письму был приложен портрет Гете). *Напрасно... хотите оживить самолюбие в старике...* — Жуковский в своем письме лестно отзывался об апологах Дмитриева. *Что же касается до записок...* —Жуковский призывал Дмитриева писать воспоминания. *Шаховской* Я. П. (1705—1772)— сенатор, автор «Записок о своей жизни» (1-е изд.— 1810).

С. 404. О. Е. Франку. 13 мая 1824. *О. Е. Франк* (о нем не сохранилось почти никаких сведений) выполнял поручения Дмитриева по присылке ему книг. *Гиппиус* Г. Ф. (1792—1856) — портретист, литограф, в 1822 г. издавал «Собрание литографированных <по собственным рисункам> портретов государственных чиновников, писателей и художников» (9 тетрадей, о которых и идет речь в письме); *сускрибенты* — подписчики; *...доставить... посылку...* — экземпляры «Стихотворений» Дмитриева (М., 1823); *Бестужев* А. А. (1797—1837) — писатель-декабрист, в 1823—1825 гг. издавал совместно с К. Ф. *Рылеевым* (1795—1826) альманах «Полярная звезда»; Бестужев познакомился с Дмитриевым в 1823 г. И. А. *Крылов* (1769—1844) — баснописец. *Каподистриа* — Каподистрия И. А. (1776—1831), в 1809—1827 гг. находился на русской службе (с 1815 статс-секретарь по иностранным делам России); с 1827 г. президент Греции.

С. 405. В. В. Измайлову. 7 августа 1825. Об Измайлове см. комм. к с. 177. *Карамзин... посещал* — пересказаны письма Карамзина Дмитриеву от 9 и 31 июля; поездка Карамзина в военные поселения (начальником их был Аракчеев) состоялась по желанию Александра I; Карамзин, несмотря на «ласку» Аракчеева, остался при отрицательном отношении к военным поселениям; *...записок г-жи Жанли...* — Записки (1825—1828, 8 т.) французской писательницы С.-Ф. Жанлис (1746—1830) разочаровали всех, так как в основном это были не ожидавшиеся мемуары, а ранее уже опубликованные ее произведения. *Не пропущает ни Вольтера...* — Полн. собр. соч. Вольтера, выпускавшееся в Париже (1825—1832) в 96 книжках форматом in 8°; *...ни Прада...* — Прадт Д. Д. (1759—1837)—французский публицист и дипломат, духовник Наполеона; *...ни Аннюара политического...* — «Ежедневник политических событий», выходивший в Париже (1818—1861); *«Дон Алонзо»* (1824) — исторический роман Н. де Сальванди (1796—1856); *...новое издание Белева словаря...* — «Словарь исторический и критический П. Бейля» (Париж, 1820—1824, т. 1—16); *фолликюлёры* (фр.) — борзописцы; *Писарев* А. А. (1780—1848) — генерал-лейтенант, литератор, автор послания к И. И. Дмитриеву («Северный Меркурий», 1805, № 2); *...в июне побывал в отчизне* — в Сызрани.

Три части записок — «Взгляд на мою жизнь». *«Телеграф»* — Когда Н. А. Полевой начал издание «Московского телеграфа» (1825), Дмитриев сочувственно отнесся к журналу, даже поместил в нем басню «Дети и мыльные пузыри»; но после критических выступлений Полевого против Карамзина и карамзинизма отрицательные отзывы Дмитриева о нем не прекращались.

С. 406. П. А. Вяземскому. 5 июля 1826. *...при чтении вашей приписки...* — Приписка Вяземского к письму Е. А. Карамзиной от 22 июня 1826 г.; *...в отношении к моей потере.* — 22 мая умер Карамзин. *Катерина Андреевна* — жена Карамзина. *...Каченовский напечатал в своем «Вестнике»...* — ВЕ, 1826, май—июнь. *Писарев* А. А. — см. комм. к предыдущему письму. *Иванчин-Писарев* — см. комм. к с. 227.

С. 407. П. А. Вяземскому. 6 ноября 1830. *Письмо ваше...* — от 30 октября 1830 г. *Первые дни... посещения холеры...* — В 1830 г. в Москве была эпидемия холеры; *...после утреннего отчета Погодина...* — Во время эпидемии с 27 сентября 1830 г. по 6 января 1831 г. М. П. Погодин совместно с медиком М. А. *Маркусом* (1790—1865) издавал бюллетень «Ведомости о состоянии города Москвы»; *...у ближайшей соседки...* — Гурьевой; *биографию Фонвизина...* — Во время эпидемии Вяземский жил в своем имении Остафьево, работая над книгой «Фон-Визин» (СПб., 1848); *...приняться за историю нашей словесности.* — В письме от 30 октября Вяземский писал о «большой охоте» «написать обозрение русской словесности»; *...послужной список Новикова и Греча...* — «Опыт исторического словаря о российских писателях» (1872) Н. И. Новикова и «Опыт краткой истории русской литературы» (1822) Н. И. Греча; *...боюсь взять вашу сторону в пользу моих учителей...* — В письме от 30 октября Вяземский высоко отзывался о русских писателях XVIII в., «которые, право, лучше нас, по крайней мере, сочнее» (Вяземский П. А. Письма к И. И. Дмитриеву. СПб, 1898, с. 20). *«Петербургский Меркурий»* — «Северный Меркурий», газета М. А. Бестужева-Рюмина (СПб., 1830—1832); *...сравнил его с германскою певицею...* — В 1830 г. в Петербурге гастролировала Г. Зонтаг (1806—1854); в «Северном Меркурии» (1830, 8 октября) были опубликованы стихи Д. И. Хвостова «На последнее в Петрополе пение знаменитой Зонтаг...»; в заметке издателя, сопровождавшей стихи, Зонтаг была названа «соловьем германским», а Хвостов — «нашим Северным соловьем». *Ушаков* В. А. (1789—1838) — писатель; известность ему принесла повесть «Киргиз-кайсак» (1830).

С. 409. А. С. Пушкину. 3 января 1831. Пушкин с декабря 1830 г. находился в Москве и 3 января отправил Дмитриеву экземпляр только что отпечатанной трагедии «Борис Годунов»; Дмитриев немедленно отвечал данной запиской.

П. А. Вяземскому. 13 января 1831. *«Телескоп»* (1831—1836), издатель Н. И. Надеждин. *«Молва»* (1831—1836) — приложение к «Телескопу». *«Дамский журнал»* (1823—1833), издатель П. И. Шаликов. *«Литературная газета»* (1830—1831) — редактор А. А. Дельвиг, после его смерти, с № 65, О. М. Сомов; в организации и редактировании газеты участвовали А. С. Пушкин и Вяземский. *Мещерская* Е. Н. (1806—1867)—дочь Карамзина; *...сор душевных впечатлений...* — неточная цитата из

стихотворения С. П. *Шевырева* (1806—1864) «В альбом В. С. Топорниной» (1829).

С. 410. А. С. Пушкину. 1 февраля 1832. *...альманах*—«Северные цветы на 1832 г.»; *...цветы собственной вашей оранжереи...*— стихотворения А. С. Пушкина «Царскосельская статуя», «Труд», «Рифма», «Анчар», «Бесы», «Делибаш», «Дорожные жалобы», «Эхо» и сцены I, II «Моцарта и Сальери» («Северные цветы на 1832 г.») вышли затем отдельным оттиском; *...песнь «Онегина»...*—8-я глава «Евгения Онегина» вышла 20 января 1832 г.; *«Пчела»* — «Северная пчела» (1825—1864), официозная газета, издававшаяся Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем; нападала на Пушкина и пушкинский круг писателей; но в рецензии на «Северные цветы» был дан похвальный отзыв: «Давным-давно не было печатано таких прелестных стихов Пушкина... Ожил!» («Северная пчела», 1832, 25 января); *...прочитал прекрасные стихи его уже в печати...* — 16 октября 1831 г. Жуковский отправил Дмитриеву послание (в «Северных цветах на 1832 г.» опубл. с названием «Ответ Ивану Ивановичу Дмитриеву»); *...новейшую поэзию его в альманахе...* — «Сражение со змеем». *«Европеец»* — журнал И. В. Киреевского начал выходить в Москве в 1832 г., с 3-го номера запрещен по распоряжению Николая I; в «Европейце» Жуковский напечатал «Сказку о спящей царевне» (№ 1), отрывок из «Войны мышей и лягушек».

С. 411. П. А. Вяземскому. 9 апреля 1832. *...третий том его стихотворений* — «Стихотворения Пушкина». СПб., 1832, ч. 3; *...прикупкою шести книжек «Онегина»...* — «Евгений Онегин» выходил по главам в 1825—1831 гг. *Софья Николаевна Карамзина* (1802—1856) — дочь Карамзина от первого брака с Е. И. Протасовой; *...двум новым министрам...*— В 1832 г. Д. Н. Блудов был назначен министром внутренних дел, Д. В. Дашков — министром юстиции.

С. 412. П. А. Вяземскому. 5 января 1833. *...благодарю... за... письмо* — от 31 декабря 1832; с *достижением... нового звания.* — 21 октября 1832 г. Вяземский назначен вице-директором департамента внешней торговли; до этого был чиновником особых поручений министерства финансов; *Фамусов* — герой комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»; *...адажио и фугу двух провозвестников новолетия...* — «Стихи на новый 1833 год» П. И. Шаликова и стихотворение С. Н. Глинки «Государю императору. Приветствие в Купеческом собрании накануне Нового года» («Московские ведомости», 1833, № 1, 4 января); *...дородности нового календаря...*— в том же номере «Московских ведомостей» было помещено объявление о выходе Месяцеслова на 1833 год; *...вторым томом «Орланда»...* — «Неистовый Орланд», пер. С. Е. Раичем поэмы Ариосто; *...«Системою преподавания словесности».*— «Система российской словесности» (М., 1832) И. И. Давыдова, профессора Московского университета. *Гримм* — А. И. Тургенев; *...можете... сказать, что я был и есть все тот же...*—А. И. Тургенев жил с июня 1831 по апрель 1832 г. в Москве и, вновь отправившись за границу, писал Вяземскому, что огорчен холодностью к нему Дмитриева, о чем и сообщил Вяземский Дмитриеву. *Балланш* П. С. (1776—1847) — французский писатель, философ. *Шатобриан* Ф. Р. (1768—1848) — французский писатель. *Насилу досказал* — цитата из «Причудницы».

С. 413. А. П. Глинке, 12 марта 1833. Адресовано жене Ф. Н. Глинки. *«Новоселье»* — I часть этого альманаха (издатель А. Ф. Смирдин); вышла 19 февраля 1833 г. *«Незнакомка»*, *«Большой выход* у Сатаны» — повесть и фельетон О. И. Сенковского, подписаны его псевдонимом «Барон Брамбеус». *«Бригадир»* — рассказ В. Ф. Одоевского. *Сонцев* — см. комм. к с. 475.

С. 414. П. П. Свиньину. 11 февраля 1834. *П. П. Свиньин* (1787—1839) — литератор, издатель «Отечественных записок» (1818—1830). *«Ученые записки императорского Московского университета»* (1833—1836), редактировались И. И. Давыдовым и В. М. Перевощиковым. *«Библиотека для чтения»* (1834—1865) — первый «толстый» журнал в России (до 30 печатных листов), в 1834—1841 гг. издавался А. Ф. Смирдиным, редактировался А. О. Сенковским; *...покамест..., обломки... эпической поэмы...* — Выражения из повести Сенковского «Вся женская жизнь в нескольких часах» (под псевдонимом «Барон Брамбеус») и его же статьи «Скандинавские саги» («Библиотека для чтения», 1834, № 1, отд. I, с. 45, 54; отд. III, с. 43). *Плаксин* В. Т.—автор «Руководства к познанию истории русской литературы» (СПб., 1833). *Мудрено ли же и поляку* — Сенковскому. *Александр Семенович* — Шишков.

С. 416. А. С. Пушкину. 4 марта 1835. *...за действительную вам укоризну.*— В письме сыну Карамзина Дмитриев замечал, что Пушкин не подарил ему «Историю Пугачева» (СПб., 1834); Пушкин, узнав об этом, сообщал Дмитриеву 14 февраля 1835 г., что «поджидал портрет Емельяна Пугачева, который гравируется в Париже». *Панглос* — герой повести Вольтера «Кандид»; *...весть о моем сверстнике...*— О Д. И. Хвостове Пушкин писал 14 февраля: «Современник ваш <...> здравствует и продолжает посещать книжную лавку Смирдина ежедневно, а академию по субботам. В лавке забирает он свои сочинения, все еще не распроданные, и раздает их в академии своим сочленам с трогательным бескорыстием; «*...до свежей нашей потери...*—9 января 1835 г. умер непременный секретарь Академии наук П. И. Соколов; *...но бдит еще Языков.*— Предсказание Дмитриева сбылось: непременным секретарем был избран Д. И. Языков (см. с. 539). *Катерина Андреевна* — вдова Карамзина.

С. 417. В. А. Жуковскому. 13 марта 1835. *...не дайте восторжествовать школам Смирдина и Полевого над языком Карамзина.*— Характерный для писем Дмитриева 30-х гг. призыв к литературной борьбе против «Библиотеки для чтения» и «Московского телеграфа»; *...серьезно и наивно* — от фр. наречий sérieusement, naïvement. *Йориков коран* — «Коран, или Жизнь, характер и чувства Лаврентия Стерна». СПб., 1809, ч. 1—3, перевод отрывков из произведений Л. Стерна с прибавлением биографических сведений об авторе; *Йорик* — герой произведений Стерна «Сентиментальное путешествие» и «Жизнь и мнения Тристама Шенди». *«Путешествие» академика Зуева* — «Путешественные записки... от Санкт-Петербурга до Херсона в 1781—1782 гг.» (СПб., 1787) В. Ф. Зуева (1754—1794), естествоиспытателя, путешественника; *по-ихному* — см., например, в «Йориковом коране»: «Семейство ихнее... имело свое пребывание...» (ч. I, с. 1); *...один профессор на-*

вывает слог Карамзина идиллическим — В. Т. Плаксин в «Руководстве к познанию истории литературы» (СПб., 1833, с. 266, 319).

С. 418. А. С. Пушкину. 10 апреля 1835. *...гостинец* — «История Пугачева». *Кто же секретарь Академии?* — Секретарем был назначен Д. И. Языков.

С. 419. А. С. Пушкину. 5 мая 1836. *...важность вашей потери...* — смерть матери, Н. О. Пушкиной. *Сергей Львович* — отец А. С. Пушкина; *«Современник»* — журнал, издание которого начал Пушкин в 1836 г. *Языков* Н. М. (1803—1846/47) — поэт. *«Ночной смотр»* — пер. баллады И. Х. фон Цедлица (Зейдлица) Жуковским (опубл. без указания источника — «Современник», 1836, кн. I); о чьем переводе идет речь в письме Дмитриева, неясно.

С. 420. П. А. Вяземскому. 18 декабря 1836. *...посылку мою в вашем сборнике.* — Вяземский в письмах Дмитриеву 1836 г. просил направлять ему выписки из воспоминаний Дмитриева о Державине, Петрове, Карамзине для его сборника «Старина и Новизна» (издание не было осуществлено). *«Живописное обозрение»* (1835—1844) — научно-популярный иллюстрированный журнал. *Белинский* В. Г. (1811—1848) с лета 1835 г. редактировал «Молву» и «Телескоп» в связи с отъездом Н. И. Надеждина за границу; *...предисловие переводчика...* — предисловие Н. М. Карамзина воспроизведено в статье Белинского «Русская литературная старина» («Телескоп», 1835, ч. XXIX, №№ 17—20). А. Ф. *Воейков*, издатель «Литературных прибавлений» к газете «Русский инвалид», перепечатал это предисловие («Лит. прибавления...», 1836, № 94—95, 21 ноября); *...преследователь двух рыцарей нашего времени...* — «Рыцарь нашего времени» — повесть Карамзина (1803); здесь имеются в виду Н. А. Полевой и А. О. Сенковский, с которыми резко полемизировал Воейков; *...Я держусь новизны...* — Вяземский писал Дмитриеву 9 декабря 1836 г.: «Пушкин советует мне назвать «Старина и Новизна». *Гримм Баланшьич* — А. И. Тургенев; *Гримм, Баланш* — см. комм. к с. 388, 412.

С. 421. В. А. Жуковскому. 26 марта 1837. *...письмо и милый подарок...* — Письмо от 12 марта; отправлено 16 марта вместе с переведенной гекзаметром повестью Фуке де ла Мотта «Ундина»; *...восемь томов* — издание сочинений Жуковского, отправленное им Дмитриеву (9-й том вышел в 1837 г.). *Речет: да гибнет враг...* — Из послания В. П. Петрова к П. А. Румянцеву (1775); *...такого с ним катастрофа?* — 27 января состоялась дуэль Пушкина и Дантеса; 29 января Пушкин умер; *отец, дед* — Сергей Львович Пушкин, отец поэта.

И. И. ДМИТРИЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

С. 424. П. А. Вяземский. Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева. <Фрагменты>. — Предисловие к изд.: Дмитриев И. И. Сочинения в 2-х ч. СПб., 1823. П. А. Вяземский (1792—1878) среди писателей младшего поколения пользовался особенной благосклонностью Дмитриева и отвечал ему неизменной приязнью. С. 424. *Прадон* Н.

(1630/32—1698)—французский драматург; его соперничество с Расином (1660—1670-е гг.) в русской литературе первой трети XIX в. было примером борьбы завистника с гением. С. 425. *...напечатано и другое...*— 2-е изд. «И моих безделок» вышло в типографии X. Клаудия и X. Ридигера в том же, 1795 г. С. 428. *...напрягши ум...*— Из «Чужого толка». С. 432. *«К Дельфире», «К ней же»* — «К А. Г. С<евериной>». С. 433. *И кто кого смога...*— Из басни В. И. Майкова «Лягушки, просящие о царе»; см. это выражение в басне Д. И. Фонвизина «Лисица-кознодей». С. 436. *Томсон* Д. (1770—1748) — английский поэт, автор описательной поэмы «Времена года». *Делиль* — см. комм. к с. 163. С. 437. *Шамфор* Н.-С. Р. (1741—1794) — французский писатель, известный своим афористическим остроумием. С. 438. *...мохнатых певцов...*— Из «Воспитания Льва». С. 439. *Измайлов* А. Е. (1779—1831)—баснописец, критик, автор «Разбора басни И. И. Дмитриева «Кот, Ласточка и Кролик» («Благонамеренный», 1818, ч. I, № 2). *Фуке* Н. (1615—1680) — генеральный контролер финансов Франции; заключен в крепость; Лафонтен публично высказал ему сочувствие и был выслан Людовиком XIV из Парижа. С. 440. *Арно* — см. комм. к с. 114; речь идет о предисловии Арно к сборнику его басен (1812). С. 441. *Сумароков* П. П. (1765—1814)—поэт, журналист, автор басен, сказок, эпиграмм. *Карамзин выдал начало... сказки...*— Незаконченная «богатырская сказка» «Илья Муромец» (1794); далее упомянуты сказки Батюшкова «Странствователь и домосед» (1814—1815), В. Л. Пушкина «Кабуд путешественник» (1818). С. 443. *...в «Московском Меркурии» и «Цветнике»* — см. с. 323. С. 444. *«Карикатура» ...рифменная проза...*— А. И. Клушин (см. комм. к с. 242) назвал «Карикатуру» «рифмопрозаическим творением» («Зритель», 1792, ч. 2, с. 158); *...другой...обвиняет поэта, что он пишет состáрелся, а не состарéлся...*— Каченовский (ВЕ, 1806, № 8, с. 299); *...возражение... писанное Д. Н. Блудовым...* — См. с. 541. С. 446. Приписка.— Написана в 1876 г.; в 1820-е гг. Вяземского упрекали в пристрастии к Дмитриеву в ущерб Крылову; публикуя вновь спустя 50 с лишним лет свою статью, Вяземский счел нужным дать к ней разъяснения. С. 447. *Пушкин... не любил Дмитриева как поэта.*— А. С. Пушкин писал Вяземскому 8 марта 1824 г.: «И что такое Дмитриев? Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова; все его сатиры — одного из твоих посланий, а все прочее первого стихотворения Жуковского». *Дмитриев... поэму «Руслан и Людмила».*— См. с. 399. С. 448. *Козловский* П. Б. (1783—1840)—дипломат, литератор, знаток римских классиков. *Тот наконец согласился* — А. С. Пушкин начал переводить X сатиру Ювенала («От западных морей до самых врат восточных...»).

С. 449. П. А. Вяземский. Старая записная книжка. <Фрагменты> — П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII, СПб., 1883. *Н. И. Салтыков*—см. с. 351. *«Примите, древние дубравы...»*— Из «Освобождения Москвы». С. 450. *«Сын отечества»* стал выходить с сентября 1812 г. (редактор-издатель Н. И. Греч). С. 451. *Библейское общество* (1812—1826) ставило целью распространение и перевод на русский язык Библии; *манифесты* в период Отечественной войны писал государственный секретарь А. С. Шишков. *Филарет* (1782—1867)—московский митрополит (с 1826); *...«Стихи мои, обрызганные кровью».*— Вязем-

ский пересказывает письмо Дмитриева к нему от 4 мая 1829 г., где процитировано стихотворение С. П. Шевырева «Партизанке классицизма»: «Да не полюбишь никогда//Моих стихов, облитых кровью»; *Карлгоф* В. И. (1799—1840)—писатель, переводчик. С. 452. *...в марте месяце 1811...* — В ночь с 11 на 12 марта был убит Павел I. *Тончи* С. (1756—1844) — итальянский художник, живший в России. *Антонский* — А. А. Прокопович-Антонский, ректор Московского университета.

С. 453. П. А. Вяземский. Дом Ивана Ивановича Дмитриева—П. А. Вяземский. «В дороге и дома». М., 1862, с прим.: «...написано автором в 1860 году, после посещения дома, принадлежавшего Дмитриеву, в Москве, на Спиридоновке». Стихотворение по своей поэтике соотносится с пушкинским «К вельможе» (1830). С. 455. *Рембрандт* (1606—1669) — голландский живописец; *Светоний* — см. комм. к с. 292. С. 456. *Гогарт* — Хогарт У. (1697—1764) — английский художник, гравер, мастер сатирического бытового жанра.

С. 458. М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. <Фрагменты>. Михаил Александрович Дмитриев (1796—1866) — поэт, критик, племянник И. И. Дмитриева. Его «Мелочи...» (М., 1853; 2-е, более полное изд.— М., 1869)— один из важных мемуарных источников по истории русской литературы первой половины XIX в. *«Философ, живущий у хлебного рынка»* (пер. из Л. С. Мерсье), *«Жизнь<...> Панина»* (пер. с французского сочинения Д. И. Фонвизина) — отдельные издания: СПб., 1786; первоначально: «Зеркало света», 1786, ч. I; *дофин* — во Франции титул наследника престола. С. 459. *...г. Мизко из Одессы...*— Н. Д. Мизко. «Столетие русской словесности». Одесса, 1849. *Каченовский писал о баснях Крылова...*— ВЕ, 1812, № 4. С. 460. *Каченовский писал критику на... Дмитриева.*— См. с. 372. *А. Е. Измайлов делал... замечания, когда тот был уже министром* — Неточность: разбор А. Е. Измайловым басни «Кот, Ласточка и Кролик» появился в 1818 г., когда Дмитриев был в отставке. С. 461. *...биографию, написанную князем П. А. Вяземским...*— См. с. 424. С. 462. *Петербургское общество словесности, наук и художеств.*— Имеется в виду Вольное общество любителей российской словесности. С. 468. *Сен-Реаль* С. В. (1639—1692)—французский историк, автор книги «Заговор испанцев против Венецианской республики» (1676). С. 469. *«Молва»* — см. с. 547. С. 472. *Кочубей* В. П. — в 1812—1819 гг. председатель Департамента законов. С. 473. *Министерство принял... Болотников*—М. А. Дмитриев нарушает последовательность событий (см. с. 354). С. 474. *Жихарев* С. П.— см. комм. к с. 479. *Марченко* В. Р. (1782—1841) — управляющий делами Комитета министров (1815—1818). С. 475. *Иванчин-Писарев* Н. Д.—см. комм. к с. 227. *Волков* А. А. (1788—?)—поэт; Дмитриев скептически относился к нему, тем не менее в 1820—1830-е гг. Волков был постоянным его посетителем. *Солнцев* (Сонцев, Сонцов) М. М. (1779—1847) — муж тетушки А. С. Пушкина. С. 476. *Погодин* М. П.— см. комм. к с. 491. *Кузнецов* А. И.— московский книгопродавец, издатель «Христианского месяцеслова» (1821); переиздание книги встретило цензурные затруднения, о преодолении которых хлопотал Дмитриев. *Газ*—Гааз Ф. П. (1780—1853)— врач-практик, известный своей филантропической деятельностью на

должности старшего врача московских тюремных больниц. *Высоцкий*—Высотский Л. Г. (1781—1849), профессор хирургии в Московской медико-хирургической академии. *Йовский* А. И. (1796—1854)—профессор фармакологии Московского университета; в последнее 10-летие жизни Дмитриева часто посещал его. *Макаров* М. Н.—см. комм. к с. 486. *«Наблюдатель»* — «Московский наблюдатель» (1835—1839); в издании участвовали И. В. Киреевский, С. П. Шевырев, Е. А. Баратынский, А. М. Хомяков, М. П. Погодин и др. *Боннет* — Бонне Ш. (см. комм. к с. 236); отрывок из его «Созерцания природы» под названием «Человек, рассматриваемый как существо телесное» был опубликован в пер. Н. М. Карамзина в 1789 г. («Детское чтение», ч. 19), а полный перевод И. А. *Виноградова* вышел в 1792—1796 гг. *...о вашей болезни...*—М. А. Дмитриев был тяжело болен осенью 1837 г. *Миша*—сын М. А. Дмитриева; *...Павлов... профессор...*— Вероятно, М. Г. Павлов, физик, философ, профессор Московского университета. С. 478. *Над могилой Ивана Ивановича...*— Дмитриев похоронен в Донском монастыре; *...слова апостола Павла...*— 1-е послание к коринфянам, гл. 15, 53.

С. 479. С. П. Жихарев. Записки современника. <Фрагменты>. Степан Петрович Жихарев (1788—1860)— в молодости переводчик, театрал, участник «Арзамаса». С 1805 г. вел дневник, известный в печати под названием «Записки современника». В наст. изд. фрагменты из записок Жихарева публикуются по изд. под ред. Б. М. Эйхенбаума (М.-Л., 1955). *Державин... сочиняет какую-то оперу* — «Добрыня, театральное представление с музыкою» (1804); *в роде Метастазия*—Метастазио П. (1698—1782)—итальянский поэт, драматург; на его либретто писали оперы Гендель, Глюк, Моцарт, Гайдн. *Селакадзев* (Сулукадзев) А. И. (1772—1830)—собиратель древностей, в том числе подложных. С. 480. *Мордвинов* Н. С. (1754—1845)—в 1802 г. был морским министром, затем в отставке, в 1812, 1816—1820, 1822— председатель департамента экономии Государственного совета; *автор «Дневника»*—Жихарев. *Корсаков* П. А. (1790—1844)—литератор; *...рассуждение свое...*—«Рассуждение об оде...».

С. 481. Ф. Ф. Вигель. Записки. <Фрагменты>. Филипп Филиппович Вигель (1786—1856)—литератор, участник «Арзамаса», в 1823—1825 гг.—вице-губернатор в Бессарабии. Его «Записки» (опубл.: М., 1864—1865; М., 1891—1893; М., 1928— по последнему изданию и публикуются здесь фрагменты записок) охватывают период с конца XVIII в. по 1829 г. С. 482. *«Бог»* — ода Державина. *«Елисей,* или Раздраженный Вакх» — ирои-комическая поэма В. И. Майкова. *«Воздушные замки»*—«Воздушные башни». С. 483. *Макаров* П. И.— см. комм. к с. 270. *Макаров 2-й* — М. Н. Макаров, см. комм. к с. 486. *Бланк* Б. К. (1769—1825) — поэт, переводчик, сотрудник журналов Шаликова. С. 484. *Дмитриев ...любил тешиться Шаликовым.*— О бесцеремонном обращении И. И. Дмитриева с Шаликовым см. у М. А. Дмитриева: «Вижу однажды вечером человека с большим носом и черными бакенбардами, который говорит фигурно и кривляется. Вдруг, к моему удивлению, мой дядя говорит ему: «Что это, князь, вас так коробит?»— Я тем более удивился этому, что мой дядя был большой наблюдатель приличий и учтивости» («Мелочи...», М., 1869, с. 97—98). С. 485.

Грамматин Н. Ф. (1786—1827), *Милонов* М. В. (1792—1821) — поэты; служили в министерстве юстиции под началом И. И. Дмитриева.

С. 486. М. Н. Макаров. Воспоминание о знакомстве моем с Дмитриевым — «Галатея», 1839, ч. I, № 5, с. 359—371. Михаил Николаевич Макаров (1785—1847)—поэт, драматург, этнограф, издатель «Журнала для милых» (1804), «Драматического журнала» (1811). М. А. Дмитриев писал М. П. Погодину по поводу «Воспоминания»: «Грустно мне было читать эти мелочи, из которых половина вздор» (Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892, кн. 5, с. 123). Текст печатается с небольшими сокращениями. *...родному моему дяде...* — Может быть, Д. В. Писареву, в 1788—1797 гг. капитану Семеновского полка. С. 487. *Фельдмаршал* — Салтыков И. П. (1730—1805), московский главнокомандующий; *...в глазах Раевского, Львова* — писатели-дилетанты конца XVIII — начала XIX в.: *Львов* С. М.— издатель «Московского курьера» (1806); *Раевский* В. С. (1778—1817)—сотрудник этого журнала. С. 488. *...не слепо кланяетесь сицевым и абиям...*—Книжные церковнославянские слова: *сице* — так, таким образом; *абие* — тотчас; *дондеже*—до тех пор, пока; в 1810—1811 гг. обострилась полемика о старом и новом слоге; сторонники Карамзина осмеивали призывы Шишкова к построению литературного языка на основе старославянской лексики (ср. «Не ставлю я нигде ни *семо*, ни *овамо*» — В. Л. Пушкин. «К В. А. Жуковскому», 1810); *...танцует, как Вольтер, а пишет, как Дюпор...*— эта острота, адресованная Д. И. Хвостову, принадлежит А. С. Хвостову (см. комм. к с. 372) (см.: Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. VIII. СПб., 1883, с. 240). *Дюпор* Л.—французский танцовщик, в 1808 г. эмигрировал из Парижа в Петербург. С. 489. *Гераков* Г. В. (см. комм. к с. 386) — автор книги «Твердость духа русских» (СПб., 1804, 2-е изд.: 1813—1814). С. 490. *Дмитрий Иванович*— Хвостов. *Гаврила Романович* — Державин.

С. 491. М. П. Погодин. Вечера у Ивана Ивановича Дмитриева—«Русский», 1869, № 7—8. Михаил Петрович Погодин (1800—1875)—историк, писатель, журналист. Текст воспоминаний Погодина печатается с небольшими сокращениями. *Я просил его переслать посвящение первого историко-критического рассуждения моего о происхождении Руси Н. М. Карамзину* — Магистерская диссертация Погодина (М., 1824) защищена в 1825 г.; в том же году состоялось его знакомство с Дмитриевым. *В 1828 году я лишился благосклонности Дмитриева* — Погодин опубликовал в «Московском вестнике» «Замечания на «Историю государства Российского» Н. П. Арцыбашева (1828, ч. XI—XII, № 19—24) и сам напечатал статью «Нечто против мнения Н. М. Карамзина о начале Российского государства» (там же, 1829, ч. VII, № 4). С. 492. *Робертсон* У. (1721—1793)—шотландский историк; предисловие, о котором говорит Дмитриев,— видимо, «Перечень Истории Америки» («Академические известия», 1779, ч. 3—4; пер. И. И. Богаевского); впрочем, «История Америки» Робертсона была переведена А. И. Лужковым в 1784 г.; *...о заговоре Испании против Венециянской республики* — труд С. В. Сен-Реаля (см. с. 552); был переведен И. Притчиным (СПб., 1771). *Мясников* И. С.— богатый симбирский заводчик, зять И. Б. и Я. Б. Тверды-

шевых (см. комм. к с. 277). *Глинка* С. Н. (1775 или 1776—1847) — писатель, журналист, издатель «Русского вестника», брат Ф. Н. Глинки. С. 493. *Шаховской* А. А. (1777—1846) — крупнейший русский комедиограф 1800—1810-х гг. *«Иоанна»*— пер. Жуковского 5-стопным ямбом без рифм драматической поэмы Шиллера «Орлеанская дева» (1821). *«Георгики» С. Е. Раича* — см. с. 401. *Карамзин начал писать до путешествия белыми стихами* —«Часто здесь в юдоли мрачной...» и др. (см. письма Карамзина к Дмитриеву 1777—1778 гг.). С. 494. *Невское кладбище* — Александро-Невская лавра. *Столыпин* — см. комм. к с. 349.

С. 495. М. М. Попов. Иван Иванович Дмитриев.—«Русская старина», 1901, т. 105, № 3, с. 637—639; с общим заглавием «Мелкие рассказы Михаила Максимовича Попова». М. М. Попов (1801—1871)—преподаватель словесности в Пензенской гимназии в 1820—1830-е гг.

СЛОВАРЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

Аврора (рим.) — богиня утренней зари.

Адонис — финикийское божество природы, олицетворение умирающей и воскресающей растительности; в греческой мифологии — возлюбленный Афродиты; был смертельно ранен на охоте диким вепрем.

Аид (греч.) — 1) название царства мертвых; 2) властитель подземного мира и царства мертвых.

Аквилон (рим.) — бог северного ветра.

Алкид (греч.) — см. Геракл.

Амур (рим.) — см. Эрот.

Амфион (греч.) — сын Зевса, знаменитый своим пением и игрой на лире.

Аониды (греч.) — музы.

Апис (егип.) — бог плодородия в облике быка.

Аполлон (греч.) — бог солнца, покровитель искусств.

Аргус (греч.) — многоглазый великан.

Артемида (греч.) — дочь Зевса, сестра-близнец Аполлона, богиня луны и охоты, предводительница нимф.

Астрея (греч.) — богиня справедливости.

Атлант (греч.) — титан, осужденный Зевсом вечно держать на плечах небесный свод.

Афет (греч.) — титан, отец Прометея.

Афродита (греч.) — богиня любви и красоты.

Ахилл (греч.) — герой Троянской войны, храбрый вождь греков; погиб от стрелы, пущенной Аполлоном.

Бахус — см. Дионис.

Беллона (рим.) — богиня войны.

Борей (греч.) — бог холодного северо-западного ветра.

Вакх (греч.) — см. Дионис.

Венера (рим.) — см. Афродита.

Вулкан (рим.) — бог разрушительного и очистительного пламени.

Гавриил, архангел (библ.) — один из старших ангелов, выступает провозвестником событий, раскрывает смысл пророческих видений; предсказал деве Марии рождение Христа.

Гамадриады (греч.) — нимфы деревьев, рождаются и гибнут вместе с деревом.

Гарпии (греч.) — богини вихря, крылатые чудовища, птицы с девичьими головами; в мифе об аргонавтах терзают голодом слепого Финея, похищая или грязня его пищу.

Геба, Гебея (греч.) — богиня вечной юности, изображалась девушкой в цветочном венке, с золотой чашей в руках.

Геракл (греч.) — герой, совершивший множество подвигов, образец силы и бесстрашия. Зевс взял Геракла на Олимп, приняв его в сонм бессмертных богов.

Геркулес (рим.) — см. Геракл.

Гермес (греч.) — вестник богов, покровитель торговли, дорог, путников, пастухов, проводник душ умерших в подземное царство.

Гиады (греч.) — нимфы дождя.

Гименей, Гимен (греч., рим.) — бог брака и супружеской любви; изображался с факелом в одной руке и венком в другой.

Гиганты (греч.) — великаны, восставшие против власти олимпийских богов и побежденные ими.

Грации (рим.) — см. Хариты.

Дедал (греч.) — мастер, архитектор и скульптор. Спасаясь из плена со своим сыном Икаром, поднялся в небо на крыльях из перьев и воска. Икар залетел слишком высоко, солнце растопило воск, и юноша упал в море.

Диана (рим.) — см. Артемида.

Дий — см. Зевс, Юпитер.

Дионис (греч.) — бог вина и возрождающейся природы.

Елисейские поля (греч.) — см. Элизий.

Зевс (греч.) — верховное божество греков, глава олимпийской семьи богов, отец богов и людей.

Зефир (греч.) — бог западного ветра.

Икар (греч.) — см. Дедал.

Иов (библ.) — страдающий праведник.

Каллиопа (греч.) — муза эпической поэзии и науки, мать Орфея.

Кастальский ключ (греч.) — источник поэтического вдохновения на Парнасе.

Кастор и Полидевк (греч.) (*Поллукс* — рим.) — сыновья Зевса, близнецы. Бессмертный Полидевк уделил брату часть своего бессмертия, и они попеременно появляются на небе в виде утренней и вечерней звезды в созвездии Близнецов.

Кибела, Цибела (рим.) — мать богов и всего живущего на земле, возрождающая умершую природу и дарующая плодородие.

Киприда — одно из имен Афродиты.

Кирка (греч.) — волшебница с острова Эя; спутников Одиссея обратила в свиней; влюбившись в Одиссея, удерживала его на своем острове.

Клио (греч.) — муза истории, изображалась со свитком и грифельной палочкой в руках.

Крон, Кронос (греч.) — один из титанов, отец Зевса, побежденный им; впоследствии приобрел значение бога времени.

Купидон (рим.) — см. Эрот.

Лары (рим.) — боги домашнего очага.

Леандр (греч. миф.) — юноша, полюбивший жрицу Афродиты — Геро, жившую на противоположном берегу Геллеспонта (Дарданелл); каждую ночь Леандр переплывал пролив, чтобы встретиться с Геро, зажигавшей на своей башне огонь. Однажды во время бури ветер погасил огонь маяка, и Леандр утонул. Геро, увидев наутро тело возлюбленного, бросилась в воду.

Леда (греч.) — возлюбленная Зевса, которой он являлся в виде лебедя.

Марс (рим.) — бог войны.

Марсий (греч.) — силен, дерзнувший вызвать Аполлона на музыкальное состязание. Победивший Аполлон казнил Марсия.

Меркурий (рим.) — см. Гермес.

Мидас (греч.) — фригийский царь, которого Аполлон наградил ослиными ушами за то, что в соревновании Аполлона и Пана он присудил первенство Пану.

Минерва (рим.) — покровительница ремесел и искусств, богиня мудрости, войны и городов.

Мнемозина, Мнемосина (греч.) — богиня памяти, мать муз, рожденных ею от Зевса.

Мом (греч.) — божество злословия и насмешки.

Морфей (греч.) — бог сновидений.

Музы (греч.) — девять сестер, богини поэзии, искусств и наук.

Наяды (греч.) — нимфы источников, ручьев, родников.

Ной (библ.) — спасенный во время всемирного потопа праведник; строитель ковчега.

Нот (греч.) — бог южного ветра.

Одиссей (греч.) — царь Итаки, участник Троянской войны; прославился умом, хитростью и мужеством.

Озирид (егип.) — см. Осирис.

Олимп (греч.) — гора в Фессалии, на которой обитают боги.

Орфей (греч.) — певец и музыкант; его пение и игра на лире оказывали магическое воздействие на богов, людей, природу.

Осирис (егип.) — бог производительных сил природы, царь загробного мира.

Палес, Палеса (рим.) — пастушеское божество, покровительница пастухов и скота.

Пан (греч.) — божество стад, лесов и полей.

Парис (греч.) — троянский царевич; ребенком был брошен на горе Иде; провел там детство и юность; пас стада; под покровительством Афродиты похитил Елену, жену спартанского царя Менелая, что вызвало Троянскую войну.

Парки (рим.) — три богини судьбы, прядущие и обрезающие нить человеческой жизни.

Парнас (греч.) — гора, на которой обитают Аполлон и музы.

Пегас (греч.) — крылатый конь, ударом копыта выбивший на Геликоне источник поэтического вдохновения — Гиппокрену.

Пенаты (рим.) — божества-хранители дома, очага.

Пенелопа (греч.) — жена Одиссея.

Пермесский бог (греч.) — Аполлон; по имени ручья Пермес, текущего с Геликона и посвященного музам.

Перун (слав.) — бог грозы; в Киевской Руси почитался высшим божеством, в русской поэтической традиции XVIII — начала XIX в. *перуны* — это стрелы, молнии, символ бури, грозы.

Пик, Пикус (рим.) — лесное божество, предсказывающее людям будущее.

Пинд (греч.) — горный хребет в Греции (крупнейшие горы — Геликон и Парнас), считался владением Аполлона, царством поэзии.

Плутон (греч.) — см. Аид.

Плутос (греч.) — бог богатства.

Помона (рим.) — богиня плодов.

Прометей, Промефей (греч.) — титан, богоборец и покровитель людей, похитивший для них небесный огонь. В наказание был прикован Зевсом к скале и обречен на муки: каждое утро орел клевал его печень, выраставшую за ночь.

Протей (греч.) — морское божество, старец, обладавший способностью принимать любой облик.

Сатиры (греч.) — низшие горные и лесные божества, демоны плодородия, составлявшие свиту Диониса. Изображались с козлиными ногами, хвостом и рожками.

Сатурн (рим.) — см. Крон.

Силены (греч.) — демоны плодородия; вместе с сатирами составляли свиту Диониса.

Сирены (греч.) — демонические существа, полуптицы-полуженщины, обитавшие на волшебном острове в Средиземном море; своим пением заманивали мореходов и губили их.

Стикс (греч.) — река в царстве мертвых, а также божество этой реки.

Тартар (греч.) — бездна, находящаяся ниже Аида, куда были низринуты Титаны.

Телемак, Телемах (греч.) — сын Одиссея и Пенелопы.

Терпсихора (греч.) — муза танца и хорового пения.

Титаны (греч.) — дети Урана (неба) и Геи (земли), доолимпийские архаические боги, олицетворявшие стихии природы. Зевс победил Титанов и низверг их в Тартар.

Фавн (рим.) — бог полей, лесов, пастбищ, животных; обладал даром пророчества.

Феб (греч.) — см. Аполлон.

Филемон и Бавкида (греч.) — благочестивая супружеская чета; Зевс, которого однажды они приютили в облике странника, дал им возможность умереть одновременно и превратиться в деревья, растущие из одного корня.

Филлида (греч.) — жена афинского царя Демофонта; Демофонт не вернулся к назначенному сроку, и Филлида, прокляв его, покончила с собой.

Флора (рим.) — богиня колосьев, цветов, садов.

Фортуна (рим.) — богиня счастья, случая, удачи.

Фурии (рим.) — богини мести и угрызений совести, наказывающие человека за совершенные грехи.

Хариты (греч.) — богини красоты, радости; спутницы Афродиты, Диониса и других богов.

Харон (греч.) — перевозчик душ умерших через Стикс.

Церера (рим.) — древнейшая богиня производительных сил земли.

Цирцея (греч.) — см. Кирка.

Цитера, Кифера (греч.) — остров, где был распространен культ Афродиты.

Эвандр (рим.) — герой италийских сказаний. Основал в Италии колонию аркадян, распространил там культ Пана, Цереры, Геракла и других богов.

Эдем (библ.) — рай.

Эней (греч., рим.) — защитник Трои; легендарный основатель Рима.

Элизий, Элизиум (греч., рим.) — загробный мир, где блаженствуют души умерших праведников.

Эол (греч.) — бог ветров, повелитель бурь.

Эрато (греч.) — муза любовной поэзии.

Эреб, Эрев (греч.) — бог мрака, а также название самой глубокой и мрачной части царства мертвых.

Эрмий (греч.) — см. Гермес.

Эрот (греч.) — бог любви, сын Афродиты, изображался юношей или мальчиком с золотыми крылышками, луком, стрелами, колчаном.

Юнона (рим.) — жена Юпитера, богиня брака, материнства, женщин.

Юпитер (рим.) — верховное божество римлян, бог неба, дневного света, грозы, царь богов.

Япет (греч.) — см. Афет.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ и ПИСЕМ И. И. ДМИТРИЕВА

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

САТИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

СКАЗКИ. БАСНИ. АПОЛОГИ

Сказки

Басни

Апологи

ПОСЛАНИЯ

ПЕСНИ

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

МАДРИГАЛЫ. НАДПИСИ. ЭПИТАФИИ. ЭПИГРАММЫ

Мадригалы, надписи, альбомные стихи

Надписи к портретам

Эпитафии

Эпиграммы

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛЕМИЧЕСКИЕ, САТИРИЧЕСКИЕ, ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

СТАТЬИ. АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА. ПИСЬМА

СТАТЬИ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

ПИСЬМА

И. И. ДМИТРИЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Дмитриев И. И.

Д 53 Сочинения/Сост. и коммент. А. М. Пескова и И. З. Сурат; Вступ. ст. А. М. Пескова; Ил. и оф. Н. Е. Бочаровой.— М.: Правда, 1986.— 592 с.

В книгу вошли произведения И. И. Дмитриева (1760—1837)—крупнейшего русского поэта рубежа XVIII—XIX веков: его стихотворные сатиры, басни, сказки, оды, эпиграммы, апологи, мадригалы, автобиографические записки «Взгляд на мою жизнь», литературно-критические статьи, письма, а также отрывки из воспоминаний современников о И. И. Дмитриеве.

Д $\frac{4702010100-1026}{080(02)-86}$ 1026 —.86 84 Р1

Иван Иванович Дмитриев

СОЧИНЕНИЯ

Составители
Алексей Михайлович Песков
Ирина Захаровна Сурат

Редактор
Н. А. Галахова

Художественный редактор
Е. М. Борисова

Технический редактор
В. С. Пашкова

ИБ 1026

Сдано в набор 27.03.85. Подписано к печати 02.12.85.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 31,08. Уч.-изд. л. 32,35.
Тираж 200 000 экз.
Заказ № 325. Цена 2 р. 50 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва. А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Кировская правда» Кировского обкома КПСС. 610601, г. Киров, ГСП, ул. К. Маркса, 84.